

ГЕОРГИЙ ДЕРАУТЬЯН

АДЕПТ БУРДЬЕ
НА КАВКАЗЕ

ЭСКИЗЫ К БИОГРАФИИ
В МИРОСИСТЕМНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ



ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

С О Ц И О Л О Г И Я

П О Л И Т О Л О Г И Я



ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

АДЕПТ БУРДЬЕ
НА КАВКАЗЕ

ЭСКИЗЫ К БИОГРАФИИ
В МИРОСИСТЕМНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ

Авторизованный перевод
с английского

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
МОСКВА 2010

ББК 66.01

Д 36

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

В. Л. Глазычев, Г. М. Дерлугьян, Л. Г. Ионин,

В. А. Куренной, Р. З. Хестанов

Д36 Дерлугьян Георгий

Адепт Бурдые на Кавказе: Эскизы к биографии в миросистемной перспективе / Авторизованный перевод с английского. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). – 560 с.

«Тысячелетие спустя после арабского географа X в. Аль-Масуди, обескураженно назвавшего Кавказ „Горой языков“, эксперты самого различного профиля все еще пытаются сосчитать и понять экзотическое разнообразие региона. В отличие от них, Дерлугьян – сам уроженец региона, работающий ныне в Америке, – преодолевает экзотизацию и последовательно вписывает Кавказ в мировой контекст. Аналитически точно используя взятые у Бурдые довольно широкие категории социального капитала и субпролетариата, он показывает, как именно взрывался демографический коктейль местной оппозиционной интеллигенции и необразованной активной молодежи, оставшейся вне системы, как рушилась власть советского Левиафана».

BRUCE GRANT. Sense and Sense Making in the Caucasus: review Essay // *American Anthropologist*. June 2006. Vol. 108. No. 2.

ISBN 978-5-91129-063-4

© Издательский дом «Территория будущего», 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.

ПРОСТОЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕРКЕС	7
ГЛАВА 1. ПОЛЕ	14
Чечня, площадь Свободы	23
Архитеррорист	29
Рынок символов	33
Видеоразвал	36
Выборы	40
Гендер и ислам	41
О неочевидности горских кланов	46
Пропагандист	50
Изувеченная карьера	52
Исламское выступление	55
На поиски университета	57
Кабардино-Балкария	61
Государственный порядок	62
Черкесская церемонность	65
Исламский морализм	67
Сети повседневных обменов	68
Встреча с героем	69
Превращения социального капитала	72
Сумма впечатлений	74
ГЛАВА 2. ДИНАМИКА ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ	78
Нормализация советского государства	87
Бурная сторона хрущевской «оттепели»	92
Оцивилизация городской среды	99
Пробуждение национальных культур	108
Культурно-политическая поляризация и парадокс коммунистического консерватизма	115
ГЛАВА 3. ОТ 1968 К 1989 Г.	121
Врожденный порок деспотической власти: хватать, но не ухватывать	121
Чем важны итоги 1968 г.	124
Комфортное старение советской власти	128
Безвременье в интеллектуальном поле	132
Три источника издержек консервативной стабилизации	146
Издержки первые: дилемма геополитического напряжения	148

Издержки вторые: пролетаризация под госопекой	151
Издержки третьи: Ведомственное замыкание номенклатуры	155
Конверсии Горбачева	165
ГЛАВА 4. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА	171
Неужели опять классовый анализ?	173
Антисистемное догоняющее развитие	177
Правящий класс государственных руководителей	186
Пролетарии – основной советский класс	193
Парадокс советского среднего класса: интеллигенция и специалисты на положении госпролетариата	199
Национальные особенности	206
Субпролетарии, внесистемный «некласс»	211
Новые капиталисты: краткое пояснение	218
Реализация коллективных интересов, действие и структура	219
Контурные линии распада СССР	228
ГЛАВА 5. НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ	239
Несбывшиеся прогнозы	243
Провинциальная микрополитика	263
Общесоюзная последовательность протестных мобилизаций	270
События выплескиваются через край: пример Карабаха	283
Грузия: распад зависимой рентно-ориентированной государственности	311
Провал общесоюзной демократизации	324
Неявные пути этнополитизации в Кабардино-Балкарии	334
Распад СССР: выводы предварительного расследования	345
ГЛАВА 6. БОРЬБА ЗА СОВЕТСКИЕ ОБЛОМКИ	356
Отступательная контрстратегия перестройки	357
Лорд-протектор Аджарии	363
Конфедерация горских народов	370
Политика национализации: интересы и союзы	380
Этнодемографический взрыв	390
Чеченская революция	398
Кабардино-Балкария: уход от революции	415
«Отечественная война народов Абхазии» и горских добровольцев	427
Губернаторская реставрация	437
Конец пролетариата	442
Откат на периферию	446
ГЛАВА 7. ПРОСТРАНСТВА ВОЗМОЖНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИТОГИ	466
Траектория советского догоняющего развития	470
Карты и компас	501
Порождает ли глобализация этнические конфликты?	523
ЛИТЕРАТУРА	544

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ ПРОСТОЙ СОВЕТСКИЙ ЧЕРКЕС

На Кавказе все хорошие истории имеют тенденцию ветвиться.
Фазиль Искандер

История, служащая лейтмотивом этой книги, довольно долго оставалась в папках с материалами полевых исследований. Тому было три веские причины: теоретические затруднения, политические соображения и этические дилеммы. Поясню вкратце и в обратном порядке, чтоб не задерживать с чтением книги.

Непреренно записывать личные наблюдения было напутствием Бенедикта Андерсона перед моей очередной поездкой на Кавказ. Автор «Воображаемых сообществ» — славный ирландец, родившийся в Шанхае и, кстати, бравший уроки русского языка у эмигранта князя Ливена, — воспитывал во мне убеждение, что глобальные тренды и структуры не имеют реальности без понимания действий, представлений и надежд людей, на долю которых выпало жить среди этих структур и трендов. Бен Андерсон всегда ценил показательную для своей эпохи историю. Он любит слушать и сам умеет хорошо рассказывать¹. Так появилось длинное письмо-отчет о нескольких днях зимы 1997 г. в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, ставшее основой первой главы.

Письмо вместе с фото кабардинского политика Мусы (Юрия Мухамедовича) Шанибова попало в руки Пьера Бурдые на первый взгляд достаточно случайно. Иммануил Валлерстейн, глава моего диссертационного комитета в Университете штата Нью-Йорк, предпочитал проводить весенний семестр в Париже. В конце отчета я весело приписал, что если ему случится где-то на бульваре Сен-Жермен столкнуться с Бурдые, то можно озадачить французского коллегу фото его «тайного адепта» в папаше. Лишь отправив пись-

¹ Тому примером его недавняя книга, построенная на нескольких биографиях в глобально-историческом контексте — Benedict Richard O’Gorman Anderson. *Under Three Flags: Anarchism and the Anti-colonial Imagination*. London: Verso, 2005.

мо шефу, я сообразил, что, скорее всего, сморозил глупость. Нигде в своих обширнейших библиографиях Валлерстайн не упоминает Бурдые — как и Бурдые никогда не ссылался на Валлерстайна. Едва ли это могла быть случайность. Два знаменитых социолога занимались совершенно разными вещами и на абсолютно разных уровнях. Кроме того, Бурдые был известен нелегким и задиристым характером, а Валлерстайн, напротив, принципиальный противник полемики. Но сомнения разрешились через каких-то три недели. В почтовом ящике обнаружился конверт с простым логотипом Collège de France, Pierre Bourdieu. Писал Бурдые быстрым почерком, только по-французски, очень сердечно и энергично. Конечно, ему было любопытно, что за почтенный кавказец в папаше держит в руках русский перевод его труда².

Поди-ка вкратце объясни Пьеру Бурдые, как бывший прокурор и комсомольский работник, преподаватель научного коммунизма из Кабардино-Балкарского госуниверситета, в годы перестройки становится президентом Конфедерации горских народов Кавказа и ведет на войну в Абхазии отряды добровольцев, среди которых Шамиль Басаев и Руслан Гелаев, а затем выведенный из активной политики случайным ранением, штудирует в госпитале политическую социологию Бурдые... Человеку с советским жизненным опытом многое тут до боли знакомо — один из моих питерских друзей с готовностью определил типаж: «Собчак Кавказа!» — но именно потому малопонятно западному читателю (как, впрочем, становится непонятным и нашим собственным детям). В самом деле, Шанибов типичен для поколения интеллигентов-шестидесятников, в ответ на гласность взявших в руки микрофон и мгновенно превратившихся в народных трибунов. Сколько подобных людей некогда стало знаменитыми публицистами и народными депутатами — и куда они потом все делись? Тот же Шанибов в конце 1990-х возвращается к мирной преподавательской деятельности и безвестности³.

То, что писать об этом стоит, подтвердил Бурдые, добавив несколько смущенно, что с удовольствием бы опубликовал мой «замечательный текст» в своем журнале, если бы сам не выступал «в некотором роде героем этой истории». После неожиданно ран-

² Пьер Бурдые. *Социология политики* / Сост., общ. ред. и предисл. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos, 1993.

³ Вскоре после отчаянного мятежа молодых исламистов в Нальчике в октябре 2005 г. я дозвонился Шанибову. Юрий Мухамедович был в гневе и ужасе от произошедшего, хотя лично ему, похоже, ничто уже не угрожало: «Кто теперь помнит Шанибова? Ребятам, погибшим вчера у нас под окнами, было всего по 4–5 лет, когда мое имя звучало по всему Кавказу».

ней смерти Бурдые в январе 2002 г. пришло осознание, что долг памяти требует двинуть концепции французского социолога в новом направлении, которое он сам бы вероятно одобрил. Бурдые не раз признавал свою идейную близость с Чарльзом Тилли, чьи историко-эмпирические теории становления современного государства, протестных мобилизаций и демократизации веско противостояли обычной ортодоксии в таких вопросах. Подход Тилли давал, в частности, продуктивную альтернативу однолинейной «транзитологии» — господствующему взгляду 1990-х гг. на переход бывших соцстран к рынку и либеральной демократии⁴. Вопреки репутации эпистемолога и социолога культуры, Бурдые в первую очередь занимала проблематика социальной власти, особенно латентно скрытой в структурах и практиках обыденности. Его знаменитая полемика объясняется не только приобретенной задиристостью крестьянского сына, вторгшегося в рафинированную среду парижских интеллектуалов. Пьер Бурдые рубил направо и налево глубоко укорененные в современном интеллектуально-политическом сознании схемы как официального либерализма, так и политического марксизма, выявляя противоречия ортодоксий, обычно принимаемых за данность. В совершенно ином ключе Иммануил Валлерстайн, по его собственному выражению, занимается «рубкой цепкого подлеска» унаследованных от XIX в. великих ортодоксий⁵. Наконец, те же самые задачи ставил Тилли, предлагая свои в целом структуралистские решения⁶.

Дает ли эта общая идейная направленность трех крупнейших социологов конца XX в. возможность совместить их теоретические подходы? Что выйдет, если попытаться применить подобный синтез к рациональному анализу распада СССР? Можно ли надеяться получить целостную картину, которая увязывает структурные исторические факторы с социальными мотивациями и действиями отдельных групп и их представителей? Двигаясь в принципе в одном и том же направлении, Бурдые, Тилли и Валлерстайн фокусируют свои теории на трех различных уровнях. Их можно соотнести со знаменитым делением исторических процессов у Фернана Броделя на три горизонта времени (темпоральности) и структурные «три

⁴ Чарльз Тилли. *Демократия*. М.: Институт общественного проектирования, 2007; *Принуждение, капитал и европейские государства. 990–1992 гг.* М.: Территория будущего, 2009.

⁵ Иммануил Валлерстайн. *Конец знакомого мира. Социология XXI века*. М.: Логос, 2003.

⁶ Charles Tilly. *Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons*. New York: Russell Sage Foundation, 1984.

этажа»: человеческой повседневности (Бурдые), мезоуровня социальных сетей материального и политического обмена (Тилли), и длительной макроисторической протяженности, или *longue durée* (Валлерстайн). Идею оставалось проверить в реальном деле, написав такую книгу.

И тут вставала масса политических дилемм. Советский исторический опыт и распад СССР остаются обостренно актуальной историей. Пример иного уровня – как писать о войне в Абхазии, зная, что книга будет прочитана и в Грузии? Или о Карабахе, когда фамилия автора явно армянская? Крайний случай – как рационально анализировать действия Шамиля Басаева или Салмана Радуева, не впадая в манихейскую риторику «войны с террором»? Дилеммы отнюдь не абстрактные. Несколько раз во время полевых интервью, когда собеседник вдруг уходил в травматичные воспоминания и начинал изливать душу, оказывалось, что я разговариваю с человеком, участвовавшим в чудовищных жестокостях. Хуже того, было ясно, что это вовсе не психопат, наркоман или садист, а, в целом, вполне нормальный мужик, мотивирующий свои действия, как правило, мстью или обстоятельствами войны. Не уверен, что и сейчас знаю, как правильнее поступить.

Проблема остро возникла в конце 2003 г., когда вскоре после трагического захвата заложников в Москве на Дубровке Издательство чикагского университета попросило меня написать научное предисловие к книге репортажей Анны Политковской⁷. Выручил панорамный социологический взгляд Бурдые, позволявший расположить в поле социальных взаимодействий и Политковскую как носительницу давней русской обличительной традиции, восходящей к Радищеву, Короленко и советским диссидентам, и официальных представителей вроде Ястржембского, знакомого мне еще со времен его диссертации о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии Португалии национально-освободительными движениями африканских колоний, и чеченских повстанцев, и российских солдат, и их жертвы, и самих западных читателей, которым предстояло сделать свой выбор, прочтя эту нелегкую книгу репортажей, наконец, самого себя как профессионального проводника социолога согласно принципу рефлексивности исследователя, выработанному Бурдые.

Ограничусь двумя необходимыми заявлениями. Во-первых, О деталях операций боевиков и силовиков мне не известно ничего сверх описанного в открытой печати, и я сознательно избегал та-

⁷ Georgi Derluguian, *Whose Truth?*, Introduction to: Anna Politkovskaya, *A Small Corner of Hell: Reports from Chechnya*. University of Chicago Press, 2004.

кого рода информации. Дело социолога — прояснять социальную структуру, из которой возникают различные действия вплоть до самых крайних. Во-вторых, я не стремился показать Шанибова ни злодеем, ни великим борцом. Это во многом типичный советский человек своего времени, чем он и ценен науке. Книга, в сущности, не о нем, а о его времени. Жизненная траектория Юрия Мухамедовича удивительно полно воплотила в себе взлет и падение советского проекта догоняющей модернизации. Здесь нам открывается возможность связать вместе микро- и макроуровни анализа недавней истории. Не в последнюю очередь Шанибов еще и вполне типичный представитель национальной группы кабардинцев, одного из некогда многочисленных черкесских народов. Это подводит нас непосредственно к возможности понять роль «национального фактора», сыгравшего такую (но какую именно?) роль в распаде СССР.

Легко было бы сосредоточиться на кавказской идентичности. Но Шанибов более интересен как раз тем, что националистом он становится довольно поздно в своей биографии. К началу перестройки ему уже исполнилось пятьдесят. Это зрелый человек с довольно длинной биографией, в которой много всего советского и абсолютно ничего антисоветского. Еще в первые годы горбачевской реформации он остается верным коммунистом, да и сегодня искренне сожалеет об утрате СССР. И вместе с тем, это давний и весьма характерный оппозиционер, чьи взгляды, ожидания и политические мотивации сформировались в период хрущевской «оттепели». С тех пор он противостоит местной номенклатуре — довольно долго в качестве коммуниста-реформатора, затем националиста, неизменно же обличителя и правдоискателя.

С поправкой на провинциальность Нальчика (но, опять же, что задает «провинциальность» в социальном поле?), наш университетский оппозиционер-шестидесятник вполне сравним с прогрессивной интеллигенцией Ленинграда или Праги. Тогда почему он в итоге становится не либералом Гавелом или Собчаком, а националистом Шанибовым? Почему на Кавказе революции против госсocialизма вовсе не «бархатные»? Почему, наконец, провалом заканчивается перестройка и попытки демократизации осколков бывшего СССР? Какие силы и процессы вместо ожидаемого вхождения в круг «нормальных стран» Европы отбрасывают большую часть нашего района мира на периферию, едва не в Третий мир? Если не впадать в иллюзию, будто Центральная Европа отдельный континент, то тестом на надежность теории распада СССР в первую очередь должна стать ее способность рационально объяснить дивергентное расхождение траекторий всех бывших соцстран.

Ох, проверка теории... Вечная проблема академической карьеры в Америке. Прибегну к анекдотической истории, какими еще не раз будут иллюстрироваться теоретические постулаты этой книги. Впервые попав в 1993 г. на крупную и весьма престижную конференцию, проводившуюся Фондом Макартуров и Советом по исследованиям в социальных науках, я едва не потерпел полное фиаско. Вежливо выслушав мой доклад о социальных типажах вождей националистических движений на Кавказе (ведь не случайно же среди них оказалось столько моих прежних коллег-востоковедов, а также поэтов, кинорежиссеров и художников), весьма формально одетая молодая дама, политолог из элитного университета, осведомилась тоном отличницы, к которой прикрепили второгодника, каковы критерии фальсификации моей теории и не кажется ли мне, что я впадаю в риск «тестирования по зависимой переменной»? Чувствовалось, что меня публично заподозрили в каком-то грехе, но каком?! Со всем своим советским образованием и научным любопытством, я до тех пор и не слыхивал подобных выражений. К счастью, мое оторопелое молчание прервала другая женщина, куда менее формально одетая в какой-то цветастый восточный бурнус и увешанная экзотической бижутерией, которая оказалась культурным антропологом из того же элитного американского университета. Она стала горячо отстаивать преимущества мультивокальности, интердискурсивности, радикального сомнения и «плотного описания идентичности». Похоже, мне пытались прийти на выручку, только я совершенно не понимал, как. Развернулась нешуточная перепалка, захватившая всех американских участников. Это вдруг напомнило далекую африканскую ночь посреди Мозамбика, когда наша геологическая партия вместе со мной, студентом-переводчиком, попала в перестрелку между «контрас» из Национального Сопrotивления и бойцами Народной Армии. Стреляли и те и другие почем зря, преимущественно в воздух. Оставалось залечь и наблюдать, как высоко в бархатно-черном небе переливались очереди трассирующих пуль.

Конфуз, испытанный на той первой конференции, заставил провести годы в библиотеках ради самообразования как условия научного выживания. Все это так или иначе нашло выражение в книге, однако отечественного читателя ни к чему мучить критическими выкладками насчет политологического формализма и антропологического постмодернизма. В русском варианте книги сведен до минимума обязательный занудный разбор альтернативных гипотез и нет чуточку ёрнически названной главы о «Сложных триангуляциях», которая имела значение в основном при выдвижении на пожизненную профессорскую должность в Чикаго. В таком виде, надеюсь, книга становится стройнее и легче для восприятия.

Главная задача — при помощи исторической социологии наметить подходы к прояснению того, что произошло с СССР, со всеми нами, с современным миром и с героем нашего повествования Юрием Мухамедовичем Шанибовым. Теоретические принципы уже минимально обозначены в этом предисловии, а остальное должно проясниться по ходу повествования. Книга строится по нарастающей, от микроэмпирической картинки первой главы к теоретико-эмпирическому описанию последующих частей и завершающему макрообобщению. Остается поблагодарить тех, кто помог осуществить русское издание: переводчика Тиграна Ованнисяна, добровольного корректора Наталию Белых, главного редактора Валерия Анашвили и, конечно, Александра Львовича Погорельского. Особо хочу поблагодарить Юрия Мухамедовича Шанибова, достойно снисвшего свое превращение в протагониста социологического разбора и мое не всегда почтительное отношение к его делам и идеям. Остальное в руках читателя.

ГЛАВА 1

ПОЛЕ

Самое удивительное вознаграждение в ремесле социолога – возможность войти в жизнь других людей и приобрести опыт на основе всех накопленных ими знаний.

Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant,
An Invitation to Reflexive Sociology. (Chicago, 1992)

Прежде чем перейти к историко-теоретической реконструкции связей, ведущих из прошлого в настоящее и будущее (что и является главным методом данной книги), следовало бы приобрести практическое чувство сложной и, возможно, даже экзотичной среды, которую нам предстоит исследовать¹. Практическое восприятие составит нам то, что проницательный австриец Шумпетер называл «видением» поля и немало ценил как «доаналитический акт познания, поставляющий сырьевой материал для аналитического рассмотрения»². В этой вводной главе я постараюсь передать первые впечатления и наблюдения, которые обычно возникали у людей, посещавших в 1990-е гг. места вроде Чечни и Кабардино-Балкарии. Эта глава станет социологическим подражанием тому, что естественным путем приходит к опытным журналистам-международникам, в особенности когда им предоставляется достаточный простор для выражения. Имеется в виду не повседневная новостная заметка, а более крупные итоговые материалы, которые предполагают обретение значительной глубины и композиционной свободы при написании и последующем редактировании. Именно из такого процесса возникают лучшие журналистские книги или длинные повествовательно-аналитические статьи, подобные тем,

¹ Спасибо Бенедикту Андерсону и Петеру Катценштайну, моим наставникам в Корнелльском университете в 1993–1994 гг., настоявшим, чтобы помимо сбора формализованных чисто научных данных я им писал письма-отчеты о поездках на Кавказ.

² См. Richard Swedberg, *Schumpeter: A Biography*, Princeton: Princeton University Press, 1991, p. 181.

которыми славится элитарный еженедельник «Нью-Йоркер». Журналисты основываются на практическом знании реалий, возникающем из опыта многолетнего нахождения в определенном районе мира. Высшее мастерство журналиста состоит в умении перевести свое глубокое интуитивное знание необычных реалий в понятные своему читателю образы, ситуативные сценки и поясняющие сравнения, которые позволяют аудитории войти в логику событий и человеческих характеров.

Будучи социологом, а не журналистом, я соотношу полевые наблюдения с теоретическими концепциями, почерпнутыми из современной социологической науки, и строю свою интуицию (без которой никуда не денешься и в науке) более сознательно и рефлексивно на профессиональном знании исследовательских методов. По ходу дела попробуем выдвинуть некоторые предварительные гипотезы, увязывающие эмпирические наблюдения, собранные на поверхности, с более глубинными структурными процессами исторических изменений, которые могут быть реконструированы лишь теоретически.

Американец или европеец, впервые очутившийся на Кавказе (а точно так же, надо признать, будет себя чувствовать и большинство русских), оказывается посреди хаотического потока ярких и порою слишком сильных впечатлений. Поначалу это просто ошеломляет. В качестве нормальной, предсказуемой реакции мозг пытается заузить поток информации, поставить заслон мельтешению все новых впечатлений, прикрыться какими-нибудь привычными стереотипами и схемами насчет иноязычного разногосыя. Замечу, что одним из самых распространенных способов защиты от избытка впечатлений как раз и выступает переэкзотизация чужой жизненной реальности. За непривычными одеждой, речью, поведением, прочими внешними этническими и классовыми признаками мы нередко отказываемся разглядеть знакомые человеческие типажи — таксист-«водила», старушка, женщина с ребенком, молодой щеголь, уличный жулик, группка зевак, интеллигентного вида прохожий, полицейский-«мент», чиновник, торговка — людей со вполне обычными житейскими заботами, комплексами, слабостями, предпочтениями. Кто-то из них нам может быть полезен, кого-то лучше бы избегать, большинство просто обтекает нас в потоке жизни.

Приведенные в данной главе впечатления представлены в виде серии отдельных «фотоснимков», запечатленных мгновений из повседневности Северо-Кавказского региона, которые нам предстоит исторически контекстуализировать и подвергнуть аналитическому разбору в последующих главах. А пока будем просто наблю-

дать и записывать — хотя это занятие может оказаться не столь простым, как кажется. Следует сознательно обращать внимание на вещи и явления, которые могут быть сочтены слишком обыденными и общеизвестными, чтобы удостоиться письменного упоминания. Например, путешественник родом из страны, где рис является основой национальной кухни, в своих записках наверняка пропустит то обстоятельство, что местные жители также едят рис. Упоминание о «хлебе насущном» обитателей других стран появится лишь в том случае, если в пищу идут необычные для нашего путешественника продукты — скажем, жареные бананы либо выпекаемые в печи-тандыре лепешки из пшеничной муки, просяная или кукурузная каша-мамалыга или такое американское диво, как неделями не черствеющий нарезанный хлеб в пластиковой упаковке. Историки и этнографы, конечно, профессионально подготовлены замечать подобные преломления действительности в письменных источниках. Но это далеко не единственное из грозящих нам заблуждений.

Иногда наблюдаемое явление может быть искажено нашими собственными ожиданиями определенных результатов. (Методологи позитивистского толка на своем жаргоне именуют это «сбором данных по зависимой переменной».) Например, иностранный ученый, приехавший изучать роль ислама в политике на Кавказе, может настолько сконцентрироваться на предмете своего исследования, что не заметит важные вариации и взаимосвязи в более широких рамках социальной среды и исторического контекста. Разумеется, физики или химики, чья область исследований предоставляет роскошь работы в лабораторных условиях, преднамеренно и тщательно изолируют предмет эксперимента от интерференций окружающей среды — с тем чтобы рассмотреть вещество в клинически чистой и концентрированной форме. В соответствии с подобным сверхнаучным подходом старательный исследователь, взявшись за изучение нынешнего движения исламского возрождения, может потратить все свое экспедиционное время на посещение мечетей-новостроек и беседы с муфтиями и активистами, а эксперт по партизанской войне потратит уйму сил и, вероятно, пойдет на изрядный риск, чтобы пообщаться с боевиками и их политическим руководством. Разумеется, в данном случае мечети и боевики есть наиболее концентрированные проявления избранной проблематики. Такого рода проблематику, конечно, можно заподозрить в юношеском мачизме на грани поиска приключений, чем, надо признать, грешит немало начинающих журналистов, которые видят ценность информации в самой ее недоступности. Тем не менее ничуть не меньшую сфокусирован-

ность на искусственно изолируемой теме и респондентах легко обнаружить и во многих гендерных исследованиях, которые не без интеллектуального апломба начинают и заканчивают абстрактно-идеологической категорией женщин. Это вовсе не означает, что гендер не важен — о чем ниже. Однако какое социальное явление может существовать в изоляции от своей исторической системы? Стоит исследователю воспринять подобный научный педантизм, как она или он оказывается на краю ловушки идеологического штампа. Тогда в фокусе исследования вместо людей со свойствами им внутренними противоречиями, грузом прошлого, текстурой социальных взаимосвязей и зачастую парадоксальным сочетанием нескольких с трудом сопрягаемых социальных ипостасей возникают яркие, но совершенно плакатные образы, олицетворяющие те или иные идеологемы: бойца, исламиста, демократа, женщины.

Примером может служить приводимое ниже описание моей первой встречи с Мусой Шанибовым. Если бы не моя случайная обмолвка, резко повернувшая ход разговора, Шанибов мог бы быть занесен в полевой отчет лишь в качестве пламенного идеолога и вождя горского национализма, гордо носящего свою традиционную каракулевую папаху. Однако в таком случае могла бы ускользнуть от нашего внимания вся предыдущая, глубоко советская жизнь этого незаурядно одетого человека, точнее, его обыденное для брежневского периода существование в карьерном застое и провинциальной ограниченности возможностей, в то же время наполненное дружескими контактами, музыкой, чтением книг, включая ту классику критической социологии, которая была доступна в тогдашнем Нальчике, и нереализованными мечтами об общественных преобразованиях.

Для пояснения метода данной книги также необходимо с самого начала честно оговорить, что я здесь выступаю не только ученым-социологом, но еще и местным «папуасом» (как все мы есть «туземцы» в каком-то родном уголке мира). Я родился и вырос в Краснодаре, одном из наиболее крупных, многонациональных, хотя одновременно и более русских городов Северного Кавказа. По мере взросления я неизбежно приобретал интуитивное практическое знание местных реалий. Однако данная социализация так и не дошла до уровня «естественного» безотчетного габитуса. Сразу после десятого класса, в шестнадцатилетнем возрасте, я уехал на учебу в Москву, где в МГУ изучал африканские языки и культуры. Затем несколько лет работал переводчиком португальского в Мозамбике, где впервые оказался на войне, а как социолог профессионально сформировался уже в Америке после 1990 г. Честно говоря, самому

не верится, что эта книга написалась на изначально мне совершенно чужом английском языке. Когда я учился в седьмом классе, наша полная собственной значимости завуч-«англичанка» без обиняков предложила моим расстроенным родителям перевести их сына, не проявлявшего способностей к языкам, в менее престижную школу для «нацменов», что в Краснодаре означало адыгейцев, греков, ассирийцев и армян. Завуч щедро пожелала мне подучиться нормальному русскому — хотя это мой родной язык, конечно, от рождения я «гыкал» как заправский кубанец. Мой отец-армянин и мама-казачка говорили между собой только по-русски, хотя и неизбежно с мало ими осознаваемыми особенностями местного говора. Впрочем, моя бабушка Еля — Елена Мироновна Тарасенко — до конца своей долгой и очень нелегкой жизни так и не заговорила на нормативном русском. От нее в основном я и унаследовал навык балакать по-станичному.

Для социологических целей оказалось неожиданно полезным, что при работе на Северном Кавказе во мне сочетались способность образованного чужестранца подмечать свежим взором местные особенности (например, манеры или блюда национальной кухни) и усвоенное с молодых ногтей знание данной социальной среды (скажем, почему именно эти блюда подаются на стол в данном случае). Это означает, что в отличие от антропологов, страноведов или журналистов-международников, в данном случае мне не требовалось годами вживаться в иноэтническую среду, потому что я и без того в ней вырос. В этой книге я исследую свою собственную родину. Пьер Бурдьё называл это «удачной двойственностью» наблюдателя. Он и сам использовал подобное преимущество при изучении провинциальной жизни в юго-западных областях Франции, в горах Беарна, откуда Бурдьё был родом³.

Однако знание местных условий также налагает свои собственные ограничения. Например, в обществе с сильными патриархальными традициями я, будучи мужчиной, зачастую не имел возможности задавать вопросы женщинам. При чем такой возможности может и не представиться. Как гласит местная пословица, гость на Кавказе — пленник хозяев. Представьте-ка, каково сидеть за торжественным столом с хозяином дома (вполне быть может, таким же преподавателем университета), тогда как его старший сын молча и с почтением внимает беседе старших, либо того пуще, аспиранты стоят почтительно у стены, как того требуют традиции местного церемониала, будто бы мы пирующие князья, а они — наши

³ Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, Cambridge: Polity Press, 1990, p. 16, и личная переписка в 1997 г.

молодые оруженосцы, чьей обязанностью является наполнять бокалы, если не кавказский рог-ритон. Женщины появляются из кухни лишь на минуту, чтобы подать новые блюда: мясо с зеленью, домашние соленья, лепешки с сыром, традиционные местные пельмени или галушки в чесночном соусе. Женщины радушно улыбаются, но при главе семейства и госте не проронят ни слова. Как американский социолог, я подозреваю, что они могли бы представить свой, быть может, совершенно неожиданный взгляд на те же проблемы современных исламских движений или на партизанскую войну. Однако для того, чтобы поговорить с ними, следует ждать менее жесткой в плане ритуальной обязательности обстановки.

Такого рода случаи могли представиться порой совершенно неожиданно. Как-то посреди торжественного обеда в квартире у Шанибовых в резко распахнувшиеся двери вдруг хлынули спецбойцы в масках и бронежилетах, наставившие на нас короткоствольные автоматы. Из-за их спин вышел полнеющий милиционер с папочкой подмышкой. Он представился местным участковым, навестившим нас, чтобы проверить паспорта. Так я получил подтверждение, что за квартирой Шанибова ведется постоянное наблюдение — меня с иностранного вида спутниками заметили входящими в подъезд. Надо признать, что накануне в окрестностях города был замечен и в очередной раз ушел от преследования Шамиль Басаев, некогда воевавший в Абхазии под началом Шанибова, так что интерес милиции к его гостям не назовешь совсем уж праздным. Хозяин вскочил из-за стола и пустился протестовать на эмоциональной смеси русского и кабардинского языков. Он грозил пожаловаться министру внутренних дел республики, взывал к совести и разуму, стыдил невозмутимого участкового-кабардинца за столь грубое попрание обычаев черкесского гостеприимства. Величественно обходя группу вторжения, из кухни появилась хозяйка дома, благородного вида матрона, неожиданно решительно бросившая своему мужу по-русски: «Шанибов, помолчи! Сколько мы уже мук приняли из-за твоего характера...» Вождь горских народов действительно умолк, обстановка несколько разрядилась, а я не без облегчения достал паспорт и сел писать объяснительную на имя начальника ГУВД г. Нальчика. Из-за спины матери возникла дочь, которая с удивительной прирожденной грацией черкешенки несла серебряный поднос с запотевшими хрустальными бокалами «нарзана». Последовала поразительно сложная многовекторная пантомима, только ради которой стоило пережить милицейский рейд. Любезно поднося мне бокал холодной минеральной воды, дочь Шанибова ласково и ободряюще улыбнулась мне одними глазами, одновремен-

но предупреждающе щеря красивые ровные зубки в направлении отца: «Папа, спокойно!» И при этом она острым локотком, как бы походя, прошлась в сантиметре от крупного носа участкового, которому никакого бокала не досталось. Так я уразумел кое-что весьма существенное и ритуально сокрытое в характере гендерной иерархии в советско-национальном семействе Шанибовых. Впрочем, это будет первое и последнее описание семейного быта нашего героя в этой книге. Данный эпизод уже дал нам достаточный эскиз социологического представления, и незачем более вторгаться в личную жизнь Шанибовых.

Одним из методов преодоления вышеуказанного затруднения на гендерном уровне является сознательная проверка и компенсация собственных наблюдений описаниями и анализом журналисток, таких как Галина Ковальская, Санобар Шерматова, Анна Политковская или прекрасно владеющая русским языком француженка Анн Нива, талант и смелость которых заслуживают глубочайшего уважения⁴. Очень многое мне также удалось почерпнуть из письменных материалов и разговоров с коллегами-женщинами, такими как уроженки Абхазии Рита Мамасахлиси-Кузнецова и Мзия Гочуа, карабахская армянка Нона Шахназарян и изумительно предприимчивая дагестанка Галина Хизриева — они, в отличие от меня, могли задавать вопросы, которые бы никто не стал обсуждать с мужчиной. Одним из самых важных информантов, способных не только на тонкие наблюдения, но и на последовательное их изложение в первичном обобщении, всегда служила моя мудрая старшая сестра.

Важность и неочевидность гендерных соображений в кавказском контексте может быть продемонстрирована, казалось, простым вопросом: как наиболее последовательно придерживающиеся традиций семьи, в которых господствует отец, относятся к уходящему воевать в горы сыну? Вот отрывок из описания общей модели отношения, полученный от знатока местных реалий: *«Предполагается, что матери не могут вмешиваться напрямую в обсуждение таких сугубо мужских дел, однако в действительности именно за ними*

⁴ Галина Ковальская, погибшая в 2003 г. при падении вертолета, была, по моему твердому убеждению, одним из лучших российских журналистов. Ее статьи публиковались такими изданиями, как «Итоги» (до 2001 г.), а затем «Московскими новостями» и «Еженедельным журналом». Что до убитой в 2006 г. Анны Политковской, издательство Университета Чикаго некогда оказало мне честь, попросив написать научное предисловие к сборнику ее заметок. См. Anna Politkovskaya, *A Small Corner of Hell: Dispatches from Chechnya*, Chicago: Chicago University Press, 2004.

остается последнее слово. Мать может молча появиться из кухни с вещами сына, аккуратно уложенными для долгого пути, а может и громко огласить свой запрет, и в таком случае он сможет уйти только через ее труп⁵». Не исключено, что это романтизированная версия происходящего. Однако даже фрагментарные данные о происхождении боевиков, воевавших не только в Чечне, но и в Нагорном Карабахе и Абхазии, свидетельствуют о непропорционально большом числе выходцев из семей, насчитывавших трех и более сыновей. В целом завершившаяся в 1950–1960-х индустриализация страны сделала подобные многодетные семьи сравнительно редким явлением в советских республиках. Лишь в определенных социальных и этнических группах (например, среди чеченцев сельских районов) все еще поддерживался высокий уровень рождаемости. Разумеется, среди воевавших можно было увидеть и единственных сыновей, однако в основном это были идеалистически настроенные студенты из городов.

Очевидно, что в охваченных войной регионах старшие в семьях женщины оказываются вовлеченными в сложнейшие, невысказываемые переговорные процессы в рамках собственных семей и сетевых сообществ (соседей, родственно-клановых связей, конфессиональных групп), где определяются вопросы статуса семьи. Будет ли отсутствие добровольца в имеющей нескольких сыновей семье рассматриваться как постыдная непатриотичность? Но можно ли позволить единственному сыну уйти на войну? Важное обстоятельство для рассматриваемого здесь патриархального уклада: чем больше сыновей, тем выше у женщины положение в обществе. Самоотверженная мать героя патриотической войны достигает наивысшего возможного положения в обществе и, таким образом, вносит значительный вклад в укрепление статуса как своей семьи, так и рода в целом. Данная гипотеза, очевидно приложимая также к палестинцам, иракцам и афганцам, потребует кропотливой проверки женщинами-исследователями в соответствующих регионах. Скорее всего, именно так недавние межэтнические войны укрепили начинавший было распадаться патриархальный тип распределения гендерных ролей. Однако на остальных направлениях вопросы гендерного порядка остаются весьма неоднозначными, что я далее попытаюсь показать на примере материалов своих наблюдений по статусу женщин в чеченском обществе периода войн. Отчасти это обусловлено всеобъемлющим воздействием на народы Кавказа советских моделей социальной мобильности и обязательного образования. Но ничуть не менее

⁵ Беседа с «Ч.». Февраль 1995 г.

это социальный репертуар выработанных кавказскими женщинами разнообразных гендерных стратегий, служащих для преодоления суровых бытовых тягот, невзгод и многочисленных угроз выживанию.

Непосредственной задачей данной главы является предоставить читателю элементарно практичное этнографическое описание сравнительно малоизученного региона, который вдобавок еще густо овеян флером романтичности либо, наоборот, стал восприниматься в постсоветские времена через грубо упрощающую призму бытовых негативных стереотипов. В самом деле, Кавказ постоянно рисуется весьма цветисто — как иностранцами и приезжими, так и местными обитателями, в особенности когда последние пытаются произвести впечатление на первых⁶. На Западе литературная традиция романтизации Кавказа восходит ко временам дворянских путешественников викторианской эпохи. Ряды странствующих джентльменов XIX в. (в основном англичан и немцев) состояли из географов, офицеров, шпионов, дипломатов, искателей приключений, вплоть до самого Александра Дюма-отца, путешествовавшего по Российской империи в конце 1850-х. Их описания населяющих регион народов (будь то горцы или мои казацкие предки по материнской линии) неизменно сводились к стереотипу благородных дикарей, живущих по своим суровым законам среди первозданной природы⁷.

Русская литература создала собственную внушительную мифологию Кавказа, идущую от Пушкина, Лермонтова и Толстого к Солженицыну и Фазилу Искандеру⁸. В конце XX в. традиции романтизации с новой силой возродились в речах националистов Кавказа, а также в симпатизирующих чеченцам и другим кавказским народам художественных произведениях (например, номинированном на «Оскар» фильме «Кавказский пленник», сделавшем знаменитым Сергея Бодрова). Наиболее сильно романтикой пронизано

⁶ Разумеется, антропологам это явление хорошо известно. См. например, Marshall Sahlins, «Cosmologies of Capitalism: the Trans-Pacific Sector of 'The World System'» in Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. Ortner (eds), *Culture/Power/History*, Princeton: Princeton University Press, 1994.

⁷ Невероятные ситуации, биографические подробности и романтическая атмосфера этих путешествий, относящихся к географии восходящего империализма Запады, мастерски представлены в работе Neal Ascherson, *The Black Sea*, London: Johnatan Cape, 1995.

⁸ Литературное исследование данной традиции см. у Susan Layton, *Russian Literature and Empire: Conquest of Caucasus from Pushkin to Tolstoy*, New York: Cambridge University Press, 1994.

освещение чеченских войн западными СМИ⁹. В этой главе, да и во всей книге я попытаюсь, по крайней мере, повернуть вспять эту тенденцию романтизирования, выставляя против плакатных стереотипов более стереоскопичную и контекстуализированную картинку в усложненной текстуре. Это не означает, что картинка выйдет красивее, но, надеюсь, она окажется ближе к реалиям Кавказа, которые мне довелось наблюдать и пережить.

ЧЕЧНЯ, ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ

В январе 1997 г. вместе с антропологом Игорем Кузнецовым мы как-то провели добрую половину дня, наблюдая митинг на площади Свободы в Грозном — лежавшей в руинах столице Чечни. Моей основной задачей было наблюдение социальных взаимодействий и, по Эрвину Гоффману, саморепрезентаций, повседневных микро-ритуалов, возникавших на митингах в ходе предвыборной президентской кампании. Пространство огромной площади было четко разделено на выступающих политиков; маленькие группки их активных сторонников, собиравшиеся вокруг импровизированных трибун на платформах грузовиков; значительно более многочисленную группу в несколько тысяч человек, которые могли за несколько минут из внимательных слушателей обратиться в равнодушных скучающих наблюдателей; и, наконец, десятки иностранных корреспондентов, занявших вместе со своей загадочно-внушительной профессиональной теле- и фототехникой позиции по внешнему периметру митинга.

Как выяснилось позднее, это был период лишь временного перемирия. Несколькими неделями ранее российские войска были выведены из Чечни, где в августе 1996 г. они неожиданно потерпели ряд ошеломительных поражений. Было заключено перемирие, а также достигнуто соглашение о проведении президентских и пар-

⁹ В конце 1994 г., когда российские войска начали продвижение вглубь Чечни, популярный еженедельник «Аргументы и факты» опубликовал результаты социологического опроса жителей больших российских городов об источниках их информации и их мнении о чеченцах. Выяснилось, что лишь 7% опрошенных когда-либо лично встречались с чеченцами (причем тогда у большинства остались положительные воспоминания). Около 40% получали информацию из телевидения и газет, и приблизительно столько же назвали в качестве источника своих впечатлений стихи Лермонтова и повести Толстого, являвшиеся составной частью школьной программы. Заметим, что взрослые чеченцы, которые учились по той же школьной программе, хорошо осведомлены о своем литературном имидже и, как правило, им гордятся.

ламентских выборов в Чечне при участии международных наблюдателей. На краткий миг показалось, что это было многообещающее начало новой, мирной эпохи и де-факто независимости Чечни — перспектива, заставившая съехаться две сотни журналистов со всего мира.

В действительности в день нашего приезда в Грозном было холодно и сыро; кругом лежала липкая густая грязь. Несмотря на героические меры по расчистке главных улиц, предпринимаемые новым градоначальником и его командой добровольцев (которым пока только обещали заплатить), шагать нам приходилось по оставшейся от недавних боев хрустящей мешанине из битого стекла, штукатурки, кирпича и стреляных гильз. Сменявшие друг друга у микрофонов чеченские активисты среднего звена часами повторяли стандартные патриотические лозунги того времени. Большинству пришедших на митинг происходящее уже порядком наскучило. Часть из них сбилась в маленькие кучки; в некоторых из них шли жаркие споры, прочие лишь наблюдали за происходящим или просто курили. Однако, несмотря на все это, площадь однозначно была местом основных событий — тем, что Рэндалл Коллинз мог бы назвать центром эмоционального внимания¹⁰. Несмотря на плохую погоду и малоинтересных выступающих, люди не могли покинуть площадь. В воздухе витала всеобщая потребность держаться вместе, обсуждать государственные дела и быть свидетелем тому, как делается история.

Вероятно, наилучшим подтверждением данного переживания было присутствие на площади плотно сбитых стаяк болтающих друг с дружкой девочек-подростков; почти все они носили модные кожаные плащи турецкой выделки и держали в руках разноцветные пластиковые пакеты магазинов беспопытной торговли Абу-Даби или Кипра. Выглядели они скорее так, будто направлялись на шопинг или дискотеку, а не присутствовали на политическом митинге. Эти вполне обычные городские девочки, пожалуй, даже превосходили числом более необычно одетых людей — тех, кто пришел в камуфляжной военной форме, традиционных черкесках или папах либо предписываемых исламскими нормами шаях на головах у женщин — однако никто, конечно, не замечал слишком обыденного присутствия этих школьниц или студенток.

Разумеется, собравшиеся журналисты не могли упустить мальчика лет пяти-шести, одетого в новехонькое подобие полевого ка-

¹⁰ Randall Collins, «Social Movements and the Focus of Emotional Attention,» in Jeff Goodwin, James Jasper and Francesca Poletta (eds), *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*, Chicago: University of Chicago Press, 2001, pp. 27-44.

муфляжа и вооруженного игрушечным автоматом, которого гордые родители торжественно водили по площади. Щелкали затворы фотокамер, сверкали блицы, сияющие родители чуть нарочито позировали, прохожие улыбались и некоторые сюсюкали малышу; атмосфера происходящего имела карнавальнй оттенок — вероятно, из-за ангельского личика ребенка и искренней гордости, распиравшей родителей. Позднее я не раз встречал в российской, чеченской и западной прессе снимки этого самого мальчика, сопровождаемые совершенно разными подписями: «Чечня: борьба до конца», «Нация жива!» или же «Бандиты сызмальства», «К джихаду готовы».

В остальном журналисты также выглядели крайне скучающими и обсуждали между собой возможность подыскать место с более активным или живописным действием. Нам с Игорем оставалось лишь бродить по окрестностям площади (избегая руин со множеством неразорвавшихся боеприпасов) и подмечать подробности.

Первым, что привлекло наше внимание, были уличные указатели. Надпись на фанерке, прикрепленной к покалеченному и насквозь простреленному фонарному столбу, гласила: «Штаб Исламского батальона переехал по адресу: ул. Розы Люксембург, 12». Вот такое ироническое сочетание восходящей политической силы и легендарного, ныне никому не понятного имени из социалистического прошлого. Другие наименования были абсолютно неожиданным воплощением недавних политических мер правительства Ичкерии: *проспект Михаила Горбачева* и *площадь Никиты Хрущева*. Где, в каком еще городе можно было обнаружить площадь, носящую имя Хрущева?! Конечно, это он в 1957 г. отменил сталинский секретный указ о ссылке чеченцев и ингушей и не стал препятствовать их возвращению на родину предков. Эти уличные названия были проявлением публичной благодарности двум добродетельным российским правителям, двум потерпевшим поражение поборникам демократических преобразований¹¹.

Важнее всего, что это не было исключительно официальной попыткой разглядеть положительные стороны в советской эпохе. Во многих обыкновенных чеченских семьях мы слышали с воодушев-

¹¹ Позднее я рассказал Сергею Никитовичу Хрущеву, который давно живет в Америке, о названной в честь его отца площади — что было для него неожиданностью. Подобным же образом, и М. С. Горбачев лишь отдаленно слышал о носившем его имя проспекте в Чечне. Чеченским националистам не удалось донести до целевой аудитории свое послание. Показательнее, что и журналисты не сумели заметить данный факт, не соответствовавший общепринятому штампу восстания чеченцев против русских.

лением рассказываемые нам стандартные истории: о русском солдате или железнодорожнике, бросившем буханку хлеба в товарный вагон депортируемым чеченцам; о раскулаченном старом казаке, сосланном в Казахстан еще перед Великой Отечественной войной, который отдал свою бурку чеченским детям в первую холодную зиму; о доброй женщине из поволжских немцев, делившей молоко от своей единственной коровы. Подобные рассказы (возможно, и сильно преукрашенные) должны были подчеркнуть, что чеченцы никогда не забывают добра — как, впрочем, и зла. Главное — подобные истории о доброте делали для самих чеченцев психологически возможным мирное соседство с русскими сегодня и в будущем.

Во время нашей поездки столица Чечни более не именовалась Грозный — во всяком случае, официальными лицами. Несколько днями ранее указом исполняющего обязанности президента Зелимхана Яндарбиева Грозный был переименован в *Джохар-кала* (город Джохара) в честь первого президента генерала Дудаева, годом ранее убитого российской управляемой ракетой. Имя Грозный было не только русским, но и однозначно колониальным. Оно было дано в 1818 г. городу его основателем, кавказским наместником генералом Ермоловым, печально известным беспощадными карательными мерами по усмирению горцев.

Смена имени была, однако, явственно направленным на повышение собственного рейтинга Яндарбиева. После революции 1991 г. этот бывший советский поэт стал идеологом, стоявшим за президентом Дудаевым. Большинство чеченцев не особенно принимало Яндарбиева всерьез — что проку в интеллигенте, оказавшемся в тени харизматичного авторитарного лидера? Однако Яндарбиев явно обладал свойственным провинциальным поэтам повышенным самомнением и густо украсил стены и столбы Грозного-Джохар-калы своими предвыборными плакатами. Все в его образе дышало несколько выпреним символизмом: недавно отращенная длинная борода с проседью, вероятно, символизировала мудрость и набожность; высокая каракулевая папаха должна была свидетельствовать о верности кавказским традициям, камуфляжная куртка указывала на бытность воином, тогда как видневшиеся из-под нее белая сорочка и галстук являлись признаками принадлежности к городскому интеллектуализму. Надпись на плакате подытоживала: «Политик. Поэт. Патриот»¹².

¹² 13 февраля 2004 г. Зелимхан Яндарбиев был убит в результате подрыва машины в Катаре, где он жил в эмиграции после того, как приютившие его талибы лишились власти в Афганистане. Полиция Катара вскоре арестовала сотрудников российских спецслужб, обвиняемых в осуществлении покушения.

Собственно, и сам генерал Дудаев при жизни также не всегда воспринимался всерьез — во многом благодаря бесконечным громогласным заявлениям, находившимся в очевидном противоречии с реалиями хаоса и развала, последовавшего за крахом СССР и провозглашением Чечней независимости. Это противоречие еще более усугубилось в ходе недавней войны, в которой Дудаев не отличился полководческими способностями. На самом деле сопротивление российским войскам в декабре 1994 г. было организовано совместными усилиями Аслана Масхадова, рассудительно профессионального полковника-артиллериста, в прошлую бытность названного лучшим офицером советской группы войск в Венгрии, и Шамиля Басаева — бывшего студента, отчисленного из Московского института землеустройства за неуспеваемость, но оказавшегося блестящим самоучкой в партизанских действиях, хотя и мало в чем другом. На президентских выборах 1997 г. герои войны Масхадов и Басаев выступали явными фаворитами и соперниками. Однако Джохар Дудаев оставался мученическим символом проекта национальной независимости Чечни образца 1991 г. Теперь, в зимние дни 1997 г., несмотря на мрачную погоду, столь полный воодушевления от недавних побед и надежд на второй запуск чеченской независимости, главным наследником Дудаева стремился выступить временный президент Зелимхан Яндарбиев. Поэту независимости, однако, предстояло побороться за пост с такими полководцами недавней войны, как Масхадов и Басаев. Именно в этом политическом контексте Яндарбиев пытался теперь придать символичность имени первого президента названию чеченской столицы. Может быть, поэтому никто, за исключением крайних националистов и наборщиков официальной периодики, пока не употреблял названия Джохар-кала. Переименования всегда есть форма политической борьбы, пускай и символической.

Более того, сама Чечня уже была не Чечней, а в своеобразной попытке достичь компромисса носила имя «Чеченская Республика Ичкерия», что было типично националистическим измышлением традиции. Слово «Ичкерия» не чеченского корня. Это в действительности два слова на кумыкском, одном из языков Дагестана, унаследованном от некогда господствовавших в степи тюркополовцев. «*Ич керу*» приблизительно означает «вон там», по ту сторону какой-нибудь горы. Почти тысячу лет господствовавшие среди народов степи тюркские языки — кумыкский и татарский — служили, подобно суахили в Восточной Африке или французскому среди аристократий Европы, общей *lingua franca* на многонациональном Северном Кавказе. Когда ввиду геополитических перемен Великая степь Евразии перестала быть пограничьем, на смену тюркским на-

речиям в качестве языка межнационального общения пришел русский. Однако в конце XVIII в. кумыкский все еще оставался общепотребительным на Кавказе, и именно тогда российские военные картографы восприняли от своих местных проводников топоним «*ич кери*». В 1810–1830-х Ичкерия означала горную юго-восточную часть собственно Чечни, а затем постепенно вышло из употребления. Пришедшее ему на смену наименование «Чечня» обязано своим существованием также типично колониальной картографической практике. По названию первого приграничного села Чечен-аул чеченцами стали именовать языковую группу местных жителей, которые причинили немало беспокойства расширяющейся Российской империи.

Разделив участь многих полузабытых слов, Ичкерия со временем приобрела немного поэтического оттенка, еще более усилившегося мелодическим звучанием для слуха, привыкшего к звучанию индоевропейских и тюркских (но не гортанных кавказских) языков. Это название сохранилось в основном благодаря стихам Лермонтова — русского отклика на бунтарский гений Байрона. Показателем разницы между породившими этих двух поэтов империями может служить их судьба — если Байрон сам искал смертельно опасных приключений в войне за свободу Эллады, то поручик столичного гвардейского полка Лермонтов был сослан на Кавказ за написание получившего широкую известность стихотворения на трагическую смерть Пушкина в 1837 г. (вполне обычное наказание для своевольных и политически неблагонадежных офицеров в правление приверженца строжайшей дисциплины Николая I).

Минули эпохи. В ноябре 1990 г., когда перестройка вступала в свою последнюю пасмурную зиму, Второй съезд чеченского народа решил вновь предпринять усилия по обретению независимости (заметим, Первый съезд состоялся в 1918 г., в разгар Гражданской войны). При подготовке ко второму съезду выяснилось, что у Чечни нет собственного исконного имени. Единственным наследством было самоназвание народа — *нохчи*, т.е. просто «люди, народ» — равно как и этнонимы *тюрк*, *банту*, или *Deutsch* изначально имели в соответствующих языках значение именно «люди», т.е. свои, люди понятного языка (отсюда и славяне или словене — скорее всего от «слово», люди понятного языка). Отсутствие совпадающего с областью расселения данного народа политически независимого образования вполне закономерно стало причиной отсутствия названия всей страны. Однако на дворе был 1990 г., и все русифицированные советские названия (как и дискредитировавшие себя политические институты советского федерализма) отвергались без колебаний: Белоруссия стала Беларусью, Молдавия —

Молдовой, Татария — Татарстаном, Якутия — Сахой, Калмыкия — Хальмг Тангч.

Спеша подобрать подходящее имя для своей страны, первоходцы нового чеченского национализма устремились в разных направлениях. Предлагаемые названия *Нохчи-Мохк* (буквально: Страна чеченцев) или *Нохчи-чьо* (Чечен-ия), быть может, вполне соответствовали грамматике и богатой согласными фонетике северокавказских языков, однако звучали слишком ново, как-то странно и искусственно. Они так и не прижились. В провинциальной по сущности Чечено-Ингушской АССР ни один ученый или писатель не обладал достаточным институциональным и моральным авторитетом, чтобы настоять на своем варианте.

Гордиев узел был разрублен бравым генералом Дудаевым — чеченцем, большую часть своей жизни проведшим в гарнизонных городках по всему Советскому Союзу. Это мало способствовало совершенному знанию родного языка, однако Дудаев был горячим поклонником Лермонтова и во время офицерских застолий, бывало, пространно и с чувством наизусть декламировал его стихи об отважных чеченских молодцах, во весь опор несущихся на сечу. Возражения, что Лермонтов был типичным европейским романтиком, описывавшим чеченцев как великолепных кровожадных дикарей, совершенно не смущали Дудаева и отметались как излишне педантские, вернее, как любил выражаться генерал, крохоборские. Название «Ичкерия» дышало славой, историей, объединением нации. Кроме того, такое слово писалось и произносилось куда легче, чем *Нохчи-чьо* — а это, нельзя не признать, немаловажное обстоятельство в задаче нанести на мировую карту новое государство.

АРХИТЕРРОРИСТ

В центре дорожной развязки среди типично советских многоэтажных «Черемухек» стояла возведенная еще в советские времена железная стела, ныне испещренная следами от пуль и осколков и покрытая ржавчиной. Горьким ироничным напоминанием о временах (пусть даже и неоднозначных) прежнего процветания были большие потускневшие буквы типично советского лозунга: «Народы планеты! Берегите мир!» Совсем недавно стела была обклеена предвыборными портретами бородатого и украшенного ичкерийскими орденами Шамиля Басаева, сопровождаемыми лозунгами и даже целыми манифестами, к моему изумлению, адресованными русским. Басаев, оказывается, просил прощения за захват Буденновска и призывал к примирению!

Басаевская биография помогает понять, откуда после стольких лет советизации могли взяться на Кавказе неоисламистские боевики. Насколько известно, он родился в 1965 г. в горном селе Ведено — том самом, где столетием ранее располагалась ставка легендарного имама Шамиля, самого успешного и известного из вождей *газавата* позапрошлого века¹³. Разумеется, имя Шамиль перекликалось с легендарным имамом, а Ведено было тем местом, где почти каждый камень увязывался с местной легендой, обычно восхвалявшей подвиг героя, принявшего там свой последний бой. Однако Басаев вырос в советские времена, когда Ведено стало большим совхозом, и его первой (и единственной) мирной работой была должность «техника-животновода». Мечтая, как и многие сельские парни, о куда большем, после службы в армии он уехал в Москву учиться сельхоз-специальности, очевидно, чтобы просто поступить куда-нибудь, где давали скидку выходцам из села. Учебу он вскоре бросил, то ли разочаровавшись в избранной скромной карьере, то ли оказавшись совсем плохо приспособленным к учебе. Басаев позднее с усмешкой рассказывал, что провалил его на экзамене по математике сам Константин Боровой, впоследствии известный предприниматель и либеральный активист, в советские времена подрабатывавший почасовиком в непрестижных вузах, поскольку его как еврея не пускали на работу в оборонной промышленности. Боровой, впрочем, такого чеченского студента припомнить не мог. Есть и третье объяснение. В последние годы перестройки немало студентов уходило в предпринимательство, которое тогда, как многим казалось, давало фантастические перспективы в сравнении с прозябанием на должности инженера или агронома. Если это и так, бизнесмена из Басаева тогда не вышло.

Люди, знавшие этого архитеррориста в молодости, говорили, что его отчисление из института стало для многих неожиданно. Шамиль всегда отличался если не прилежанием, то честолюбием, упорством и способностью руководить сверстниками. «У Шамиля всегда все было четко», — говорили они. На вопрос, кем бы он мог стать, если бы советский строй сохранился и продолжал задавать жизненные возможности, мне отвечали, что Шамиль бы непременно стал начальником чего-нибудь, скажем, родного совхоза или заводского цеха — если только (смешок, переходящий во вздох), учитывая его порывистый характер и авантюризм, до того не сел

¹³ *Газават* есть более узкий синоним *джихаду* (дословн. преодоление). Термин «газават» получил распространение в период борьбы мусульман с крестоносцами и означает набеговую войну, ведущуюся правоверными рыцарями-гази.

бы в тюрьму за какое-нибудь хулиганство. Как тут не вспомнить, что некогда и Осам бен Ладен по специальности был инженером-дорожником, его первый заместитель по «Аль-Каиде» Айман аль-Завахири — врачом, а более половины террористов 11 сентября были студентами различных технических специальностей и вовсе не исламскими богословами¹⁴. Семейное происхождение и биографии многих современных исламистов напоминают скорее личные данные эсеровских боевиков из царской России.

Возможно самым важным, что вынес из непродолжительной учебы в институте молодой Шамиль Басаев, было его знакомство с кубинскими студентами, подарившими ему портрет Эрнесто Че Гевары. Говорят, что Басаев всегда носил карточку Че в нагрудном кармане своей полевой формы¹⁵. Во время попытки переворота ГКЧП в августе 1991 г. Басаев был в рядах защитников московского Белого Дома и демократической России. По другой версии, он пришел защищать не демократию, а чеченца Хасбулатова, однако это, скорее, одно из типичных преувеличений этнической составляющей в поведении чеченцев. Басаев той поры был, судя по большинству добросовестных свидетельств, захвачен эмоциями перестроечной борьбы с тоталитаризмом, как и большинство советской молодежи — стоит ли тому удивляться? Кроме того, до августа 1991 г. векторы перестроечной демократии и чеченского национализма полностью совпадали.

Уже двумя месяцами спустя эти векторы разошлись. Так же резко сместился эмоциональный фокус и характер басаевской борьбы. Он угнал в Турцию пассажирский самолет, летевший из Москвы в Грозный, в знак протеста против «предательского» отказа «псевдодемократа» Ельцина признать независимость Чечни. Первый террористический эпизод в биографии Басаева разрешился мирным путем всего за несколько часов. Турецкие власти отпустили Басаева вместе с угнанным им самолетом в самостийную Чечню, где он мгновенно приобрел репутацию радикальнейшего националиста. От прочих радикальных националистов, каких тогда появилась уйма, Басаев отличался тем, что он-то оказался, к сожалению, радикалом действия, а не слова. Некоторое время он воевал на стороне азербайджанцев в Нагорном Карабахе, вместе с которыми в основном терпел поражения от армян, однако успел набраться военного опыта. Именно поэтому в августе того же 1992 г.

¹⁴ Mark Sageman, *Understanding Terror Networks*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004.

¹⁵ Подробнее см. Georgi Derluguian, «Che Guevaras in Turbans», *New Left Review*, I/237 (September-October 1999)

Шамиль Басаев возглавил чеченский добровольческий батальон в Абхазии.

Среди прочих добровольческих подразделений, воевавших против грузин в Абхазии, басаевский отряд прославился в первую очередь дисциплиной (у Басаева всегда царили порядок, отчетность и, в отличие от русских казаков, сухой закон), а также смелостью и воинской смекалкой. Перед атакой на грузинские позиции дерзкие, но довольно малочисленные чеченцы дико завывали волками и затем ошеломляюще стремительно бросались вперед, провоцируя панику. Однажды подобная психическая атака едва не стоила Басаеву жизни — грузинские пулеметчики не убежали и открыли огонь с заранее оборудованных позиций.

Наконец, уже в Абхазии Басаев заработал и, несомненно, сознательно культивировал «волчью» репутацию расчетливого и жестокого воителя, готового на самые радикальные меры, вплоть до террористических, чтобы добиться победы. На самом деле нет проверенных свидетельств, что бойцы чеченского отряда после взятия Гагры играли в футбол отрезанными грузинскими головами. Скорее всего, это типичная для такого рода войн мрачная страшилка. Однако факт, что сам Басаев ничуть не стеснялся подобных слухов и действительно предлагал абхазам для устрашения выставить вдоль линии фронта головы, отрезанные у трупов грузинских солдат. Впрочем, и это, скорее, могло быть проявлением чеченской бравады и черного юмора. Так Басаев подкалывал своих абхазских воинских побратимов, ожидая, что те сдрейфят и тем самым признают статусное превосходство чеченцев в «крутости».

Чеченцы, точнее — чеченские сельские парни джигитского возраста, наверное, в самом деле самые большие забияки и хвастуны на Кавказе (хотя конкуренция тут, конечно, велика). К этому их подталкивает острая статусная соревновательность, вообще свойственная кавказцам, но особенно горцам из народностей, которые в XVIII—XIX вв. изгнали своих феодальных князей и установили воинскую демократию¹⁶. Не вдаваясь в социально-эволюционные дебаты, здесь лишь вкратце заметим, что аналогии между антикняжескими восстаниями горских племен и изгнанием этрусских царей из древнего Рима носят далеко не случайный характер. Науке еще предстоит освоить этот удивительный историко-сравнительный материал. Есть серьезные основания полагать, что на Кавказе в то время возникли воинско-земледельческие сообщества с организацией, вполне сопоставимой с античной. Впрочем, это была воинская де-

¹⁶ См. Агларов М. А. *Сельская община в Нагорном Дагестане в XVII – начале XIX века*. М.: Наука, 1988.

мократия скорее брутально спартанского, нежели рафинировано-афинского типа. Беда и слава чеченских джигитов в том, что, как и спартанцы двумя тысячелетиями ранее, они периодически загоняют себя в положение, когда оказываются вынуждены доказывать свое риторическое бахвальство дерзкими до полного безрассудства делами.

Согласно данным вашингтонских экспертов по контртерроризму, в 1994 г. Басаев провел несколько месяцев в Афганистане, где побывал в лагерях боевой подготовки «Аль-Каиды». Учитывая его способности и навыки войн в Карабахе и Абхазии, можно предположить, что обмен опытом оказался взаимно полезным. Летом 1995 г. диверсионное подразделение с Басаевым во главе взяло в заложники около двух тысяч человек в южнорусском городке Буденновск и, захватив местную больницу, потребовало прекратить боевые действия в Чечне. Басаев заявил, что поскольку у чеченской стороны нет самолетов и ракет, чтобы ответить на уничтожение российскими военными мирного населения Чечни, то он и его боевики решили стать «живыми ракетами» и перенести войну вглубь России...

Однако зимой 1997 г. полный надежд на президентство Шамиль Басаев обещал поехать в Буденновск, чтобы просить прощения.

РЫНОК СИМВОЛОВ

На краю площади Свободы, возле руин того, что, судя по закругленной форме больших оконных глазниц, ранее было универсамом сталинской послевоенной постройки, местные торговцы развернули импровизированный рынок. На собранных на скорую руку прилавках из кирпича и досок можно было увидеть полный спектр пользовавшихся спросом товаров и услуг. Предприимчивый владелец спутниковой тарелки обогащался за счет предоставления услуг международной телефонной связи (проводная связь, как, впрочем, и вся остальная городская инфраструктура, по большому счету, более не существовала). Пара-тройка столиков специализировалась на торговле патриотическими товарами: чеченскими флагами разных размеров, зелеными бархатными беретами бойцов сопротивления, календарями и плакатами с изображением средневековых крепостей и других исторических памятников Чечни, а также портретами национальных героев – шейха Мансура (легендарного вождя восстания в конце XVIII в.), имама Шамиля и первого президента Чечни Джохара Дудаева. Можно было также приобрести фото волка – нового национального символа, – как правило, с носчивой надписью *«Подумай дважды, стоит ли связываться со мной»*

и даже коврики ручной работы со стилизованным изображением волчицы и лозунгами типа «Бог, Свобода, Ичкерия!» Большинство чеченцев не замечало, что от образа волка пахло язычеством, и что на лозунгах слово «Бог» писалось не «Аллах», а традиционно по-чеченски «Дёла» — еще одно наследие от исторически недавних времен многобожества (сосуществовавшего в Чечне с исламом вплоть до XVIII в.)¹⁷.

Бывший до войны директором Института истории Чечни Вахит Акаев подтвердил, что происхождение волчицы как национального символа Чечни остается загадкой. С перестройкой на читателя хлынул поток публикаций на тему национального прошлого — и вот тогда престарелый историк-любитель, провозглашенный «народным академиком», популяризовал волчицу как мифологическую покровительницу древних чеченцев. После смерти самодеятельного историка Вахит Акаев отправил нескольких аспирантов разобрать архив покойного, однако ни одного оригинального документа о волчице там найдено не было. Однако символ уже как-то прижился, вероятно, оттого, что был довольно удачно геральдически стилизован в круглой кокарде, завоевавшей сердца чеченцев, и затем появился на новом национальном флаге¹⁸.

Участовавший в разработке флага Лёма Усманов утверждает, что изначальный эскиз предполагал чисто национальный и светский символизм: тонкая красная полоса означала пролитую во многих войнах кровь чеченского народа; более широкая белая полоса означала надежду чеченского народа; темно-зеленое поле знаменовало плодородность родной земли¹⁹. Трудно поверить, что Усманов не осознавал возможности восприятия зеленого поля как символа ислама. И тем не менее Лёма в самом деле являет собой типичный пример советского интеллигента-перестроечника: честного бессребреника, страстно преданного идее и довольно наивного на фоне беспринципной и корыстной политики посткоммунистического периода.

Вскоре после чеченской революции в ноябре 1991 г. весьма тогда известный в Чечено-Ингушетии оппозиционер и борец с партиократией Лёма Усманов был близок к победе на выборах мэра Грозного. Но, как бывает сразу после революций, с исчезновением прежней власти персонаж народного трибуна-обличителя уже начал стреми-

¹⁷ Рассмотрение чеченского язычества см. у Anna Zelkina, *In Quest for God and Freedom: The Sufi Response to the Russian advance in the North Caucasus*, London, Hurst and Co, 2000.

¹⁸ Личный разговор с Вахитом Акаевым, Москва, июнь 1999 г.

¹⁹ Личный разговор с Лёмой Усмановым, Эванстон, октябрь 1999 г.

тельно устаревать. Новому президенту Дудаеву, судя по всему, показалось куда полезнее заручиться поддержкой лица более влиятельного и полезного. Так градоначальником стал Беслан Гантамиров — бывший милиционер, в конце восьмидесятых ушедший в бизнес после отчисления из Московского юридического института, насколько известно, за обычную неуспеваемость. В 1990 г. Гантамиров вернулся в Чечено-Ингушетию богатым человеком и окружил себя группировкой вооруженных последователей из так называемой «Партии исламского пути». Они и стали штурмовым отрядом чеченской революции 1991 г., сделавшись после ее победы «муниципальной полицией» Грозного — как только их предводитель стал новым мэром столицы.

Спустя два года, в 1993 г., мэр Гантамиров в союзе с частью нового парламента Ичкерии вступил в вооруженный конфликт с президентом Дудаевым. По мнению местных жителей, причиной конфликта стали планы ренационализации успешно «прихваченного» Гантамировым экспорта нефти — президент Дудаев отчаянно нуждался в средствах на строительство армии и государства. Это был типичный для едва ли не всех бывших республик СССР конфликт между новыми президентами и постсоветскими парламентами, которые теряли значение с выстраиванием президентских вертикалей власти, а также между правителями стран и претендующими на самостоятельность мэрами крупнейших городов. В дудаевской Чечне этот конфликт произошел раньше и более открыто, со стрельбой на главных улицах. Дудаев тогда победил, не в последнюю очередь благодаря вернувшемуся из Абхазии отряду Шамиля Басаева. Гантамирову пришлось бежать из Грозного в родное село, которое превратилось в эдакую сепаратистскую мини-вотчину внутри непризнанной дудаевской Ичкерии. В 1994 г. при весьма небрежно скрываемой поддержке российских спецслужб Гантамиров повел собственную армию «контрас» на Грозный, чтобы свергнуть Дудаева. Неудача похода была столь же жестокой, как и неожиданной. Именно тогда, действуя в растерянности и досаде, московские покровители Гантамирова из кремлевской администрации убедили президента Ельцина наказать своенравного мятежного генерала Дудаева вторжением силами регулярной армии.

Гантамировское вооруженное формирование стало одной из первых групп, придавших значение исламского символизма зеленому полю чеченского флага. Учитывая присущий Гантамирову цинизм наемника, его обращение к религии выглядело не более чем идеологической маской, однако его кураторы в Москве (вероятно, с учетом приобретенного в Афганистане опыта спецопераций)

одобрили подобный шаг. Гантамировцы стали воевать под новым чеченским флагом, но без ичкерийской геральдической волчицы. Вместо языческого зверя-праматери стали рисовать исламский полумесяц на зеленом поле.

В данном случае наглядно видно, как религия в Чечне политизировалась с нескольких направлений, притом не только с Ближнего Востока. Раз возникнув, динамика политизации религии стала самовоспроизводящейся, поскольку данная стратегия оказалась эффективнее чисто светского национализма и прочих идеологических практик. Как созданные в 1980-х при поддержке ЦРУ в Афганистане и странах Ближнего Востока новые движения фундаменталистов и сети их тайных ячеек давно вышли из-под контроля спецслужб и приобрели динамику самостоятельного политического развития, точно так же и разрозненная, запутанная и жестокая политическая борьба в Чечне в девяностые годы дала непредвиденно мощный импульс подъему религиозных настроений в обществе. Выражаясь языком социологии, религиозное возрожденчество добавило новый слой каузальности (причинности) к постсоветским процессам реорганизации общества. Однако религия не становится социальной силой сама по себе. Было бы словесным фетишизмом утверждать, будто она является самодвижимым явлением. Скорее, ислам стал средством политической и моральной легитимности, каналом доступа к ресурсам ближневосточных политических кругов, а также источником пропаганды, позволившей постепенно вытеснить дискредитировавший себя национализм. Религия в Чечне стала не «фактором», а целым полем острой конкуренции, переходящей в настоящие сражения по мере того, как различные вожди и их вооруженные формирования стали заявлять о приверженности именно их «истинному» исламу.

ВИДЕОРАЗВАЛ

После прилавка с патриотикой мы перешли к изучению видеокассет на соседнем столике. Выбор дешевых пиратских копий (приблизительно по доллару за штуку) скверного качества являл собой обычный ходовой набор низшего сегмента постсоветского видеорынка. Иными словами, это были доступные по форме развлекательные фильмы основных киножанров: мексиканские сериалы, примитивные американские мультики, индийские мелодрамы, несколько ностальгических картин советской эры, гонконгские фильмы с мастерами боевых искусств и голливудские боевики со Шварценеггером, Сталлоне и Ван Даммом (неудивительно, что многие чеченские боевики походили скорее на Рэмбо, нежели на своих ле-

гендарных предков). Возглавлял в то время список хитов видеорынка фильм «Отважное сердце». Работавшая в то время в Гарварде шотландка по происхождению Фиона Хилл рассказывала, что все тот же Басаев по его собственному признанию будто бы 14 раз смотрел этот боевик и вообще обожал шотландцев как горцев и братьев чеченцев по вековой борьбе против имперского – русского и английского – господства²⁰. Как выясняется, Басаев мечтал умереть с призывом «Свобода!» на устах, подобно сыгранному Мелом Гибсоном герою кинофильма²¹. В самом деле, в арабской киноиндустрии пока не овладели гибсоновским рецептом коктейля из исторической развлекательной мелодрамы, компьютеризованного гиперреализма и сверхкровоавого энергичного действия. Там, впрочем, возникли свои варианты сверхкровоавого действия, снятого непрофессионально и безыскусно, зато пафосно и невыносимо назидательно.

Потребовалось какое-то время, чтобы отыскать видеофильмы собственного чеченского производства. Мальчик, посланный на их поиски к другому торговцу, прибежал, наконец, с восемью кассетами. Вывезти их из Чечни оказалось довольно опасным и неприятным приключением, поэтому отдельное спасибо бойцам Воронежского ОМОНа, отпустившим нас с умеренными финансовыми потерями и даже в конце концов поверившим нашим с Игорем Кузнецовым заверениям об историко-архивной ценности подобного рода материалов. Позднее просмотр показал, что видеопленки в основном содержали любительскую съемку различных чеченских

²⁰ Личный разговор с Фионой Хилл, Эванстон, декабрь 1999 г.

²¹ В соседней Ингушетии рассказанную Фионой Хилл историю прокомментировали следующим образом: *«Да, похоже на наших братьев-чеченцев. Но сами мы, ингуши, предпочитаем идеи другого шотландца – Адама Смита»*. Ингушский упор на рыночный прагматизм вопреки чеченской браваре шел с самого верха возглавляемого генералом Русланом Аушевым режима просвещенного военного деспотизма. Действия этого профессионального солдата, геройски прошедшего через войну в Афганистане, теперь были направлены на сохранение мира в крошечной, бедной ресурсами Ингушетии, потерпевшей болезненное поражение в недавней войне с соседней Северной Осетией и подозреваемой Москвой в пособничестве чеченским сепаратистам. По не менее прагматическим причинам политическое маневрирование генерала Аушева не могло соответствовать рецептам Адама Смита. Относительная стабильность в Ингушетии финансировалась крайне непрозрачными налоговыми льготами, которые Москва в тот период предоставляла как плату за лояльность Ингушетии, так и попросту ввиду недостатка средств в центральном бюджете.

митингов, заявления различных полевых командиров, которые были записаны в условиях военного подполья или в горных лагерях, неотредактированный материал съемок боев с российскими войсками, а также записанные со спутниковых тарелок новостные выпуски из Чечни (в основном ITN, BBC, CNN и российского НТВ). Во время войны чеченцы жадно ловили новости о событиях в собственной стране из иностранных (зачастую единственно доступных) источников и остро переживали, чтобы их борьба и страдания были увидены миром.

Одна из кассет содержала исламистскую пропаганду джихада. Первый длинный отрывок представлял съемку засады на российскую бронетанковую колонну. Подразделением в засаде руководил *амир* (воевода, командир) Хаттаб — исламистский интернационалист из Саудовской Аравии, который ранее воевал в Афганистане²². Комментарий на арабском за кадром вел сам Хаттаб. В переводе одной из моих студенток американо-арабского происхождения комментарии Хаттаба были столь же безыскусны, как и видеоряд. Этот примитивизм, однако, создавал по-своему достоверное и страшноватое зрелище. Камера дрожала в руках у оператора, съемка была невыносимо затянута (минут двадцать где-то вдаль по горной дороге все ехали и ехали, грохоча, крохотные танки и бронетранспортеры), за кадром раздавались тяжелое дыхание, хруст веток, выстрелы, крики и затем протяжным, эмоционально-напряженным речитативом, как будто распевая Коран, арабская речь: *«Посмотрите, сколько уничтожено танков! Аллах даровал нам победу. Сколько врагов повержено! Аллах велик!»*

Особенно любопытно, что заснятыми оказались эпизоды общения Хаттаба с чеченцами. Арабский командир говорил с ними не на арабском и не на чеченском, а на простом русском языке. Собственно, на каком еще общем языке могли они изъясняться? Русский поневоле остается языком межнационального общения даже среди антироссийских повстанцев, особенно когда речь заходит о танках, пулеметах, вертолетах и прочей современной технике. Хаттаб вероятно знал русский со времен, когда участвовал в гражданской войне в Таджикистане в 1992–1993 гг.

Вторая часть той же хаттабовской кассеты являла собой уже более профессионально смонтированный сборник кадров, снятых во

²² Смерть Хаттаба относится к весне 2002 г. Умер он, возможно, от старых ран, хотя в российских газетах того времени распространялись слухи, что он был отравлен письмом, переданным российским двойным агентом или же иорданской разведкой, столь средневековым методом избавлявшейся от своих врагов.

время различных боев: чеченский пулеметчик ведет огонь по вертолету в небе; цепочка боевиков на горной тропе; сожженные танки и горящие дома. Видеоряд сопровождался бравурно-помпезными и одновременно слащавыми маршами явно ближневосточного происхождения, что однозначно не совпадало с чеченскими более «лезгинскими» вкусами. Вкюпе с комментариями Хаттаба на арабском кассета оставляла впечатление нацеленного на зарубежного зрителя материала. Вероятнее всего, где-то она служила исламистской пропагандой всемирного джихада.

Я собрался было расплатиться с чисто выбритым продавцом-мужчиной лет сорока – бритые в те дни становилось признаком не только современной городской культуры, но и определенной оппозиции по отношению к поднимающейся волне исламизации. Этот продавец вдруг попытался удержать одну из кассет и сунуть ее под стол. Несмотря на его протесты и заверения, что эта кассета вовсе не его и что он никогда не стал бы держать подобное в своем доме, именно поэтому я настоял на своем праве купить и ее. Кадры были в самом деле ужасающими: суд и расстрел обвиненного в сотрудничестве с российскими властями учителя-чеченца, а также перерезание кинжалом глоток пленных русских солдат. Когда в годы недавней войны эта пленка начала ходить по Чечне, многие городские чеченцы были потрясены и возмущены подобной дикостью, тогда как российская военная пропаганда указывала на эти кадры в качестве доказательства звериной сущности противника.

В самые первые дни войны, по многим свидетельствам, чеченские командиры обращались с пленными федералами почти как с гостями – скорее всего потому, что пока не возникло иной модели поведения по отношению к той самой армии, в которой недавно служили многие чеченцы (включая бывшего сержанта Басаева, майора ГАИ Арсанова, полковника-артиллериста Масхадова и генерал-майора ВВС Дудаева). Есть и вполне правдоподобные рассказы о рыцарском отношении российских офицеров к раненым боевикам, но также только в самом начале войны. Как показывает британский социолог Майкл Манн, обобщивший в мрачном, но тем более полезном труде массив эмпирических данных о геноцидах и военных преступлениях XX в., во всех случаях злодеяния начинали происходить лишь по мере раскручивания процесса эскалации насилия, состоящего из обмена все большими жестокостями (нередко преувеличенными молвой). Люди не становятся убийцами в одночасье. Для этого требуется эмоциональная брутализация, мотивируемая страхом за себя, мстостью за своих и дегуманизацией образа противника, к которому перестают применяться

человеческие нормы. В данном случае считалось, что горло перерезали не желторотым призывникам, и без того настрадавшимся от военной «дедовщины», а матерым солдатам-контрактникам, которые «приехали убивать за деньги». Как бы то ни было, в отличие от горожан (многие из которых едва ли могли знать, как перерезать горло барану или корове), куда более близкие навыкам стародавнего быта малообразованные сельские жители Чечни, особенно безработная молодежь, которая после 1991 г. едва ли вообще ходила в школу и которая при этом вынесла на себе основную тяжесть боев, расценили эти кадры как вполне оправданные и необходимые акты возмездия. С исчезновением государственного закона в Чечне возрождалась вера в крайнее средство кровной мести.

ВЫБОРЫ

Однако сразу после вывода федеральных войск в Чечне января 1997 г. в отношении России преобладали примиренческие настроения, выражаемые как посредством местных газет, так и предвыборных пропагандистских листовок. Наиболее примиренческий характер, как уже упоминалось, носили агитлистки Шамиля Басаева, ввиду очевидной перспективы обретения государственной власти старавшегося избавиться от репутации террориста. Двумя месяцами позже новоизбранный президент Аслан Масхадов, безуспешно пытавшийся избежать раскола и в первую очередь успокоить набравшего на выборах более четверти голосов Басаева, назначит его главой кабинета министров. Однако малообразованный и импульсивный Басаев окажется непригоден к роли государственного деятеля, тем более управленца в условиях разрушенной Чечни, по-прежнему окруженной Россией. После серии провалов Басаев в крайне разгневанном состоянии подал в отставку и примкнул к радикальной оппозиции. До этого момента крайние националисты и сторонники исламистского возрождения находились лишь на окраине политической жизни Чечни. На президентских выборах 1997 г. их кандидаты, включая Яндарбиева, едва набрали 10% всех голосов, что достоверно отражало взгляды тогдашнего чеченского общества. В отличие от выборов в большинстве постсоветских стран (обыденно сопровождающихся апатией, манипуляциями и подтасовками), выборы в Чечне были грамотно организованы, а избиратели голосовали с энтузиазмом.

Героем дня был бегло говоривший по-русски дипломат из Швейцарии Тим Гульдманн, в качестве посредника ОБСЕ проведший

большую часть войны в самой Чечне²³. Он принадлежал к новому поколению государственных служащих Швейцарии, вдохновенно-му европейской идеологией международной юридической защиты прав человека. Неожиданно для оказавшегося в самой гуще яростной войны дипломата из нейтральной страны Гульдманн оказался на изумление дотошным и активным переговорщиком. После окончания войны именно он смог организовать в Европе сбор средств и оборудования для проведения выборов в Чечне, а также прибытие групп наблюдателей, необходимых для обеспечения легитимности нового президента и парламента. Своей активностью Гульдманн нажил немало врагов со всех сторон и трижды объявлялся *persona non grata* по трем различным причинам. Во-первых, в годы войны созданное Москвой чеченское правительство бывшего первого секретаря Доку Завгаева было оскорблено своим непризнанием в качестве самостоятельной и полномочной стороны; во-вторых, Гульдманн рассорился с российским парламентом, вернее, с его великодержавным большинством; наконец, когда в предчувствии своего неминуемого поражения на выборах временный президент Зелимхан Яндарбиев в отчаянии обратился к радикально исламистскому аргументу о том, что без наблюдения Запада выборы в Чечне прошли бы не в пример лучше. Однако большинство чеченцев весьма ценили роль Гульдманна и были благодарны за его усилия — не потому, что он помог им выбрать конкретного лидера (59% проголосовало за отставного командира и умеренного политика Аслана Масхадова, и этот процент был бы больше, если бы беженцы за пределами Чечни имели бы возможность принять участие в выборах), а в основном потому, что активное присутствие дипломата из Швейцарии было воспринято как подтверждение вовлеченности Европы в построение будущего Чечни. Гульдманн служил символическим заслоном иному, более исламскому варианту будущего.

ГЕНДЕР И ИСЛАМ

В центре новостей из Чечни находились сплошь мужчины самого мужественного вида и боевого возраста — короче, всевозможные бородачи с автоматами. На самом деле там было куда больше за-

²³ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является институционализированным результатом Хельсинкских соглашений 1975 г., подписанных главами всех тогда существовавших стран Европы и Северной Америки на пике разрядки в годы «холодной войны». В ходе этнических войн 1990-х ОБСЕ стала каналом для совместных дипломатических усилий западноевропейских государств.

урядных пожилых мужчин уставшего и не очень здорового вида, множество неожиданно веселой детворы и более всего женщин, молодых, зрелых и немолодых, подчас с удивительно благородными и добрыми лицами, несмотря на бедственный быт и ужасы военного времени. В какой-то момент глаз привыкал к рэмбообразным лихим парням, пронесившимся на внедорожниках, и к многочисленным охранникам перед входами во всевозможные штабы и офисы, с лендой поигрывающим оружием. И тогда становилось видно, что земля чеченская буквально держится на женщинах, что они-то в этих нечеловеческих условиях и составляют структуры жизнеобеспечения.

Там начинался какой-то другой чеченский мир, о котором мне, как мужчине, судить труднее. Но кое-что все же прорывалось на поверхность. Собственные, для внутреннего потребления чеченские газеты и телепередачи зимы 1997 г. отводили непонятно много комментариев тому, что довольно выпендренно и иносказательно именовалось «проблемами возрождения древних национальных традиций». Потребовалось вчитаться повнимательнее, чтобы понять, о чем идет речь. Оказалось, о полигамии и умыкании девушек с целью заключения брака. Из разногласия не всегда внятных мнений постепенно становилось ясно, что это было вовсе не радостным возвратом к исконно горским обычаям, запрещенным коммунистами, а проявлением острейшей нестабильности общества.

Сторонники многоженства, среди которых оказалось на удивление много явно неплохо образованных женщин среднего возраста, утверждали, что в обществе, лишившемся прежних механизмов социальной защиты, особенно при столь высоком проценте незамужних девушек и вдов, освященный религиозным законом полигамный брак предоставлял женщине более стабильный и почетный способ выживания, нежели распространившееся в годы войны негласное сожительство. Неизменно приводился дополнительный аргумент патриотического характера — женщины должны рожать больше детей, чтобы народ восполнил демографические потери после разрушительной войны. В самом деле, есть немало данных о том, что, несмотря на разруху, в Чечне наблюдается мощный рост рождаемости — по крайней мере, в сельских районах. Аргумент сводился к тому, что после такого количества потерь среди чеченских мужчин наилучшим способом обеспечить законнорожденность детей было бы многоженство.

Вполне предсказуемо, что духовенство поддержало подобную точку зрения. Более того, поколением ранее уже имел место убедительный прецедент. В годы сталинской коллективизации и особен-

но после депортации 1944 г. чеченцев и ингушей в Среднюю Азию традиционные исламские нормы поведения были пересмотрены с учетом большого числа вдов. В те крайне трудные годы возникали новые подпольные мечети, прихожанами которых были исключительно женщины (этот исторический эпизод остается крайне мало изучен). Еще больше женщин ушло тогда в тайные суфийские кружки, которые давали им духовную и социальную поддержку за пределами их вынужденно неполных семей.

В то же время противники полигамии, среди которых также было много образованных и красноречивых женщин среднего возраста, громко возражали против подобного «возврата к варварству». По их словам, многоженство никогда не было чеченской традицией, а скорее относилось к «персидским шахам и турецким султанам». В прошлом полигамия хоть и имела место, однако была крайне редким явлением в основном ввиду экономических факторов. Крестьяне Северного Кавказа всегда были бедны и скромны в быту. Даже среди князей немногие могли построить себе дворцы. Но главное, гаремы в горском обществе были лишены своего основного социально-статусного значения. Если уж на то пошло, наиболее ценным предметом и показателем социального статуса горца были его конь и оружие, а не обширный гарем жен и наложниц.

Относительно брака способом умыкания выступавшая по ингушскому телевидению учительница сформулировала убедительное (оттого еще более печальное) заключение по данной социальной проблеме. Хотя умыкания случались и в прежние времена, как правило, они совершались с негласного согласия невесты и иногда даже родителей. Подобное джигитство на самом деле прикрывало стыд от бедности и предназначалось для избежания непосильных расходов на выкуп и свадебные торжества. Девушка могла таким образом соединиться с понравившимся ей парнем, даже если тот еще не заработал где-то на шабашке в Казахстане достаточно денег на обзаведение домом и хозяйством. После налаживания семейного быта и рождения первенца происходило торжественно церемониальное примирение с родителями и братьями молодой жены.

Но новая волна похищений конца 1990-х гг. была прямым беззаконием и насилием. Девушек захватывали грубо и нагло, на улице по дороге из магазина или школы, даже порой под угрозой оружия, практически как заложников ради выкупа или обмена. Девушек везли куда-то в тайное место и тут же насильовали, после чего они как «подпорченный товар» автоматически должны были стать собственностью того, кого вовсе не избирали. Корень проблемы,

по мнению учительницы, заключался в растущем культурном и поведенческом разрыве между полами и поколениями. Многие девочки прилежно и хорошо учились в школе, приобретали городские манеры, желали бы продолжить образование и затем найти современную работу. Их едва ли привлекала традиционная патриархальная перспектива сделаться годам к восемнадцати многодетной матерью и молчаливой младшей домохозяйкой в подчинении у властной свекрови (которой, конечно, некогда пришлось самой пройти через все это).

Тем временем ни общественная среда, ни сверстники большинства горских парней не способствовали столь же прилежной учебе. Корпеть над учебниками и радовать педагогов, виделось им, как-то не по-джигитски. В итоге, молодые парни не знали ни рамок и ритуалов традиционного ухаживания, ни норм современного городского поведения (как, например, пригласить девушку потанцевать или подарить ей цветы), ни элементарной законности. Ингушская учительница завершила свое печальное выступление риторическим вопросом: «*Что же нам теперь делать с целым поколением необразованных хамов?*»

Объяснение ингушской учительницы совершенно согласуется с выводами из обширного опыта социологов, изучавших различные этнические гетто в США. Установка на образование и прививаемую им современную самодисциплину возникает среди мальчишек и удерживается только там, где вырисовывается жизненная перспектива стать кем-то значимым в результате приобретения подобного рода навыков и соответствующих видов символического капитала — врачом, адвокатом, инженером-конструктором, предпринимателем. Там, где такая перспектива едва ли видится, поскольку в окружении отсутствуют ролевые примеры взрослых мужчин, добившихся профессионального успеха, начинают действовать противоположные установки на молодецкую развязность, показное рискованное поведение и прочие статусные признаки подростковой «крутизны» — что известный афроамериканский социолог Элайджа Андерсон назвал «кодексом улицы»²⁴. В лучшем случае это приводит к карьерам, основанным на таланте и успехе в физических, более дворовых видах спорта, как футбол и баскетбол.

Будучи представителем советской, прогрессивно-светской системы образования, ингушская учительница не пошла далее в своих рассуждениях. Тем солиднее показался следующий гость про-

²⁴ *Elija Anderson, Code of the Street: Decency, Violence, and the Moral Life of the Inner City.* New York: Norton, 1999.

граммы, моложавый, но уже степенно держащийся бородатый мужчина, представленный как преподаватель недавно основанного Исламского университета. Он отметил, что нормы шариатского права могут помочь в разрешении данной проблемы. Он обвинил во всем именно советское безбожие, которое и произвело молодых варваров. В шариатском праве, как рассуждал преподаватель ислама, четко прописаны и обязанности мужчины, и права женщины, не говоря уже об освященной религией высокой духовности семейных отношений. Его выступление отличалось спокойствием и уверенностью, знанием подробностей традиций исламского права. На фоне горечи и растерянности учительницы слова исламиста звучали, надо признать, гораздо более убедительно и обнадеживающе.

Как уже упоминалось, за исключением нескольких более технических видов труда, в которых господствовали мужчины (помимо владения оружием это эксплуатация нелегальных нефтяных скважин и аппаратов спутниковой связи, продажа видеокассет, автомобильный извоз и ремонт плюс забой скота), женщины преобладали во всех уцелевших после войны сферах экономической деятельности в Чечне. Это в основном было связано с сельским и надомным трудом и, конечно, уличной торговлей. Большинство торговцев в Грозном составляли женщины в теплых шерстяных платках, каких-то зипунах и резиновых калошах или сапогах, продававшие жвачку, аспирин, авторучки, жареные семечки, сигареты, домашние пирожки, импортные бананы и прохладительные напитки.

Алкоголя нигде не было видно, хотя у некоторых пиво и водка были припрятаны под прилавком. Повсюду висели сделанные второпях большие надписи, как ни странно, на русском языке, очевидно, все еще ассоциировавшемся с официальной сферой указов: *«Не гневи Аллаха, брось пить!»* Запрет на алкоголь был проявлением исламского возрождения и следствием вызванной к жизни войной необходимости внутреннего сплочения и жесткой дисциплины. Сухой закон считался также актом культурного сопротивления — в противоположность поведению нередко подвыпивших русских солдат. Однако процесс религиозной морализации шел далеко не беспорно.

Накануне поездки в Грозный на одной из советского вида центральных улочек Назрани мы зашли пообедать в маленькое безупречно чистое, просто неправдоподобно вылизанное кафе, украшенное заботливо накрахмаленными занавесками, гирляндами неестественно ярких пластмассовых цветов и здоровенным никелированным электросамоваром на буфетной стойке. Средних лет

оживленно щебечущая хозяйка кафе («Ой, мальчики, зовите меня тетей Асей, а то моего ингушского имени вам все равно не выговорить») была одета столь же опрятно, но и с такими же неестественно ярко-окрашенными волосами, выбивавшимися из-под белой кружевной наколки на голове. Пока мы заказывали манты и чай, в кафе вошел сердитый длиннородый старик в овчинном тулупе и папахе. Размахивая палкой, он гневным тоном обратился к владелице кафе на ингушском. Но та ответила еще более эмоциональной тирадой, сопровождаемой жестами в нашем направлении. После ухода явно непрошенного посетителя возбужденная недавней перепалкой тетя Ася объяснила нам причину конфликта: *«Да это мулла приходил, требовал закрыть кафе на время Рамазана. Пост сейчас у мусульман. А я ему говорю, у меня, вон, клиенты не только мусульмане. Куда я кафе закрою? Я же вдова, понимаете? Мне надо кормить двоих детей и брата-инвалида».*

О НЕОЧЕВИДНОСТИ ГОРСКИХ КЛАНОВ

Найти водителя с машиной оказалось делом весьма сложным, поскольку высадившийся в те дни десант международных наблюдателей и корреспондентов ведущих мировых агентств успел произвести на жителей Назрани и Грозного глубокое впечатление. Все эти важные иностранцы очень спешили и имели неосторожное обыкновение расплачиваться стодолларовыми купюрами из объемистых пачек. Местные стали быстро приспосабливаться к внезапно возникшим новым рыночным возможностям, используя их самым разным образом. Наиболее образованные предлагали услуги переводчика, советника или журналиста-стрингера; владельцы хороших автомашин стали шоферами (с оплатой, превосходившей расценки лимузинных служб на Манхэттене); цены на аренду сколь-нибудь целого жилья с удобствами взлетели до умопомрачительных высот. Вскоре, однако, выяснилось, что козырной картой на этом рынке оказался автомат Калашникова, и целые отряды телохранителей приступили к охране зарубежных журналистов и их клади, действуя наперегонки со стремительно плодившимися захватчиками заложников и простыми грабителями. Не имея и близко бюджета CNN, оставалось предпочесть метод мимикрии: в поле носить достаточно неприметную одежду и в основном разъезжать, как и большинство местных, на маршрутках. И тем не менее легковые машины были не в пример удобнее, а их водители могли нам помочь как переводчики.

Наш водитель был за умеренную плату нанят в соседней Ингушетии. До 1991 г. это была составная часть Чечено-Ингушской

АССР, а два коренных языка родственны в достаточной степени, позволяющей называемымся *вайнахами* (дословно — *нашими*) народам понимать друг друга. Поездка в Грозный была организована нашим новообретенным ингушским другом и коллегой, который как раз к моменту распада СССР успел получить диплом историка в Чечено-Ингушском университете (впрочем, как он искренне признался, учился он в надежде сделать партийную карьеру). С началом войны этот молодежавый столичного вида мужчина был вынужден переехать к сельским родственникам в дом, где уже жило двадцать человек, половина из которых были беженцами из зоны другого, осетино-ингушского конфликта. Этот образованный, ироничный и довольно амбициозный горожанин сильно тяготился однообразным, расписанным требованиями традиций бытом ингушского села. Для моих социологических исследований он стал ценнейшим источником информации, способным одинаково глубоко, хотя и эмоционально неоднозначно понимать обе стороны социального раздела между современным городом и кавказским селом. Наш приятель принадлежал к категории особо ценных информантов, что он быстро уразумел и воспринимал с неподдельно веселым энтузиазмом. Проезжие журналисты, с которыми ему доводилось общаться по работе, интересовались только политическими раскладами и не слишком располагали поговорить по душам о жизни в глуши и грязи, где командовали и захватывали себе все блага неотесанные парни с автоматами и где приходилось прятаться от стариков, чтобы выкурить сигаретку посреди постного месяца Рамазана.

Рано утром мы вместе отправились на стоянку такси близ местного рынка. После ряда переговоров с водителями наш ингушский друг представил нам скромного пожилого мужчину, к которому он обращался по-свойски «дядя Мухарбек» и прошептал нам по-русски: *«Вообще-то я с ним в жизни не встречался, но мы тут немного поговорили и выяснили, что мы однетейповцы. Так что в случае чего... Боже упаси, конечно... ну, вы сами понимаете... он вроде бы несет за вас ответственность, как за гостей нашего рода. В такие дурные времена, как сейчас, если честно, родственные традиции уже не та гарантия, что считается, но это все же лучше, чем ничего».*

Традиционные патрилинейные кланы, в Чечне и Ингушетии обозначаемые арабским словом «тейп» («*таифа*» — «род», «группа»), в годы недавних потрясений и войн стали предметом многочисленных спекуляций. Романтически настроенные националисты вновь обратились к идее основанного на традиционном родовом правлении «третьего пути» перехода к современной демократии. Мыслящие ориенталистскими категориями сотрудники россий-

ских спецслужб и некоторые претендующие на посвященность журналисты выстраивали подробные схемы сфер влияния кланов. Предполагалось, что это может выявить скрытые пружины политических процессов на Северном Кавказе. В свою очередь, я предложу основанное на двух социологических концепциях практическое толкование того, как работают тейпы²⁵. Во-первых, они являются хранилищем коллективных репутаций, используемых в рамках своей этнической общины в качестве *социального капитала*. Во-вторых, тейпы служат *сетями доверия*, которые регулярно оказываются востребованными и задействованными во взаимодействиях вне рамок семейной взаимности.

Однако сети доверия могут оказаться разрушенными в силу многих причин, особенно в трудные времена. Кроме того, социальный капитал трудно измерить, поскольку он не переводится в денежное исчисление. Жители Северного Кавказа обычно ведут долгие беседы о делах своих дальних родственников, отпускают колкие шутки в адрес достоинств того или иного рода или же (по мнению иностранцев) пускаются в безудержную похвальбу. В действительности эти ритуалы являются средством установить относительную ценность социального капитала, связываемого с именем того или иного рода. Выпускники Гарвардского, Йельского или Нортвестернского университета привычно пускаются в аналогичные микросоциальные ритуалы, причем делают это почти ровно в тех же целях. Сети алумниев-выпускников элитных колледжей, так же как и социальные сети горских родов, предоставляют более или менее реальную надежду и пути-цепочки достижения практических целей: поиска работы, партнера по бизнесу или соответствующей социальному статусу невесты. Подобным же образом родовые сети позволяют оценить доселе ничем не проявившего себя молодого человека, оценить его как потенциального зятя либо завербовать его в бригаду отходников, отправляющихся на шабашку, или же в отряд боевиков.

Там, где нет эффективной полиции, чтобы заставить выполнять условия соглашений и отсутствует накопленный бюрократическим механизмом архив личных дел и аттестатов, позволяющий оценить достоинства обращающегося, репутация рода остается мери-

²⁵ Тимоти Эрл был крайне добр, оказав мне помощь в уяснении социальных механизмов и функций родов. См. Timothy Earle, *How Chiefs Come to Power: The political Economy in Prehistory*, Stanford: Stanford University Press, 1997. В моей работе я совместил социологическое видение Эрла с идеей Бурдьё о социальном капитале и некоторыми концепциями обществоведения о доверии, например, Diego Gambetta (ed), *Trust: Making and Breaking Cooperation Relations*, Oxford: Blackwell, 1988.

лом решения и позволяет построить доверие. В большинстве случаев коллективная репутация действительно срабатывает, поскольку в плотной социальной среде местных контактов люди стараются не навредить чести своего рода каким-либо проступком, за который им придется отвечать в первую очередь перед собственными родственниками. Однако функция репутации далека от совершенства, поскольку существуют соперничающие формы социального капитала и различные типы сетей доверия, где клановое родство может отступать на второй план, особенно когда этого требует организационная логика более формальной среды. В советские времена это была бюрократия, где своих нередко наивных одноклассников начинали чураться, чтобы сделать карьеру, а в более недавние времена таковыми стали исламистские братства и отряды боевиков. Немаловажным отличием родов от племен является отсутствие у первых формального руководства или вождя — они представляют собой расширенные семьи, которые можно непосредственно наблюдать разве что на самых важных свадьбах и похоронах.

Выданная нам родом гарантия безопасности стала представляться еще более призрачной, когда мы узнали, что у дяди Мухарбека его предыдущую почти новую машину отобрали чеченские боевики. (Из-за громких похищений российских журналистов и военных оставался в тени тот факт, что абсолютное большинство и заложников, и жертв ограблений в межвоенной Чечне были местного происхождения — попросту потому, что за ними не надо было далеко ходить, что типично для обыденной преступности во всем мире.) Дядю Мухарбека остановили по дороге на рынок в Дагестан: *«Вот так запросто, остановили на шоссе какие-то ребята с автоматами и по нашему же мне сказали, что моя машина реквизирована на нужды национальной борьбы, ха-ха! И что? Да ничего, пришлось возвращаться домой на попутках. Могли бы и убить, но я никого из этих абреков не узнал, так что кровной мести они не боялись».*

Дядя Мухарбек приобрел ту машину на сбережения лучших советских 70–80-х годов, когда работал на нефтяных месторождениях в Сибири. Еще раньше, в казахстанской ссылке сталинских времен, он научился бегло говорить по-русски и водить машину, а женой его стала украинка из раскулаченной семьи, сосланной в Среднюю Азию еще в тридцатых. Она научилась говорить на ингушском, однако на мой вопрос, перешла ли она в ислам, Мухарбек обыденно ответил: *«Кому это важно в деревне, где все знают друг друга? Когда нужна помощь, моя жена всегда рядом с другими женщинами, например, на свадьбах и похоронах, но она не читает молитвы. Это молодежь сейчас удалилась в религиозность. В советские времена мусульманин — немусульманин, это было не очень важно».*

ПРОПАГАНДИСТ

Над ведущим к площади Свободы широким проспектом висел «фирменно» выполненный и, наверное, очень дорогой билборд с лаконичным призывом на русском: «Исламский порядок: Мовлади Удугов». Прежде малоизвестный местный журналист и министр информации при сепаратистском режиме Дудаева в ходе недавней войны стал гроссмейстером чеченской пропаганды «на зарубеж». Его эффективность была угрюмо признана даже влиятельным российским генералом, заявившим, что один Удугов стоит танкового полка. Призыв к исламскому порядку был хорошим примером его эффективности как пропагандиста: эти навевающие воспоминания два слова увязывали чеченскую мечту о более защищенной, нормальной послевоенной жизни с коллективной самоидентификацией, ярко проявившейся в ходе сопротивления неверным «федералам». Удугов утверждал, что лишь исламское правление могло принести порядок в Чечню, народ которой слишком анархичен, чтобы подчиняться кому-либо, кроме Бога. Это было самым продуманным и ярким выражением исламистского проекта в межвоенной Чечне. Тем не менее нескольким иностранцам удалось заметить удивительно большое число чеченцев, с нескрываемым пренебрежением относившихся к Удугову²⁶. В образованных кругах его называли неофашистом или «нашим Геббельсиком», а среди простого народа можно было часто услышать, что Удугов просто «нехороший человек».

Объяснение отчасти может быть найдено в социальной травме его юности. Столь важное в глубоко патриархальной Чечне семейное происхождение Удугова окутано некоей неловкой тайной, намекающей на незаконнорожденность. Юный Удугов, судя по рассказам знавших его в ту пору людей, остро страдал от того, что был лишен доли социального капитала своей семьи и в жизни мог полагаться лишь на самого себя. Однако в отличие от сентиментальных романов, в реальной жизни сиротская доля не обязательно означает вынужденную скромность, сострадательность или становление сильного характера через лишения и страдания. Бывшие однокурсники Удугова вспоминали, что он слыл гордым и замкнутым одиночкой, никогда не пил и не встречался с девушками. Юный Мовлади был страстным спорщиком и мог ночи напролет вести дискуссии на разнообразные интеллектуальные темы — от философии до

²⁶ Этот факт не избежал внимания наблюдательных Карлотты Голл и Томаса де Вааля. См. стр 36 в их *Chechnya: Calamity in the Caucasus*, New York: NYU Press, 1998.

современных фильмов и диссидентства. На его книжной полке почетное место занимали биографии Цезаря, Наполеона и Черчилля. С приходом горбачевской перестройки Удугов стал писать на русском статьи для «неформальной» прессы на стандартные радикальные темы того времени: борьба с бюрократизмом, демократизация, идеалы подлинного социализма, экология, сохранение национальной культуры.

Позднее, в девяностых, когда Удугов стал щедро спонсируемым исламистским идеологом и ведущим провокационно знаменитого сайта www.kavkaz.org, он все еще продолжал писать на тяжеловесном провинциальном русском языке, носившем узнаваемый отпечаток советского пропагандизма и тяготевшем к помпезности. Многослойность различных влияний на этого, несомненно, талантливую самоучку выражалась в зачастую едва не пародийном смешении в одном абзаце цитат из Грамши (кумира неомарксистов семидесятых-восьмидесятых) о гегемонии, позднеперестроечного кумира Фон Хайека о свободе, затем из ознаменовавших начало девяностых «столкновения цивилизаций» Хантингтона, и все эти интеллектуальные вехи конца XX столетия венчала более или менее приличествующая цитата из Корана.

Восстановление порядка в послевоенной Чечне было мечтой всех и каждого, однако все больше людей на разоренной войной земле начинали верить в то, что процесс возвращения к общественному порядку требует чего-то значительно большего, чем в состоянии обеспечить обычное государство — быть может, возвращения к суровой традиционной вере предков. Постоянно приходилось слышать, что чеченцы с оружием в руках не станут слушаться никакого начальника и даже старейшину. Только Бога.

И тем не менее искусно прикрепленное к лозунгу «*Исламский порядок*» имя Удугова почти повсеместно встречало скептический прием. В ходе предвыборной кампании 1997 г. Басаев, не скрываясь, отпустил шутку о том, как должно быть мило Удугов и его две жены выпили на троих шампанского в новогоднюю ночь. Самому Басаеву не было надобности изображать набожного человека или воина — он и без того вырос в легендарном горном селе Ведено с его крепкими традиционными устоями и куда более всякого другого чеченца отличился в ходе недавней войны. В то время личной стратегией Басаева было создание неожиданно более мирного и европеизированного образа в надежде быть принятым в качестве нормального политика собственными согражданами и особенно на международной арене. Однако Удугов, который провел всю войну в интервью и беседах с журналистами, слишком ясно понимал, чего заграница ждет от чеченцев. Для не пользовавшегося популярностью у себя

на родине политика единственной надеждой оставалась поддержка из-за рубежа, в основном с Ближнего Востока. В конце того же 1997 г. разгневанный Басаев оставил политику национального восстановления и вернулся к партизанскому образу жизни. Все это оправдывалось нормами радикальной исламистской идеологии и поддерживалось ближневосточными советниками и спонсорами. Пропагандистские навыки Удугова и здесь подтвердили свою незаменимость.

ИЗУВЕЧЕННАЯ КАРЬЕРА

Время от времени по площади прокатывались волны оживления, обычно вызываемые раздачей быстро заканчивавшихся агитлистовок либо группами активистов, которые начинали скандировать лозунги, или, за отсутствием более реальных поводов к поддержке внимания аудитории, хотя бы слухами о скором прибытии какого-то знаменитого полевого командира, возможно, даже самих фаворитов в президентской гонке — Аслана Масхадова или Шамиля Басаева или же впечатляющего оратора и фотогеничного Ахмеда Закаева (при советской власти бывшего актером в грозненском драмтеатре). Однако вместо них появился скандальный «ультра» Салман Радуев.

Enfant terrible чеченского сопротивления был наряжен в причудливую форму, украшенную блестящими пуговицами с эмблемами — по его словам — самого Чингисхана, носил напоминавший головной убор Саддама Хусейна черный берет, арабский мужской платок *куфию* в шашечках вокруг шеи и закрывавшие большую часть изуродованного пулей лица огромные темные очки. Ходили слухи, что после этого ранения в голову Радуев тронулся умом или, по крайней мере, пристрастился к болеутоляющим; впрочем, многим другим его действия и до ранения также казались не вполне рациональными. Прошлое Радуева требует определенных усилий по раскрытию сложных переплетенных структур за фасадом современного образа непримиримого националиста и самопровозглашенного террориста.

Родившийся в 1967 г. Радуев в начале карьерного пути был перспективным комсомольским кадром²⁷. При подготовке диссертации по экономике он в течение года стажировался в братской Болгарии, где изучал опыт внутреннего ценового стимулирования с целью повышения производительности труда в агропромышленных комплексах. Подобный путь предполагал дальнейшее продвижение

²⁷ Музаев Т. *Чеченский кризис-99*. М.: Панорама, 1999.

технократической карьеры в системе советского планового управления (конечно, если бы эта структура продолжила свое существование) или будущее руководителя в новом частном секторе или даже в международном бизнесе. Однако с распадом СССР события приняли совершенно иной оборот, и после 1991 г. Чечня стала мятежной территорией.

Когда в декабре 1994 г. президент Ельцин направил войска на «восстановление конституционного порядка», Радуев воспользовался своим статусом образованного человека, задатками руководителя и, как считается, семейными связями, чтобы выдвинуться в командиры среднего уровня в чеченском вооруженном сопротивлении. Спустя год, в течение которого Радуев ничем особенно не отличился, он вызвался возглавить дерзкий рейд на территорию соседнего Дагестана. Целью было уничтожить на земле эскадрилью российских боевых вертолетов, сильно досаждавших чеченским боевикам, которые не имели достаточных средств для борьбы с авиацией. Акция потерпела неудачу, и застигнутый на рассвете в предместье дагестанского городка отряд Радуева забаррикадировался в местной больнице, взяв в заложники медицинский персонал и больных, не придумав ничего лучшего, чем повторить прием басаевского рейда в Буденновске шестью месяцами ранее. На сей раз Кремль твердо настаивал на уничтожении террористов, однако вновь потерпел неудачу из-за все той же несогласованности в действиях российских силовых структур. Каким-то чудом Радуеву удалось вывести сквозь кольцо всевозможных спецподразделений не только ядро отряда, но и нескольких заложников — и вырваться обратно в Чечню²⁸.

В шумихе разразившегося скандала, потока взаимных обвинений и череды отставок российских генералов от большинства обозревателей ускользнуло коренное изменение отношения дагестанцев к своим чеченским соседям. Сочувствие страданиям своих кавказских собратьев сменилось глубокой ненавистью к Радуеву и боевикам вообще. Как сказал бы Талейран, случилось хуже, чем преступление, — это была ошибка. Впрочем, как человек достаточно циничный и самовлюбленный, Радуев мог и не осознавать глубины нанесенного соседям оскорбления, как и масштаба последствий для чеченского сопротивления. Вызванный публичным и вопиющим нарушением кодекса добрососедства гнев объединил различные этнические группы Дагестана вокруг отрицания «чеченского пути» и затем выразил

²⁸ Печально известная акция и ее политические последствия в подробностях описаны в работе Carlotta Gall and Thomas de Waal, *Chechnya: Calamity in the Caucasus*, New York: NYU Press, 1998.

ся в неправдоподобном для стороннего наблюдателя росте местной поддержки по-прежнему неэффективной и, по большому счету, безразличной к проблемам региона российской государственной машины. Именно это позволяет понять причину неожиданно упорного сопротивления дагестанцев в августе 1999 г. самовольному «Походу исламского освобождения», предпринятому личной армией Басаева совместно с некоторыми дагестанскими исламистами и религиозными интернационалистами с Ближнего Востока²⁹.

Чувства неприятия и отторжения вновь оживили унаследованное из прошлого скрытое напряжение, по нескольким линиям разломов разделяющие чеченцев и их дагестанских соседей. Они включали демографическую экспансию чеченцев, на протяжении нескольких десятилетий лидировавших по уровню рождаемости в регионе; шаткое разделение власти на олимпе дагестанской многонациональной политической элиты и соответствующее распределение ресурсов вроде земельных наделов, торговых льгот, правительственных синекур на различных ступенях властной пирамиды. Немаловажным было также наметившееся в среде появившихся в ходе войны чеченских полевых командиров стремление силой монополизировать и «крышевать» прибыльный оборот контрабанды, шедшей через Дагестан³⁰. Вызванные роковым рейдом Радуева эмоции сосредоточили общественное внимание именно на этих факторах, которые и изменили господствующие настроения в различных секторах дагестанского общества. Однако эти изменения до поры оставались незамеченными многими экспертами, которые пространно обсуждали оттенки исламской идентичности или достоинства замысловатой модели «консоциативной демократии», которая предположительно спасла многонациональный Дагестан от участи Чечни.

Личная трансформация Салмана Радуева из восходящего комсомольского технократа в отпетого террориста, вероятно, не так и удивительна. В пределах этих крайностей социального статуса мы видим, однако, работу социальных механизмов, которые Бурдьё называл *габитус* – набор устойчивых поведенческих черт, присущих определенным классам и группам общества³¹. Как гласит аме-

²⁹ Подробнее см. Georgi Derluguian, «Che Guevaras in Turbans», *New Left Review*, I/237 (September-October 1999).

³⁰ Галина Хизриева щедро поделилась своими обширными познаниями в этой области.

³¹ Здесь я в основном следую обсуждению проблемы у Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant, *An Invitation to Reflexive Sociology*, Chicago: University of Chicago Press, 1992.

риканская пословица, «ставший проповедником навсегда проповедником останется» (*Once a priest, always a priest*). Габитус предрационально выстраивает наши отношение и поведение; именно благодаря автоматичности габитуса отпадает необходимость в длительном обдумывании и рациональной оценке издержек/выгод той или иной поведенческой стратегии, так как реакция возникает почти «спонтанно-естественным» путем. В советский отрезок своей жизни Радуев был, если грубо называть вещи своими именами, типичным начинающим карьеристом — каким он и остался во время войны. Как и многие новички в бизнесе, политике или бюрократии, он являл собой смесь амбиций и нетерпения — откуда и широко известная свойственная начинающим биржевым маклерам тяга к азартной рыночной игре с высокими ставками. В габитус таких карьеристов большими буквами впечатано их кредо: «Победителя не судят». В подобных случаях бесстрашие является проявлением неопытности в оценке рисков, а также присущего новичкам соблазна предполагать, что безрассудный риск позволит им сорвать большой куш. Однако Радуев на поверку не был ни смертником, ни фанатиком, и вместо славы удачливого воина приобрел печальную известность циничного террориста, берущего гражданских заложников ради собственного спасения из ловушки.³² Словом, Радуев разбрасывался человеческими жизнями так же бездумно, как и беспощадные сталинские комиссары, ради рапорта обрекавшие на страшный голод крестьян в период коллективизации или посылавшие красноармейцев в атаку через минные поля.

ИСЛАМСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

На грозненской площади, где я в первый и последний раз воочию наблюдал Радуева, люди голосовали ногами, постепенно отходя от грузовика, с платформы которого тот выкрикивал в мегафон свою

³² В 2000 г., вскоре после начала второй чеченской войны, Салман Радуев был взят российскими войсками в плен, судим и приговорен к пожизненному заключению. Приговор был опротестован такими деятелями как Солженицын, скандально потребовавшими публичной казни террориста, однако Россия подтвердила свою приверженность взятым перед Советом Европы обязательствам по отмене смертной казни. Радуев умер в тюрьме в 2002 г. — по официальной версии, от вызванного старыми ранами внутреннего кровотечения и общего ослабления организма после поста в священный для мусульман месяц Рамадан. Однако, по распространенным слухам, на самом деле кровотечение было вызвано побоями. Согласно новому российскому закону, тело бывшего террориста не подлежало выдаче родственникам.

фирменную околесицу о духе Чингисхана и о море крови, заверял народ, что Джохар Дудаев жив и объявится в нужный момент, отдавал приказы каким-то легионам смертников и призывал к перманентной войне.

Вскоре на противоположном краю площади начался митинг иного рода, куда и перетекла толпа. Разбитый автобус с патриотическими лозунгами, выведенными попросту тряпкой или пальцем на забрызганных густой грязью бортах, доставил на площадь шумную группу сельчан. Старцы в традиционных папахах, овчинных тулупах и высоких сапогах (у некоторых также висели на поясе кавказские кинжалы) попытались разжечь окружающих на скандирование «*Аллах-у акбар!*» (Бог велик). Этот клич в то время стал аналогом и противовесом русскому «Ура!» Разогревшись подобным образом, мужчины и женщины в одинаковых национальных костюмах (вероятно, позаимствованных из сценических гардеробов сельских дворцов культуры советских времен) встали в два отдельных круга (мужской оказался больше, но женский — ровнее) и начали танец. Исполняли они не искрометную лезгинку, которая стала известной всему миру благодаря гастроям кавказских и казачьих фольклорных ансамблей. Это был *зикр* — энергичное притопывание и хлопанье в ладоши ставшими в круг исполнителями — центральный элемент в модельном ритуале мистического суфийского движения Кадырийя. Необходимо отметить, что сельчане прекрасно осознавали свою телегеничность и держались поближе к камерам. Журналисты также оживились и стали снимать зикристов, которые, в свою очередь, стали еще более энергично выкрикивать патриотические и религиозные лозунги и притопывать с большей силой, приглашая в круг молодежь. Некоторые из зрителей присоединились к ритуалу.

Стоявший рядом с нами среди зрителей обыкновенно одетый чеченец средних лет признал во мне неместного и с горечью прокомментировал: *«А ведь это был вполне культурный современный город... Но нас захлестнула деревня, и теперь иностранцы приезжают сюда как будто в зоопарк. Все это начал Дудаев. До него даже в селах зикр никогда не исполнялся на площадях, а только дома или где-то подальше от чужих глаз»*. Многие ведущие участники чеченской революции 1991 г. позднее подтвердили мне, что зикр стал исполняться на митингах лишь после возвращения в Чечню генерала Дудаева, ранее, напому, командовавшего авиабазой в Эстонии. Судя по всему, именно под впечатлением массового хорового исполнения народных песен, которое служило мощным средством эмоциональной мобилизации на прибалтийских митингах, Дудаеву и пришла в голову мысль аналогичного использования на своей революционной родине духовной энергетики кадырийского громкого зикра.

НА ПОИСКИ УНИВЕРСИТЕТА

Наши наблюдения вдруг были прерваны группой решительно приблизившихся к нам через толпу чеченских боевиков — строгого вида, хорошо вооруженных и в разномастной, однако идеально отутюженной полевой форме. Ярво выраженный блондин Кузнецов инстинктивно втянул голову в плечи, да и я сам, признаться, на мгновение почувствовал ватность в ногах: «Вот и дождались...» Небольшого роста, но совершенно нешуточного вида и командирской авторитетной повадки чеченец сходу потребовал ответа, не журналисты ли мы? Наш шофер дядя Мухарбек быстро стал говорить ему что-то на вайнахском, от чего молодой чеченский командир, не спуская взгляда с наших лиц, лишь отмахнулся пренебрежительно. Видимо, стариков он если и уважал, то не всегда, тем более таксиста из ингушей. Надо было срочно спасать ситуацию. Насколько возможно спокойным голосом я отрекомендовался социологом. Боевик явно озадачился таким ответом. Развивая успех, я пояснил, что мы ученые, и, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы, еще более озадачил чеченца встречным вопросом, есть ли в Грозном университет? Командир обменялся несколькими отрывистыми словами на чеченском со своими людьми и затем неожиданно предложил проводить нас туда. Позднее я сообразил, что это была охрана митинга или новые чеченские полицейские, выставленные Масхадовым. В тот же момент непрошенная любезность вооруженных боевиков выглядела неприятно подозрительной — Чечню уже охватила эпидемия похищений. Но деваться было некуда. Присутствие двух вооруженных проводников в машине наполнило салон ароматами свежей оружейной смазки и хорошо одоколона. Они очень старались произвести впечатление дисциплинированных военнослужащих.

Ехали мы в напряженной тишине. Заметив среди руин по дороге новенький безвкусный особняк красного кирпича с долженствующими означать шик нелепыми колоннами и огромным флагом Ичкерии на переднем балконе, я нервно пошутил, не местный ли это эквивалент райкома партии? Старший из боевиков бесстрастно ответил: *«Нет, это просто дом богатого бизнесмена, который теперь пытается показать, что тоже участвовал в нашей борьбе»*. Помолчав задумчиво, он неожиданно добавил: *«У вас в России есть же свои богатые люди, и у нас есть свои. Вот ваши и наши богачи и устроили эту войну, чтобы отмывать свои деньги»*. Боевик замолчал, так и не развив свой вариант классового анализа.

После почти часа неизбежно медленных блужданий по испещренным воронками и засыпанным обломками улицам, мы нашли разво-

роченное здание, некогда бывшее университетом. До развала СССР в Грозном было свыше полумиллиона жителей; город был одним из основных центров высшего образования Северо-Кавказского региона, где существовали различные институты, включая, конечно, нефтяной и университет полного профиля. Несмотря на сталинские репрессии и депортацию чеченцев и ингушей в 1944–1957 гг., у этих народов сложился довольно внушительный слой национальной интеллигенции. После возвращения из ссылки чеченские и ингушские образованные кадры повели борьбу за места, статус и соответствующие привилегии с прочно «окопавшимися» за время их вынужденного отсутствия в Грозном русскими профессорами (многие из которых оказались на Кавказе в период эвакуации или послевоенного восстановления). Затяжные позиционные интриги в научно-культурной среде во многом и породили ведущее течение местного национализма, осторожно направляемого, однако, интеллигенцией из коренных горских народов в легитимно советское русло. Это выражалось преимущественно в подаче жалоб и предложений в ЦК КПСС и другие высшие органы советской власти, хотя порой доходило до драк и даже вполне организованных демонстраций протеста на площадях Грозного. Дискурсивно жалобы следовали официальной риторике и не более как указывали на «многочисленные факты» нарушения в Чечено-Ингушской АССР «ленинских норм национальной политики». В самом деле, нормы выдвижения нацкадров нарушались. В то время как в других республиках и автономиях СССР представители титульных национальностей были скорее перепредставлены на руководящих должностях и в учреждениях официальной культуры, вплоть до самого конца 1980-х гг. первыми секретарями Чечено-Ингушетии назначались только русские, среди директоров заводов, редакторов газет и телевидения, главврачей больниц, университетских деканов, ректоров и проректоров насчитывалось всего несколько чеченцев и почти не было ингушей. Такое положение дел объяснялось не столько политикой Москвы, сколько сплоченной силой местных советских элит Грозного, сложившихся в период высылки чеченцев и ингушей. Они убеждали центр, что в автономной республике ситуация оставалась слишком сложной, что нацкадры следовало «подбирать разборчиво» и выдвигать лишь очень осторожно в связи с сомнительным прошлым чеченцев и ингушей и их отношением к советской власти. Хотя теперь лишь в закрытых справках и докладных по-прежнему приводились предупреждения о «фактах политического бандитизма» и «сотрудничества с немецко-фашистскими оккупантами». Так на местном уровне по собственным причинам сохраняли демонологию времен сталинских репрессий. Московские чиновники пред-

почитали не слишком активно вмешиваться в эти местные дела, которые грозили им одними неприятностями, отчего долгое время в республике сохранялась хронически напряженная, но с виду стабильная ситуация.

Даже импульсы горбачевской перестройки долгое время не проникали в Чечено-Ингушетию, где все выглядело вполне «застойно» до 1989 г. Местная интеллигенция, конечно, помня сталинские репрессии и унижительные проработки брежневских времен, лишь начинала осторожно осваивать либерально-демократическую риторику и новые политические средства борьбы, когда их умеренная программа оказалась сметена куда более радикальным и более простонародным потоком популистского национализма дудаевской революции 1991 г. Часть интеллигенции в союзе с отстраненными от власти горбачевскими технократами и бывшими номенклатурными начальниками участвовала в 1992–1993 гг. в создании эфемерных эмигрантских групп в Москве и грозненских выступлениях против режима Дудаева, которые были подавлены силой оружия. После этого чеченская интеллигенция практически исчезает как самостоятельная элитная группа. Российская и западная пресса нигде даже не намекала на то, что во время и после войны 1994–1996 гг. в Чечне все еще существовала университетская жизнь. Однако это было фактом.

Мы, наконец, разыскали университет приютившимся в маленьком двухэтажном здании посреди пятиэтажек, выглядевшем в окружении песочниц и уцелевших деревьев как типичный детский садик советских времен (что и подтвердилось позднее). Боевик-проводник вышел из машины, внимательно и даже с некоторым почтительным любопытством посмотрел на меня и неожиданно спросил: «*Вы, наверно, приехали помочь Республике?*» Я мог только неловко пожать плечами: «*По крайней мере, постараемся, чтобы в мире узнали, что у вас есть университет и что ему явно нужна помощь*». Чеченский командир неожиданно взял под козырек и произнес торжественно: «*Мы вас за это благодарим*». Они четко, по-военному повернулись кругом и зашагали через развалины к площади Свободы, очевидно, на свой пост. Теперь, когда я пишу эти строки, из памяти не идут слова, которыми открывается сборник репортажей российской журналистки Анны Политковской: «*Большинство людей, упоминаемых в этой книге, уже убиты*»³³.

В голом нетопленном кабинете с разбитым окном вокруг старого обшарпанного стола сидели интеллигентного вида мужчины, оде-

³³ Anna Politkovskaya, *A Small Corner of the Hell*, Chicago: University of Chicago Press, 2003.

тые в пальто и добротные дубленки, указывавшие на былое благосостояние. Это оказался деканат исторического факультета. Узнав, кто мы такие, один из преподавателей-чеченцев весело провозгласил: *«Коллеги робинзоны, поздравляю, нас нашли! И кто?! Конечно, эти пронырливые армяне!»* Трогательность этой встречи трудно отразить в социологической монографии. Поток полились рассказы о том, что им довелось пережить за эти годы. Сгорела библиотека, из которой сохранились только труды Л. И. Брежнева – дорогая лощеная бумага не поддавалась огню. Один из археологов эмоционально поведал о том, как в передышках между обстрелами (*«К ним, в конце концов, привыкаешь, как к непогоде. Выглянешь из подвала, помотришь на небо – вроде ничего – и вылезает наружу...»*) он с маниакальным упорством ходил раскапывать руины бывшего музея, спасая экспонаты, как чуть не заплатил жизнью, стыдя отвязного солдата, натянувшего, смеха ради, средневековую кольчугу. Устыженный собственным бессилием помочь в такой беде, я выложил из сумки все деньги, медикаменты, блокноты и авторучки – все, что было при себе. Со вздохом дар был принят: *«Вы приезжайте в лучшие времена, примем достойно, по-кавказски. В горы поедет, к нашим средневековым крепостным башням. Бардак этот ведь должен когда-то закончиться... Мы скинулись с последней зарплаты, которую дали полгода назад, когда выходили российские войска и администрация, и отправили двух лучших аспирантов в Москву, чтобы сохранилась какая-то чеченская наука, если нас самих тут прикончат. Больше зарплат не было. Пока родня из сел помогает – кто мешок картошки подкинет, кто соленой черемши».*

Как ни странно, в университете шли занятия. Преподаватели недоумевали, зачем студенты вообще приходят? Учебников нет, за отсутствием мебели и из-за холода многим приходится стоять во время лекций. Кругом непролазная грязь и развалины, нашпигованные минами и неразорвавшимися боеприпасами. Да и какой теперь смысл в профессии историка или химика? Но очевидно, остатки городских средних слоев вопреки всему пытались сохранять нормальность существования. Детям при всякой возможности давали современное образование советского образца. В новооткрытом Исламском университете учились почти исключительно сельские парни, которые в былые времена едва ли смогли бы куда-нибудь поступить. *«Хотя какие у них там преподавательские кадры? Даже Коран не все могут прочесть по-арабски, что говорить про нормальные нерелигиозные дисциплины?»* Подобные скептические замечания насчет попыток воссоздания исламской системы образования мы уже не раз слышали от разных людей.

Декан с усмешкой рассказал, как недавно его пригласил к себе Аслан Масхадов. Будущий президент попросил декана организо-

вать при университете подготовительный факультет вроде прежнего рабфака для бывших боевиков чеченского сопротивления: *«Надо же их как-то теперь переучивать для мирной жизни, давать профессии»*. На прямой вопрос декана, дадут ли какие-то средства на организацию такого «бойфака» и стипендии для студентов, Масхадов лишь горько усмехнулся: «Сам знаешь, средств нет. Зато могу тебя произвести в бригадные генералы Ичкерии, чтобы студенческий спецконтингент больше уважал».

«Эх, — вздохнул декан, — у нас тут не осталось ни поездов, ни банков, ни магазинов. Что нашим бандитам теперь грабить? Вот и стали воровать людей». И вдруг декан озорно подмигнул: *«А что, ребята, украдем и мы американского профессора? Может, дадут за него денег на родной университет?»*

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ

От Грозного до столицы Кабардино-Балкарии Нальчика всего каких-то сто километров по прямой. И тем не менее это оказался совершенно иной мир — без политизированной главной площади, разбомбленных улиц и ютящегося в детском саду университета. В противоположность Грозному, Нальчик образца 1997 г. оставался уютным провинциальным городом с размеренной жизнью, где ничто не выдавало того факта, что в 1991–1992 гг. Кабардино-Балкария пережила собственную фазу революционной ситуации, почти идентичную тогдашней обстановке в Чечне. Обе революции вышли из одного потока протестной политики в период развала СССР. Чеченское и кабардинское национальные движения имели схожие программы, идеологии и руководящие группы, и до критической точки их развитие шло одним путем. Но затем дороги разошлись.

Революция в Чечне одержала в октябре 1991 г. победу, после которой продолжала радикализироваться в послереволюционной борьбе за власть и череде попыток переворота в 1992 и 1993 гг., наивысшей точкой которых стала эпизодическая гражданская война лета и осени 1994 г. Эти события повлекли за собой массовую миграцию, в результате которой Чечня лишилась большей части прежде многочисленного и образованного городского населения — то есть основы либеральной и умеренно национальной оппозиции режиму генерала Дудаева. Первое вторжение российских войск в 1994–1996 гг. привело к чудовищным разрушениям и почти начисто стерло остатки городской культуры. Реакцией чеченцев на вторжение стало вооруженное сопротивление, основу которого составила молодежь из обширных городских окраин и социально консерватив-

ных горных районов. Идеалом героя и вождя для них был Шамиль Басаев.

В Кабардино-Балкарии также были подобные Басаеву люди, и я встречался с несколькими из них. Однако их уделом оставалась относительная безвестность, поскольку революция в их маленькой стране потерпела неудачу, а война так и не состоялась. Кабардино-Балкария осталась лояльной частью Российской Федерации, одной из автономных национальных республик. Одним из показателей присутствия государственной власти в Кабардино-Балкарии является способность вести учет населения и площади ее территории. Подобная практика может показаться само собой разумеющейся для современной страны, однако ни одно чеченское правительство за прошедшее десятилетие так и не смогло достичь чего-либо подобного. Не существует сколь-нибудь достоверных данных ни о населении Чечни, ни о ее точной территории после стихийного раздела с Ингушетией.

В Кабардино-Балкарской республике на тот момент насчитывалось 786 тыс. жителей, из которых кабардинцев — 488 тыс., балкарцев — 90 тыс., а остальные относились преимущественно к так называемым «русскоговорящим». Население КБР крайне неравномерно расселено на площади 12 тыс. квадратных километров, включающей величественные, но почти незаселенные горы, плодородные холмы и долины, а также собственно Нальчик. По официальным данным, в столице прописано 252 тыс. жителей, однако следует учесть значительное количество неучтенных мигрантов и население слившихся с городом и фактически ставших его окраинами больших деревень³⁴.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

Одним из наглядных признаков сохранения государственной власти в Кабардино-Балкарии можно считать повсеместное присутствие милиционеров, зачастую тяжеловооруженных. На подъезде к Нальчику наш водитель-адыгеец был остановлен за превышение скорости. Он выскочил из машины и на родном языке вступил в доверительный разговор с инспектором ГАИ (кабардинский и адыгейский языки находятся в относительно близком родстве и принадлежат к адыго-абхазской, или иначе к черкесской языковой группе). Однако вскоре энтузиазм нашего водителя сменился унынием: он был вынужден уплатить штраф и даже получил квитанцию, что являет-

³⁴ Косиков И. Г., Косикова Л. С. *Северный Кавказ: социально-экономический справочник*. М.: Эксклюзив-Пресс, 1999. С. 115–117.

ся редко соблюдаемой формальностью. Сев за руль, водитель пробурчал: *«Вот же чертов службист. Явно не из наших, не черкес. Наверное, из этих балкарцев»*.

Балкарский язык принадлежит к кипчакской группе тюркской языковой семьи. Остается загадкой, как язык средневековых степняков-половцев оказался в высокогорье, где на нем ныне говорят люди, совершенно непохожие на монголоидных гуннов и притом физическим обликом едва отличимые от своих соседей кабардинцев, чеченцев, либо грузинских горцев-хевсуров с другой стороны горного хребта. В случае с гаишником мы стали свидетелями бюрократического формализма, шедшего вразрез с предполагаемой нашим водителем нормой этнической солидарности. В этом бытовом микроэпизоде подметим зернышко межгрупповой конфликтности – постовой балкарец отказался признать своего в лихаче-адыге и применил законную санкцию. Впрочем, штраф оказался небольшим, и наш водитель, тут же за поворотом прибавивший газу, вскоре, казалось, позабыл об этом досадном случае. Однако отчуждение при ином раскладе могло и прорасти на почве политического противостояния, добавив свою долю эмоционального горячего в разгорающийся межэтнический конфликт.

Другим показателем стабильности Нальчика была чистота окаймленных аккуратно подстриженными кустами и деревьями центральных улиц и площадей. Типично сталинские здания псевдоклассического стиля благодаря своим сравнительно небольшим, провинциальным размерам не выглядели столь давящими как аналогичные имперские махины в столицах других республик Советского Союза. В спальных районах высились неизбежные социальные многоэтажки, а окраины были трудноотличимы от деревень с довольно беспорядочными рядами одно- и двухэтажных домов, выстроенных как из престижного кирпича, так и из более дешевых пемзоблоков или даже из традиционного самана, неизменно скрывавшимися за железными воротами, высокими оградами и фруктовыми деревьями. Трехсоставная модель городской архитектуры почти полностью совпадала с ареалами социальных слоев общества: правящая бюрократия заседала в просторных сталинских зданиях, специалисты и кадровый пролетариат жили в хрущевках и панельных многоэтажках 1960–1970-х гг., а население полусельских окраин состояло из людей, уже ушедших из деревни, но пока так и не ставших горожанами.

Лишь неподалеку от въезда в центральную часть Нальчика высилось одно-единственное новенькое здание из стекла и бетона. Несмотря на современные стройматериалы, оно имело совершенно несоветский вид и выбивалось из остальной архитектуры города. Это оказалась новая мечеть, построенная на деньги относительно

молодого уроженца республики, сделавшегося крупным бизнесменом в Москве. Мечеть, как нам пояснили, была совершенно официальной — бывшие коммунистические власти республики договорились с доверенным бизнесменом о постройке культового объекта, скорее всего, по собственному пониманию требований времени (на манер «Лужков в Москве вон какие церкви строит»). Мечеть казалась купленной и перевезенной прямо из Эмиратов. Остальные мечети в селах и пригородах Нальчика были много дешевле и нередко располагались в каких-то переделанных старых советских сооружениях. Впрочем, и в эту евроремонтную новостройку, как выяснилось, превратился изменившийся до неузнаваемости кинотеатр «Ударник». Новая показательная мечеть Нальчика выглядела совершенно чистой и довольно пустынной.

Наиболее красноречивым показателем характера правящего режима было полное отсутствие альтернативной местному официозу прессы. Вскоре после местных президентских выборов 1997 г. газеты Кабардино-Балкарии совершенно в традициях советской эпохи печатали сплошным потоком поздравления от трудовых коллективов, студентов, известных ученых и художников (несколько неожиданно, включая прежде диссидентского скульптора Шемякина из Нью-Йорка, оказавшегося по отцу кабардинцем), а также целых сел, отделов милиции и, наконец, телеграмму за подписью просто «кабардинских матерей». Эти ритуальные послания адресовывались президенту (а ранее председателю Верховного Совета) Кабардино-Балкарии Валерию Кокову по случаю его триумфального переизбрания с 98% голосов избирателей. В постсоветской действительности эта цифра выглядела довольно сомнительным рекордом, однако даже разрозненные оппоненты Кокова нехотя признавали, что действующий президент действительно одержал победу. После всеобщего подъема, великих надежд и страхов революционной ситуации, которую Кабардино-Балкария пережила в 1991–1992 гг., народ перед лицом надвигавшейся катастрофы, подобной тем, что постигли соседние Чечню и Абхазию, впал в разочарование и конформистскую апатию.

Как и многие российские правители регионов 1990-х, Коков создал обширную сеть патерналистской зависимости, все нити которой вели в его администрацию и лично к Хозяину республики. Этого оказалось достаточно, чтобы восстановить иерархию власти и поддерживать поверхностный порядок, но едва ли достаточно для поддержания стареющей промышленности республики. Реалистично рассуждая, из-за нехватки серьезных инвестиционных программ и капиталов заведомо нельзя было ожидать ее давно назревшей реструктуризации. Поэтому большинство людей пыталось просто выжить в новой действительности. На балконах многоэтажек разводи-

ли дыпят, а в дальнем углу городского парка отдыха мы заметили пасущихся коров. В общем, возврат к нормальной жизни по рецепту Кокова означал всего лишь урезанное подобие брежневской эпохи.

Политическая оппозиция в Кабардино-Балкарии была явно разобщена и подавлена. Пар ее негодования продолжающимся правлением Кокова выпускался посредством разговоров в интеллектуальных кругах и единичных акций, приписываемых «горячим головам среди молодежи». В ночь перед нашим приездом в Нальчик в подвальное окно правительственного здания была кем-то брошена граната. Нам также рассказали о взрывчатке, по слухам и завуалированным осуждающим указаниям в официальной прессе, обнаруженной в центре города, у подножия статуи средневековой кабардинской княжне Гошаней. В 1557 г. для заключения династического брака с Иваном Грозным она была крещена и получила имя Мария. Четыреста лет спустя, в 1957 г., советская пропаганда провозгласила этот исторический эпизод моментом «зарождения вечных уз между Россией и Северным Кавказом»; соответственно, недолго прожившая русская царица – черкешенка Мария – стала «матерью дружбы народов»³⁵. Статуя Гошаней-Марии стала периодической мишенью регулярного вандализма местных националистов; городские же власти с не меньшей настойчивостью очищали и ремонтировали ее (а по широко распространенным слухам, даже тайно заменяли поврежденный памятник). После устрашающей вспышки протестов в 1991–1992 гг. национально-освободительная политика в Кабардино-Балкарии свелась к символическому хулиганству.

ЧЕРКЕССКАЯ ЦЕРЕМОНОУСТЬ

Наши коллеги из Кабардино-Балкарского университета, узнав, что мы с Игорем Кузнецовым занимались сбором данных о национальных движениях, радушно предложили свести нас с недавно еще знаменитым местным оппозиционером Мусой Шанибовым, президентом Конфедерации горских народов Кавказа (в начале девяностых это наднациональное движение всерьез всколыхнуло регион). Пока мы ожидали прибытия Шанибова, в полном соответствии с канонами горского гостеприимства преподавательская комната была обращена в зал для импровизированного пиршества.

³⁵ Комичность этого перла пропаганды не избежала внимания современников, в популярном анекдоте предложивших посмертно вручить звезду Героя Социалистического Труда отцу Гошаней князю Темрюку за исключительную историческую прозорливость, выразившуюся в весьма заблаговременном присоединении к будущей Родине мирового социализма.

Этническая культура Кабарды носит четкий отпечаток аристократического прошлого. Со времени распада Золотой Орды в 1390-е гг. и до покорения этих земель Российской империей в начале XIX в., почти четыре столетия кабардинцы являлись элитным черкесским племенем (вернее, по Майклу Манну, «нацией-классом»³⁶) рыцарской элиты, обеспечивавшим защиту и контроль над прочими горскими народами центрального сектора Северного Кавказа. За это кабардинские всадники взимали дань с горских общинников, в будущем известных под названиями карачаевцев, абазин, балкарцев, осетин, ингушей, чеченцев. Несмотря на все признаки всепроникающей советизации, гостям на Кавказе оказывается поистине королевский прием, чарующий и одновременно ставящий в неловкое положение своим несколько преувеличенным размахом; и трудно не заметить, что сами хозяева ведут себя с на редкость изысканной церемониальностью и благородством манер. В принципе, не столь уж многие из современных нам кабардинцев являются потомками княжеских родов. Скорее, после уничтожения большевиками исторического дворянства и кардинального преобразования общества в советский период элементы старого аристократического этикета были восприняты и продолжены бывшим простонародьем. В советских условиях этикетные практики задействовались для обживания, облагораживания и ритуализованного (по Эрвину Гоффману) структурирования своей новой жизни в городской среде, для поддержания расширенных сетей дружеских и соседских отношений, патронажа и полезных знакомств. Не в последнюю очередь национальные этикетные практики наделяли поднимающегося по социальной лестнице человека культурными навыками для осуществления новых ролей в современном индустриальном, урбанистическом и бюрократическом социальном ландшафте. Привлечение старинного этикета стало одним из способов, благодаря которым кавказцы могли приспособиться и достойно себя чувствовать в нелегких условиях советской поголовной пролетариатизации.

³⁶ Неовеберианец Майкл Манн в своем анализе феодальной Англии показывает, что дворянский класс с его церемониалом, легендами и социальной солидарностью взаимопризнания, собственно, и стал где-то в ходе Столетней войны и Реформации английской нацией. Однако нижние социальные группы, в особенности крестьяне, войдут в эту английскую нацию и приобретут ее самосознание лишь спустя столетия, с наступлением индустриальной современности и необходимости политически интегрировать нарождающиеся городскую буржуазию и пролетариат. Michael Mann, *The Sources of Social Power*. Vol. I. Cambridge University Press, 1986.

На Кавказе застолья являются общепринятым социальным ритуалом, и местные жители соблюдают детальные предписания относительно правил рассадки гостей, очередности цветистых тостов и, конечно, прежде всего избрания тамады, который руководит застольем. (Точным названием должности Шанибова в Конфедерации горских народов было именно *тхамата*, предполагавшее виртуальное братское застолье коренных народов.) Проведение полевых исследований на Кавказе, как известно со времен кинокомедии об этнографе Шурике, требует от исследователя мужского пола самодисциплины и умения принимать алкоголь в изрядных дозах.

ИСЛАМСКИЙ МОРАЛИЗМ

Даже в исторически мусульманских областях Кавказа общественное мнение в принципе позволяет употребление водки, поскольку, в отличие от получаемого путем брожения пива и вина, водка изготавливается путем перегонки, который, как утверждается, был неизвестен во времена Пророка и, следовательно, не мог быть воспрещен шариатским законом. Находящиеся в меньшинстве новоявленные исламские пуритане считают этот казуистический извинительный довод попросту отвратительным и обвиняют, конечно, во всех грехах разлагающее русское влияние — вот и еще одна яркая иллюстрация того, как фундаментализм противопоставляет себя традиционализму. В действительности фундаментализм (или ваххабитство, как его обзывают противники) является не попыткой возврата к традициям, а вполне современной социально-нормативной *критикой* давно существующих адаптивных (грубо говоря, приспособленческих) традиционных норм и оправдываемой ими властной практики и иерархии. Фундаменталисты исходят вовсе не из реально бытующих традиций, но из идеализированного и оттого неизбежно протестного, антисистемного пуританства, почерпнутого из буквалистского толкования священных текстов. Несмотря на то что фундаментализм зачастую представляют в качестве ультраортодоксальности, его оппозиционный характер в религиозном измерении является, скорее, еретической гетеродоксией³⁷.

Однако преподавательская была не тем местом, где можно было встретить исламистских пуритан, в основном принадлежавших

³⁷ По теме религиозного фундаментализма и распространения гетеродоксий см. S. N. Eisenstadt, *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: the Jacobin Dimension of Modernity*, Cambridge: Cambridge University Press, 1999; также см. рассмотрение ересей на христианском Западе в Средние века у Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol.1*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

к молодому поколению и являвшихся выходцами из маргинальных групп. Лишь один молодой преподаватель, предупредительно подливавший водку гостям и старшим коллегам, сам не пил и не ел ничего. Сидевший по соседству со мной пожилой профессор, упорно или скорее по привычке употреблявший даже во время банкета советское обращение «товарищ», шепнул мне с оттенком сарказма: *«Пожалуйста, не обращайтесь внимания на бедолагу – он тут у нас недавно Бога обрел и теперь вот постится в Рамадан»*. Оказалось, этот молодой, но нарочито серьезный преподаватель прежде был секретарем комсомольской организации.

Разговор об исламизации младшего поколения получил более серьезное продолжение на следующий день, за более скромным и трезвым ужином дома у одного из преподавателей, известного своими серьезными работами по истории Северного Кавказа. Печально потупившись, он вдруг немного растерянно начал рассказывать о проблеме в собственной семье, что явно занимало в тот момент все его мысли. Накануне сын-десятиклассник принес домой Коран и категорично объявил родителям, что просит ему не мешать совершать намаз и поститься во время Рамадана. Видя, что сын уходит в «ваххабитскую секту», отец вызвал его на мужской разговор: *«Почему? Откуда ты это взял? Я сам в жизни ни разу не молился и знаю довольно много об исламе исключительно как историк. Мой собственный отец, твой дед, был первым председателем колхоза в нашем ауле, и мечеть он там закрывал. Эта дурь в тебе, сынок, идет явно не из нашей семьи. Так скажи мне, твоему отцу, откуда?»* Ответ сына поставил нашего радушного хозяина в тупик: *«Отец, когда ты сам заканчивал школу, ты потом мог пойти учиться на врача, летчика или историка. А кому это теперь нужно? Посмотри вокруг себя – у кого деньги, власть, кто у нас короли? Бандиты, взяточники, торговцы наркотиками. Остальные – ничто. Если я хочу в жизни чего-то чистого, достойного, справедливого, куда мне обращаться, как не в веру наших предков? Что с того, что дед и ты ее отвергали? Чего вы, в конце концов, добились?»* И наш известный историк не нашелся, что ответить собственному сыну.

СЕТИ ПОВСЕДНЕВНЫХ ОБМЕНОВ

В силу импровизированного характера застолья и повсеместного материального неблагополучия тех лет основными блюдами на столе были домашний сыр и пирожки с мясом, которыми торговали у входа в университет пожилые женщины, искавшие приработка к своей скудной пенсии. На стол выставили бутылки водки местного производства. Доставали их из ящика, присланного выпускником факультета истории, а ныне преуспевающим водочным бутле-

гером. Подобные маленькие подношения от выпускников и родителей студентов являли собой этически неясную промежуточную ступень между благотворительностью и подкупом. Поддерживая преподавательский состав в его благородной бедности, подобные подношения, разумеется, могли нередко помочь не слишком усердным младшим родственникам из студенческой массы получить минимальную удовлетворительную оценку.

В российской глубинке взаимный обмен услугами играет значительную роль³⁸. На Кавказе подобный тип общественных взаимоотношений особенно ярко выражен благодаря традиционной этнической сплоченности, расширенным узам родства, группам сверстников и соседским взаимоотношениям. Житель подобного Нальчику небольшого кавказского города знаком и общается с гораздо большим числом людей, нежели житель большого и социально разобщенного мегаполиса вроде Москвы. Интерактивные ритуалы совместного проживания в маленьком городе способствуют поддержанию обширных сетей, разветвляющихся далеко и в самых разных направлениях. Для нас это наблюдение важно, поскольку мы собираемся в дальнейшем рассматривать, каким образом структурирующие практики и социальные сети заурядной повседневной жизни могут помочь или, наоборот, помешать политической мобилизации в экстраординарные моменты общественных кризисов. Заметим, что эти сети являются скорее каналами, нежели причинами, как их представляет стандартная сетевая теория в экономике. В периоды хозяйственного роста и материального благополучия (какими были 1950–1970-е гг. для СССР) социальные сети могут переходить границы этнических и конфессиональных групп, за которыми находятся новообретаемые друзья и брачные партнеры, однокашники и сослуживцы или попросту всевозможные нужные люди. Но точно так же социальные сети могут сжиматься и разрушаться в периоды соперничества или нехватки ресурсов (дальние родственники и приятели перестают замечать друг друга), тем самым нередко возводя препятствия между основанными на национальном или классовом признаке общинами.

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ

Наконец, прибыл сам Муса Шанибов. Это оказался крепко сбитый и очень подвижный человек, на вид лет шестидесяти, который сразу же наполнил комнату своим харизматическим присут-

³⁸ Alena Ledeneva, *Russia's Economy of favors: Blat, Networking, and Informal Exchange*, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

ствием. С его приходом стало как-то оживленнее, более шумно, даже веселее. Однако мрачным контрастом искрометному Шанибову за ним следовал массивный бородач с громадными ручищами, молча присевший на стуле у плотно затворенной двери, будто телохранитель. Одет этот силач был совсем неброско и на интеллигента никак не походил. Лишь позже я узнал, что его громадные руки были не столько признаком борца, сколько профессионально нажиты работой каменщика на стройке. В противоположность ему, на Шанибове были стильное кожаное пальто и, видимо, дорогая серая с серебристым отливом каракулевая папаха. Когда старший из профессоров в шутку спросил у него причину появления в костюме чабана, Шанибов весело ответил, что давно пора заново изобретать национальную традицию. В тот момент эта шутка послышалась мне просто случайным эхом названия знаменитой на Западе книги об истории изобретения национальных традиций³⁹.

С заразительным смехом Шанибов решил развлечь нас, поведав одну из своих баек: *«В Анкаре, на входе в турецкое Министерство обороны, дежурный – какой-то совсем молодой лейтенант – потребовал, чтобы я снял папаху, поскольку Турция является светской республикой и ношение мусульманских головных уборов запрещено законом. Разумеется, я отказался. Я, говорю, не турок, и это не феска, а настоящая кавказская папаха. Мы, кабардинские черкесы, не снимали шапок даже перед русским царем! Ну, потребовалось вмешательство турецкого генерала, который меня туда пригласил, чтобы вразумить разозлившегося дежурного лейтенанта. Вот так я стал первым со времен самого Ататюрка мужчиной, который вошел в Министерство обороны Турции в папаче – вот в этой самой»*. Преподаватели засмеялись и закивали в подтверждение рассказа, который, помимо всего прочего, подчеркивал исключительное положение и неординарные связи Шанибова.

С приходом Шанибова банкет приобрел оттенок политического собрания. С рюмкой водки в руке он вдохновенно произносил бесконечные затейливые речи о национальной гордости, презренной имперской ментальности, о самоопределении и единстве горских народов Кавказа, о жертвах, принесенных на алтарь борьбы в прошлом, и об испытаниях грядущих времен. Раз за разом мне все не удавалось перевести его митингово-тостовую речь в сколь-нибудь более конкретное русло обсуждения местной политики, возглавлявшейся Шанибовым попытки революции в 1991–1992 гг. или же абхазской войны. Становилось жалко потерянного времени и своей угрожающе шумящей головы и желудка, но не виделось никакой

³⁹ Eric Hobsbaum and Terence Ranger (eds), *The Invention of Tradition*, Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

возможности встать из-за стола и покинуть компанию. Да и телохранитель Шанибова молча и все также строго, безучастный к пирушке, засел у двери эдакой кавказской скалой, прямо-таки персонажем из Лермонтова или Толстого.

Мы провели за столом уже несколько часов и, признаться, под все новые тосты изрядно выпили довольно скверной водки, когда, пытаясь задать очередной наводящий вопрос, я допустил, строго говоря, методологическую оплошность. Считается, что антропологам и социологам, работающим в поле, не следует говорить с информантами на своем профессиональном жаргоне. Отчасти это профессиональное высокомерие («Они – рыба, мы – ихтиологи»), в основном же все-таки дельное предписание не давить на собеседников ученостью. Но то ли здесь все-таки была университетская кафедра, то ли я достаточно захмелел, однако с языка нечаянно слетели знаковые для посвященных, но бессмысленно заумные для нормальных людей слова «культурный капитал» и все тот же габитус. Реакция Шанибова оказалась поразительной. Через разделявший нас стол он вдруг потянулся, чтобы обнять меня: *«Наш дорогой гость! Мой армянский брат! Конечно, габитус! Вот теперь я ясно вижу, что Вы никакой не шпион. Простите нас за подозрения, но Вы оказались настолько в курсе местных дел, что моя безопасность не могла понять – то ли Вы, как человек, приехавший из Америки, работаете на ЦРУ, то ли Вы и Ваш друг, как уроженцы Краснодара, все-таки наши чекисты. Но теперь я ясно вижу, что Вы настоящий социолог, так как Вы знаете труды Пьера Бурдьё!»*

Я упал на свой стул: «А Вы?»

«Я?! – воскликнул Шанибов с бьющим через край энтузиазмом. – Если хотите знать, Бурдьё я внимательноше проштудировал еще в госпитале, после ранения в Абхазии».

Похоже, длительное застолье со множеством спиртного было средством развязать мне язык и узнать о моих скрытых намерениях. Что Шанибову вполне удалось. Он вышел из-за стола и увлек нас по коридору и лестницам, как оказалось, в свой маленький кабинет за железной дверью. В более мирной ипостаси, о чем никто нас не предупредил, наш экзотично одетый хозяин оказался преподавателем в том же Кабардино-Балкарском университете и специалистом по социологии молодежи. Он открыл сейф и предъявил нам доказательство: изрядно потрепанную книгу Бурдьё, вдоль и поперек испещренную пометками владельца. В глубине сейфа я заметил и другой документ – цветное фото Шанибова в окружении бородатых боевиков, одним из которых был Шамиль Басаев. Перехватив мой взгляд, Шанибов вздохнул: «А, да, это он, Шамиль, во время войны в Абхазии». После паузы он добавил: «Тогда он еще меня слушался».

Когда я спросил разрешения заснять Шанибова на фото, он согласился, однако неожиданно предложил: *«Когда вернетесь на Запад, пожалуйста, покажите это фото Бурдые и передайте, как мы здесь высоко ценим его труды»*. Я ответил с чувством неловкости, что возвращаюсь в Штаты, а не во Францию, а, кроме того, в Париже не бывал и вовсе не знаком с Бурдые. Однако Шанибов продолжал настаивать: *«ну, все равно, ведь едете на Запад»*.

ПРЕВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

По здравому рассуждению, не было ничего удивительного в этом случайном открытии научных и интеллигентских ипостасей перестроечного политика и известного националиста Юрия (он же Муса) Мухамедовича Шанибова. Как и повсюду в период посткоммунистических национальных столкновений на Кавказе, в Центральной Азии или бывшей Югославии, среди поколения вождей национальных революций и полевых командиров мы обнаруживаем множество представителей творческой и научной интеллигенции времен позднего госсocialизма.

Ставший президентом Грузии шекспировед Звиад Гамсахурдия был вскоре низложен скульптором-модернистом Тенгизом Китовани и кинокритиком Джабой Иоселиани; Абхазию в годы войны за независимость от Грузии возглавил исследователь древнеантолийской мифологии Бронзового века доктор наук Владислав Ардзинба; руководство революционного режима Азербайджана в 1992–1993 гг. едва не полностью вышло из Национальной академии наук, и даже точнее — из физиков и востоковедов; президент Армении Левон Тер-Петросян прежде был хранителем средневековых манускриптов, а его одиозный министр внутренних дел Вано Сирадегян прежде писал рассказы для детей.

Сам по себе интеллектуализм еще не дает объяснения. Тенденция внесения в политику после подрыва номенклатурной монополии различных форм накопленных в ходе предыдущей карьеры элитных социальных навыков и символического капитала не менее показательна на примере пяти генералов, ставших во главе национальных мобилизаций на Северном Кавказе: чеченца Дудаева, ингуша Аушева, балкарца Беппаева, карачаевца Семёнова и дагестанца Толбоева (последний готовился стать космонавтом и, в конце концов, вернулся к своему призванию, уйдя из все более опасной дагестанской политики в российскую космическую промышленность). Если кому-то покажется, что эта тенденция присуща лишь якобы аномальному постсоветскому пространству, то стоит вспомнить хотя бы карьеру губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Тот же принцип относится и к харизматическим бизнесменам постсоветской эпохи, силой и деньгами расчистившим себе путь ко власти — подпольному миллионеру и потомку княжеского рода Аслану Абашидзе в Аджарии, более подробно описываемой в седьмой главе; Сурету Гусейнову, сыну кировабадского цеховика-ковровщика и, как утверждается, торговцу наркотиками и оружием, на краткий срок в 1993 г. ставшему контрреволюционным премьер-министром Азербайджана; Кирсану Илюмжинову, первым на европейском пространстве провозгласившему буддизм государственной религией в Калмыкии; ныне покойному черкесскому «водочному королю» Станиславу Дереву; либо сибирскому золотопромышленному магнату Хазрету Совмену, неожиданно обошедшему на выборах в родной Адыгее прежнего номенклатурного ветерана.

Биография Шанибова очевидным образом совпадает с путем, которым за прошедшие десятилетия прошли многие интеллектуалы Восточной Европы и Третьего мира. Везде, где посткоммунистическая демократия имела успех, мы видим на вершине власти кинорежиссеров, музыкантов и ученых. Так почему же критически настроенный социолог Шанибов не мог, подобно чешскому драматургу Гавелу или русскому физику Сахарову, стать диссидентом и поборником либеральной демократизации?

На самом деле траектория Шанибова оказывается намного интереснее и показательнее для менявшегося климата эпохи, потому что Шанибов вошел в политику уже немолодым человеком, прожившим довольно напряженную жизнь. Шанибов еще успел побывать в ранней молодости искренним сталинистом, затем клубным работником (читатели, знакомые с советской классикой, припомнят обстановку молодежного энтузиазма в фильме Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь») и активным реформатором хрущевских времен. После символической даты 1968 г. Шанибов у себя на малой родине оказывается в роли, насколько это было возможно в условиях глубокой провинции, приближенной к образу интеллектуала-диссидента. В годы горбачевской перестройки он искренне пытался следовать примеру и либерально-демократическим, глубоко западным идеалам академика Сахарова. Что важно подчеркнуть, Шанибов обратился к радикальному национализму лишь *после* развала СССР — то есть только тогда, когда надежды на демократизацию и быстрое равноправное вхождение Советского Союза в Европу были утеряны и множество местных «смут» вспыхнуло на руинах советской империи. Это и увязывает историю Мусы Шанибова с нашим главным вопросом — как, где именно и почему конечная фаза советского развития привела к этническому насилию?

СУММА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Давайте попытаемся свести воедино приведенные выше наблюдения и ситуации. В Кабардино-Балкарии – во многом типично второстепенном субъекте Российской Федерации – люди по возможности поддерживают знакомые структуры и практики жизнеобеспечения в условиях резкого обеднения и авторитарного режима номенклатурной реставрации. Источником и пределом возможностей нового, но в то же время и очень знакомого режима В. Кокова являлась Москва, а сама его легитимность основывалась на подобии восстановления порядка советских времен. Однако в девяностых годах прошлого века Кабардино-Балкария не смогла вернуться к уровню жизни и социально-экономической стабильности советского периода. Режим президента Кокова не мог и, оценивая свои риски и ресурсы, едва ли желал двигаться в сторону капиталистической эффективности. Неоправданно рассматривать этот тип «неосултантского» (по Веберу и Эйзенштадту) режима в качестве чисто переходного – т.е. неудачной, однако неизбежной промежуточной фазы на историческом пути восхождения к чему-то более совершенному и, по транзитологической теории демократизации, более западному. Наоборот, этот «восточный» тип власти полностью оформился и создал себе достаточно комфортную нишу, сделав себя нужным для московской сети политического патронажа и управления периферийными кризисами.

В противоположность Кабардино-Балкарии, люди в мятежной Чечне пытаются обрести основы жизнеобеспечения после развала государства. Чеченцы внезапно оказались в буквальном смысле среди руин, что заставило их искать выбор способа выживания между традиционной микросолидарностью расширенной семьи и рода, националистическим проектом движения к независимому государству, мощными и эсхатологическими обещаниями религиозного фундаментализма (который, как обещалось, привел бы Чечню в международное исламское сообщество) – или же в сочетании этих трех стратегий.

Остаются еще два пути, которые в других обстоятельствах наверняка могли бы стать предпочтительными для значительных слоев чеченского общества, особенно для образованных городских классов и состоявшихся в советские времена людей среднего возраста. Первый путь, предполагающий возврат к переиначенному варианту старого советского порядка на манер Кабардино-Балкарии, оказался совершенно скомпрометирован в ходе войны, когда представители бывшей номенклатуры вернулись на родину в обозе федеральных войск. Они были не в состоянии оказать сколь-нибудь

эффективную защиту, протекцию и патронаж своим соотечественникам, поскольку федералы им совершенно не подчинялись. Второй исторической возможностью, судя по всему, наиболее привлекательной для большинства чеченцев, была бы номинальная национальная независимость в неизбежной ассоциации с Россией по какой-нибудь замысловатой юридической формуле, но при фактическом протекторате Евросоюза (что персонифицировал неожиданно упрямый и предприимчивый Тим Гульдиманн). Однако эта возможность исчезла в конце девяностых, когда основной политической силой в Чечне стала еле грамотная, но повоевавшая молодежь, вместе с оружием получившая в недавней войне навыки профессиональных бойцов вкуче со самомнением героических защитников нации и исламской веры.

Уже покидая территорию Чечни, мой спутник антрополог Игорь Кузнецов, задумчиво глядя в окно машины, заметил: *«Погляди, какие степенные здесь старики, какая живая и милая детвора! А до чего же работающие и выносливые женщины, причем ведь, если приглядеться, под всеми этими платками и зипунами, чуть не через одну – мирового класса красавицы. Мужики тоже крепкие, дома вон какие содержат, на шабашке пашут. Вот только если б не эти деревенские парубки-джигиты... Эх, парубков, парубков-то куда девать?»*

Мой спутник в своих несколько романтических наблюдениях на самом деле выходит на теорию кризисов в социально-демографическом воспроизводстве, которая в последние годы обрела серьезные эмпирические основы в материалах по истории европейских революций и восстаний XVI–XIX вв.⁴⁰ Теоретики до недавних пор редко замечали ослепляюще очевидный факт, что революции совершает молодежь. Молодежь идет и на войну, уходит осваивать колонии и целину, а также, как неопровержимо установлено криминологами, совершает подавляющее большинство преступлений. Точнее, основную массу правонарушителей (по которым, в отличие от революционеров и подвижников, имеется громадная межстрановая статистика) составляют именно молодые мужчины в возрасте от 14 до 18 лет. Следом идут мужчины 18–22-летнего возраста, но к 30 годам практически вся «случайная», ситуативная и хулиганская преступность (кроме узко профессиональной) сходит на нет⁴¹. Эволюционный антрополог Тимоти Эрл прямо утверждает, что переживающие гормональные

⁴⁰ Основополагающей является работа Jack Goldstone, *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press, 1991.

⁴¹ Randall Collins, *The Normalcy of Crime*, in: *Sociological Insight. An Introduction to Non-Obvious Sociology*. Oxford: Oxford University Press, second edition, 1992.

всплески молодые мужчины призывного возраста автоматически не должны считаться психически нормальными — поскольку только они могут в порыве группового задора, на «ура» побежать на пулеметы⁴². Это, вероятно, заложено где-то в эволюционно-генетическом развитии приматов⁴³. Что вовсе не означает, будто мы обречены нашими генами на антисоциальное поведение. Гены лишь предрасполагают, а общественные структуры направляют и канализируют агрессивную юношескую энергию — например, в спорте или танцах. Более традиционным способом было, скажем, услатить молодых мужчин на заработки и немедля по возвращении сыграть свадьбу. Армейская служба с 18–19 лет в большинстве европейских стран начиная с наполеоновских войн либо сегодня в Америке отбытие детей на учебу в колледж — все те же механизмы инициации молодежи, как и уход в священный лес среди традиционных народов Африки.

В Чечне в результате разрухи и войн общество в значительной мере потеряло власть над молодыми мужчинами. Ослабили основные запретительные ограничители, положительные стимулы, и сами институции и ритуалы, которые направляли молодежь на воспроизводство нормального жизненного цикла. Советское индустриальное развитие подорвало традиционно патриархальное регулирование социума, а распад СССР подорвал и современное бюрократическое регулирование. Вопрос, что тогда может справиться с вооруженной и активной солидарностью молодежных отрядов? Армейская дисциплина полковника Масхадова? Харизма Басаева? Исламизм Удугова? Федеральная оккупация? Или вступление в Евросоюз, но это полная фантастика?

Кабардино-Балкария избежала распада государства, бюрократические и полицейские учреждения так или иначе продолжают определять жизнь общества. Однако и здесь явно недостает положительных стимулов материального и этического порядка, которые бы ориентировали социализацию молодежи. Традиционные механизмы сельского уклада в какой-то степени сохраняются, однако это исторические пережитки по простейшему тесту: сколько безработных молодых горожан пойдет сегодня крестьянствовать, даже если им предложить корову и дом в деревне? С распадом советской идеологии, социальных ориентиров и путей мобильности возник вакуум, который отчасти заполняется исламом, причем религиозное

⁴² Timothy Earle and Allen Johnson, *The Evolution of Human Societies*. Stanford: Stanford University Press, second edition, 2000.

⁴³ Jared Diamond, *The Third Chimpanzee: The Evolution and Future of the Human Animal*. New York: HarperCollins, 1992.

возрождение зачастую происходит в виде типичного для исторических поворотов конфликта отцов и детей.

В остальной книге мы будем исследовать траектории, которые привели к такому положению. Рассмотрев зарисовки с Северного Кавказа и сформулировав несколько предварительных вопросов, в последующих главах попробуем отследить основные направления преобразований советского периода через призму в своем роде исключительно показательной и типично «шестидесятнической» биографии Шанибова.

ГЛАВА 2

ДИНАМИКА ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ

«В итоге второго десятилетия (1971–1980) будет создана материально-техническая база коммунизма, обеспечивающая изобилие материальных и культурных благ для всего населения; советское общество вплотную подойдет к осуществлению принципа распределения по потребностям, произойдет переход к единой общенародной собственности».

«Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Из Программы Коммунистической партии
Советского Союза и заключительного слова
Первого Секретаря Н. С. Хрущева на XXII партсъезде,
октябрь 1961 г.

Муса, сын Мухаммеда из кабардинского рода Шаниб родился в селе у подножия срединной части Кавказского хребта в конце 1935 или начале 1936 г. Запись актов гражданского состояния в те годы была довольно условной, и метрику на младенца оформили уже весной, когда в предгорьях сошел снег. Была и другая причина. В голодные военные годы овдовевшая мать Мусы занизила возраст своего первенца, чтобы подольше сохранить хотя бы крохотную прибавку к карточному пайку. Так герой нашего повествования оказался навсегда чуточку моложе своего возраста, что на самом деле символично. Шанибову выпало стать частью вечно юного поколения шестидесятников, которое даже в пожилом возрасте так и не приобретет степенной солидности. На жизнь этого изумительно динамичного и неизбежно конфликтного поколения выпадет смена исторических эпох, взломавшая исконную иерархию статусов пола и возраста. Подобная ломка иерархий имела ранний прецедент в европейском романтизме 1820-х гг., имевшем некоторое внешнее отношение к Кавказу через ссыльных декабристов и Лермонтова. Теперь же, в полный яркого символизма и романтической порывистости период 1956–1968 гг., прокатится уже подлинно всемирная волна изменений и подвижек в организации человеческих обществ,

активной индивидуальной частичкой которой будет и наш современный городской горец.

Впрочем, еще в ту первую романтическую эпоху XIX в. умнейший французский аристократ и один из первых сравнительных политологов Алексис де Токвиль подметил, что революционные эпохи несут не полнейшую новизну, а скорее, драматически углубляют и делают необратимыми тенденции и изменения, различимые уже в жизни предшествующих поколений. Как минимум еще родители Мусы Шанибова положили начало разрыву с традиционными социальными ролями черкесского общества в первой половине XX в. Истории тех уже относительно далеких лет успели окутаться флером семейных преданий вполне под стать рассказам Фазиля Искандера о жизни дяди Сандро из Чегема (кстати, село с таким названием реально существует в Кабарде, а не в Абхазии). В юности у Мухаммеда Шанибова по какой-то причине случился такой конфликт с отцом (возможно, из-за желания поехать искать счастья в город), что в запале юноша очевидно наговорил каких-то дерзостей и в результате ушел из отчего дома в скитальцы. Как бы то ни было, говорить о беспрекословном авторитете старшего тут уже не приходится. К счастью, Мухаммед Шанибов не стал бесповоротно порвавшим с обществом мстителем-абреком. Молодого гордого изгоя приютил зажиточный чеченец, поручив ему как истинному кабардинцу ухаживать за лошадьми. Очевидно, довольный своим конюшим чеченец повернул дело во вполне традиционное русло разрешения семейных конфликтов. Разузнав через знакомых о происхождении молодого кабардинца, он торжественно вернул его отцу с щедрыми подарками — подобно тому, как испокон веку на Северном Кавказе дядька-аталык возвращал природным родителям воспитанного им джигита по завершении взросления. Род благородного чеченца стал побратимами благодарных Шанибовых. Не все, впрочем, так просто. Кое-кто из односельчан Мухаммеда Шанибова подозревал его в пособничестве чеченским конокрадам, что по тем временам звучало почти так же тяжело, как обвинение в терроризме. Коней и свою честь владельцев горцы ценили исключительно высоко. Старый донос в советские органы Муса Шанибов найдет в архиве, уже став районным прокурором в 1960-е гг., а вскоре по драматическому стечению обстоятельств на мелком хищении попадетя и сам уже далеко немолодой доносчик. Тридцатилетний прокурор Шанибов отомстил тогда демонстративным великодушием. Он передал дело, реально грозившее тюрьмой, на рассмотрение товарищеского суда, тем самым снимая с себя и своего рода ответственность за расправу над беспомощным врагом. Такие вот типично кавказские истории.

Еще показательнее история из молодой жизни будущей матери Шанибова. Девушка была, очевидно, незаурядного ума и характера. Она успела получить образование в мусульманском медресе, прежде чем поступить, очевидно, по одному из ленинских призывов на курсы для молодежи коренных национальностей. Там она и встретила своего будущего мужа. Обстоятельства вполне современные, но общественная среда пока оставалась достаточно традиционной. Протекавший неизбежно у всех на глазах роман молодого парня и девушки породил многочисленные слухи, насмешки (вроде «куколки шанибовской») и, соответственно, очередное недовольство старших родственников. Юной черкешенке пришлось бросить учебу и включиться в предписанную обычаем традиционную самореализацию в роли скромной работающей жены и заботливо-строгой матери детей. Но до конца своей очень долгой жизни мама Шанибова сохранит стремление к образованности, которое реализуется уже в ее сыновьях и внучках.

Как водится в Кабарде, некоторые из предков Шанибова гордо считали себя выходцами из дворянских родов и, говорят, даже бывали богатыми купцами, что довольно необычно для воинской традиционной культуры черкесов. По правде говоря, образ жизни его собственной семьи был практически неотличим от быта простых крестьян: на дворе держали кур и пару голов скота, возделывали огород и небольшой фруктовый сад. Вдобавок рано овдовевшая мать четырех детей была вынуждена подрабатывать в рабочей столовой и брать белье в стирку.

Отец Шанибова, демонстрируя вовсе не джигитско-набеговые, а явно современные социальные притязания, в конце 20-х гг. вступил было в ВКП (б) в надежде получить путевку в совпартшколу и выдвинуться в начальство. Однако в ходе очередной партийной чистки недоброжелатели из своих же кабардинцев припомнили ему дворянское происхождение и подозрение в связях с чеченскими конокрадами. Отца признали «социально враждебным элементом» и исключили из рядов партии как «примазавшегося». На какое-то время старшему Шанибову все же удалось устроиться прорабом на строительстве Дома Советов в Нальчике. Это красивое центральное здание города, сочетающее архитектурные элементы конструктивизма двадцатых годов и наступившего затем сталинского псевдоклассицизма, Шанибов-младший будет штурмовать в 1992 г. Его же отцу в смертоносно-штурмовые тридцатые годы та стройка едва не стоила жизни, когда одна из ударно возведенных стен вскорее дала здоровенную трещину. Обреченно оценив ситуацию, главный инженер строительства благородно посоветовал отцу Шанибова немедленно исчезнуть. Инженера расстреляли, но Шанибовым

тогда удалось укрыться в селе. В неразберихе сталинских репрессий такое случалось. Со временем отцу Шанибова удалось устроиться начальником участка на местном кирпичном заводе. Он упорно делал современную техническо-управленческую карьеру. Но череда бедствий все не кончалась. Летом 1942 г., когда германский Вермахт неожиданно прорвался на Северный Кавказ, Шанибов-старший, несмотря на уже немолодой возраст и четырех детей, был спешно призван в Красную армию. Вместе со многими тысячами таких же горцев и казаков он был брошен затыкать бреши в обороне; через месяц семья получила стандартную похоронку, извещавшую о его гибели.

Жизнь осиротевших Шанибовых была такой же тяжелой, как и у миллионов советских семей тех лет. Месячный паек сахара, получаемый по карточкам, был главным детским лакомством, покупка новых ботинок воспринималась как праздник, а велосипед и во все был недостижимой мечтой. Мальчишки донашивали оставшуюся от отцов одежду и с малых лет помогали старшим нести бремя крестьянского труда. Подобные трудности, следует осознать, оставались суровой исторической нормой. Во все времена крестьянам регулярно приходилось переживать жестокие войны и голод. Насколько мы вообще сегодня способны представить, каково приходилось прежним поколениям людей, скажем, при нашествиях гуннов, монголов или Тамерлана в Средние века или в не столь давние времена карательных операций кавказского наместника генерала Ермолова? Чего стоил апокалиптический исход наконец сломленных силой русского оружия горцев, которые осенью и зимой 1864 г. с громадными потерями переселялись через горы и штормящее Черное море в Османскую империю? Да и среди казаков, присланных в 1867 г. заселять и удерживать покинутую черкесами прибрежную полосу от Анапы до Геленджика, Адлера и вплоть до Гагры (вот именно, все будущие знаменитые курорты), детская смертность, в основном от малярии, достигла в первый год жутких 100%. Вдумайтесь в эту цифру. Умерли все дети. А насколько опустошительны в предыдущие столетия могли быть такие регулярно возникавшие напасти, как эпидемии чумы и оспы, засухи и неурожая, межплеменные распри и кровная месть, либо веками длившаяся греко-римская, гуннско-сарматская, крымско-татарская, персидская, турецкая и своя местная работорговля?

Быт на краю бездны выковал стойкий характер местного населения. После каждой очередной катастрофы выжившие люди возвращались (в мере, определенной геополитическими и экологическими возможностями) к прежней жизни, упорно воспроизводя традиционные, пусть примитивные, но временем испытанные

модели горского жизнеобеспечения. Поколение Мусы Шанибова также казалось обреченным следовать суровому циклу выживания и продолжать традиции кавказского быта. Однако этого не произошло. В XX в. всемирная история совершила качественный скачок.

Советский Союз только что победил гитлеровский Рейх в массовой механизированной войне и быстро становился атомно-ракетной сверхдержавой. Индустриальные ресурсы и военно-плановая централизация теперь также перенацеливались на послевоенное восстановление, переходящее в наращивание современной инфраструктуры, городов и хозяйственных секторов. Вопреки осторожно-пессимистичным прогнозам западных аналитиков тех лет, идеологически недооценивавших потенциал командной экономики, послевоенное восстановление СССР заняло всего несколько лет вместо десятилетий. Централизованное деспотическое планирование наиболее соответствовало именно такого рода задачам быстрого массового производства стандартизированных вооружений в период войн, как и затем стандартизированного жилья, базовых потребительских товаров и самих человеческих кадров для индустриализованной экономики в период восстановления. Плановая военная экономика хороша для героических рывков вперед на узких направлениях, но, простите за тавтологию, не для планомерного широкого роста.

Западные аналитики и собственные либеральные идеологи постсоветского периода еще более недооценивали впечатляющую способность плановой системы управлять бедностью. В послевоенный период советское колхозное крестьянство подвергалось государственным изъятиям едва ли меньшим, нежели в 1930-е гг. Однако несмотря на голод первых послевоенных лет, крестьянские протестные выступления и восстания практически сошли на нет¹. Причина, очевидно, не только в жестокой эффективности сталинского аппарата террора. Исследования крестьяноведов, проведенные в последние годы на исторических материалах Европы, а также Азии и Латинской Америки XX в., не оставляют сомнений, что нигде страх карательных мер не предотвращает крестьянского сопротивления, открыто повстанческого или подспудно диверсионного, если под угрозой оказывается выживание крестьянских семей и общин². В период войны в СССР была отлажена всеобъемлющая система нормирования и карточного перераспределения, до-

¹ Lynne Viola, *Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance*. New York: Oxford University Press, 1996.

² James Scott, *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1976.

полнявшаяся полуофициальными продовольственными рынками. Проблемы были также колоссальны, и система снабжения периодически давала сбои, при крайней бедности резервов оборачивавшиеся голодом. Тем не менее система в основном гарантировала биологический минимум, что предотвращало наиболее отчаянные формы коллективного сопротивления и направляло сельских работников к привычным индивидуально-семейным стратегиям выживания в трудные годы. Тенденция к превращению колхозов из механизмов централизованного изъятия в механизмы централизованной поддержки и фактически в инфраструктуру общественной организации в дальнейшем будет лишь нарастать по мере роста городов и обезлюдения советского села, что удорожало сельские формы труда. Это помогает понять, почему во многих случаях как местное начальство, так и сами сельчане будут сопротивляться постсоветской приватизации. Дело, очевидно, в той же общинной «моральной экономии», о которой так красноречиво писали Джеймс Скотт и Теодор Шанин. В качестве иллюстрации приведу слова командира ополченцев и авторитетного мужика из абхазского села, сказанные уже в 2002 г.: *«Не знаю, коммунисты мы или капиталисты, только без какого-то колхоза, на одних своих мандаринах, нам тут всем хана. Эту последнюю войну мы бы поодиночке точно не пережили».*

Перераспределение времен позднего сталинизма откровенно игнорировало эгалитаризм социалистической идеологии. Городские элиты (всевозможное начальство, командный состав, профессура, лауреаты и академики) наделялись в тот период высокостатусными квартирами-сталинками, дачами, путевками в санатории, и получали зарплаты, в 10–15 раз превосходившие зарплаты рядовых рабочих. Тем временем колхозники зачастую вообще не получали денежных выплат, тем более государственных пенсий и бесплатного жилья, хотя должны были платить денежные налоги. Даже на символическом уровне всевозможных служебных униформ и предписанных должностью привилегий шел возврат к статусному неравенству царской России. Но речь здесь идет не об уровне крестьянского потребления, а о выживании физическом и социальном. Советское государство во время и после войны обрело достаточную инфраструктурную силу, чтобы править без прежних эксцессов. Способность править без эксцессов, в пределах даже низкой нормы и есть наиболее элементарная форма легитимности власти. Впрочем, это скорее относится к легитимности власти в аграрном обществе. Геополитическое давление наступившей «холодной войны» не позволяло СССР стабилизироваться в низком равновесии позднего сталинизма. Реставрация некоей формы псевдоклассического абсолютизма, что, вероятно, импонировало стареющему Сталину,

не могла быть прочной, поскольку государство волей-неволей продолжало ускоренную модернизацию. Затухание крестьянских выступлений, как мы увидим, вскоре обернется нарастанием городских бунтов и пролетарских забастовок.

Модернизаторская динамика сталинской диктатуры проникала в село не только в виде колхозов и налогов, но также тракторов и механических мастерских; медпунктов и работников санпросвета, объяснявших жизненно важные преимущества воды кипяченой над водой сырой; в виде дорог, по которым из города ехали грузовики; в виде издавлек протянувшихся электрических проводов и лампочек; и не в последнюю очередь кинопроекторов и радио, вещавшего величественным басом легендарного диктора Левитана о победах или об агрессии американской военщины в немыслимо далекой Корее. Пускай импрессионистскими мазками, обо всем этом сегодня следует напомнить, чтобы придать реальность афористичному обобщению Эрика Хобсбаума: «Для 80 процентов человечества Средневековье внезапно окончилось в 1950-е годы»³. Традиционная сельская среда резко приблизилась к большому миру — и этот большой мир говорил по-русски, во всяком случае для парней и девчат с Кавказа.

Советская модернизация приходила в жизнь молодежи не только через вербовку на гигантские стройки и призыв в армию (от которого молодой Шанибов был освобожден, как старший сын в семье погибшего фронтовика). Самым притягательным стало городское профессиональное образование. После гибели Мухаммеда Шанибова его вдове довелось воспитывать четырех сыновей. Дожив до глубокой старости, мать Мусы осталась во многом традиционной черкешенкой с твердым характером, чувством собственного достоинства и непререкаемым авторитетом в семье, где ей досталось стать главой. Она воспитала своих четырех сыновей в том же духе черкесско-кабардинской этнической культуры — и при этом уже с четкой ориентацией на современное образование и стремлением таким образом «вывести детей в люди». Тем не менее одних лишь твердости характера и трудолюбия не хватило бы, чтобы сделать из сыновей профессиональных специалистов и интеллигентов. Это уже результат советских институциональных возможностей, достигнувших пика в два послевоенные десятилетия.

Высшее образование в те годы выводило прямо на служебную и профессиональную карьеру, связанную с впечатляющей верти-

³ Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes. A History of the World, 1914–1991*. New York: Vintage Books, 1994, p. 288. (Эта книга сегодня переведена почти на тридцать языков, в том числе на русский.)

кальной мобильностью, статусным и материальным ростом. Неслышанная дотоле возможность уехать из села, чтобы учиться на летчика, учителя, врача, агронома, инженера или артиста делала новое осязаемым, вовлекала во всемирно-исторический сдвиг. Советская модернизация стремительно уводила шанибовское поколение из предписанной им от рождения традиционной доли крестьянства. У этих осознавших свою историческую удачу новых горожан теперь вызывало снисходительную усмешку прозябание в деревне, где «*в жизни не видели электрического света и голодали через зиму*». Молодое поколение было целиком повернуто к светлому будущему. Ностальгия по героической кавказской старине появится позже, когда новые горожане освоятся настолько, чтобы начать противопоставлять местные культурные традиции заурядному провинциализму своего положения.

Первой политической верой поколения Шанибова был наивно-восторженный сталинизм. Это вовсе не было результатом фанатизма, тоталитарной идеологии и «промывания мозгов» — такой властью советское, да и ни одно другое государство, к счастью, никогда не располагало. Для послевоенной молодежи, недавно вышедшей из села, Сталин был самым воплощением идеи прогресса и символом победы в Великой Отечественной войне. В психологическом плане он стал приемным отцом для поколения, выросшего в обстановке, когда все прежние социальные связи и нормы оказались разрушенными и государственные учреждения подменили миллионы утерянных отцов. Суровость образа вождя имела свою притягательность. Еще в 1940-е гг. Баррингтон Мур, впоследствии знаменитый основоположник сравнительно-эволюционной политологии, определил, вероятно, ключевой механизм сталинского культа личности в эгалитаристской мифологии, допускавшей возможность «сезона охоты на бюрократов» — когда сам вождь считал это необходимым⁴. Сталинизм полон неоднозначностей. Несмотря на воинственно атеистическую идеологию, массовый сталинизм насаждался иезуитскими практиками⁵. В конечном итоге сталинизм во взаимоотношениях народа и власти действительно стал именно тем, что в знаменитом высказывании Маркса и Энгельса названо «сердцем бессердечного мира... духом бездушных порядков... опиумом

⁴ Barrington Moore Jr., *Soviet Politics – The Dilemma of Power*, New York: Harper & Row, 1965 (с 1950), p. 430.

⁵ Хархордин О. *Обличать и лицемерить*. СПб.: Изд-во Европейского университета Санкт-Петербурга, 2002.

народа»⁶. Однако в то же самое время нормативные постулаты сталинизма давали нарождавшемуся, *in statu nascendi*, классу советских пролетариев форму активного самосознания и даже определенное политическое оружие.

Положение дел изменилось вскоре после смерти Сталина, когда более молодая и образованная когорта советских пролетариев и специалистов приобрела больше уверенности в собственной значимости и в коллективной достижимости своих жизненных целей. Конечно, эти молодые люди по-прежнему умели придерживать язык за зубами. Этот социальный навык не был признаком двоедущия и лицемерия. Он не разрушал, а, напротив, укреплял политические иллюзии, поскольку, используя терминологию Бурдые, навык соответствия официальной идеологии оказался вытеснен в нереплексивную зону доксы, т. е. «само собой разумеющихся» правил социального поведения и дискурсивных речевых оборотов. Впрочем, это лишь гипотеза. Исследователям предоставляется здесь на редкость фактурная и достаточно недавняя эмпирика для изучения механизмов исторической памяти. Избирательное забывание, как и частичная слепота к окружающей действительности есть скорее всего не столько парадоксы, сколько непеременные составляющие процесса выработки памяти⁷. На Кавказе это тем более наглядно, что здесь вам с гордостью, в красочных деталях расскажут о деяниях или земельных правах своих предков двухсотлетней и более давности, однако могут вполне искренне забыть, куда подевались еще недавно жившие по соседству казаки-«кулаки», греки, балкарцы или азербайджанцы, особенно если по отношению к ним существовало какое-то отчуждение. Или возьмите пример старушки из абхазского села, в давние времена служившей при госдаче, о которой односельчане с многозначительным почтением рассказывают, что она штопала носки самому Сталину по его скромной просьбе («*Вот каким бережливым был суровый вождь!*») И буквально следом списывается целиком на злодеяния Лаврентия Берии жестокая судьба боготворимого абхазского большевика Нестора Лакобы, его семьи и многих прочих абхазов, замученных в годы сталинского произвола. Тем более не осознается никакими абхазскими дол-

⁶ Маркс К., Энгельс Ф. *К критике гегелевской философии права*. Сочинения. Т. 1. М., 1955. С. 415.

⁷ Это вовсе не означает, будто ученые «помнят» непременно лучше простых людей. Отрезвляющим предупреждением на сей счет служит недавняя polemическая статья Питера Баера. См. Peter Baehr, «Identifying the Unprecedented: Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Critique of Sociology», *American Sociological Review* 67, no. 6 (December 2002).

гожителями и их потомками, что абхазы оказались демографическим меньшинством на своей исторической территории не только из-за грузина Берии, но из-за вполне осознанных действий русских властей в 1860–1900 гг. Впрочем, тут мы уже наблюдаем ретроспективное конструирование истории в соответствии с политическим ландшафтом наших дней.

Избирательности памяти и идеологического восприятия послевоенных лет, несомненно, способствовало ощущение оптимизма и беспрецедентности происходящего. Быстрая нормализация послевоенной жизни и хозяйственное восстановление облегчали социальную мобильность в такой степени, что согласие с официальной идеологией не требовало излишнего притворства. Прямо на глазах, казалось, стирались грани между пропагандой и реальной жизнью. Возможно, молодежь просто очень хотела в это верить. Мои родители вспоминали, с каким восторгом в те годы они ходили на свидания в кинотеатр «Кубань» в самом центре Краснодара смотреть раз за разом поражавшую их воображение цветную музыкальную комедию «Кубанские казаки» — фильм якобы из их собственной жизни. Сейчас трудно себе вообразить, как мои будущие родители могли совершенно не задумываться над, казалось бы, вопиюще очевидным фактом, что на том самом колхозном рынке, расположенном в реальной жизни всего в нескольких кварталах от кинотеатра, и близко не наблюдалось столь пышного продовольственного изобилия. Но изобилие должно было когда-то наступить, и как здорово было его увидеть хотя бы на киноэкране! Незадолго до того моя мама, только что зачисленная на должность телеграфистки краснодарского Главпочтамта, гордо надела полагавшуюся по тем временам почтовую форменку с блестящими пуговицами и туфли — первую в жизни пару ее собственной, сшитой на городской фасон обуви. Послевоенной молодежи страстно хотелось верить в скорое наступление изобилия. Наверное, и старшему поколению тех лет — моим рано овдовевшим бабушкам — война и победа виделись историческим рубежом, за которым остались пережитые ужасы и тяготы.

НОРМАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

Спустя несколько месяцев после смерти Сталина, летом 1953 г., в результате дворцового переворота оказался арестован и вскоре расстрелян один из его наиболее одиозных, но и способных подручных, Лаврентий Берия. Эта крайне противоречивая личность, возможно, олицетворяла альтернативную траекторию диктатуры развития. Берия был, несомненно, более чем достаточно ци-

ничен и властолюбив, чтобы придерживаться каких бы то ни было идейных рамок и табу⁸. Гипотетически он мог бы превратиться в государственно-капиталистического диктатора, пойдя на политическую разрядку в отношениях с Западом и перенацелив созданный в предшествующие годы индустриальный потенциал страны на экспорт сырья и трудоемких потребительских товаров. В этом случае СССР пятидесятых годов мог бы эволюционировать аналогично послемаоистскому Китаю конца XX в. О возможности внутреннего демонтажа социализма еще в 1953 г. рассуждал Исаак Дойчер в своем развернутом некрологе на смерть Сталина, и, надо признать с учетом опыта горбачевской перестройки и ельцинских реформ, рассуждения Дойчера звучат пророчески⁹.

Однако подобную историческую вероятность ограничивают соображения геополитики. В отличие от полупериферийного Китая, СССР только что приобрел престижную позицию сверхдержавы и стал вторым полюсом «холодной войны», а сверхдержавы на пике могущества и престижа изменяются с трудом. Еще важнее, стоимость рабочей силы на Западе, особенно в послевоенной Европе и тем более в Японии, оставалась достаточно низкой, повышение доходов рабочих и средних классов способствовало установлению внутреннего социального примирения и быстрому росту потребительских рынков. Едва ли в послевоенные годы капиталистические элиты были особенно заинтересованы в возникновении новых активных экспортеров, вводящих на мировые рынки дешевую рабочую силу и тогда вполне аналогичный западному индустриальный потенциал. Так что СССР приходилось оставаться изолированной социалистической экономикой.

С другой стороны, против Берии работало само грузинское происхождение, культурно объединявшее его соперников в борьбе с кавказскими революционными террористами. В последующие три десятилетия в высшем советском руководстве больше не будет напористых и вероломных кавказцев. (Это правило лишь подтверждается исключением, которое еще некоторое время представлял собой виртуознейший ветеран политического выживания Анастас Микоян, вовремя сделавший личную ставку на Никиту Хрущева.) Немало голов полетело вслед за Берией на Кавказе, где он сформировал собственную патронажную иерархию. После арестов и казней их покровителей основным настроением в среде сталинско-бериевских выдвиженцев среднего звена было желание укрыть

⁸ Amy Knight, *Beria, Stalin's First Lieutenant*. Princeton: Princeton University Press, 1993.

⁹ Isaac Deutscher, *Russia: What Next?* Oxford: Oxford University Press, 1953.

ся, так что их массовое понижение в должностях, ранняя отставка, ссылка председателями в сельскую глубинку или завхозами почитались удовлетворительным исходом и не встретили организованного сопротивления.

Столкновения вплоть до уличного кровопролития возникали на Кавказе, лишь когда хрущевская десталинизация угрожала местным патронажным группам, укорененным в более широких городских сообществах. В 1956 г. демонтаж памятника Сталину в центре Тбилиси вызвал рукопашную схватку студенческой молодежи с солдатами и милицией с немалым числом убитых и раненых. Сами старожилы Тбилиси затрудняются сказать, было ли причиной столь отчаянного сопротивления покушение на сакральный культ Великого вождя или грузинский национализм. Двойственность студенческого протеста олицетворял его участник Звиад Гамсахурдия, будущий ультранационалистический президент независимой Грузии и одновременно сын видного сталинского лауреата грузинского писателя Константинэ Гамсахурдия¹⁰.

Острейшие коллизии возникли в Абхазии, где Берия с присущим ему сочетанием терроризма и организационного размаха выкорчевывал местную автономию и изменял хозяйственно-демографическую карту, переселяя колхозников вместе с руководящими кадрами из внутренних районов Грузии. С падением ненавистного сатрапа немедленно воспряли остатки выживших в репрессиях абхазских кадров национальной творческой интеллигенции и партийно-хозяйственного руководства. Одним из их первых требований было перевести абхазский язык с грузинского алфавита, навязанного в конце 1930-х гг., на кириллицу. Тем самым задавалась политико-культурная ориентация в обход Тбилиси, непосредственно на Москву и входящие в Российскую Федерацию этнически родственные абхамам горские автономии. Возникший в результате трехсторонний конфликт будет регулярно обостряться в последующие десятилетия. Именно в Абхазии в 1992 г. кабардинцу Мусе Шанибову предстоит испытать свой звездный час главы добровольческого ополчения северокавказских горцев.

По другую сторону Кавказского хребта в конце 1950-х гг. происходили бурные столкновения между эшелонами возвращавшихся из ссылки народов — чеченцев, ингушей, балкарцев и карачаевцев — и успешными более или менее укорениться переселенцами, которые были размещены на их землях по разнарядкам бериевского аппарата. Москва, очевидно, не имевшая сколь-нибудь четкого плана

¹⁰ Ronald Grigor Suny, *The Making of the Georgian Nation*. Bloomington: Indiana University Press, 1994 (2nd ed.)

на сей счет, гасила конфликты непоследовательным сочетанием силовых мер (вроде направления войск в моменты открытых драк) и административных импровизаций. Так к воссозданной Чечено-Ингушетии оказались присоединены равнинные районы, ранее населенные ногайцами и русскими казаками. При этом часть этнических чеченцев-ауховцев была отнесена к Дагестану. В Грозном по настоянию городских властей и с немалым одобрением русскоязычного большинства жителей была резко ограничена прописка. Аналогичным образом многим ингушам оставалось на личном уровне путем получения рабочих мест или обычным подкупом приобретать прописку в Пригородном районе, отнесенном по хозяйственному признаку к столице Северной Осетии городу Орджоникидзе (Владикавказу). В то же время балкарцы и карачаевцы, ранее обитавшие в труднодоступных горных ущельях, теперь обустроивались ближе к городам, пополняя нижние уровни советского пролетариата и субпролетарские пригороды¹¹. Все это порождало различные очаги подспудной социальной и эмоциональной напряженности, которая вкупе с компенсаторным демографическим ростом среди бывших репрессированных народов Северного Кавказа с распадом советского государства приведет к открытым конфликтам.

Тем не менее годы десталинизации повсюду на Кавказе были отмечены мощнейшим оптимизмом, подкреплявшимся беспрецедентными возможностями роста. Семейно-биографические истории, собранные во время полевой работы на Кавказе, показывают, что даже семьи репрессированных после 1953 г. сталинско-бериевских кадров (хотя и годами молчавшие о деяниях и судьбе своих патриархов), за редкими исключениями, сохранили свой элитный статус и реализовали его в карьерах следующего поколения. Нормализация советской власти означала в том числе, что семьи бывших противников более не подлежали уничтожению. Десталинизация стала чисткой, чтобы покончить со всеми чистками.

Смещались не только проводники террора, но также активисты времен коллективизации, выдвиженцы прежних «ленинских призывов» и кампаний по «коренизации кадров». Формально слабость довоенной бюрократической когорты заключалась в недостаточной образованности. Эти партийные и административные назначенцы, особенно на Кавказе, в подавляющем большинстве имели лишь несколько классов образования плюс два года региональной Совпартшколы. После 1945 г. диплом о высшем образовании ста-

¹¹ Цуциев А. *Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004)*. М.: Изд-во «Европа», 2006; «Карта 29 (1957) Возвращение высланных народов и восстановление их автономий». С. 78–80.

новится нормой. Однако во всем мире формальные свидетельства о профессиональной пригодности подвержены очень быстрой инфляции по мере их распространения среди растущего числа претендентов на элитные позиции¹². В 1960-х гг. многие кавказские аппаратчики озаботились уже приобретением кандидатских и докторских степеней¹³.

За роспуском зиждившегося на у страшении сталинистского аппарата последовали расширение и нормализация гражданской бюрократии. Результатом этого сдвига в политике стала череда продвижения молодых кадров на руководящие позиции. В СССР этот процесс предполагал неременное освящение формализованной инвентурой в парторганах, результатом чего становилось причисление к *номенклатуре*. Новые руководители назначались по принципу компетентности, предполагавшей высшее образование плюс успешный профессиональный опыт вместо прежнего принципа социального происхождения и идеологического рвення. В результате диплом о высшем образовании стал фактически оружием в борьбе за восхождение по бюрократической пирамиде. Данные отчетов проходивших в Кабардино-Балкарии партконференций свидетельствуют, что уже в начале 1960-х гг. в основном произошла смена поколений. Молодые коммунисты с высшим образованием составили большинство в республиканском партийном и госаппарате¹⁴. Это вполне соответствовало общей тенденции переформирования элит в социалистических странах советского блока и означало окончательную победу бюрократии над террористической селекцией сталинского режима. Постсталинистская номенклатура оказалась не только значительно более многочисленной и образованной, но и намного более стабильной. Выдвиженцы конца 1950-х гг. будут оставаться во власти практически пожизненно. Многие из них переживут даже перестройку и потрясения, сопровождавшие распад СССР, превратившись со временем в старейшин региональной олигархии постсоветского периода.

¹² Randall Collins, *The Credentials Society. A Sociology of Higher Education*. Berkeley: University of California Press, 1978.

¹³ Яркие сатирические зарисовки, ценные прежде всего богатством засекреченных в СССР статистических данных о коррупции и погоне партийных кадров за научными званиями приводятся в работе эмигрировавшего в Израиль бакинского социолога Ильи Земцова *Партия или мафия? Азербайджан: разворованная республика*. Paris: Les Editeurs Reunis, 1976.

¹⁴ *Партийная организация Кабардино-Балкарской АССР за полвека*. Нальчик: Госкнигоиздат, 1967.

БУРНАЯ СТОРОНА ХРУЩЕВСКОЙ «ОТТЕПЕЛИ»

Воспоминания о временах десталинизации 1956–1964 гг. или хрущевской «оттепели» обычно фокусируются на оптимизме и духе культурного возрождения тех лет, который испытывала техническая и творческая интеллигенция столиц, либо на драматических коллизиях внешней и внутренней политики Кремля. Подобный элитарный взгляд сверху, следует признать, подкреплен интереснейшими источниками и аналитически достаточно продуктивен. Советское государство от начала до конца оставалось наследником революционной диктатуры и оттого пользовалось чрезвычайной, «бонапартистской» автономией от общественных классов, гражданских организаций (которые, включая традиционные религии, присутствовали лишь номинально) и, по большому счету, от всей управляемой этим государством страны. Наиболее важные и яркие события в самом деле происходили в Москве, а не на окраинах, и не просто в Москве, а в пределах ее исторического центра. Все это так, однако именно в годы хрущевского поиска путей к рациональным, нетеррористическим реформам, как и позднее в годы горбачевской перестройки, капиллярные процессы в провинциях приобретают собственную важность и динамику.

Не будет, наверное, преувеличением сказать, что в те годы и в провинциях многие советские граждане были просто обуреваемы энергией и желанием выстраивать различные горизонтальные связи и сообщества. На одном конце шкалы находятся элементарные дружеские, соседские и межсемейные социальные сети городских обывателей, которые просто ходили друг к другу в гости, вместе выезжали на пикники, играли вечерами в карты и теперь, с долгожданным наступлением мира и относительного благополучия, просто предавались ритуализованным мелким прелестям мещанского быта. Далее следуют группы по интересам, требующим больших усилий и специальных знаний: астрономы-любители, шахматисты, радиотехники, филателисты, театралы. Наконец, граничащие уже с оппозиционностью литературные, художественные и политико-философские кружки. Опубликованные со времен гласности мемуары и ранее закрытые материалы из официальных архивов показывают, как много подобных кружков возникает в конце 1950-х гг. повсюду в провинциальных городах России и других республик и как порой безрассудно смело вели себя их воодушевленные духом «оттепели» участники. Все эти социально-ассоциативные практики предполагали обладание довольно значительным культурным капиталом, свойственным средним городским слоям. Среди прочего

так возникала громадная общесоюзная аудитория читателей и зрителей, мощно генерирующая позитивную эмоциональную энергию, в свой черед питавшую всплеск творческой активности на высотах культурного поля. Мы еще вернемся к рассмотрению динамики этого важнейшего предполитического процесса. Кстати, аналогичное взаимодействие азартной публики, самодеятельных подражателей среднего уровня и элитных звезд служило механизмом возникновения культов футбола и шахмат.

Ближе к символическим городским окраинам мы обнаруживаем изобилие микрогрупп и централизующих сетевых персонажей менее высокого пошиба: воскресных рыболовов и садоводов, спортивных болельщиков, дворовых доминошников и сплетничающих кумушек, молодежь, вместе бегающую на танцы и в кино, либо, менее невинно, регулярных собутыльников, кучкующихся у распивочных точек, уличных хулиганов и приклатненных «смотрящих», днями слоняющихся на перекрестках, отпуская шуточки, приставая к проходящим красавицам, перебрасываясь словечками с прохожими и таким образом набирая информацию о положении местных дел. Добавим сюда регулярные коммуникативные взаимодействия, возникавшие в парикмахерских, сапожных мастерских, пунктах продажи керосина (важнейшего в те годы бытового топлива), в очередях у магазинов. Наконец, целенаправленные структуры полулегального блата и черных рынков, через которые осуществлялся оборот всевозможных контрабандных товаров и услуг, как правило, выведенных и просто украденных из государственных ресурсов.

Политическая теория, обычно парящая в абстрактно-нормативных высях, едва различает эти микроскопические комочки человеческой почвы, из которой даже в, казалось, самом неподходящем климате произрастают структуры гражданского общества. Классы и нации есть идеологические абстракции, которые приобретают политическую реальность только при опоре на мириады незаметных бытовых микровзаимодействий. Сами по себе классовые и национальные идентичности слишком макроскопичны, чтобы создавать направленное социальное действие. Силу им придают мобилизованные идентичности и сети взаимоподдержки, сложившиеся и регулярно практикуемые на менее абстрактных уровнях социального взаимодействия. Скажем, хорошо известно, что долгое время шахтеры и судостроители представляли собой наиболее боевитые отряды пролетариата (вспомните хотя бы документальный роман Эмиля Золя «Жерминаль», мобилизацию польской «Солидарности» с центрами в приморском Гданьске и горных Катовицах либо шахтерские забастовки времен кризиса перестройки). При-

чина в значительном совпадении трудового коллектива с поселковой общиной, возникающей вокруг отдельно расположенных шахт и судовых верфей. Гендер, пусть не всегда явно, играет здесь огромную роль. Политическое сопротивление становится наиболее эмоционально заряженным и упорным, когда в него включаются домохозяйки и матери, когда людям представляется, что под угрозой их семья, дом, улица. В еще большей степени это относится к нациям, для которых ключевой метафорой служит именно воображаемая большая этническая семья. Патриотическая, отечественная война ведется ради обороны родных очагов¹⁵.

На самом деле никакие люди никогда не бегут слепой толпой или стадом на митинги, демонстрации или погромы. Это распространенная внешняя иллюзия, восходящая к философско-публицистическим произведениям престижных авторов конца XIX – первой половины XX в., когда европейские элиты сталкиваются с политическим давлением снизу и их охватывают фобии «толпы» и пришествия «хама». Американский исторический социолог Роджер Гулд, трагически молодым павший жертвой рака, вошел в канон современной науки блестящим исследованием состава тех, кто в 1871 г. оборонял Парижскую коммуну на баррикадах, и тех, кто ее подавлял штыками и картечью. (Государственные архивы Франции сохранили как личные дела «версальцев», так и протоколы трибуналов, судивших пленных коммунаров.) Гулд показал на десятках тысяч примеров, что отличие жертв от палачей не было классовым, как традиционно считалось на протяжении более сотни лет. С обеих сторон было примерно поровну интеллигентов, мелкой буржуазии, ремесленников и рабочих. Существенно значимым показателем политической дифференциации оказались дружеские и соседские связи, вхожесть в те или иные политизированные таверны, которые издавна служили в Париже клубами¹⁶. То же самое установлено социологами для множества других ситуаций (митингов, карнавалов, столкновений с полицией, этнических по-

¹⁵ Общая теория на сей счет содержится во втором томе историко-социологической эпопеи Майкла Манна: Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Применительно к забастовочному движению советских шахтеров времен перестройки (и его невозникновению среди металлургов) см. Stephen Crowley, *Hot Coal, Cold Steel: Russian and Ukrainian Workers from the End of the Soviet Union to Postcommunist Transformation*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.

¹⁶ Roger V. Gould, *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.

громов, футбольного хулиганства), когда сторонним наблюдателям кажется, что буйствует элементарная толпа. На самом деле в толпе всегда находятся взаимопересекающиеся связки из нескольких или даже множества знакомых, приятелей, соседей, бывших сослуживцев. Нет, не ходят атомизированные индивиды толпой, тем более на опасное дело. Всякий социальный конфликт или противостояние предполагает предварительное наличие солидарности и готовности ко взаимовыручке внутри группы. Для нашего исследования это важнейший постулат.

Вот почему по преимуществу неформальная, самодеятельная ассоциативная активность советских граждан времен десталинизации даже в, казалось, самых невинных и бытовых проявлениях создавала заряды эмоциональной энергии, которые стимулировали творчество в поле культуры, уходили в самодеятельные бардовские песни и молодежную романтику тех лет, а могли и внезапно разразиться громом и молниями стихийного протеста. Недавние исследования историков указывают, что протесты в СССР случались куда чаще, нежели предполагали даже диссиденты, сосредоточенные в столицах. Этот раздел советской истории еще только начинает писаться и пока довольно слабо осознается. Советское общество было далеко не пассивным. Я здесь предложил лишь эскизный набросок пути, по которому могло бы двинуться социологическое объяснение действий людей, которые чаще всего неожиданно для самих себя оказывались в конфронтации с собственным государством. Приведу лишь приблизительный список наиболее значительных протестных выступлений тех, кого секретные правительственные сводки того времени именовали «антисоциальными элементами», «толпой», «провокаторами» и «хулиганствующими элементами».

Как уже упоминалось, в 1956 г. преимущественно грузинская студенческая молодежь в столице Грузии схлестнулась с войсками, посланными для демонтажа памятника Сталину. Дело закончилось множеством раненых и несколькими убитыми (возможно, десятками), по республике прокатилась волна арестов.

Возвратившиеся в 1957–1958 гг. из ссылки чеченцы и балкарцы многократно и по разным поводам сталкивались как с милицией, так и с переселенцами, после 1944 г. направленными в их упраздненные автономии. Для прекращения беспорядков неоднократно приходилось вызывать войска.

В августе 1959 г. в казахстанском городе Темиртау рабочие-строители, среди которых было немало бывших заключенных, вышли на улицы. Причиной массовых выступлений стали перебои в снабжении продовольствием и ужасающие условия быта. Однако насилие пошло не только вертикально, против властей, но в основ-

ном горизонтально, между различными статусными и этническими категориями рабочих и субпролетариев. Человеческие жертвы исчислялись сотнями. Усмирение вновь было возложено на войсковые подразделения, а процесс наведения порядка оказался настолько кровопролитным, что вызвал серьезное переосмысление политики в Москве¹⁷.

В 1961 г. в Кировабаде, втором по величине городе Азербайджанской ССР, женщины, несколько ночей тщечно простоявшие в очередях за хлебом, начали громить магазины и забросали милицию камнями и мусором. Причиной нехватки хлеба стало излишнее рвение руководства республики, поспежившего отрапортовать Кремлю о якобы достигнутом уровне самообеспечения пшеницей. Вполне предсказуемым результатом стало сокращение московским центром поставок хлеба АзССР. Позднее, в 1966 г., группы рабочих в другом азербайджанском городе, Сумгаите, вышли на официальную первомайскую демонстрацию с портретами Сталина и требованиями снятия местных коррумпированных властей. Милиция натравила на протестующих служебных собак, что соответствовало подлинной истории Сумгаита — как и Темиртау, этот центр экологически грязной нефтехимии строился после войны трудом заключенных, которые после освобождения из ГУЛАГа не допускались обратно в Баку и другие крупные города, а поселялась в Сумгаите по административному принуждению. По тем же причинам в Сумгаите нередко пустовали новые квартиры — невероятное для СССР явление. Выпускники бакинских вузов, среди которых было много армян, всячески избегали распределения в такой город. В закрытой советской статистике уголовной преступности Сумгаит регулярно занимал первые места. Применение тюремных овчарок во время демонстрации на главной площади Сумгаита произвело взрыв негодующего насилия, охватившего весь город. Погромы и настоящие баррикадные бои продолжались несколько дней¹⁸. Такого рода предыстория, вероятно, дает кое-что существенное для понимания причин армянского погрома, случившегося в Сумгаите в начале 1988 г. и оказавшегося точкой невозврата для горбачевской перестройки.

В феврале 1961 г. в крупнейшем городе Северного Кавказа Краснодаре обыденный с виду арест военным патрулем солдата на Сенном рынке стал причиной марша «толпы рыночных торговцев и зе-

¹⁷ Лельчук В. С. 1959: Расстрел в Темиртау // *Советское общество*. Т. 2 / Под редакцией Ю. Афанасьева. М.: РГГУ, 1997.

¹⁸ Земцов И. *Партия или мафия? Азербайджан: развофорованная республика*. Paris: Les Editeurs Reunis, 1976.

вак» к военной комендатуре, куда увели задержанного солдата. (Находясь в увольнительной или самоволке, по слухам, тот попытался продать на рынке армейское белье, вероятно, чтобы добыть денег на выпивку и закуску.) Дежурный офицер скомандовал часовым на входе в комендатуру дать предупредительный выстрел в воздух. Однако толпа уже напирала на парадную дверь, снося часовых в вестибюль. Пулей, вероятно, срикошетившей от каменного потолка, был убит участвовавший в протесте студент (оказавшийся отнюдь не рыночным люмпеном, а сыном армейского полковника). Неся убитого на руках и обрастая все новыми и новыми участниками, негодующая масса людей двинулась вдоль по улице Красной, главному проспекту Краснодара, в сторону здания краевого комитета партии. Захватив без боя здание крайкома, «провокаторы» провели собрание, на котором было составлено обращение в Москву. Они даже пытались дозвониться в Кремль по спецтелефону из губернаторского кабинета. Тем временем партийное руководство закрылось в расположенном под зданием бомбоубежище, откуда на следующий день было вызволено прибывшими из Ейска подразделениями курсантов¹⁹.

В июне 1962 г. рабочие локомотивного завода Новочеркаска объявили забастовку в знак протеста против повышения цен на продовольствие. Под красными флагами и портретами Ленина они прошли до горисполкома, где были встречены огнем. Двадцать два рабочих было убито, десятки других участников забастовки были приговорены к высшей мере наказания либо получили длительные сроки заключения. Крайне важным видится ставшее известным благодаря журналистскому расследованию эпохи гласности обстоятельство: армейский генерал, первым направленный на умирение народа, отказался открыть огонь, доложив начальству, что видит перед собой только советских граждан и ни единого немецкого солдата. Ставший местной легендой «генерал, который не стрелял» был немедленно сменен офицером КГБ и впоследствии разжалован. В ретроспективе произошедшее, и в особенности смелый отказ генерала выполнять неправый приказ, видится исключительно значимым фактом. Правящий режим не мог вполне полагаться на армию для подавления социальных волнений, поскольку солдаты могли увидеть в протестующих своих сограждан. Потенциально это общая политическая уязвимость всех призывных армий. Разумеется, советская элита все еще могла рассчитывать на КГБ, одна-

¹⁹ Мемуары ветерана КГБ, опубликованные в юбилейной брошюре краснодарского управления ФСБ (февраль 2001 г.), и воспоминания жителей Краснодара.

ко позволить «карающему мечу» вновь приступить к широким репрессиям означало вернуть страну — и себя самих — к сталинским временам террора. Эта дилемма правящей элиты и стала главным условием, сделавшим возможным зарождение демократизации из революционной диктатуры.

Конфликты тем временем продолжали возникать. В 1963 г. нехватка продовольствия вновь привела к волнениям, забастовкам и стихийным шествиям в Краснодаре, Грозном, Кривом Роге, Донецке, Муроме, Ярославле и даже в районе автозавода в самой Москве. Структурно это были узнаваемые хлебные бунты, в прошлом наиболее распространенная форма городского протеста. Однако советские горожане требовали уже не столько хлеба, сколько мяса, масла и других продуктов более сложного современного питания, которые могло в достаточном количестве поставить только современное индустриальное животноводство. Давление городского недовольства и демонстрационный эффект Запада волей-неволей подвигали советское руководство к имитации общества потребления.

Главное противоречие, которое так и не будет разрешено, состояло в том, что советский вариант догоняющей индустриализации носил ярко выраженную военную ориентацию, которая мощно подтверждалась реальными геополитическими испытаниями Второй мировой и «холодной войны». Причина глубоких сомнений советского руководства в рыночных реформах крылась не в одном лишь идеологическом упрямстве лично Хрущева и не только в страхе многократно усиленного повторения того, что Хрущев и его окружение наблюдали в Венгрии в 1956 г., хотя все это, несомненно, играло большую роль. Сама институциональная архитектура СССР в силу своей мобилизационной логики оставляла предельно мало пространства для возникновения самоорганизующихся на рыночных принципах товарных цепочек. Одно дело корова, выращенная на сельском подворье и поступившая в виде молока или мяса на элементарный крестьянский рынок в ближайшем городе, хотя уже и это вело к удорожанию традиционно крайне дешевого крестьянского труда и опосредованно подрывало тотальность мобилизационной системы команд и подчинения. Совсем иное дело ферма и молокозавод, руководители которых имеют обеспеченное законом право принимать собственные инвестиционные решения, искать (и в конечном итоге где-то находить) готовое к продаже оборудование и рынки сбыта. Проще и безопаснее казалось воспользоваться продуктами чужого агропрома, даже принадлежащего геополитическим и идейным соперникам. В ноябре 1963 г. Политбюро во главе с Н. С. Хрущевым санкционировало выделе-

ние валютных средств на импорт канадского и американского зерна (не только пшеницы, но и кукурузы на корм животным). Это считалось временной мерой, пока не наберет обороты собственный агропром. Однако на деле импорт продовольствия и товаров народного потребления стал неотъемлемой чертой последних десятилетий советского государства²⁰. Решение Политбюро ознаменовало всемирно-исторический поворот. Из исторического экспортера продовольствия Россия превратилась в импортера. Это означало не только завершение индустриализации, но и классовую победу новых советских специалистов и работников. Явными и неявными путями они доказали собственной элите, что с советским обществом более нельзя было обращаться, как с фаталистически покорной и вечно балансировавшей на грани голода крестьянской массой. К этой несколько триумфально звучащей фразе следует добавить, что это означало также создание канала зависимости от капиталистического Запада. СССР никак не мог покинуть орбиту капиталистической миросистемы.

ОЦИВИЛИЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Список приведенных выше примеров относится к наиболее яркой трансгрессивно-протестной части спектра общественной самоорганизации хрущевского периода. Сам же спектр был значительно шире, простираясь на противоположной оконечности до совершенно неполитических, но социально значимых и поистине массовых движений филателистов, шахматистов и дачников. Где-то в середине этого континуума, между хулиганствующими субпролетариями и благопристойными интеллигентами, мы обнаруживаем движения, совмещающие официальную коммунистическую идеологию с энергичной опорой на собственные силы и подлинным молодежным энтузиазмом, что обретало порой не самые казенные и безмятежные формы. Именно здесь мы обнаруживаем нашего героя, молодого Мусу Шаниба.

К тому времени он уже звался не Муса, а более привычным русскому слуху именем Юрий Шанибов. Это вовсе не было следствием официальной русификации. Подобные подозрения отдают непониманием неоднозначности символических иерархий в советском обществе. Став Юрой, Шанибов делался не русским, а современным человеком. Вне всякого сомнения, по-прежнему воспринимался и с искренней гордостью считал себя кабардинцем. Более того, если

²⁰ *Советское общество*. Т. 2 / Под редакцией Ю. Афанасьева. М.: РГУ, 1997. С. 706.

бы он каким-то образом перестал быть кабардинцем по формальной записи в метрике и внутреннем паспорте, то это бы привело к потере образовательных и карьерных преимуществ члена титульной национальности в своей автономной республике. Почти наверняка, будь он просто местным русским, татаринном или армянином, Шанибов бы не передвигался с такой завидной быстротой на следовавшие одна за другой ступеньки его статусного роста – воспитанник привилегированного «ленинского» интерната, студент-заочник юридического факультета самого престижного в его регионе Ростовского университета, заведующий клубом, сотрудник районной газеты, комсомольский работник республиканского уровня, наконец, прокурор – и все это, когда ему еще не исполнилось и тридцати лет.

В то же время, подобно многим своим нерусским сверстникам, Шанибов, очевидно, начал стесняться своего слишком деревенского, традиционного имени Муса. Если точнее, такое имя как-то не звучало в контексте советской модернизации. Хотелось чего-то более современного, стильного, нормального. И дело тут едва ли в том, что Муса было мусульманским именем (точнее, арабской формой ветхозаветного имени Моисей). Честно говоря, это очень похоже на моего собственного отца, окрещенного при рождении греческим христианским именем Мартирос (т.е. «мученик за веру»). На первом свидании (кстати, после задорного волейбольного матча) он смущенно представился моей будущей маме просто «Димой» – при том что его внешность не оставляла никаких сомнений в армянском происхождении. Но мама с готовностью приняла игру в молодых советских горожан, и еще годы спустя ее казачьи родственники, приезжавшие к нам из станицы, почтительно обращались к моему отцу «дядя Дима», а он полушутливо отвечал им на кубанском украинском диалекте – одном из полудюжины языков, которые он в той или иной степени усваивал по ходу своей жизни (как, впрочем, и забывал по мере социально-лингвистической ненадобности). Это было лишь полуосознаваемым стратегическим поведением, направленным не столько на мимикрирующую ассимиляцию, сколько на многостороннее сокращение социокультурных дистанций и установление контактов с различными людьми в многоэтничной среде.

Имя Юра, принятое Шанибовым вместо Мусы (как объясняет он сам, в честь одного из друзей погибшего отца), было одним из трех наиболее частотных мужских имен в СССР, наряду с Сашей и Володей. Поэтому Юрий звучало нейтрально, более светски и погородски. (Конечно, филолог бы нашел в том иронию, поскольку Юрий, как и Егор, является восточнославянской вариацией грече-

ского имени христианского святого Георгия; однако эта этимология была давно позабыта). Современные советские идеи интернационализма и прогресса прочно ассоциировались с русским языком и вскоре с именем первого человека в космосе – Юрия Гагарина. Возвращение к этнической форме «Муса Шаниб» произойдет лишь в период распада Советского Союза, когда наш герой становится вождем горских националистов. А пока же он – молодой энтузиаст, превращающийся в советского образованного горожанина.

Получив начальное образование в сельской школе, Шанибов продолжил учебу в районной средней школе, куда стекались дети из близлежащих селений. За отсутствием школьных автобусов райком партии предписал водителям попутных грузовиков подбрасывать школьников – мелочь, которую с теплотой вспоминают доньне. Дальнейшее образование он получил уже в Нальчике, в интернате для лучших учащихся Кабардинской АССР (напомню, Балкария в конце сороковых была официально стерта с советской карты). В сообществе воспитанников интерната происходили типично подростковые конфликты по поводу распределения статусов относительно друг дружки и принадлежности к той или иной категории и группировке (отличников-зубрил, сорвиголов, подлиз). Свообразным эпиграфом к дальнейшей карьере, в школе Шанибов пытался вести микрополитику двойного статуса, одновременно выступая в ролях одобряемого взрослыми отличника и заводилы среди сверстников. Вторая роль, однако, предполагала рискованное поведение, чреватое ролевым конфликтом и конфузом, как в случае с детскими налетами на соседний совхозный сад, за которые юному Шанибову пришлось ответить. Кстати, Пьер Бурдьё тоже воспитывался в интернате по стипендии для одаренных детей и примерно в те же трудные годы. Показательно и то, что сам Бурдьё не упоминает, возможно, селективно забывает сказать о том, что его обучение проходило в позорное для его страны время немецкой оккупации. В школьные годы Бурдьё, судя по его собственным воспоминаниям, тоже вел двоякую микрополитику усидчивого, книжного ребенка-одиночки и одновременно провинциального крестьянского забияки, увлекавшегося грубо физической игрой в регби²¹.

Вернувшись после окончания учебы в Нальчике в свой родной район, Шанибов стал быстро подниматься по карьерной лестни-

²¹ Pierre Bourdieu, *Esquisse pour une auto-analyse*. Paris: Éditions Raisons d'Agir, 2004. Впервые встретившись с Жеромом Бурдьё в 2007 г., мы увлеклись полусерьезным сопоставлением траекторий и габитусов его отца и Юрия Мухаммедовича, обнаружив, что они были даже внешне похожи. Быть может, все-таки существует некое глубинное родство горцев Кавказа и Пиренеев.

це. Первой его должностью стало место директора местного Дома культуры, где он отвечал за организацию концертов, танцев по выходным дням и работу разнообразных кружков самодеятельности — драматического, музыкального, поэтического. (Сегодня Шанибов с горечью рассказывает, что тот Дом культуры был снесен, чтобы расчистить площадку под строительство ресторана.) Он также стал публиковать заметки в районной газете и вскоре вызвал громкий скандал местного значения разоблачением колхозных начальников, списывавших съеденные ими шашлыки на естественный падеж общественного скота. В небольшом сельском мирке эти злоупотребления ни для кого не были особым секретом, но публикация в газете придавала делу политическое звучание и, по советской практике, предполагала суровые оргвыводы. Молодой обличитель неизбежно нажил себе врагов среди старшин местной иерархии власти, одновременно становясь народным трибуном. Поскольку дело было в самый разгар хрущевской «оттепели», удачное критическое выступление сделало молодого человека ценным союзником растущей послесталинской когорты руководителей. Шанибова вовлекли в регулярное сотрудничество в газете и начали выдвигать по комсомольской линии. Несколькими годами позже он будет избран секретарем по пропаганде и агитации Кабардино-Балкарского обкома комсомола.

На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов молодой перспективный специалист, представитель коренной национальности и комсомольский вожак, Юрий Шанибов прочно встал на пути, который вел его в ряды номенклатуры. Получив университетский диплом юриста, он был вскоре назначен районным прокурором, что показательно для быстрой смены кадров в те годы. Однако дальше дела пошли не так, как предполагалось. Сам Шанибов с усмешкой объясняет подобный поворот своим «боевитым габитусом». В 1964 г. Хрущев был отстранен от власти, началась долгая стабилизационная эпоха Брежнева. Шанибов не сумел правильно оценить перемену политического климата и, по советскому бюрократическому жаргонизму, «выпал из обоймы». Предлогом для жесткой критики стала защита Шанибовым обвиненного в воровстве молодого колхозника, который без надлежащего одобрения свыше использовал кровельный материал на пристройку к хлеву отделения для новорожденных телят. В то же время в качестве районного прокурора Шанибов развернул кампанию по борьбе с коррупцией в бюрократических кругах. В новые времена на подобный популизм уже смотрели косо, и Шанибова вынудили написать заявление об уходе с поста прокурора — разумеется, по собственному желанию. Однако и это пока не предвещало катастрофы. Шанибову ед-

ва исполнилось тридцать, он был полон сил и амбиций. Помимо недругов в кругах начальства у него оставались сочувствующие и покровители, так что отставка даже приобрела видимость повышения на новую должность преподавателя в университете. Таким образом вместо карьеры чиновника Шанибов стал интеллектуалом — очередной невероятный поворот в судьбе послевоенного сироты из кавказского селения.

В шестидесятых годах прошлого века Кабардино-Балкарский педагогический институт был расширен и приобрел статус университета, в котором Шанибов приступил к преподаванию и написанию кандидатской диссертации. Он штудирует, конечно, сочинения Маркса, Энгельса и Ленина, но одновременно увлекается философской логикой, полудозволенным Фрейдом, знакомится (в основном через советские «критические изложения») с идеями французских марксистов и Франкфуртской школы, а также с работой Райта Миллса «Властвующая элита», переведенной на русский в 1958 г., всего через два года после американской публикации, в качестве критики современного капитализма. (Позднее стараниями местной профессорской цензуры подобные книги оказались изъяты из открытого доступа в библиотеках ряда провинциальных университетов.) Этот круг чтения определил на всю дальнейшую жизнь интерес Шанибова к критической социологии и общественным реформам, причем с самого начала социология для него была неотделима от активной преобразовательной деятельности.

Задолго до того, как Шанибов узнал о существовании Бурдье, его собственная социология становится, по знаменитому выражению Бурдье, разновидностью «боевого искусства». Собственный «боевитый габитус» Шанибова восходит к грубо физическому противостоянию крутым парням с улицы в бытность директором Дома культуры в пятидесятые годы. Двумя десятилетиями позже, уже в семидесятых, этот опыт воплощается в шанибовской диссертации о развитии общественной инициативы и саморегуляции социалистического общества. Попробуем представить себе, какого рода реалии крылись за этими каноническими пропагандистскими формулами.

Оказавшиеся оторванными от традиционно заданной и дисциплинирующей жизни в рамках сельского уклада, молодые рабочие и студенты самостоятельно и спонтанно осваивали городские социальные роли, вырабатывая новые ритуалы повседневного общения и культурную практику. Этот поиск предполагал, помимо всего прочего, обучение различным видам игрового спорта, современным танцам или же непосредственное подражание речи, прическам, манерам и костюму кинозвезд. Вполне ожидаемо, дело не обходилось

без конфликтов между группами молодых мачо в местах их социализации на досуге — в кинотеатрах, кафе, стадионах, парках и танцплощадках, — где регулярно возникали ситуации символического соперничества между сверстниками, прежде всего по поводу социальной территории и общения с представительницами противоположного пола. Парни сбивались в группки, приобретавшие характер банды, и зачастую их стычки оказывались достаточно жестокими, вплоть до кровопролития и поножовщины. Контроль правоохранительных органов не поспевал за стремительным ростом городов, а традиционные сельские механизмы улаживания конфликтов старейшинами семейств и церемониальные ритуалы общения между полами едва ли срабатывали в новой общественной среде. Явление это вполне знакомо по бесчисленному множеству городов всего мира, проходящих стадию быстрой урбанизации и индустриализации. Вспомните хотя бы романтизированный пример «Вестсайдской истории».

На Кавказе частота и интенсивность конфликтов в молодежной среде, очевидно, могла усугубляться наследием локальных поведенческих стереотипов, предписывавших демонстрацию сверстнической состоятельности, маскулинной воинственности и групповой лояльности в качестве обязательных компонентов идентичности молодого мужчины-джигита. Оказавшись самостоятельно в городе, вне традиционной половозрастной иерархии деревни, среди почти сплошь своих сверстников, молодые мигранты тем не менее не утрачивали, если, напротив, не усиливали стремление к этнической и клановой солидарности, создававшей дополнительные поводы для актуализации обычаев кровной мести. Поиск физической и эмоциональной защищенности в сверстнических группах, делящихся по взаимопересекающимся признакам земляческой, этнической и классовой общности, скорее усугублял ситуацию, вызывая более массовые, серийно повторяющиеся драки между группировками молодых кабардинцев, балкарцев, казаков и русских поселенцев. Вначале на свой страх и риск клубный директор Шанибов организовал на подведомственной ему территории (включавшей такие очаги молодежной конфликтности, как кинозал и танцплощадка) неформальную группу самообороны. В нее входили такие же, как и он сам, студенты и несколько менее образованных кабардинских парней, вроде отличавшегося огромным ростом молодого конюха. Первая шанибовская группировка, как и боевые отряды горских добровольцев в 1992 г., создавалась, таким образом, как по классовому, так и по этническому принципу. Здесь нет особой социологической загадки. Главным было набрать крепких парней и затем уже

найти между ними какие-то основы для групповой солидарности и лояльности лидеру.

Путем сочетания переговоров, коммунистического морализаторского увещевания, удачного блефа (Шанибов как-то повязал себе на пояс здоровенный кавказский кинжал) и, когда все это не срабатывало, расквасив несколько носов и ушей, им удалось отпугнуть от своего клуба наиболее злостных хулиганов и установить достойный договорной мир между прочими драчунами, которые, вероятно, не без внутреннего облегчения, могли теперь отказаться от своих символических притязаний, признав первенство Юры Шанибова над его кинозалом и танцплощадкой. После ряда побед, прогремевших в местных кругах, Шанибова пригласили на беседу с секретарем райкома. Партийный начальник усмотрел в действиях молодых комсомольцев-добровольцев полезную возможность держать руку на пульсе и более того — избежать подобных эксцессов в будущем. Шанибов фактически получил неписанную лицензию властей на наведение общественного порядка, условием чего стали регулярные устные отчеты партийному начальству. Вспоминая об этом славном эпизоде, Шанибов довольно посмеивается: *«Вот так я начинал в качестве комсомольского гангстера»*.

Действительность вовсе не была столь забавной. Уличное насилие, судя по множеству свидетельств, держало в страхе города и поселки послевоенного СССР. Воспоминания современников, собранные во время интервью на Кавказе, а также в центральных индустриальных районах Украины и России, явно указывают на широкое распространение в 1950-х гг. всевозможных соседских, студенческих, рабочих, клубных и спортивных (особенно в секциях единоборств) групп самообороны различной степени устойчивости и численности, от трех-пяти до нескольких десятков молодых мужчин и иногда даже женщин. Многие из них назывались «гвардиями» в подражание общеизвестному в те годы героико-пропагандистскому роману и фильму «Молодая гвардия», в котором прославлялась фактически уличная молодежная группировка из шахтерского поселка Краснодон в Восточной Украине, превратившаяся в период немецкой оккупации в городской партизанский отряд. В реальной жизни борьба граждан с социально опасными формами девиантности нередко производила мстительный и крайне жестокий самосуд над пойманными врагами, обусловленный социально-психологическим механизмом, который Рэндалл Коллинз назвал «наступательной паникой»²². Насильников кастри-

²² Randall Collins, *Violence. A Sociological Theory*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

ровали и линчевали, нечистых на руку продавцов или поваров-несунов из заводских столовых жестоко избивали, уничтожали их несправедливо нажитое имущество и даже громили их дома. Ставшие новым мерилom успеха и в то время бывшие предметом роскоши частные автомашины особо непопулярных личностей подвергались вандализму, угону и поджогам. Некоторые молодежные группировки (в особенности из фабричных районов, где преобладает менее рафинированный габитус) сами оказывались вовлеченными в серьезные преступления.

Столкнувшись с волной уличной преступности и более не в состоянии поддерживать порядок драконовскими мерами сталинских времен, советская милиция и некоторые чиновники попытались негласно опереться на наиболее дисциплинированные (или, скажем так, наименее криминальные) из стихийно возникших группировок. Обычно таковыми были студенты, которые считались более «культурными» и которых можно было контролировать угрозой отчисления. Официально утвержденные группы добровольных охранников правопорядка получили название студенческих дружин²³. Здесь, однако, возникало противоречие. Студенты из действительно самостоятельных (и, очевидно, более действенных) групп охраны порядка не без веских на то оснований не желали представлять в качестве простых подручных милиции. Репутация и неформальный авторитет этих добровольцев среди сверстников зиждилась на бескорыстном предоставлении защиты и третейском разрешении споров, что требовало сохранения моральной и поведенческой дистанции как от хулиганов, так и милиции. С приобретением опыта и авторитета Шанибов уходит от практики носивших театральнoй оттенок разборок и стычек к более сложным переговорам между соперниками. В ряде случаев Шанибову удалось спасти несколько парней от прямой дороги в тюрьму. Одной из типичных ситуаций было завладение часами соперника (наиболее ценным предметом того времени) в ходе драки — скорее в качестве символического трофея, нежели краденого на продажу. Однако с точки зрения законности этот инцидент проходил как грабеж с применением насилия. Шанибову приходилось прилагать усилия для возможно более убедительной аргументации в увещании победоносного обладателя трофея: *«Как ты покажешься дома в селе, если тебя выгонят из института? Пойдешь обратно в пастухи, коров го-*

²³ Абрамкин В., Чеснокова В. *Тюремный мир глазами политзаключенных, 1940–1980-е годы*. М.: Муравей, 1998. С. 7–8. Данная работа является одним из первых серьезных образцов добротного историко-криминалистического исследования советского периода.

нять? А если тебя вообще посадят?» Так Шанибов стал своеобразным экспертом по части возвращения часов их законным владельцам — при условии, что победитель давал обещание не повторять впредь подобных глупостей, а потерпевшая сторона обязывалась не обращаться с жалобой в милицию. Стоит отметить, что в выигрыше оказывалась и милиция, с чистой совестью рапортовавшая о снижении числа преступлений.

Не следует недооценивать достигнутый Шанибовым успех. Даже при скептическом отношении к официальной статистике, приходится признать, что существенное снижение количества убийств (во все времена наиболее регистрируемых преступлений) указывает на впечатляющую нормализацию обстановки на улицах городов СССР в начале шестидесятых годов. Об этом же свидетельствуют и воспоминания современников. Некоторые эксперты полагают, что уровень уголовной преступности опустился до самой низкой отметки в истории СССР — и это после разгула всего несколькими годами ранее. Если это так, то нормализация бытовой безопасности, достигнутая в СССР при Хрущеве, заслуживает специального изучения криминологами, которые вслед за всеми полициями мира обычно уделяют куда больше внимания анализу всплесков, а не спонтанных «естественных» спадов преступности. Следует выяснить, какую в самом деле роль сыграли общественные оборонные инициативы, помогла или помешала им формализующая поддержка сверху, либо это все было следствием демографического перехода либо общего умиротворения и нормализации жизни советского общества. Предстоит также исследовать, какие последствия имело реформирование системы отбывания наказаний в СССР и сокращение сроков заключения, что привело к рекордно низкому за всю историю страны числу заключенных, тогда как условия пребывания в тюрьмах и колониях, по многим свидетельствам, стали почти человеческими²⁴. Как обещал в своем задорно-оптимистическом духе Н. С. Хрущев, вскоре он рассчитывал пожать руку последнему перевоспитавшемуся преступнику, выходящему на свободу²⁵. Ожидание закрыть последнюю тюрьму, конечно, соответствовало марксистской телеологии отмирания государственного принуждения при коммунизме. Сегодня это звучит невыносимо наивно и потому мешает разглядеть действительно интереснейшие социальные процессы. По сути ведь Шанибов тогда представлял частицу массового общественного сдвига, в основе которого лежало стремление моло-

²⁴ Абрамкин В., Чеснокова В. Там же. С. 12.

²⁵ Раззаков Ф. *Бандиты времен социализма, 1917–1991 гг.* М.: ЭКСМО, 1997. С. 78.

дых горожан оцивилизовать (именно в смысле Норберта Элиаса) свою новообретенную социальную среду²⁶.

Опыт организации студенческих дружин дал вдохновение и материал для диссертации Шанибова, в которой предотвращение правонарушений добровольцами указывалось в качестве важной функции социалистического самоуправления. Это было вполне в духе шестидесятых. Атмосфера хрущевского экспериментаторства соответствовала интеллектуальным и политическим предпочтениям самого Шанибова (что впоследствии станет источником его фрустраций и научных затруднений). Отметим особо приобретенные Шанибовым переговорные навыки, которые редко встречаются в интеллектуальной среде. Он знал, как налаживать отношения с благосклонно настроенными официальными лицами, не попадая в зависимость от них, и, с другой стороны, умел убедительно разговаривать с крутыми парнями. Позднее, при мобилизации времен абхазской войны 1992 г., эти навыки помогли Шанибову в его усилиях по организации добровольческих бригад.

ПРОБУЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

Национализм в хрущевскую эпоху звучит почти странно. Это был период классовой консолидации как правящей номенклатуры, так и нового пролетариата специалистов и квалифицированных рабочих. Казалось, кто бы всерьез рискнул тогда мечтать об отделении от могучего и динамично развивающегося государства, которое, наконец, начало исполнять данные своим гражданам обещания лучшей жизни? Разве что горстка чудом уцелевших с дореволюционных времен реакционеров? И тем не менее именно в период хрущевской оттепели зародились национальные культурные движения, которые подготовили почву для политического национализма конца 1980-х.

Движущей силой оказались в значительной мере новые, тогда молодые творческие интеллигенции национальных республик, которых экспериментаторский дух десталинизации и наступившая на какое-то время неочевидность преград побудили затрагивать все более неортодоксальные культурные и моральные сюжеты, воплощая их в новаторских формах. Вскоре поиски вышли к проблемам исторического прошлого и сохранения (в реальности актуализации и реконструирования) национальной культуры народов СССР, и тогда советские творческие интеллигенции даже без особой по-

²⁶ Norbert Elias, *The Civilizing Process*. 2 Vols. Oxford: Oxford University Press, 1978. Существует русский перевод.

литической интенции, но в силу самой логики искусства неизбежно стали выходить за рамки официальной идеологии.

В 1960-х Юрий Шанибов не был вовлечен в этот процесс, поскольку не принадлежал к сектору художественной интеллигенции. Однако и в этом случае он выступает индикатором происходивших тогда художественных процессов как один из легиона рьяных читателей и зрителей шестидесятнической советской литературы и кино. Далее в этой главе, не упоминая Шанибова, будем тем не менее держать его в уме как непрременную часть той широкой аудитории, которая генерировала эмоциональное эхо, питающее творческие усилия. Для понимания этой социальной динамики попробуем сопрячь историко-сравнительный подход к изучению национальных движений чешского историка Мирослава Гроха, дополненный концептуализацией поля культуры Пьера Бурдьё и теорией Рэндалла Коллинза, анализирующего появление идей как структурированный принадлежностью к социальным сетям конкурентный поиск эмоционального творческого заряда, достигаемого выдвиганием в центр общественного внимания²⁷.

Мирослав Грох показал, насколько характер и «стистика» национальных движений в Европе XIX в. определялись различиями в социально-профессиональном происхождении его ведущих на данных этапах категорий активистов: художников, священнослужителей, учителей, интеллектуалов, мелкопоместных дворян-шляхтичей, либеральных городских адвокатов и сельских врачей, военных или гражданских модернизаторов. Иначе говоря, Грох сумел логически последовательно ввести категорию класса и классовой культуры в анализ национальных идентичностей. Помимо этого, Грох выделяет три последовательных этапа в становлении националистической мобилизации: национальное элитное пробуждение, национальное народное движение и, наконец, политический национализм. Нас сейчас интересует первая, начальная фаза, в которой возникающее среди культурных элит национальное пробуждение еще не выдвигает политических требований национализма. Первыми задачами национального пробуждения среди малых народов Европы XIX в. было в основном любительское коллекционирование и упорядочивание таких этнографических

²⁷ Miroslav Hroch, *Social Preconditions of National Revival in Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 1985; Pierre Bourdieu, *The Rules of Art: Genesis and Structure of Literary Field*, Cambridge: Polity Press, 1996; Randall Collins, *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*, Cambridge: Harvard University Press, 1998 (русский перевод: Коллинз Р. *Социология философий. Глобальная теория интеллектуальных изменений* / Под ред. Н. Розова. Новосибирск, 2002).

культурных элементов, как деревенские диалекты, народный устный и песенный фольклор, всевозможные исторические легенды и бабушкины сказки. Затем вновь собранное наследие воплощается в формах современного высокого искусства и академической науки (вспомните словарь Даля, сказки Пушкина и братьев Grimm, музыку Глинки, Дворжака, Грига или древние армянские песни и литургические гимны Комитаса). Повсюду национальные ученые пишут документированные истории своих народов и областей, создают грамматики и стандартизируют язык, обогащая его современными понятиями, композиторы сочиняют музыку на национальные мотивы, писатели романтизируют и облагораживают народные сказки и эпические предания.

Далее вновь сформированное национальное достояние становится предметом пропагандирования, двигается вширь через менее элитных представителей интеллигенции (учителей, театральных исполнителей, публицистов), и вглубь масс того, что отныне определено как свой народ. Этот сугубо политический выбор далеко не всегда очевиден даже в самых развитых частях Европы: немецкоязычные швейцарцы и австрийцы — немцы или не немцы? Бельгийские валлоны — французы или все же бельгийцы? Норвежцы — просто особо провинциальные датчане или же самостоятельная нация? Остаются ли соотечественники Фенимора Купера англичанами, поселившимися в Америке, или с момента Декларации независимости 1776 г. американцы становятся не только отделившимся от метрополии самостоятельным государством, но и отдельной культурой?

На Кавказе сложности будут как минимум не меньшими. Но этот этап уже остался в достаточно далеком прошлом, завершившись с созданием независимых государств в 1918 г. и затем советских республик с их титульными национальностями, академиями наук, национальными театрами и школами. Восходящие к досоветскому периоду культурные элиты были едва не целиком уничтожены в сталинском терроре, но сами республики-то все равно сохранились. Пусть до времени в сталинистских тоталитарных формах, фаза национального просвещения на Кавказе была институционализирована и мощно подкреплена всеобщей дискурсивной грамотностью (т.е. умением не просто подписаться и прочесть надпись, но воспринимать достаточно сложные письменные тексты и аргументы). Возникли широкие национальные аудитории людей, четко осознавших свою принадлежность, научившихся ценить собственную историю и культурное наследие. Это не было политическим национализмом, как не был полной фикцией и пропагандистский образ советского народа. Идентичности ведь ситуативны, т.е. зави-

сят от контекста, в котором есть некие свои и некие чужие, и инструментальны, т.е. достаются и применяются в каких-то целях, скорее всего, собственного эмоционального комфорта (сознания, что здесь все свои) и установления приближенного контакта («мы же свои люди»), требующего меньше формализма и психологического усилия. Таковы в первом приближении самые общие принципы. А вот что, когда и особенно почему означает деление на «своих» и «чужих», уже гораздо сложнее поддается обобщению: наши предки породнились через брак, мы вместе учились в школе, служили в армии, мы ценим одну и ту же музыку и пищу, находим общий язык и понимаем культурную символику речевых оборотов, наконец, «мы» не похожи на «них» — чем именно и почему? Так что противопоставление национальной, якобы природной идентичности советской политической идентичности относится к идеологическим штампам, а не проблемам, требующим объяснения. Дагестанец точно так же мог быть одновременно и вполне патриотичным советским человеком, скажем, ветераном войны и орденосцем, и этническим аварцем, и выходцем из конкретного села, почитающим традиции (тем более в присутствии престарелых сельских родителей), и мусульманином (особенно по пятницам или на похоронах). В течение периода госсocialизма советская и национальные идентичности сосуществовали в сложном, изменчивом переплетении. Однако парадоксальным образом советская власть не могла, вероятно, просто не рисковала не поддерживать потенциал националистической мобилизации в виде когнитивных рамок, организационных ресурсов республиканских правительств, национальных культурных учреждений и населявших их социальных сетей интеллигенции.

Появившиеся в период 1956–1968 гг. «пробудители» национального самосознания новой волны сами были продуктом советской институционализации национального вопроса, конкретнее — государственных учреждений, воплощавших этничность в формах современного театра, союзов писателей, киностудий, исследовательских центров и университетов. Чтобы понять, почему эти учреждения и связанные с ними элиты, созданные, формально контролируемые и довольно щедро субсидируемые советской централизованной диктатурой развития, тем не менее доставляли ей столько проблем, нам придется обратиться вовсе не к теориям национализма, а к более общей теории творчества. Пьер Бурдьё определяет источник социальной динамики в поле культуры в двух сопряженных механизмах. Первым является характерная для художников, писателей и интеллектуалов вообще тенденция коллективной защиты от политических властей и экономического давления. Это борьба за

автономизацию поля их деятельности. Второй механизм представляет собой уже внутреннее соревнование в соответствующих полях деятельности, где соответствующие формы символического капитала (признание) приобретаются путем достижения и удержания позиций в творческом авангарде (или, как выразился бы Рэндалл Коллинз, в фокусе эмоционального внимания).

При сочетании институциональных условий и политических послаблений советской жизни шестидесятых годов многие писатели, художники и ученые-гуманитарии оказались своего рода национально-культурными предпринимателями уже в силу того, что были профессионально устроены в родной республике. Их замыслы, источники вдохновения и формы выражения были найдены, приспособлены или изобретены в соответствии с историей и фольклором своего народа. Их аудитория также была преимущественно национальной, хотя подлинные достижения более подходящих для пересечения культурных границ жанров — в архитектуре, музыке и в особенности в кино — предоставляли возможность обрести известность во всех республиках Советского Союза и за рубежом. Возьмите ослепительно яркий пример Сергея Параджанова, черпавшего вдохновение одновременно в культуре Украины, где он жил долгое время, армянской и грузинской культуре своего родного Тифлиса, шире — всего Кавказа, включая его мусульманское наследие, если не всего мифологического Востока — и этим экзотическим, синкретичным почвенничеством Параджанов очаровывал и захватывал воображение остального мира. Кто осмелится всерьез отнести источник декоративного гения Параджанова к вульгарной политике или, упаси боже, национализму? Однако преследовался он жестоко и, увы, не случайно. Авангардное, неукротимое и притом мощно привлекательное творчество Параджанова (как и Тарковского, Высоцкого, стилистически, казалось, совсем иного Окуджавы) настолько ломало официальный канон и трансформировало культурное поле, что прямое бюрократическое управление делалось попросту невозможным²⁸. Это должно было генерировать отрицательные эмоции крайнего раздражения, что, по всей видимости, и объясняет чудовищную, казалось, непропорциональность обрушенных на Параджанова официальных санкций. Он ломал барьеры символические и поэтому оказывался за грубо осязаемыми барьерами тюремных стен.

²⁸ Заметим для будущей теории, что «невидимая рука» рыночной экономики создает, по всей видимости, более эффективные способы социального контроля или, по крайней мере, нейтрализации оппозиционности искусства путем регулярной коммерциализации авангардизмов.

Успешное творчество ведет к подражанию, успешное подражание перерастает в изобретательное соревнование, результатом такой конкуренции становятся инновации, открывающие следующие горизонты новых возможностей. Таков, вкратце и в самом общем виде, социальный генератор практически неизбежного конфликта художника и власти. Соревновательность в культурном поле, поставляющая новые стили, шедевры (как, впрочем, во множестве и забываемые экспериментальные провалы), в конечном счете приводит к нарушению границ, очерченных, хотя и не всегда четко, господствующей властью. Таков, в сущности, механизм производства культурного диссидентства в последние периоды советской власти — причем в равной мере применительно как к национальным культурным элитам, так и к либеральным западническим демократам.

Соперничество за овладение неминуемо ограниченным центром общественного внимания идет двумя, нередко парадоксально переплетающимися путями: создания собственной «нишевой» аудитории, в рамках которой овладение вниманием оказывается делом относительно легким или даже самопроизвольным; либо представление таких замыслов, форм и тем, которые могли бы найти сильный эмоциональный отклик у значительно более широкой аудитории. Использование трагедий прошлого в научных или художественных работах является одним из способов вызвать подобный резонанс — в особенности для аудитории, более или менее прямо соотносящей себя с данными событиями, с героями и жертвами трагедии. Кавказ 1960-х гг. предоставляет нам множество примеров, к которым относится волна академических публикаций, воспоминаний и художественно-публицистических произведений о геноциде армян в Османской империи; азербайджанские стихи и исторические статьи о народе, разделенном рекой Аракс (прямой намек на миллионы собратьев в Иране); ностальгия грузин по блестящим временам средневекового царства, по исчезающим сельским традициям либо изящно ироничное самовосхваление в целом ряде блестящих грузинских фильмов. На Северном Кавказе это возрождение пользующихся громадной популярностью эпических повестей об имаме Шамиле. Так и наш Юрий Шанибов, его жена, братья, друзья и знакомые зачитываются привезенным из Сухуми историческим романом Баграта Шинкубы «Последний из ушедших», повествующем о трагической судьбе оказавшихся на чужбине горцев-мухаджиров (мусульманских беженцев), вынужденных покинуть родной Кавказ под натиском российского имперского завоевания в 1860-х гг. Разумеется, культурная продукция национального возрождения шестидесятых не ограничивалась одними лишь трагедиями. В отли-

чие от патетического Шинкубы, оставшегося писателем большого местного значения, очаровательно забавные и мастерски написанные рассказы Фазиля Искандера о его собственном детстве и уходящем мире маленьких горных селений обозначили Абхазию не только на культурной карте СССР, но и во всемирной литературе (чему, надо сказать, способствовал и конфликт Искандера с советской цензурой)²⁹.

Однако нам, бессердечным технарям-социологам, важнее выделить в этом потоке национального культурного творчества три общих обстоятельства. Первое заключалось в отделении тематики и тональности от советских идеологических реалий даже в случае Искандера, детство и молодость которого относятся к самому что ни есть советскому времени. Во-вторых, мы должны признать, что подозрительность цензоров была совершенно оправданной. Да, все это было утверждением национальной самостоятельности и, по крайней мере потенциально, предлагало альтернативу официальной идеологии, ритуалам и символике. Наконец, в-третьих, авангардный радикализм более свойственен молодым, начинающим авторам. Иконоборцы, как правило, обладали меньшим символическим капиталом. Будучи начинающими профессионалами, если не любителями, жителями глубинки или национальных окраин, они были значительно меньше заинтересованы в сохранении статус-кво. Бросая вызов официальной идеологии, они надеялись добиться большего. На них работал сам факт дерзновения.

Это же наблюдение помогает понять децентрализованный механизм репрессий, которые после 1968 г. загнали в подполье национально-культурные движения в республиках. Местные правящие круги и обладатели официально утвержденного символического капитала имели прямой интерес в поддержании статус-кво. Нужды во вмешательстве Москвы было, на удивление, мало (за редкими исключениями вроде смещения первого секретаря партийной организации Украины Шелеста, обвиненного в укрывательстве «культурных националистов»). Подавление инакомыслия в национальных республиках осуществлялось во многом местными же силами, по собственной воле осуществлявшими реакционно-цензорские функции. Чтобы лучше понять диалектику интеллигентской демократизации, возрождения национальных культур и охранения официальной догматики, рассмотрим не национально-периферийный, а один из наиболее центральных и получивших громадную известность примеров из периода наивысшего расцвета СССР, в котором ключевые черты выступают особенно выпукло.

²⁹ Fazil Iskander, *Sandro of Chegem*. New York: Vintage Books, 1983.

КУЛЬТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ И ПАРАДОКС
КОММУНИСТИЧЕСКОГО КОНСЕРВАТИЗМА

Это пример Александра Солженицына, бывшего узника ГУЛАГа, сосланного учителем в село и написавшего пронзительно трогательную историю о жизни и моральном сопротивлении заключенных в сталинских лагерях, «*Один день Ивана Денисовича*». В 1961 г. повесть была напечатана в ведущем литературно-публицистическом журнале «Новый мир», который в годы «оттепели» стал центром притяжения для партийных реформистов и пытавшейся освободиться от наиболее грубых форм цензуры творческой интеллигенции. Публикация настолько смелого произведения потребовала личного согласия Хрущева, политически рассудившего, что произведение Солженицына явится своевременным разоблачением преступлений сталинской эпохи. Масштаб и накал резонанса как в Союзе, так и за рубежом заставили Хрущева пожалеть о своем согласии. Всемирное признание придало Солженицыну уверенности в его дальнейшем творческом движении за рамки официально дозволенного. Так произошел переход из поля советской литературы в область международной идеологизированной политики времен «холодной войны», в конечном счете обративший Солженицына в рьяного антикоммуниста и русского националиста. Развитие событий приобрело еще более острый характер в следующем десятилетии, когда он получил Нобелевскую премию по литературе — и решением Политбюро был лишен советского гражданства.

Отметим, что самыми непримиримыми критиками Солженицына были высокопоставленные интеллектуалы, чей символический капитал заключался в представлении господствующих идей социалистического реализма, корнями уходившего в тридцатые и сороковые годы. Эта художественная позиция была официально освящена Сталинской (в 1956 г. переименованной в Государственную) премией в области литературы и искусства, лауреаты которой получали возможность восхождения на высшие посты в творческих союзах со всеми вытекающими привилегиями и властными полномочиями. По крайней мере в первые годы нападки официальных критиков и писателей-лауреатов на Солженицына не были официально санкционированной кампанией идеологического цензора. Скорее, они представляли собой автоматическую реакцию деятелей культуры во власти, вполне обоснованно усмотревших в публикации произведений Солженицына и его единомышленников угрозу собственному статусу и престижу. Подобный вид реакционного отпора уместнее назвать сталинизмом по положению, неже-

ли по убеждению. Кампания осуждения Солженицына и подобных ему иконоборцев способствовала сплочению консерваторов, изрядно напуганных политикой Хрущева. Эта аудитория состояла из членов элиты идеологического, административного аппарата или органов безопасности советского государства высшего или среднего звена (как в Москве, так и в национальных столицах), которые стали складываться в группировки единомышленников.

Есть определенная ирония в том факте, что восставшие консерваторы выиграли от процесса десталинизации едва ли не больше, чем остальное советское общество. Именно избавление от угрозы репрессий создало относительно безопасную возможность устраивать фракционные заговоры, в конечном счете направленные против верховного руководителя страны. В начале 1960-х гг., повторим, реакция была не официальной позицией, а своеобразным общественным движением, зародившимся в недрах партийно-административных органов, и ставившим стратегической задачей предотвращение дальнейшей радикализации хрущевской программы реформ³⁰. Консервативная контрпрограмма не предполагала полномасштабной реставрации сталинизма по той вполне естественной причине, что сами реакционеры менее всего желали лишиться новообретенной безопасности. Противники «оттепели» были готовы приветствовать реформы, направленные на повышение эффективности собственного государства, при условии их чисто технократического характера, без угрозы устоям. Собственно, контролируемая постепенность и есть суть современного консерватизма. Результатом стал не возврат к сталинскому прошлому, а политическая инновация, которой вполне приличествует внутренне противоречивое название «коммунистический консерватизм». При жизни Сталина консерватизм был немислимым, поскольку советское государство и его идеология находились в постоянном движении. Внутренняя борьба разворачивалась вокруг вопроса выбора пути продвижения вперед; потерпевшие поражение фракции объявлялись раскольническими и устранились физически. Напротив,

³⁰ Ранний и весьма пронизательный анализ коммунистического консерватизма был дан в работе эмигрировавшего в Канаду социолога Виктора Заславского, см. Victor Zaslavsky, *The Neo-Stalinist State: Class Ethnicity, and Consensus in Soviet Society*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1982. Также следует упомянуть теоретически необычную монографию американского политолога Теда Хопфа, анализирующего дилеммы идентичности во внешней политике СССР периода десталинизации, см. Ted Hopf, *Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*. Ithaca: Cornell University Press, 2002.

несмотря на вызываемое десталинизацией раздражение, именно отмена террора позволила стабилизировать поле власти и тем самым сделала возможным консерватизм.

Опять же по иронии, советские консерваторы непредумышленно способствовали бурному расцвету культурной жизни СССР шестидесятых и начала семидесятых годов XX в. Зримая поляризация культурно-идеологического поля и порождаемые ею напряженность и конфликтные ситуации, генерировавшие сильные эмоции, которые до поры скорее стимулировали, нежели подавляли творческую энергию. Сопrotивление презренным, но уже не смертельно опасным чиновникам создало дополнительный источник новаторства и не менее важно — социальных сетей поддержки в оппозиции к официозу. В условиях отсутствия публичной политики, которая бы институционализировала межфракционные конфликты элит, культурное производство приобрело совершенно беспрецедентное символическое значение. Культурная и идеологическая номенклатура продолжала контролировать распределение формальных званий, наград и должностей в финансируемых государством учреждениях. Однако эта официальная элита полностью утратила моральную основу и не могла более выступать с позиций прогресса или патриотизма, как в годы индустриализации и Великой Отечественной войны. Очевидно, в этом кроется разгадка элитной ностальгии по Сталину — полубожеству, дававшему легитимность служителям своего культа. В то же время, даже будучи загнанными во внутреннюю ссылку и полуподполье, представители оппозиционных искусства и науки стали непререкаемыми обладателями символического капитала. Тому послужило два условия. Во-первых, всякое живое творчество в условиях структурной поляризации поля являло собой резкую противоположность лицемерию и выхолащиванию официоза, а неповиновение догматическим предписаниям дополнительно окружало ореолом подвижничества и героизма любые проявления альтернативности и самостоятельности, от самого изощренного художественного модернизма и эзотерического философствования до эстетизации маргинальной среды дворничих и котельных. Во-вторых, следует помнить, что сопротивление ведущей интеллигенции стало возможным благодаря возникновению разветвленных сетей дискурсивной грамотности, коммуникативных средств (особенно транзисторных радиоприемников и магнитофонов) и появлению самой массы образованных молодых специалистов, составивших пересекающиеся аудитории поклонников, подражателей и проводников контркультуры: фильмов Тарковского, романов Солженицына, поэзии Бродского, баллад игнорируе-

мых властью, но от этого еще более популярных Окуджавы и Высоцкого либо же первых успешных рок-групп семидесятых.

Структурное напряжение в поле культуры обнаруживается во всех национальных республиках, хотя, конечно, и в различной степени, что в основном было обусловлено количественными и качественными различиями слоев и групп городского общества, восприимчивых к современным формам культуры. Та же самая поляризация культурного поля создала условия для обращения к неконвенциональным сюжетам национальной истории и культуры. Осуществляемая топорными бюрократическими методами и лишенная какого-либо морального оправдания культурная цензура стала катализатором выстраивания широких культурных коалиций, выступавших одновременно за демократию и национальное достоинство. На периферии СССР демократия воспринималась как отмена политических ограничений на публичные высказывания по поводу власти, а национальное достоинство противопоставлялось диктату центральной бюрократии и пресмыкательству ее национальных по форме, но не по содержанию наместников. Это добавляло дополнительное измерение в конфигурации полей власти и культуры в республиках. Вместо тенденции к двухсторонней классовой конфронтации интеллигенции и власти, в республиках возникли трехсторонние конфронтации национальной интеллигенции, центральной московской и местной формально национальной власти.

Это, конечно, крайне схематичное обобщение. В самой Москве и даже в кругах оппозиционной интеллигенции присутствовало не всегда лишь латентное деление между этническими русскими и евреями, которые уже вскоре после большевистской революции мигрировали в советские центральные города, где составляли активную конкуренцию в занятии позиций в административно-управленческой и культурной элите выходцам из этнически русской деревни, которые массово двинулись в города с небольшим запозданием, во времена коллективизации либо сразу после войны. Властвующая элита также не была вполне монолитной. Изнутри ее пронизывало как минимум несколько структурных оппозиций: хозяйственников и кабинетных чиновников, идеологических консерваторов и прагматичных модернизаторов, озабоченных по долгу службы международной геополитической конкуренцией и сугубо внутренним контролем.

Россия, однако, была не национальной республикой, а ядром СССР и центром военно-индустриальной сверхдержавы, поэтому классовые структуры преобладали над национально-культурными. В республиках дело обстояло ровно напротив. Это вовсе не отме-

няет классового измерения власти в национальных республиках, однако делает более двойственными как стратегии местной интеллигенции, так и властвующих элит. Подчеркнем, национальные культурные возрождения — как и демократические либеральные устремления московской и ленинградской интеллигенции — вовсе не были продолжением досоветских политических течений или результатом подрывной эмигрантской деятельности из-за рубежа. Самая главная ирония состоит в том, что все начиналось достаточно — невинно приходом послевоенного поколения образованной молодежи, сформировавшейся в совершенно закрытых советских условиях, которая начала обживать полумертвые культурные и национальные учреждения эпохи позднего сталинизма³¹. По мере обживания, расчистки, ремонта и расширения унаследованной институциональной среды возникают творческие соревновательные арены и интеллектуальные «игры», которые неизбежно, хотя и непредумысленно, вступают в конфликты с бюрократическими принципами иерархии. В зависимости от расположения в социальном пространстве и институционального соотношения космополитичных имперских (подобно Москве и Ленинграду) или местных национальных элементов (особенно в столицах республик), сопротивление бюрократическому контролю принимает либо (социально и либерально) демократические, либо национальные формы, которые в свою очередь не абсолютны и сплетаются по ситуации во множестве гибридных форм.

Пока Москва оставалась неоспоримым гегемоном советского пространства, национальные власти сами принимали на себя функции проводников централизации — хотя, дабы не держать все яйца в одной корзине, и не без некоторого лукавства. Стратегию властей национальных республик замечательно выразил старый функционер с Северного Кавказа: *«В своем кругу, где люди сработались годами, многое могли по-дружески понять и простить. После того как сбросили Никиту (Хрущева. — Г. Д.), мы стали увереннее смотреть в будущее... Конечно, работа всегда на первом месте. План — закон! Но стало можно чуточку позаботиться о себе и своей семье. Плюс надо же иногда и расслабиться — как сказал сам Карл Маркс, ничто человеческое нам не чуждо. Выпить, поволочиться за дамами или там выписать знакомому дефицит с базы — среди своих этого не осудят, если все в разумных пределах...*

³¹ Удивительно наглядной иллюстрацией служит снятая в 1956 г. комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», в которой изобретательная и задорная молодежь устраивает целую карнавально-партизанскую кампанию за отвоевание символического пространства заводского клуба из-под контроля чванливого пожилого бюрократа.

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

Конечно, надо проявить и особую заботу о родной области, народ этого не забудет. Но вот что касается этих националистических идеек... да собственные товарищи прикончили бы на месте, не дожидаясь нагоняя из Москвы! Как говорится, нельзя раскачивать лодку»³².

Эта небольшая бюрократическая исповедь перекидывает мостик к следующей главе.

³² Беседа с "Б. М.", Майкоп, 1994 г.

ГЛАВА 3

ОТ 1968 К 1989 Г.

«Коренная реформа была столь же необходима, сколь и политически невозможна»

Valerie Bunce, *Subversive Institutions:
The Design and Destruction of Socialism and the State.*
(Cambridge University Press, 1998)

Задолго до перестройки, уже в конце шестидесятых годов, оформилась арена, на которой развернется драма распада Советского Союза. Определились все ведущие актеры и их расстановка на сцене, массовка заняла свои места. Однако сценарий долго оставался неясен и никем до конца не продуман. Впоследствии это обернется непредвиденными последствиями, трудными и неясными дилеммами, ведущими к мучительной нерешительности и, наоборот, скоропалительным импровизациям. Этнические конфликты начала девяностых происходят из тупиковой революционной ситуации, возникшей в 1989 г. В свою очередь, многосторонние коллизии 1989 г. были продолжением 1968 г. Перефразируя Ленина, 1968 г. послужил генеральной репетицией перестройки. Вернее, саму перестройку можно рассматривать как отложенный на два десятилетия финал 1968 г. Если же от метафор перейти к более аналитичному языку, то именно различные итоги 1968 г. повсюду в Восточной Европе предопределили основные организационные ресурсы и идеологии движений, вырвавшихся на поверхность двадцать лет спустя.

**ВРОЖДЕННЫЙ ПОРОК ДЕСПОТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ:
ХВАТАТЬ, НО НЕ УХВАТЫВАТЬ**

Десталинизация избавила советское начальство от присущих эпохе диктаторской индустриализации постоянной угрозы репрессий и нечеловеческого рабочего темпа. И на этом советская властвующая элита хотела бы остановиться. Дворцовый перево-

рот 1964 г., приведший на место утопичного и шумного Хрущева предсказуемого и удобного для всех Брежнева, ознаменовал наступление фазы незаметного распыления центральной власти. Грозный исполин, еще долго сохранявший видимость сильной власти, неуклонно деградировал в склеротичную и инерционную машину.

Биографы Хрущева и Горбачева, другого свергнутого реформатора СССР, склонны сосредоточить внимание на драматических подробностях дворцовых интриг. При этом упускается из виду общая проблема социалистических и, вероятно, всех диктатур догоняющего развития¹. Речь идет об относительной инфраструктурной слабости данного типа властной организации. Несмотря на деспотические полномочия вертикального управления, даже, казалось бы, самые мощные авторитарные режимы постоянно сталкиваются с проблемой контроля над повседневным поведением собственных подданных, бюрократических исполнителей решений и соперничающих фракций внутри элит, особенно в ситуациях, когда требуется корректировка или более решительная смена курса. Вероятно, оттого диктатурам ускоренного развития настолько свойственна параноидальная подозрительность, рационально необъяснимые заносы и всевозможные перегибы. Они и в самом деле остаются уязвимы для бюрократического саботажа, дворцовых интриг и переворотов, периодически смелеющего сепаратизма окраин. Американский советолог Валери Банс, на редкость хорошо чувствующая эмпирическую фактуру предмета своих исследований, определяет источник несоответствия между формой и содержанием власти в социалистических государствах как «вопиющий разрыв между их способностью хватать и способностью ухватывать» (*the ability to grab and to grasp*), между «институ-

¹ Прообразом служат подспудные проблемы кайзеровской Германии, которые долго мешала разглядеть репутация высшего образца военно-бюрократического авторитаризма. Между прочим, идеологическому ослеплению оказался подвержен отчасти даже Макс Вебер, который, конечно, сам был подданным кайзеровской бюрократии. Подробный разбор неуправляемого институционального дрейфа, приведшего к иррациональному конфликту 1914 г., дает Майкл Манн в гл. 9 второго тома своего фундаментального труда «Борьба за Германию: Пруссия и авторитарный национальный капитализм» и затем в заключительной главе, выразительно озаглавленной «Под откос: геополитика, классовая борьба и Первая мировая война». Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993, Chs. 9; 21, pp. 297–329; 740–801.

циональной скученностью ведомств и эффективной институционализацией» проблем и решений².

Непосредственную причину институциональной слабости командных систем, как давно указывали неоклассические экономисты, следует искать в принципиальной невозможности получить необходимую для управления информацию в отсутствие конкурентного рынка, самостоятельной конкурентной журналистики и активного гражданского общества³. Поскольку социалистическое государство установило монополию во всех областях общества, начиная от экономического планирования и до проведения фиктивных выборов и цензурного колпака над прессой, оно оказалось не в состоянии реально оценивать действенность собственной бюрократии. В результате неизменно завышаемые официальные данные и лицемерные рапорты о достижениях приходилось проверять жалобами, слухами, анонимками, материалами негласных проверок и секретными сводками органов госбезопасности.

Однако критика неоклассических экономистов останавливается слишком рано, не задаваясь вопросом о самой природе институциональных дилемм диктатур развития. Стремление социалистического государства подавить либо напрямую контролировать все общественные механизмы и способы саморегуляции было показателем скорее их слабости, нежели унаследованного от самодержавия деспотизма или коммунистической идеологии. Для обеспечения своей власти вожди социалистических государств плодили контрольные и террористические органы, разворачивали пропагандистские кампании, прибегали к популизму и жестоко «пропалывали» своекорыстных бюрократов при помощи чисток или культурных революций. Командная система строится на окрике. В иные эпохи, как в период перестройки, решившиеся на реформы лидеры могли использовать в своих интересах гласную критику снизу, запускали эксперименты и даже пытались задействовать соревновательные выборы. Так или иначе, как указывает Валери Банс, коммунистические руководители, всерьез желавшие править, непременно становились раз-

² Valerie Bunce, «The Political Economy of Postsocialism», *Slavic Review* 58: 4 (Winter 1999), p. 777.

³ Классическим примером является работа венгерского академика Janos Kornai, *The Economy of Shortage*, Amsterdam: De Gruyter, 1982. Обратите лучше внимание на детально проработанное объяснение причин скудности информации, доступной советским элитам, которое дал Michael Urban, *The Rebirth of Politics in Russia*, Cambridge University Press, 1998.

дражителями для элит со всеми вытекающими из этого дилеммами и опасностями⁴.

В бурный период 1956–1968 гг. Хрущев и многие другие реформаторы из рядов номенклатуры (такие как председатель Совета министров СССР Косыгин либо Дубчек в Чехословакии) предпринимали в той или иной мере в принципе однотипные эксперименты по совершенствованию государственной системы и улучшению экономического управления в рамках «социалистической законности» — т.е. отказа от практики государственного террора при сохранении ленинской идеологии и существующего политического строя. В послесталинский период все эти эксперименты сводились к двум идеям: допущения ограниченного самоуправления на уровне экономических секторов, территориальных единиц и предприятий — однако не вплоть до их рыночного банкротства; в политическом и культурном плане, предлагалось более терпимое отношение к «социалистическому плюрализму идей» и даже состязательные выборы, но не вплоть до смены правящей партии. Обе идеи считались многообещающими в плане пробуждения активной поддержки и инициативности масс и тем самым оказания давления на закосневших в рутине хозяйственных и административных управленцев среднего звена. Это и породило главные коллизии в периоды ограниченных демократизаций 1960-х — конца 1980-х гг. Молодые, более образованные и энергичные представители верхних слоев советского пролетариата с энтузиазмом воспринимали эксперименты как приглашение стать реальной силой в модернизации практик политики, экономического управления и культуры. Шанибов и его патруль добровольцев представляли лишь одну малую частичку в широкой волне общественной деятельности, пока вполне искренне направленной на поддержку официального курса реформ.

ЧЕМ ВАЖНЫ ИТОГИ 1968 Г.

Нелегко даже задним умом с определенностью предсказать, куда в долгосрочном плане могли бы привести хрущевские эксперименты с реформами, если бы они не были прерваны. Однако с учетом подобных и гораздо более отчетливо выраженных процессов в восточноевропейских социалистических странах мы можем предположить, что уже вскоре межфракционные разногласия внутри политических элит выплеснулись бы наружу. Открытый рас-

⁴ Valerie Bunce, *Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism and the State*. New York: Cambridge University Press, 1998.

кол верхнего эшелона номенклатуры на прогрессивную и консервативные фракции, вынужденные в борьбе друг с другом искать дополнительной поддержки в различных слоях общества, вполне мог вызвать спонтанную революционную мобилизацию наподобие «пражской весны» 1968 г. Вероятно, в СССР подобный всплеск потерпел бы тогда поражение, подобно романтическим движениям 1968 г. практически во всех странах⁵.

Однако — и это важнейший урок тех событий и несобытий — исторически недавний опыт, «генеральная репетиция» масштабной общественной мобилизации мог бы послужить основополагающим условием неразрушительного перехода от устаревшей диктатуры развития к устойчивой форме современной демократии. Неверно, что в истории нет сослагательного наклонения. В узловых моментах (или назовите их точками бифуркации) всегда возникают варианты с ветвящимися дальнейшими последствиями. Именно тогда проявляется роль личности в истории — как и роль ошибок. Исследователю не только позволительно, но даже необходимо анализировать нереализовавшиеся вероятности и делать аргументированные предположения о причинах поворотных событий, которые открывали и закрывали те или иные возможные траектории.

Оглядываясь назад, мы сегодня вполне четко видим, что разнообразие вариантов посткоммунистического переходного процесса после 1989 г. было по большей части задано вариациями политических итогов 1968 г.⁶ Иначе говоря, эффект общественных вы-

⁵ Далеко не все молодежно-студенческие протесты заканчивались политическим поражением. Заметим, что в Иране именно начатое студентами движения сдетонировало давно репрессированный комплекс ущемленной патристической гордости в сочетании с мощным демографическим давлением и идеолого-организационными ресурсами, специфически свойственными шиитской разновидности ислама. В сумме это привело к свержению шахского режима, который в свою очередь фактически выступал диктатурой ускоренного развития. Монархическая форма данной диктатуры развития (на самом деле исторически недавней, восходившей лишь к 1920-м гг. и во многом аналогичной республиканскому авторитарно-модернистскому кемализму Турции) вкупе с исламским оформлением революции, возникшей в ответ на шахскую диктатуру, сильно затушевывают, но не отменяют глубинной принадлежности Ирана к магистральному руслу истории XX в.

⁶ Подробный эмпирический анализ преемственности протестов 1956, 1968 и 1989 гг. в соцстранах Восточной Европы дает Grzegorz Ekiert, *The State Against Society: Political Crises and Their Aftermath in East-Central Europe*. Princeton: Princeton University Press, 1996.

ступлений 1956, 1968 и ранних 1980-х гг. в Венгрии, Чехословакии и Польше явно сказался на скорости и устойчивости их демократического преобразования после 1989 г.

Но не все так однозначно. В Югославии мощное давление молодежных движений 1968 года привело к принятию новой, проникнутой духом «социалистического самоуправления», конституции 1974 г. Тогда это разительно контрастировало с советским официозом. Новая югославская конституция воспринималась как самый интересный и многообещающий демократический эксперимент в Восточной Европе, если не во всем мире. Среди многого прочего новая конституция Социалистической Федеративной Республики Югославии предоставляла широкую автономию албанскому большинству Косова и юридически признавала существование мусульманской славянской национальности в Боснии и Герцеговине⁷. Мало кто тогда задумывался, что на деле Югославия становилась не федерацией, а скорее запутанной и рыхлой конфедерацией этно-территориальных автономий и самоуправляемых рыночно-социалистических предприятий. До тех пор пока Югославия оставалась успешным государством догоняющего развития и гордо сохраняла самобытный международный престиж лидера Движения неприсоединения (по отношению к соперничающим сверхдержавным блокам «холодной войны»), элиты югославских республик преследовали самоограничительные политические стратегии выторговывания перераспределительных преимуществ внутри Югославской федерации. Однако в условиях мирового экономического кризиса и геополитической подвижки конца 1980-х гг. оба источника силы и престижа Югославии резко обесцениваются. Вот тогда и обнаруживается, насколько легко (сколь и безрассудно) югославские элиты могли перейти от центростремительных к центробежным политическим стратегиям.

Южнославянское союзное государство на Балканах, конечно, уже изначально занимало крайне уязвимое место в мировой экономике и геополитике. Тем большей выглядит заслуга Иосипа Броз Тито, сумевшего в таких условиях построить весьма успешное государство, талантливо и необычно встроенное в международный режим «холодной войны». Однако с резким изменением мирового климата на рубеже 1970–1980-х гг. сохранение Югославии становится еще более проблематичным, чем сохранение Советского Союза. Но даже в тот момент серия разрушительных этнических войн еще не была предопределена роковым образом. Конфликт мог произойти вокруг распределения политической власти *внутри*,

⁷ Gale Stokes, *The Walls Came Tumbling Down: The Collapse of Communism in Europe*. New York: Oxford University Press, 1993, pp. 225–228.

а не меж республик. Иначе говоря, энергия социального взрыва в 1989 г. могла высвободиться в направлении демократического захвата власти и собственности на уровне республик и, возможно, всей Югославской федерации⁸. Хотя сохранение федеративной структуры выглядит сомнительно (слишком велика была разница экономических потенциалов и проблем отдельных республик), даже тогда вероятный распад Югославии протекал бы менее кроваво и вполне бы вписывался в общее русло происходившего тогда в Польше, Венгрии, Чехословакии и Прибалтике — где, заметим, вполне хватало собственных поводов и средств для этнических войн. Однако там до войны так и не дошло.

Югославия действительно отличалась от остальных социалистических стран Восточной Европы, но не столько особой ролью насильственных образов поведения и «балканизированных» до предела этнических идентичностей (это из области обычных мифов), сколько институциональной архитектурой, легитимирующими практиками государственной власти, автономной от обоих противостоящих блоков военизацией и некогда знаменитой югославской самостоятельностью на международной арене. Показателен контраст не только с Венгрией и Чехословакией, но и с соседней Болгарией, в социалистические времена являвшей противоположность Югославии по всем перечисленным измерениям. Социалистическая Болгария была отмечена бюрократическим централизмом, подавлением инакомыслия и геополитической несамостоятельностью. В 1990-е гг. Болгария пережила криминализацию политики и распад государственной власти, не менее глубокие и «балканские», чем в Югославии. И тем не менее присутствие в Болгарии стигматизируемого и оттого весьма мобилизованного турецкого меньшинства вылилось лишь в циничный политический торг в новом конкурентном парламенте, но, слава богу, не привело к резне в деревнях⁹.

Государственно ориентированная теория революций, восходящая к работам Теды Скочпол и Чарльза Тилли, открывает путь к созданию более реалистичной теории этнических конфликтов. Трагический пример Югославии особенно наглядно иллюстриру-

⁸ При анализе катастрофы Югославии не следует забывать относительно благополучную Словению, где реализовался именно этот вариант внутреннего перераспределения власти относительно мирным путем с немедленным, конечно, встраиванием в европейские структуры фактически на положении сателлита Австрии и Италии.

⁹ Venelin I. Ganev, *Preying on the State: The Transformation of Bulgaria after 1989*. Ithaca: Cornell University Press, 2007.

ет преимущества такого подхода, который способен четко и без обычных этнополитических мифологем проследить причинно-следственные цепочки и механизмы возникновения югославских войн. Их непосредственные истоки следует искать в специфической дифференциации доступа к ресурсам бюрократий различного уровня и возникающих из общества претендентов на власть. По горькой иронии истории, кризис югославской модели догоняющего развития вылился в катастрофические этнические войны именно потому, что прежде это была наименее авторитарная и наиболее самостоятельная модель восточноевропейского госсотциализма. Быстрое обретение и безжалостное применение собственных армий бывшими субъектами СФРЮ, конечно, было психологически подготовлено травматичной памятью о прежних балканских войнах. Но в отличие от этнополитологов и национальных интеллигенций, реальные армии не воюют одной лишь исторической памятью. Способность федеративных республик быстро перейти от политического торга к войне была результатом их высокой степени автономии, проистекавшей из запутанных конституционных компромиссов, в свой черед заключавшихся ради преодоления протестной волны 1968 г. Ожесточенную схватку за окончательный раздел югославского наследия спровоцировали не Ватикан с Германией, дотеле, в период устойчивости, не имевшие никакой возможности вмешаться в югославские дела, и не фантомы этнического воображения, почему-то проспавшие предшествующие десятилетия успешного и динамичного развития. Распри и взаимные подозрения внутри теряющей власть югославской бюрократии нарастали в течение предшествовавшего войнам десятилетия под давлением затяжного экономического кризиса, возникшего на рубеже 1970–1980-х гг. Начало экономического кризиса совпало со смертью Тито, олицетворявшего одновременно героическое наследие партизанской освободительной войны, национальное единство и международный суверенитет Югославии. Спусковым же механизмом открытого конфликта оказалась угроза новой протестной волны снизу, ставшая реальной в 1989 г. Видя судьбу бывших номенклатур Восточной Европы, югославские элиты пустились в непредсказуемые и крайне опасные импровизации.

КОМФОРТНОЕ СТАРЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

Советский Союз в последние тридцать лет своего существования также пережил процессы, наблюдаемые в Югославии и соцстранах Центральной Европы. Однако эти процессы развивались в более приглушенных формах. Все-таки СССР был несоизмеримо бо-

лее мощным государством, и его руководители имели в своем распоряжении куда больше экономических рычагов и инструментов устрашения. Тем не менее и без всякого «социалистического самоуправления» по-югославски, хорошо известно и достаточно документально изучено, как при Брежневе ослабевал контроль Москвы над национальными республиками и как номенклатура на местах, даже в самой лояльной Белоруссии, изолировала свои властные вотчины и упрочивала позиции¹⁰.

Кроме того, период хрущевской «оттепели» позволил творческой интеллигенции национальных республик обрести разную степень самостоятельности. Несмотря на борьбу московских и местных консерваторов за восстановление прежнего официозного контроля, национальные интеллигенции даже в условиях брежневского режима в той или иной мере смогли отстоять если не национальные гражданские общества, то по крайней мере социальные сети поддержания национальной культуры и собственной творческой автономии.

Параллельно этим процессам в полях власти и культуры образованные специалисты и рабочие продолжали оказывать весьма сильное давление на правящую бюрократию, различными путями добиваясь выполнения обещаний по повышению уровня жизни и обеспечению возможностей для социального роста. В отличие от преимущественно символической интеллигентской «антиполитики» времен заката госсосоциализма, давление со стороны непосредственно производительных групп общества носило, как правило, неявный и даже не особенно осознанный характер. Люди просто по-разному выражали свои не слишком четкие ожидания «нормальной жизни». Однако именно эти социальные группы численно преобладали в позднесоветском обществе. От них же — рабочих, инженеров, служащих и управленцев нижнего звена, прикладных ученых, преподавателей и медработников, от вполне преданных режиму, но также не избавленных от способности рассуждать армейских офицеров и низовых политработников — зависело повседневное воспроизводство индустриальной экономики и советского государства. Даже элементарное поддержание режима требовало от этих широких слоев советского общества как минимум конформизма и пассивного соблюдения правил. За что власти теперь предпочитали платить.

¹⁰ Michael Urban, *An Algebra of Soviet Power: Elite Circulation in the Belorussian Republic, 1966–1986*. New York: Cambridge University Press, 1989; Donna Bahry, *Outside Moscow: Power, Politics, and Budgetary Policy in the Soviet Republics*. New York: Columbia University Press, 1987.

КГБ удавалось вполне успешно сдерживать откровенно диссидентское движение, которое пыталось облечь сдвиги в социальной структуре СССР в форму новой политической программы. Это были уже отступательные и, казалось, обреченные бои численно крохотной и изолированной от общества оппозиции. И тем не менее бои оставались крайне напряженными. Движение 1968 г. за «социализм с человеческим лицом» лишило номенклатуру идейной легитимности: на аргументы морального и идеологического порядка консервативным бюрократам ответить было нечем. Подобно кануну Французской революции, когда атеизм распространялся даже среди прелатов официальной католической церкви, а королевские министры проникались идеями физиократов и пытались проводить реформы в духе оппозиционных энциклопедистов, советская номенклатура неуклонно теряла веру в собственную официальную идеологию и втайне задумывалась над альтернативными программами диссидентов. Подрыв легитимности и самоуверенности бюрократического авторитаризма и оказался главным историческим итогом 1968 г.

Взамен брежневский режим прибег к помощи цензуры, пропагандистского диссимулирующего лицемерия и все более к потребительским субсидиям. Стратегия материального компромисса возникает практически во всех странах, не только социалистических, но также в Италии, Франции и США, где власти пережили растерянность и страх в период волнений конца 1960-х гг. Но на Западе дорогостоящая примирительная стратегия уступок вскоре оказалась невыносима для капиталистических элит. Во второй половине 1970-х гг. они переходят в идеологическое, а с избранием Рональда Рейгана в 1980 г. и в успешное политическое контрнаступление на платформе неолиберальной рыночной ортодоксии. В СССР активного консервативного контрнаступления не произошло, по крайней мере до приватизаций и «шоковой терапии» начала 1990-х гг. Объясняется это не только тем, что брежневский режим попросту избегал любых активных мер и конфликтов, чреватых немедленными последствиями, но и тем, конечно, что «нулевой» политический курс вдруг получил щедрую подпитку экспортными нефтедолларами.

Брежневский режим оказался в состоянии на годы отложить, хотя и не мог избежать долгосрочных последствий своего принципиального бездействия. Цена задабривания индустриализированного общества растет довольно быстро, поскольку возникает устойчивое ожидание дальнейшего увеличения субсидий и вдобавок все более терпимого отношения ко всяческим проявлениям неэффективности. Однако в семидесятые годы, в основном благода-

ря быстрому затуханию так и не разгоревшихся движений 1968 г., геополитическим затруднениям США после поражения во Вьетнаме плюс неожиданно успешным действиям ОПЕК, подарившим СССР сотни миллионов экспортных петродолларов, на какое-то время установилась «золотая осень» госсocialизма. Отмирание советской диктатуры развития и размывание ее аппарата централизованного управления могли протекать во вполне комфортабельной манере. Но прежде должна была произойти серия драматических событий. К середине шестидесятых номенклатура успела сложиться в уверенную в себе привилегированную касту, которая с успехом защищалась как от народного давления снизу, так и от руководства сверху. Однако поскольку и после смещения Хрущева сопротивление образованной части общества продолжалось и перспектива выглядела угрожающе, консерваторы на первом этапе были вынуждены проявить активность. Совершенно верно распознав угрозу своим привилегиям и власти, верхушка советской бюрократии в августе 1968 г. ввела в Прагу танки и усилила цензуру и контроль в СССР и странах соцлагеря.

Эти меры помогли предупредить перерастание движения за реформы в революцию, однако в долгосрочном плане Советский Союз заплатил крайне высокую цену за отложенный выход из диктатуры развития. Вместо трансформации в новое качество пошла дегенерация прежнего. В конце 1960-х гг. успешная корпоратизация советской номенклатуры в самостоятельный элитный слой создала на среднем уровне управления республик, областей и экономических отраслей властные иерархии, фактически закрытые как от проникновения снизу (приостановка вертикальной мобильности), так и сверху (утрата эффективного контроля и управляемости, той самой «способности к воздействию», которое Валери Банс называет коротким английским словом *grasp*). Бюрократическая инерционная масса создала серьезные препятствия для продвижения любых реформ, левых или правых.

Слепота и склеротичность советской бюрократии были на самом деле коллективным достижением номенклатуры. Как афористично заметил классик организационной социологии Артур Стинчком, все организации неизбежно совершают ошибки, но только «умные» организации способны работать над ошибками¹¹. Не следует искать причину «упущенного десятилетия» лишь в старческом одряхлении Брежнева и его соратников. Истоки ир-

¹¹ Arthur Stinchcombe, «Tilly on the Past as a Sequence of Futures», review essay in Charles Tilly (ed.), *Roads from Past to Future*, Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1997.

рациональностей позднего СССР — вопиющая неуклюжесть пропагандистской машины, несообразные решения на внешнеполитической арене, совершенно неэффективная трата нефтедолларов в 1970-х — следует рассматривать как закономерные организационные последствия инерционной консервативной стабилизации. Парадокс брежневизма в том, что боязнь отпустить вожжи обернулась потерей управляемости.

БЕЗВРЕМЬЕ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ПОЛЕ

На микроуровне судьба обычного шестидесятника Юрия Шанибова продолжает служить достаточно надежным индикатором протекавших в СССР процессов. Едва ли что-то заставляет заподозрить в Шанибове диссидента. Сочетание этнического происхождения из «коренных» национальностей, успешное выдвижение по комсомольской линии, университетский диплом юриста и официально санкционированная активность в деле создания студенческих отрядов в сумме представляли вполне «правильный» вид социального капитала для дальнейшего строительства карьеры советского руководящего работника в национальной республике. К 1968 г. Шанибов уже поработал секретарем комсомольской организации Кабардино-Балкарии по агитации и пропаганде и районным прокурором. В перспективе он вполне мог стать деканом факультета в университете, судьей, ответственным работником в партаппарате, возможно, генералом госбезопасности. Однако судьба Шанибова сложилась по-иному. Его впадение в немилость даже близко не было таким зрелищным, как в случае с писателем Солженицыным, чья ранняя работа получила одобрение самого Хрущева и приобрела громадный общественный резонанс. Шанибов вообще никогда не станет идейным противником социализма и советского строя. По сей день над его рабочим столом висит портрет — угадайте, кого? — Юрия Владимировича Андропова, многолетнего руководителя КГБ и (по крайней мере, такова репутационная легенда) умного консервативного реформатора. И тем не менее с аналитической точки зрения личная траектория Шанибова ничуть не менее показательна для понимания процессов эрозии социальных основ СССР, чем драматичные судьбы знаменитых диссидентов той эпохи. Чтобы объяснить повороты в карьере Шанибова, сделавшие его изгоем и вождем оппозиции, необходимо прояснить структурное строение поля академической науки того времени.

Став младшим преподавателем Кабардино-Балкарского государственного университета, Шанибов с готовностью принял считав-

шуюся малоприятной нагрузкой куратора студенческого внеучебного быта. Это вполне соответствовало его лидерским диспозициям и ранее приобретенному опыту организации молодежных патрулей. На новой должности Шанибов в основном отвечал за разрешение все той же проблемы — введения бьющей через край энергии молодежи в русло цивилизованных форм досуга. Теперь он уже сознательно и, конечно, со своей кипучей энергией прибег к испытанной и ранее получившей одобрение властей политике организации студенческого самоуправления.

Но времена изменились. Успехи Шанибова, который вскоре сделался популярным заводилой среди студентов, начали вызывать молчаливое неодобрение некоторых коллег и руководства университета. Вначале пошли разговоры о «дешевом популизме». Затем пошли уже более опасные «сигналы» — доносы в партком и местное управление КГБ. Поводом послужили выборы в студенческой среде, которые благодаря нестигаемому и харизматичному Шанибову быстро приобрели характер открытых и нелегальных дебатов как по кандидатурам, так и в целом по политике самоуправления студентов. Вокруг популярного и энергичного молодого преподавателя возникает группа последователей и единомышленников. Полемичные, живые лекции Шанибова становятся событием, послушать его приходят студенты с других курсов. Добавьте к этому, что Шанибов тогда был и даже на склоне лет остался статным, красивым мужчиной с зычным голосом и энергичной жестикуляцией. Прирожденный боец, вожак, кавказец!

У незаурядного молодого преподавателя начинают возникать проблемы и с публикациями. Мысли и стиль Шанибова никак не вписываются в стилистический канон советского обществоведения, чей предписанный способ изложения становится все более формалистическим по мере окоснения брежневского режима. Шанибов пытается писать по шаблону, но ученые тексты выходят у него крайне скверно. Читая их, трудно поверить, что эти вымученные строки пишет тот же самый зажигательный оратор. Но обойти советский «научообразный» канон Шанибов не может, поэтому так и остается косноязычен на бумаге — и при этом удивительно красноречив в живом общении и особенно на публике.

Несколько раз Шанибов представляет варианты кандидатской диссертации, которые не проходят академическую апробацию. И тут дело не только в трудностях освоения чуждого Шанибову стиля письма. Подозрения начинает вызывать уже сама тематика диссертации. На основе своего собственного опыта и доступной ему в те годы социологической литературы Шанибов фактически

пытается создать теорию институционализации студенческой демократии. Ключевыми словами в текстах Шанибова выступает «студенческое самоуправление». Это знаковое выражение для тех лет, в чем, возможно, и сам Шанибов не до конца отдавал себе отчет. Все-таки тихий Нальчик очень далек от Югославии и Чехословакии, не говоря уже о Париже и калифорнийском Беркли. И тем не менее молодой кабардинский социолог находился вполне в русле самой передовой левой мысли тех лет. Дело не столько в диффузионной передаче идей (которая в условиях провинциального Нальчика могла происходить лишь опосредованно), сколько в гомологичности социальных и предполитических позиций. Шанибова не следует считать периферийным отражателем модных идей, возникающих в центрах мировой культуры. Интеллектуально и позиционно молодой преподаватель-активист из Нальчика был совершенно предрасположен к идейному и эмоциональному резонансу. Слово «самоуправление» в том контексте с головой выдавало в Шанибове социалистического реформатора, даже если бы определение «нового левого» он скорее всего отверг. Самоуправление в дискурсивном поле позднесоветского периода противостояло официальной авторитарной ортодоксии, хотя формально оппозиционным не считалось. В том-то и состояла полусоздаваемая игра.

В моих полевых материалах оказались собраны биографические данные около двухсот интеллигентов из различных регионов Кавказа и России, в период перестройки ушедших в политику. Эти данные демонстрируют удивительно устойчивую корреляцию между кодовыми словами, выделяемыми в темах их дипломных работ и диссертаций еще брежневских времен, и последующей политической позицией после 1989 г. Необходимо лишь владеть символическими кодами того времени, чтобы замечать и расшифровывать иносказательные символы и эвфемизмы.

Так, например, диссертации, написанные тяжеловесно «дубовым» слогом официальной идеологии, на «политически актуальные» темы («Дальнейшее укрепление социалистической законности...», «Химизация сельского хозяйства...», «Возрастающая роль партии в руководстве народным образованием на примере Кабардино-Балкарии») без обиняков указывают на элементарный конформизм и официальные карьерные притязания. Большинство подобных авторов пострадает после 1989 г. от крушения идеологических и управленческих структур, в которые они инвестировали себя с молодых лет. Поэтому немало из них впоследствии сохранит ностальгическую приверженность консервативному позднесоветскому коммунизму. Некоторые из них могут оказаться более

удачливыми и успешными приспособленцами, которые будут постепенно дрейфовать вместе с официальным дискурсом постперестроечных времен, цитируя вместо прежде обязательных классиков марксизма-ленинизма и материалов последних партсъездов то новоимпортированную западную ортодоксию 1950-х гг. в виде Талкотта Парсонса, Самуэльсона и Дарендорфа, то Путина и Солженицына.

С другой стороны, выбор тематики, относящейся к сугубо местной истории, языку и фольклору (подобно «армяноведению» для армянских диссертантов, «тюркологии» для азербайджанских и многим прочим патриотическим разновидностям краеведения), прочно соотносится со спектром националистических позиций времен перестройки. Добавлю, что радикализм будущих публичных националистов определялся не содержанием их прежних работ, а их должностями. Умеренность более присуща национальным академикам, прошедшим долгий карьерный отбор и которым в результате есть, что терять в символическом и чисто служебном плане. Существуют интересные исключения. К ним относится, например, задиристый и бескомпромиссный азербайджанский востоковед академик Зия Буниятов, в конечном счете павший жертвой так и не раскрытого покушения уже после возвращения к власти Гейдара Алиева. Буниятов вел себя демонстративно независимо, очевидно, оттого, что обладал удивительно сильным и диверсифицированным набором совершенно разных престижных статусов: потомок почтенной династии исламских шейхов, сын царского офицера, служившего советником в Персии, сам заслуженный танкист-фронтовик со звездой Героя Советского Союза, известный востоковед с некупленной репутацией, наконец, ведущий националистический авторитет в карабахском конфликте с армянами. Но это, повторяю, яркое исключение. Националистический радикализм наиболее свойственен провинциальным интеллигентам низкого статуса – им нечего терять, их карьерные возможности ограничены самим их национальным провинциализмом, и потому остается лишь попытаться обратить недостаток в достоинство. На Кавказе образованный мужчина, попавший в низкооплачиваемые музейные работники, практически со стопроцентной вероятностью станет националистом.

Помимо престижных областей художественного творчества в СССР наиболее благодатную почву для либерального диссидентства представляли так называемые точные науки, особенно наиболее передовые области ядерной физики и космических исследований. В 1950–1970-х гг. ведущие представители этих наук щедро финансировались государством, обладали непререкаемым

общественным авторитетом и имели возможность сравнительно беспрепятственного интеллектуального общения со своими западными коллегами. Вслед за учеными-ядерщиками (сравните с кругом авторов американского «Бюллетеня обеспокоенных ученых-атомщиков») шли лингвисты (сравните с престижем и диссидентской репутацией Наума Хомского), затем археологи, этнографы и психологи, чьи сложные профессиональные интересы находились на периферии официальной марксистско-ленинской идеологии. В то же время подобные научные интересы позволяли создавать сплоченные сообщества, спаянные понятиями профессиональной чести и родства с интеллектуальными кругами за пределами СССР. Немаловажным было то обстоятельство, что помимо внутреннего довольно жесткого профессионального отбора эти науки предполагали знакомство с эзотерическими концепциями и знание хотя бы основ иностранных языков. Это отпугивало карьеристов.

Поскольку в провинциальных университетах трудно было бы найти ученых-ядерщиков, там основной кузницей будущих демократических трибунов и вождей служили кафедры гуманитарных наук, связанных с мировым интеллектуальным контекстом: всемирной истории, зарубежной литературы, этнографии и археологии.

Градация университетов в основном отражала административно-территориальное деление и играла важную роль в становлении национальных интеллигенций. Наиболее передовыми и престижными университетами традиционно считались московский, ленинградский, а также полузакрытые, центрального подчинения наукограды Дубны и Новосибирска, чьей основной областью были исследования в высокотехнологичных областях. За ними следовали университеты столиц национальных республик, и лишь затем с большим отрывом — автономных образований. В самом низу этой иерархической лестницы находились провинциальные технические вузы.

По западным стандартам научные интересы Шанибова целиком относятся к социологии. Однако подобный предмет в советских вузах не преподавался едва ли не с легендарной высылки за рубеж Питирима Сорокина в 1922 г. Официальное марксистско-ленинское общественное знание делилось на целый ряд своеобразных дисциплин. Еще в 1920-х гг. преподавание диалектической философии и политической экономии, причем в ряды классиков наряду с Марксом и Энгельсом были включены и их «предтечи»: Адам Смит, Рикардо, Спиноза, Гегель. Более того, на полках библиотек еще долго оставались труды корифеев Второго Интернационала: Каутского, Бебеля, Гильфердинга, Плеханова, Розы Люксембург. По всей види-

мости, Сталин считал нужным сохранять преемственность марксистского канона. Курсы философии и политической экономии должны были неукоснительно следовать получившим одобрение высшего партийного руководства крайне догматичным учебникам. Обучение в основном заключалось в зубрежке формальных постулатов и текстуальном запоминании цитат, однако даже при подобном теологическом типе образования оставалась возможность для грозящих ересью диспутов.

В 1938 г. лично Сталин распорядился ввести новый предмет и подписал печально известный многим поколениям советских студентов учебник — «*Краткий курс истории ВКП (б)*». В догматической квазицерковной манере становление правящей партии Советского союза представлялось телеологичной борьбой против ересей и гетеродоксий, к которым были отнесены все прочие течения социализма, от анархистов и народников XIX в. до троцкистов и социал-демократов. Сталин представал защитником веры и наследником единственно верной марксистско-ленинской доктрины. В 1962 г. имя Сталина было изъято и заменено уклончивыми выражениями вроде «истинные ленинцы» и «наша коммунистическая партия», тон риторики был несколько снижен. Однако после ряда обсуждений в Политбюро было решено оставить, по сути, прежний догматический предмет, поскольку консерваторы (небезосновательно, как подтвердил опыт гласности) опасались открыть ящик Пандоры советской политической истории. Именно гласность развязала подлинную гонку историков и публицистов, соревновавшихся в вываливании на ошеломленного читателя все новых подробностей и разоблачений о темных сторонах советской истории. Героический канон большевизма был вывернут наизнанку и превратился в антиканон. В итоге за пару лет гласность лишила основателей советского государства всякой легитимности в глазах собственных граждан.

Официальное преподавание диалектической философии, истории партии как и в значительной мере политэкономии капитализма, выводилось из унаследованного марксистско-ленинского канона и почти целиком были обращены в прошлое. В годы десталинизации советские идеологические руководители стали ощущать насущную необходимость в обращенной в будущее и при этом научно обоснованной легитимации коммунистического проекта. По крайней мере до 1968 г. советские вожди считали необходимым и возможным выдвинуть собственный аргументированный ответ на вызовы новой эпохи. Так была учреждена новая общественная дисциплина, получившая название научного коммунизма. Социологические и реформаторские интересы Шани-

бова вполне попадали под рубрику новой дисциплины. Подобно немалому числу молодых обществоведов его поколения, Шанибов воспринимал переход на кафедру научного коммунизма как необходимый компромисс, если не весьма интересную возможность. В первые годы предмет научного коммунизма оставался неопределен, в то время как упор на научность предполагал (как казалось) эмпирические подходы, соприкосновение с научно-техническим прогрессом, методологическое новаторство (чего стоили количественные методы и компьютеризация!) и даже выход, в порядке критики современной буржуазной идеологии, на сверхмодную в те годы футурологию. Все это порождало большие надежды и иллюзии.

Последовавшее за выступлениями 1968 г. подавление молодежного бума в области социальной науки не было по-сталински беспощадным. Скорее, оно было удушающим. После «пражской весны» кафедры научного коммунизма были усилены стойкими приверженцами партийной линии, в основном переведенными с доказавших свою благонадежность кафедр политэкономии социализма и истории КПСС. Большинство преподавателей научного коммунизма проявило благоразумие в выборе между комфортабельной карьерой и перспективой лишиться места. Старшие коллеги относят тогдашние затруднения Юрия Шанибова на счет его излишней активности и нелегкого характера: *«Да просто баламут»*. Несомненно, габитус реформатора и трибуна совершенно перестал укладываться в рамки ортодоксальных приличий наступившей эпохи «застоя». Но также становится понятным, почему отдававшее неортодоксальностью, если не ересью югославского варианта социализма ключевое слово «самоуправление», регулярно возникающее на страницах шанибовской диссертации, могло показаться дерзким. По меркам более космополитичной Москвы или тем более передового в своей элитарной изоляции Новосибирска работа Шанибова, вероятно, не выглядела настолько провокационной. Однако Налчик был маленькой провинциальной столицей с ограниченными позициями в местной интеллектуальной иерархии.

Вдобавок карьерные перспективы Шанибова ограничивались двумя новыми реалиями семидесятых. Первым стало быстрое заполнение вакантных мест в номенклатуре, в изобилии появившихся в годы десталинизации. Позиции оказались заняты людьми лишь немногим старше самого Шанибова. Однако они уже успели распределить между собой теплые места и создать прочные сети патронажа. Карьерное продвижение замедлилось и в последующие годы почти остановилось. Соответственно, Шани-

бов стал рассматриваться уже не в качестве перспективного выдвигенца, а скорее слишком напористого и опасного соискателя чужого места.

Во-вторых, изменение политики борьбы с преступностью поставило под вопрос личный опыт Шанибова, фигурировавший в его диссертации. Вскоре после прихода к власти Брежнева было воссоздано союзное Министерство внутренних дел и патрули добровольцев оказались под плотным контролем районных отделов милиции и комитетов партии. Народные дружины и студенческие оперотряды (как они теперь официально именовались) были превращены в очередную формалистическую симуляцию добровольческого энтузиазма масс. Власти возвращались к более традиционным средствам социального контроля. Милиция получила указание очистить улицы крупнейших городов от всех нарушителей правопорядка, а суды после прекращения послаблений и экспериментов времен хрущевской «оттепели» теперь быстро и сурово осуждали на значительные сроки заключения за достаточно незначительные преступления, в большинстве рядовых случаев не особо утруждаясь доказательной базой.

Динамика и структура преступности за годы существования СССР остается в целом неисследованной *terra incognita*. Оценочные подсчеты демографов и независимых криминологов подводят к изумляюще контринтуитивному предположению — численность побывавших в заключении в годы брежневского «застоя» порой превышала показатели сталинских лет¹². Как ни странно, в сравнительно благополучные и не изобиловавшие событиями семидесятые годы за решеткой на какое-то время побывал едва ли не каждый пятый-шестой совершеннолетний гражданин Советского Союза мужского пола¹³. Среди национальных меньшинств, скажем, среди испытавших историческое отчуждение от советской власти балкарцев и чеченцев, процент задержанных и осужденных, по всей видимости, был значительно более высоким. Это очевидно скажется в этнических мобилизациях начала 1990-х гг. Среди ближайших сподвижников Шанибова окажется несколько человек, ранее осужденных за уголовные преступления. Как правило, обвиняемые по «бытовым» статьям за «злостное хулиганство», «нарушение общественного порядка» или «преступле-

¹² Лунеев В. Тюремное население в СССР // *Демоскоп-Weekly*. № 239–140, 20 марта – 2 апреля 2006 (Электронная версия бюллетеня *Население и общество*, см. Demoscope.ru).

¹³ Личная беседа с В. Абрамкиным (Москва, июль 1999 г.), а также Абрамкин В., Чеснокова В. *Тюремный мир глазами политзаключенных*. М.: Муравей, 1998.

ния против социалистической собственности» получали от трех до пяти лет исправительных работ с последующими ограничениями в праве на проживание в крупных городах. Однако эти крайне тревожные показатели оставались официально засекреченными, и более того — незамеченными со стороны основной массы общества, поскольку исправительные в исправительно-трудовых лагерях и тюрьмах теперь в основном оказывались молодые представители нижних слоев рабочего класса и субпролетарских городских окраин. Для представителей этих социально невидимых категорий населения советская тюремная система и заданная ею «блатная» контркультура с ее своеобразной иерархией статусов, конфронтационным габитусом и нормативными «понятиями» стала основным институтом социализации. Через два десятилетия, с распадом Советского государства, эти прежде невидимые процессы станут мощным структурирующим фактором, проникающим из криминальной субкультуры в поля экономических рынков и политической власти¹⁴.

А пока, в семидесятые годы, воры в законе, цеховики, контрабандисты, фарцовщики и валютчики остаются экзотикой, которой изредка балуют советских зрителей в официальных назидательных детективах, неизменно подтверждающих моральное и профессиональное превосходство агентов государства. Советского обывателя, попадавшего на Кавказ во время отпуска или в командировках, также неизменно изумляет показное потребление (дома, машины, банкеты, утрированно стильная одежда) и демонстративно снисходительное отношение к советской государственной дисциплине, от лихачества на дорогах и прикармливания сдачи продавцами до обязательных подношений на всех уровнях. Человеку из социально атомизированного и бюрократически контролируемого индустриального общества представляется скандальной экзотикой общество, в котором преобладают семейно-земляческие связи и неформальные статусы, альтернативные государственной иерархии. Конечно, на Кавказе советского периода также действуют бюрократические учреждения и формальные правила, большинство горожан живет в обыденном ритме, задаваемом городским транспортом, учебными заведениями и промышленными предприятиями. Однако случайный сторонний наблюдатель (вспомним мето-

¹⁴ Волков В. *Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ*. М.: Высшая школа экономики, 2005. Также см. Federico Varese, *The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy*. Oxford: Oxford University Press, 2001, в особенности третью и седьмую главы.

дологические предупреждения первой главы) подмечает в первую очередь экзотику.

Во вполне обыденной советской городской среде строит свою жизнь и наш герой Юрий Шанибов. В семидесятые годы его более всего заботит и изматывает затянувшаяся подготовка к защите кандидатской диссертации (которая в системе советских вузов имела многоступенчатый, крайне ритуализованный и бюрократический характер). Шанибов надолго застревает в младших преподавателях с минимальным окладом. Выручает зарплата работающей продавцом жены — подобно большинству советских горожан, Шанибовы строят свою семью в условиях полной занятости по государственному найму. Семья Шанибовых со временем получает квартиру в обычном многоэтажном доме и живет в условиях усредненного достатка. Однако традиционные кавказские представления о соотношении гендерных ролей плюс кипучая натура Юрия Мухаммедовича едва ли позволяют ему чувствовать себя вполне реализовавшимся взрослым мужчиной. Напоминанием о несбывшихся надеждах шестидесятых годов служат фотографии из семейного альбома: молодой прокурор Шанибов в кабинете у телефона, за рулем служебного внедорожника Горьковского автозавода, в костюме и галстуке на официальном фото с доски почета.

Настороженность старшей профессуры, порой переходящая в необъяснимую, на первый взгляд, враждебность к Шанибову, носила охранительно-превентивный характер. Нам нет никакого смысла вникать в давние перипетии академических интриг и тем более в формальные претензии к Шанибову. Это была полнейшая схоластика советского образца. Здесь интереснее будет отметить дивергентное расхождение в траекториях Шанибова и (отчего бы и нет?) его сверстника Пьера Бурдьё. Конечно, академическая карьера Бурдьё складывалась неизмеримо успешнее. Примерно в том же критическом для интеллектуала возрасте 35–40 лет, когда Шанибов сталкивается у себя в Нальчике с карьерными затруднениями и очевидно связанным с этим творческо-дискурсивным блоком, Бурдьё посреди продолжающейся бурной перестройки интеллектуального поля своей страны взлетает на престижную высоту в Коллеж де Франс. Окрыленный эмоциональной энергией успеха, он одну за другой пишет работы, приносящие ему уже международную известность и репутацию ведущего критического интеллектуала Парижа. Наиболее смелой и критичной среди своих работ Бурдьё считал социологическое исследование французского профессора, не без доли сарказма озаглавленное «Гомо Академикус»¹⁵.

¹⁵ Pierre Bourdieu, *Homo Academicus*. Oxford: Polity Press, 1988.

Наблюдения Бурдые касательно стратегий воспроизводства академической иерархии, включая центральный механизм длительного сдерживания и провинциализации более молодых претендентов путем навязывания схоластических «стандартов научности», особенно в растянутом на долгие годы процессе написания крайне трудоемких канонических диссертаций, вполне применимы и к анализу затруднений Юрия Шанибова.

В действительности амбициозный молодой лектор из Нальчика, позволявший себе рассуждать перед студентами о творческом развитии марксизма и проблемах развитого социализма, олицетворял две угрозы консервативному профессорiatу: он либо мнил в начальство, и тогда его прежним гонителям бы не поздоровилось, либо в публичные возмутители спокойствия, в случае чего профессорiat не только бы изобличался в косности, но и мог быть заподозрен в недостатке политической бдительности. В обоих случаях разумнее было Шанибова притормозить или даже подать предупредительный сигнал в органы госбезопасности, переложив политическую ответственность и вероятные «оргвыводы» на парторганы и чекистов.

Гонения, направленные против Шанибова, у многих вызывали чувства сострадания и стыда, хотя мало кто рискнул бы их высказывать публично. Не публикации, формальные дипломы и должности, а ореол смелой незаурядности, сочувствие и повседневная неафишируемая дружба коллег и бывших студентов на долгие годы вперед составили Шанибову его личную совокупность символического и социального капитала. Следует подчеркнуть, что шанибовский круг поддержки не был группой диссидентов. Относительно молодые интеллигенты и специалисты просто продолжали жить в одном городе и оставаться приятелями. В брежневскую эпоху они в политической и контркультурной деятельности не участвовали, ибо Нальчик оставался слишком небольшим, достаточно традиционным и изолированным от столиц городом, чтобы приютить политизированное либо богемное интеллектуальное подполье. Личную социальную сеть Шанибова можно назвать от силы эмбриональной контрэлитой.

Испытания, которым подвергся Шанибов, вполне соответствовали личному опыту миллионов таких же образованных людей молодого и среднего возраста в СССР и странах соцлагеря. Повсеместность, однако, не обязательно была результатом официально проводимой центром кампании. Как минимум не меньшую и «объективную» роль играли гомологичность местных социальных ситуаций и культурно-дискурсивная связанность советского пространства, которые делали возможным как повсеместную

консервативную реакцию брежневских времен, так и возникновение единого интеллигентского сопротивления, ставшего явным с очередным изменением климата в годы горбачевской гласности. Сигналами служили драматические события, подобные смещению Хрущева, вводу войск в Прагу или лишению Солженицына советского гражданства, равно как и ритуализованные идеологические установки московского центра, открыто публикуемые в пропагандистских передовицах либо рассылаемые в виде «закрытых писем» для обсуждения в парторганизациях на местах. Сигналы сливались в своеобразный поток и затем расшифровывались в качестве, например, санкции на выявление доморощенных диссидентов.

Последующая активность на местах определялась далеко не только полученными сверху сигналами — будь это так, СССР в самом деле можно было бы считать подлинно тоталитарной диктатурой. Но тогда, по всей видимости, и побудительные призывы Москвы к повышению качества и эффективности общественного труда, подъему сельского хозяйства или борьбе с пьянством должны были бы беспрекословно исполняться, а не оставаться раз за разом пустым пропагандистским ритуалом. Здесь мы вновь сталкиваемся с проблемой инфраструктурной слабости (в противоположность деспотической силе) советского государства. Последовательно и даже ревностно исполнялись те директивы центра, которые либо соответствовали интересам местной иерархии, либо вызывали опасение не оказаться в русле текущей кампании, если центр давал понять, что на сей раз могут последовать серьезные проверки. Наверняка таков и был механизм сталинских чисток и военной мобилизации. Впрочем, даже тогда находились способы симулировать деятельность, и тем более они находились после частичного демонтажа аппарата сталинского террора.

По меркам сталинских времен Шанибову ничто особенно не угрожало. Он так и остался преподавать в университете и даже регулярно выезжал на конференции и семинары по обмену опытом студенческого самоуправления, особенно в крупные индустриальные города Сибири, где всегда царил относительное свободомыслие. Подавление непрошеной инициативы осуществлялось в основном унижительными «проработками». Арестов и тем более физического устранения избегали сами органы госбезопасности даже в отношении настоящих диссидентов. В этом десталинизация определенно оказалась последовательной и необратимой, поскольку отвечала интересам самосохранения властвующей номенклатуры. Большинство жертв морального прессинга были представителями интеллектуальных кругов, поскольку, как мы увидели в пред-

ыдущей главе, области науки и культуры оказались ключевыми в символическом противостоянии консервативного и реформистского крыльев номенклатуры. На местах выбор жертв производился в основном среди претендентов на уже занятые места и должности. Старшие преподаватели официально утвержденных идеологических предметов и управленцы научно-исследовательских учреждений использовали пугало КГБ преимущественно для того, чтобы указывать младшим коллегам на их место, а также чтобы предотвращать накопление вызывающе самостоятельными соперниками символического капитала, потенциально обладающего престижной ценностью в мировых (т.е. западных) сферах культуры и науки.

По времени и местоположению участи Шанибова близок пример еще одной жертвы ревниво подозрительной профессуры, хотя встретятся они лишь годы спустя. В середине 1970-х гг. деканат факультета филологии и партком Чечено-Ингушского госуниверситета посчитали своим долгом поставить местный комитет госбезопасности в известность о подозрительных настроениях, складывающихся в самодеятельном поэтическом кружке «П'хармат» (по-чеченски «Прометей», типичное советско-молодежное название тех лет). Отметим, что деканат и партком состояли в основном из приближенной к местной власти русскоязычной профессуры города Грозного и нескольких лояльных чеченцев, в то время как «пхарматовцы» были начинающими чеченскими и ингушскими интеллигентами, лишь недавно покинувшими село. Их романтические и порой несносно наивные строфы о любви, молодости, красоте родных гор, орлином полете и овечьих легендами средневековых каменных башнях казались политически совершенно невинными. Поводом для доноса послужило раздражение некоторых старших членов местного отделения Союза писателей, на суд которых молодые чеченские поэты не удосужились представить свои произведения. Спустя годы этот провинциальный микроконфликт аукнулся чеченской революцией, когда ставшие во главе радикальных националистов бывшие молодые поэты и краеведы оставили не у дел статусных интеллектуалов, припомнив им прошлое цензорство. Одним из основателей гонимого кружка был уже упоминавшийся в первой главе Зелимхан Яндарбиев, совместно с Шанибовым впоследствии основавший также Конфедерацию горских народов Кавказа, Вайнахскую демократическую партию, временный президент Ичкерии в 1996–1997 гг. и, наконец, религиозный фундаменталист, убитый в изгнании в Катаре. В ретроспективе Яндарбиев представляет свою интеллектуальную биографию в виде восходящей по прямой национально-

повстанческой радикализации¹⁶. Однако факт остается фактом — в середине восьмидесятых Яндарбиеву удалось-таки стать членом республиканского Союза писателей и — более того — вскоре занять должность его секретаря, что означало доступ к распределению квот на публикацию книг, путевок в Дома творчества, квартир и других материальных благ советской литературной номенклатуры. Остается гадать, кем бы стал поэт Яндарбиев сегодня, сохранись СССР.

Неприятное, но, как видим, не роковое столкновение молодого Яндарбиева с местными органами госбезопасности в семидесятых годах случилось в основном по двум причинам преимущественно местного значения. Во-первых, руководство грозненского управления КГБ, вероятно, не желало портить отношения с просившей о поддержке местной русскоязычной номенклатурой, которой ради дальнейшего сохранения своих позиций в нарушение советских же норм национального представительства в республиках требовалось регулярно подпитывать самооправдательный тезис о недостаточной лояльности чеченцев и ингушей. Во-вторых, региональным органам КГБ необходимо было регулярно докладывать в Москву о результатах проделанной работы. Иностранцы шпионы в провинциях и внутренних республиках встречались нечасто, поэтому основной заботой считалось присматривать за националистическими проявлениями. Однако в этом деле требовался свой баланс. В атмосфере брежневского умиротворения не стоило излишне беспокоить московское начальство рапортами об особо опасной антисоветской экстремистской деятельности. Такое могло быть расценено и как провал в работе, недосмотр местных органов. Профилактическое запугивание подобных Шанибову искренних коммунистических реформаторов и напористых юных литераторов вроде Яндарбиева служило достаточно удобным прикрытием для имитации бдительной, но рутинной деятельности. В разговоре со мной бывший офицер (этнический русский) одного из провинциальных управлений КГБ рассказал об обычной неформальной практике звонков коллегам в соседние республики и области для того, чтобы, как он выразился, «в дружеской, коллегиальной манере посоветоваться и выяснить», какие именно разновидности операций и какой интенсивности будут расценены руководством в Москве как наиболее удовлетворительные¹⁷. В целом, коллективно и неформально обговоренная симуляция деятельно-

¹⁶ Зелымха (sic) Яндарбиев. *Чечения: битва за свободу*. Львів: Свобода народів, 1996.

¹⁷ Разговор с «Ш». Москва, декабрь 1997 г.

сти стала основополагающей стратегией бюрократического режима брежневского СССР.

Преодолев хрущевские экспромты и пережив чехословацкие и внутренние угрозы 1968 г., советское руководство, очевидно, не желало возобновления каких бы то ни было чисток, зная по собственному опыту, что террор может выйти из-под контроля. Воцарился осторожный консервативный режим стабилизации, по исторической иронии, вернее — инерции, продолжавший выступать социалистической сверхдержавой. Отложив внутренние реформы до более спокойных дней, брежневизм черпал свою легитимность в ритуалистическом противостоянии Соединенным Штатам Америки, терявшим после поражения во Вьетнаме идеологические и геополитические позиции в мире. Трудности начала семидесятых подталкивали Вашингтон к разрядке напряженности в отношениях с Москвой, которая по собственным резонам была готова принять сверхдержавную игру в разрядку, впрочем, не без доли мухлевки. Геополитическое соперничество продолжалось в основном путем привлечения новых клиентов из числа стран Третьего мира, что являло собой еще один пример имитации — на сей раз расширения мировой системы социализма. В самом СССР брежневский режим стабилизации жидился на все более терпимом отношении к снижению исполнительской и трудовой дисциплины и на патерналистском по сути субсидировании товаров широкого потребления, что на тот промежуток времени значительно улучшило условия жизни социалистических трудящихся — в расчете, что более сытые трудящиеся согласятся имитировать внутриполитический консенсус. С годами издержки и проблемы, вызванные этими консервативными имитационными стратегиями, продолжали расти.

ТРИ ИСТОЧНИКА ИЗДЕРЖЕК КОНСЕРВАТИВНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ

В следующие пятнадцать-двадцать лет жизнь Шанибова, как и миллионов его советских соотечественников, приобретает преимущественно частный характер. Как и все, он ходит на работу, растит детей, занимается ремонтом квартиры, летом ездит с семьей в отпуск или на дачу, ищет, где купить дефицитную мебель и прочие атрибуты современного комфорта, копит деньги на покупку машины, читает книги, играет иногда на своей мандолине народные мелодии и переложения классики. Шанибов сохраняет свои политические инстинкты, искренне надеясь на какое-то подтверждение своей правоты сверху, но теперь ему остается лишь пассивно следить за официальным курсом партии, в котором не происходит

ровно ничего экстраординарного. В Москве, как и в Кабардино—Балкарии все спокойно, у власти годами остаются те же самые постепенно стареющие люди, произносящие те же самые речи на неотличимо повторяющихся собраниях и партсъездах.

Кое-что все-таки происходит. В 1977 г. принимается новая Конституция СССР, призванная отразить брежневскую официальную идеологию поступательного вызревания «развитого социализма» — в противоположность всевозможным «ревизионизмам» и «авантюризмам» недавней бунтарской эпохи. В следующем 1978 г. проводится помпезная кампания принятия новых конституций союзных республик. Сугубо ритуальное мероприятие неожиданно вызывает протесты в Грузии из-за неупоминания грузинского языка в качестве государственного. Первому секретарю Грузии Эдуарду Шеварднадзе пришлось даже обратиться с неподготовленной речью к протестующим тбилиским студентам и обещать исправить юридическую оплошность. Впрочем, затем проводятся профилактические аресты. Один из задержанных, Звиад Гамсахурдия, вскоре появляется на советском телевидении с публичным покаянием и просит помилования (его нераскаявшийся поделщик Мераб Костава остается в заключении).

В Абхазии возникают протесты уже против грузинских требований, в которых абхазы усмотрели угрозу своему двойственному положению титульной национальности автономной республики в составе Грузинской ССР. По совпадению, в это время проводится типичное для брежневского периода юбилейное празднование 150-летия «добровольного вхождения Армении в состав России» (имелась в виду годовщина Русско-персидской войны 1828 г., в результате которой Российской империи отошла Эриванская крепость и окрестности). Находчивые абхазы выдвигают ёрнически лояльнейший, но явно антигрузинский лозунг: *«Армяне уже 150 лет с Россией. Когда же будем и мы?»* Обо всем этом доходят только слухи, отрывочные сообщения едва слышимых зарубежных радиостанций, да крайне скудные официальные известия в виде осуждения непонятно каких «подстрекателей». Абхазии вместо административного переподчинения Москве обещают весьма щедрые центральные ассигнования на «дополнительные меры по социально-экономическому развитию курорта всесоюзного значения», проводятся перестановки в руководстве, из внутренних областей России назначается новый начальник милиции, в Сухуми создается университет с абхазским отделением — и на этом все более или менее стихает. До 1989 г.

Обозначив несколькими импрессионистскими мазками событийный (или бессобытийный) политический фон и практики со-

ветской повседневности семидесятых годов, оставим теперь микроуровень и лучше обратимся к макроструктурному контексту жизни советского общества эпохи застоя. Именно здесь, вероятно, кроются глубинные причины развала СССР. Сегодня брежневский период постепенно уходит в забвение, не вызывая пока особого интереса даже у историков. Однако распад советского блока и последующие траектории составлявших его государств невозможно объяснить без учета неспособности советской правящей бюрократии предпринимать соответствующие шаги при первых признаках экономического спада и социальных проблем. С другой стороны, причин для особого беспокойства вроде бы не было. Быстро и сравнительно легко подавленные реформистские движения 1968 г. казались лишь временным отклонением. В семидесятых советское государство продолжало пользоваться преимуществами большой и относительно современной для тех лет индустриальной экономики, образованного и все еще растущего населения, престижа сверхдержавы, достигнувшей военного паритета с самой Америкой и, после 1973 г., неожиданных и невиданных доходов от экспорта нефти и газа. Требуется специальный анализ, чтобы выявить проблемы, остававшиеся глубоко структурными и оттого неявными в своей тотальности. Проблемы имели в основе три источника издержек: геополитическое противостояние сверхдержав, быстро завершенная пролетаризация, приведшая к резкому удорожанию рабочей силы, и позиционная сила ведомственной бюрократии.

ИЗДЕРЖКИ ПЕРВЫЕ:

ДИЛЕММА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

На международной арене Советский Союз, назвавшись сверхдержавой, оказался вынужден и в мирное время нести непосильное геополитическое бремя. Конкретно, это приняло форму гонки вооружений со значительно более богатыми Соединенными Штатами и субсидирования растущего числа стран-клиентов без особых надежд на отдачу¹⁸. Помимо своего непосредственного «чистого» богатства США обладали вдобавок ключевым капиталистическим преимуществом в виде стратегии коммерциализованного милитаризма. Иначе говоря, военная машина в условиях капитализма вносит вклад в национальный доход как традиционным обеспечением

¹⁸ Пророчески выглядит статья Valerie Bunce, *The Empire Strikes Back: The Evolution of the Eastern Block from a Soviet Asset to a Soviet Liability*, *International Organization*, 39 (Winter 1985).

коммерческих преимуществ на внешних рынках, так и посредством государственного стимулирования технологичных отраслей промышленности, занятости, науки и образования. Подобная практика зачастую называется «военным кейнсианством», хотя она так же стара, как сам капитализм¹⁹. В XX в. на пользу экономики Соединенных Штатов очень мощно работала обратная технологическая связь, взаимоусиливавшая НИОКР в военных и гражданских областях. Это не отменяет, повторимся, более традиционного использования военно-дипломатических рычагов для продвижения американского бизнеса на международной арене.

Организационная морфология СССР не позволяла воспроизвести западную модель самоокупаемой милитаризации. В советской экономике не было и быть не могло ценообразующего рынка и реальных денег (ведомственно-замкнутые неконвертируемые рубли выступали лишь условно-учетными единицами). Соответственно, ресурсы, которые могли быть направлены через военные заказы на общее экономическое развитие, исчезали мертвым капиталом в производство вооружений, оставляя прозябать гражданский сектор. Вдобавок параноидальная охрана военных секретов не позволяла новейшим технологиям перетекать в мирные отрасли экономики. Наконец, ситуация стала нетерпимой, если не попросту комичной, когда имперская держава оказалась вынуждена покупать лояльность стран-клиентов путем раздачи грантов и субсидируемого товарообмена, взамен не имея особых надежд на их эксплуатацию. Проявилась все та же нехватка инфраструктурной власти. СССР мог бы в принципе устроить разовый грабёж Польши или Анголы, подобно вывозу после 1945 г. обору-

¹⁹ Коммерциализация милитаризма, делавшая войны самоокупающимися, была ключевым преимуществом капитализма еще за столетия до Кейнса, в эпоху венецианских купцов и позднее голландской Ост-Индской компании. Наполеоновские войны сыграли исключительную роль в создании спроса на основные товары (металл и текстиль) индустриальной революции в Англии. Первый современный военно-научно-промышленный комплекс был создан в кайзеровской Германии и затем успешно перенят Японией. Однако в американской гегемонии эта стратегия достигла наивысшей степени размаха и рационализации благодаря в основном организационной форме американских транснациональных корпораций. Главными работами здесь являются Уильям МакНил. *В погоне за мощью: техника, вооруженные силы и общество с 1000 г. н.э.* М.: Территория будущего, 2008; Джованни Арриги. *Долгий двадцатый век: деньги, власть и создание нашей эпохи.* М.: Территория будущего, 2006; а также Chalmers Johnson, *MITI and the Making of Japan's Industrial Policy.* Stanford: Stanford University Press, 1982.

дования и трофеев из оккупированной части Германии. Однако СССР не мог наладить институциональных механизмов невидимого и регулярного неэквивалентного обмена, для чего требуются рынок и рыночные субъекты, ориентированные на извлечение прибыли.

Интенсивность геополитической и идеологической конфронтации с вытекавшими из этого издержками могла быть снижена по соглашению между двумя сверхдержавами. Подходящий внешнеполитический момент возникал преимущественно в результате одновременных осложнений у обеих сторон, что побуждало к поиску компромиссов. В начале семидесятых годов такой момент создало осознание поражения США во вьетнамской войне и со стороны Москвы устрашающие по возможным последствиям стычки на советско-китайской границе. Совпавшее для обеих сторон сочетание внешнеполитических дилемм и внутреннего давления побудило Брежнева и Никсона перейти к политике сближения сверхдержав. Но разрядка едва ли могла продолжаться долго. Виной тому не только генералитет и военно-промышленные комплексы каждой из сторон. «Холодная война» оказалась прочно «впечатана» в идеологические и когнитивные шаблоны политических истеблишментов обеих стран, международная конфронтация служила слишком важным структурирующим и дисциплинирующим фактором во внутренней и внутриблоковой политике и СССР, и еще более в случае США. Подтверждением служат регулярно возникающие конфронтационные рецидивы в отношениях Америки с постсоветской Россией уже в годы Ельцина и Путина, для которых лишь с изрядным воображением можно найти геополитические причины. Поэтому разрядка как средство долгосрочного понижения геополитических издержек едва ли могла спасти СССР от банкротства. СССР оказался узником собственного статуса сверхдержавы. Структурные тенденции проявили себя, как обычно, в том, что принято называть непредвиденными случайностями истории: например, в неспособности Москвы обуздать аппетит планировщиков Генштаба и разработчиков ракет средней дальности или же в соблазне задействовать ограниченный контингент дорогостоящей и застоявшейся без дела армии для небольшой победоносной операции в Афганистане.

Предложенное Рэндаллом Коллинзом геополитическое объяснение развала СССР верно указывает на фактор долгосрочного военно-политического перенапряжения. Надо признать и научный приоритет Коллинза. Когда он впервые сформулировал свою геополитическую теорию в 1980 г., в отношении СССР она звучала предсказанием — не удачной интуитивной догадкой, а одним из

немногих теоретически обоснованных прогнозов²⁰. Однако сама по себе геополитическая теория недостаточно точна. Противостояние одновременно силам НАТО и маоистскому Китаю плюс субсидии политически зависимым союзникам и приобретение клиентов в Третьем мире создавали в сумме колоссальное экономическое бремя, которое по институциональным причинам не могло быть коммерциализировано и оборачивалось чистыми издержками. Тем не менее требуется объяснить, каким образом поколением ранее на значительно более низком уровне индустриального развития, Советский Союз смог заблокировать военную агрессию Японии в 1938 г. и затем в 1941–1945 гг. одолеть германскую военную машину. Что может сравниться с подобной войной в плане геополитического давления? Тем более странным выглядит, что СССР надломился и распался в довольно мирный и с виду благополучный период. Что же изменилось за послевоенное поколение? Для более полного объяснения нам следует обратиться к динамике внутреннего развития.

ИЗДЕРЖКИ ВТОРЫЕ: ПРОЛЕТАРИЗАЦИЯ ПОД ГОСОПЕКОЙ

В социальном отношении основная масса населения СССР, прежде всего в центральной зоне восточнославянского ядра, была преобразована в современных, образованных городских пролетариев, полностью зависимых от заработной платы и предоставляемых государством социальных благ. С изменением жизненного уклада, при переходе от сельского к городскому типу семейных демографических стратегий (и, конечно, при жестоких потерях мужчин в период голода, репрессий и войны), уровень рождаемости стремительно упал в течение жизни всего одного-двух поколений. Соответственно, оскудел казавшийся неисчерпаемым резерв людских ресурсов — крестьянство, исторически служившее не менее важным источником геополитической мощи Российской державы, чем ее необъятные территории и природные ресурсы. Впервые за историю России ее правители оказались перед лицом относительного дефицита неприхотливой рабочей силы и призывников.

Со своей стороны, все пролетарии рано или поздно осознают и начинают применять в качестве рычага воздействия на работодателей такие факторы, как свою концентрацию и численность,

²⁰ Randall Collins, *The Geopolitical Basis of Revolution: The Prediction of the Soviet Collapse*, in *Macrohistory*, Stanford: Stanford University Press, 1999. Русский перевод: Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: случай Советского коллапса // *Время мира*. Новосибирск. 2000. Вып. 1. С. 234–278.

приобретенные трудовые навыки и, наконец, угрозу выхода рабочей силы из процесса производства. Когда организаторы промышленности (будь то капиталистические предприниматели или социалистические плановики) не могут более рассчитывать на приток новой и гораздо менее притязательной рабочей силы из деревень или более бедных стран, то наемные работники обретают структурную возможность стать самостоятельным классом в марксистском значении этого слова, а следовательно — силой, заставляющей с собой считаться.

В социалистическом государстве, ежедневно и во всеуслышание трубившем о своем служении трудовому народу, рассмотрение класса с позиций идеологии было данностью. Однако по той же причине воплощение структурной возможности в подлинно пролетарскую политику было задачей архисложной. Политические реалии социалистических диктатур не оставляли легального пространства для действенной организации рабочего класса. По этой причине структурный потенциал наемного труда реализовался в основном через неявный бытовой торг с работодателями на уровне конкретных цехов, предприятий и учреждений — но не на более высоком агрегированном уровне отраслей, территорий и тем более не в сфере политики. Средством рассеянного давления со стороны работников служили переходы прежде всего квалифицированных кадров с одних предприятий на другие, с более щедрой зарплатой и «социалкой», что значительно облегчалось отсутствием безработицы, либо вялотекущее хроническое отлынивание работников от своих обязанностей — вместо единовременного, сосредоточенного, открытого и коллективно согласованного отказа от работы, наблюдаемого во время забастовок. Стихийные кратковременные забастовки не были столь уж небывалым явлением. Открытие советских архивов после перестройки позволило историкам подсчитать, что в шестидесятые — начале семидесятых годов в СССР ежегодно происходило порядка 400–450 подобных выступлений²¹. Иначе говоря, где-то в цехах крупных заводов, на шахтах, в портах бастовали практически каждый день. Как правило, о столь чрезвычайных происшествиях приходилось докладывать в секретных сводках руководству в Москве. Тем не менее это крайние случаи. Открытые забастовки оставались трудны и крайне опасны для зачинщиков. В повседневной жизни рабочим приходилось искать совершенно иную стратегию неявного сопротивления, закреплявшуюся в практи-

²¹ Donald Filtzer, *Soviet Workers and De-Stalinization*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

ках и социальных ожиданиях производственной субкультуры времен позднего госсocialизма. В совокупности, увы, приобретенный опыт оказался крайне успешным.

Печально известное низкое качество советских товаров и услуг в действительности можно считать превратным триумфом классовой борьбы в условиях государственного социализма. Будучи лишенными возможности повысить свою зарплату путем заключения коллективных договоров, работники прибегали к неявному снижению вложения своего труда в производство²². Таков политэкономический контекст циничных поговорок того времени: «По деньгам и качество», «Государство притворяется, что нам платит, а мы — что на него работаем».

Столкнувшись с проблемами постоянного понижения уровня вложенного труда и все более расшатывающейся дисциплины на производстве, страна Советов предпочла не реагировать никак, помимо дежурной риторики. Брежневский режим оказался в плену унаследованной от более ранней эпохи марксистско-ленинской идеологии и практики всеобщей занятости, институционализированной со времен штурмовой индустриализации. Но сами по себе ограничители, унаследованные от прошлого, не имели бы такой силы «держать живых», будь эти живые достаточно смелы и живы. Вероятно, куда важнее оказался фактор нежелания гражданской номенклатуры возвращаться к сталинским методам государственного террора для принуждения рабочих к труду. Добавим к этому типичную для времен застоя тенденцию уходить от реального осуждения и тем более сколь-нибудь активного решения проблем, поскольку это грозило вернуть страну к дебатам и энтузиазму недавних времен «оттепели».

Победа сомнительного сорта, одержанная советским рабочим классом над своим дряхлеющим государством, оказала долгосрочное разрушительное воздействие на трудовую этику. Неофициальными нормами стало терпимое отношение к опозданиям и прогулам, растранижению средств и ресурсов, бракоделию, хищениям, разгильдяйству и пьянству, которые продолжали осуждаться лишь на плакатах и в официально санкционированной сатире. Эрозия трудовой этики затем перекидывается на советское обще-

²² Теория «превратной» классовой борьбы основывается на первопроходческих положениях таких социологов индустриального труда в условиях государственного социализма, как Victor Zaslavsky, *The Neo-Stalinist State*, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1982; а также работы мастера социологии включенного наблюдения Michael Burawoy, *Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism*. London: Verso, 1985.

ство в целом, производя всеобщий цинизм и общественную апатию. Осознавая опасность политических последствий более активной реакции, советское руководство было вынуждено не только терпеть низовое понижение производительности труда, но вдобавок расширять порочную систему представления косвенных доходов на рабочих местах. Эта политика дала мощный толчок тенденции роста народного потребления конца 1950-х – середины 1980-х – тенденции, шедшей вразрез с падающей продуктивностью труда и создающей новые противоречия.

Щедро спонсируемое потребительство (особенно в крупных городах) стало зависеть от быстрорастущего импорта товаров народного потребления в обмен на нефтедоллары. В краткосрочном плане подобная политика оказала успокаивающее воздействие на общество и даже способствовала некоторому росту инициативности в ряде стратегически важных отраслей промышленности – особенно в военно-промышленном комплексе, где возможность приобретения импортных товаров посредством «потребительского заказа» стала главным стимулом к рационализации и поддержанию трудовой дисциплины. Именно поэтому брежневская эпоха с такой теплотой вспоминается во многих уголках бывшего СССР. Импорт товаров познакомил советских пролетариев с потребительскими моделями западного общества. Возрастающие ожидания советских потребителей стали еще одним источником идеологической эрозии и издержек государства. Жесткий пограничный контроль, неконвертируемый рубль и бездарная бюрократия виделись единственными политическими препятствиями потоку качественных и престижных западных товаров. Излишне говорить, с какой готовностью западная пропаганда эксплуатировала материальный разрыв между двумя общественными системами.

Чтобы хоть как-то противодействовать снижающейся эффективности экономики, избегая при этом социальных конфликтов, советское правительство продолжало политику экстенсивного роста путем новых капиталовложений в строительство гигантских промышленных объектов и бездумной механизации сельского хозяйства. Подобный подход производил поводы для рапортов об успехах и поддерживал идеологическую видимость сохранения динамики ускоренного индустриального развития – хотя подлинный рывок развития остался все дальше позади и источники его динамики делались все более невоспроизводимы. Ценой имитации продолжающейся государственной индустриализации без сталинизма стала хроническая неэффективность использования ресурсов и рабочей силы. Целые категории рабочих, а также специалисты и управленцы среднего звена, находили все больше

возможностей для изворотливого торга с начальством, которому в свой черед оставалось выбивать свыше новые ресурсы и привилегии, а то и заниматься приписками и прочими формами бюрократического обмана. Таким образом последствия завершения процесса советской пролетаризации стали вторым основным источником издержек. Рост структурной силы пролетариев и их превратные стратегии индустриального конфликта, производившие негласные компромиссы в системе управления, опосредованно превратились в фактор упадка координирующего инфраструктурного потенциала советской власти. Впрочем, это уже следующая проблема.

ИЗДЕРЖКИ ТРЕТЬИ:

ВЕДОМСТВЕННОЕ ЗАМЫКАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ

Третье основополагающее противоречие советского государства крылось в самой самоорганизации правящей бюрократии. Она начала нормализовываться на собственных условиях еще при живом вожде, в закатные годы Сталина. Когда же он умер, а его террористические подручные сами подверглись чистке, процесс окукливания номенклатурных ведомств стал необратимым, несмотря на отчаянные попытки Хрущева воспрепятствовать самоизоляции бюрократической надстройки.

Врожденная бюрократическая сегментированность советских и постсоветских властных структур напрашивается на сравнение с феодализмом. Но это саркастическое преувеличение. Вероятно, к истине приблизился Дэвид Вудрафф, чья на первый взгляд отвлеченная теория денег и натурального обращения в СССР и России восходит непосредственно к идеям Георга Зиммеля и Карла Поланьи²³. Вудрафф утверждает, что создание единых национальных валют было важнейшим средством и историческим достижением на пути формирования суверенных национальных государств современности. В этом (и скорее лишь в этом) отношении СССР и Россия 1990-х напоминают ранние абсолютистские государства накануне консолидации национальных монетарных систем, хотя это сходство является не генетическим, а гомологическим. Царская Россия, вопреки клише о ее отсталости, и тем более Советский Союз не так уж и отставали от Запада в темпах модернизации экономики и государственности. Рубль служил национальной денежной единицей в современном смысле это-

²³ David Woodruff, *Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999.

го слова в эпоху золотого стандарта — в период модернизаторских бюрократических усилий Витте и Столыпина в 1893–1914 гг. и далее в эпоху советского НЭПа в 1922–1928 гг. Затем штурмовой темп военизированной индустриализации, определенный волевым решением большевистских верхов, сделал золотой стандарт невозможным. Настолько ортодоксальная либеральная политика денег, свойственная коммерческим формам в первую очередь британского капитализма XIX в., слишком жестко ограничивала возможности государственного стимулирования промышленности. Не случайно, и сами западные правительства отказываются от золотого стандарта в годы Великой депрессии и уже никогда, даже в самые неолиберальный период Рейгана и Тэтчер, к нему не возвращаются.

В период индустриализации и Второй мировой войны советские плановики сообразно экстраординарным обстоятельствам, по-большевистски чрезвычайно жестоко и жестко и порой также довольно изобретательно прибегали к различным ухищрениям, чтобы сдерживать, вернее, вытеснить инфляцию. При острой нехватке самых разных ресурсов вводятся всевозможные лимиты и квоты, деньги дополняются и подменяются суррогатами в виде отраслевых чеков и купонов, региональных продовольственных талонов, взаимозачетов и проч. Неофициально по преимуществу централизованное вертикальное планирование корректируется благодаря горизонтальному бартерному обмену. Эта девелопменталистская стратегия, которая вначале рассматривалась в качестве механизма кризисного управления лишь на этапе индустриального скачка, оказалась в итоге неотъемлемой частью учреждений, идеологии, габитусов и стратегических форм поведения в сфере советского промышленного управления. Отсутствие единой валюты, а следовательно, сравнимости результатов труда и объектов обмена (как с точки зрения страны Советов соотносить сливочное масло с древесиной или бомбардировщиком?) вынуждало центральный бюрократический аппарат оперировать грубыми материальными показателями на официальной бумаге и, не столь официально, заниматься в повседневной практике межведомственными договоренностями со смежниками и вертикальным торгом (неизбежно не без изрядной доли волюнтаризма и коррупционной «смазки») с подчиненными уровнями для выяснения нужд, возможностей и определения плановых задач различных областей и республик страны, предприятий и отраслей экономики.

В чрезвычайных условиях постреволюционной диктатуры, индустриализации и войны у коммунистических бюрократов формировались и закреплялись навыки и диспозиции, ставшие глу-

боко свойственными советскому типу индустриализма. Это создание вертикальных патронажных сетей и личных связей в сетях горизонтального обмена, пренебрежительное отношение к расходованию ресурсов, вплоть до человеческих жизней, ради рапорта о достижении и перевыполнении поставленных политическим руководством задач, негласные практики лукавой недооценки собственных производительных возможностей при раздувании штатных расписаний персонала, накопление скрытых запасов, встречное завышение объемов запрашиваемых у центра средств, наконец, попросту вездесущие приписки. Подобные неформальные стратегии оставались действенными и относительно безопасными для самих управленцев в той мере, в которой они могли избегать и предотвращать вмешательство в свои дела вышестоящего начальства. Наконец, увы, это означало не только эффективное сокрытие собственных недоделок и грешков, но и торможение нарушающих рутину, трудоемких, нервирующих и попросту рискованных нововведений в организации и технологии. Новшества не проходят без командного окрика «сверху».

Это, конечно, общекорпоративные патологии современности. Так или иначе они обнаруживаются во всех современных государствах, крупных безличных организациях (гражданских и военных), в коррумпированных администрациях городов и штатов Америки, в корпоративном бизнесе, о чем мы узнаем постфактум из скандальных банкротств. Исключительность СССР, вернее, его крайнее положение на шкале исторических вариаций, состояло в том, что советская бюрократия от начала и до конца была поистине суверенной, т.е. автономной как от каких-либо классов собственного общества, так и от иностранных интересов²⁴. Все бюрократии, при всем их морфологическом и видовом разнообразии в пределах своего семейства, следует считать по определению инерционными и «безголовыми» — на то они и слуги общества, господствующего класса, правящего режима. Но если бюрократия автономна, откуда возьмется импульс к изменению курса?

Неоклассические экономисты немедля ставят на командной экономике клеймо врожденной неэффективности. Столь широкое обобщение очевидно является эмпирически ложным. На начальных стадиях (причем не забывайте, с довольно низкого стартового уровня) советская командная экономика совершала подлинные

²⁴ Австралийский политолог Т. Ригби давно дал полезное концептуальное основание для анализа такого рода «моноорганизационного общества». Т. Н. Rigby, *Political Elites in the USSR: Central Leaders and Local Cadres from Lenin to Gorbachev*. Aldershot: Edward Elgar, 1990.

подвиги, обогнав Третий рейх в производстве танков и самолетов, восстановив разрушенную страну после войны и в 1950–1960-х гг. шагая в ногу с Соединенными Штатами в сферах развития аэрокосмической промышленности и стратегических ядерных сил. В свете предшествовавших достижений более загадочным видится возникшее к концу шестидесятых отставание СССР в области электронно-вычислительных машин и микроэлектроники. Мануэль Кастельс и Эмма Киселева представляют добротное эмпирическое описание этого провала страны Советов. Однако их объяснение сквозь модно окрашенную призму концепции «информационного общества» видится несколько туманным²⁵. Главной причиной отставания СССР в компьютерных технологиях едва ли была сетевая сложность социальных взаимодействий на основе новых вычислительных машин. Хотя в определенной мере компьютеры и Интернет предполагают высококвалифицированных и изобретательных работников плюс децентрализацию процесса принятия решений, можно все-таки вообразить милитаризованное решение этой организационной задачи в духе Лаврентия Берии. Слава богу, о новых научных «шарашках» речь идти не могла, хотя в мягком виде тенденция сохранялась в создании более комфортабельных закрытых «наукоградов» в качестве спутников больших индустриальных центров. Но ускорения роста все равно не происходило. Основной проблемой оказалась дальнейшая политическая и организационная эволюция самого советского государства.

В изнурительной гонке сталинских кампаний по удержанию паритета в производстве вооружений с врагами СССР руководители промышленности отвечали за провал собственной головой — однако успех возносил их на немислимые вершины власти и славы. Деспотический характер центральной власти позволял пренебречь второстепенными направлениями и сконцентрировать скудные ресурсы на достижение стратегических целей. Например, в конце 1940-х гг. в разрушенной и голодавшей стране ведущий ученый-ядерщик академик Курчатов (ранее оказавшийся среди узников ГУЛАГа и впоследствии работавший под личным надзором Берии) получил в свое распоряжение едва ли не десятую часть общесоюзного ВВП. Курчатов стоял во главе легионов ученых, рабочих, солдат, лагерников и действовавших за рубежом разведчиков. Вот это — пример командной экономики в зените. Проблема с электро-

²⁵ Manuel Castells and Emma Kiselyova, *The Collapse of Soviet Communism: A View from the Information Society*. Berkeley: University of California, International and Area Studies, 1995.

никой для Советского Союза коренилась вовсе не в относительной сложности компьютеров. Создание танковой индустрии или разработка баллистических ракет и ядерных боеприпасов была едва ли менее комплексной и трудной задачей. Проблема была совершенно политической.

В 1980-е гг. СССР тратил более 3,5% ВВП на НИОКР — научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, в то время как США — только немногим более 2%, а другие страны и того меньше (только в последние два десятилетия на уровень этот уровень — 2–3% — вышли Япония и Корея, а некоторые «маленькие наукоемкие государства» — Израиль и Финляндия — даже превзошли этот уровень вдвое). Конечно, добрая половина расходов на НИОКР осуществлялась в «оборонке», как и в США, но огромный масштаб вложений, особенно впечатляющий в сравнении с сегодняшними уровнями (в 2005 г. Россия затратила на НИОКР 1,2% ВВП, примерно столько же, сколько Китай), позволял поддерживать лидерство во многих сферах фундаментальной науки — от астрономии до лингвистики и во многих областях НТП. Более десятка нобелевских лауреатов в естественных науках и столько же премий Филдса (математика) — на порядок больше, чем в любой из развивающихся стран...

Однако при высоком уровне фундаментальной науки в том, что касается инновационного процесса — внедрения достижений НТП в производство, СССР после первоначального рывка 1930–1950-х гг. чем дальше, тем больше отставал от развитых стран. Проблема заключалась в том, что план по внедрению новой техники и план по освоению новых видов продукции (были и такие разделы основного закона) входил в противоречие с пресловутым «планом по валу», так как для технической реконструкции предприятия требовалась хоть и временная, но все же остановка производства²⁶.

Приоритетные сферы НТП, особенно военные, еще как-то удавалось поддерживать через постоянные специальные решения Политбюро и ЦК, но ведь сверху за всем не усмотришь, что-то неизбежно ускользает... Так, начиная с 1960-х гг. «ускользнули» электроника, компьютеры, композитные материалы, биотехнологии и генная инженерия.

Командная мобилизационная экономика — да простится мне неизбежная тавтология — должна быть командной, ее эффективность предполагает верховного главнокомандующего. Преобразо-

²⁶ Nikolai Shmelev, Vladimir Popov. *The Turning Point: Revitalizing the Soviet Economy*. N. Y. Doubleday, 1989. Шмелев Н. П., Попов В. В. *На переломе: экономическая перестройка в СССР*. М.: Изд-во АПН, 1989.

вание всех революционных режимов XX в. в харизматические диктатуры развития (будь они коммунистическими или национально-освободительными) не может быть связано лишь с личными пристрастиями Сталина, Мао, Тито, Кастро, Ататюрка или Насера. Подобные вожди возносятся логикой структурных конфликтов и возможностей, которая (скажем осторожнее) предрасполагает к сосредоточению всех наличных ресурсов в руках централизованного государства в целях ускорения развития. Помимо деспотической централизации, способности к устрашению и изъятию ресурсов диктатуры, активно трансформирующие свои страны, также должны в не меньшей мере уметь вдохновлять народ на свершения. Утопические модернистские идеологии социализма и национализма следует признать необходимым компонентом революционного девелопментализма наравне с периодическими волнами террора.

К концу шестидесятых СССР более не соответствовал ни одному из этих условий. Советская идеология оказалась выпотрошенной, набальзамированной и мумифицированной. Из командного центра Москва превратилась в главную площадку корпоративного лоббирования и межбюрократических торгов²⁷. Восседающие посередине коллективно-олигархические органы вроде Политбюро и коллегий союзных министерств распределяли ресурсы наихудшим способом из всех возможных — вслепую и в зависимости от значимости вовлеченных в нескончаемый, наподобие византийских интриг, торг отраслей промышленности и административно-территориальных единиц. Брежневские олигархи следующего эшелона — почти суверенные управляющие отраслей промышленности и территорий — без особых усилий обращали любое инновационное начинание в ритуальное действие бесконечных согласований и совещаний, за которыми неминуемо следовало выбивание дополнительных ресурсов и статусно—символических поощрений.

Российский экономист Владимир Попов предложил элегантную теоретическую формулировку, соотносящую мощь и слабость командной экономики с различными фазами в цикле ее материального существования. При наличии необходимых государственных институтов и централизации власти, командное управление

²⁷ Одними из первых ситуацию описали тогда советские инакомыслящие экономисты, например, Симон Кордонский и Виталий Найшуль. Однако их анализ в духе тех лет остался неотделим от сатиризации и публицистической метафоры. Более теоретичной версией «административного рынка» служит статья Valerie Bunce, *The Political Economy of the Brezhnev Era: The Rise and Fall of Corporatism*, *British Journal of Political Science*, 13 (January 1993), pp.129–158.

экономикой обычно позволяет превосходить капиталистическое рыночное управление в крупносерийном производстве средне- и краткосрочного плана, т.е. осуществлять в самые сжатые сроки индустриализацию или выходить из войн победителем. Однако, по выкладкам Попова, эффективность командной экономики начинает быстро снижаться где-то через 30 лет, по мере выбытия устаревающих производственных мощностей. Предприятия первой волны индустриализации выбывают свой ресурс и нуждаются в замене. Для этого командная экономика советского образца не обладала ни необходимыми правовыми и организационными механизмами, ни идеологическим обоснованием²⁸. Реструктуризация через банкротство или полное закрытие отжившего свой век завода, который энное число десятилетий назад стал гордостью первого пятилетнего плана или же кормильцем целого города, могло оказаться делом попросту невозможным. Командная экономика могла творить чудеса — но лишь грубо-осязаемые и на ограниченный срок. Мобилизация сбережений и превращение их в инвестиции, строительство новых заводов в рекордные сроки — здесь командной экономике не было равных. Но как только дело доходило до возмещения выбывающих машин и оборудования, замены изношенных и морально устаревших мощностей, плановая экономика начинала давать сбой: остановка завода на техническую реконструкцию была чревата сокращением выпуска, пусть и временным, что ставило под удар «план по валу» — главнейший и незаменимый критерий оценки деятельности социалистических предприятий.

Вдобавок упор советской промышленности на производство вооружений и осуществление престижных индустриальных и инфраструктурных проектов не позволял эффективную переадресацию накопленных ресурсов на удовлетворение растущих потребительских запросов населения по успешном завершении процесса индустриализации. Закованная в устаревшую военную и организационную форму, экономика СССР продолжала шествовать путем раннеиндустриальной эпохи. Тем временем ее руководители стали почти неприкасаемыми, а рабочие — успешно вовлеченными

²⁸ Главный теоретический источник — работы преподающего в Канаде и Финляндии русского экономиста Владимира Викторовича Попова: V. Popov, *Life Cycle of the Centrally Planned Economy: Why Soviet Growth Rates Peaked in the 1950s*. In: *Transition and Beyond*. Edited by Saul Estrin, Grzegorz W. Kolodko and Milica Uvalic. Palgrave Macmillan, 2007; Попов В.В. Почему снижались темпы роста советской экономики в брежневский период // *Неприкосновенный запас*. 2007. № 2 (52); Попов В.В. Закат плановой экономики // *Эксперт*. № 1 (640). 29 декабря 2008.

в комфортный режим производства и государственных субсидий. С экономической точки зрения, заключает Попов, наилучшая возможность реструктурировать советскую экономику была упущена в 1960-х, т.е. через три десятилетия после начала сталинской индустриализации. В этом отношении приступившие к индустриализации в 1950-х гг. страны Центральной Европы и Китай оказались в 1980-х в значительно лучшем положении для перевода экономики на рыночные рельсы.

В этом теория Владимира Попова соответствует известным выводам Питера Эванса о неминуемом накоплении различных политических противоречий и экономических проблем, которые сообща вели к демонтажу послевоенных девелопменталистских государств в Бразилии, Италии или Южной Корее²⁹. После достижения точки, в которой гражданское и чисто демографическое взросление общества сходились с началом процесса относительного устаревания промышленности, созревшая национальная буржуазия желает высвободиться из-под государственной опеки, осознавшие свою силу рабочие требуют улучшения своего положения и демократических прав, сами бывшие диктатуры теряют цельность и уверенность в себе. Возникают политические коллизии, исход которых зависит как от внутренней расстановки сил, так и от мирового идеологического контекста. Как видно из анализа Эванса, упадок и кризис СССР на самом деле не были такими уж исключительными явлениями. Но, конечно, была своя специфика.

В середине шестидесятых сложившееся консервативное крыло советской бюрократии обрело контроль над государством достаточно богатым и сильным, чтобы быть в состоянии идти прежним патерналистским социально-экономическим курсом и укрыться (по крайней мере, на два ближайших десятилетия) от внешнего воздействия³⁰. Со временем многие в советской правящей элите стали склоняться к мнению, что консервативная инертность в долгосрочном плане могла подорвать саму жизнеспособность страны. Однако до тех пор, пока кризис не стал очевиден, большинство политического руководства, второстепенной олигархии и далее вниз по лестнице бюрократических рангов не могли отказать себе в удоволь-

²⁹ Peter Evans, *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

³⁰ По процессам и последствиям бюрократического самозамыкания в СССР см. Michael Urban and Russell Reed, «Regionalism in a Systems Perspective: Explaining Elite Circulation in a Soviet Republic,» *Slavic Review* 48, no. 3 (Fall 1989); Peter Rutland, *The Politics of Economic Stagnation in the Soviet Union: The Role of Local Party Organs in Economic Management*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

ствии воспользоваться, наконец, новообретенным покоем и преобразовать свои административные посты в источник получения ренты — «рента» здесь видится аналитически более точным выражением, нежели нормативно нагруженное слово «коррупция».

Доход или рента с административной должности становится немаловажным структурирующим фактором в период брежневского консерватизма. Аналитически рантье в системе советской демократии могут быть сравнимы с консервативной аграрной аристократией времен абсолютизма — что позволяет расширить рамки применимости теории революции Теды Скочпол и использовать ее для объяснения раскола внутри правящей элиты и социально-политической динамики распада СССР³¹. Подход Скочпол позволяет лучше понять крушение государства и революционную ситуацию, положившие конец существованию Советского Союза. Три консервативные стратегии брежневского периода — престижная гонка со Штатами, смягчение внутренних противоречий путем субсидирования потребительских товаров и терпимое отношение к бюрократической неэффективности — в сумме привели к замедлению экономического роста, накоплению издержек и перенапряжению, которое советское государство едва сдерживало даже несмотря на поток нефтедолларов и авторитарное предотвращение активной оппозиции.

Неустойчивое равновесие семидесятых обернулось разорительным кризисом в следующем десятилетии не в результате каких-то военных и политических неудач и даже не из-за рейгановского «военно-кейнсианского» обострения гонки вооружений, на что обычно указывают американские советологи и (с большой гордостью) неоконсервативные идеологи. Исключительный статус сверхдержавы и идеологическая переоценка значения противоборства капитализма и госсоциализма ослепляет нас до сих пор, мешая разглядеть гомологическое соответствие дилемм советского блока с общими тенденциями политэкономической трансформации миросистемы.

Речь идет прежде всего об относящейся к началу 1980-х гг. стремительной потере достигнутых ранее позиций множеством полупериферийных государств догоняющего развития. Затруднения СССР, по трезвому размышлению, находятся вполне в русле общемирового вымирания модели импортозамещающей индустриализации, которая возникла в период депрессии и войны 1930–1940-х гг. Исчерпание модели импортозамещения впервые

³¹ Theda Skocpol, *States and Social Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

проявилось в 1979–1982 гг. в долговом кризисе таких некогда обнадёживающе растущих стран, как Югославия, Турция, Мексика и Бразилия. Соответственно, происходит резкое усиление координирующей и политико-идеологической роли Международного валютного фонда в качестве институционального механизма распространения неолиберальной ортодоксии. Изменение глобального экономического климата сопровождалось резким повышением ставок рефинансирования, собственно, и вызвавшим долговой кризис. Это было одним из непредвиденных последствий монетаристского поворота администрации Рейгана, которая в ситуации кризиса воспользовалась привилегией миросистемной гегемонии, чтобы перенаправить мировые финансовые потоки на восстановление внутреннего потребления в Соединенных Штатах³².

Рыночная глобализация восходит к мировому кризису, начавшемуся повышением цен на нефть в 1973 г. Большинство стран-экспортеров, включая СССР, оказалось не в состоянии рационально воспользоваться притоком денежной массы для долгосрочных структурных инвестиций (Норвегия представляет собой едва не единственное исключение). «Быстрые» деньги вскоре вернулись в центры миросистемы в качестве оплаты товарного импорта и спекулятивных вложений периферийных элит. Раскрутка финансового маховика затем получила ускорение от политических мер британского правительства Тэтчер и американской администрации Рейгана, что вело к дальнейшему перемещению капиталов с периферии в центры миросистемы и из теряющих привлекательность материальных инвестиций в сферу финансовых спекуляций. (Китай, заметим, пока только начинал возникать на мировых рынках.)

С учетом резкого изменения глобального экономического климата становится возможным расширить применимость причинно-следственной последовательности, которую предложила Теда Скочпол в своем объяснении классических социальных революций³³. В данном случае не проигранные войны, а мировые политэкономические сдвиги в сочетании с внутренними структурными издержками лишают правящую элиту легитимности и создают фискальные кризисы, приводящие к раздроблению господствующего класса на противоборствующие фракции, что затем открывает дорогу народным выступлениям и развалу государства.

³² См. Giovanni Arrighi, «The Social and Political Economy of Global Turbulence,» *New Left Review* 20 (March-April 2003), а также Джованни Арриги. *Адам Смит в Пекине*. М.: Издательская группа ИНОП – «Эксперт», 2009.

³³ Theda Skocpol, *States and Social Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

КОНВЕРСИИ ГОРБАЧЕВА

Слово «конверсия», имевшее большое значение в публичном дискурсе перестройки, подразумевало тогда переориентацию советской военной промышленности на мирное производство потребительских товаров. У этого латинизма есть еще два значения, которые не менее подходят к анализу горбачевской политики. Во-первых, конверсия первоначально означала обращение в иную веру. Во-вторых, на социологическом языке это конверсия одних видов капитала в другие, например, экономической прибыли в символическое потребление, или конверсия геополитической мощи в членство в экономической и политической элите мира.

За бесстрастным фасадом сверхдержавы скрывалось глубокое беспокойство правящей элиты СССР. Ставшие недавно доступными мемуары и документы номенклатуры из прежде закрытых архивов подтверждают наличие подобных настроений. Однако укоренившаяся практика цензурирования и имитации общественной вовлеченности в политические процессы лишала советский бюрократический аппарат возможности обсуждения альтернативной политики и вынуждали его действовать по инерции, нарушаемой случайным импровизированием. Внутри номенклатуры в самые «застойные» времена оставались реформаторы. В основном они принадлежали к более молодому образованному поколению, высшим управляющим ведущих областей экономики и элите КГБ, особенно из действовавших за рубежом офицеров ПГУ. Всех их объединяло прагматическое стремление к более рациональному, активному, централизованному государству. Их целью была отнюдь не демократизация — скорее, последняя была лишь инструментом в межфракционной борьбе реформаторов и консерваторов внутри элиты.

Первые попытки преодолеть бюрократическую застенелость и экономический застой семидесятых оказались, вполне ожидаемо, неосталинистскими. В краткий период своего правления в 1982–1983 гг. Юрий Андропов развернул репрессивную борьбу с коррупцией в сочетании с кампанией коммунистического морализаторства³⁴. Немедленно его усилия столкнулись с препятствиями, задолго до этого предсказанными Исааком Дойчером и Баррингто-

³⁴ Leslie Holmes, *The End of Communist Power: Anti-Corruption Campaign and Legitimation Crisis*, Oxford: Oxford University Press, 1993.

ном Муром³⁵. Бюрократия уже прочно вросла в свои позиции и могла совместно противостоять чисткам, хотя и не могла спасти наиболее коррумпированных чиновников от показательного наказания. В то же время большинство населения СССР, не слишком сочувствовавшее корыстным и косным чиновникам, тем не менее давно привыкло к нормальному существованию — гарантированной занятости, общей безопасности жизни и достигнутым уровням потребления. Такое население уже трудно было побудить на самопожертвование в новой штурмовой кампании и поддержку деспотического культа. Как бы то ни было, Андропов правил слишком недолго.

Горбачев, в прошлом считавшийся протеже Андропова, вышел из реформистского течения в советском руководстве, противопоставившего себя консервативным бюрократическим рантье. Истоками это течение уходило в ранние шестидесятые, и его представители олицетворяли габитус управленческих и интеллектуальных активистов, созданный молодыми и мобильными кадрами в экспансивный период хрущевской «оттепели». Номер два в Политбюро эпохи перестройки и вскоре главный оппонент Горбачева Егор Лигачев в своих воспоминаниях на редкость емко описывает конфликт габитусов в предполитическом группировании высших административных и промышленных руководителей Союза: «Разделение возникало как-то само по себе. Мы просто знали, кто чего стоил, кто действительно делал дело, а кто делал себе карьеру благодаря связям, лозунговщине и лестии»³⁶.

Габитус менеджеров-активистов был сосредоточен в управленческой элите стратегических предприятий, сконцентрированных на Урале и в Сибири (откуда вышли члены Политбюро Лигачев, Ельцин и глава Совмина Рыжков), а также в элите зарубежных управлений КГБ (наиболее известными примерами служат Юрий Андропов и в следующем поколении Владимир Путин). Перед лицом встающих перед СССР все более серьезных проблем эти уверенные в себе руководители, которые привыкли к напряженному трудовому распорядку, огромной ответственности, распоряжению мощными ресурсами и каждодневному разрешению масштабных проблем, чувствовали себя просто обязанными предпринять какие-то действия. И в то же время не могли иметь ясно выраженной программы.

³⁵ См. Isaac Deutscher, *Russia: What Next?* Oxford: Oxford University Press, 1953; Barington Moore, Jr., *Soviet politics – The Dilemma of Power*, New York: Harper & Row, 1965. P. 20–21.

³⁶ Лигачев Е. К. *Загадка Горбачева*. Новосибирск: Интербук, 1992. С. 20–21.

Горбачева задним умом часто называют наивным, заблуждающимся и нерешительным. Но если искушенный бюрократический манипулятор не знает, что делает, то корень проблем, наверное, заключается не в его личных ошибках, а в структурных условиях. Основная институциональная слабость советской номенклатуры была следствием ее очевидной силы. Монолитная иерархия не оставляла места открытой деятельности фракций, а следовательно, жестко ограничивала обращение необходимой информации внутри элиты и делала невозможным оспаривание политического курса³⁷. Диктатор вроде Сталина либо уже в наши дни, после распада советского государства, авторитарные президенты Ельцин и Путин могли править по старинным рецептам Макиавелли: окружать себя тайными советниками, натравливать одну бюрократическую клику на другую, неожиданно обрушиваться на провинившихся и заподозренных в измене, держать ближайшее окружение в напряжении своим загадочным молчанием либо заставить врасплох внезапными проявлениями деспотической воли к действию. Однако к концу брежневской эры среднее звено номенклатуры занимало столь прочно эшелонированные позиции, что реформаторские попытки даже внушавшего трепет Андропова вызывали в конечном счете чуть ли не ироничное отношение.

С уходом Андропова демократизация «сверху» виделась единственно жизнеспособной стратегией. Ее основным достоинством была прочная легитимность социалистическо-демократической риторики, которую Горбачев позаимствовал непосредственно из диссидентского катехизиса 1968 г. (на такое вряд ли мог решиться Андропов, служивший советским послом в Венгрии в период подавления восстания 1956 г.). Подобно Андропову, Горбачев чувствовал, что бюрократический аппарат следовало очистить и привести в повиновение, прежде чем приступить некоей системной реформе. Ранняя перестройка стала по сути «бархатной чисткой». Поощряя общественное обсуждение проблем, гласность служила двойкой цели обеспечения пропагандистской поддержки в борьбе с консервативным крылом партии, а также поощрению контролируемого спектра лояльных предложений со стороны экспертов и интеллигенции. Функционально, гласность должна была действовать подобно тому институционализированной на Западе среде аналитических центров (*think tanks*), университетских экспертов и влиятельных периодических изданий, поставляющих до-

³⁷ Первым, кто смог верно сформулировать это противоречие, был диссидент Андрей Амальрик, *Andrei Amalrik, Will the Soviet Union Survive Until 1984?* New York: Harper & Row, 1970.

статочно оформленные конкретные предложения политической элите. Гласность также способствовала поколенческой ротации номенклатуры среднего звена, обеспечивая их публичную критику и со временем соревновательные выборы. Горбачевская внутриполитическая стратегия напрямую зывала к образованным специалистам — средним слоям общества, по данным переписи 1989 г., составлявшим 28% трудоспособного населения России³⁸. Перед образованными специалистами вдруг открылась возможность перепрыгнуть через головы вросшего в служебное кресло начальства. Реформисты из правящей элиты совершенно искренне рассчитывали остаться при этом у власти, лишь пополнив и качественно улучшив свою патронажную поддержку за счет технократов и интеллектуалов. Наконец, частичная демократизация должна была послужить осознаваемой необходимости соответствовать нормам «цивилизованного мира». Горбачевская перестройка неотделима от политики активного умиротворения на западном фронте. Это было не временной дипломатической уступкой, а основной стратегической целью. Истоцив экономический и идеологический потенциал антисистемного девелопментализма, советское руководство в итоге решилось пойти на реинтеграцию в капиталистическую мировую экономику.

По всей видимости, горбачевская фракция реформаторов предполагала достичь своего рода расширенной версии разрядки и потепления середины 1970-х гг. Дело шло к *Ospolitik* в обратном направлении, в которой Москва перехватывала инициативу в торговом и культурном сближении с ФРГ и другими капиталистическими странами Западной Европы, которые виделись более предпочтительными партнерами, нежели удаленные и идейно бескомпромиссные Соединенные Штаты. В Москве ожидали восстановить и расширить экономическое сотрудничество с ведущими французскими, западногерманскими и итальянскими предпринимателями, имевшее прецедентом заключенные государством в 1960–1970-х мегаконтракты по строительству «Фиатом» автозавода в Тольяти или обмена тюменского природного газа на западногерманские технологии и товары народного потребления.

Загадка, почему же Горбачев попытался вначале провести политические реформы, а не постепенную рыночную либерализацию, и почему он затем воздерживался применить аппарат государственных репрессий для подавления национальных и революционных волнений, в основном снимается, если мы принимаем

³⁸ Marc Garcelon, *The Estate Change: The Specialist Rebellion and the Democratic Movement in Moscow, 1989–1991*, *Theory and Society* 26 (1997), p. 44.

конечной целью перестройки то, что ему виделось присоединение к капиталистическому ядру на достойных условиях. Исторический социолог Джефф Гудвин так подытоживает четыре политических условия, столь неожиданно приведших к мирной капитуляции коммунистических режимов: «горбачевский фактор» дозволенности; превалировавшее в среде образованной номенклатуры убеждение, что поражение на соревновательных выборах будет носить временный характер; отсутствие физической угрозы со стороны оппонентов и, наконец, «обуржуазивание» номенклатуры к концу 1980-х³⁹. Четыре гудвиновских фактора плюс стратегия переговоров представили элите, казалось, наименее разрушительный и выгодный переход от одного девелоппменталистского проекта к другому — от изоляционистской импортозамещающей и военизированной экономики к бюрократически регулируемому рыночному благополучию в расширенной Европе.

Стратегические цели Горбачева могут быть охарактеризованы как три конверсии. Первое — преобразование давно утратившей действенность коммунистической идеологии в расплывчато либеральные, бесконфронтационные «общечеловеческие ценности». Второй конверсией должно было стать превращение коммунистической номенклатуры в технократических менеджеров и корпоративных владельцев экономического капитала. Наконец, в-третьих, и самое главное — предлагался обмен геополитической мощи и ресурсов СССР на почетный партнерский доступ в европейскую часть ядра капиталистической миросистемы, впрочем, при сохранении особых статусных взаимоотношений с США.

Однако на субъективном уровне, вероятно, и сам Горбачев не мог допустить, что его целью было возвращение советского общества в лоно мирового капитализма. Его родители были крестьянами. Как и большинство сверстников, Горбачев вырос в атмосфере необычайной социальной мобильности и роста материального благополучия послевоенных десятилетий. Для большинства советских людей того поколения идея социализма имела непосредственную, доказанную опытом личной и коллективной траектории ценность. Выступая против брежневского застоя, они желали вовсе не построения капиталистического будущего, а возвращения к атмосфере оптимизма времен своей молодости. Более того, интуитивно они осознавали силу и ценность советского эгалитаризма. Вероятно, по этой причине Горбачев и не сумел, вернее, не предусмотрел создать механизмы управления, которые позволили бы ему

³⁹ Jeff Goodwin, *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991*. Cambridge: Cambridge University Press 2001, pp. 278–283.

в период кризиса вырুলить между упразднением старых командных структур и намечаемой институционализацией представительской демократии и капиталистического рынка. Проблема заключается не только в том, что Горбачев действовал без подробного плана, интуитивно импровизируя на ходу. Габитус коммунистов-реформаторов не позволял «горбачевцам» рационально осмысливать последствия их собственных устремлений. Вот в чем заключалось трагическое противоречие.

Какими бы ни были социальные ограничители в головах Горбачева и его последователей, надо признать, учились они довольно быстро. Но время в периоды революций бежит еще быстрее. Стратегические уступки Горбачева Западу были не столько наивными, сколько отчаянно поспешными. То же самое отчаянное желание быть приглашенным в «клуб» либерального Запада объясняет загадочную нерешительность в применении репрессивного аппарата государства для подавления революционных выступлений 1989 г. в Восточной Европе. Советское руководство ожидало реинтеграции в капиталистическую мировую экономику на почетных условиях, в качестве равного, и эта надежда наилучшим образом выражена в типично горбачевских призывах к интеграции в «общеевропейский дом». Впрочем, достигнутый в ходе XX в. статус сверхдержавы не позволял ничего меньшего.

ГЛАВА 4

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

«Капитализм – это общественный строй, основанный на эксплуатации человека человеком. Социализм является его полной противоположностью».

Из восточноевропейского фольклора конца XX в.

Прервем наш хронологический экскурс в историю советского периода, поскольку нам уже давно пора сориентироваться на социологической карте. Данная глава носит более аналитическо-классификационный характер. Прежде чем с головой нырнуть в эмпирический хаос революционной ситуации, которая привела к непреднамеренному развалу СССР, требуется получить, по крайней мере, импрессионистическое понимание социальной структуры, выросшей из советской индустриализации. Таким образом, мы приобретем понимание относительной таксономии советского общества и увидим, как основные группы, классы и нации сошлись в перестроечной схватке – или не смогли этого сделать. Это поможет нам в дальнейшем отследить конструирование общегрупповых интересов, политической повестки дня, возникновение противоборствующих альянсов и линий конфронтации, а также превалирующих форм самовыражения до и после революционных событий 1989–1991 гг.

Одно из очевидных препятствий в понимании государственного социализма – наборы стереотипов, созданные пропагандистскими машинами по обе стороны водораздела «холодной войны». Это и доходящие до карикатурности образы официальной апологетики «реального социализма», и разнообразная диссидентская критика, выворачивающая апологетику наизнанку. Но если бы проблема состояла лишь в преодолении идеологем! Дальше картина становится еще более запутанной, поскольку в самой научной среде унаследованные от XIX в. и оттого классические либеральные и марксистские подходы к изучению стратификации современных обществ именно в последние годы подверглись критике сразу с нескольких разных направлений, от постмодернистского со-

мнения в достоверности любых схем и категорий до формалистического экономистического сциентизма и математизированного статистического ультраэмпиризма¹. Прежде всего в центре теоретических сомнений и дебатов оказались пути, которыми объективно заданные структурные позиции общественных классов и статусных групп (само существование которых по различным причинам признается сегодня далеко не всеми) переходят в субъектное осознание идентичности и вытекающие из этого согласованные политические действия². Иными словами, вопрос заключается в том, каким образом классы и нации могут возникать в качестве коллективных общественных учреждений. Мы переживаем период интеллектуальных и политических преобразований, исход которых до сих пор неясен.

Что же делать? Нам все же нужна своего рода аналитическая карта, чтобы осмыслить содержание предыдущих глав и (что не менее важно) суметь разобраться в главах, которые еще предстоит прочесть. Я предлагаю в качестве временной меры использовать схемы, нарисованные по образцу ранних океанских лоций португальцев и испанцев времен Великих географических открытий. Навигаторы прежних времен полагались на неизбежно грубые измерения, а в основном на интуицию, поверяемую опытом, и трезвый расчет. Несмотря на многие опасности, лоции-портоланы все же приводили иберийских мореплавателей к цели, хотя порой

¹ Представление о разбросе позиций в текущих дебатах о классовом анализе дает симпозиум на страницах «Американского социологического журнала». См. Aage Sørensen, Erik Olin Wright, John Goldthorpe, Dietrich Rueschmeyer and James Mahoney, «Symposium on Class Analysis», *American Journal of Sociology*, vol. 105, no. 6 (2000). Свой более дюркгеймовско-веберинский подход к анализу социального неравенства также предлагает Randall Collins, «Situational Stratification: A Micro-Macro Theory of Inequality», *Sociological Theory* 18 (2000). Наиболее полная версия немарксистского исторического исследования совместного становления классов и наций в эпоху Нового времени дана Майклом Манном во втором томе его известного труда: Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

² Еще одним хорошим примером альтернативных постмарксистских мнений по данной проблематике является сборник под ред. George Steinmetz, *State/Culture: State Formation After the Cultural Turn*. Ithaca NY: Cornell University Press, 1999. Концентрированным выражением критики с позиций «третьего поколения» исторической социологии служит увесистый том под ред. Julia Adams, Elizabeth Clemens, and Ann Shola Orloff, *Remaking Modernity: Politics, History and Sociology*, Durham: Duke University Press, 2004.

и случалось в поисках Китая открывать Америки. Остается отважно молиться, чтобы и наши карты не занесли нас на рифы, но вывели бы на океанский простор...

НЕУЖЕЛИ ОПЯТЬ КЛАССОВЫЙ АНАЛИЗ?

Социальная структура обществ советского типа была крайне мистифицирована господствовавшими в период «холодной войны» идеологиями и прямой цензурой со стороны коммунистической бюрократии. Если сейчас она стала более различимой нашему взгляду, так это, вероятно, потому, что рассыпалась, по меньшей мере, одна из стен, закрывавших обзор нашим предшественникам. Для людей, на себе испытывавших реалии жизни в условиях государственного социализма и осмеливавшихся поинтересоваться, к какому, собственно, классу принадлежат товарищ Сталин и его соратники, вопрос представлял не только сложную интеллектуальную проблему, но и напрямую угрожал карьере и даже самой жизни. И тем не менее подобные вопросы ставились снова и снова.

Впервые некоторые из наиболее важных подходов были намечены социологами из Польши, Венгрии и Югославии (последняя заслуживает особого упоминания потому, что кровопролитный развал СФРЮ затмил наследие некогда бившей ключом интеллектуальной жизни в стране, стоявшей особняком от государств социалистического блока). Венгрия и Польша сохраняли традиции социальной мысли, корнями уходящие в блестящее интеллектуальное прошлое Вены, Кракова, Лемберга (Львова) и Будапешта кануна Первой мировой войны. Большинство лучших социологических выкладок по государственному социализму и постсоциалистическому преобразованию заслуженно сфокусировано именно на исследовании венгерского и польского опыта. Данная глава черпает вдохновение из работ центральноевропейских социологов, прежде всего Ивана Селеньи и сотрудничавших с ним исследователей. Следовать по стопам Селеньи не так-то просто. С течением лет его теории приобретали различные очертания и распространялись в разных направлениях³. Впрочем, этого следует ожидать в подлинно научном поиске,

³ Начиная с некогда знаменитого подпольного памфлета George Konrad and Iván Szélenyi, *The Intellectuals on the Road to Class Power*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979; затем уже в эмиграции создаются такие знаковые и все еще неомарксистские работы, как: Iván Szélenyi, *The Intelligentsia in the Class Structure of State-Socialist Societies*, in Michael Burawoy and Theda Skocpol (eds), *Marxist Inquiries*, supplement to the *American Journal of Sociology*, vol. 88 (1982) а также Iván Szélenyi with Robert Manchin et al. 1988. *Socialist Entrepreneurs*:

развивавшемся в течение совершенно различных эпох и на разных континентах. Последние работы Селеньи служат прототипом для предлагаемого описания советской социальной структуры. Отличие моего наброска заключается в понижении степени важности и самостоятельности интеллектуалов (неизменно занимающих центральное место в анализе венгерского общества у Селеньи) и введении целого класса субпролетариев. Оговорюсь, что это не является проявлением фундаментального теоретического несогласия относительно принципов социальной стратификации или конфигурации классов при государственном социализме. Эти усовершенствования видятся необходимыми для осуществления одной частной задачи — описания советского общества и его кавказской разновидности. Вдобавок точных численных данных по описываемым в данной главе социальным группам также не будет, поскольку достоверной статистической информации очень немного. Что поделать, наше каменистое горное поле никогда не вспахивалось столь глубоко и тщательно, как нивы Венгрии.

Особенно важно у Селеньи изобретательное сочетание унаследованной из марксистской традиции категории класса с поправкой на дифференциацию социального капитала в духе Пьера Бурдьё.⁴ Такое сочетание открывает перед нами совершенно необычную и продуктивную перспективу. В отличие от Гила Эяла, Ивана Селеньи и Элеоноры Таунсли, мы ради промежуточно-временной простоты обойдем стороной долгий спор между марксистами и вебрианцами относительно различий между элитами, статусными группами и классами. Подобный маневр может быть также оправдан простыми и вполне убедительными теоретическими доводами Джованни Арриги, Теренса Хопкинса и Иммануила Валлерстайна именно по этой противоречивой концептуальной проблеме⁵. Вкратце: трио основателей миросистемного анализа считает ложным и в основном производным от конкуренции идеологий и на-

Embourgeoisement in Rural Hungary. Madison: University of Wisconsin Press. Основной работой постсоциалистического периода является Gil Eyal, Iván Szélenyi, and Eleanor Townsley, *Making Capitalism without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Postcommunist Central Europe*, London: Verso, 1998.

⁴ См. chapter one, «Classes and Elites in the Changing Structures of Twentieth-century Central European Societies,» in Gil Eyal, Iván Szélenyi and Eleanor Townsley, *Making Capitalism without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Postcommunist Central Europe*, London: Verso, 1998.

⁵ Giovanni Arrighi, Terence Hopkins, and Immanuel Wallerstein, «Rethinking the Concepts of Class and Status-Group in a World-System Perspective,» in: *Antisystemic Movements*. London: Verso, 1998.

учных школ, а не историко-логических противоречий, взаимоисключающего противопоставление классов и статусных групп (т.е. сословий, каст, религиозных конфессий, наций и рас, возрастных классов и полов). Данные категории на самом деле рядоположены и в реальной исторической практике социальной стратификации перетекают друг в друга. Неизбежно огрубляя, в порядке иллюстрации можно напомнить марксову диалектику «классов в себе» и «для себя». Идеологически осознанный и политически оформленный класс приближается к статусной группе, что хорошо видно на примере известных исследований английского пролетариата XIX в. Эдварда Томпсона и Крэга Калхуна⁶. Более того, классы могут становиться нациями — подобно ситуации, созданной расовым режимом апартхеида в ЮАР. С веберовских позиций к тому же заключению приходит Майкл Манн, показывающий, как коллективные идентичности высших (и долгое время лишь высших) классов и сословий европейских абсолютистских монархий приобретали национальное идеологическое звучание в Англии, Франции, Польше, Венгрии, Швеции. Кстати, по-своему это прекрасно понимал и русский религиозный мыслитель и историк Георгий Федотов, писавший, что петровские реформы разделили страну на вестернизированную русскую нацию дворян и оставшийся глубоко «московским» русский народ⁷.

Разумеется, классы остаются крайне широкими категориями и потому должны рассматриваться эвристично (*heuristicly*), т.е. в соотношении с предметом теоретизирования. В то же время в современных обществах классы являются достаточно плотно и четко ограниченными концентрациями, границы между ними могут быть эмпирически выявлены на основе различий в складывании семейных (точнее, домохозяйственных) доходов. Виды извлекаемых доходов отражают положение домохозяйств (*household*) по отношению к потокам власти и благ, которые, в свою очередь, преобразовываются в наборы типичных для каждого класса социальных стратегий и диспозиционных установок. Выражаясь афористично, каковы способы добывания средств к существованию — таковы и нравы.

Пьер Бурдьё в своем стремлении преодолеть схематизм и механистическую предопределенность прежних форм чисто структурного анализа и вместо этого выявить активное (но, необходимо

⁶ E. P. Thompson, *The Making of the English Working Class*. London: Gollancz, 1963; Oxford: Oxford University Press, 1964; Craig Calhoun, *The Question of Class Struggle: Social Foundations of Popular Radicalism during the Industrial Revolution*. Oxford: Blackwell, 1982.

⁷ Федотов Г. *Россия, Европа и мы*. Париж: YMCA-Press, 1973.

оговориться, вовсе не обязательно рациональное и осознанно целеполагающее!) стратегическое поведение социализованных индивидов, выдвинул категории габитуса и социального капитала. Подобно всем теоретическим нововведениям, категория социального капитала вызвала массу споров и противоречивых комментариев⁸. Тем не менее теоретический инструментарий Бурдьё предоставляет нам практичную и важную коррективу к экономическому критерию стратификации и помогает прояснить динамику позиционирования и стратегий, осуществляемых людьми, принадлежащими к различным классам и статусным группам. Прежде всего это позволяет избежать априорных суждений о классовых либо национальных интересах в различных исторических ситуациях. Кроме того, категория социального капитала служит хорошим инструментом для выделения интеллектуалов из общей массы образованных специалистов, причем не впадая в обычные нормативные суждения относительно особого характера и предназначения интеллигенции.

Как известно, Бурдьё всячески избегал прямого постулирования и завершеного объяснения различным видам того, что можно обобщить под рубрикой социального капитала, хотя в его собственном употреблении данный термин становится вполне понятен. Нам же здесь остается, придерживаясь принципа промежуточно-временной простоты, обратиться к предложенному Иммануилом Валлерстайном простому и прагматичному определению: социальный капитал есть способ, которым люди накапливают и сохраняют для будущего использования свои успехи и преимущества⁹. Урожай с поля, сада или огорода складировается в амбарах, засушивается или закатывает-

⁸ Интересная дискуссионная интерпретация предлагается Michele Lamont and Annette Lareau, *Social Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments*, *Sociological Theory*, vol. 6 (Fall 1988), pp. 153–168. Авторитетную формулировку дает Alejandro Portes, *Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology*, *Annual Review of Sociology* 24 (1998), pp. 1–24. Критическим контрапунктом служит обзор Stephen Samuel Smith and Jessica Kulynych, *It May Be Social, But Why Is It Capital?* *Politics and Society*, vol. 30, no. 1, pp. 149–186.

⁹ Никакой публикации на сей счет не процитируешь. Иммануил Валлерстайн сходу предложил (и, как позднее выяснилось, сам тут же забыл) это объяснение в ходе личного разговора, отвечая на мои тогда вполне советские консервативные сомнения в модном новшестве социального капитала (11 ноября 1994 г.). Валлерстайн охотно согласился, что по вопросу социального капитала он совершенно сходится во мнении с Пьером Бурдьё; разница лишь в основном фокусе исследований и стилистике. Уже в более шуточной манере Валлерстайн добавил: «В Париже принято изъясняться дискурсами, и совсем другое дело, как делают дела у нас в Нью-Йорке – прагматично».

ся в банки на зиму. Точно так же экономические прибыли от удачно проведенной рыночной операции превращаются в деньги и подобные активы, которые инвестируются в следующие рыночные операции. Это, собственно, и является «капиталистическим капиталом» в традиционном понимании. Каков добываемый в данном виде деятельности капитал — такова и форма его сохранения.

Феодалам прежних времен традиционно важны были навыки воинской доблести и придворного политеса, подчеркнута аристократической богобоязненности и благотворительности, понятия фамильной чести, династического родства, титулов, вассальных обязательств и привилегий. Властвующие элиты на современной партийно-демократической арене собирают политические должности, базы электоральной поддержки, удачные лозунги и фигуры публичной речи, упражняются в искусстве закулисных компромиссов, одновременно сообщая и во многом по умолчанию отсекая внесистемных претендентов на политическую власть. Бюрократы накапливают административный капитал в форме кабинетных продвижений, патронажных связей и доступных лишь посвященным «инсайдерских» аппаратных знаний. Деятели науки и искусств, как правило, в острой конкуренции добывают соответствующие их занятиям и образу поведения социальные навыки, а также символический престиж, реноме, кафедры и дипломы, связи с однокашниками, наставниками, единомышленниками, доступ к средствам интеллектуального производства и распространения его продуктов. Социальный капитал, однако, не есть исключительная привилегия различных элит. Правомерно выделять также профессиональный капитал рабочих, выраженный в их трудовых навыках, особой ремесленной репутации («золотые руки»), коллективных правах и цеховой солидарности. Наконец, для нашего анализа этнических конфликтов очень важен социальный капитал маргинальных субпролетарских слоев, выраженный, к примеру, в специфических навыках «уличной сноровки», стойкости и агрессивности в драках и иных конфронтационных ситуациях, способности к мобилизации дружеских, соседских и большесемейных сетей взаимной поддержки, усвоении и навыке использования неформальных кодексов поведения, нередко задействуемых во избежание проблем с государственным законом.

АНТИСИСТЕМНОЕ ДОГОНЯЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ

Типичной ловушкой, пускавшей по замкнутому кругу множество попыток проанализировать общества советского типа, было их рассмотрение в качестве отдельной «системы социализма», в отрыве

от остального мира. Это предполагало соотнесение с нормативными идеологическими стандартами того или иного рода. Скажем, левацкие интеллектуалы Запада считали, что советское общество не оправдало их ожиданий в области социалистической эмансипации, тогда как представители противоположного края политического спектра в годы «холодной войны» навешивали на СССР ярлык тоталитарного и изначально извращенного государства, основанного на краже собственности. Однако понять советский строй изолированно от породившего и сформировавшего его мира XX в. невозможно.

После 1914 г. чуть было не закончившееся системным коллапсом взаимоуничтожение европейских держав внезапно позволило обрести долю власти многим и самым различным ранее сдерживаемым социальным группам и движениям. Взрыв в самом ядре миросистемы стал предусловием для прокатившихся по всей миросистеме волн революций, восстаний, переворотов, партизанских войн и деколонизаций, достигших в течение последующих десятилетий самых отдаленных уголков земного шара. В октябре 1917 г. большевики, которые тогда были не более чем подпольной и эмигрантской партией радикальной интеллигенции и вedomых рабочих активистов, продемонстрировали всему остальному миру, как именно следует захватывать и удерживать государственную власть в периоды военных неудач и сумятицы в правящем аппарате. Оказавшись у руля, большевики решительнейшим образом перешли к осуществлению практических шагов, которые позволили им избежать участи парижских коммунаров. Победа была достигнута путем построения обширной, в первые годы изобретательной и идеологически вдохновляющей революционной диктатуры. По изобретательному определению Стивена Хэнсона, большевики сумели стать тем, что не смог бы представить и сам Макс Вебер, — харизматической бюрократией, отрицавшей не в теории, но на практике противоречие между понятиями утопии и планового развития¹⁰. Диктаторский аппарат большевистского партийного государства был затем задействован для совершения следующего подвига: стремительного преобразования преимущественно аграрной и многонациональной страны в централизованную военно-индустриальную сверхдержаву. Индустриализация СССР приобрела откровенно военный характер в первую очередь по геополитическим причинам. Чтобы удержать власть и заставить с собой считаться в мировых делах, советское государство должно

¹⁰ Stephen Hanson, *Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions*, Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997, p. 19.

было создать мощный современный аппарат устрашения и принуждения.

Принуждение стало центральной составляющей советской модели индустриальной революции. С 1905-го и до начала 1950-х гг. страна прошла через апокалиптическую эпоху насилия, наивысшими точками которого были Гражданская война, коллективизация крестьянства, чистки, репрессии и этнические депортации 1930–1940-х гг. и, разумеется, Великая Отечественная война. Полувековая серия потрясений практически стерла присущее старому режиму сегментарное многообразие социальных статусов, титулов, классов и религиозных конфессий. В итоге не осталось ни землевладельцев, ни знати, ни капиталистов, ни мелкой буржуазии, ни независимого среднего сословия «буржуазных» специалистов. Были расформированы и лишь частично реинтегрированы на советской службе под бдительным надзором комиссаров прежний корпус офицерства и чиновничества, духовенство, а также некогда составлявшая особую гордость автономная интеллигенция. Более того, вопреки идеологическим заявлениям советского режима, не сохранился ни прежний городской пролетариат, ни даже крестьянство. Социальная иерархия оказалась сведена к полузакрытой командной касте кадровых партийных бюрократов и новосозданной массе зависимых от государства работников, получавших ту или иную долю государственного пайка в зависимости от формально определенного ранга: от функционально необходимых и потому относительно обласканных спецов и деятелей культуры и науки до сельских и городских работников элементарного физического труда и вплоть до узников лагерей. Недавние работы социальных историков выявляют не только фантазмагоричную, но и фантастически неустойчивую социальную структуру тех лет¹¹. Однако геополитическое достижение налицо. Всего за одно поколение Советский Союз стал гигантски централизованным военно-индустриальным конвейерным предприятием в подражание символизировавшим технический и организационный прогресс нового века заводам Форда¹².

¹¹ См. представляющий широкий спектр подходов и мнений сборник под ред. William Rosenberg and Lewis H. Siegelbaum, *Social Dimensions of Soviet Industrialization*. Bloomington: Indiana University Press, 1993.

¹² Alain Lipietz, *Mirages and Miracles: The Crises of Global Fordism*. London: Verso, 1987; James Scott, *Seeing Like a State: How Certain Projects of Improving Humanity Have Failed*. New Haven: Yale University Press, 1998. (Русский перевод: Скотт Д. *Благуми намерениями государства: Как провалились некоторые проекты улучшения человечества*. М., 2005.)

Тем не менее одно лишь утрашение и принуждение не может объяснить глубоко преобразовательное воздействие сталинского рывка. Для нас тут кроется главная моральная дилемма, разрешить которую едва ли под силу социологу. И все-таки социология кое-что проясняет. Строительство новых городов, вооруженных сил, заводов и целых отраслей промышленности, колоссальный рост государственной бюрократии и системы образования в совокупности создавали новые рабочие места, профессии и уклады жизни. Вышедшее из гражданской и мировой войны коммунистическое государство стало беспощадным и неукротимым пролетаризатором, в силу чего оно же оказалось просто обязано стать также и патерналистским покровителем по отношению к своим пролетариям.

Это было не столько результатом марксистско-ленинской идеологии, сколько дальнейшим последствием тех же структурных причин, заставлявших Бисмарка и его последователей систематически расширять сферу образования и социальных услуг в кайзеровской Германии времен ее собственного военно-индустриального рывка. Быстро индустриализовавшаяся страна нуждалась в ученых, инженерах и квалифицированных рабочих, которых (в отличие от исключительно удачливой Америки) невозможно было импортировать из-за рубежа. Следовательно, наука и техническое образование становились государственным приоритетом. Пожизненный найм, которым так славились индустриальные модели Германии и подражавшей ей Японии, есть вполне предсказуемая стратегия распоряжения квалифицированными трудовыми ресурсами при их относительном дефиците и особенно в стратегических секторах¹³. Далее — рабочих следовало оградить от радикальных политических идей путем сочетания террора и предоставления государством основных видов социального обеспечения. В лишенной безработицы закрытой меркантилистской экономике политическим и экономическим управленцам оставалось выработать альтернативный набор стимулов, санкций и ритуалов взаимодействия, чтобы закрепить ощущение патерналистической общности и поощрить трудовую дисциплину. Не менее важным было поддержа-

¹³ О социально-психологических условиях преданности работников своим фирмам — либо государствам, выступающим в качестве мегафирмы, — см. знаменитое эссе эксперта по экономикам ускоренного развития Альберта Хиршмана: Albert Hirschman, *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge: Harvard University Press, 1970. Также показателен сборник под ред. Meredith Woo-Cumings (ed.) *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press, 1999.

ние здоровья и патриотических настроений в среде рабочего класса, где мужчины выступали еще и военнообязанными, а женщины, помимо необходимой вспомогательной и резервной рабочей силы, рассматривались также в качестве матерей будущих солдат. Отсюда всеобщее бесплатное здравоохранение, детские сады и школы с неперенным патриотическим воспитанием¹⁴.

Победа во Второй мировой войне стала несомненным и политически главнейшим подтверждением жизнеспособности советского государства. Вопреки распространенному заблуждению, советское военное руководство никогда бы не смогло одолеть такую совершенную военную машину, как германский Вермахт, лишь завалив противника миллионами тел советских солдат. Подобная победа была невообразима без весьма значительного научно-промышленного потенциала, задействованного для разработки и массового производства современных вооружений. Статистические данные по выпуску советской промышленностью вооружения и военной техники в 1941–1945 гг. напрямую связаны с победами на полях сражений. Например, прокат стали в СССР после колоссальных потерь первого года войны сравнялся с германскими показателями приблизительно к середине битвы за Сталинград, а затем советская промышленность стала устойчиво и быстро расти, оставив позади объемы производства Третьего рейха¹⁵. Быстрый рост продолжался примерно до середины шестидесятых. К тому времени Советский Союз стал притягательным образцом для освободительных движений Третьего мира, пришедших ко власти в десятках независимых государств на периферии.

Тогда подобное индустриальное преобразование проходило под красивыми именами модернизации и национального развития. По сути, это означало рационально спланированный рывок к обретению современной промышленной базы, инфраструктуры, образовательных учреждений (преимущественно в прикладных и технических областях), а также соответствующих общественных структур в отсталых и бедных странах вне пределов западного мира¹⁶.

¹⁴ George Steinmetz, *Regulating the Social: The Welfare, State and Local Politics in Imperial Germany*, Princeton: Princeton University Press, 1993.

¹⁵ Владимир Викторович Попов со своей неизменной готовностью и щедростью поделился этими данными. См. также Vladimir Popov and Nikolai Shmelev, *The Turning Point: Revitalizing the Soviet Economy*. London: I. B. Tauris, 1990.

¹⁶ Общераспространенность подобного технократического прогрессизма в 1910–1960-х гг. (предшествовавшего практике советского социализма) была наглядно продемонстрирована в докладе Марты Лампланд на ежегодном собрании Американской Социологической Ассоциации в 2002 г. в Чикаго Martha Lam-

Их конечной целью было сравняться с достижениями развитых капиталистических стран и затем превзойти их — знаменитое ленинское «догнать и перегнать» и задиристое хрущевское обещание «мы вас похороним».

Современный бюрократический аппарат воспринимался и приветствовался в качестве ключевого проводника национального развития, а сама идея была обобщена в концепции «государства догоняющего развития». Однако в основном в силу поляризованного противостояния «холодной войны» между капитализмом и социализмом в научном обращении эта концепция приобрела слишком узкое значение. «Девелопментализмом» называли только несоциалистический национальный меркантилизм в государствах вроде Бразилии, насеровского Египта или Индии. Но даже со всеми допущениями, модель такого рода не вписывалась в рамки двоичной идеологической формулы «рынок или план». Особенно наглядно, насколько ни традиционные марксисты, ни их противники из стана неоклассических рыночных экономистов оказались неспособны объяснить поразительный успех бюрократической авторитарной индустриализации в Японии и Южной Корее¹⁷. Сегодня, когда мы обладаем более свободным и четким видением событий XX в., обсуждение государства догоняющего развития в терминах идеальных типов и в единственном числе представляется уже совершенно негодным анахронизмом. Стоит задуматься над подлинным разнообразием подобных стран, внешне столь несхожих в плане идеологии и политического курса, однако объединенных общей государственнической стратегией достижения уровня ведущих индустриальных держав.

То, что оказалось построено большевиками, было провозглашено социализмом в первую очередь, конечно, в силу их собственной антикапиталистической идеологии. Но в еще большей степе-

pland, «Developing a Rational Economy: The Transition to Stalinism in Hungary. Корейский экономист Чжан Ха-Джун (Chang Ha-Joon), китайский культуролог Бао Гай (Bao Gai) и индийский социолог Вивек Чиббер (Vivek Chibber) со своей стороны показывают со множеством ранее старательно затушеванных деталей и неожиданных подспудных связей, насколько сильно было влияние марксизма и советского примера индустриализации на модернизаторские элиты Японии, Тайваня и Южной Кореи. У генералиссимуса Чан Кай-ши сын и наследник учился в Москве, откуда привез русскую жену, а будущего южнокорейского диктатора Пак Чжон Хи в 1946 г. чуть не расстреляли по подозрению в принадлежности к заговору левых офицеров.

¹⁷ Одной из основных работ здесь является Peter Evans, *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton: Princeton University Press, 1995.

ни потому, что революционная диктатура экспроприировала экономические активы у действительно «ликвидированных как класс» частнокапиталистических эксплуататоров и вообще всех обладавших собственностью классов включая крестьянство и кустарных ремесленников¹⁸. Однако сама модель антисистемного догоняющего развития путем экспроприаторской централизации и деспотически концентрированного применения наличных ресурсов в индустриальных и престижно–геополитических целях государства вдохновила множество амбициозных правителей XX в. и вызвала многочисленные попытки подражания, не доходившие, однако, до перенимания советской идеологии. Валлерстайн остроумно назвал этот спектр стратегий «ленинизмом с марксизмом или без»¹⁹.

Национально-освободительные движения в бывших колониальных странах возглавляли более или менее аналогичные большевикам представители местной интеллигенции плюс военные и бюрократические модернизаторы. Отметим, что буржуазия, которой некогда приписывалась такая значительная роль в современных «буржуазных» революциях, на самом деле, как показывают конкретно-эмпирические исследования, почти всегда оказывалась намного осторожнее или попросту слишком замкнутой на своих непосредственных сегментарных интересах и частных стратегиях.²⁰ Националистические движения модернизаторов во власти отличались от социалистических модернизаторов не вектором политического курса, а в основном тем, как далеко они были институционально способны и морально готовы зайти в движении по вектору экспроприаций ради индустриализации. И социалистическая, и национально-освободительная стратегии ускоренного индустриального развития ставили целью быстрое достижение уровня стран капиталистического ядра миросистемы. В обоих случаях их средства в корне отличались от англо-американского либерального видения, предполагавшего двигателем прогресса свободный рынок при минимальном вмешательстве государства. Начиная с Советской России все революционные и «новоосвободившиеся» государства догоняющего развития копировали практику меркантилистской экономики с ее акцентом на принуждении и устрашении – ярчайшим прототипом которой, в свою очередь, служила

¹⁸ Barrington Moore Jr., *Soviet Politics – The Dilemma of Power*. New York: Harper & Row, 2nd edn, 1965 (с 1950).

¹⁹ Immanuel Wallerstein, «Marxism, Marxism-Leninism, and the Socialist Experiences in World-System», in: *After Liberalism*. New York: New Press, 1995.

²⁰ Vivek Chibber, *Locked in Place*. Princeton: Princeton University Press, 2004.

кайзеровская Германия²¹. Когда Муссолини — диктатор догоняющего развития фашистского толка — обещал, что при нем поезда будут ходить точно по расписанию, это четко выражало стремление сделать из Италии «Пруссию Средиземноморья»²².

Разница между социалистическими и национально-освободительными революциями XX в. (в широком понимании революций Чарльза Тилли, т.е. захвата государственной власти путем внесистемной протестной мобилизации) в основном заключалась в степени экспроприации ресурсов государством, которая в свой черед определялась классовым составом, взглядами и административными способностями революционной элиты. Называвшиеся социалистическими революции приводили ко власти преимущественно неимущую радикальную интеллигенцию, которая затем экспроприировала («обобществляла» или «коллективизировала») экономические средства вплоть до крестьянских наделов. Обычно мы можем обнаружить такие условия в подобных России или Китаю больших полупериферийных аграрных странах, обладающих давними традициями имперского бюрократического правления и одновременно духовного неприятия «пороков» правителей, высокой культурной самооценкой и историей конфронтации с западными империалистическими державами. Заметим, что к тому же классу старинных аграрных империй, пришедших в упадок в результате столкновений с западным капитализмом, также относятся Турция, Индия, Иран, Вьетнам и даже Эфиопия. Все они в XX в. испытали в той или иной форме мощнейшие революционные мобилизации и захваты власти. Национальные революции в бывших колониальных или полуколониальных странах предполагали более широкий и аморфный союз патриотической интеллигенции, функционеров среднего уровня, офицерства и лишь в редких случаях некоторых из местных капиталистов. Оказавшись у руля государства, подобные союзы экспроприировали («национализировали») имущество отдельных избранных групп, членов которых наци-

²¹ Bruce Cumings, «Webs with No Spiders, Spiders with No Webs: The Genealogy of the Developmental State, in Meredith Woo-Cumings (ed.), *The Developmental State*, Ithaca: Cornell University Press, 1999.

²² Итальянский и другие авторитарные режимы средиземноморского региона в период между двумя Мировыми войнами хорошо представлены в сборнике под редакцией Giovanni Arrighi, *Semiperipheral Development: The Politics of Southern Europe in Twentieth Century*, Beverly Hills: Sage Publications, 1985. Отдельную благодарность выражаю моему коллеге Вольфраму Лачу за его замечания по экономической политике, проводившейся нацистами в оккупированной Восточной Европе.

ональные революционеры считали чужаками или реакционерами: иностранных капиталистов, компрадоров, нежелательных этнических меньшинств, духовенства, землевладельцев, однако останавливались перед экспроприацией крестьянства и «национальной», в основном мелкой, буржуазии²³.

Советский пример на такой обобщенной шкале приближается к пределу экспроприационных возможностей и длительности государства догоняющего развития. При достаточно последовательном, жестоким и длительном проведении такой стратегии в обществе должно остаться всего два больших противостоящих друг другу класса — конечно, велика ирония, что именно это предсказывал Маркс, только в отношении индустриального капитализма, а не военно-индустриального социализма. Впрочем, даже в случае завершенного сталинизма подобная «тоталитарная» ситуация остается лишь абстракцией. На деле внутри двух классов остаются разделительные линии национальности, землячества, возраста, пола, а также относительного обладания социальным капиталом в зависимости в большей степени от уровня образования.

Правящий класс в обществах советского типа состоял из назначаемых Центром бюрократических руководителей, которые обладали исключительной прерогативой принятия политических и управленческих решений — включая вопросы собственного благосостояния. Большинство граждан государства представляли пролетаризированные (живущие на зарплату) рабочие, специалисты и интеллектуалы, включенные в государственные иерархии планового производства и распределения. В то же время (и об этом нам предстоит говорить особо) присутствовали рудиментарные категории тех, кто по тем или иным причинам оказался не полностью включенным в государственные индустриальные иерархии либо был из них исключен в качестве репрессивной меры или сам вышел во внутренние полости и «пазухи» системы. Таким маргиналам оставалось жить на доходы от домашнего или приусадебного хозяйства, сезонной миграции (в просторечье именуемой шабашкой) или от участия в различных сетях «народной», «неформальной» или «спекулянтской» экономики. В анализе государственного социализма этот подкласс или побочный класс зачастую оказывается обойденным вниманием. Однако в менее индустриализованных регионах бывшего СССР он являлся достаточно или даже весьма многочисленным и по воле случая мог сыграть значительную

²³ Подробнее см. Georgi Derlugian, «The Capitalist World-System and Socialism, in Alexander Motyl (ed.), *Encyclopedia of Nationalism, Vol.1, Fundamental Issues*. New York: Academic Press, 2001.

роль в политике посткоммунистического периода, особенно в этнических конфликтах.

Если взять мерилом материальное неравенство, то впечатление о полярном расслоении властей и остального населения СССР оказываются эмпирически неподкрепленным. Даже в сталинском имперском зените 1940-х, ознаменовавшем наивысший уровень расслоения общества, неравенство в личных средствах было гораздо менее выраженным, нежели в современных Соединенных Штатах, и, разумеется, куда меньшим, нежели вопиющее имущественное неравенство аграрно-принудительной системы времен царизма²⁴. Разумеется, это не устраняло крайне неудобного вопроса о том, кто же в действительности владел огромными средствами, накопленными СССР.²⁵ При жизни Советского Союза этот вопрос оставался скорее теоретическим. Однако стоит нам преодолеть современное политическое предубеждение полного пренебрежения социалистическим прошлым и взамен посмотреть на 1990-е как на продолжение структурных тенденций, зародившихся в последние десятилетия советской власти, как выясняется, что современная олигархическая приватизация имущества бывшего СССР является прямым следствием неравенства между бюрократическим управленческим классом и всем остальным обществом в обладании политической властью и практическим доступом к распорядительным механизмам. После 1991 г. это прежде потенциальное и достаточно абстрактное неравенство обернулось катастрофической неспособностью советских рабочих и служащих совместно предъявить права на государственное имущество. Для того чтобы понять произошедшее, нам необходимо рассмотреть общественные структуры, которые восходят к советской индустриализации. Несмотря на крушение коммунистической идеологии, по большому счету, сегодня продолжает существовать та же структура и центральным ее стержнем остается, как ни крути, деспотическое бюрократизированное государство.

ПРАВЯЩИЙ КЛАСС ГОСУДАРСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Класс советских руководителей берет свое название «номенклатура» из постановления ЦК большевиков 1919 г., оставившего за собой право назначения по списку (иначе — номенклатуре) ключе-

²⁴ David Lane, *The End of Social Inequality? Class, Status and Power under State Socialism*. London: George Allen & Unwin, 1982.

²⁵ Vadim Radaev and Ovsey Shkaratan, Etacratism: Power and Property — Evidence from the Soviet Experience, *International Sociology*, vol. 7, no. 3 (September 1992), pp. 301–316.

вых постов во всех органах, от войсковых штабов до банков, заводов и редакций газет²⁶. Механизм номенклатурного назначения находился в самой основе советской государственной централизации. Именно благодаря ему вошли в жизнь советского общества поливалентные бюрократические руководители, которые могли переходить из директоров заводов на должности глав областных исполкомов или органов партии, госбезопасности, или же университетов. После развала СССР *де-факто* номенклатурные назначения остались механизмом бюрократического патронажа.

Несмотря на распространенное политическое предубеждение, номенклатура не является исключительным учреждением, встретить которое можно лишь в обществах «советского» или «тоталитарного» типа. Советские номенклатурные кадры составляли элитную группу, занимавшую формальные должности, которая спланировалась неформальными нормами, патронажными сетями, а также общим опытом профессиональной подготовки и последующего карьерного роста. Однако подобными практиками описывает Чалмерс Джонсон высших японских бюрократов, отбираемых по крайне жестким критериям профпригодности и дисциплинированности, но также и по принципу патронажного политического «блата», с последних курсов Токийского и нескольких других элитных университетов. Молодые управленцы проходят годы напряженной службы на начальных должностях в центральных координирующих органах Японии. Вершиной удачи является попадание на работу в исключительно влиятельное, хотя со стороны малозаметное и окутанное покровом бюрократической тайны Министерство промышленности и международной торговли (известное под английской аббревиатурой МИТИ, до 1945 г., между прочим, называвшееся Императорским министерством боеприпасов). С момента своего основания в 1927 г. по конец 1980-х гг. МИТИ служило фактически японским госпланом, подменяя собой межкорпоративный рынок. Примерно в сорокалетнем возрасте выслужившимся в этом центральном аппарате чиновникам позволялось перейти на руководящие и весьма комфортные должности в корпорациях вроде «Мицубиси» либо занять места в парламенте или престижные университетские кафедры. Подобная циркуляция элит создает единый правящий слой с четким осознанием принадлежности к корпусу руководства страны. Либеральным капитализмом это назвать, мягко говоря, трудно. Или возьмите описанную Пьером Бурдьё французскую «государственную знать», рекрутируемую из вы-

²⁶ M. S. Voslenskii, *Nomenklatura: the Soviet Ruling Class*, Garden City, NJ: Doubleday, 1984.

пускников элитных административных и политехнических высших училищ («Гранд эколь»)²⁷.

В самом деле, всякому, кто в достаточной степени знаком как с американскими школами бизнеса, так и с партшколами поздней советской эры, эти два типа учреждений могут показаться до гротескного похожими. О том могу свидетельствовать на основе многолетних личных наблюдений, видя сейчас из окна моего рабочего кабинета кубическое бетонное здание «Келлога», школы бизнеса моего Нортвестернского университета, которая регулярно занимает первые места в глобальном рейтинге журнала «Экономист». Сходства проявляются в моделях приема (для успешного поступления в «Келлог» желательны минимум три года производственного стажа, в период которого абитуриент должен проявить себя в неких рапортоемких проектах, плюс характеристики-рекомендации от вышестоящего начальства или конгрессмена от своего родного штата), социальных функциях воспитания менеджерской элиты, во внутренних ритуалах общения и посвящения, в символической важности усвоения характерно начальственного «лидерского» стиля поведения и риторики, полной изрядно вымороченных метафор и бюрократических неологизмов, наконец, что немаловажно, в предписываемом негласными ожиданиями несколько утрированном энтузиазме и энергичном (хочется сказать, комсомольском) габитусе студентов, жаждущих большого дела ради осуществления своих карьерных планов.

Сходство вовсе не является случайным. Это гомологическое родство в пределах семейства сходных эволюционных ситуаций. Суверенность советской номенклатуры позволила ей достичь в послесталинский период предельной самостоятельности по сравнению с находившимися под частным капиталистическим и политическим контролем структурами Запада. Тем не менее советская номенклатура в целом действовала в рамках современной бюрократической практики точно так же, как Советский Союз входил одновременно в число военных держав XX в. и государств догоняющего развития. Подобно всем государственным и частно-корпоративным бюрократиям современности, номенклатура представляла собой часть мощной общемировой тенденции к установлению меритократии и «революции менеджеров». В течение последнего столетия это привело к бюрократизации механизмов формирования элит и в значительной мере (в зависимости от условий конкрет-

²⁷ Chalmers Johnson, *MITI and the Making of Industrial Policy in Japan*. Stanford: Stanford University Press 1982; Pierre Bourdieu, *The State Nobility: Elite Schools and the Field of Power*. Cambridge: Polity Press, 1996.

ных стран) к замене прежних принципов рекрутирования по аристократической родовитости (подобно дворянству царской России или прусскому юнкерству) и наследственного распоряжения частными капиталами — кто на деле управляет «Боингом», «Диснеем» или «Дженерал электрик»?

Особенностью СССР, безусловно, оставалась монополярная власть коммунистического партаппарата, который обладал слитной формой политического, административного, экономического и идеологического контроля не только над всеми действиями советского государства, но в существенной мере и над жизнью общества вообще, что сделало номенклатуру господствующим социальным органом²⁸. Слияние функций и деспотическая централизация придали ей черты закостенелости, самозамкнутости и, следовательно, в целом противления любым резким изменениям. Эта организационная модель, которая обеспечила комфортабельную жизнь правящему классу в брежневскую эру, и является ответственной за ту стремительность и беспорядочность, с какой в переходный период, начавшийся в 1989 г., номенклатура распалась на группы по национальным республикам и отраслям — вместо того, чтобы совместными усилиями разрешить ситуацию в свою пользу и коллективно реализовать перестроечный проект вхождения в Европу. Тем не менее позвольте вновь подчеркнуть, что это лишь морфологические отличия различных видов, принадлежащих к классификационному семейству руководителей современных бюрократических организаций. Не вполне исключительна даже суверенность номенклатуры, чему свидетельством пример Японии. Тем более неисключительны достигнутая советской номенклатурой неэффективность, косный консерватизм и диссимулятивные практики вроде приписок. Вероятно, при достаточно продолжительном комфортном пребывании на одной и той же позиции все они подвержены накоплению тех или иных закостенелостей, скрывааемых обманом. Об этом мы узнаем всякий раз при скандальных банкротствах капиталистических корпораций.

Бюрократические учреждения СССР можно разделить на два основных типа — территориальные (национальные республики, автономии, обычные области, города и районы) и отраслевые (различные министерства от обороны и тяжелой промышленности до здравоохранения и образования)²⁹. Обратите внимание,

²⁸ Valerie Bunce, *Subversive Institutions: The Design and Destruction of Socialism and the State*. New York: Cambridge University Press, 1998.

²⁹ T. H. Rigby, *Political Leaders and Local Cadres from Lenin to Gorbachev*. Andershot: Edward Elgar, 1990.

что с провозглашением независимости национальными республиками СССР за ничтожно малыми исключениями (где и обнаруживаются «этнические войны») распался вдоль существовавших границ бюрократических единиц. Республики в большинстве случаев оказались успешно «приватизированными» местной номенклатурой. В свою очередь, промышленные и финансовые активы были обращены в рыночную товарную форму и с различной степенью успеха приватизированы бывшими номенклатурными руководителями отраслей и директорами предприятий либо их патронажными клиентами и членами семей (см. табл. 3).

Как будет детально показано в следующей главе, развал СССР оказался вплоть до самого последнего момента субъективно непреднамеренным, но структурно заданным результатом бюрократической фрагментации, вызванной сиюминутными защитными действиями руководителей различного уровня. В зависимости от типа активов, которыми распоряжались высшие члены номенклатуры, они начали спешно и, в зависимости от личных качеств, более или менее дерзко присваивать доступные им части госаппарата и государственных средств ради, как им тогда казалось, приобретения более сильных позиций в торге с центром и затем уже просто ради самосохранения путем создания «запасных аэродромов». Призрак надвигавшейся революции придавал действиям последнего поколения номенклатуры характер чрезвычайной импровизации, граничащей с паникой как при пожаре во дворце или крахе банка. Повторим, поскольку это один из центральных аргументов данной монографии: начавшаяся с кризисом перестройки в 1989 г. и продолжившаяся до середины 1990-х суверенизация территорий и приватизация экономических секторов были двумя вариантами стратегии бегства номенклатуры прочь от валящегося советского колосса. Вектор действия — в сторону рынка вплоть до полной приватизации либо суверенизации вплоть до националистической независимости — был обусловлен конкретным местом членов номенклатуры в территориальных или отраслевых учреждениях советского периода. Напор либо степень осторожности в осуществлении той или иной стратегии зависели от удельного веса каждого учреждения в отношениях с Москвой и от того, насколько многообещающими виделись объекты приватизации в политическом и экономическом отношениях. Национальные республики давали максимум возможностей на признание международным сообществом, а ориентированные на экспорт нефтегазовые отрасли предоставляли возможность в одночасье стать миллиардером (см. табл. 1 и 3). Обе стратегии уходили корнями в давно знако-

мые механизмы бюрократического патронажа, группового сепаратизма и коррупции.³⁰

Согласно официальной теории, советские бюрократы являлись такими же «служащими», подобно всем остальным пролетаризированным специалистам. В самом деле, единственным официальным источником их доходов должна была являться заработная плата плюс предоставляемые должностью социальные льготы (предположительно лишь немногим выше среднего для Советского Союза уровня благ, предоставляемых производственной организацией). В действительности номенклатура всегда находила возможности приобрести лишний кусок — от внушительных премиальных и закрытых распределителей до вульгарных взяток³¹. Возможности для коррупции и само понятие того, что считать коррумпированными привилегиями, зависели от внутриэлитного неформального консенсуса, а также положения бюрократа в патронажных сетях и его места в территориальном и управленческом разделении государственного аппарата. Уровень взяточничества считался выше в южных регионах СССР, особенно на Кавказе и в Центральной Азии³². Эта коррупция традиционно приписывалась «южной культуре» — что было ложным объяснением не терявшего от этого истинности эмпирического наблюдения. Начать хотя бы с того, какая общая «южная культура» могла объединять Молдавию, Кубань и Узбекистан? Но в то же время очевидно, что южные республики обладали гораздо менее развитой промышленностью, а значит, и более высоким удельным весом сельского хозяйства, включая «теневые» фрукты и овощи, экспортируемые в пределах СССР и прибыльно реализуемые на рынках крупных городов России и Украины. На Кавказе и в Центральной Азии коррупция была более распространенным явлением, поскольку в этих национальных республиках номенклатура обладала двумя взаимообусловленными преимуществами. Этнические связи и внутренние культурные нормы препятствовали повседневному контролю Москвы, одно-

³⁰ Одним из первых теоретически обоснованных исследований фрагментации номенклатуры в годы перестройки и стихийной приватизации была едко озаглавленная монография Стива Сольника «Как украсть государство». Steven Solnick, *Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions*. Cambridge: Harvard University Press, 1998.

³¹ Mervyn Mattheus, *Privilege in the Soviet Union: A study of Elite Life-styles under Communism*. London: Allen & Unwin, 1978; Ilya Zemtsov, *The Private Life of the Soviet Elite*. New York: Crane Russak, 1985.

³² Журналистское описание бюрократической коррупции в брежневскую эру см. у Arkady Vaksberg, *The Soviet Mafia*. New York: St.Martin's Press, 1991.

временно создавая каналы для сбора покровительственной дани взятки с денежных потоков, создаваемых разветвленной (преимущественно садово-огородной либо курортной) теневой экономикой в южных регионах СССР.

Не стоит перекладывать все на этнокультурный фактор. Коррупция распространена в той или иной мере по всему миру. Если мы признаем этот факт, то очевидно, что коррупция является одной из наименее обусловленных местной культурой социальных практик. Местная культура важна в определении стиля и ритуалов действия, но все же второстепенна. Она задает (впрочем, всегда подвижные) ожидания и представления о терпимости коррупционных действий, облакает их в те или иные ритуализованные формы и помогает создавать социальные сети. Коррупция означает извлечение дохода из прерогатив административного властвования. Так что первое условие – наличие административного аппарата, в котором возникают и создаются неформальные возможности для привилегий. В свою очередь, наиболее питательной средой для незаконных привилегий служат различные не вполне законные экономические операции. Тем, кто считает это признаком лишь отсталых стран, должен порекомендовать знакомство с реалиями города Чикаго штата Иллинойс, где я сегодня живу и где недавно на пятый срок с подавляющим перевесом голосов на пост мэра был переизбран Ричард Дэйли, являющийся сыном своего легендарного отца, прежнего мэра, правившего Чикаго два десятилетия, которого тоже звали Ричард Дэйли³³. Когда в 1989 г. московский центр потерял значительную часть своих распределительных и контрольных возможностей, прежняя плановая экономика была быстро монетизирована, а провинции превратились в удельные княжества и вотчины, то даже в самых развитых регионах России быстро развились модели коррупции, сопоставимые с самым «азиатским» размахом и даже хуже – с гангстеризмом самого чикагского образца.

После 1991 г. отношения бюрократической ренты перетекли в посткоммунистическую приватизацию, или, иными словами, административный капитал был обращен в капитал экономический. Происходившие из интеллигенции российские неолиберальные реформисты в душе смирились перед лицом казавшегося им неминуемым триумфа номенклатуры при любом варианте приватизации. В те годы популярной присказкой (авторство которой приписывается одному из тогда молодых экономистов) стали слова о том, что если даже разбросать акции приватизируемых предприятий

³³ О Ричарде Дэйли-отце см. не менее легендарный журналистский портрет Mike Royko, *Boss*. NY: Doubleday, 1970.

над Москвой с самолета, то на следующий же день 90% их окажутся в руках директоров заводов. Неолиберальные реформисты откровенно признавали общественно несправедливый характер инсайдерской приватизации. Однако, поскольку эти уверовавшие в западные ценности неолибералы сами являлись очередной исторической инкарнацией восточноевропейской радикальной интеллигенции, они придерживались свойственной революционному мировосприятию догматической веры в неизбежность прогресса. По их ожиданиям, несправедливость номенклатурной приватизации была явлением временным и преодолемым в процессе новой революции со стороны рыночных сил — так же, как «неизбежные» и «временные» издержки и перегибы «красного террора» должны были быть сглажены ускоренным пришествием утопического будущего всеобщего освобождения и научно-технического прогресса. Неизбежным образом приватизация должна была сократить поле ответственности государства, создать поле частного предпринимательства и запустить капиталистический рост, сопровождаемый созданием рабочих мест, среднего класса и обеспечением благосостояния и либеральной демократии.

Десятилетие спустя, прогуливаясь по центральным улицам столицы Кабардино-Балкарии, как и любого города Кавказа или России, можно было наблюдать действительность иного рода. Да, появились претенциозные фасады частных банков (работавших, однако, в основном с государственными средствами), сияли витрины дорогих бутиков и вывески офисов частных фирм, профиль деятельности которых зачастую оставался достаточно туманно-загадочным. Не меньшее благосостояние излучали здания (и особенно охраняемые парковки) обладавших непосредственным контролем над финансовыми потоками государственных учреждений, в том числе силовых: таможенной и налоговой служб, госбезопасности, ГУБОП, а также пенсионного фонда и санинспекции. Присутствие постсоветского государства остается повсеместным не только потому, что самовозникавшие частные предприниматели, как правило, не смогли вырасти в неблагоприятных условиях постсоветской депрессии, а прежде всего в силу того простого факта, что высокое положение в структурах или личный доступ к их руководителям стали основным источником конкурентных преимуществ и защищенности.

ПРОЛЕТАРИИ — ОСНОВНОЙ СОВЕТСКИЙ КЛАСС

Со времен советской индустриализации 1930-х гг. громадное большинство жителей страны являлось пролетариями по фундаментальному признаку получения дохода в виде заработной платы за

работу по найму (к которой следует добавить дозаработную плату в виде студенческих стипендий и послезаработную плату в виде пенсий). Традиционный плакатный образ представляет пролетариев в виде одних лишь заводских рабочих в спецовках и работниц в косынках. Однако в той или иной мере пролетариями являлись и работники советских аграрных предприятий (совхозов и колхозов), служащие, врачи, технические спецы, летчики, офицеры вооруженных сил, учителя, журналисты и многие другие категории населения, повседневная жизнь которых зависела от регулярно получаемой зарплаты. Сущность пролетарского существования афористично схвачена в комическом проклятии из советского фильма «Бриллиантовая рука», ставшем фольклором: *«Чтоб ты жил на одну зарплату!»*

Потрясения, целиком уничтожившие за первую половину XX в. социальную структуру царской России, колоссальный индустриальный рывок, деспотическая монополизация власти и повсеместность проникновения советского государства даже в семейные структуры в сумме позволили создать необычайно обширный класс пролетариев. В самом непосредственном смысле советские пролетарии были продуктом социалистического государства догоняющего развития. Они рождались в государственных родильных домах, росли в государственных детских садах и школах, шли учиться в профессионально-технические училища и университеты, мужчины проходили обязательную воинскую службу, подавляющее большинство взрослых граждан работало на государственных предприятиях и в учреждениях полный рабочий день и жило (либо ожидало возможности, наконец, пожить) в предоставленных государством квартирах, покупали еду и товары широкого потребления в государственных магазинах (пусть даже иногда из-под полы), пользовались общественным транспортом (примечателен в свое время многократно осмеянный рекламный лозунг «Летайте самолетами Аэрофлота!» — как будто в СССР была возможность выбрать другую авиакомпанию), посещали принадлежащие государству кинотеатры, стадионы и кафе и проводили отпуск в государственных или спонсируемых государством профсоюзных санаториях. На рабочем месте и в значительной степени даже вне его, все советские пролетарии — доктора, шахтеры или учителя — находились под бюрократическим контролем иерархии управленцев, руководителей и партийных чиновников. «Обыкновенный» советский гражданин или гражданка (т.е. в основном зависящий от государства пролетарий) жил(а) на фиксированную и регулярно выплачиваемую государством сумму практически всю свою жизнь. Безработица была неизвестна — и в то же время дефицит товаров

был не менее предсказуемым условием повседневной жизни. Условия жизни были в основном одинаковыми, и советские учреждения выглядели на одно лицо на всем огромном пространстве от Балтики до Тихого океана³⁴.

Все это задавало значительную предсказуемость жизни и ожиданиям советских пролетариев³⁵. С течением времени они также стали осознавать и все более безбоязненно обсуждать ограничения — бюрократическую косность, коррупцию, дефицит товаров, бессмысленность официальной ритуальной пропаганды, — а также все больше узнавать о большей материальной обеспеченности сопоставимых профессиональных занятий и рабочих мест на Западе. В результате, советские цензоры и пограничники стали рассматриваться в качестве единственных препятствий на пути к лучшей и более свободной жизни в большом мире. Наложённый советским режимом запрет на политическую деятельность и создание профессиональных организаций привел к тому, что наиболее образованные госслужащие стали искать самореализации, признания и осмысленности жизни путем приобретения высокого культурного капитала. Этот процесс принял массовый характер после 1945 г. и обычно рассматривался как массовый рост советской интеллигенции. В 1960–1970-х гг. Советский Союз гордился званием самой читающей страны в мире. Хотя это утверждение выглядело несколько романтизированным и конформистски соответствовало создаваемому официальной пропагандой образу, оно в то же время в известной мере соответствовало действительности. Считавшиеся «серьезными» книги, грампластинки, кинофильмы и другие культурные товары пользовались огромным спросом и «потреблялись» (да простится мне сей американизм) с невиданным энтузиазмом³⁶. С конца 1950-х СССР испытал внушительный рост в области современной высокой культуры, продукты и практики которой

³⁴ Victor Zaslavsky, *The Neo-Stalinist State: Class, Ethnicity, and Consensus in Soviet Society*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1982.

³⁵ См. крайне глубокие социологические исследования у Michael Burawoy, *Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism*. London: Verso, 1985; Michael Burawoy and Janos Lukacs, *The Radiant Past: Ideology and Reality in Hungary's Road to Capitalism*. Chicago: University of Chicago Press, 1992; а также работу историка Donald Filtzer, *Soviet Workers and De-Stalinization: the Consolidation of the Modern System of Soviet Productive Relations, 1953–1964*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

³⁶ Мастерское и остроумно наблюдательное описание культуры советского «среднего класса» в 1960-х дали эмигрировавшие из СССР культурологи Петр Вайль и Александр Генис, *60-е: мир советского человека*. Ann Arbor: Ardis, 1988.

усваивались с самого детства. Перед детьми были открыты двери многочисленных музыкальных, художественных, балетных и шахматных школ; они могли записаться в секцию таких видов спорта, как художественная гимнастика и фигурное катание; по всей стране действовали десятки тысяч театральных, литературных, авиа- и ракетномодельных кружков и бесчисленное количество факультативных курсов иностранных языков, местной истории и географии, искусствоведения, природоохраны и передовых научных отраслей, таких как физика и кибернетика, а любители активного образа жизни записывались в байдарочники, альпинисты, палеонтологи и археологи либо подавно отдавались поискам снежного человека, Тунгусского метеорита, следов Атлантиды или разгадыванию письменности острова Пасхи. Настой чайного гриба, йога, телепатия — все в том же ряду.

Все это проистекало из расширения предоставления социального обеспечения советским государством. Также это было составной частью официальной идеологии прогресса, которая, в силу марксистского наследия и не полностью уничтоженных традиций русской интеллигенции, несла на себе отпечаток идей Просвещения. Однако послевоенный бум высокой интеллигентской культуры был в не меньшей степени движим самими советскими гражданами, которые были готовы вкладывать значительную часть своего времени (и, если необходимо, денег) для предоставления как можно лучшего и широкого образования своим детям. Да и сами взрослые активно искали приобщения к мировой высокой культуре, что, учитывая характер советских экономики и государства, зачастую приводило к дефициту. Возник теневой рынок книг и грампластинок, люди выстаивались в огромные очереди за билетами на представления престижных театров или фестивальны́й показ зарубежных кинофильмов. Предметы и практики современной культуры городских средних классов подтверждали статус советских специалистов, интеллектуалов и передовых работников как группы, способной пользоваться престижем и славой даже в условиях отлучения от политических рычагов и экономической ограниченности в пределах пролетарского существования на государственном пайке. Более того, спрос и потребление продуктов высокой культуры позволили создать на изумление широкие, многоячеистые и взаимопротекающие сети личных знакомств и общих интересов, которые впоследствии могли предоставить основу для политической организации. Именно в этом пространстве мы находим, к примеру, предполитический кружок друзей и знакомых преподавателя обычного провинциального университета Юрия Шанибова.

Ожидания и надежды находившихся на государственной службе интеллектуалов, специалистов и особо квалифицированных социалистических пролетариев отражали их центральное положение в новой индустриальной иерархии страны, являвшееся потенциальным источником социальной власти. Зарождающаяся программа этих верхних слоев социалистического пролетариата может быть охарактеризована как социал-демократическая в широком понимании этого слова. Ее основными ожиданиями и пожеланиями были сохранение стабильного трудоустройства и зарплаты, плюс к которым должны были добавиться возможности для легального высказывания по поводу общественных дел и непрофанируемого представления коллективных интересов в производственной, культурной и политической сфере. Иначе говоря, это было ожидание, если пока не требование, ответственности и подотчетности руководства предприятий и самой политической элиты страны.

Аналитически, данные ожидания означали проявление того, что можно назвать профессиональным (occupational) капиталом пролетаризованных и бюрократически контролируемых специалистов. В дискурсивном плане это было выражением чувства профессионального достоинства в основном молодых и новых горожан, требующих уважать их культурные достижения и возросшее значение внутри индустриальной иерархии и политической системы государства. Стремление к комфорту («нормальной жизни») либо, с пропагандистским знаком минус, так называемый «вещизм», который в те годы стал осуждающим клише официального дискурса, выражали все более настойчивое ожидание соответствующего вознаграждения профессиональных и культурных навыков, приобретенных благодаря образованию или трудовому опыту. Должностные ожидания рядовой социалистической интеллигенции были гомологичны чаяниям «рабочей аристократии» в высоко-статусных или приоритетных областях промышленности (оборонки, «флагманов» в гражданском секторе либо более располагающих к забастовкам судостроительных и угольных шахт). Сконцентрированные по профессиональному признаку пролетарии (например, шахтеры) и те, кто обладал сконцентрированным профессиональным капиталом (например, специалисты в области электроники или автомобилестроения), соответственно, были более настойчивы и продемократичны в своих требованиях³⁷. Подобные настроения преобладали в больших городах России — Москве, Ленинграде,

³⁷ Stephen Crowley, *Hot Coal, Cold Steel: Russian and Ukrainian Workers from the End of the Soviet Union to Postcommunist Transformation*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.

Свердловске, Новосибирске, и Украины — Харькове или Одессе. Гомологическое сходство создавало потенциальную возможность для совместных политических действий интеллигенции и «рабочей аристократии» — то есть тех горожан и тех общественных слоев, где горбачевская программа перестройки и гласности получила непосредственную поддержку (см. табл. 2).

Однако широкая общность условий жизни и труда и соответствующих притязаний советских пролетариев не трансформировалась в объединенные классовые действия, подобно польской «Солидарности». Для находящегося несколько ниже культурного уровня специалистов и наиболее квалифицированных рабочих основного большинства советских промышленных рабочих требование институционализированной профессиональной самостоятельности (т.е. подлинных профсоюзов) и политической демократизации было слишком дерзким, абстрактным или же слишком далеким от их насущных интересов и сугубо местных чаяний. Гораздо более привычным и вероятным способом действий этих рабочих оставался скрытый торг. Совместные действия советских пролетариев встречались с достаточно внушительными препятствиями в лице вездесущих органов госбезопасности и добровольных стукачей, хотя при Брежневле власти и перешли от подавления забастовок пулеметами на несравнимо более мягкие методы. Основной стратегией умиротворения стала ритуализированная симуляция «единогласно одобряемой народом политики» (что должно было предотвратить возможность действительной политики) и поддержание патерналистской зависимости пролетариев на уровне социоэкономических структур. Распределение товаров (особенно дефицитных) и социальных благ было достаточно жестко привязано к рабочему месту и в итоге контролировалось заводским руководством и послушными профкомами. В подобной ситуации у рабочих оставалось то, что Джеймс Скотт в своей известной формулировке назвал оружием слабых — прогулы, отлынивание, работа спустя рукава, не прямые переговоры, или же знаменитые восточноевропейские политические анекдоты³⁸.

С завершением сталинской эры положение рабочих значительно улучшилось, хотя доходы и блага оставались неравномерно распределенными между различными отраслями промышленности и географическими регионами. Потенциал протестного движения в промышленности оказался рассеянным и приглушенным. В среде менее «продвинутых» рабочих, особенно старшего поколения,

³⁸ James Scott, *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.

все еще преобладали крайне авторитарные идеи — вплоть до сохранения верности сталинизму. Подобные настроения были особенно свойственны менее индустриализированным регионам — таким как Кавказ и Центральная Азия, — где патернализм на рабочем месте и возможности для «левого» заработка являлись составными сетей этнического или земляческого патронажа³⁹. После 1991 г. пропагандируемый номенклатурой постсоветских государств «отеческий» консервативный национализм, таким образом, соответствовал диспозициям низкостатусных и периферийных рабочих.

ПАРАДОКС СОВЕТСКОГО СРЕДНЕГО КЛАССА: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И СПЕЦИАЛИСТЫ НА ПОЛОЖЕНИИ ГОСПРОЛЕТАРИАТА

Мне уже не раз приходилось упоминать, что класс советского пролетариата включал в себя значительное число интеллектуалов и специалистов, обычно выделяемых по формальному признаку обладания дипломом о высшем образовании. В любой современной стране подобные категории населения считались бы средним классом. По сути, и в СССР они были средними слоями — с той лишь разницей, что при этом они также по главным критериям семейного дохода и контроля над условиями труда выступали самыми натуральными пролетариями. Средним классом они были не в материальном и не в политическом, а в культурно-символическом плане. Пора, наконец, пояснить этот парадокс в отдельном разделе, тем более что смешение интеллигентов и пролетариев способно по крайней мере озадачить, если не оскорбить интеллигентские чувства (признаться, начиная с меня самого). Но применительно к позднесоветскому обществу и тому, что из него затем выходит, парадокс пролетаризованной интеллигенции занимает совершенно особое по важности место.

В действительности большинство обладателей дипломов инженеров, врачей, даже юристов были лишь особой верхней категорией квалифицированных работников, выполнявших задачи нефизического труда в общих рамках советского государственного индустриализма. Это не означает, что поголовно все спецы и интеллектуалы в СССР были пролетаризированы, однако речь идет об их громадном большинстве. Здесь-то и лежит существенное различие между советской интеллигенцией и такими блестящими

³⁹ Лучшим исследованием в этой области остается работа Nancy Lubin, *Labor and Nationality in Soviet Central Asia: An Uneasy Compromise*. Princeton University Press, 1984.

примерами дореволюционной эпохи, как Толстой, Чехов или даже Ленин (отец которого получил на гражданской службе пожизненное дворянство и являлся землевладельцем) и Троцкий (сын владельца мукомольного завода). Мы редко удосуживаемся вспомнить, что у старой интеллигенции (даже у самого Карла Маркса) обычно имелась домашняя прислуга и независимые источники доходов (в смысле — от государства и частных работодателей). Поэтому при анализе советского общества следует значительно сократить относительный вес интеллигенции — этой легендарной восточноевропейской статусной группы самовыдвинувшихся держателей символического и культурного капитала, находящихся в принципиальной этической оппозиции к официальной власти. В СССР лишь всемирно знаменитые артисты и ученые (и на другом конце спектра — богемные маргиналы) могли пользоваться свободой от государственного контроля в мере, позволявшей им жить подобно старой интеллигенции. Такие группы могли концентрироваться лишь в крупнейших и наиболее важных городах с определенными интеллектуальными традициями — Москве, Ленинграде, Новосибирске, Харькове, Одессе, Тарту — и в существенно разнящейся мере, от Минска и Фрунзе (Бишкека) до Тбилиси и Киева, в столицах союзных республик. Однако здесь мы занимаемся рассмотрением менее статусных городов, подобных Нальчику, Краснодару и Грозному, где подобной независимой интеллигенции практически не могло быть. Вот, собственно, почему такие по всем признакам современные и с виду достаточно крупные городские центры, в каждом из которых образованных людей и студенчества насчитывалось едва ли не больше, чем во всей Российской империи времен народников и передвижников, тем не менее казались столь провинциальными, консервативными и интеллектуально инертными. Юрий Шанибов и его друзья работали в государственных учреждениях, единственным источником регулярного дохода имели не слишком высокую зарплату, приблизительно равную оплате труда опытного рабочего и, подобно большинству советских пролетариев, жили в стандартных построенных государством квартирах стандартных многоэтажных кварталов.

С другой стороны, в СССР существовала значительно возросшая в послесталинский период расширения интеллектуальной инфраструктуры элитная группа деятелей, которые официально именовались и сами себя с гордостью называли интеллигенцией, иногда даже выказывая умеренный «конструктивный» критицизм по отношению к официозу — но в то же время занимали видные посты в бюрократической иерархии. На деле это были номенклатурные руководители, делавшие карьеру в учреждениях массовой пропа-

ганды, умственного труда, науки, культуры и образования. Их главной функцией оставалось управление — руководство формальными государственными иерархиями, которые господствовали в вышеупомянутых областях. Занятие руководящих должностей служит основным признаком, заставляющим отнести эту категорию интеллектуальной элиты все же к номенклатуре, а не интеллигенции. Примерами служат должностные академики⁴⁰, карьерные лауреаты государственной и ленинской премий, главы научных институтов, секретари и председатели официальных «творческих союзов». К номенклатуре различных рангов принадлежали также ректоры университетов, главные редакторы газет и издательств, главврачи больниц и прочие «главные» работники.

Аналитической и политической путаницы можно избежать, признав, что профессиональные специалисты советской эры вовсе не являлись «свободными профессионалами» (*liberal professionals*) в западном понимании самоорганизованной гильдии, членство в которой означало получение привилегированных и независимых рыночных доходов. Западному читателю нелегко вообразить ситуацию, в которой многие врачи, архитекторы и адвокаты получали бы зарплаты на уровне бетонщиков, шоферов или учителей и, вероятно, зарабатывали меньше матросов и шахтеров. Однако в случае СССР юристы, нейрохирурги, преподаватели и журналисты выступали получившими высшее образование специалистами на полном служебном содержании государства, т.е. обычно не более чем дипломированными и лишь относительно хорошо оплачиваемыми пролетариями. Подобно обычным рабочим, они зависели от предоставляемого государством пожизненного найма, трудились в обезличенных больших учреждениях, жили на зарплату и подчинялись формальной структуре бюрократического руководства, т.е. в самом марксистском смысле были отчуждены от средств производства. В свете уравнительного воздействия советского образования и малой разницы в оплате труда (ставшей нормой при

⁴⁰ Да и академики Вернадский, Курчатов, Сахаров должны быть отнесены к зависимой фракции научной номенклатуры в той мере, в которой они распоряжались властью над лабораториями и институтами. То, что бывший член номенклатуры мог превратиться в инакомыслящего, не отрицает формальной принадлежности к советской элите. Это не столько логическое противоречие, сколько результат конфликтного сочетания различных форм социального капитала и габитусов. Это не большее противоречие, нежели трансформация секретаря обкома комсомола и прокурора Юрия Шанибова в президента Конфедерации горских народов Кавказа Мусу Шаниба — и затем даже обратно в мирного доцента.

Хрущеве) эти специалисты отличались от опытных рабочих физического труда лишь наличием диплома, соответствующим культурным капиталом и, вероятно (но не обязательно), большими ожиданиями профессиональной независимости от управляющей ими бюрократии.

Многие советские архитекторы, юристы, профессора, ученые и врачи, несомненно, предпочли бы состоять членами независимых профессиональных гильдий и пользоваться соответствующими их статусу среднего класса доходами и независимостью от государственных учреждений (табл. 2). Хотя условия их профессиональной деятельности находились под постоянным контролем государства, подобные чаяния поддерживали потенциал для культурной и политической мобилизации — потенциал, выплескивавшийся в нередко бурных попытках самоорганизации при каждой кампании реформ. Вот почему после развенчания культа Сталина эти высокообразованные пролетаризированные специалисты всего советского блока оказались в первых рядах антибюрократической мобилизации. Однако специалисты и интеллектуалы могли стать реальной силой лишь при условии мобилизации более широких слоев населения как на классовой основе (обращаясь к собратьям-пролетариям), так и на национальной. Две модели мобилизации масс — классовая и национальная — вовсе не исключают друг друга, как то наглядно показал пример польского профсоюза «Солидарность» в 1980-х гг.

Вдобавок потенциально независимых юристов, ученых, преподавателей и врачей было численно меньше, чем лишенных административной власти образованных техников — в основном инженеров. Ставший своеобразным Пьеро тысяч анекдотов позднесоветского периода, инженер занимал в советской индустриальной иерархии весьма двусмысленное положение между рабочими и номенклатурой. Многие высшие руководители СССР начинали карьеру инженерами или агрономами, так как поступление в партийную школу, а следовательно, в ряды руководящего класса, предполагало среди прочего несколько лет производственного стажа. Бюрократическая лестница социальной мобильности сократила свою пропускную способность лишь при объявленной Брежневым «стабильности кадров», что сделало вакантные руководящие места явлением редким. Инженер стал своеобразной знаковой фигурой советского социализма последних десятилетий — разочаровавшийся, малооплачиваемый представитель руководства на нижнем уровне застывшей бюрократической организации, вдобавок оказавшийся в незавидном положении непосредственно между молотом требований производства и наковальной рабочей пассивности. Как бы

то ни было, социальное недовольство данной группы редко воплощалось в политическом измерении. Подобно рабочим, инженеры являлись частью того же заводского пространства и точно так же находились под патерналистским контролем руководства и привязанных к рабочему месту социальных субсидий, прежде всего предоставления жилплощади.

В то же время существовали различные неформальные способы перевода высококультурного капитала, профессиональных навыков и положения в полупрофессиональные источники доходов и социального статуса – в основном посредством того, что называется коррупцией. Подобные возможности не были в равной степени доступны большинству образованных советских специалистов и были особенно недостижимы для групп, связанных с тяжелой индустрией, теоретическими исследованиями или вооруженными силами. Однако многие школьные учителя и университетские профессора могли подрабатывать репетиторством, а также брать взятки за высокие оценки (особенно при вступительных экзаменах в вузы). Врачи, в особенности высококлассные кардиологи, дантисты и гинекологи, пользовались, возможно, наилучшим сочетанием профессионального престижа, побочных доходов в виде «подарков» от пациентов и обязывающей благодарности их родственников и относительной безопасности от антикоррупционных расследований⁴¹. Подарки от пациентов воспринимались как должное, а в ряде национальных республик считались обязательными и в сумме могли далеко превосходить месячную зарплату. Однако кардиологов и онкологов, в отличие от директоров ресторанов, заведующих складами и товароведов магазинов, финансовая инспекция преследовала редко. Дополнительным залогом врачебной безопасности являлось то житейское обстоятельство, что номенклатура и милиция также могли оказаться в числе их пациентов. Не входившие в номенклатуру низовые руководители и специалисты в ориентированных на потребителя сферах торговли, общепита, туризма и курортного отдыха, ремонта квартир и автомобилей, салонов моды и швейных ателье были постоянными участниками бартерного обмена товарами и услугами либо получали неофициальную надбавку к установленным государственным прејскурантом ценам на дефицитные товары и услуги. Находившиеся на государственной службе юристы и нотариусы также привычно ожи-

⁴¹ Отличным исследованием коррупционной культуры советской Грузии, проведенным в ходе опроса эмигрировавших в Израиль грузинских евреев, является Gerald Mars and Yochanan Altman, *The Cultural Bases of Soviet Georgia's Second Economy*, *Soviet Studies* XXXV, no.4 (October 1983), pp. 546–560.

дали, что клиенты заплатят сумму большую, нежели официально установленная, — в противном случае клиентам предстояло терпеть долгое ожидание в очередях и бездушно формальное отношение. Другой возможностью, обусловленной высокоспециализированными навыками и деловыми связями, являлся обширный «серый» рынок престижных книг, аудиодисков, билетов в театры, экзотических домашних животных, коллекционных и антикварных предметов, либо «черный» рынок драгоценностей, валюты и ввезенных контрабандой товаров зарубежного производства.

В советские времена подобная деятельность каралась законом и могла повлечь конфискацию имущества и длительное лишение свободы. Вовлеченные в нее лица нуждались в покровительстве номенклатурных и милицейских чинов, а то и профессиональных «воров в законе»⁴². Внезаконная профессиональная деятельность советских специалистов стала важным источником коррупционной ренты номенклатуры. Неудивительно, что старый буржуазный лозунг *laissez faire* («Дайте делать дело!») оказался столь близок многим специалистам, загнанным в пролетарское существование. Однако остается фактом, что на всем протяжении истории СССР они оставались пролетариями с лишь украдкой извлекаемыми прото-буржуазными побочными доходами.

Подытожим. Пролетарские специалисты с университетским образованием не только искали возможности приработка и доступа к дефицитным товарам, но и трансформации своего профессионального капитала в потребительские и символические формы, ассоциирующиеся с престижным образом жизни западных средних классов. Побуждения к подобным действиям сильнее проявлялись в больших городах, прежде всего в Москве, где одновременно наличествовали исключительно высокая концентрация бюрократического и интеллектуального капитала и вдобавок имелось «окно» на Запад. Едва ли не сильнее тенденция к ползучему «распролетариванию» социалистических служащих-специалистов проявлялась в странах Восточной Европы, особенно в Польше и Венгрии, и в некоторых из столиц национальных республик СССР, сохранивших, по крайней мере символические, традиции рудиментарного гражданского общества. Это стало возможным в основном благодаря сохранению в некоторых из национальных республик элитных семейств с корнями, уходящими в дореволюционное благородное сословие, буржуазию и буржуазную интеллигенцию. Абсо-

⁴² Arkady Vaksberg, *The Soviet Mafia*. New York: St. Martin's Press, 1991; Federico Varese, *The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

лютное и относительное число подобных высокостатусных семей могло быть крайне малым ввиду очевидных трагических обстоятельств — коммунистических репрессий первых десятилетий и вала новых специалистов и интеллигентов периода индустриализации. Тем не менее издавна пользовавшиеся уважением старинные элитарные семьи в целом смогли удержать монополию на роль традиционного стража высокого вкуса и европейской культуры, таким образом, сохраняя непропорционально большое влияние на национальные городские сообщества. Выходцы из благородных семей служили привлекательным «цивилизующим» (в значении Норберта Элиаса) примером для новичков советской эпохи, пытавшихся органично войти в интеллектуальную и профессиональную элиту. Несмотря на полную утерю политической и экономической власти при социализме, исключительно благодаря унаследованному культурному капиталу старые семьи смогли сохранить почет, влияние и собственный элитный статус.

Выстроенные вокруг семейств старой элиты подобные прототипы гражданских обществ существовали лишь в некоторых республиках. Их практически не было в Белоруссии, большей части Украины, самой России и в Центральной Азии. Причина в основном была исторической и миросистемной. Эти советские республики некогда были либо слишком периферийными для обретения достаточно укорененной «озападнившейся» элиты досоветского формирования, либо же прежние элиты исчезли в сталинских лагерях, оказались в эмиграции или полностью социально смешались и ассимилировались в ходе потрясений голода, индустриализации, эвакуации военного времени и пр. Национальные социальные сети образованной элиты можно было найти прежде всего в трех прибалтийских республиках, а также в некоторой степени в Молдавии и на Западной Украине. Все эти области были присоединены к СССР лишь в 1940-х гг. и оставались относительно близки к Западу как в смысле географии, так и в смысле городской культуры.

Более сложная картина наблюдалась в Закавказье, где на рубеже XIX–XX вв. складываются удивительно колоритные и гибридные восточно-западные городские культуры, прежде всего Тифлиса и Баку, основными местными спонсорами которых послужили тюркская и особенно грузинская аристократия плюс преимущественно армянское купечество. В последующих поколениях, в 1880–1900-х гг., наследники обедневших в пореформенные времена дворян и беков, а также священников, амбициозных коммерсантов и «выбившихся в люди» ремесленников активно приобретали культурный капитал западных образцов (русских и польских,

немецких, французских и даже шведских и шотландских — в зависимости от источников образования и нередко романтических случайностей любви, счастливо увенчавшейся браком). Поколение наследников и упорных разночинцев, искавшее себе достойного места в довольно отсталом аграрном обществе либо в полном разительных противоречий нефтяном анклав Баку, становилось дореволюционными классическими интеллигенциями. Эти укорененные преимущественно в столицах старые интеллигенции с чувством патриотического долга привнесли свои дореволюционные модернизаторские чаяния и традиции народного просвещения в структуры советского национального строительства. Самый яркий тому пример — построенный практически с нуля (хотя и на всевозможных древних руинах) советский город Ереван, приобретший при этом удивительно национальный и даже благородно-древний облик. Таким же образом, *mutatis mutandis*, сохранили и в общем-то очень серьезно приумножили свой национальный колорит Тбилиси и Баку.

Переходя регистром ниже, следует добавить, что значительные теневые экономики и родственно-дружеские социальные сети закавказских советских республик создавали более разнообразные и благоприятные возможности для реализации устремлений к поддержанию подобия стилей жизни среднего класса. Образованные русские и западные иностранцы, посещавшие Баку, Тбилиси и Ереван в брежневские времена, постоянно с восхищением и даже завистью отмечали, насколько хорошо одевались и с каким вкусом (если не ошеломляющей роскошью) обставляли свои жилища видные профессора, скульпторы, композиторы и врачи республик Закавказья.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прибалтика, Молдавия, Западная Украина и Закавказье были именно теми регионами, где националистические проблемы выявились с особой силой в годы перестройки. Причинная связь между «гражданскими обществами» образованных элитных семей и стратегиями, направленными на большую национальную независимость от Москвы, видится тут вполне явной и непосредственной. Несомненно, одной из определяющих особенностей советского государства было наличие в нем множества национальных республик и автономий. Это создает целое дополнительное измерение в социальной стратификации советского общества. Нам требуется прояснить причины зарождения и динамику развития причудливой архитектуры советского национального федерализ-

ма и попытаться понять ее воздействие на структуру классов и модели конфликтов.

Этнонациональная советская федерация возникла из противоречивых и сложных компромиссов периода Гражданской войны. Это была крайне запутанная, многофронтная и подвижная серия конфликтов, в которых участвовали не две, а на самом деле десятки различных сторон. Большевики победили во многом потому, что в нескольких критических ситуациях сумели заручиться поддержкой различных национальных вооруженных отрядов и политических сил или, по крайней мере, добивались их нейтралитета в борьбе с белогвардейскими армиями⁴³. Финляндия даром получила свою независимость сразу после большевистской революции от Ленина, который в тот момент, судя по всему, просто не видел средств и причин противиться такому исходу. Однако впоследствии национальная политика Ленина и его соратников существенно меняется и проходит через несколько адаптаций, рассматривать которые нам здесь ни к чему. Приведем лишь пару иллюстративных примеров.

Первыми автономиями в составе Российской советской социалистической федерации стали Башкирия и Татария. Их создание было условием перехода на сторону красных этнических ополченцев Волго-Уральского региона, что резко изменило баланс противостояния белым, которые вскоре оказались отброшены за Урал. При этом, несмотря на этническую близость, Башкирия не была объединена с волжской Татарией в рамках проектируемой «Республики Идель—Урал» не столько из-за опасений большевиков заполучить слишком сильного союзника (реальное политическое соображение, однако воспрепятствовать объединению Москва тогда бы не смогла), сколько из-за нежелания башкирских военных и культурных лидеров оказаться в тени татар. В момент другого наступления белых, зимой 1919 г., когда Добровольческая армия генерала Деникина была уже на подступах к Москве, в тыл ей ударили

⁴³ Наиболее доступным и широким по охвату описанием политической борьбы, приведшей к складыванию многонациональной структуры СССР, остается старая книжка Richard Pipes, *The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1954. Ее значения не умаляет ни крайне консервативная и отчасти русофобская репутация Пайпса, ни то, что книжка эта написана не на архивных источниках, а в основном лишь последовательно обобщает политические мемуары участников, как антикоммунистических эмигрантов, так и самих большевиков, которые в 1920-х гг. писали еще вполне свободно и откровенно, причем нередко трезвее своих озлобленных поражением противников.

украинские повстанцы анархиста Махно, а также чеченские и ингушские «красно-зеленые» партизаны. Вполне возможно, лишь это тогда и спасло большевистский режим. Неожиданный, если не противоестественный союз атеистических марксистов-ленинцев и кавказских мусульманских мюридов был результатом гомологического совпадения векторов борьбы большевиков и продолжателей дела имама Шамиля, которым равно угрожала армия имперского генерала Деникина. Но одно дело объективное совпадение интересов, и другое дело дипломатия союзов. По легенде, товарищи Киров и Орджоникидзе, отрезанные от основных сил красных и загнанные в горы деникинским наступлением, провели две недели в дебатах с местными мусульманскими авторитетами, сравнивая социальные доктрины Карла Маркса и пророка Мухаммеда. Результатом стало незаурядное религиозное решение (фатва), приравнявшее дело Красной армии к священному джихаду. Остается добавить, что оригинал этого документа, вероятно, сгорел в Грозном во время боев 1995 г.

Предоставление находившейся под присмотром центра административной и культурной автономии в четко очерченных границах внутренних территорий стало главной стратегией включения нерусских народов в состав советского государства. Стоило ей доказать свою успешность (хотя поначалу она и вызывала сомнения у многих соратников Ленина), как большевики принялись с присущей им кипучей энергией проталкивать национальную автономизацию с тем, чтобы побить националистов на их же поле и их же оружием. Дело дошло до создания национальностей даже там, где их дотоле не существовало⁴⁴. В отношении к окраинам бывшей Российской империи стратегия национального строительства исходила из марксистско-ленинской идеи прогресса: отсталые народы должны были пройти (или, вернее, быть проведены) через этот этап, чтобы стать готовыми ко включению во всемирную коммуну. Именно с этой целью национальные республики и автономии получали стандартизированный (в зависимости от ранга) набор формальных госучреждений – собственных школ, университетов, академий, театров и музеев, – призванных помочь в создании современной, светской, индустриальной культуры.

Историк Терри Мартин достаточно детально показывает, что в отличие от официальной доктрины, даже своими основателями СССР мыслился не федерацией, а огромным фактически унитарным государством, в котором власть находилась в руках цен-

⁴⁴ Ronald Grigor Suny, *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution and the Collapse of the Soviet Union*. Stanford: Stanford University Press, 2001.

тральной иерархии коммунистической партии⁴⁵. Большевики извлекли свой урок из судьбы Австро-Венгрии. Однако они извлекли и урок из ошибок белых, которые открыто боролись за «единую и неделимую Россию», тем самым создавая разнообразных союзников красным. Советская национальная политика пошла своеобразным третьим путем. Если воспользоваться терминами более поздней американской политики мультикультурализма, большевики придумали стратегию «обратной дискриминации» и «позитивной сегрегации». На практике это означало, что представителям нерусских титульных национальностей открывался особый доступ (вплоть до квотирования мест) к современному образованию и назначениям на бюрократические должности — но только в их родных республиках. Советский вариант *affirmative action* достаточно хорошо работал почти семьдесят лет. Коренные кадры, ожидания и карьера которых всецело зависели от советских учреждений, верно стояли на защите режима от «буржуазного» национализма. Так длилось до 1989 г., когда внезапно вскрылась ошеломительная слабость Москвы, а национальные коммунистические бюрократии оказались против собственного ожидания и желания втянуты в острую и непредсказуемую схватку за альтернативные источники власти. То, что семь десятилетий прослужило одной из главных институциональных опор СССР — территориальная национализация управления, — в конечном итоге оказалось швами, по которым он и распался⁴⁶.

Критики Советского Союза считали его внушительные национальные учреждения проявлением циничного двуличия и средством подавления «истинно» национальных идентичностей либо не более чем второстепенными украшениями на имперском фасаде. Оба эти утверждения в определенной степени верны, однако по прошествии времени все учреждения начинают жить собственной жизнью. Начать с того, что заведения, предназначенные для развития национальных культур Советского Союза, неизбежно создавали многочисленные профессиональные рабочие места для местных творческих интеллигенций. Подобные рабочие места были довольно уважаемыми, малоутомительными по сравнению с работой в конторе, цехе или поле, и притом сравнитель-

⁴⁵ Terry Martin, *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.

⁴⁶ Подобные доводы приводились политологом Philip G. Roeder, *Red Sunset: The Failure of Soviet Politics*. Princeton: Princeton University Press, 1993; а также социологом Roger Brubaker, *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

но хорошо оплачивались⁴⁷. Более того, обеспечивая даже чисто формально «развитие национальных культур», подобные учреждения способствовали созданию профессиональных сообществ деятелей национальной культуры, которые обычно проживали всю свою жизнь в одном городе, а именно — в столице национальной республики, поскольку за ее пределами их дипломы и звания особого хождения не имели. Скажем, инженер или врач, получивший диплом в Литве или Казахстане, в принципе мог найти работу повсюду в СССР, где были завод или больница, а были они практически везде. А вот специалист по средневековой армянской архитектуре, узбекской поэзии или украинским народным танцам вряд ли мог(ла) найти возможность применить свои знания за пределами родной республики. Так возникали четко локализованные в столицах национальных республик национальные предгражданские общества.

В то же время общесоюзная централизация социальных полей и официальных ритуалов вроде многочисленных официальных встреч и конференций, курсов повышения квалификации, юбилеев и фестивалей национальных культур, регулярно сводила деятелей искусства, науки и культуры из разных уголков СССР. Подобным образом Москва стремилась подчеркнуть свое осевое положение и укрепить советский интернационализм. Однако в не меньшей мере эти мероприятия предоставляли интеллектуалам из различных национальных республик возможность неформального обмена взглядами и идеями, которые, в силу изоморфности занимаемых должностей, были весьма схожими, несмотря на разницу между образом жизни и обычаями столь удаленных друг от друга мест, как Эстония и Азербайджан. Неудивительно, что в 1989–1991 гг. множество текстов азербайджанских, молдаво-румынских или чеченских культурных националистов выглядели будто копиями с более продвинутых националистических программ прибалтийских республик — в той или иной мере они и были копиями, переданными по созданной в советский период сети общения между национальными интеллигенциями⁴⁸. Перспектива независимости

⁴⁷ В 1930-е гг. в порядке «позитивной дискриминации» женщины-мусульманки, выступавшие в государственных артистических коллективах, получали двойную зарплату. Хочу поблагодарить за эту информацию мою турецкую аспирантку Элиф Кале, работавшую в архивах Узбекистана.

⁴⁸ Не раз уже упоминавшийся чеченский идеолог Зелымхан Яндарбиев с трогательной теплотой вспоминает в своих мемуарах страстные дискуссии и дружбу с товарищами по курсам при московском Литературном институте в середине 1980-х. Среди них были поляк, украинец, грузин и этнический немец из

от Москвы обещала находившимся на вторых ролях национальным академиям, университетам и музеям обращение в центральные учреждения собственных независимых государств и прямой выход на мировую арену. Пока власть советского государства выглядела незыблемой, подобные идеи оставались лишь опасными мечтаниями. Но в 1989 г. все изменилось.

СУБПРОЛЕТАРИИ, ВНЕСИСТЕМНЫЙ «НЕКЛАСС»

Последний из описываемых нами общественных классов не имеет даже общепринятого и общепризнанного названия в терминологии социальных наук — и это несмотря на то, что составляет крупнейший и самый быстрорастущий сегмент населения мира, особенно в городских трущобах и полусельских пригородных районах мировой периферии. Определение этого класса скорее говорит, чем он *не* является. Это своеобразный «некласс», ограниченный множеством категориальных исключений. Его главным структурным условием является преимущественно вынужденный выход из деревенского уклада, не выполняющийся переходом к городскому образу жизни. Эти люди в основном происходят из бывших крестьян и их потомков, которые либо не нашли своего места в городе, либо не могли быть поглощены и преобразены городской средой. В разных странах их называют *люмпенами*, *деклассифицированными элементами*, *маргиналами*, *подклассом*, *базарной толпой*, *посадскими*, *босьяками*, *фавелдос*, обитателями «дна», или городского «чрева», либо, как говорят на Ближнем Востоке, просто *улицей*.

Определение *субпролетариат* видится более верным, поскольку схватывает противоречивую реальность⁴⁹. Критическое различие между этим классом и кадровым пролетариатом заключается в том, что заработная плата (обычно нерегулярная) не является основным источником дохода для субпролетариев. А других источников дохода у них может быть множество, хотя все нестабильные: поденщина, приусадебное хозяйство, неоплачиваемая работа по дому, бартерный обмен товарами и услугами в расширенном кругу родственников, земляков, соотечественников или соседей, мелкая «неформальная» (т.е. нерегулируемая и не облагаемая налогами) торговля, включающая в себя и уголовно преследуемые виды

числа сосланных в Казахстан. Зелимха (sic) Яндарбиев. *Чечения: битва за свободу*. Львів: Свобода народів, 1996.

⁴⁹ Основополагающую концептуализацию см. у Pierre Bourdieu, *The Algerian Subproletariat*, in: I. I. Zartman (ed.), *Man, State, and Society in Contemporary Maghreb*. London: Pall Mall, 1973, pp. 83–89.

деятельности (контрабанда, сбыт краденого, наркотики, самогон, азартные игры, проституция), а также подарки и помощь, предоставляемая родственниками (в том числе из-за рубежа), благотворительными или религиозными организациями (см. табл. 1)⁵⁰. Поскольку субпролетариат является весьма разношерстной категорией, притом занимающей значительное место в последующем анализе насилия в ходе национальных мобилизаций, позвольте мне показать его на ряде местных примеров.

Наметанному глазу в каждом данном окружении выделить субпролетариев не представляет труда — особенности их одежды, речи и поведения в корне противоречат укладу жизни и приличиям среднего класса. Хотя в конкретных ситуациях путем эмпирических наблюдений можно выделить разновидности занятий, места жительства и кварталы субпролетариата, однако задача эта неизменно затрудняется нестабильностью моделей их жизни. Определить же состав и численность этого класса на основе официальной статистики представляется почти невозможным. Частично пересекаясь с нижними слоями пролетариев, субпролетарии в силу каких-то причин не смогли накопить культурные навыки и профессиональный капитал состоявшегося пролетариата. Причин же тому может быть множество: слишком недавнее раскрестьянивание, не приведшее к полной пролетаризации, или частная структурная мотивация (например, более высокая прибыль от контрабанды или сезонной рабочей миграции по сравнению с постоянной зарплатой) либо культурные понятия (более высокий традиционный престиж торговли по сравнению с рабочими профессиями, патриархальные взгляды на женский труд), определившие уклонение от благ государственной школы и труда на заводе⁵¹.

Бывает и так, что и формально трудоустроенные люди могут в действительности быть скорее субпролетариями. В поздние советские времена выгнать рабочего или исключить студента за неадекватность и бракоделие, прогулы, пьянство или мелкое воровство на производстве и подобные превратные практики социальной неадаптированности было делом почти невозможным. Официальная политика (которую ненавидели ответственные за ее непосредственное претворение управленцы среднего и нижнего звена) предписывала перевоспитание лентяев и пьяниц. В то же время было бы неверным огульно утверждать, что субпролетарии явля-

⁵⁰ Alejandro Portes and Jozsef Borocz, *The Informal Sector Under Capitalism and State Socialism: a Preliminary Comparison*, *Social Justice*, vol.15, nos 3–4 (1988).

⁵¹ Nancy Lubin, *Labor and Nationality in Soviet Central Asia: An Uneasy Compromise*. Princeton University Press, 1984.

ются сплошь бездельниками и паразитами — это типичный предвзгляд средних классов и госчиновников, относящийся к наиболее скандально заметному и хулиганскому меньшинству субпролетариата. В действительности многие из них изобретательные и способные работники, все еще близкие в этом отношении крестьянам и ремесленникам. Строители-шабашники работают порой в нечеловеческих условиях световой день и дольше. Изрядной выносливости требует и стояние за рыночным прилавком. Показательно, что наречие русского языка, употребляемое на Кавказе с местными «акцентами» в качестве *lingua franca*, содержит слова и речевые обороты, довольно четко отделяющие понятия *работы* вообще, и тем более на формальной должности, от труда в личных интересах или на благо своей семьи (например, *амбалить* или *мантулить*).

В советские времена и особенно в кавказских республиках многие субпролетарии формально числились колхозниками или низкооплачиваемыми рабочими совхозов, труд в которых воспринимался навязанной государством своеобразной барщиной. Вполне ожидаемо, от подобной работы уклонялись всеми возможными способами, стремясь в полную силу заняться обработкой собственного приусадебного участка. Часть урожая с этих маленьких хозяйств шла на пропитание, остальное могло быть продано на городских рынках. Поскольку покупательная способность советского городского населения в последние десятилетия неуклонно росла, а официальные ограничения на передвижение слабели, все большее число сельских жителей находило гораздо более выгодным сосредоточение усилий на снабжении городских рынков, зачастую находившихся на большом удалении. Разумеется, тенденция обращения селян в эдаких «продуктовых контрабандистов» вела к ежегодной нехватке рабочей силы в официальном аграрном комплексе, однако в то же время позволяла смягчить дефицит свежих продуктов питания в крупных городах⁵². Кроме того, лишь самые большие и «передовые» колхозы были в состоянии обеспечить своих работников жильем, тогда как большинство сельских жителей должны были сами заботиться о себе. Практическая и статусная необходимость в обладании собственным домом (особенно явственная в подобных Кавказу патриархальных регионах) заставляла многих мужчин искать заработка на стороне, что обычно воплощалось в форму сезонной трудовой миграции («шабашки»), в основном в области строительства. Власти терпимо относились

⁵² Stephen Wegren, *Private Agriculture in the Soviet Union Under Gorbachev*, *Soviet Union/Union Sovetique* 16, nos 2–3 (1989), pp. 105–144.

к подобной самоорганизованной миграции, поскольку она помогла снизить дефицит рабочей силы в стратегических промышленных районах, включая даже отдаленную Сибирь.

Эмпирическими метками субпролетариата в наши дни могут являться бродящие по двору номинально городского особняка куры, столик напротив ворот, с которого старики или старушки продают сигареты, жвачку или домашние пирожки, а также присутствие в домохозяйстве большого количества женщин и детей разных возрастов. Субпролетарии не обязательно являются пауперами из трущоб, хотя, разумеется, многие из них беспросветно бедствуют. Сегодня на Кавказе в предместьях любого города и городка можно увидеть новые претенциозные особняки красного кирпича или монументального тесаного камня с представительскими «БМВ» и «Мерседесами» у ворот⁵³. Эти дома и машины чаще всего являются яркой отличительной меткой полуправильных предпринимателей, вышедших из криминальной уличной среды либо из теневой экономики советской эры⁵⁴. Богатство их неотделимо от риска, и рискованная жизнь неотделима от проявлений личной силы и сноровки, нередко суровых лишений и нарушения того или иного государственного закона: налогового, уголовного, миграционного.

Дезорганизованная жизнь субпролетариев иногда предлагает самые разнообразные возможности разового заработка, которые людям со стабильным источником доходов могут показаться сомнительными и излишне рискованными. На Кавказе подобные возможности были и остаются двух основных видов: полузаконная рабочая миграция в зоны более высокого заработка (Сибирь, Москва, а теперь и Западная Европа) либо различные виды частного извоза, торговли и контрабанды. В условиях советской плановой экономики перевозка даже пары ведер ранней клубники из теплицы на приусадебном участке на рынок большого промышленного города в центре (а тем более на севере) России означала солидный барыш – и властями чуть ли не приравнивалась к контрабанде и извлечению «нетрудовых доходов». Подобные операции тре-

53 Многие из этих автомобилей весьма вероятно были угнаны из Германии и перепроданы по цепочке польских и украинских посредников. Поскольку местные правоохранительные органы стали получать соответствующую информацию от Интерпола, время от времени эти машины находят. Какую именно машину находят, вероятно, зависит как от варьирующейся степени рвения самих стражей порядка, так и от того, кого они не захотят или не рискнут тронуть.

54 Vadim Volkov, *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002.

бовали достаточно сильного характера, выносливости, поддержки соотечественников в российских городах, и желательно также «крыши» в официальных структурах⁵⁵. Этнические связи помогали найти выгодные возможности, избежать проблем с представителями власти и снизить риск потерь или надувательства среди своих. Подобные навыки и связи, которые выходили за рамки законности в понимании государства, представляют центральный вид социального капитала субпролетариев.

Это во всех отношениях рискованный класс, жизнь представителей которого насыщена брутальностью и жестокостью, нетерпимыми для цивилизованных средних слоев. Защитная агрессивность демонстрируется как в одежде и поведении мужчин, так и в «базарной скандальности» многих женщин. Битье жен служит поддержанию рушащегося патриархального порядка, уличные шайки становятся отрицательным вариантом социализации подростков, силовые виды спорта вроде борьбы или бокса помогают поддерживать марку мужественности, а вандализм в отношении символов государственного порядка (будь то беззащитные скамейка в парке или общественный туалет), явно немотивированное хулиганство или периодически вспыхивающие бунты дают возможность выплеснуть социальное напряжение. Представления субпролетариата находятся в неустойчивом положении где-то между ритуалистической религиозностью крестьян и секулярной уверенностью горожан — что по всей видимости и объясняет предрасположенность субпролетариев к культам светского популизма и религиозного фундаментализма.

Субпролетарии в первую очередь привлекают внимание приезжих и иностранцев, которые склонны видеть местную экзотику, что я попытался показать в первой главе на примере полевых наблюдений в Грозном, Назрани и Нальчике. Национальные стереотипы («типичного» армянина, чеченца, русского) являются крайне скользким предметом для описания и анализа. Можно, конечно, их отмести с праведным интеллигентским негодованием. Проблема в том, что почему-то стереотипы продолжают бытовать и в какой-то мере (Какой? Вот еще одна проблема) структурировать взаимные ожидания и поведение людей. Стереотипы полуложны, что означает наличие и доли верифицируемого факта. Взять известную склонность северокавказских народов к символической демонстрации владения оружием. (Даже сталинские

⁵⁵ Барсукова С. Ю. Солидарность участников неформальной экономики: на примере стратегий мигрантов и предпринимателей // *Социологические исследования*. 2002. Апрель. 216. С. 3–11.

законы признавали право на ношение кинжала, если он надевался с черкесской и служил атрибутом национального костюма.) Именно благодаря ей на перестроечные митинги в какой-то момент стали являться с оружием, что, в свою очередь, значительно меняло характер не только символов, но самих средств и целей политической мобилизации. Только кто же ходит на митинг с оружием? Явно не женщины, и весьма сомнительно, что чиновники, врачи или кадровые рабочие зрелого возраста. Вероятно, антропологам и этносоциологам стоит попробовать аналитически разложить предполагаемое единство национальных «характеров» на более конкретные социальные диспозиции, стратегии и комбинации габитусов, задаваемых категориями общественного класса, гендера и других параметров стратификации. Примером служит то, как исследовательская группа Пьера Бурдьё изучала столь предположительно центральную и всеобщую черту французского национального характера, как «чувство элегантного вкуса»⁵⁶. В результате мы можем обнаружить, что национальные культуры вовсе не являются системами предписывающих норм и монолитно-устойчивых традиций, а представляют собой арены сложных и порою бурных противостояний. Вооруженная кинжалами и затем автоматами крутая молодежь из субпролетариев, надевшие романтические папахи национальные интеллигалы, либо тех же самых социальных групп и мотиваций мужчины с нагайками и в казачьих шароварах с лампасами действительно могли приветствоваться на перестроечных митингах в качестве более чем истинных патриотов. Пик подобного поведения приходится на период уличной мобилизации на Северном Кавказе в 1991–1993 гг. Однако в иных или просто более обыденных обстоятельствах подобный наряд скорее вызовет недоумение и подшучивание со стороны своих же соотечественников: «Откуда вещички? Музей ограбили?» или «Ты что, парень, нарядился на конкурс народного творчества?»

Бурдьё указывает на крайне ограниченный временной горизонт социальных действий субпролетариев. Причиной тому общая непредсказуемость и прерывистость их повседневного существования⁵⁷. Это наблюдение перекликается с доводом Артура Стинчкома о том, что всякая институционализация прежде всего раздвигает рамки социального будущего, создает заданность

⁵⁶ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.

⁵⁷ Бурдьё П. *Начала*. М.: Социологос, 1994. С. 21–24.

и предсказуемость⁵⁸. Тилли подробно показал, как в Новой истории Британии процессы институционализации парламентской политики и пролетарских классов в течение примерно столетия в корне изменили характер протестного поведения. По мере осознания в массе английского народа возможностей коллективных аргументированно написанных петиций, длительных кампаний мирного давления и согласованного продвижения своих интересов через парламентариев уходили в прошлое разовые, в основном сугубо местные, вспышки бунтарского насилия⁵⁹. Это, собственно, и означало «модернизацию» протестного поведения — расширялся временной горизонт, распространялись навыки дискурсивной грамотности, местные и сегментарно-цеховые идентичности сливались в гораздо более экстенсивные формы классового и национального сознания — как писал Тилли, вместо конкретно-бытовых «ткачей Беркшира и сукновалов Коттсволда» петиции подписывали теперь просто «английские рабочие». Однако институционализация современной государственности и классов, как испытали все пережившие распад СССР, отнюдь не является поступательным и исторически необратимым процессом. Она может и повернуть вспять, что наглядно демонстрируется примерами постсоветских стран, где многие пролетарии начинают осваивать субпролетарские стратегии выживания.

Это подводит нас к главному выводу. Пролетарии и субпролетарии занимают подчиненные и вместе с тем очень разные позиции в структуре общества. Эти два класса вполне могут столкнуться из-за их нередко совершенно разного восприятия социальных реалий, вкусов, предпочтений и диспозиционных склонностей. Столь же в корне разными могут быть их коллективные действия. Важнейшее различие между пролетариями и субпролетариями обнаруживается в их отношении к государству. Для постсоветских пролетариев государство, несмотря ни на что, остается ключевым представителем благ и организатором самой социальной структуры жизнеобеспечения. Поэтому они остаются, по знаменитому выражению Альберта Хиршмана, лояльными даже по отношению к покинувшему и предавшему их государству⁶⁰. Напротив, субпролетарии рассматривают государство как неизбежную помеху, пред-

⁵⁸ Arthur Stinchcombe, *Tilly on the Past as a Sequence of Futures*, review essay in: Charles Tilly, *Roads from Past to Future*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997.

⁵⁹ Charles Tilly, *Parliamentarization of Popular Contention in Great Britain, 1758–1834*, in: *Roads from Past to Future*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997.

⁶⁰ Albert Hirschman, *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1970.

ставленную злой полицией, мелкими корыстными чиновниками и прочими «шакалами». Обычная повседневная стратегия субпролетариев состоит преимущественно в избегании, обходе и уходе (хиршмановский exit). Однако в периоды общественных конфронтаций и кризиса государств субпролетарские массы могут возвысить свой коллективный голос и на какое-то мгновение стать грозной «уличной толпой».

НОВЫЕ КАПИТАЛИСТЫ: КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ

Сегодня новые капиталисты возникают из всех слоев и классов общества. Однако, в зависимости от их прежнего класса, они значительно различаются масштабами деятельности, образом действия и траекториями. Бывшая номенклатура создавала свои состояния путем конвертации административной власти в деньги. Подобно тому, как в советские времена номенклатура разделялась по вертикальным ведомствам и горизонтальным уровням бюрократической субординации, так же и новые олигархи различаются по калибру и удельному весу — от известных миллиардеров, завладевших благодаря их доступу к центральной власти крупнейшими экспортными предприятиями и целыми отраслями промышленности (финансы, нефть, металлургия, лес), до богачей городского и районного масштабов вроде шуточного Яхьи из кавказских ресторанных куплетов: «От Моздока до Джейраха нету круче олигарха, у Яхьи в придачу в Пятигорске дача».

Наиболее авантюрные субпролетарии искали (находили, теряли) удачи и сокровищ на «сером» или «черном» рынке, где их несогласовывающиеся с законом навыки и связи могли быть задействованы наиболее полно и эффективно. Становится понятно, почему в этой категории новых предпринимателей очень много насильственных смертей. В то же время следует отметить и другой довольно печальный факт — немногим из подпольных миллионеров и «цеховиков» советского периода удалось выжить в новых условиях. Приспособленные к советским условиям товарного дефицита, «блата», тактикам приписок и пересортицы, многие из этих прежде уверенных в себе воротил удивительно быстро оказались сломлены и выброшены на обочину новыми, гораздо более насильственными конкурентами. В личных траекториях мы находим тут множество смертей не только от пуль, но просто от инфарктов и других внезапно развившихся болезней, алкоголизма, нелепых несчастных случаев.

Истории рыночного успеха специалистов и пролетариев на капиталистическом поприще следуют за первыми двумя категори-

ями с существенным отрывом, поскольку большинство, вопреки своим мечтам перестроечных времен, осталось пленниками индустриального образа жизни. В среде бывших пролетариев предпринимательский успех сопутствовал в основном «рабочей аристократии» (к примеру, они могли открыть строительные и ремонтные фирмы в нижнем и среднем уровнях рынка), а также более космополитичным интеллектуальным и техническим кадрам, сосредоточенным в Москве и научно-индустриальных центрах бывшего СССР, сумевшим быстро преобразоваться в независимых профессионалов.

Ни одна из новых капиталистических групп за прошедшие почти два десятилетия не ушла далеко от своего исходного класса ни в плане общественного пространства, ни в классовых предпочтениях и габитусе. Номенклатурные капиталисты богаты, поскольку сохранили обширные связи в государственном бюрократическом аппарате. Преуспевающие врачи, юристы и финансисты все еще поддерживают респектабельный имидж интеллигенции (в основном чтобы не оказаться в социальной изоляции, а также провести границу между собой и неотесанно-грубыми «новыми русскими»). Ну а субпролетарские воротилы богаты потому, что, даже надев костюмы от Армани и банкирские очки в золотой оправе, они остаются, и ради самосохранения нередко просто обязаны оставаться по габитусу, типу социального капитала и связям, везучими преступниками беззаконной эпохи.

РЕАЛИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ, ДЕЙСТВИЕ И СТРУКТУРА

В современных научных дискуссиях по общественным структурам значительная часть сомнений и критики направлялась против прямолинейного соотнесения объективного экономического существования общественных классов с их субъективными идентичностями, культурами и политическими интересами. Критика имеет под собой реальную основу. Как люди определяют наличие совместных интересов в надличностном, многомерном и находящемся за пределами непосредственных личных связей современном сообществе? Осознают ли всегда классы тот факт, что являются классами и знают ли, какие именно цели преследуют? На второй вопрос история предоставляет множество отрицательных ответов. Общественные классы могут быть крайне далеки от того, чтобы выступать обладающей самосознанием общностью с ясно выраженной программой. Впрочем, это прекрасно знали и Маркс, и Ленин. На пути к объединяющей культурной идентичности лежит множе-

ство препятствий. Отдельной и еще более трудной задачей является перевод достигнутого единого самосознания в эффективную политическую стратегию. Процесс этот требует усилий, умелого задействования имеющихся в распоряжении или создаваемых в процессе символических, сетевых и организационных ресурсов, а также времени (на которое история в моменты кризисов бывает крайне скупа). В этом разделе я представлю лишь общий набросок подходов, которые, надеюсь, помогут нам совладать с возникающими аналитическими проблемами. Предлагаемое ниже обсуждение будет кратким по двум причинам: чтобы не утомлять читателя-неспециалиста и чтобы придерживаться осторожного принципа, практикуемого юристами, равно как и старыми корабелями: «*Чем меньше, тем более водостойко*».

Политические задачи националистических мобилизаторов могут показаться более легкими в сравнении с проблемами классово ориентированных политиков, поскольку предполагается, что первым необходимо лишь «разбудить» впавшую в спячку нацию. Насколько сомнительно это утверждение, убедительно свидетельствует множество недавних научных исследований по нациям и национализму⁶¹. Бенедикт Андерсон даже вынес в заглавие своей знаменитой книги многократно затем цитировавшийся постулат — нации являются «*воображаемыми сообществами*»⁶². Это вовсе не означает, что успешно возникшие нации являются искусственно сфабрикованными артефактами идеологической диверсии со стороны неких «этнических предпринимателей» (как превратно толкуют знаменитое заглавие Бенедикта Андерсона некоторые его последователи, так и не усвоившие аргументации и эмпирических примеров самой книги). Преобразование потенциальных культурно-лингвистических наций в архетипическую реалию политики и самосознания современного мира действительно потребовало значительных усилий множества видных и менее видных

⁶¹ Современный скептицизм относительно исконной данности наций опирается на знаменитую работу под редакцией Eric Hobsbawm and Terence Ranger, *The Invention of Tradition*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1983. Надежным путеводителем по всему спектру недавних дебатов о нациях и национализме служит сборник под редакцией John A. Hall, *The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Наконец, четкое обобщение дает Крейг Калхун (*Национализм*. М.: Территория будущего, 2007).

⁶² Benedict Anderson, *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983. Существует русский перевод: Андерсон Б. *Воображаемые сообщества*. М., 1998.

мыслителей, деятелей культуры и низовых активистов. Однако сам факт, что пробудители национального самосознания могли возникнуть в определенный момент современной истории, что первоначально в их головах оформились именно национального размаха чаяния и планы и что затем усилия одиночек-первопроходцев обрели такой потрясающий резонанс, указывает на историческое формирование социальных процессов и средств распространения, в свою очередь, порожденных рыночными сетями и ресурсами капитализма вкупе с современными бюрократическими государствами, централизующими территории и проникающими глубоко в социальную повседневность.

Наводит на размышления также и тот факт, что ознаменовавшие подлинный теоретический прорыв работы Бенедикта Андерсона, Эрнста Геллнера, Эрика Хобсбаума и Теренса Ренджера увидели свет в Британии одновременно в 1983 г. Они вызвали бум в области исследований национализма и этнорасовых идентичностей. Не случайно и то, что в это же самое время отходят на второй план прежде очень активные дебаты о формировании классового самосознания, т.е. по сути тех же идентичностей, хотя это слово вошло в моду лишь с бумом научной литературы по этничности, расизму и гендеру. Причина, очевидно, в том, что проблематика классов считалась центральной для классического марксизма и неомарксизма, которые стремительно отступали именно с начала 1980-х гг. А жаль! Была упущена перспективная возможность создания значительно более широкой общей теории, что, будем надеяться, еще может быть наверстано⁶³. Обе дискуссии, и по

⁶³ Особняком развивалась неовеберианская теория британца Майкла Манна, к которой совершенно не относятся критические замечания данного раздела. Он прекрасно видит переплетение и взаимопроникновение процессов формирования современных государств, капитализма, наций и классов. См. Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Важно отметить, что Манн, с конца 1980-х гг. перебравшийся на работу в Калифорнийский университет Лос-Анджелеса, в молодости был одним из членов интеллектуального кружка Эрнста Геллнера и, таким образом, одним из оппонентов (впрочем, неизменно дружественным) ведущих британских марксистов Хобсбаума и Перри Андерсона. Кстати, именно Перри подвигнул своего брата Бенедикта Андерсона написать его неожиданно глобально прозвучавшее аналитическое эссе «Воображаемые сообщества» — как ответ Геллнеру, Гиденсу и отчасти Манну. Другое дело, что Бенедикт Андерсон, родившийся в Китае и проведший большую часть жизни изучая страны Юго-Восточной Азии, никогда не был марксистом. Его политические симпатии, если не теоретические воз-

формированию классового самосознания, и по категориально-групповым идентичностям, имели дело, в сущности, с аналогичными процессами социального конструктивизма. Обе дискуссии оказались заужены вплоть до сектантства по совершенно политическим причинам. Западные марксистские ученые, будучи левыми по убеждениям, сосредоточили все внимание на самосознании рабочего класса, игнорируя ничем не менее интересное и сложное формирование самосознания буржуазии, интеллигенции или бюрократических каст. Тем временем теоретики феминизма, расовых и всевозможных прочих идентичностей, значительное большинство которых принадлежит к изучаемым им субкультурам меньшинств, практически забросили классовое измерение стратификации и, опять же в силу своих преимущественно лево-радикальных позиций, сосредоточились на угнетаемых и подчиненных группах. Проблематика же, подчеркнем еще раз, остается общей. Вопрос должен ставиться много шире: какими путями абстрактная категориальная общность, состоящая из многих повседневно не связанных и даже отдаленно не знакомых друг с другом людей (будь то нация или класс), обретает единяющее ее самосознание (идентичность) вместе со способностью определять и добиваться своих интересов?⁶⁴ Впрочем, обнадеживает то обстоятельство, что дебаты по проблематике классов разгораятся с новой силой — и на этот раз обещают привести к теоретическим обобщениям на уровне, достигнутом в области исследования наций и национализмов⁶⁵.

зрения, ближе к народничеству Третьего мира и анархизму — в чем Бенедикт Андерсон смыкается с Джеймсом Скоттом, другим не менее знаменитым исследователем Юго-Восточной Азии и крестьянского самосознания. Как видим, даже такое пунктирное обозначение научных социальных сетей указывает на довольно значительную сложность контекста, в котором возникают основные работы как по национализму, так и по классовому самосознанию. Дальнейшее оформление отдельных научных направлений и школ, занятых исключительно идентичностями, гендером либо классовым анализом, скрывает глубокую общность интеллектуального потока.

⁶⁴ Вопросы взаимопересечения национальности и класса в различном виде регулярно возникают в широком по охвату сборнике под редакцией George Steinmetz, *State/Culture: State-Formation After the Cultural Turn*, Ithaca NY: Cornell University Press, 1999.

⁶⁵ Три ведущих исследователя в области протестной политики — Дуглас МакАдам, Сидней Тарроу и Чарльз Тилли — указывают, что работы последних лет по национализму перегнули палку, сосредоточив все внимание на дискурсе и пренебрегая собственно содержательными элементами, включая такие фун-

Хорошим примером является вызвавшая немало споров и, что приятно, тем не менее, заслуженно увенчанная престижными научными премиями недавняя монография Ричарда Лахмана «*Капиталисты вопреки самим себе*»⁶⁶. Лахман по-новому анализирует главный классический сюжет современной истории и теории — переход от феодализма к капитализму на Западе. Новизна в том, что Лахман детально, по различным странам и областям Западной Европы эпохи Ренессанса и Реформации, и при этом теоретически четко и дисциплинированно показывает, где именно и почему происходил генезис совершенно беспрецедентного в истории социально-экономического строя, много позднее названного капитализмом, но при этом никакой буржуазной революции не было. Историю двигали в направлении капиталистической современности в основном сами бывшие феодалы, по ходу этого, занявшего несколько веков, процесса непроизвольно трансформировавшиеся в капиталистический класс. Для тех, кто пытается понять распад СССР, аналогии тут очевидны. Однако, заметим на будущее, отличия не менее важны как для теории, так и для текущего политического анализа.

Жестокий кризис XIV–XV вв. обрушил несущие структуры феодализма и вверг наследников правящих элит западного Средневековья в отчаянную, длительную и многостороннюю борьбу прежде всего между собой (чего стоят одни религиозные войны времен Реформации), с королевской и папской властью, а также с бунтующим крестьянством, городскими ремесленниками и купечеством. (Заметим, что в сосредоточении внимания на роли внутренних конфликтов в генезисе капитализма Лахман одновременно критикует и детализирует миросистемный анализ Валлестайна, возникший поколением раньше.) Своеобразие классового анализа Лахмана в том, что центральными действующими лицами в его ситуативном разборе исторических коллизий и эволюционных превращений выступают не абстрактные классы феодалов и крестьянства, а различные элиты, создающие соперничающие фракции внутри господствующего класса. В монографии Лахма-

даментальные процессы, как политика мобилизации общественных движений и строительство государства. Doug McAdam, Sidney Tarrow and Charles Tilly, *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Особо с. 228–233.

⁶⁶ Richard Lachmann, *Capitalism in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe*. New York: Oxford University Press, 2000. Русский перевод: Лахманн Р. *Капиталисты поневоле: Конфликт элит и экономические преобразования в Европе раннего Нового времени*. М.: Территория будущего, 2010.

на главный вектор борьбы — не вертикальный, между верхними и нижними классами общества, а горизонтальный, между политическими группировками и населяющими различные институции (придворные, церковные, местно-сословные) фракциями самого господствующего класса. Хотя все это представители одного класса, в период распада прежде объединявших их социальных сетей вассалитета и средневекового папства, они дробятся на фракции и действуют разными путями в зависимости от конкретных местных экономгеографических условий и политических коллизий, реагируя на бесчисленное множество сиюминутных тактических затруднений и дилемм — проще говоря, феодалы выживали как могли. Парадокс в том, что их классово-фракционная борьба за существование и сохранение стародавних привилегий привела без всякого генерального плана и действительно во многом вопреки их собственной воле к мутационному превращению наиболее удачливых из бывших феодалов в ранних капиталистов. Эмпирически насыщенная и теоретически стройная работа Лахмана, таким образом, наносит серьезный удар по ортодоксальным — либеральному и марксистскому — образам капиталистической современности как результату политической борьбы поднимающейся буржуазии против аристократического старого режима. Подобным же образом оказавшиеся в 1989 г. под давлением груза бесчисленных проблем и внутренних протестов советские номенклатурные руководители во многом против своего желания преобразовались в капиталистов и глав независимых государств.

Служило ли подобное преобразование личным и классовым интересам номенклатуры? Вероятно, не вполне так, учитывая общее ослабление их геополитических и статусных позиций в мироэкономике, отбросившее осколки бывшего СССР на периферию. Раздробившись на фракции, бывшая номенклатура действовала настолько хорошо, насколько получалось при имевшихся возможностях в сложившихся обстоятельствах. Однако кто до 1989 г. мог и дерзнул бы вообразить, куда их в итоге вынесет бурный поток недавней истории? Точно так же и многие повстанцы стали таковыми вопреки себе. Пример нашего Юрия Шанибова является совершенно ясным. Разве мог провинциальный преподаватель научного коммунизма вообразить, что станет вождем националистического вооруженного движения в войне против Грузии и что некоторые из его соратников и учеников позже вдохновятся примером исламистских боевиков Афганистана? И тем не менее они стали повстанцами, и поскольку это так, нам следует найти ответы на вопрос, как и почему такое могло произойти.

Теория Лахмана подкупает четкой логичностью, однако следует всерьез принимать и критические замечания Джулии Адамс, даже если они нарушают безупречность объяснения⁶⁷. Адамс признает, что ее восхищение работой Лахмана неотделимо от категорического неприятия его представления элит как сплоченных данностей, заведомо наделенных взаимно непротиворечащими интересами и способностью претворять их в жизнь. Подобно многим критикам, настаивающим на необходимости уделять особое внимание процессам перевода объективного и структурного в субъективное и активное, Джулия Адамс не предлагает нам ничего большего. Остается надеяться, что в будущем, на следующем этапе исследований, станет возможным восстановить приемлемый уровень определенности в описании динамики социальных структур и политического соперничества. Пока же мы постараемся понять, каким образом из многочисленных местных микроконфликтов и структурно ограниченных возможностей выбора могли зародиться общие условия, образующие волны коллективных действий по направлениям классов и национальностей. Достижение если не законченно теоретического, то, по крайней мере, эмпирико-логического понимания этих процессов в бывшем СССР предоставит нам потенциальную платформу для продвижения к будущей теории. Поэтому позвольте мне рискнуть репутацией и более четко изложить свои аргументы, открыв их для критики и усовершенствования.

Изоморфная однородность советских учреждений привела к схожести ситуаций и напряжений в различных областях и на разных уровнях социальной структуры, которые в терминах Бурдье можно назвать полями власти, культуры и т.д. Эти ситуационные очаги напряженности выразились в гомологичных ожиданиях, фрустрациях и конфликтах местного масштаба. Тем не менее они остаются ограниченными рамками специфичных ситуаций, поскольку обмен потоками информации между различными областями и социальными полями в настолько громадном и контролируемом цензурой пространстве, как СССР, долгое время был крайне затруднен. Важную сдерживающую функцию имел недостаток воображимых альтернатив существующему режиму, который очень долго сохранял видимость тоталитарного монолита⁶⁸. Однако, подобно всем

⁶⁷ Julia Adams, Materialists in Spite of Ourselves? *The Newsletter of the Comparative and Historical Sociology Section of the American Sociological Association*, vol. 15, no. 1 (Spring 2003), <http://www.cla.sc.edu/socy/faculty/deflem/comphist/chso3Spr.html>.

⁶⁸ Одна из лучших аналитических моделей данного процесса предлагается

механизмам, цензура и прочие репрессивные аппараты не вечны. Они подвержены перегрузкам и сбоям, могут быть обойдены изобретательными или обладающими соответствующими возможностями противниками, или же частично смягчены указаниями сверху, а именно реформистской фракцией, нуждающейся в привлечении более широких масс к дискуссии с целью изоляции фракции консерваторов и в надежде нахождения путей выхода из сложившейся тупиковой ситуации. Стоит потоку информации начать свое движение, как внезапно появляются и становятся известными широким слоям альтернативные возможности, а микроконфликты начинают распространяться, подобно кругам на воде. Прежде разрозненные люди начинают осознавать наличие важных для них общностей социальных диспозиций и интересов, что и позволяет им организовываться и сообща идти к достижению своих целей.

Для того чтобы это ощущение солидарности могло обратиться в форму практической мобилизации и согласованных действий, необходимо время — однако при революциях время летит быстро, подстегиваемое постоянно убыстряющейся чередой событий. Революции дезориентируют всех своих участников, потому люди начинают повсюду искать идеи, которые могли бы стать для них путеводной нитью. Вдохновение и образцы для подражания черпаются как в кажущихся уместными исторических примерах из зарубежья, так и в собственном опыте, перекроенном под требования новых задач современности (как Шанибов применил ранний опыт обращения с крутыми уличными парнями в формировании отрядов боевиков). Уместность идей и видения желательного будущего в основном оценивается по тому, насколько они отвечают инстинктивному социальному знанию, воплощением которого и служит *габитус* Бурдьё. Подобное сугубо практическое восприятие действительности не дает средств заглядывать далеко в будущее, поскольку в нереплексивной и невыразимой форме отражает именно прошлый опыт отдельных людей и общественных групп. Это вовсе не означает, что *габитус* или интуиция являются плохими советчиками. Они могут быть близорукими, но обычно срабатывают как бы на ощупь. Чарльз Тилли со здоровой долей самоиронии как-то заметил, что его локтю в большинстве случаев удается инстинктивным движением закрыть дверь по возвращении домой с пакетами из бакалейной лавки. Иногда попытки оказываются неудачными: содержимое пакетов рассыпается по полу или же требуется второй, на сей раз более сильный и осознанный толчок локтем или

Michael Urban, *The Rebirth of Politics in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

даже применение рук⁶⁹. Если и не всегда, то в большинстве случаев габитус все же срабатывает и предоставляет какой-то более или менее приемлемый выход даже из самых запутанных и непредсказуемых кризисов (если пожелаете, можете назвать этот процесс «продиранием через топкую грязь» — знаменитая английская консервативная стратегия *muddling through*). Поскольку правящие классы в силу своего положения обладают наибольшими ресурсами для претворения в жизнь инстинктивного понимания своих интересов, в конце концов, они нередко вновь оказываются правящими, хотя, возможно, и в какой-то иной форме.

То, что когда-то было феодальным классом Европы, пусть не целиком и не с равным успехом, стало классом капиталистов в переходе Запада к капитализму. Подобным же образом многие бывшие коммунистические руководители (или их молодые подчиненные, родственники, подопечные и патронажные клиенты) стали чем-то иным, а именно — обладателями экономического капитала или главами национальных государств. Если не все из них, то по крайней мере наиболее высокопоставленные либо ловкие, жестокие и удачливые смогли возглавить такие выгодные предприятия, как банки и нефтепромыслы (см. табл. 3). Они давно хорошо усвоили, как играть в определенные игры с Москвой для предотвращения ее нежелательного вмешательства в местные бюрократические дела — и это знание после 1989 г. позволило советским бюрократам начать игру уже в своих национальных рамках.

В подобные времена кажется, будто историю делают по своей воле выдающиеся во всех смыслах личности или, иными словами, что человеческий фактор превалирует над общественной структурой. Подобное впечатление относится к периодически возникающим философским дебатам о противоречии между структурным и человеческим началом в обществе, которые, надо признать, восходят к теме героического противостояния роковым силам судьбы, представленной еще шумерским эпосом о Гильгамеше, ветхозаветным повествованием об Иове и древнегреческими трагедиями. Дебаты породили множество интересных ходов, однако далеки от убедительного завершения. Вполне возможно, что в абстрактно-философском ключе проблема в принципе неразрешима.

Поэтому прибегнем в очередной раз к американскому прагматизму Иммануила Валлерстайна⁷⁰. Он видит выход в конкретизации исторического времени и пространства и предлагает вместо сося-

⁶⁹ Charles Tilly, *The Invisible Elbow*, in: *Roads from Past to Future*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1997.

⁷⁰ Валлерстайн неоднократно и по-разному формулировал свои предложения

зания логических аргументаций сосредоточить внимание на выявлении тех исторических моментов и институциональных ситуаций, в которых человеческий фактор стремится освободиться от структурных ограничений и действительно может их превзойти. Такое становится более вероятным в переходные моменты системного кризиса. Один из друзей Валлерстайна, известный благодаря популярным работам по теориям хаоса бельгийский химик и лауреат Нобелевской премии Илья Пригожин, называл это точками бифуркации в траектории системы⁷¹. Выражаясь для простоты метафорически, человеческая воля и творческая изобретательность высвобождаются, когда довлеющие над ними в обычных условиях традиции и привычные установки, официальные учреждения и контролирующие практики оказываются по какой-то причине перенапряжены, изношены, расшатаны или подорваны. Впрочем, не надо забывать, что в реальной истории такие ситуации всегда лишь относительно. Структуры редко разрушаются разом и полностью. Кроме того, полный хаос попросту лишит человеческий фактор структурной базы для осуществления его намерений и действий. Когда стены рушатся, можно не только пойти на все четыре стороны, но и просто застрять или погибнуть среди обломков. Таким образом, обе части уравнения являются величинами переменными и взаимообусловленными.

Кроме того, и сами наши наблюдения зависят от перспективы и используемых инструментов восприятия. Чем больше увеличение исторической лупы, тем более значительными и произвольно самостоятельными выглядят проявления человеческой воли. Таково профессиональное видение большинства историков, в фокусе научного внимания которых находятся подробности драматических событий и действия исторических личностей. Сделав биографию Шанибова периодическим возникающим лейтмотивом данного исследования, я сознательно ставил целью отследить развитие событий на этом более субъектном, «волюнтаристическом» и динамичном уровне. Но стоит нам отступить на шаг, как калейдоскопические сочетания человеческих действий и проносащихся событий могут приобрести очертания более устойчивых структурных моделей и процессов. Вот что имел в виду Фернан Бродель, проводя различия между длительной временной протяженностью структур — знаменитым *longue durée* — и скоротечным временем событий.

насчет дебатов о human agency versus social structure». Например, Immanuel Wallerstein, *Utopistics*. New York: The New Press, 1998.

⁷¹ Пригожин И., Стенгерс А. *Порядок из хаоса*. М.: Прогресс, 1986.

КОНТУРНЫЕ ЛИНИИ РАСПАДА СССР

Теперь у нас имеется в первом приближении понятие о классах и ключевых группах в позднесоветском обществе, его институциональной морфологии, истоках коллективных притязаний и потенциале их реализации посредством совместных действий. Остается свести аргументацию воедино и сделать наброски контурных карт социальной структуры, на которые мы будем в следующих двух главах наносить эмпирические процессы, приведшие к распаду СССР.

Табл. 2 показывает основные социальные составные трех политических проектов и их результаты в сравнении: сохранение бюрократического патернализма; упорядоченную смену (реформу) государства и экономических учреждений в основном в интересах групп, обладающих более высокими, сравнительно независимыми и находящимися на подъеме формами капитала; и, наконец, зону мятежности, показывающую группы, наиболее склонные к «неупорядоченным конфликтам», где уровень физического кровопролития зависит преимущественно от средств насилия (собственно армейского оружия, а также военной организации и ее специалистов), становящихся доступными по мере стихийной децентрализации власти, и имеется или отсутствует этническая направленность. Гомологические соответствия в табл. 2 представлены как взаимосвязи концентраций габитусов, возникающих из схожих социальных позиций и ограничений, что далее ведет к гомологиям диспозиций и ожиданий. Иными словами, табл. 2 помогает нам увидеть, кто к кому и на основе чего мог почувствовать притяжение, которое далее может развиться в возможную поддержку одних групп и личностей другими в ходе политического соперничества.

Основной формой советской организации является властная пирамида. Весь Советский Союз был, по сути, исполинской пирамидой, состоявшей из множества бюрократически организованных пирамид и пирамидок двух видов – отраслевых и территориальных. Пирамидальная иерархия бюрократической субординации удерживалась повсеместностью аппарата коммунистической партии, госбезопасности и института номенклатурных назначений. Эта организация возникла еще в годы Гражданской войны и революционной диктатуры. Вертикально интегрированный диктаторский аппарат в годы сталинской индустриализации предельно расширил свое присутствие в обществе с целью осуществления центрального контроля над всеми экономическими сред-

ствами и трудовыми ресурсами огромной страны. Таким образом, формальная бюрократическая пирамида стала охватывать все стороны социального воспроизводства. Чрезвычайная концентрация власти и ресурсов в руках диктатора и центрального управленческого аппарата в Москве позволила бросить все силы на преодоление разрыва с военно-промышленным потенциалом государств ядра миросистемы, т.е. с Западом (и собственным путем быстро его догонявшей Японией). Итогом стала не только невероятная победа Советского Союза во Второй мировой войне, но и достижение впечатляющего уровня современного «развития» в значении рационально координированного создания различных отраслей промышленности, науки, образования, а также управления, социального обеспечения и рабочей силы, приближающихся к образцам Запада индустриальной эпохи, таким как кайзеровская Германия или Детройт на пике «фордистского» промышленного режима.

На этом пути советское государство превзошло любые из капиталистических стран по уровню пролетаризации. Перевод трудоспособного населения на государственную зарплату не ограничивался огромными массами вовлеченных в промышленное производство рабочих, а включал также обычно «самотрудоустроенных» (self-employed) юристов, архитекторов, поэтов, таксистов, парикмахеров, сапожников и, что важно, крестьян, чьи хозяйственные решения и в значительной степени даже потребление оказались под контролем бюрократического государства. Лишь на самом нижнем уровне либо где-то в пазуховых пространствах и с краев этого государственно-промышленного левиафана мы обнаруживаем группы населения, только частично включенные в официальные институты трудоустройства, т.е. оставшиеся субпролетариями. Удельный вес подобных субпролетарских групп, однако, мог быть весьма значительным в южных регионах, например, на Кавказе и в Центральной Азии, где промышленных предприятий было меньше (причем зачастую на них работали в основном славянские мигранты), сельскохозяйственного населения больше — а следовательно, традиционно высоким оставался и уровень рождаемости.

На вершине пирамидальной структуры располагалась номенклатура или бюрократические руководители, формально назначаемые комитетами КПСС различного уровня, от Центрального до областных и районных комитетов. Большинство номенклатуры после десталинизации 1956 г., тем более с наступлением консервативного брежневизма и подавлением движений 1968 г., чувствовало себя вполне комфортно в своих креслах. Это политические сдвиги, вызванные самой номенклатурой, защитили

ее от произвольных чисток, сделали карьеру стабильной, жизненный уровень приемлемым, если пока и не самым высоким и вообще, позволили снизить нечеловеческий рабочий темп и облегчить психологическое напряжение, этот бич советских управленцев при Сталине. Стремление к осуществлению реформ исходило от активного номенклатурного меньшинства, которое в силу своего центрального положения было озабочено влиянием и престижем СССР за рубежом — или же ощущало, что брежневский застой препятствовал осуществлению их амбиций. Это особенно касается молодых представителей номенклатуры, а также руководителей технически наиболее продвинутых отраслей промышленности (см. табл. 2).

Реформистская номенклатура обрела в лице интеллигенции, профессиональных специалистов с высшим образованием и «рабочей аристократии» крупных капиталоемких предприятий (особенно крупных городов) весьма активных, даже нетерпеливых союзников. Заимствуемый из работ Бурдье принцип гомологичности в данной табличке наглядно демонстрирует нам, почему подобный союз выглядел таким естественным. Верхние слои класса пролетариев обладали накопленным большим профессиональным и культурным капиталом, но при этом чувствовали себя ущемленными во многих отношениях. По все более распространявшемуся мнению, они могли бы достичь большего, если бы режим дал возможность спецам и творцам выражать себя свободно и автономно организоваться в легальные профессиональные ассоциации. Интеллектуалы сфер искусства и науки были убеждены, что их творческий потенциал страдал от навязанных консервативным бюрократическим аппаратом цензуры и ограничений на ресурсы, информацию и мобильность. Вполне небезосновательно специалисты с высоким уровнем знаний в своих областях (юристы, врачи, архитекторы или не находящие применения изобретатели) все более открыто сходились во мнении, что смогли бы достичь уровня жизни западного среднего класса, если бы не досадное препятствие в лице правящей бюрократии. Рабочие капиталоемких и передовых отраслей желали обрести право влияния на принятие решений по процессам производства, а возможно, и на назначение руководителей цехового уровня — словом, на право объединения по профессиональному признаку вне рамок официальных профсоюзов. Эти верхние слои социалистических пролетариев создавали потоки культурных символов и политических проектов, которые постепенно наделили эти группы определенной степенью социальной солидарности и независимости перед лицом правящего режима. Именно их ожидания коллективной и индивидуальной самореали-

зации наиболее соответствовали идеалам гражданского общества и демократизации.

Оставалась значительно более обширная масса простых рабочих, занятых на промышленных предприятиях, в управленческих учреждениях, сфере услуг и сельском хозяйстве, и не обладавших ни высоким уровнем профессионального капитала, ни сколько-нибудь значительным уровнем культурного капитала. В большинстве своем эти «рядовые советские граждане» лелеяли вполне прозаические ожидания, не выходявшие за пределы непосредственного социального окружения. Однако это не означает, что они были обречены на вечную инертность и не могли организовываться в принципе. Простым рабочим не могла быть чуждой идея улучшения условий труда и повышения зарплаты, чего и должны были добиваться независимые профсоюзы. Многие колхозники в сложившихся условиях приветствовали бы возможность депролетаризации, позволившей бы им стать независимыми фермерами, возможно, объединенными посредством подлинно независимых производственных и бытовых кооперативов. И, при всей привычке к патернализму на производстве и социальной апатии, многие «рядовые советские граждане» не отказали бы себе в периодической радости наказать особо одиозных бюрократов, с треском прокатив их на выборах, коль скоро подобная возможность стала бы реальной и со временем рутинно ожидаемой. Однако классовое сознание требует не только стабильных условий (в которых рождается презируемый Лениным бытовой экономический «тред-юнионизм»), но также времени, а его-то в период ускоряющегося сползания в сторону развала СССР и не было. Всякая мобилизация современной классовой силы, пролетарской или, как показывают исследования других стран, буржуазной также требует активного идеологического и пропагандистского авангарда⁷². Здесь, как показывают те же исследования мобилизаций, прав оказался Ленин с его концепцией «внесения сознательности» и еще более Грамши с его «органичными интеллектуалами». Классовая мобилизация возникает отнюдь не столь спонтанно, как считалось раньше. Как и в случае с нациями, прежде должны поработать «пробудители сознания». Это требует до-

⁷² Литература на сей счет велика и растет быстро. Хорошими обобщениями служат: John Markoff, *The Great Wave of Democracy in Historical Perspective*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995; Jeff Goodwin, *No Other Way Out: States And Revolutionary Movements, 1945–1991*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001; Jeff Goodwin, James M. Jasper, and Francesca Polletta (eds.) *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.

вольно значительных, порой самоотверженных усилий, которых перестроечные политические мобилизаторы не предпринимали до самого последнего момента в надежде на президента Горбачева, который, по их оказавшемуся наивным мнению, обладал всей необходимой властью для проведения реформ сверху. (Позднее еще более фантастические надежды возлагались на неолиберального диктатора вроде Пиночета.)

Могло быть и наоборот — значительная часть простых рабочих скорее могла стать, и иногда становилась, низовыми носителями политических проектов консервативной номенклатуры. Можно, конечно, с презрением отметить это как проявление «авторитарного сознания» или сервильности «черни». Но если обойтись без либеральных эмоций, тут находим другой пример гомологии. Ключевым элементом брежневского консерватизма было сочетание возрастающего материального благополучия, корпоративно-патерналистское распределение благ и негласная безнаказанность самых разных проявлений неэффективности производства. Добавьте к этому долю сверхдержавного патриотизма. Людям, которые не читают Сент-Экзюпери и Хэмингуэя, за границу не ездят и не собираются, и вполне довольствуются обычными советскими товарами, будет вполне достаточно лестного сознания, что их сборная побеждает на Олимпийских играх, а их великой армии по плечу любой противник во всем мире (американскому читателю тут достаточно вообразить своего патриотичного, религиозного и консервативного соотечественника из Канзаса). Это символическая компенсация низкостатусного личного культурного капитала. Космополиты из крупных городов с их амбициями вызывают раздражение, которое легко мобилизуется в консервативно-патриотических целях.

Основная часть номенклатуры, особенно ее среднего звена, чувствовала себя вполне комфортно в условиях брежневской стабилизации и предпочитала верить собственной идеологии «развитого социализма», обещавшей все то же самое на долгие годы вперед. Задумываться о долгосрочных последствиях было бы признаком вольнодумства, нарушающего дюркгеймовскую ритуалистическую солидарность внутри социума. То же самое чувство стабильной нормализации жизненного уклада, вероятно, испытывало и большинство советских рабочих, свыкшихся с нетребовательным трудовым графиком и ограниченными ожиданиями дефицитных товаров широкого потребления, распределяемых «заботливым руководством» по месту работы. Однако подобное восприятие существующего порядка было диффузно-фоновым и пассивным. Консервативная мобилизация советских трудящихся против либеральных

реформистов и западников потребовала бы более активной идеологии — например, великодержавного шовинизма. Но в условиях многонационального СССР на такое чреватое непредсказуемостью решение не пошли бы сами консерваторы из Политбюро. В идеологическом соревновании за гегемонию над обществом инертные советские консерваторы регулярно проигрывали более активным реформистам, даже несмотря на наличие в нижних слоях общества значительного консервативного потенциала. Репрессивное лицемерие брежневизма в качестве единственного средства поддержания *статус-кво* становилось слишком очевидным как низко-статусным трудящимся, так и самой номенклатуре. Консерваторы, конечно, в период правления Брежнева контролировали высшие властные позиции. Однако эта ситуация резко изменится со смертью выразителя и символа их интересов. Будучи слишком привязанной к существующему порядку рутинными ожиданиями и габитусом и притом уже не имея достаточно активной веры в существующий порядок, в годы перестройки номенклатура и ведомое ею большинство рядовых советских граждан оставались, на удивление, политически пассивными. Это было именно то самое «молчаливое большинство», аналогичное разноликому консервативному электорату Никсона в США после бурных событий 1968 г. Вероятно, в России эпохи реставрации Путина пассивную основу политической гегемонии составит тот же социальный блок.

Наконец, субпролетарии, которых мы обнаруживаем на окраинах и стыках контролируемой государством индустриальной экономики. Конечно, в отраслевых индустриальных учреждениях Советского Союза субпролетариев было довольно мало, либо вовсе не было. Однако в территориальных единицах, особенно национальных республиках в промышленном отношении менее развитого южного пояса, субпролетариат был, напротив, весьма многочисленным. Обычно и в основном субпролетариат является внеполитичным классом, малоинтересованным в существующем режиме и ровно так же мало что выигрывающим от его смены. Для субпролетарского габитуса типично избегание государственной сферы, куда они проникают в основном с черного хода. Их стратегии направлены на выживание индивидов и семей, достигаемое в основном посредством неформальных сетей и практик в рамках бытовых и этноземляческих сообществ. Этот подход особенно ярко проявляется в статусно-культурной конфронтации с этнически чуждым окружением, например, в больших городах, являющихся пунктом назначения субпролетарских миграций. Однако субпролетарии могут входить в политику в моменты кризисов, когда они ощущают угрозу своей группе либо видят возможность от-

мщения тем, кто воспринимается в субпролетарских мифологиях непосредственными угнетателями или же при появлении необычной возможности оказаться в центре общественного эмоционального внимания, тем более если это сулит возможность приобрести новый статус или ресурсы.

Субпролетариат выказывает склонность к мятежам при вовлечении в политические процессы, однако крайне редко бывает демократичным как в риторике, так и в преследуемых целях. Пожалуй, ни при каких иных обстоятельствах эти характерные черты субпролетариата не проявляются столь наглядно, как в ходе этнических конфликтов. Субпролетарский активизм в этнических конфликтах вовсе не является единственным источником насилия, однако определенно играет значительную роль.

Исходя из задач нашего анализа, проведем черту между двумя разновидностями бюрократических пирамид — нетерриториальными отраслями и секторами осуществления экономических, правоохранных и социальных функций государства и территориальными администрациями различных уровней. Сюда относятся национальные республики и автономии, являвшиеся результатом унаследованной со времен Гражданской войны и прочно институционализированной практики нейтрализации периферийных национализмов. Однако, подобно тому, как советская индустриальная бюрократия стремилась замкнуться и не допустить нежелательного для себя вмешательства Москвы в повседневные дела, национальные республики также стали приобретать возрастающий уровень бюрократической изолированности, объективно способствовавший их продвижению к фактической и далее, после катастрофы 1991 г., к юридической самостоятельности. В брежневский период Москва лишь в довольно исключительных случаях брала на себя труд пойти на смещение глав национальных республик, власть которых теперь зависела не только от центра, но оказалась уже достаточно прочно укоренена в патронажных сетях в пределах своих республик и областей. Вдобавок многие из этих республик создали ядро национальных интеллектуалов, что стало возможным как благодаря обретению институтами национальной культуры своей собственной жизни, так и в силу наличия унаследованных традиций национальной культуры. Эти традиции были сохранены в основном благодаря семьям старой интеллигенции, а также тех новичков в области национальной культуры, которые пытались воспроизвести престижный статус и имидж предшествовавших поколений.

Когда политика Горбачева сделала возможным публичное оспаривание деятельности консервативной номенклатуры среднего

звена, национальные интеллигенции республик сумели достаточно быстро преобразоваться в вождей зарождавшихся гражданских обществ. Подобные общества возникали в основном в социальных сетях творческой интеллигенции, давно знавшей друг друга и обычно проводившей всю жизнь в одном и том же городе, за работой во взаимно связанных государственных учреждениях национальных истории, культуры и т.д. Из-за централизации основных государственных ресурсов СССР, у местной номенклатуры были лишь ограниченные возможности для самостоятельного применения государственного насилия, а поддержка в таких делах со стороны Москвы в горбачевский период сделалась проблематичной. Созданные и ведомые национальными интеллигенциями гражданские общества неожиданно для самих себя оказались в состоянии всерьез оспорить власть национальной номенклатуры.

В подобных обстоятельствах национализм виделся естественным выбором, поскольку большинство институциональных структур в республиках уже и так носили национальную окраску. В мобилизационном отношении национализм также обладал очевидными и крупнейшими преимуществами в сравнении с классовой политикой демократизации и экономических реформ. Конечно, национальные чувства, как правило, значительно сильнее, от квазиродственных и вплоть до самых апокалиптических эмоций, по сравнению с классовой солидарностью и расчетом рациональной политики уступок и парламентского согласования интересов. Но помимо пресловутой поэтической пассионарности патриотизма действовали также вполне политические и даже грубо материальные факторы.

В отличие от социал-демократической классовой мобилизации, непосредственно угрожавшей интересам и позициям косной административно-производственной номенклатуры, национализм смазывал местные классовые противоречия. В частности, это позволяло избежать заложенных в патерналистических структурах советской промышленности препятствий на пути массовой мобилизации. В период перестройки выяснилось, что те же самые патерналистские модели зависимости от рабочего места, которые не позволили в основной своей массе славянскому рабочему классу центральных регионов СССР перейти к политическим действиям, в национальных республиках, наоборот, могли способствовать националистической мобилизации. Такая разница в использовании потенциала в принципе одной и той же социальной модели оказалась обусловлена тем, что в республиках нерусские представители административной и экономической номенклатуры видели больше стимулов и шансов пережить ради самосохранения на сто-

рону «своего народа» с тем, чтобы его возглавить. При этом местная номенклатура сохраняла не только свой начальственный авторитет, но и ресурсы, которые затем использовались в поддержке и организации демонстраций, забастовок и, наконец, референдумов по провозглашению национальной независимости. Номенклатура национальных республик начала выходить из-под центрального контроля после того, как убедилась, что действия Москвы становятся, с ее точки зрения, все более нерешительными и ошибочными, тогда как нараставший призыв национальных интеллигенций все больше начинал угрожать власти бюрократии. С этого момента верховные советы национальных республик, прежней обязанностью которых являлся перевод на родной язык принимаемых в Москве решений, стали преобразовывать себя в национальные парламенты, а молодые представители номенклатуры очутились в первых рядах националистической мобилизации и даже повели на мероприятия общественного протеста своих работников и подчиненных.

Наиболее вероятным результатом было то, что политологи называют трансформацией режимов по «межэлитной договоренности» (*pacted transitions*). В данном случае это вело к национальной независимости, но вовсе не обязательно к сколь-нибудь глубокой демократизации. Предлагая национальным интеллигенциям ту или иную форму политического союза против Москвы, бывшая национальная номенклатура получала хорошую возможность остаться у власти. В подобных случаях, как, например, в Украине, Узбекистане или Татарии, успешные фракции местной номенклатуры в скором времени более или менее легко одерживали верх над неизбежно сырыми, спешно сформированными коалициями национальных интеллигенций. В результате эти номенклатуры привели свои страны к упорядоченному, но авторитарному варианту перехода к национальной независимости (или же квазинезависимости в случае Татарстана). В трех прибалтийских республиках бывшая номенклатура была принуждена вступить в достаточно широкий и относительно равноправный союз с гораздо более организованными национальными интеллигенциями. Сохранению подобных договоренностей очень способствовало внешнее влияние западных государств. Это привело к демократизации и последовательным рыночным реформам неолиберального толка.

На Кавказе мы находим основные эмпирические примеры третьего пути. Созданные и возглавленные национальными интеллигенциями коалиции оказались способны мобилизовать остальное общество вплоть до самых низов в основном путем конфликтной

поляризации по отношению не столько к Москве, сколько к соседним противоборствующим национальным движениям и государствам. Это позволило национальным интеллигенциям довольно легко одержать верх над собственной номенклатурой. Куда труднее оказалось затем восстановить государственный порядок. Кавказские национальные революции черпали значительную долю своей энергии из массы субпролетариата. Это определило как исключительно бурный и подчас крайне насильственный характер демократизаций, так и их крайнюю неустойчивость. В следующей главе мы увидим, как это произошло.

ГЛАВА 5

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ

Опаснейший момент наступает для скверного правительства, когда оно решается встать на путь исправления. Злоупотребления, дотоле молчаливо сносимые, ибо власть виделась незыблемой, вдруг становятся невыносимы, стоит лишь мысли о самой возможности их устранения промелькнуть в умах людей. Исправление же одних несправедливостей немедленно привлекает внимание к другим, которые оттого начинают казаться горше прежних.

Alexis de Tocqueville,
The Old Régime and the French Revolution.
(New York, 1955; orig. Paris, 1856).

Что именно случилось с перестройкой? Попытаемся ответить на этот вопрос сочетанием теоретических аргументов макросоциологии с детальным эмпирическим рассмотрением национальных мобилизаций на Кавказе и в других регионах СССР. Взрывной рост национализма, экономические просчеты и неудачи, волна криминального рэкета и стихийный «разгул демократизации» чаще всего называются мемуаристами и комментаторами среди факторов, приведших к провалу горбачевских реформ. Однако все ли так ужасно просто, как кажется? Откуда взялись сами конфликты и «факторы нестабильности», почему они вдруг приобрели такую вирулентность? Даже если принять общепринятые суждения за гипотезу, то каково аналитическое взаимоотношение национализма, криминала, разрушения планового хозяйства и демократизации в вариативных местных комбинациях, приведших к обрушению государственной власти?

Национальные мобилизации в республиках нередко достигали в самом деле потрясающего эмоционального накала и подвижнической мобилизующей силы. Из трех с половиной миллионов тогдашнего населения советской Армении около миллиона — что

означает чуть ли не всех взрослых мужчин и женщин республики — дневали и ночевали на Оперной площади Еревана, скандируя в один голос «Миацум!» («*Воссоединение!*») — Армении с Нагорно-Карабахской автономной областью соседней Азербайджанской ССР. Населенная преимущественно армянами и отделенная от Армении лишь тонкой полоской азербайджанских районов, НКАО в начале 1920-х гг. оказалась включенной в состав советского Азербайджана, и теперь армяне добивались исправления этой «сталинской ошибки». В трех прибалтийских республиках — Эстонии, Латвии и Литве — сотни тысяч людей брались за руки и выстраивались в единую человеческую цепочку от польской границы до Финского залива. Им даже не было надобности скандировать политические лозунги и тем более штурмовать какие-либо бастилии и зимние дворцы. Просто они пели громадным хором свои народные песни, подавая громкий и ясный сигнал — мы цивилизованные и хорошо организованные люди, достойные жить в Европе, а не в Советском Союзе. Позднее, в декабре 1994 г., тысячи простых чеченцев, прежде вовсе не боевиков и не обязательно даже сторонников сепаратистского президента Дудаева, в патриотическом порыве тех дней продавали свои телевизоры или коров, чтобы купить на грозненском рынке оружие и устроить засады против танковых колонн российских федералов. Нуждаемся ли мы в дополнительных примерах преданности масс национальной идее?

Однако целью нашего исследования является вовсе не поиск свидетельств кратковременно успешной мобилизации. Мы стремимся понять, почему и как программа демократизации советского государства свернула к национализму и вместо реформы или революции произошел хаотический распад государственности. Не менее важно понять, каким образом миллионы людей могут вдруг обрести — и затем потерять — способность в один голос и мощно заявить свои требования. Вопрос непростой, и нам придется открыть ящик Пандоры, из которого возникает множество еще более запутанных загадок. Почему нации СССР, десятилетиями жившие при куда худших правителях, внезапно начали требовать того, что ни благорасположенный Горбачев, ни вообще так называемый московский центр не могли им дать? Просто из-за ослабления цензурного гнета? Тогда почему национальные требования возникли отнюдь не сразу, а лишь спустя несколько насыщенных событиями лет. Перестройка и ускорение объявлены уже в начале 1985 г., гласность бурно развивается в 1986 г., а национальные мобилизации и первые этнические конфликты возникают лишь в 1988 г. Горбачевское омоложение власти, экономическое ускорение и гласность, нет сомнения, вначале приветствовались и при-

нимались в качестве легитимной политической новации практически всем советским обществом, от большинства номенклатуры, не особенно скрываясь, признававшей тупик брежневского застоя, до воспрянувших диссидентов, освобожденных из ссылки и тюрем, и не в последний черед прежде непримиримыми западными антикоммунистами во главе с Маргарет Тэтчер и Рональдом Рейганом. И это не было притворством. С виду простоватый президент Рейган, надо отдать ему должное, проявил недюжинную интуицию и политическую волю, поверив в реальность предложенной Горбачевым возможности устранения чудовищной угрозы ядерного конфликта и удалив от себя неоконсервативных идеологов (вроде впоследствии скандально известных Рамсфельда и Вулфовица), которые настаивали на жестком продолжении «холодной войны» до победного конца¹. Либо как объяснить легендарную в своей близорукости речь, произнесенную следующим президентом США Джорджем Бушем-отцом во время визита в Киев летом 1991 г., когда до окончательного распада СССР оставались считанные месяцы. Лейтмотивом той речи, прозванной чувствовавшими ход событий западными журналистами *chicken Kiev*², был призыв умерить националистические требования и дать шанс Горбачеву. Было ли подобное отношение со стороны Вашингтона лицемерием или же проявлением консервативного дипломатического реализма, главными ценностями полагающего постепенность, осторожное сохранение международного баланса, предсказуемость и вменяемость партнеров, а также взаимное уважение главных игроков?

Или почему лавину массовых выступлений против центра начинают армяне — традиционно чуть ли не самая лояльная нация в СССР, включая даже зарубежную диаспору, да и позднее в массе своей сохранившие искренние симпатии к России и русским? И почему их конфронтационные требования выдвигались с националистической платформы, а не следовали в русле куда более мирных, рациональных и, казалось, многообещающих программ демократизации, общественных преобразований, большей самостоятельности в принятии экономических решений или, например, защиты исторических памятников и окружающей среды? На самом деле все вышеуказанные программные идеи уже стояли на политической повестке дня. Однако как только возникло карабахское дви-

¹ Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991*. New York: Vintage Books, 1994, p. 249.

² Игра слов. *Chicken Kiev* — куриная «котлета по-киевски», однако *chicken* (цыпленок, курятина) на американском сленге означает «трус» или глагол «сдрейфить».

жение, все они оказались в подчиненном национализму положении. С какого-то момента демократизация, социальные реформы, рыночная самостоятельность и защита природы стали считаться делом невозможным, покуда основная власть оставалась сосредоточенной в Москве, а не в национальных республиках.

Почему в некоторых, но далеко не во всех республиках Союза, в основном на Кавказе, слова и образы национальной идентичности, казалось, автоматически привели к межэтническим конфликтам, а во множестве трагических случаев и к подлинному братоубийству? Заметим показательный парадокс. В национальных республиках местные русские почти никогда не оказывались основными мишенями погромов и массовых изгнаний. (На самом деле даже в Чечне, о чем будет сказано отдельно.) Объектом этнической ненависти куда чаще становились жившие по соседству и нередко в почти буквальном смысле этого слова братские народы. Жертвы и их преследователи (а это зачастую категории переменные) имели много общего в областях материальной культуры, социального статуса, вплоть до общего языка и религии. В годы гражданской войны в Таджикистане таджики жестоко убивали таджиков из других областей республики. В приднестровском противостоянии, на краткий срок в 1992 г. переросшем в войну, обе стороны были (по крайней мере номинально) православными, и с обеих сторон в конфликте участвовали в различных пропорциях молдаване, русские и украинцы. Грузины и абхазы имели столь много общего в быту и в ряде мест жили бок о бок так долго, что многие породнившиеся семьи и целые деревни затруднялись ответить, кем же они являются «на самом деле» — в Абхазии свободное двуязычие и даже трехязычие издавна было нормой. Терские казаки после столетий не всегда мирного порубежного соседства с чеченцами сами сделались полнейшими кавказцами и в основном отличались от соседей просто тем, что не чеченцы. Горцы, лишь в исторически недавние времена ставшие называться осетинами и ингушами, еще в начале XIX в. нередко принадлежали к одним и тем же общинам и кланам. Среди самих осетин (как и абхазов) порой в одной деревне или большой семье встречаются и христиане, и мусульмане — и ничего, живут себе родственно, регулярно совершая традиционные обряды еще и языческого происхождения. Кабардинцы и балкарцы традиционно исповедовали ислам суннитского толка и вполне мирно соседствовали с незапамятных времен. Даже армяне и азербайджанцы, несмотря на разные язык и веру, имеют множество общих черт в традиционной общественной организации, ролевом поведении, быту, кухне и особенно в популярной музыке — отчего интеллектуалы-армяне морщили носы при звуках

неминуемо исполняемых на свадьбах и застольях надрывных колоратур явственно ближневосточного звучания и павлиньих завываний кларнета, неподобающих культуре древнейшего индоевропейского (упор, конечно, на второй части слова) и христианского народа³. Это маленькое антропологическое отступление наводит на почти риторический вопрос — да при чем здесь столкновение цивилизаций?!

НЕСБЫВШИЕСЯ ПРОГНОЗЫ

Всякая добротная теория этнических конфликтов должна при этом также объяснить не только то, что случилось, но и почему масштабного кровопролития не произошло в других регионах Советского Союза. Дело не во флигельном измышлении «сценариев». Проблема и сложнее, и аналитически много важнее, чем кажется на первый взгляд⁴. Если бы в семидесятых годах кто-либо спросил у практически любого западного советолога или аналитика ЦРУ, где Москва может столкнуться с серьезными националистическими восстаниями, с готовностью бы последовал ответ — в Прибалтике, на Западной Украине и, вероятно, в Узбекистане и Туркмении. Этот прогноз был элементарной экстраполяцией из прошлого опыта. В самом деле, туркестанские басмачи, западноукраинские повстанцы-бандеровцы, прибалтийские «лесные братья» в не столь давние времена оказывали упорное многолетнее сопротивление советизации.

В конце 1970-х гг. небольшая, но весьма авторитетная группа французских и британских экспертов по исламу и Центральной Азии во главе с потомком русских эмигрантов ориенталистом Александром Беннигсенем выдвинула сенсационное предсказание, что бомбами в фундаменте СССР являются шиитский Азербайджан и суннитские, проникнутые традиционными суфийскими братствами Дагестан и Узбекистан, причем до взрыва остаются мгновения. Вкратце аргументация сводилась к следующему: быстро растущее население мусульманских республик, предположи-

³ Несмотря на пестрое многообразие пятидесяти с лишним национальностей, в целом Кавказ демонстрирует удивительную общность традиционных социоантропологических моделей. См. авторитетное обобщение трех почтенных этнографов: Абдушлишвили М., Арутюнов С., Калоев Б. *Народы Кавказа: антропология, лингвистика, хозяйство*. М.: Институт антропологии и этнологии РАН, 1994.

⁴ Этот ретроспективный эксперимент подсказал профессор Принстонского университета Марк Бейссинджер.

тельно недовольное своим экономически отсталым положением и нахождением на вторых ролях у христиан-русских, вскоре непременноотреагирует на призывы своих восставших братьев в Иране и Афганистане⁵. В действительности шииты никак не проявили себя в антисоветской деятельности, а в 1990-е гг. Иран соблюдал благорасположенный нейтралитет к России, подавлявшей восстание в Чечне, и Армении, боровшейся с единоверными азербайджанцами за Карабах. Суфийские же тарикаты выступили лояльными союзниками центральной власти в противостоянии действительно пришедшему извне, но уже после распада СССР радикальному исламскому салафизму (или ваххабизму). Узбекистан оказался одной из последних республик, неохотно покинувшей, вернее и грубее говоря – вытолкнутой из Союза односторонним решением ельцинской России, Украины Кравчука и Беларуси Шушкевича об упразднении СССР.⁶

Даже под таким оскорбительным давлением выход Узбекистана из СССР, тем не менее, прошел в довольно упорядоченной манере. И в то же время на пути к обретению Узбекистаном неожиданной независимости имели место два мрачных эпизода, наглядно продемонстрировавших наличие гораздо более разрушительных и кровопролитных возможностей хода исторических событий. В обоих случаях действующими лицами выступали вовсе не мусульмане против христиан или русских, а мусульмане-сунниты против собратьев-суннитов. Первым был погром турок-месхетинцев

⁵ Самой известной и высокостатусной выразительницей прогноза о губительной исламской угрозе Советскому Союзу выступила французженка и впоследствии не менее чем президент Французской академии H  l  ne Carr  re d'Encausse, *Decline of an Empire: The Soviet Socialist Republics in Revolt*. New York: Newsweek Books, 1979. Сегодня полезно бы перечитать ее громогласно прозвучавший на фоне иранской революции бестселлер прошлых лет – так же, как и взвешенную критику Muriel Atkin, «The Islamic Revolution that Overthrew the Soviet State?» in Nikki Keddie (ed.), *Debating Revolutions*. New York: NYU Press, 1995, pp. 296–313.

⁶ К чести издававшегося в Гонконге журнала *Far Eastern Economic Review*, следует сказать, что в то время, когда западная пресса праздновала «триумф национальностей», этот журнал в первые недели 1992 г. вышел с заглавной статьей под мрачным названием «Центральную Азию выбросили в Третий мир», написанной, кстати, пакистанским журналистом Ахмедом Рашидом, будущим автором мировых бестселлеров «Талибан» и «Джихад». На обложке того номера журнала была изображена эдакая колесница или удалая русская тройка, с которой лихой возница с чертами Ельцина ногою спихивал растерянных людей в тубетейках и среднеазиатских халатах.

в 1989 г., а вторым — краткий, но кровавый конфликт между узбеками и киргизами в следующем году. Собранная в ходе моей поездки в Узбекистан в мае-июне 1991 г. информация дает основание утверждать, что конфликт между узбеками и киргизами был в основном столкновением местного масштаба между двумя группами этнического субпролетариата, связанными с разными коррупционными сетями официального патронажа. Внутренняя административная граница между Узбекской и Киргизской ССР была очень пористой и вдобавок определена не везде четко. Это создавало почву (в том числе в самом буквальном смысле слова) для взаимных притязаний на участки земли близ города Ош в Киргизии, как тогда назывался Кыргызстан. Ош находится в Ферганской долине — самом крупном и плотно заселенном оазисе советской части Средней Азии. С одной стороны, киргизские городские власти хотели перепрофилировать прилегающие к Ошу земельные участки для строительства частных домов под рубрикой популярных в те годы «молодежных жилищных кооперативов». Согласно официальной риторике, это позволило бы облегчить проблему обустройства малоимущей киргизской молодежи, а также (как это водится в нашем суетном мире от Палермо и Каира до Шанхая, Чикаго и Сан-Пауло) создало бы прибыльный источник приписок, взяток и «откатов», неизменно связанных с массовым строительством. Со своей стороны, узбекские земледельцы давно полуофициально арендовали эти земли под частное огородничество, поскольку пригородные участки находились вне официальной монополии колхозов на сельскохозяйственные угодья⁷. Многие свидетельства указывают на то, что унесшее десятки и, возможно, сотни жизней кровопролитие ожидалось всеми и в какой-то мере даже было заранее тайно спла-

⁷ Как и в случае со всеми подобными случаями насилия, достаточно подробное и достоверное исследование не может быть обязанностью ученых. Здесь я предлагаю придерживаться универсального подхода, предполагающего рассмотрение причин и обстоятельств погромов и других насильственных форм конфликта при помощи социологической реконструкции событий, опирающейся на теоретическое понимание, тщательно согласуемое с доступным эмпирическим материалом. Как именно собрать такие факты, является отдельной методологической проблемой — боюсь, что при всем риске полевые исследования или что-то очень близкое к ним необходимы для каждого случая. Местные жители часто знают на каком-то уровне, что происходит (особенно если оказываются непосредственными участниками событий), хотя это знание либо не отрефлектировано, либо погребено под национальными стереотипами или позаимствовано у текущей пропаганды политической риторикой.

нировано в неких не вполне ясных целях — испугать Москву, опозорить скандалом и подвести под смещение кого-то из местного руководства или заморозить ситуацию введением советских внутренних войск. К примеру, на местных заводах загодя были изготовлены заточки и дубинки. Атмосфера дозволенности подобных действий была создана вспышками насилия в Центральной Азии и на Кавказе, в которые Москва вмешивалась неохотно и в последний момент. Далеко за примером ходить нет нужды — достаточно вспомнить изгнание турок-месхетинцев из узбекской части той же Ферганской долины годом ранее, летом 1989 г.

На первый взгляд малопонятный этнический погром, на уровне низов это также было скорее всего столкновением за перераспределение ниш на высокодоходном теневом рынке сельскохозяйственной продукции. Сосланные в Узбекистан в 1944 г. из юго-западных районов Грузии турки-месхетинцы занимались в основном интенсивным сельским хозяйством и частной продажей выращенного на рынке, что делало их сильными конкурентами узбеков. По общему мнению местных жителей, то обстоятельство, что месхетинцы были такими же суннитами и говорили на родственном тюркском наречии, лишь усугубляло оскорбительное положение: с виду почти свои, но все же «пришлые ловкачи»⁸.

⁸ Норберт Элиас, остающийся, во всяком случае среди американских ученых, наименее известным и редко читаемым из классиков социологии, помимо запоздало знаменитого «Цивилизационного процесса» написал в свое время еще и теоретически интереснейшее исследование на тему формирования оппозиции «коренные — пришлые». Эмпирической базой послужили многолетние включенные наблюдения в английского провинциального городка Лестер, где Элиас преподавал в университете после войны. В одном из пригородов Лестера Элиас и его сторудник Джон Скотсон обнаружили естественно возникшую ситуацию социального эксперимента. Там соседствовали три отдельные статусные группы, причем все они в равной мере, несомненно, были англичане и протестанты. Наряду с чопорно державшейся особняком и задававшей тон приличиям провинциальной буржуазией и средним классом, в Лестере сформировалось два отдельных сообщества рабочих, реально не отличавшихся ни уровнем зарплат, ни образованием, ни видом жилища, ни любимыми формами досуга. Просто одни пролетарии вели свой род от работников лестерширских фабрик еще времен индустриальной революции XIX в. и гордо ставили себя в положение «приличных коренных», а другая группа пролетариев прибыла на работу лишь в годы Первой мировой войны и потому даже десятилетия спустя считалась «пришлыми». «Коренные» и «пришлые» собирались только в своих пабах, ходили в гости и на футбол со своими. Молодежь воспроизводила деление элементарно в силу

Следует сказать, что в Узбекистане имелась еще одна весьма зажиточная и совершенно отдельная община пришлых, притом еще более предприимчивых и склонных к интенсивному огородничеству корейцев. Советские корейцы также были насильственно переселены при Сталине с Дальнего Востока в Среднюю Азию. Со временем они сумели плавно перенаправить свои стратегии выживания в условиях первых лет ссылки путем организации подсобного хозяйства и этнической солидарности на последующее достижение успеха в частном рыночно ориентированном огородничестве и полутеневом предпринимательстве. Довольно неочевидным образом в сравнении с месхетинцами корейцы оказались не столь простой мишенью для нападения, поскольку, как замечательно выразился интервьюируемый узбек, *«так корейцы же – европейцы»*. Он подразумевал, что в контексте Центральной Азии корейцы не считались азиатами, поскольку не были мусульманами. Означает ли это, что корейцев, подобно русским, окружала особая аура московского покровительства? Не совсем так. Хорошо информированный советский кореец разъяснил это иначе, возможно лишь немного преувеличивая: *«Мы годами платили хорошие взятки узбекским чиновникам и милицейским. А еще они знали, что мы покупаем кое-какое оружие и что в случае чего полмиллиона корейцев будут драться друг за друга до конца. Уж такой мы народ!»* Если оставить браваду в стороне, то корейцы оказались в сравнительно более безопасном положении, вероятно, потому, что обладали более высоким социальным статусом, большими ресурсами — а потому и более сильным патронажем. Вероятно, также, что тем, кто предположительно извлек политическую выгоду из погрома месхетинцев, было достаточно изолированной вспышки насилия, чтобы не слишком провоцировать Москву. Что касается живших в Узбекистане русских, то они были в основном промышленными специалистами, работниками медицины и образования, городскими рабочими, изначально не представлявшими узбекским субпролетариям конкурен-

проживания в разных городских кварталах, продолжала раздельно посещать школы, церкви, танцзалы. Оттого знакомились и женились преимущественно в своей группе. «Коренные» выработали целый арсенал расистских стереотипов в отношении «пришлых», считая их жуликоватыми лентяями, пьяницами, плохими хозяевами и хозяйками — и все это, повторим, среди вполне «цивилизованных» рядовых англичан безо всяких этнических, конфессиональных и даже экономических отличий. Значение этой забытой работы для теорий этнической идентичности не может быть более очевидным. Norbert Elias and John L. Scotson, *The Established and the Outsiders*, edited by Cas Wouters (Dublin: UCD Press, 2008 [Collected Works, vol. 4]). See www.ucdpress.ie.

ции ни в коррупционном соперничестве за ренту, ни в земельных спорах, ни в торговых рядах местных восточных базаров⁹.

Какой бы ни была скрытая политическая причина, выбор турок-месхетинцев в качестве жертвы не выглядит совсем уж случайным. Окружающие эти события истории свидетельствуют, что погром скорее всего готовился и координировался на каком-то неизвестном уровне. Однако крупномасштабный заговор также маловероятен. Внутренняя политика бюрократического патронажа в советском Узбекистане была жестоко дезорганизована еще в начале 1980-х гг., когда андроповская фракция в высшем руководстве страны выслала в печально известную своей коррумпированностью среднеазиатскую республику специальную следовательскую группу, наделенную самыми широкими полномочиями¹⁰. Действия присланных центром следователей-«варягов» вскрыли картину повсеместных хищений и взяточничества. Согласно информации перестроечных разоблачений, в 1982–1986 гг. кампания по борьбе с коррупцией привела к снятию с должностей до 90% номенклатурных работников Узбекистана, многочисленным арестам и судебным процессам над самыми высокопоставленными руководителями этой республики¹¹. Вслед за андроповской антикоррупционной чисткой уже при Горбачеве последовала новая волна смещений в руководстве Узбекистана. В Москве утвердилось предубеждение, что в силу укоренившегося восточного деспотизма новые назначенцы из местных кадров оказывались столь же фатально склонны к кумовству и взяточничеству, как и их предшественники. Руководители следственной группы, которых в годы перестройки окружал героический ореол борцов с «мафией», сами увлеклись политикой и регулярно организовывали утечку наиболее скандальных, по их мнению, фактов журналистам. Эти обвинительные материалы (при всей их сомнительности, требующей большой доли осторожности) с позиций социологического исследования позволяют нам бросить взгляд на устоявшуюся неопатримониальную систему теневого правления. Изогранные и разветвленные сети коррупции позволяли налаженным образом собирать подати со всех видов теневого предпринимательства и направлять собранные сред-

⁹ Nancy Lubin, *Labor and Nationality in Soviet Central Asia*. Princeton: Princeton University Press, 1984.

¹⁰ Leslie Holmes, *The End of Communist Power: Anti-Corruption Campaigns and Legitimation Crisis*. Oxford: Oxford University Press, 1993.

¹¹ Мятаж? Кто или что стоит за событиями в Ферганской долине // *Комсомольская правда*. 7 июля 1989; Грибанов В. Жить в Ташкенте // *Столица*. 1994. № 19; Пропавшее золото // *Независимая газета*. 23 февраля 1993.

ства наверх, вполне вероятно, вплоть до самых высоких покровителей в Москве.

Податной механизм позволял собирать суммы куда большие, нежели элита Узбекской ССР могла физически потратить. Возникал своеобразный кризис перенакопления. Правоохранители в буквальном смысле откапывали в садах у подследственных и их близких целые клады наличных рублей и золота. Разумеется, пока существовал Советский Союз, открытие счетов в швейцарских банках или же строительство привычных сегодняшнему взору дворцов было делом весьма затруднительным. Забавно, как мне рассказала дочь одного из высших руководителей, что в среднеазиатских республиках было достаточно непросто найти как опытных кафельщиков, так и качественную (читай – легендарную чешскую) плитку для ремонта ванной комнаты. Эта импозантная восточная женщина средних лет, превратившаяся в новые времена в космополитичную бизнес-леди, пошутила напоследок: *«Золота хватало, но не хватало умельцев, способных установить золотой унитаз»*. Положение впоследствии исправили турецкие и европейские строительные фирмы, готовые за деньги заказчика выполнить любую его прихоть.

Накопленное на среднем и высшем уровнях номенклатурной пирамиды этих республик нелегальное богатство (если обратиться к примерам Пакистана и Афганистана) в принципе могло быть использовано для создания частных армий либо осуществления предполагающих насилие мобилизаций. Вопреки гипотезам и догадкам перестроечных политиков и журналистов, это не означает, что коррупция сама по себе была причиной насильственных действий. Коррупцированный патронаж был в состоянии поддерживать стабильность вплоть до того момента, когда пирамида рентоориентированных чиновников начала рушиться на враждующие фракции узкогрупповых интересов. Тем не менее остается фактом, что погромы турок-месхетинцев способствовали дискредитации и удалению из Узбекистана перестроечного руководства республики, назначенного Горбачевым несколькими годами ранее¹². Именно на волне этих сложных событий в роли восстановителя преж-

¹² Горбачевский назначенец в Узбекистане Рафик Нишанов переехал в Москву, где был назначен спикером новоизбранного Совета Национальностей (советского аналога Сената). Подобный переход с поста главы в беспокойной республике на сенаторскую должность в Москве стал в 1989–1990 гг. довольно обычным явлением, которое можно наблюдать на примере оказавшихся в изоляции руководителей Чечено-Ингушской и Кабардино-Балкарской автономных республик.

него порядка и защитника национальных интересов пришел к власти последний первый секретарь компартии Узбекистана Ислам Каримов, ставший в 1991 г. и надолго первым президентом независимой республики. Вероятно, он сумел получить поддержку сетей старой номенклатуры и, пользуясь смутой, переформировать под себя патронажные связки.

После обретения независимости правительство Узбекистана волевым решением восстановило доперестроечную советскую практику цензуры и полицейского подавления. Вскоре за решеткой, в изгнании или в подполье оказались как немногочисленные приверженные демократии интеллигенты, так и несравненно более многочисленные субпролетарские исламисты, преследование которых после 11 сентября 2001 г. узбекская бывшая номенклатура объявила вкладом в развернутую Соединенными Штатами войну против террора. Экономика страны, включая плантации хлопчатника и облагаемый высокими налогами и поборами торговый сектор, продолжает оставаться под фактическим контролем государства, что периодически оборачивается протестами крестьян и базарных торговцев. Однако сохранение экономического контроля и способность взимать налоги позволила Узбекистану избежать внезапного катастрофического спада, через который прошли многие бывшие советские республики¹³. Даже в девяностые годы в Узбекистане строились современные автомагистрали и впечатляющие архитектурные объекты, а промышленные предприятия, словно в советские времена, были загружены почти на полную мощность. Политическая власть осталась сосредоточена в руках авторитарного режима, в большинстве своем состоящего из бывшей узбекской номенклатуры – хотя с целью демонстрации почтения к добывшим славу нации героям, заменившей памятники Ленину изваяниями Тамерлана.

Преимственность властвующих элит и государственных структур при блокировании демократизации и рыночных реформ может рассматриваться, по крайней мере в среднесрочном плане, как относительно привлекательный способ поддержания консервативного порядка и относительного благосостояния в условиях распада СССР. Противоположный пример дает трагический опыт постсоветского Таджикистана, где попытка демократизации, натолкнувшаяся на упорное сопротивление номенклатуры, привела к катастрофическому распаду государственной власти и гражданской войне в 1991–1993 гг. Когда конфликт выплеснулся за преде-

¹³ Vladimir Popov, *Shock Therapy versus Gradualism: The End of the Debate*, *Comparative Economic Studies*, vol. 42, no. 1 (2000), pp. 1–57.

лы городских площадей, мобилизационная основа народного антибюрократического движения сдвинулась от типичной для интеллигенции программы светской демократизации к различным формам политического исламизма. Вскоре развернувшаяся гражданская война в Таджикистане была не этническим или религиозным конфликтом, а скорее внутренней смутой афганистанского образца со множественными фронтами вооруженного соперничества между полевыми командирами и правителями различных провинций.

При наличии подобных контрастирующих примеров соблазнительно прийти к заключению, что для укрощения демонов этнического насилия необходимо наличие сильного, пусть консервативного и авторитарного правительства. Однако как тогда быть с примерами Западной Украины и в особенности прибалтийских республик, где национальная мобилизация была почти столь же повсеместной и мощной, как на Кавказе, но которые смогли выйти из советского периода истории не только куда более мирным, но и относительно демократичным способом? Задним умом, подобный исход выглядит вполне предсказуемым, поскольку западные области СССР разительно отличались от Центральной Азии в плане значительно более глубокой модернизации общественных структур и европейской «цивилизованности», индивидуалистичной и оттого (допустим предположительно) более демократичной культуры, относительно менее подверженной кумовству и коррупции. Все эти критерии далеко не бесспорны, а говоря начистоту, мифологизированы. Но допустим в порядке логического эксперимента, что видная невооруженным глазом значительная разница между Литвой и Таджикистаном объясняет отсутствие массового насилия при переходе Литвы к европейскому виду капитализма. Но в таком случае придется признать, что куда менее очевидна культурная дистанция между Литвой и Хорватией.

Дежурным объяснением югославской трагедии выступает историческая преемственность этнической вражды и насилия и проблема «балканизации», т.е. многочисленных кровавых конфликтов из-за передела границ в недавнем прошлом, резни и изгнания меньшинств и немирного обмена населением. В ответ на это напомним, что Прибалтика, Западная Украина и основная часть Молдавии перешли к СССР в результате Второй мировой войны, и долго еще после ее окончания советские силовые ведомства боролись на новоприобретенных территориях с упорным партизанским сопротивлением. В ходе Второй мировой войны эти националистические повстанцы (немало из которых были живы и в конце 1980-х даже вернулись в политику) получали оружие, форму и не-

малую толику идеологии от нацистской Германии¹⁴. Иными словами, они определенно были европейцами, однако вряд ли сторонниками либеральной демократии и толерантности — скорее типичными фашизированными националистами образца 1930–1940-х гг., когда Третий рейх выглядел действенной альтернативой. Участь украинских, румынских и прибалтийских евреев в 1941–1944 гг. показывает, что идея этнической чистки также не была чуждой этим регионам. Вдобавок, советские органы госбезопасности сослали в Сибирь десятки тысяч семей «классово чуждых» или (пусть только подозреваемых) националистических элементов — что в 1980-х стало одним из основных источников открытого недовольства и требований покончить с наследием советской оккупации. Осуществляемая СССР военная и индустриальная политика вызвала во многом целенамеренное переселение множества русских в города западной Украины и Прибалтики. По итогам Второй мировой многие границы подверглись существенной перекройке, изгонялись и переселялись миллионы людей, веками живших на тех землях. Так германский Кенигсберг стал анклавом РСФСР и получил название Калининград; австрийский Лемберг после 1918 г. стал вначале польским, а затем советским и украинским Львовом; польское Вильно стало столицей Литвы Вильнюсом — и это, заметим, не какие-нибудь приграничные пустоши и деревушки, причем список территориальных изменений этим далеко не исчерпывается. Заметим также, что главным архитектором существующей сегодня политической карты региона был все тот же Сталин.

Историческое наследие насильственных конфликтов, пограничного ирредентизма, наличие престарелых, но политически активных националистических повстанцев, дающих пример молодежи, а также нежеланных культурно-лингвистически чуждых переселенцев, вдобавок относящихся ко внезапно потерявшей власть национальности, старых религиозных противоречий, расовых предрасудков, глубоко укорененного национализма плюс потенциальный доступ к оружию и финансовой поддержке национальной диаспоры — даже взятые по отдельности, все эти факторы могут служить, как считает большинство политологов, историков и журналистов, более чем достаточным условием для возникновения насильственных этнических конфликтов. На позитивистском жаргоне такое положение дел именуется сверхдетерминированностью — причину

¹⁴ Alexander J. Motyl, *The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism, 1919-1929*. New York: Columbia University Press, 1980; Anatol Lieven, *The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence*. New Haven: Yale University Press, 1994.

невозможно аналитически выделить, поскольку каждый из факторов теоретически способен произвести наблюдаемое последствие. Иначе говоря, Западная Украина и Прибалтика, обуреваемые целым сонмом националистических демонов, казалось, были обречены кануть в адову бездну сродни югославской.

Однако не канули. В 1989 г. номенклатура прибалтийских республик спокойно и как бы даже походя отказалась от коммунистической идеологии, объявив себя теперь почти скандинавскими социал-демократами, открыла доступ к бюрократической власти своим внутренним оппозиционерам и удивительно мирным образом слилась с набравшими силу национальными интеллектуалами. Действуя сообща и в целом старательно соблюдая «пакты» между прежними элитами и более умеренными оппозиционерами, они смогли перенаправить политическую мобилизацию своих национальностей в русло строительства гражданского общества и национальных государств в рамках Европы. Несмотря на ряд серьезных провокаций (в том числе организованных в последний момент советскими силовыми ведомствами), прибалтийским властям удалось удержать эффективный контроль над переходной ситуацией. Рыночная идеология капитализма была с успехом обращена в национальную форму и представлена внутри самих прибалтийских стран и на международной арене в качестве исконно национальных традиций самодостаточного хуторского фермерства — в противоположность российскому централизованному деспотизму. Принятие жестких законов о национальном языке освободило множество мест в политике, образовании и на госслужбе. Бремя перехода к капитализму непропорционально легло на русских горожан, которые зависели от унаследованных с советских времен структур промышленного трудоустройства, предоставленных государством квартир и ничего не получали от реституции собственности, национализированной Советским Союзом после 1940 г.

Несмотря на бессильные протесты советских ностальгических консерваторов и русских шовинистов, смирившаяся с неизбежностью Москва позволила прибалтам уйти мирно. Заметим, что при этом ни Польша, ни Швеция, ни Австрия, ни Германия (бывшие региональные державы и хозяева) каких-либо претензий на их территории не выразили. Правительства Запада и европейские учреждения приветствовали появление трех малых государств Балтийского региона, поддержали их рыночные реформы и лишь изредка позволяли себе довольно формальную критику за менее чем демократическое обращение с проживающими в этих странах русскими. И пока русские переселенцы продолжали роптать, их дети нередко брались за изучение государственных языков, чтобы

сдать экзамен на гражданство и сделать карьеру в Европе, если не Прибалтике, либо шли в бизнес, добиваясь в этом порой впечатляющих успехов. Не правда ли, по сравнению с тем, что творилось в регионе в первой половине XX в., выглядит не так уж плохо, если не обескураживающе для многих теоретиков этнонационализма?

Тем более противоестественным может показаться этнический конфликт, приведший к погромам, массовым изгнаниям и в конечном итоге фронтальной войне между армянами и азербайджанцами. Именно этот конфликт послужил первым детонатором распада СССР. Армяне издавна, еще со времен Российской империи, считались самыми лояльными подданными. Причина была вполне очевидной. Армянское нагорье расположено на геополитическом стыке Малой Азии, Месопотамии и Ирана. Средневековые армянские государства были буквально растоптаны воинствами соперничающих восточных империй: Персии, арабского халифата, Византии, турками-сельджуками и затем османами. Российское завоевание плацдарма в этом стратегически опаснейшем регионе давало оставшимся на малой части исторических земель армянам хоть какую-то надежду на выживание в условиях веками накатывавшихся волн нашествий, резни и депортаций. Армянам и русским этот оборонительный союз виделся освященным близостью двух восточных христианских церквей (несмотря на некоторые доктринарные и ритуальные различия между армянским монофизитством и русским православием). Когда в 1828 г. русские войска отвоевали у персов Эриванскую крепость, немало восторженных армян нарекло своих младенцев Паскевичами, откуда идут и известные по сей день фамилии Паскевичян — в честь того самого царского генерала Паскевича-Эриванского, который вошел в историю также душепителем венгерской национальной революции 1848 г.

В XIX в. немало армян достигло вершин российской власти, став генералами и министрами, не говоря о купцах и таком успешном художнике, как Айвазовский. В советский период их число стало еще намного большим — достаточно вспомнить долгожителя советской политической элиты Анастаса Микояна и его брата, авиаконструктора Артема Микояна (последняя буква в аббревиатуре МиГ принадлежит, кстати, еврею по национальности Гуревичу). При советской власти Армянская ССР восстала буквально из пепла и руин, превратившись в одну из самых процветающих республик Союза, а ее граждане занимали одно из первых мест по уровню образования. Во Второй мировой войне более ста армян стали маршалами, адмиралами и генералами советских вооруженных сил. Впоследствии десятки тысяч — совершенно непропорциональная численность для довольно немногочисленного народа, да еще

и потерявшего более миллиона человек от турецкого геноцида, голода и эпидемий 1915–1920 гг. — смогли выдвинуться в ряды советской интеллектуальной, художественной, медицинской и управленческой элит. В годы перестройки двое из ключевых советников Горбачева были армянами по происхождению — экономист Абель Аганбегян и политолог Георгий Шахназаров (который являлся не только отцом кинорежиссера Карена Шахназарова, но и отдаленным потомком одного из *меликских*, т.е. княжеских родов, Карабаха, в силу чего карабахцы автоматически и несколько наивно зачисляли его в ряды своих заступников на самом верху). Словом, армяне были успешно интегрированы в современную русскую культуру и государственные структуры, знали, как в них работать и с благодарностью судьбе ценили свое благоприятное положение¹⁵. Выход из состава СССР представлялся абсолютному большинству армян (включая и зарубежную диаспору) бессмыслицей, чреватой самоубийством угрозой. Но они и не собирались никуда выходить, а просто просили Москву о совершенно, с их точки зрения, оправданном, заслуженном и совсем небольшом, как им казалось, одолжении — просто передать Нагорно-Карабахскую автономную область из одной советской республики в другую.

Азербайджанцы, исторически будучи мусульманами, на самом деле также испытали немало благоприятных последствий от достаточно мирного (особенно в сравнении с Дагестаном и Северным Кавказом) перехода из персидской в российскую сферу имперского влияния. В советские времена они развивали стратегии социальной мобильности, не слишком отставая от армян. В Азербайджане ранняя индустриализация на основе бакинских нефтяных промыслов заложила основу для появления внушительной и удивительно космополитичной городской элиты, включавшей в себя красочную плеяду бакинских миллионеров и влиятельную интеллигенцию. Именно благодаря ранней включенности в российские культурные и экономические сети, азербайджанские просветители и активисты оказали существенное влияние на идеологическое формирование современных интеллигенций в Персии и султанской Турции. В начале XX в. Баку стал одним из важнейших городов Российской империи с впечатляющей плотностью культурных, архитектурных и политических достижений (как, впрочем, и жесточайших классовых противоречий). Первая в мусульманском мире комическая опера «Аршин малалан», первый сатирический жур-

¹⁵ Я особенно благодарен ереванскому социологу Рубену Карапетяну, поделившемуся своими данными и особенно своим видением процессов формирования армянской элиты в советский период.

нал «Молла Насреддин» (где столетие тому назад регулярно публиковались весьма дерзкие карикатуры на исламское духовенство и самого Пророка), вестернизированный алфавит на основе латиницы, впервые принятый в мусаватистском Азербайджане за несколько лет до кемалистской Турции, наконец, первая в мусульманском мире демократическая Конституция и современный светский национальный университет — все это последствия ранней модернизации Баку.

В советский период тренд продолжается, несмотря на неизбежно жестокие потери сталинских репрессий. На рубеже 1950–1960-х гг. Баку, например, стал меккой для исполнителей и поклонников альтернативной джазовой музыки в СССР. В 1980 г. секретарь бакинского райкома КПСС со смехом и недоумением рассказывал мне о приезде к ним журналиста из американского еженедельника «Ньюс уик». Американец прибыл вооруженный научным бестселлером Элен Каррер Д'Анкосс и с плохо скрываемым намерением раскопать сенсационную новость о том, как всколыхнула азербайджанских шиитов исламская революция в соседнем Иране. Попытаюсь передать бесподобнейший колорит бакинской речи: *«Слушай, прямо настоящий провокатор, да-а... Ходил тут только по мечетям и базару, приставал и ко мне, и ко всем таксистам, и вообще ко всем подряд с расспросами, мусульмане мы или нет? Дорогой, говорю ему, ты откуда свалился? Честное слово, не знаю, как еще тебе объяснить, что мы все — атеисты. Конечно, чудака-человек, на похороны положено приглашать муллу. Хотя я в районе известный человек, я что, родную маму вот так просто в яму закопаю?! Ара, да причем тут этот Иран?! Ты на границу съезди, посмотри ночью на ту сторону — темнота крошечная! У них же там в селах электричества нет. Девушек в концерте по телевизору не показывают. Отсталая страна, Средневековье... Не то, что наш цветущий Азербайджан!»* Уверен, недоумение бакинского партработника было совершенно искренним. Призванные в 1980-е гг. из среднеазиатских республик советские солдаты-мусульмане, возвращаясь из Афганистана, так же искренне рассказывали, насколько поразила их тамошняя нищета и безграмотность. Афганистан для них выглядел реликтом собственного далекого прошлого.

Сельские районы Азербайджана остались сравнительно более бедными, а потому и более «отсталыми» и «восточными». Однако сочетавший эмоционально заряженную атмосферу, показное богатство, элегантность как Востока, так и Запада, столичный Баку совершенно затмевал глубинку. Красочности и сочности бакинской жизни способствовал многонациональный состав его населения — к 1989 г. большинство его почти двухмиллионного населения составляли азербайджанцы, рядом с которыми жили около

четверти миллиона русских, значительные группы лезгин, евреев, грузин, персов, немцев, поляков и порядка 180 тысяч этнических армян. Однако это были формальные категории переписи населения. Эти городские бакинские азербайджанцы, армяне и даже русские со временем начинали довольно сильно отличаться от своих эталонных соотечественников из этнических сел и одновременно приобретали общие черты в поведении, бытовых привычках, кухне, в том особом сладко-тянучем «персидском» акценте в русском языке, который стал бакинской *lingua franca* XX в. Вполне правомерно считать, что в Баку в течение советского периода сложилась полиэтничная общность «бакинцев» со своим характером, ритуалами, стереотипами, узнаваемым акцентом общего русского языка. Как и в боснийской столице Сараево накануне катастрофы, постигшей город под занавес прошлого века, жители пестро космополитичного Баку единодушно и скорее всего со смехом отвергли бы мрачное предположение, что современная и полиэтничная культура их города может кануть в Лету в одночасье среди волн этнического насилия.

В Баку не все и не всегда было спокойно. В скрытых слоях городского подсознания таилось немало «скелетов». Среди немалого числа армян и азербайджанцев, особенно стариков, глубоко засела травма ужасов бакинских погромов 1905 и 1918 гг., когда погибли десятки тысяч жителей. Мало кто помнил или осознавал, что погромы происходили в моменты острейшей политической и классовой борьбы, когда царские власти теряли контроль и, вероятно, провоцировали либо не останавливали погромы, противопоставляя их забастовкам городских рабочих. Со своей стороны, армянские боевики-маузеристы в те же годы при возможности мстили мусульманам и устраивали покушения на царских чиновников и жандармов. Революционная история Закавказья, центром которой как раз и служил Баку, отличалась запутанностью, невероятной дерзостью и кровавостью. В этой субкультуре формировался молодой Сталин, некогда одна из ключевых фигур бакинского революционного подполья. Весной 1918 г. бакинские большевики воспользовались вооруженной помощью армянских национальных отрядов, чтобы (как оказалось, лишь на несколько месяцев) предотвратить превращение Баку в столицу буржуазной националистической республики и вместо это создать знаменитую Бакинскую коммуну. Классовый конфликт наложился на национальный в пределах одного города, что привело к сериям чудовищных злодеяний с нескольких сторон — армянские маузеристы и большевики в борьбе за контроль над городом уничтожали и изгоняли из него «контрреволюционных» тюрок-мусульман (которые тогда еще назывались «татарами»),

а не азербайджанцами), затем в город входили азербайджанские мстители и регулярные части турецкой армии, устраивавшие массовые экзекуции большевиков и армян. Расстрелы и резня в деревнях продолжались и при англичанах, пытавшихся от лица Антанты контролировать Закавказье после 1918 г.¹⁶

И все же эта история в советский период сделалась слишком неактуальной, как сама Антанта, чтобы послужить самостоятельной причиной нового насилия. Советский период принес свои ужасы и формы государственного насилия, которое не носило этнического характера. Но все же оттенок имелся. В первые годы советской власти в большевистских органах террора ЧК и ОГПУ по инерции оставалось довольно много армян; позднее в местной патронажной сети подопечных Лаврентия Берии стали преобладать азербайджанцы, причем преимущественно из одного и того же района. Ленкоранцы и нахичеванцы держались вместе и нередко отдельно от остальных азербайджанцев, как и карабахские армяне, могли составлять свои земляческие сообщества будь то в Баку или, позднее, в Ереване. Все это немедленно замечалось и, подозреваю, преувеличивалось настроенным на этническую волну глазом. Но после 1953 г. в советском социуме резко понижается уровень насилия. Межэтнические трения были вытеснены в символическую сферу стереотипов, колкостей и анекдотов либо далеко на периферию городской жизни, на темные улицы, где порой имели место жестокие драки, а также в кабинетное соперничество за руководящие посты, за выгодные места в теневой экономике. Все это периодически приобретало национальную окраску, но с таким же успехом бакинские армяне и азербайджанцы могли вместе «химичить» в каком-нибудь подпольном цеху, на товарной базе или на рынке, решать бытовые и бюрократические проблемы советской повседневности, стоять в очередях за дефицитом или запросто встречаться на бульваре, стадионе, концертах и в кафе.

В нормальных условиях конфликтность, в том числе этническая, перекрывается массой причин и поводов для сотрудничества, институционализированных в неформальных социальных механизмах и ритуалах взаимодействия (дружеских, соседских, сослуживческих и т.п.). Повторю, это нормально. Поэтому нам требуется отследить, подобно эпидемиологам и патологоанатомам, что именно подорвало нормальную жизнедеятельность. Предупреждаю и предостерегаю в очередной раз, это может оказаться сложнее и противоречивее, чем кажется на первый взгляд. Надо

¹⁶ Ronald Grigor Suny, *The Baku Commune, 1917–1918. Class and Nationality in the Russian Revolution*. Princeton: Princeton University Press, 1972.

сознательно контролировать себя в процессе исследования, чтобы избежать «причесывания» фактов под априорную схему, ведущую от прошлого к тому, что случится позднее. То, что не случилось, может иметь не меньшую аналитическую значимость. Мы, вполне возможно, выйдем не на единый «фактор», а на косвенные причинно-следственные цепочки и взаимопереплетенные процессы со сложной и как правило самими участниками слабо осознаваемой динамикой.

Несомненно, имеет большое значение, как люди воспринимают самих себя и окружающих, на основании каких ожиданий и целей строятся их действия, в какие общеупотребительные слова и фразы отливаются их переживания, откуда берутся образы, которые находят отклик в массовой аудитории, что и посредством каких дюркгеймовских ритуалов солидарности генерирует коллективные эмоции. И тем не менее все это не исключает, а даже напротив, предполагает, что людям также свойственно искреннее двоемыслие, что их социальная и личная память может состоять из противоречивых комплексов и множественных напластований. Приведу для иллюстрации пример из поездки в Карабах летом 1994 г., сразу после завершения там войны. Данный пример представляется тем более уместным, что в этой части работы мои критические выпады против описательно-аналитических подходов в терминах идентичности и дискурсов могут создать впечатление, будто я целиком отмечаю подобные факторы во имя некоего материалистического фундаментализма. Мне повезло, что в той поездке моим неожиданным спутником оказался Ваган Галоян — в прошлом активист армянского национального движения, но кроме того, и астрофизик из знаменитой Бюраканской обсерватории, наделенный веселым упрямством в спорах и притом скептически настроенный к нам, гуманитариям.

Армянские жители Карабаха только что перенесли колоссальное многолетнее напряжение этнической мобилизации и тяжелой войны. В разговорах с двумя учеными, прибывшими из Еревана или, как они выражались, с «большой земли», нам наперебой, с громадной убежденностью излагали факты и эпизоды недавнего эпического противостояния «туркам» (слово азербайджанцы едва ли вообще возникало в их речи). Говорили неизменно о ползучем «белом геноциде» предшествующих десятилетий советского периода, когда бакинские власти по тайному умыслу тормозили капиталовложения, не строили современное жилье и дороги, держа автономную область в бедности и запустении, закрывали армянские школы, укрупняли и ликвидировали «неперспективные» села и таким образом постепенно вытесняли из Карабаха армян, подоб-

но тому, что уже произошло в некогда армянской, а ныне целиком азербайджанской Нахичеванской области. Настойчивость и повсеместность подобной аргументации, регулярно также транслируемой армянскими публичными ораторами и прессой, не оставляли сомнения в ее искреннем восприятии простыми карабахцами. Люди стойко терпели невзгоды и шли на бой во имя святой цели выживания своей древней нации, подвергавшейся резне, депортациям и планомерному военному уничтожению на памяти недавних поколений. Равно не подлежало сомнению, что без подобной «дискурсивной формации», одной на всех мобилизующей веры армяне Карабаха не выстояли бы в этой войне, ставшей для них поистине отечественной. (Замечу, что очень похожие аргументы приходилось слышать и в Абхазии.)

Тональность, однако, менялась поразительным образом, когда Ваган Галоян невозмутимо и несколько исподволь перевел разговор на более обыденный уровень: «Не припомните, кем был первый азербайджанец, поселившийся в вашей деревне, и как это случилось?» Чаще всего это был кто-то вроде пастуха из соседнего преимущественно азербайджанского района, который оказался единственным покупателем опустевшего дома после естественной смерти стариков. Их взрослые дети, давно устроившиеся в городе, готовы были уступить развалюху вместе с запущенным садом всего за несколько сотен рублей. Армянский председатель колхоза со своей стороны готов был принять на работу чужака, потому что среди односельчан более не находилось желающих идти в скотники. Со временем в село перебирался брат азербайджанского пастуха, такой же малограмотный парень, готовый пойти на черную работу. У пришлых было полно детей, поэтому вставал вопрос об открытии азербайджанских классов при местной школе, соответственно, требовалась и учительница-азербайджанка. Затем из Баку присылали ветеринара или врача, едва владевшего русским. На что Ваган Галоян хитро подмигивал: «А много вы знали армянских детей из хороших бакинских семей, которые после мединститута поехали бы по госраспределению в ваше село? Посылали, наверное, тех, кто сам был деревенским и в Баку совсем не имел связей?» На что следовал такой же веселый ответ: «Да в принципе неплохой был парень тот доктор, приветливый и скромный, тем более в чужом селе жил. Но только и знал, что ставить компрессы да прописывать антибиотики. Ему и на лапу никто особенно не давал, не за что. Все равно в Степанакерт приходилось возить больных, особенно если на операцию».

Таким образом вырисовывалась несколько иная картинка: преобладание в советский период среди армян Карабаха более низ-

кой рождаемости при вертикальной миграционной мобильности, ориентированной на продвижение в городской среде (Баку, Еревана, Москвы или других промышленно-административных центров СССР), и одновременно сохранение высокой рождаемости среди сельских азербайджанцев, которые в силу родственных связей и относительной недостаточности современного культурного капитала мигрировали, пока преимущественно горизонтально, из своих деревень в соседние (открытие сельскими азербайджанцами рыночных возможностей в Москве и других городах России относится лишь к последним годам советского периода). Общие проблемы советской сельской глубинки проявлялись и в нехватке средств на инфраструктурное развитие. Если покопаться в архивах советских ведомств или лучше опросить пока еще помнящих те времена руководящих работников, выясняется, какие препятствия возникали при строительстве школ или малых предприятий в селах, отнесенных к категории «неперспективных», или чего стоило выбить капвложения на прокладку даже короткой железнодорожной ветки, когда Москва бросила все средства на стратегическую Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). Однако все эти структурные процессы и ограничители находятся за пределами обыденного восприятия — и при этом их микропоследствия в Карабахе воспринимались через дискурсивные практики и этнизированные бинарные оппозиции, соотносимые с травмированной коллективной памятью. Заметим, что ни армяне, ни азербайджанцы не считали Москву главным источником своих проблем и не предполагали восстания против центральной власти, которая виделась им скорее решающим, хотя порой и слишком отстраненным арбитром. В остальном же оставалось жить, устраивая собственные дела по мере обстоятельств и доступных возможностей. Покуда советская властная иерархия выглядела незыблемой, локальная напряженность в Карабахе проявлялась максимум во внутриноменклатурном лоббировании, подписании местной интеллигенцией коллективных писем либо спорадических бытовых драках. Быстрая эскалация напряженности вплоть до настоящей войны станет возможна лишь тогда, когда советская иерархия в ходе горбачевских экспериментов с механизмами назначения и официальным дискурсом приобретет критическую неопределенность, отчего развернется острая конкуренция сразу в нескольких взаимопересекающихся социальных полях. Это и составляет основную проблематику данной главы.

Итак, в тех республиках, где налицо были как будто все факторы конфликта, тем не менее, до войн не дошло. Напротив, этническое насилие вспыхнуло там, где вероятность развития по наи-

худшему сценарию казалась менее очевидной. Также подчеркну в очередной раз, наше исследование не может ограничиваться одними националистическими программами, дискурсами и конструированием идентичности – хотя бы потому, что в период перестройки существовали и иные возможности. Именно их следует выявить, чтобы объяснить, даже не почему, а каким путем межнациональные конфликты вышли на первый план. Необходимо настроить наше исследовательское увеличительное стекло таким образом, чтобы разглядеть обыденные подробности административных взаимоотношений, социальных сетей, классовых и групповых форм социального капитала и потенциально конфликтующих стратегий. Там мы, может, и выясним, какие пучки причин определили вектор националистической мобилизации и насилия между жившими по соседству этническими общностями. При этом, следуя исследовательской программе Чарльза Тилли, мы поместим в центре нашего анализа государство – а не дискурсы и идентичности или рациональные калькуляции игроков. Такая аналитическая стратегия обусловлена не столько тем, что национализм является дискурсом и политической программой в поиске государства как базы своего осуществления, а в основном потому, что элементарная хронология событий указывает на то, что в обычных объяснениях национализма причина, вероятно, оказывается подменена следствием. Национализм не мог быть первичной причиной распада Советского Союза попросту потому, что становится реальной силой не до, а после начала процессов распада государства. Обозначив параметры и вероятное содержание гипотезы, нам теперь остается посмотреть, что и каким образом продвигало национализм на авансцену перестроечной драмы.

Армения, Азербайджан и Грузия оказались включенными в наш анализ, поскольку именно в этих странах национализм возник на относительно ранних (и тем не менее не первых) стадиях перестройки, проявился исключительно мощно и быстро приобрел насильственный характер. Контрастные примеры проевропейской демократизации Прибалтики и азиатского авторитаризма Узбекистана будем «держат в уме», однако они впредь для нас останутся лишь на заднем плане, поскольку основным регионом исследования для нас остается Кавказ. В то же время мы будем отслеживать перемены в проводимой Москвой политике перестройки и гласности вплоть до достижения ее тупика. В этот исторический контекст мы поместим Кабардино-Балкарию и нашего героя, который в период завязки описываемых в этой главе действий все еще носил имя Юрия Шанибова. Следуя тренду национализации протек-

ста, к концу этой главы он уже будет зваться Муса Шаниб. Как всегда, малые примеры могут оказаться крайне полезными в высветивании динамики масштабных исторических процессов.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МИКРОПОЛИТИКА

В брежневское долголетье оказавшийся ненужным партии и государству Шанибов вовсе не пребывал в хандре и изоляции. Он преподавал, ездил в командировки по стране, читал книги и делал выписки, спорил вечера напролет с друзьями. Для многих коллег и бывших студентов он оставался смелым человеком, безвинно пострадавшим от рук лицемерных консервативных бюрократов за то, что пытался стать подлинным обличающим власть интеллигентом или, как принято говорить на Западе, публичным интеллектуалом (*public intellectual*), выражающим интересы общества — тем, кем многие, может, и мечтали, но не рисковали стать. Бывшие студенты-активисты тепло вспоминали Шанибова как символ мятежной молодости и оптимизма. Эти симпатии, приобретенный опыт плюс сохранение университетской должности пускай и без карьерного роста помогли Шанибову остаться в центре социальной сети, которая постепенно, по мере того как бывшие студенты становились журналистами, промышленными руководителями, юристами и научными сотрудниками, накопила довольно значительный по масштабам Нальчика совокупный социальный капитал.

Карьерный рост молодых кадров тормозился, однако, всевозможными препятствиями, возведенными местной правящей бюрократической сетью, которая со времен десталинизации захватила и удерживала практически полную монополию на распределение назначений и благ в автономной республике. Пресловутая «стабильность кадров» — фактически пожизненное держание бюрократических постов, установившееся с началом брежневской эпохи, — резко снизила вертикальную мобильность в советском обществе. Структурное напряжение приобрело форму позиционного противостояния между активистским габитусом стремящихся к самореализации образованных специалистов и консервативным габитусом бюрократов-рантье, которое даже в тихой провинции вроде Нальчика подчас не уступало накалом московским страстям. В действительности в подобных Кабардино-Балкарии маленьких республиках конфликт был, вероятно, даже еще более ярко выраженным, поскольку бюрократическая косность и препятствия на местном уровне принимали выпукло личностный облик (в интервью и беседах респонденты постоянно подтверждали важность давних от-

ношений личной приязни/неприязни в местной политике). Официальная сеть покровителей и подопечных и противостоящая ей дружеская сеть нарождавшейся интеллигентской оппозиции боролись за ограниченное число по большей части давно занятых позиций в маленьком провинциальном мирке. Советские механизмы продвижения кадров титульной национальности только внутри их этнотерриториальных образований прочно привязывали национальные кадры к своим родным республикам, так как переезд куда-либо обычно означал потерю карьерных преимуществ нацкадров. Добавьте к этому трудности с междугородним обменом жилплощадью (продавать государственное жилье, конечно, было запрещено). Так что приходилось годами вариться в собственном соку.

В 1986 г., вскоре после прихода Горбачева к власти, подобно многим другим регионам СССР, Кабардино-Балкария оказалась взбудоражена неожиданным назначением первым секретарем обкома партии (фактически губернатором) совершенного чужака, переведенного из Сибири, и смещением ряда видных чиновников, которых отправили на пенсию или даже услали советниками в воюющий Афганистан. Это породило страхи среди номенклатуры и не лишённые злорадства надежды среди специалистов среднего карьерного звена, для которых прежде местное руководство, находившееся во власти с конца пятидесятых годов, прежде казалось упрочившимся навсегда. Три года спустя местная властвующая элита сумела достаточно освоить новую политическую игру и избавиться от пришельца, отправив его путем демократических выборов в Москву. Но вначале его назначение казалось политическим землетрясением. В этом эпизоде отмечается первое проявление пока квазиполитического и неоформленного альянса карьерно заблокированных более молодых членов номенклатуры, управленцев и интеллигенции среднего звена. Назначение губернатора со стороны было типичным проявлением горбачевской стратегии ненасильственной чистки, в ходе которой в 1985–1989 гг. оказались сменены почти все партсекретари областей и республик¹⁷. Вскоре Горбачев приступил к осуществлению своей второй стратегии – поощрению гласных дебатов, целью которых было поддержать масштабную перетряску засидевшихся в своих креслах кадров народным давлением «снизу». Период гласности ознаменовался бурным проявлением активизма технократов и интеллигенции среднего возраста. Гомология социальных типажей, их карьерных ожиданий и фрустраций создала взаимное притяжение между горбачевской фрак-

¹⁷ Marc Garcelon, *The Estate Change: The Specialist Rebellion and the Democratic Movement in Moscow, 1989–1991*, *Theory and Society* 26 (1997), p. 51.

цией реформистской номенклатуры и верхними образованными слоями пролетаризованных специалистов и национальных интеллигенций. Объективно эти группы выступали политическими союзниками в борьбе с оказавшейся между ними консервативной номенклатурой отраслей и особенно провинций.

Конкретные проявления активизма эпохи гласности задавались возможностями, генерируемыми из Москвы, – центральной точки пересечения полей власти и культуры. Столичные нововведения широко освещались и распространялись центральными средствами массовой информации, популярность которых в годы перестройки взлетела до заоблачных высот. Именно Москва в эти годы служила центром, откуда исходили импульсы общественной деятельности. Горбачев, его советники и соратники вступили в активный диалог с признанными обладателями наиболее внушительного символического капитала, со всемирно известными учеными и деятелями культуры. Централизованное распространение общественных дебатов из единого центра по громадной территории СССР и всего восточноевропейского социалистического блока задавало синхронность и симметричность зарождению общественных движений от Прибалтики до Сибири, Кавказа и Средней Азии. Совершенно различные, казалось, регионы и культуры в первые годы перестройки одновременно переживали одинаковые перемены и надежды.

Синхронность и взаимосвязь стремительно возникавшего советского политико-идеологического поля структурировали общесоюзную последовательность возникновения обсуждаемых проблем, требований, риторик и общественных движений. В столицах советских республик и областных центрах горбачевская кампания политизации проходила в условиях изоморфных институций советского образца и общественных групп. На короткое время, примерно в 1986–1988 гг., на всем советском пространстве оформилась мощно мобилизующая и одновременно гомогенизирующая символическая поляризация – деление на «нас» (московских проводников реформ и местных сторонников антибюрократического «гражданского общества») и «них» – косных и чванливых бюрократов. Все пристально следили за развитием событий в Москве, жадно усваивая ежедневные новости, хотя каждая из сторон делала собственные выводы и по-своему пыталась реагировать на стремительно меняющуюся ситуацию.

Снятие с должностей провинциальных руководителей брежневского образца вызвало к жизни множество надежд и планов. Немало амбициозных представителей младшей номенклатуры, интеллигенции и специалистов предприятий (особенно технократич-

ные управленцы в возрасте около сорока лет) увидели в снятиях дотоле прочно сидевшего пожилого начальства неожиданную возможность для самовыдвижения публичными и предпринимательскими способами, прежде попросту немыслимыми — и эта тенденция проявляется повсюду в СССР¹⁸. Подобное поведение встретило глухое осуждение и неприятие в среде номенклатуры, в том числе у сохранявшей бюрократическую этику и дисциплину основной массы чиновников, административного персонала предприятий и учреждений. Как правило, наделав шума, многие «высочки» вскоре исчезали из виду — хотя некоторые из них затем вновь всплыли в совершенно ином качестве и где-то вдалеке от начальных пунктов своих головокругительных траекторий. Бывший столичный комсомольский работник, преподаватель или научный сотрудник мог впоследствии возникнуть мультимиллионером где-нибудь в Сибири, а то и Австралии, а провинциальный перестроечный политик — напротив, сделать деньги в Москве. Некоторые особо дерзкие политические карьеристы стали во главе революционных движений.

Самым крупным и удачным примером перебежчика из рядов номенклатуры является сам Борис Николаевич Ельцин. Не менее яркий и, если взглянуть, до поразительного похожий образчик дает нам его собрат и роковой противник Джохар Мусаевич Дудаев. Их ослепительные траектории принадлежат к тому же кусту исторических возможностей, которые в ходе своей чуть менее заметной жизни на провинциально-региональном уровне реализовывал наш Юрий Мухаммедович Шанибов. И Шанибов, и Ельцин, и Дудаев — и, если на то пошло, Горбачев, и Назарбаев, и мой собственный отец, как и громадное большинство послевоенного поколения — имели очень трудное детство. Затем в пятидесятые–шестидесятые годы они все ухватились за открывшиеся в тот период потрясающие возможности, созданные послевоенным ростом и политической десталинизацией. Сочетанием высшего образования и личного упорства вместе со своим поколением они сделали карьеру и обрели довольно комфортные и почетные позиции в советском индустриальном обществе. Это же сделало их глубоко советскими современными людьми, каковы бы ни были их изначально этнические и сельские культурные корни. В отличие от менее удачливого (но и дольше пожившего) Шанибова, Ельцин и Дудаев остались в обойме советской элиты и со временем поднялись на самый ее верх — один кандидатом в члены По-

¹⁸ Крыштановская О., Хуторянский Ю. Элита и возраст: путь наверх // *Социологические исследования*. 2002. № 4.

литбюро, другой генералом советской стратегической бомбардировочной авиации.

Карьеры, однако, в зависимости от институциональных условий строятся разными путями, что воплощается в стилистических различиях габитуса. Важно отметить, что Ельцин был масштабным строительным командующим с передового индустриального Урала (чем неизменно гордился, заявляя веско и гордо: «Я никогда не был на вторых ролях»), а Дудаев был командиром стратегической авиации, важнейшего и высокотехнологичного вида вооруженных сил в глобальном противостоянии «холодной войны». Иначе говоря, будучи членами советской элиты, они не были аппаратными карьеристами и интриганам. Оба героя были в свое время хорошо известны напористостью, граничащей с беспардонной грубостью. Ельцин устраивал легендарные разносы своим подчиненным и славился «мужицким» умением стукнуть кулаком по столу. Генерал Дудаев оставил у проницательного и едкого британского журналиста Анатоля Ливена впечатление «безукоризненно причесанного и опаснейше раздражительного сиамского кота»¹⁹. Характерная грубость и напор обоих командующих до поры рассматривалась их начальством как достаточно полезные для дела качества. Оба пользовались репутацией знающих и требовательных управленцев, незаменимых в разрешении трудных организационных проблем и преодолении организационно-производственных прорывов. Короче говоря, Ельцин и Дудаев — плоть от плоти унаследованной от большевиков и сталинизма командной системы управления.

Однако когда перестройка внесла значительные послабления в нормы поведения номенклатуры, подобные амбициозные личности стали опасными и неудобными для консервативно-осторожного большинства. В ситуации неясности пределов дозволенного беспардонных героев стало здорово «заносить». Не столь важен часто задаваемый вопрос, ушли они гордо сами или их с позором выгнали из номенклатуры. Куда важнее и интереснее вопрос, куда могли приземлиться подобные яркие одиночки, сброшенные с верхних этажей государственной пирамиды.

Стремительный развал советской иерархии открывал несколько новых возможностей. Одной было зарождавшееся частное

¹⁹ Приводимые здесь описания характеров во многом обязаны моему дружескому общению с потомком остзейских князей и знатоком русской культуры Анатодем Ливеным, который не раз вблизи наблюдал и Ельцина, и Дудаева. См. также Anatol Lieven, *Chechnya: The Tombstone of Russian Power*. New Haven: Yale University Press, 1998.

предпринимательство, в котором революционный авантюризм совместно с габитусом и аурой власти, управленческим опытом, инсайдерскими познаниями и личными связями бывших членов номенклатуры уже являлись весьма значительным стартовым капиталом. Однако до массовой приватизации начала 1990-х гг. пути перебежчиков из номенклатуры обычно заводили их в интеллигентскую политическую оппозицию, где их прошлый высокий статус и известность напрямую обращались в руководящие позиции. Либеральные профессора, публицисты и художники в своем индивидуалистичном и предрасполагающем к резонерству габитусе обычно оказывались не самыми способными организаторами, когда их эмоционально воодушевленные и прежде аморфные общественные движения начинали развивать собственный организационный аппарат и тем более занимать правительственные кабинеты в результате выигранных выборов или победивших народных восстаний. Номенклатурные перебежчики в душе относились свысока и оппортунистически к политическим платформам оппозиционной интеллигенции, что также делало их более успешными и маневренными политиками, нежели идеологов высоких принципов. Почти все они, включая Ельцина и Дудаева, в годы перестройки начинали свой путь в политику коммунистами реформистского крыла. В 1989 г. они становились истыми демократами, а затем, «покорные общему закону» меняющихся времен, блестяще подмеченному еще Пушкиным, перековались в антикоммунистов, рыночных реформистов и вождей нации. Успешные одиночки из номенклатуры, вернувшиеся к власти в постсоветских республиках, соответственно требованиям своих новых позиций восприняли риторику националистического толка, превращая ее, как правило, в отеческий стабилизационно-защитный патриотизм. В этом Кавказ дает столь потрясающее воображение и в личном плане столь отличные примеры, как Эдуард Шеварднадзе и Гейдар Алиев. Отметим также на более минорной ноте, что на примеры удачных и невероятных превращений приходится куда больше примеров тех, кто пал жертвами политических и деловых разборок в кровавые девяностые.

В целом же номенклатура в годы перестройки, до момента кризиса 1989 г. и даже позднее, внешне оставалась единым целым, соединенным формальной административной компетенцией, внутренней субординацией, неформальными сетями патронажа и общими нормами и классовым габитусом. Номенклатура была скована собственным организационным существованием и габитусом, которым до поры не виделось приемлемой альтернативы. Как с необъяснимым, но в итоге спасительным упорством в девяностые годы

в массе своей не бастовали, а просто продолжали ходить на работу специалисты переставших платить зарплаты учреждений и работники парализованных промышленных предприятий, так и номенклатура времен перестройки продолжала свое рутинное отправление служебных функций без особого сопротивления и восстаний. Тем не менее под видимостью единства бюрократического корпуса скрывались растущие трещины. Горбачевская бархатная чистка 1985–1989 гг. в одностороннем порядке нарушила ключевые бюрократические табу и неформальные понятия, достигнутые в десятилетия десталинизации и институционализированные в период правления Брежнева. Прежде всего это относилось к таким понятиям, как практически пожизненно гарантированное положение, понимающее терпимое отношение к различным видам неэффективности и, конечно, подавление неугодной бюрократии информации. Раннеперестроечная кампания вынужденных уходов в отставку и внезапных кадровых перестановок нанесла жестокий ущерб патронажным сетям местной номенклатуры и вызвала повсеместное ощущение беспокойства и неуверенности, ясно проступающее в высказываниях и воспоминаниях бывших аппаратчиков. Эти люди ощущали себя жертвами беспричинных гонений за то, что вполне следовало нормальной в брежневские времена бюрократической практике. Они чувствовали себя жестоко униженными отмашкой Москвы на проведение журналистских расследований, которые считали, причем не всегда небезосновательно, возможностью для сведения местных счетов. Как выразился в беседе со мной один из старых руководителей (очевидно цитируя стандартную в его среде присказку): *«Мы раньше знали, что газетой можно прихлопнуть муху, а теперь увидели, что можно прихлопнуть и человека».*

Провинциальная номенклатура остро ощущала свое бессилие в противостоянии новым веяниям и, подчеркнем еще раз, довольно долго чувствовала себя жестко ограниченной собственным бюрократическим габитусом и формальной подчиненностью. Оставалось лишь с выработанными многолетней практикой каменными лицами терпеть обрушившиеся невзгоды, надеясь, что пронесет — как пронесло в хрущевские времена баламутных реформаций. Однако со временем переступивший через номенклатурные табу Горбачев столкнется с ответными контрмерами отчаявшейся номенклатуры среднего звена, в свою очередь начавшей пока исподволь нарушать самые священные табу советского аппаратного поведения. Речь идет о принятии на вооружение местного национализма и спонсировании противостояния центру.

Пример нарождавшихся национальных движений, пока что видимых лишь издалека в экзотичной и всегда остававшейся чуждой

Прибалтике, открыл номенклатуре многообещающую стратегию для противодействия непредсказуемости и «капризам» горбачевской перестроечной Москвы. Ключевым элементом возводимой провинциальной бюрократией обороны стало изгнание амбициозных одиночек и потенциальных перебежчиков, выборочная кооптация в свои ряды более консервативных (т.е. менее либеральных) идеологов национализма из интеллигенции, использование предлога общественного мнения для строительства политических и активации прежде формальных юридических оград вокруг границ национальных республик. Наконец, важнейшим неформальным средством защиты стал неопатримониализм — закрепление административных ресурсов в фактически частное «коррупционное» распоряжение и преобразование региональных сетей бюрократических связей и патронажа в то, что американцы (и более всего жители городов Чикаго, Бостона и Нью-Йорка) издавна именуют избирательной «политической машиной»²⁰. В конце концов, лучшей стратегией самосохранения номенклатуры оказалась верность своему классу и патронажной сети — пусть даже вне рамок прежней субординации и ценой подрыва централизованного государства.

ОБЩЕСОЮЗНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОТЕСТНЫХ МОБИЛИЗАЦИЙ

Итак, обычно в развале СССР (а также Югославии) винят излишне торопливую демократизацию, которая-де выпустила на свободу ждавших своего момента демонов национализма. Но как бы ни бы-

²⁰ Эта стратегия была опробована и русской номенклатурой. В Краснодарском и Ставропольском краях, т.е. на том же Северном Кавказе, традиционно известные своим консерватизмом партийные руководители вначале поддерживали создание ультраконсервативной и имплицитно националистической «Российской Коммунистической Партии» (в советские времена номинально собственные компартии существовали только в национальных союзных республиках, но не в Российской Федерации). Затем с 1990 г. они стали спонсировать создание военизированных местных националистических организаций под флагом возрождения казачества. Потенциально это могло оказаться очень опасной игрой. См. шестую главу под названием «Нереализация сербского варианта в России» в книге Anatol Lieven, *Chechnya, the Tombstone of Russian Power*, New Haven: Yale University Press, 1998; а также более детально в статье Georgi Derlugian, *The Russian Neo-Cossacks: Militant Provincials in the Geoculture of Clashing Civilizations*, in John Guidry, Michael Kennedy and Mayer Zald (eds), *Globalizations and Social Movements*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000.

ло распространено, сердито и соблазнительно просто данное объяснение, оно элементарно не согласуется с хронологией и фактами. В СССР потребовалось почти четыре года напряженных политических процессов, приведших к внезапному осознанию неспособности реформистской риторики Горбачева сохранять оптимистический настрой перед лицом неожиданных проблем экономической нестабильности и распада централизованного государства, чтобы национализм смог переместиться с края политического спектра и занять центральное положение.

Давайте для начала попробуем восстановить последовательность общественных мобилизаций, происходивших во всем СССР в годы перестройки. Здесь нет нужды в осторожных наречиях вроде «почти» или «приблизительно» — этот процесс относится ко всему Советскому Союзу. Сам процесс смены типов мобилизаций, центральных на какой-то момент проблем и риторик может оказаться сжатым или, наоборот, растянутым, поскольку некоторые республики, в зависимости от мобилизационного потенциала и состава обществ, вступали с опозданием или же завершили его раньше, переходя к другим типам мобилизации и протеста. Тем не менее это была та же самая, центрально созданная и синхронизированная последовательность проблем и движений.

В 1985 г. первые общественные мобилизации строго (вернее, с разумной осторожностью) следовали перечню официально одобренных для обсуждения социальных проблем — таких как алкоголизм, защита исторических памятников, «неформальные» молодежные группы (хиппи, панки, футбольные фанаты) и предлагаемая с целью возрождения энтузиазма и инициативы новая редакция уставов официальных общественных организаций вроде комсомола и находившихся под его эгидой молодежных жилищных и научно-производственных кооперативов. В 1986 г. и особенно после апрельской черныбыльской катастрофы начался краткий, но бурный расцвет экологического движения, черпавшего уже нешуточную энергию из охватившего общество чуть ли не психоза перед лицом последствий химической и атомной промышленности. В то же время общепольное дело защиты окружающей среды пока не бросало вызов самой основе советской власти, что делало участие в экологическом движении не только почетным и эмоционально заряжающим для его участников, но и вполне политически безопасным.²¹

Вскоре начали появляться и вдохновленные риторикой Горбачева неомарксистские студенческие клубы, дебаты в которых враща-

²¹ Kristina Juraite, *Environmental Consciousness and Mass Communication*. Doctoral thesis. Kaunas: Vitautas Magnus University, 2002.

лись в основном вокруг извечной темы, был ли сталинизм исторически необходимым фактором развития СССР — или бухаринская позиция конца 1920-х могла обеспечить более щадящую и эффективную альтернативу. Словом, началось повторение споров 1968 г. Амнистия ноября 1986 г. находившихся в заключении и ссылке диссидентов означала дальнейшее расширение поля дебатов, довольно скоро сдвинувшихся с чисто немарксистских тем к пока все еще дерзновенному (а значит, и эмоционально окрыляющему) обсуждению либеральной демократии, прав человека, а также национальной самостоятельности.

Но еще целых два года, в 1987–1988 гг., диссиденты и либерального, и националистического толка оставались радикальным крохотным меньшинством на окраинах общественных дебатов, поскольку быстро расширявшиеся границы официальной советской идеологии по-прежнему почти полностью занимали внимание широкой советской общественности. Даже в Армении и Грузии, которые спустя пару лет оказались охвачены националистическими страстями, освобождение из заключения националистов в принципе всеми приветствовалось, однако подавляющее большинство солидной национальной интеллигенции воспринимало их как сумасбродных радикалов. Известный грузинский профессор вспоминает, как в 1987 г. он наблюдал на тбилисской улице маленькую колонну из 50–60 студентов и старшеклассников, шагавших с флагами независимой Грузии 1918–1921 гг. и распевавших патриотические песни. Молодежное микроществие возглавляли двое взрослых диссидентов, Мераб Костава и Звиад Гамсахурдия²². Прохожие

²² Звиад Гамсахурдия, уже дважды упоминавшийся в этой книге в связи с кровавой стычкой 1956 г. при попытке не допустить демонтажа памятника Сталину и выступлением студенчества в 1978 г. по вопросу официального статуса грузинского языка, обладал высочайшим символическим капиталом как ветеран патриотического подполья, профессиональный филолог-шекспировед и, далеко не в последнюю очередь, сын знаменитого писателя и лауреата Сталинской премии Константина Гамсахурдия. Едва ли не большим символическим капиталом также обладал красноречивый и непреклонный Мераб Костава, который не сдался в следственном изоляторе КГБ и пошел на длительный тюремный срок. Мученический героизм и харизматическая притягательность сделали Коставу, по общему мнению многих грузинских интеллектуалов, наиболее вероятным вождем грузинского радикального национализма. Однако вскоре после выхода на свободу он погиб в автокатастрофе, и во главе национального движения встал Гамсахурдия. Гибель Коставы все еще остается предметом толков и слухов относительно того, не была ли она подстроена КГБ, что допускает возможность косвенного вывода о продолже-

улыбались и приветственно махали им рукой — однако присоединиться к маргинальному параду никто особенно не спешил. Все спешили по своим делам.

Общественное внимание в январе 1987 г. было приковано к официально санкционированному просмотру кинофильма «Покаяние», снятого в Грузии благодаря покровительству Эдуарда Шеварднадзе, в то время первого секретаря компартии республики. После специального показа для членов Центрального комитета КПСС, фильм был выпущен на экраны и стал доступен миллионам граждан СССР. Фильм ознаменовал своеобразное коллективное поминовение жертв сталинского террора — как и надеялись Горбачев и Шеварднадзе. Кроме того, подобное, пусть и частичное послабление в официальной идеологии создало на какое-то время мощный официально санкционированный фокус общественного внимания, тем самым маргинализируя диссидентов. Как быть, если сами власти перехватывают одно из самых сильных диссидентских обвинений и сами начинают открыто, хотя и более осторожно, обсуждать давние программные требования оппозиции времен 1968 г.? Горбачев на глазах превращался в Дубчека — и при этом глава СССР, как, по крайней мере, долго казалось, имел куда больше контроля над советскими танками. Выпущенным на волю диссидентам пока что оставалось наиболее разумным занять положение конструктивной оппозиции, из задних рядов следящей за ходом осуществляемых государством реформ.

Кабардино-Балкария пропустила некоторые типичные для того периода темы мобилизации. Борьба за трезвость не звучала особенно актуально в довольно патриархальной среде, и на улицах Нальчика вряд ли следовало надеяться увидеть панка или хиппи (хотя в Приэльбрусье с шестидесятых годов осела небольшая общи-

нии сотрудничества Звиада Гамсахурдия с органами госбезопасности после покаяния и выхода на волю. Однако в противоположность подобным теориям заговора, которые имеют широчайшее хождение во всех странах Восточной Европы, следует признать, что сотрудничество будущего вождя с охранкой перестает иметь существенное значение после того, как революционная мобилизация возносит его к власти и делает автономным игроком. Власть волшебная штука, снимающая груз прошлых грехов, как, впрочем, и создающая новые. Даже если Гамсахурдия и служил в какой-то период провокатором КГБ, его действия нанесли такой урон целостности СССР, который далеко перекрывает какую-либо тайную выгоду или расчет. Достаточно вспомнить пример русских попа Гапона и жандармского полковника Зубатова, в конечном итоге подставивших нерешительного и неумелого царя Николая II под удар революции 1905 г.

на русских романтиков альпинизма и бардовских песен, но погоды в Нальчике они не делали). Одним из немногих, кто хоть отдаленно походил на инакомыслящего вольнодумца брежневских времен, был Юрий Шанибов. Тем не менее, будучи критиком бюрократической косности, Шанибов оставался скорее поборником авторитарной коммунистической реформы в духе Ю. В. Андропова. В те годы Шанибов, его коллеги и студенты принимали участие в ранних перестроечных дебатах по вполне дозволенным проблемам реформы образования и студенческой жизни, экологии. Пределом политизации тогда выступало обсуждение преступлений сталинизма, представляемых как «отход от ленинских принципов», и реабилитации более приемлемых оппозиционеров периода фракционных дискуссий 1920-х гг. вроде Бухарина. Как и на большей части СССР, в Кабардино-Балкарии (и, кстати, еще более в Чечено-Ингушетии) нашлись собственные горнорудные и химические предприятия, далекие от экологических стандартов. После Чернобыля многие местные жители стали их опасаться и раздавались голоса, требовавшие их природоохранного переоборудования, если не полного закрытия. Экологическая проблема не была такой уж политически невинной. Она потенциально граничила с националистическими требованиями — всего один лишь шаг, и тема защиты природы от загрязнения перерастала в защиту девственного природного наследия «малой родины» от бездушных русских бюрократов в Москве. Но утопающий в зелени уютный город-курорт Нальчик, в отличие от нефтехимических центров Гудермеса и Грозного (в те годы взбудораженных экологов, во что сегодня как-то с трудом верится), не располагал к экологическому радикализму.

Следующим этапом общественной мобилизации стало возрождение национальных культур. Поначалу это означало проведение при официальной поддержке фольклорных фестивалей либо вполне неконфронтационных дискуссий в местной прессе и на телевидении о введении преподавания традиционного этикета в школах. Однако довольно скоро эти дискуссии в среде национальной интеллигенции начинают сливаться с дискурсом преодоления сталинских преступлений и выходить на обсуждение путей преодоления последствий перенесенных исторических травм целых национальностей. Для балкарцев главнейшей национальной травмой стала сталинская депортация 1944 г., не только приведшая к гибели значительной части малого народа, но и подспудно сохранявшая на балкарцах клеймо фашистских пособников. Разумеется, это было ложью, поскольку мятежи в балкарских селах и дезертирство начались в 1942 г. в основном по причине путаных и невыполнимых приказов советских властей по призыву новобранцев и предостав-

лению продовольствия Красной армии перед лицом стремительно наступавших германских войск. Стихийное крестьянское сопротивление накликано карательные меры сталинских органов вплоть до массовых расстрелов²³. Кабардинцы, в свою очередь, хранили в памяти собственную историческую травму жестоких потерь, понесенных в Кавказской войне XIX в., завершившейся трагическим исходом черкесов-мухаджиров на Ближний Восток²⁴. Именно в это время, в конце восьмидесятых, ослабление советского визового режима позволило потомкам кабардинцев и других черкесских наро-

²³ См., например, Азаматов К. и др. *Черкесская трагедия*. Нальчик: Эльбрус, 1994.

²⁴ Война на Северном Кавказе оказалась самым долгим и кровопролитным из всех завоеваний Российской империи. Необычайно упорное сопротивление горцев — предков современных дагестанцев, чеченцев, кабардинцев, черкесов, адыгейцев, абхазов — стало возможным благодаря совпадению ряда обстоятельств: горная местность, зачастую описываемая русскими офицерами как естественная крепость, воинские традиции местных народов, доступность стрелкового оружия, поставляемого из Турции или производимого на местах, и, наконец, исламская идеология *газавата* (священной войны), проповедуемая способным и харизматическим суфийским мистиком, аварцем по происхождению Шамилем, оказавшимся также и исключительно способным строителем государственности. Кавказская война, которая в основном состояла из стремительных набегов горцев и карательных экспедиций русских войск, продлилась более четырех десятилетий, до почетной сдачи имама Шамиля в 1859 г. и падения последних черкесских твердынь близ современного Сочи в 1864 г. Поражение привело к стихийному исходу, даже по осторожным оценкам, свыше полумиллиона горцев. Обезлюдели целые местности, особенно в Причерноморье. Многие беженцы умерли от лишений в пути, остальные поселились на просторах Османской империи — от Малой Азии до Иордании, где и сегодня живут внушительные общины потомков черкесских и чеченских мухаджиров (беженцев из-под гнета неверных, как их именуется исламская традиция). Сегодня многие национальные активисты на Северном Кавказе утверждают, что если бы не это массовое изгнание, то их народы отнюдь не были бы столь малочисленными. По Кавказской войне см. Moshe Gammer, *Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Dagestan*. London: F. Cass, 1994. Важнейшей интерпретацией исламской крестьянской войны на Северном Кавказе является труд Николая Ильича Покровского, *Кавказская война и имамат Шамиля*, Москва, РОССПЕН. Покровский написал эту книгу еще в 1934 г., однако опубликована она была лишь в 2000 г. уже его сыном. Несмотря на однозначно марксистский подход Покровского, в советское время название и тематика книги, вероятно, нервировали научные издательства.

дов, проживающих в Сирии, Иордании и Турции, приехать на землю предков. Большинство приехавших были куда более «чистыми» мусульманами, нежели местные жители, — они не употребляли алкоголя и говорили на удивительно старомодном наречии. Именно по этим причинам черкесы диаспоры казались местным гораздо более «настоящими» и нетронутыми советским обновленчеством. Паломничества на землю изгнанных предков стали очень волнующими событиями и поводом для возникновения дерзкой мысли, что в один прекрасный день соплеменники диаспоры (как многие из них клялись и обещали) смогут вернуться на Кавказ, возродив традиции и гораздо более многочисленную черкесскую нацию.

Но не это пока было главным событием дня. В 1988 г. состоялись первые частично соревновательные выборы, пока лишь на XIX всесоюзную партийную конференцию, фактически внеочередной съезд КПСС. Несмотря на то что выборы были лишь внутривнутрипартийными, они способствовали распространению возбуждающего вкуса настоящей политики. Официальных лиц инструкциями свыше заставили проводить открытые партсобрания, куда могли свободно приходить и даже выступать беспартийные. Это нередко привлекавшие ажиотажное внимание к ранее сугубо ритуалистическому процессу выдвижения кандидатов. Номенклатура лишалась гарантий самовыдвижения и вынуждена была вступать в совершенно ей непривычную публичную состязательную дискуссию, что, конечно, мало кому в той среде нравилось. Многие пока во внутреннем кругу стали предрекать генсеку-смутьяну ту же участь, которая постигла в 1964 г. Хрущева.

Предсказания, казалось, получили основу в марте 1988 г., когда рупор консервативного крыла руководства газета «*Советская Россия*» (в девяностых обратившаяся в глашатая русского имперского национализма) опубликовала передовицей вдохновенное открытое письмо, посланное от имени скромной ленинградской учительницы Нины Андреевой. Моралистическое заглавие «Не могу поступиться принципами» говорило само за себя. Эта публикация была воспринята консервативной номенклатурой на местах как сигнал к смене политического курса, и действительно во многих областях парторганы без явного предписания сверху начали проводить по наработанным пропагандистским шаблонам «широкое народное обсуждение» консервативного манифеста. Ректор Кабардино-Балкарского государственного университета распорядился, чтобы преподаватели и студенты ознакомились с письмом и обсудили его в аудиториях. Однако спустя две недели центральный орган ЦК КПСС газета «Правда» опубликовала жесткую передовицу, представлявшую собой, на изумление, незавуалированную

отповедь консерваторам. Противостояние двух авторитетно опубликованных знаковых статей положило начало уже практически открытой фракционной борьбе, тем самым мощно стимулируя политизацию общества. Столкнувшись с несогласием влиятельных партийных консерваторов, Горбачев дал согласие на формирование «народных фронтов в поддержку перестройки». Новация казалась столь невероятной, что вначале многие не поняли открывшихся возможностей — политикой стало можно заниматься легально и вне рядов КПСС. Неслыханная в условиях СССР мера предполагала сплотить прореформистские силы общества и потенциально создать политическую партию слева от консервативной КПСС. (Такое же недопонимание открывающихся возможностей и последствий сопровождало и публикацию законов о трудовом коллективе и о кооперативной деятельности.)

Вторая половина 1988 г. (а в подобные эпохи даже месяц имеет значение) ознаменовала прорыв в народной политической организации, которая из интеллигентских дискуссионных клубов выплеснулась на площади городов. Независимые митинги, хотя бы и под лояльными лозунгами поддержки курса Горбачева и реформ, вызвали повсеместное неприятие со стороны местных бюрократий. В Нальчике первый митинг вызвал сильнейшее оживление местной общественности, хотя отважившихся лично прийти оказалось лишь несколько сотен. В основном это были знавшие друг друга по университету студенты, деятели культуры и специалисты. Однако и этого числа оказалось достаточно, чтобы переполнить отведенный властями под мероприятие маленький зал, так что многие остались на улице (причем, по свидетельствам участников, отряженных по негласной разрядке комитетчиков, младших партчиновников и милицейских — эти были в форме — оказалось едва ли не больше, чем самих митингующих).

В подобной ситуации Шанибов попросту не мог не стать лидером, особенно после того, как друзья-интеллектуалы стали выталкивать его вперед, отпуская нервные шуточки о его ораторских талантах и репутации заводилы и закоренелого смутьяна. Шанибов согласился и в самом деле доказал свои способности, первым делом договорившись с озадаченным начальником милицейского наряда о необходимости незамедлительной смены места проведения официально санкционированного мероприятия. Маленькая толпа, возглавляемая Шанибовым и сопровождаемая непонимающими своей роли милиционерами, прошествовала к летнему театру в ближайшем парке, где, наконец, и состоялся знаменательный первый митинг. По воспоминаниям участников, выступления являли собой вариации на мотивы расплывчатой реформистской ри-

торики Горбачева и позаимствованных из прогрессивных московских газет оборотов речи. (Кстати, на Северном Кавказе, как и в некоторых других консервативных регионах СССР, местные власти втайне пытались предотвратить распространение прогрессивной московской и тем более прибалтийской прессы, которую активисты и энтузиасты ввозили чуть ли не контрабандой.) Сам факт проведения митинга, который не был расписан и отрепетирован властями, возымел магнетический эффект. Опытный лектор и специалист по актуальным проблемам и перспективам развитого социалистического общества Юрий Шанибов проявил себя настолько притягательным оратором, что даже его оппоненты вынуждены были с тревогой признать силу воздействия его слов на собравшихся. Окрыленный же Шанибов вскоре стал одним из признанных в городе мастеров публичных выступлений, увлекательным и достаточно дерзким, чья образованность не скатывалась в менторский тон.

Весной 1989 г. всеобщие выборы уже на Всесоюзный съезд народных депутатов предоставили местным лидерам гражданского общества неслыханную возможность статусного скачка в ряды депутатского корпуса. Однако прежде предстояло преодолеть барьеры к выдвижению в кандидатский список. Консервативный партийный аппарат все еще обладал властью достаточной, чтобы включить в избирательные списки обычный набор официальных лиц, разбавленных парой-тройкой представителей крестьян, рабочих и женщин. В этом отношении Кабардино-Балкария не была политически такой уж отсталой, хотя некоторые огорченные оппозиционные комментаторы и пытались представить причиной незрелость и послушность населения. Электорат демократических реформистов везде в социалистических странах состоял из интеллигенции, младших управленческих кадров, профессиональных специалистов и «рабочей аристократии» крупных и относительно независимых от местных властей промышленных предприятий. Начнем с того, что таких предприятий в Кабардино-Балкарии было немного. Далее, в союзных республиках вроде Литвы и Грузии голоса избирателей достались в первую очередь уже достаточно известным национальным интеллектуалам, которые благодаря своему статусу могли свысока смотреть на соперников из местной бюрократии. Культурное поле Кабардино-Балкарии попросту было слишком малым для наличия когорты подобных личностей, так как концентрация статусных интеллектуалов была возможна лишь на базе местного университета, провинциального театра и музея, нескольких научно-исследовательских институтов — а они слишком долго находились под контролем той же па-

тронажной сети консервативной номенклатуры. Подобные Шанибову яркие одиночки оставались явлением редким и пока что легко изолируемым.

Весной 1989 г. Шанибов и его друзья начали осознавать необходимость и саму возможность создания более широкой политической платформы вне стен научных и образовательных учреждений. К тому времени уже прогремели такие примеры в Армении, Грузии и в прибалтийских республиках. Но каким образом поднять народ? Две близкие памятные даты предоставили подобную возможность. Вначале балкарские активисты предложили отметить сорок пятую годовщину депортации марта 1944 г. Позднее, в мае, кабардинские активисты выступили с предложением почтить 125-летие вынужденного исхода побежденных в неравной борьбе с Российской империей черкесских народов. Это мероприятие привлекло наиболее активных представителей родственных черкесских народов, говорящих на родственных языках, но проживающих в различных автономиях – Адыгее, Карачаево-Черкессии и Абхазии. Прибыли также активисты из Чечни и Дагестана. Таким было начало межэтнического союза, который очень скоро перерастет в Конфедерацию горских народов. Но на первый раз предполагалось всего лишь проведение «открытого урока» по истории и воздание почестей героизму и страданиям предков.

Церемониальное собрание неожиданно приобрело драматический характер с появлением милиции в защитном снаряжении и даже на бронемашинах. Впервые люди не в телевизионных новостях о протестах в странах капитала, а воочию в своем тихом городе увидели полицейские дубинки, немедленно окрещенные «демократизаторами». Известный кабардинский авторитет в области традиционного этикета, чей отец был Героем Социалистического Труда и уважаемым в республике председателем колхоза, обратился к грозно выглядящим, но в душе явно смущенным офицерам и генералам местной милиции с типичной для тех времен отповедью: *«Посмотрите, что вы делаете. Вас же подставили! Это, по-вашему, демократия? Это уважение к воле народа? Мы же все советские люди, мой и ваши отцы когда-то вместе воевали против фашистов. Вы что, не понимаете, что здесь, в сущности, поминки по усопшим? Ведите себя как настоящие черкесы! Имейте хоть немного уважения к своим предкам и уберите подальше своих ментов с дубинками, не будьте дураками»*. Однако чиновники вполне обоснованно сомневались, даже если и никак не могли определиться, как им дальше действовать. Поименование жертв прошлого эмоционально мощнейшим образом сосредотачивало общественное внимание не только на конкретных жертвах царизма или сталинизма, а на жестокостях и несправедли-

востях вообще, которые империя совершила в отношении коренных народов Северного Кавказа.

Все же давайте не торопиться с описанием обращения Шанибова в национализм. Следует избегать не только безликого структурного детерминизма, но и его теоретической противоположности — теории, согласно которой этнополитические антрепренеры по собственным рационально-корыстным калькуляциям формируют образ политического действия. В ретроспективе возникает два совершенно противоположных по внутренней логике соблазна — счастье националистический сдвиг во времена распада СССР взрывом исконных (или, как забавно выражаются некоторые ученые заумники, «примордиальных») этнических страстей либо, наоборот, целенаправленной инструменталистской стратегией политических манипуляторов, метящих в лидеры. Оба подхода, надо сказать, имеют почтенное интеллектуальное происхождение, восходя к столь значительным личностям, как классический немецкий философ Гердер, считающийся основоположником романтического теоретизирования о национальном духе и «зове крови», либо Дюркгейму, а прежде него Фридриху Энгельсу. Напомню, что именно Энгельс в приступе раздражения от упорного нежелания делегации польских рабочих согласиться, что их эксплуататорами являются капиталисты — а не «эти чертовы немцы», — пустил в оборот клеймо ложного сознания. Две наиболее распространенные точки зрения на причины национализма — слепой исконный дух народа или целенаправленное конструирование со стороны элит — логически взаимоисключающи. Возможные гибридные примирительные теории (национализм заложен в исконных, принимаемых за данность структурах группового сознания, но пробуждается возникающими идеологическими элитами) исходят из умозрительного согласования логических противоречий и оттого остаются слишком общими. Гибриды плохо поддаются операционализации в конкретных исследованиях и не переносят столкновения с многообразием эмпирических ситуаций. Кто, почему и, главное, когда пробуждает национализм? Где и каким образом хранятся или генерируются его сильные эмоции? Но при этом обе теории именно потому, что они *частично* согласуются с реальностью, без особого труда могут быть подкреплены эмпирическими данными и обладают значительной поддержкой издавна соперничающих течений политической мысли и социальной науки. Инструменталистский подход совершенно согласуется с формальными экономистическими моделями рационального выбора (сводимых к формуле «мир есть рынок») и, с другой стороны, с постмодернистским вниманием к конструированию идентичностей («мир есть театр»). Те-

ории исконной данности «примордиализма» сегодня более популярны скорее среди журналистов и политиков, которые используют их как привычное клише, но считаются дискредитированными в ученой среде. Однако и в социальной науке мы находим пример столь яркого, умного и изобретательного консерватора, как гарвардский политолог Сэм Хантингтон, чей мрачно пророческий памфлет «Столкновение цивилизаций», увы, наверняка с лихвой перекрывает по цитируемости и общественному влиянию все публикации по конструированию идентичностей и рациональному выбору вместе взятые.

Общей для исконно-первобытного и инструментального подходов ловушкой является чрезмерное упорядочение истории, чем, собственно, и достигается их согласуемость с эмпирикой. Поскольку и мы, и действующие лица, которых мы изучаем и даже порой интервьюируем, знают дальнейшее направление и итоги политических процессов, то при взгляде в прошлое ранние проявления этнической политизированности кажутся более значимыми и «судьбоносными» по сравнению с тем, чем они являлись в своем неизменно более запутанном и неочевидном контексте тех лет. Вот почему нам требуется реконструкция национальных тенденций и их множественных, взаимопересекающихся институциональных причин и габитусных мотиваций, взятая в широком потоке общественных движений эпохи перестройки. Если обойти стороной ранние годы перестройки и всю прочую предысторию нашего героя, то, конечно, может показаться, будто все, что имеет значение в случае с Шанибовым, так это его знатная кавказская папаха — независимо от того, решим ли мы отнести ее на счет исконной кабардинской традиции или его рационального решения стать националистическим и военным вождем. Каждая из этих интерпретаций означает, что нам нет нужды обременять себя предположениями, что Шанибов мог бы прожить и иную жизнь, став верным членом номенклатуры, судьей, деканом, может, даже генералом КГБ или, напротив, известным обличительным социологом, каким стал в своей жизни Бурдые, или демократическим преобразователем общества. Ни к чему было бы путать читателя вождием по длинным историческим главам, в которых наш герой боролся с хулиганами и начальственными расхитителями общественного добра, переживал трудности с карьерным ростом, оттачивал на студентах ораторское мастерство, занимался чтением каких-то (в том числе нерекомендованных) книг, прослушиванием классической музыки и игрой на мандолине, защищал гласность и обличал партократов, создавал социальную сеть друзей и единомышленников вовсе не националистической и боевой направленности.

Пример протооппозиционной дружеской сети, в которой находился Шанибов, типичен для малых автономных республик СССР. Это вполне подтверждает и формализованный событийный анализ, проделанный Марком Бейссинджером применительно ко всему пространству Советского Союза времен перестройки²⁵. Бейссинджер показал с массой обобщенных данных, что автономные республики идут кучно и с небольшой, но статистически заметной задержкой во времени вслед за национальными союзными республиками. Это вполне очевидно и тем, кто вблизи наблюдал или пережил перестройку. Но менее очевиден следующий из этого вывод. Почему автономные республики (АССР) отставали от ССР союзного ранга? Было ли это следствием одной лишь разницы в размерах? (Хотя, заметим, Татарская АССР по численности населения и хозяйственному значению территории вполне могла превосходить такие союзные республики, как Эстония, Армения или Молдавия.) Причиной относительного отставания стадияльных изменений, показывает Бейссинджер, была относительная скудность статусных и организационных ресурсов, необходимых для осуществления политической мобилизации.

Во-первых, как в союзных, так с небольшим запозданием и в автономных республиках националистическим мобилизациям (не идеологиям в головах отдельных мыслителей, а массовым движениям) всегда требовалось время на раскачку. Республики должны были вначале политизироваться, и эти процессы довольно долго имели классовый, преимущественно интеллигентский вектор, направленный на социал-демократизацию, рыночную самостоятельность и «раскрепощение творческих сил общества», т.е. потенциальный выход профессиональных специалистов и художественной интеллигенции из пролетарского существования «на одну зарплату» под контролем номенклатурной бюрократии и превращение в политически, экономически и культурно автономный средний класс. До поры это было основным и единственным, в той или иной степени, антибюрократическим, т.е., подчеркну еще раз, по преимуществу классовым вектором для всех республик. Во-вторых, аналитическая хронология Бейссинджера показывает, что дифференциация векторов политического развития и радикализация уже национально выраженных требований республиканских гражданских обществ против центра — вплоть до кульминационного момента перехода Ельцина и его последователей от прежде исключительно демократической платформы к требованию суверени-

²⁵ Marc Beissinger, *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State*. New York: Cambridge University Press, 2002.

зации России в пику СССР — возникает лишь после ряда бурных и все более тупиковых общественных конфронтаций, включая целую серию сопряженных с массовым насилием инцидентов, в которых Москва выказала очевидную неспособность контролировать ситуацию.

Описанные в начале этой главы события и процессы на локальном уровне Нальчика представляют собой нечто общеизвестное всем включенным наблюдателям и активистам тех лет — и, как правило, совершенно игнорируемое этнополитологами, которые сосредотачивают внимание на одних лишь этнических конфликтах. Шанибовская социальная сеть протооппозиции, которая на том этапе стала распространяться за первоначальные рамки круга друзей, тем или иным образом участвовала практически во всех движениях, имевших самые разнообразные цели. Более или менее тот же круг хорошо знакомых между собой людей примерно одного возраста и уровня образования участвовал и в борьбе за экологию, и в охране исторических памятников, и в неформальном распространении зачитываемых до дыр перестроечных газет и журналов, в организации митингов в поддержку перестройки и затем выборов. Лишь в самом конце этой последовательности политизирующих событий национализм становится преобладающим вектором, и лишь *после* того, как Москва очевидно потеряла контроль над центральным перераспределением ресурсов и развитием местных политических процессов, а именно — осенью 1989 г.

СОБЫТИЯ ВЫПЛЕСКИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ: ПРИМЕР КАРАБАХА

Обратимся к событиям за Кавказским хребтом, где в трех союзных республиках националистический прорыв состоялся значительно раньше, вызвал фрагментацию госструктур и многовластие, вскоре обернувшиеся насилием. Начало положили февральские события 1988 г. в Армении и Азербайджане. В апреле следующего 1989 г. по тому же пути сползания в пучину конфликтов внезапным толчком и с ускорением двинулась Грузия. Автономные республики Северного Кавказа, прежде всего Чечено-Ингушетия и Кабардино-Балкария, вступают в аналогичную полосу националистической мобилизации и уличных беспорядков значительно позднее, уже в 1991 г.

В критической точке 1988 г. различный характер моделей соперничества элит и контрэлит открывал возможности дальнейшего продвижения в двух направлениях. Первым была гражданская мобилизация для борьбы за демократический социализм, перерастающая в парламентарную и рыночную либерализацию. Как видно

на примере Венгрии, Польши или Прибалтики, при условии недопущения со всех сторон насильственных действий это вело к либеральному переустройству государственных структур и упорядоченному переходу к капитализму — добавим, поскольку важно, под эгидой Евросоюза. В рамках этой модели идущие к власти высоко-статусные интеллигенции в течение всего перехода сохраняли неоспоримый идейный контроль (культурную гегемонию в значении, введенном Грамши) над оппозиционной мобилизацией, в том числе сдерживая собственных уличных радикалов. Со своей стороны, очевидно, давно в душе смирившиеся с перспективой либерализации коммунистические власти отказались от использования доступных им силовых средств, особенно после того, как горбачевская Москва явно исключила вариант повторения оккупации Праги в августе 1968 г. В итоге посткоммунистический переход осуществлялся на основе договоренностей (пактов) и носил в целом мирный характер. Альтернативной моделью была бурная националистическая мобилизация, в основном направленная против соседних этнических групп. В такой мобилизации значительную роль играли активисты с маргинальным социальным статусом. Этот второй вариант открывал дорогу в межнациональные войны — со всеми последствиями для государств бывшей Югославии и Южного Кавказа.

Первой такой войной на территории СССР стал армяно-азербайджанский конфликт, более известный под именем нагорно-карабахского. В конце восьмидесятых, на излете траектории Советского Союза, повсеместно распространенным стало убеждение, что создание большевиками в 1920-х национальных автономий являлось частью далеко идущего имперского плана по принципу «разделяй и властвуй». Или же, как выражались национальные и либеральные публицисты тех лет, демонически провидческий Сталин оставил после себя множество «бомб замедленного действия», которые должны были приводиться в действие при всякой попытке осуществления демократических преобразований в будущем. Этот довод казался особенно сильным, поскольку в эмоционально накаленной атмосфере публичных разоблачений преступлений коммунистического режима ни одно решение, так или иначе связанное со Сталиным, не могло считаться заслуживающим оправдания. Однако вряд ли Ленин и Сталин, при всем их политическом гении и ни перед чем не останавливающейся непреклонности, могли быть столь дальновидными. Вернее, их видение будущего весьма значительно отличалось от того, как это представляли себе последующие критики в разгар перестройки.

В 1918–1920 гг. Карабах оказался пограничьем, которое оспаривали Армения и Азербайджан, неожиданно обретшие независи-

мость в результате революции и распада прежней имперской администрации и ее силового аппарата. Конфликт сопровождался ужасающим кровопролитием, осуществлявшимся вооруженными формированиями обеих сторон при непосредственном участии местного крестьянства. Геополитический контекст, если вкратце, был следующим. Территориальные притязания новообразовавшихся «буржуазных» (на самом деле социалистических, но не большевистских и либерально-демократических) республик никак не совпадали с губерниями и округами прежней империи. Кроме того, имелись довольно значительные территории исторической Западной Армении, занятые царской армией в период наступлений 1915–1916 гг. против султанской Турции либо еще в войну 1878 г. Во множестве местностей, в том числе в Карабахе (как, впрочем, даже в самом «ядре» Армении и Азербайджана), исторически сложилась чрезвычайно запутанная этноконфессиональная чересполосица²⁶. Весной и летом 1918 г., используя оправдание Брестского мира и просто превосходящую силу, в Закавказье входили германские и турецкие войска, затем после поражения Германии и Турции высаживались англичане. В 1919 г. на Версальской мирной конференции заявившим о себе республикам Закавказья скептические западные дипломаты дали ровно год на подтверждение своих историко-культурных прав и административно-территориальной состоятельности. (Вероятно, западные правительства внутренне надеялись, что тем временем их союзник генерал Деникин разберется с большевиками, а затем и с самозванными националами.) Казалось, вполне либеральные и умеренные условия проведения плебисцитов по спорным территориям произвели чудовищные последствия — национальные режимы бросились загодя захватывать стратегические пункты, для чего им элементарно недоставало собственных войск. Действия возложили на полупартизанские отряды и самостоятельных вплоть до полного непослушания полевых командиров. Из чувства мести, ради исполнения национальной идеи и собственной славы они устраивали кровавые авантюры, провоцируя местное крестьянское население на активные конфликты, совершая демонстративные злодеяния, призванные внушить ужас и согнать с мест чуждое население, т.е. проводя именно то, что впоследствии было названо этническими чистками²⁷.

²⁶ См. Цуциев А. *Атлас этнополитической истории Кавказа, 1774–2004*. М.: Европа, 2006.

²⁷ Firuz Kazemzadeh, *The Struggle for Transcaucasia, 1917–1921*, New York: Philosophical Library, 1951.

Первой реакцией большевиков после установления их власти в Закавказье была передача Армении населенных в основном армянами районов Карабаха — в полном соответствии с принципом национального самоопределения. К лету 1921 г. для Москвы особой разницы не было, поскольку и Армения, и Азербайджан стали советскими. Это был бы и сильный пропагандистский ход. Новая власть, если воспользоваться словесными оборотами ее собственной пропаганды, «принесла народам Кавказа победу пролетарского интернационализма», способного «в мгновение ока разрешить созданные буржуазными националистами» рознь и проблемы. Именно так глава советского Азербайджана Нариман Нариманов обращался к трудящимся Армении в конце 1920 г.²⁸ Этот политический курс сохранялся еще в начале июльского заседания большевистского Кавказского бюро (Кавбюро) в 1921 г. Однако за ночь между первым и вторым заседанием все изменилось, и по оставшимся неясными причинам Нагорный Карабах оказался в составе Азербайджана в качестве автономной области.

Семь десятилетий спустя требование карабахских армян, желавших воссоединения с «материковой» Арменией, запустило процесс, приведший к распаду Советского Союза. После 1991 г. конфликт перерос в полномасштабную войну между вновь независимыми Азербайджаном и Арменией, закончившуюся в 1994 г. военным поражением Азербайджана, но также и политическим тупиком в статусе Карабаха. Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика надолго стала одним из «замороженных» этнических конфликтов на территории бывшего СССР. Демократизация и Армении, и Азербайджана регулярно наталкивается на занозу территориального конфликта — правители республик гневно указывают оппозиционерам, что не время выходить на улицы и требовать смены власти, пока Родина в опасности. Впрочем, и сами оппозиционеры постоянно сбиваются с демократического дискурса на ультранационалистический, обвиняя правителей в бездействии либо предательском соглашательстве по карабахскому вопросу. Так и кажется, будто Сталин с сардонической усмешкой наблюдает из могильной тьмы за бесконечным повторением старой истории. Только не иллюзия ли это?

Неожиданные архивные находки изгнанного из Абхазии в Москву грузинского ученого Григория Платоновича Лежавы подсказывают совершенно иную версию событий 1921 г. Его гипотеза выглядит привлекательнее именно в силу выявления конъюнктурной

²⁸ Телеграмма Ревкома Советского Азербайджана Ревкому Советской Армении от 30 ноября 1920 г., см. *Карабахский вопрос, в документах и фактах*. Степанакерт: Арцах, 1989. С. 43.

сложности и неочевидности решения Кавбюро. Притом произошедшая за ночь смена дискурсов в формулировке решения вполне соответствует тогдашним разногласиям и незавершенности стратегического видения большевиков (скажем, троцкистской идеологической тенденции к продвижению мировой революции или сталинского курса на прагматичное упрочение позиций тогда лишь возникавшего СССР как мирового оплота социализма)²⁹. Г. П. Лежава сообщает о том, что обнаружил в московских архивах ранее секретные записи телефонных переговоров, которые велись в ту июльскую ночь между большевистскими руководителями в Москве и на Кавказе. Как выясняется, возражения идее передачи Карабаха Армении поступили с неожиданной стороны — от грузинских большевиков Мдивани и Махарадзе. Они высказали опасение, что непродуманное решение по Карабаху создает прецедент для отделения всех прочих мятежных этнических окраин по всему Кавказу. Это означало бы окончательный выход из состава Грузии Абхазии, Южной Осетии и населенного армянами Лори, что большинством грузинской общественности было бы воспринято как расчленение их страны и поставило бы под угрозу выживание только что установленного в Грузии большевистского режима. Наиболее же действенным аргументом, судя по всему, оказалась почти неминуемая перспектива увидеть в таком случае Аджарию под турецкой юрисдикцией.

Турецкое республиканское правительство, созданное в Анкаре мятежным полковником Мустафой Кемалем (будущим Атаатюрком), в тот момент не признавалось никем, кроме также никем не признанных большевиков. В распоряжении кемалистов были оказавшиеся довольно серьезной силой остатки прежней османской армии плюс патриотическая преданность мусульманского крестьянства Анатолии, с эсхатологическим ужасом наблюдавшего за капитуляцией последнего султана и расчленением их бывшей империи. Большевикам приходилось считаться со своими случайными союзниками-кемалистами, поскольку те обладали реальной военной силой и точно так же боролись за изгнание из региона Антанты (тем самым открыв Закавказье для успешного вторжения Красной армии). В Коминтерне на антиимпериалистических повстанцев-кемалистов возлагались тогда иллюзорные надежды в деле продвижения мировой революции на Востоке. Тем не менее жесткий прагматик Сталин и его соратники должны бы-

²⁹ Я глубоко благодарен д-ру Лежаве за то, что он поделился со мной своей гипотезой, и выражаю надежду, что почтенный возраст и неблагоприятные обстоятельства не помешают ему опубликовать их.

ли четко понимать, что в отличие от имеющей сугубо символическое значение горы Арарат и периферийной крепости Карс, Аджарию туркам отдавать нельзя ни в коем случае. Столица Аджарии Батуми служила важным морским портом и терминалом экспорта каспийской нефти, потеря которого поставила бы под угрозу хозяйственное развитие не только всего Закавказья, но и военную безопасность самой советской России³⁰. Неудача польского похода Красной армии в 1920 г. среди прочего показала стратегическую важность бесперебойного доступа к бакинской нефти. Однако и турки, потерявшие Батумский округ по итогам относительно недавней войны 1878 г., всерьез рассчитывали на его возвращение. К нефтяной и портово-транспортной геополитике добавлялся и аргумент права народов на самоопределение. В те годы присоединения к единой Турции желало большинство «аджарцев» — коренных жителей сел Батумского округа, которые говорили по-грузински на гурийском диалекте, однако уже несколько столетий под турецким влиянием исповедовали ислам и поэтому видели себя в первую очередь мусульманами и с большим подозрением относились к христианам-грузинам. (В XX в. национальная идентичность аджарцев изменится под воздействием советской секуляризации и общей социально-экономической модернизации. Сегодня они уже практически однозначно считают себя грузинами — интереснейший и по-своему сложный пример того,

³⁰ Чтобы оценить степень изменчивости обстановки, напомним, что в 1921 г. повстанческое правительство в Ангоре (Анкара) было единственным союзником Советской России в борьбе против стран Антанты. Таким образом, проблема Аджарии, которая в прошлом принадлежала Османской империи и перешла под российское правление лишь в 1878 г., приобрела особую остроту. Бакинская нефть поступала в Батумский порт по одному из первых в мире трубопроводов, причем сегодня достаточно забавным видится то обстоятельство, что в Аравию тогда завозили керосин из Батуми. Значимость этого порта подчеркивает развернувшаяся вокруг него в 1917–1921 гг. борьба: права на него предъявляли Турция, Россия (как белогвардейцы Деникина, так и большевики), независимая Грузия (на том основании, что аджарцы были грузиноязычными), Азербайджан (ибо аджарцы были мусульманами), Армения (потому что нуждалась в выходе к морю) и в придачу британские интервенты, предполагавшие сделать Батуми ничейным *porto franco* — открытым портом. Сами аджарцы в те годы разрывались между своей прогрессивной интеллигенцией, выступавшей за конфедеративный союз с Грузией, и традиционалистами, желавшими вернуться под длань султана Османской империи. См. Firuz Kazemzadeh, *The Struggle for Transcaucasia, 1917–1921*. New York: Philosophical Library, 1951.

как идентичности могут изменяться за довольно короткий промежуток истории)³¹.

Так в силу сложного и довольно случайного сочетания внешних причин населенный в основном армянами Карабах в 1921 г. стал областью советского Азербайджана — хотя и, подчеркнем, с особым компромиссным статусом автономии, отражавшим результирующую по сумме целого ряда разнонаправленных политических векторов. Пришедшее к власти всерьез и надолго большевистское руководство со свойственной им решимостью и насильственным напором во имя великих исторических целей решило разом институционализировать этнические сепаратизмы на всем Кавказе. Большевики были теперь убеждены, что только ускоренное промышленное развитие принесет разрешение проблеме межнациональной розни. Космополитическая столица Азербайджана город Баку служил базой ранней индустриализации региона. Согласно советской версии теории модернизации, национальная рознь была пережитком отсталости. Современный пролетарский город Баку (вместо захудалого тогда Еревана) должен был стать паровозом прогресса, тянущим в светлое интернационалистское будущее Карабах и подобные отсталые районы. В 1988 г. Москва вновь пришла к такому выводу. Горбачев посулил огромное увеличение капиталовложений в социальные и экономические сферы для разрешения проблем Карабаха — только без пересмотра существующих внутренних границ³².

В 1988 г. абсолютное большинство армян не согласилось с экономическим рационализмом подобного решения. Чтобы понять причины их эмоционального отказа, следует оценить исторический процесс, в результате которого возникла современная армянская нация. Четкое ощущение национальной идентичности у армян сложилось задолго до возникновения современного государственно-политического национализма, поскольку они еще в раннем средневековье оказались христианским меньшинством во владениях Арабского халифата и затем мусульманских Османской и Персидской империй. Их объединяло и одновременно выделя-

³¹ Mathijs Pelkmans, *Defending the Border: Identity, Religion and Modernity in the Republic of Georgia*. Ithaca: Cornell University Press, 2006.

³² Поскольку многие склонны видеть действия коммунистов патологической aberrацией, следует напомнить, что уже после 1999 г. либеральные политики Запада, столкнувшись с аналогичной дилеммой, точно так же предпочли не допустить поглощения Косова соперничающими Сербией и Албанией, сделав процесс интеграции в Евросоюз локомотивом прогресса на новейшем историческом этапе глобализации.

ло из окружающих социумов существование собственной армяно-григорианской церкви, с собственной армянской письменностью, именно в целях самостоятельной от византийцев христианизации изобретенной еще в V веке Месропом Маштоцем, собственной литургической и богословской традиции и собственной части Иерусалима — такое статусное преимущество в средневековом сознании стоило порой и мученической смерти. Феодалные воинские элиты армян после столетий войн к XIV в. были окончательно уничтожены завоевателями (отметим, за небольшим исключением как раз Нагорного Карабаха), однако сохранились монастыри и священники, которые поддерживали этнорелигиозную идентичность своей паствы.

В Средние века армянские крестьяне, ремесленники и купцы традиционно признавали авторитет первого, т.е. духовного соловья. Признавали его и мусульманские правители, предпочитавшие управлять армянскими подданными посредством их собственных священников, которым также вменялись сбор налогов, общинное самоуправление и разрешение бытовых тяжб. В XVIII—XIX вв. к элите священнослужителей добавилась светская западная интеллигенция, которая со временем заявила о своих правах на ведущую роль в армянском обществе. В 1840–1914 гг. светская армянская интеллигенция успешно трансформировала этнорелигиозную идентичность в прочную национальную идеологию. Для новооформившейся армянской интеллигенции не было вопросом, куда вести нацию — конечно, в прогрессивную и цивилизованную Европу, тем более армяне — конечно, христиане. Однако в отличие от греков, сербов или болгар между армянами и Европой находились турки...

Вставала нелегкая дилемма: добиваться европеизации совместно с прогрессивной западной элитой Османской империи, т.е. с младотурками, или же отдельно от турок с их вечными проблемами, что означало восстание за выделение из османских земель собственного государства — как того уже добились балканские нации. Различные армянские политические силы двинулись, как часто случается при подобных дилеммах, в обоих направлениях одновременно, и хуже этого быть не могло. В 1909 г. армянские политики в результате конституционной революции вошли в парламент и правительственные учреждения Османской империи в качестве младших партнеров партии младотурок, но уже в Балканских войнах 1912 г. армянские отряды воевали против тех же младотурок в составе болгарской, а с 1914 г. и русской армии. Среди терпевших поражения турецких националистических модернизаторов это породило параноидальные подозрения и требо-

вания решительно пресечь окончательный раздел уже центральных областей империи — турки считали глубоким тылом и ядром своей родины Анатолию, восточные области которой считали своей еще более исконной родиной и армяне. В прогрессивном национально-либеральном будущем, куда стремились и турецкие, и армянские западники, на одной и той же территории не может существовать два этнических гражданских общества со взаимосоключающими проектами модернизации. Гротескность ситуации состояла в том, что на планомерное искоренение анатолийских армян (а также греков и христиан-ассирийцев) пошло именно революционное и западническое руководство турок, само лишь недавно свергнувшее консервативного султана. Прежний султан Абдул Гамид, как и многие предшествующие правители Высокой порты, периодически применял резню для усмирения провинций, но все же в его традиционалистском воображении не возникало эпохальных планов изменения исторической демографии своих владений путем тотальной этнической чистки. Это была доведенная до бесчеловечного предела преобразовательная идея образца уже подлинно XX в.³³

Память о геноциде 1915 г. (яростно отрицаемом турецким политическим истеблишментом и поныне) создала среди армян исключительно эмоциональный центральный фокус национального самосознания. Жители находившейся под российским владычеством Восточной Армении не попали под колеса проводимых на государственном уровне избиений мирного населения, однако российские армяне понесли свои тяжелые потери в годы революций 1905 и 1917–1920 гг., прежде всего во время кровавых столкновений с кавказскими «татарами» (которые позднее стали называться азербайджанцами). Необходимо признать, что в Закавказье жертвы среди мусульман также были значительными. В отличие от Османской империи, где в 1915 г. насилие было односторонним, поскольку гражданское население уничтожалось воинскими подразделениями и отрядами племенной конницы, в российском Закавказье армянские революционные дружины и затем возникшие в ходе Первой мировой войны добровольческие формирования обладали современным вооружением и высокой организованностью, поэтому месть их могла быть кровавой.

³³ Ronald Grigor Suny, *Looking toward Ararat: Armenia in Modern History*, Bloomington, Indiana University Press, 1993. Наиболее полным социологическим истолкованием является монография Майкла Манна с мрачно парадоксальным заглавием «Темная сторона демократии». См. Michael Mann, *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing*. NY: Cambridge University Press, 2005.

Память о таком историческом опыте помогает объяснить эмоциональный накал реакции армян в ходе последних этнических конфликтов. Травма пережитого геноцида у выживших и их потомков породила острейшую потребность в моральном катарсисе. Самые мощные этнические мобилизации на Кавказе происходили именно в подобных остро переживающих свою уязвленность и уязвимость группах — не только армян, но также подвергшихся сталинским депортациям чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев, отчасти абхазов и южных осетин. Как заметил Чеслав Милош, малые нации обостренно понимают, насколько легко они могут исчезнуть.

Однако сама по себе национальная память не в состоянии определять будущее народов. Следует учесть два важных фактора, которые могут внести значительные изменения в национальные идеологии и политические программы. Во-первых, возмездие отнюдь не является единственно возможной формой катарсиса. Почти треть жителей Белоруссии погибла в период немецкой оккупации 1941–1944 гг., однако боль той трагедии стала составной частью героизации подвига белорусских партизан и послевоенного возрождения республики. Напомню и описанный в первой главе эпизод, связанный с переименованием грозненской площади в честь Никиты Хрущева. Провозглашение независимости Чечни в 1991 г., как представляется, было не столько результатом политического расчета (масса всего свидетельствует, что и сам Дудаев не очень верил в разрыв с Россией), сколько символическим средством катарсиса и национального самоутверждения. При этом публичное увековечивание памяти таких фигур, как Хрущев и Александр Мень, служило чеченским националистам совершенно необходимым противовесом фигуре Сталина. Аналогично на одной из центральных площадей Еревана будет воздвигнут памятник академику Андрею Сахарову.

Во-вторых, историческая память не может обрести материальных последствий без связи с организационными ресурсами и координируемыми социальными носителями. Примеров, когда даже сопоставимые с геноцидом коллективные травмы не находят политического выхода, также немало. Понтийские (черноморские) греки, многие из которых при Сталине испытали репрессии и ссылку, не имели ни статуса автономии, ни собственной православной организации, ни какой-либо иной действенной коллективной формы, которая позволила бы сосредоточить и направить персональные травмы в русло политических целей. Мобилизация греков в годы перестройки не состоялась, как не состоялось и действенной мобилизации этнических немцев — в итоге организационный импульс

поступил извне, от правительств, соответственно Греции и Германии, которые предложили программы репатриации.

Признавая мощное эмоциональное воздействие воспоминаний о национальных травмах, мы лишь приступаем к теоретической реконструкции событий. Здесь никак нельзя остановиться. Следует прояснить вопрос о политических процессах и ресурсах, определявших национальную память в советской Армении и Карабахе. Армянское национальное движение в СССР выстраивалось следовавшими друг за другом с конца 1950-х гг. циклами, вызванными общей оптимистической динамикой времен десталинизации и приходом нового поколения образованных горожан. Его формальные, как и не вполне формальные лидеры создавали себя и общую идеологию в культурном поле Армянской ССР по соревновательной логике обретения символических капиталов, описанной нами во второй главе. Громадный общественный резонанс творческих образов и идей, апеллирующих к общей программе армянского национального возрождения, имел целый ряд взаимосвязанных причин.

Еще в конце XIX в. традиционное для армян почитание учености духовного сословия было перенесено на современную национальную интеллигенцию, многие из ранних представителей которой в молодости получили образование в религиозных школах и семинариях и продолжали использовать религиозные образы и мотивы в своем творчестве. Армянам с их компактной и недоминантной церковной организацией никогда не был свойственен антиклерикализм и конфликты между светскими и духовными элитами. Далее катастрофически вынужденная урбанизация среди армянских беженцев (которые в результате гонений и геноцида начала XX в. составляли большинство не только в диаспоре, но и в самой Армянской ССР) создала исключительную привлекательность высшего и профессионального образования. Подобный процесс даже при отсутствии национального государства наблюдается во многих диаспорах беженцев, к примеру, среди палестинцев, превратившихся во второй половине XX в. в наиболее образованную из арабских наций. Учение открывало и путь в «люди», и давало на индивидуальном и семейном уровне некую форму компенсаторного катарсиса после пережитых ужасов.

В результате потрясений начала прошлого века в советскую Армению бежало либо репатриировалось непропорционально много для такой маленькой и периферийной республики людей с европейским образованием и навыками. В первом поколении 1920–1930-х гг. это такие фигуры мирового класса, как художник Мартирос Сарьян и архитектор Александр Таманян. Следом шло уже более

укорененное поколение, к которому принадлежали чемпион мира по шахматам Тигран Петросян, астрофизик Виктор Амбарцумян, композитор Арам Хачатурян. Наконец, в советской Армении сложилось поголовно грамотное национальное общество и возникли эффективные каналы современной массовой коммуникации. Проще говоря, люди ежедневно читали газеты и смотрели телевизор на русском и армянском, но также встречались, гуляя на городских площадях, в кафе, на стадионах, просто во дворах многоэтажек. Подчеркнем, все это происходит не просто в маленькой республике, а прежде всего в одном стремительно развивающемся городе Ереване, чье население выросло с нескольких тысяч человек в начале XX в. до миллиона к 1970-м гг. и где оказалась сосредоточена треть населения Армении.

По мере роста и структурирования Еревана этнически гомогенизировалось и его население. Азербайджанцы, курды, русские молokane оставались преимущественно в предместьях, где селился субпролетариат. Более честолюбивым и способным представителям меньшинств, ориентированным на карьеру, оставалось перебираться в города и республики, где они принадлежали бы к титульным национальностям. Подобные процессы шли во всех столицах советских республик, и особенно в Тбилиси и Баку, однако у Еревана было редко замечаемое «преимущество отсталости» — поскольку до 1917 г. городок был совершенно незначительным, в нем не сложились досоветские элиты. Хотя армяне с большой гордостью праздновали древность своей столицы, на самом деле физически и культурно Ереван строился почти с нуля. Благодаря советской национальной политике Ереван с его новосоздаваемой концентрацией учебных, административных и промышленных учреждений становился этнически гомогенным и практически на сто процентов армянским.

В 1960–1970-х неоднократно возникали спонтанные протонациональные мобилизации в публичном пространстве площадей и улиц Еревана. Поводами служили похороны национальных знаменитостей (например, художника Мартироса Сарьяна) либо празднования побед местной футбольной команды, носившей проникнутое национальным символизмом название «Арагат» — по имени высящейся над армянской столицей величественной и легендарной горы, которая, однако, в результате территориальных разделов 1921 г. осталась недостижимой за турецкой границей³⁴. Первое действи-

³⁴ Среди советских и зарубежных армян бытовала апокрифическая история, будто бы Турция заявила СССР протест по поводу использования на гербе Армянской ССР изображения Арагата. В ответ народный комиссар иностран-

тельно национальное массовое выступление произошло на Оперной площади в апреле 1965 г., в пятидесятую годовщину геноцида. Громадная толпа тех, кто не попал на официальное траурное собрание внутри оперного театра, создала для советских властей дилемму, из которой был найден весьма нетривиальный для СССР компромиссный выход. На незастроенном высоком холме Цицернакаберд (Ласточкина твердыня) в пределах центрального Еревана был создан вполне советский по архитектуре Мемориал геноцида с памятной стелой и вечным огнем. Мемориал сфокусировал национальную память на обособленном от городской суеты высоте и стал местом ежегодного восхождения многотысячной поминальной процессии. Таким образом ко времени перестройки жители Еревана имели более чем двадцатилетнюю традицию регулярных общегородских публичных церемоний, притом не связанных с официальной коммунистической идеологией. Серия митингов в начале 1988 г. выглядела столь спонтанной и естественной оттого, что ереванцы давно усвоили поведенческие ритуалы и риторику подобных событий, в отличие от, скажем, москвичей, гораздо более атомизированных в своем громадном городе³⁵

Карабахская тема вновь возникла в конце 1987 г., когда общесоюзная перестроечная череда эмоционально заряженных разоблачений о преступлениях сталинского режима достигла наивысшей точки³⁶. В этом контексте группа представителей высшего эшелона армянской интеллигенции обратилась к Горбачеву с письмом, в котором Сталин целиком обвинялся в передаче Карабаха под юрисдикцию Азербайджана. В духе исправления ошибок прошлого, заключали авторы письма, во имя демократизации и социалистического интернационализма, исторически армянский и по сей день населенный преимущественно армянами Нагорный Карабах было бы логично и совершенно справедливо воссоединить с советской Арменией. Письмо произвело эффект мгновенной кристаллизации. Для армян проблема Карабаха воплотила в себе все исторические горести и стала символической заменой гораздо более сильной травмы геноцида 1915 г. и потери доставшихся Турции исторических армянских земель. Подобный перенос

ных дел Литвинов заметил, что ведь и на турецком флаге изображена, сдается, Луна? Анекдот иллюстрирует национальную космогонию — тоскующая Армения, неизменно враждебная Турция, сильная покровительственная Россия.

³⁵ См. Абрамян Л., Бородатова А. Август 1991: праздник, не успевший развернуться // *Этнографическое обозрение*. 1992. № 3, С. 47–57.

³⁶ Thomas De Waal, *Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War*. New York: NYU Press, 2003.

виделся естественным, поскольку азербайджанцы были тесно связанным с турками в языковом и культурном плане народом, а на тонкости конфессионального различия между турками-суннитами и азербайджанцами-шиитами особого внимания не обращалось.

В Азербайджане развернулась контрмобилизация, которая явилась зеркальным отражением армянских требований. Авторитетные азербайджанские ученые и писатели направили ответное открытое письмо армянской интеллигенции, взывая к дружбе между народами и совместному отпору «безответственным провокаторам», недостойным высокого звания интеллигенции. Письма, копии которых немедленно попали в широкое обращение и вскоре были опубликованы в официальных газетах Еревана и Баку, поставили руководство обеих республик в крайне неловкое положение. В Армении и Азербайджане первыми секретарями в то время были назначенцы еще брежневской эпохи — и оба с полным основанием опасались привлечь внимание Горбачева, которое могло привести к их снятию с должностей. Им оставалось делать вид, что пока ничего экстраординарного не произошло и ситуация под контролем. В то же время некоторые из их номенклатурных подчиненных уже, не особенно таясь, делали ставки в намечавшемся перераспределении портфелей.

Написание писем от имени своих национальных обществ при растерянной пассивности первых секретарей республик сразу же выдвинуло статусных армянских и азербайджанских интеллектуалов в лидеры, что воодушевило интеллектуалов калибром поменьше — уже рядовых журналистов, ученых и множась число публицистов-самоучек. Довольно скоро им открылась пассивность и неожиданная податливость советской цензуры. Редакторы, главы культурных учреждений и номенклатурные кураторы публичной сферы сами более не могли быть уверены в том, где теперь проходит линия партии и кем завтра окажется их начальство. Лавинообразная эскалация публичных высказываний вызвала репутационное соревнование в радикальности аргументации и обличительной риторики. Как и повсюду в СССР тех дней, дотоле малоизвестный сорокалетний доцент или поэт могли в одночасье превратиться в звезду после удачного публичного выступления. Это положило начало нарастающей войне публичных заявлений и газетных публикаций между Арменией и Азербайджаном. В этих республиках советское государство на глазах теряло контроль над символической областью. Спустя какое-то время Москва попыталась как-то укрепить и спасти разрушающиеся структуры власти в Закавказье, однако делалось это неуклюже, неуверенно и слишком поздно, чтобы поспеть за стремительно разворачивающимися народными мобилизациями.

Все остальные проблемы были немедленно отодвинуты в сторону. В Ереване возник оппозиционный комитет «Карабах», почти полностью состоявший из относительно молодых 30–40-летних научных и творческих активистов, которые лишь немногим ранее искали себе реализации в перестроечных темах менее взрывоопасной природы – обсуждали проблемы культурного досуга молодежи, устраивали выставки авангардного искусства, выступали, как везде после Чернобыля, за закрытие вредного химического предприятия и атомной электростанции, экспериментировали с реформами в сфере школьного образования. Теперь эти активисты, возглавившие массовое движение за воссоединение Карабаха, все более походили на альтернативное правительство.

Приехав в Ереван летом 1990 г., когда армянская мобилизация находилась на пике, я провел целый день в приемной Армянского общенационального движения. С несколькими из лидеров АОД, историками по образованию, у нас нашлись общие приятели по студенческой Москве. Это обеспечило мне не более чем приветственное помахивание рукой и предложенную чашку кофе, однако никаких бесед – армянские активисты выглядели жутко занятыми. Оставалось сидеть на стульчике в уголке или слоняться по приемной одного из бывших Домов творчества, ныне реквизированного на национальное дело. Но для моих наблюдений так оказалось даже лучше. В длинной очереди на прием к бывшему историку была, к примеру, женщина, пришедшая, будто в прежний партком, пожаловаться на мужа-пьяницу. На диванчике с чувством глубокой неловкости присело двое толстых и потных милиционеров, пытавшихся отыскать служебную машину, предположительно экспропрированную боевиками движения на нужды «национальной борьбы». По всему Еревану разъезжали УАЗы и «Нивы» без номерных знаков, зато с бородатыми молодыми людьми в камуфляжных куртках и головных повязках а-ля Рембо, принадлежавших к носившим самые разнообразные названия добровольческим военизированным отрядам – «Армянской национальной армии», «Полку имени царя Тиграна Великого» или «Ашота Железного». По городу ходил рассказ об анекдотичном случае. Молодые боевики остановили на дороге шикарное авто с занавесочками на задних окнах. Распахнув дверь машины, один из парней остолбенело уставился на сидящего внутри и ласково ему улыбающегося католикоса всех армян Вазгена I. В полнейшей растерянности боевик выпалил: «Извините, товарищ... Господь Бог!»

Стоявший во главе одной из новообразованных партий восходящий политический деятель и в недавнем прошлом инженер-электрик признал даже с долей гордости, что большинство

добровольцев-ополченцев его партии были уроженцами его же родного села. Тот факт, что еще четверо членов исполнительного комитета этой партии также были инженерами-электриками, объяснялся тем простым обстоятельством, что все они когда-то учились на одном курсе в политехническом институте. Другим фактором, позволявшим разобраться в запутанной логике формирования многочисленных партий, служила топография Еревана. Основатели другой партии, как выяснилось, перезнакомились во время автобусных поездок по одному и тому же маршруту с окраины на митинги в центре города.

Иным образом развивались события в Карабахе, где интеллигенция была относительно малочисленной и не обладала достаточно самостоятельным статусом, чтобы заявить права на политическое лидерство. Во главе движения встали местные партийно-комсомольские работники и управленцы среднего звена, которые решили воспользоваться возможностью, чтобы избавиться от блокировавшей их коррумпированной патронажной сети Азербайджана. Национальное дело немедленно наделяло их героическим статусом в глазах соотечественников как в самом Карабахе, так и в Армении, где ранее на них нередко смотрели свысока как на провинциалов, говорящих на забавно звучащем диалекте.

Во время поездки в Карабах в июле 1994 г. у меня состоялся неожиданно откровенный разговор с Робертом Кочаряном — в то время председателем Государственного комитета обороны НКР (само название было сознательно позаимствовано у возглавляемого Сталиным верховного органа власти в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)³⁷. Биография Кочаряна являет наглядный

³⁷ Вначале Кочарян выставил за дверь радушную и словоохотливую сотрудницу крохотного карабахского МИДа, занимавшего тогда пару комнат в том же поврежденном во время недавних арналетов административном здании. Приветливая женщина, еще недавно учительница немецкого языка, впечатлилась фактом моего приезда из США и тут же попыталась устроить прием на высшем уровне. Отказ меня не слишком огорчил. На встречах с политиками обычно приходится выслушивать предназначенные для прессы дежурные заявления. Однако, узнав, что я бывал в Абхазии и Чечне, Кочарян сам послал за мной и предложил сделку — моя информация с мест об этих конфликтах в обмен на его информацию по Карабаху. Переходя на шутивно-извинительный тон, Кочарян подверг вдруг убийственной критике абстрактно-нормативную ученость: *«Да ездят, понимаете, из Гарвардов-марвардов, Оксфордов-моксфордов, чтобы учить меня теориям разрешения конфликтов, правам меньшинств и прочим хорошим вещам. Заумным языком говорят мне то, что я и так знаю, и при этом сами не знают того, чего я не знаю, но хочу узнать. Поговорить на самом деле не с кем».*

пример проблем армянской номенклатуры в Карабахе. Даже после службы в Советской армии, где он стал членом КПСС, молодому Кочаряну дважды не удалось поступить в Бакинский университет. Не хватало знакомств и денег на авторитетных репетиторов. В итоге пришлось поступить на заочное отделение Ереванского политехнического института. Но и получив диплом инженера, по той же причине отсутствия связей выходец из Карабаха не смог устроиться в Армении (не шло ему на пользу и слабое знание литературного армянского). Умный и энергичный Кочарян решил делать карьеру на малой родине, где сумел выдвинуться в первые секретари комсомольской организации НКАО. Как и в судьбе Шанибова, ограниченная возрастом комсомольская работа в условиях брежневских времен уже не означала дальнейшего автоматического продвижения. С 1974 г. НКАО управляла замкнутая номенклатурная клика присланных из Баку армян, полностью обязанных своим положением бакинским патронам и самому Гейдару Алиеву. Кстати, они не знали армянского, поскольку в многонациональном Баку чиновники и профессиональная элита общались по-русски³⁸. Кочаряну пришлось довольствоваться должностью секретаря парткома на одном из не самых стратегических предприятий Степанакерта, где он мог застрять надолго. Но в 1987 г. властного Алиева наконец убирают из Политбюро и отправляют на пенсию, и вот тогда в кругах фрустрированной карабахской номенклатуры возникает надежда.

Все начиналось как тщательно законспирированное, хотя и провинциально наивное бюрократическое восстание. В конце 1987 г. в Москву отправилось несколько руководителей из коренных карабахских армян, не принадлежавших к бакинским назначенцам Алиева. Они действовали по давно наработанным лоббистским схемам выбивания в центре ресурсов, используя земляческие, этнические

В сравнении с остальными карабахскими руководителями Кочарян выглядел внушительной личностью, хотя и определенно макиавеллианского толка.

³⁸ Гейдар Алиев был политиком легендарного ума и коварства. Удивительно мало достоверных сведений о его карьере. Оспариваются даже дата и место его рождения, так и смерти (о которой было официально объявлено незадолго до избрания его сына Ильхама следующим президентом Азербайджана). Virtuозно воспользовавшись в 1993 г. мятежом полевого командира Сурета Гесейнова против революционно-националистического президента Эльчибея, Гейдар Алиев обыграл всех и триумфально вернулся к власти — 15 июня стал официальным праздником под названием Дня национального спасения. См. описание очевидца: Thomas Goltz, *Azerbaijan Diary*, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1998.

и служебно-патронажные связи. Как показалось воодушевленным карабахцам, им удалось заручиться влиятельной поддержкой в окружении Горбачева — ведь его ключевым политическим советником служил потомок известного в Карабахе рода Георгий Шахназаров. В самом Карабахе руководство местных предприятий и учреждений направило административные ресурсы на организацию народных митингов и воззваний, надеясь, что в новой атмосфере демократизации это послужит доказательством массовой поддержки перестройки и заодно поспособствует принятию Москвой решения об административном переподчинении НКАО Армянской ССР. Вот как ответила на мой вопрос о первом митинге пожилая медсестра из Степанакерта, вовсе не похожая на бунтаря: *«Как же было не пойти? Ведь я же армянка, наша нация столько перестрадала в прошлом... Кроме того, о собрании всех оповестил секретарь парткома нашей больницы, сказал, что явка обязательна, как обычно».*

Роберт Кочарян в ответ на тот же вопрос усмехнулся и ответил с обезоруживающей откровенностью: *«Конечно, если бы на первом митинге КГБ нам дало по зубам, я бы убежал дворами, заперся дома, занавесил окна, сидел бы тихо и пил чай, надеясь, что меня не заметили».* Однако накануне восстания у местной номенклатуры возникла уверенность, что времена изменились, их дело правое (ничего же антисоветского они не требовали) и Москва на их стороне. Репрессий в самом деле не последовало ни за первым, ни за вторым, ни следующими митингами. Москва посылала противоречивые сигналы, крайне эмоционально интерпретировавшиеся противоборствующими сторонами, даже после того, как соседние армянские и азербайджанские деревни начали выяснять между собой отношения вначале кольями, затем охотничьими ружьями и сельскохозяйственными ракетами «Алазань», переделанными местными умельцами для стрельбы по наземным целям вместо грозящих градом туч. По словам Кочаряна, где-то в этот момент он и некоторые из более молодых лидеров движения начали осознавать, что Москва перестает играть решающую роль в этом конфликте. Более того, если Москва вовсе исчезнет, карабахские повстанцы останутся один на один с Азербайджаном, как уже было в далекие 1918–1920 гг. Старшее и более авторитетное поколение карабахской номенклатуры отказывалось допустить даже теоретическую возможность подобного поворота дел и продолжало надеяться на разрешение конфликта только посредством московского центра. Тогда Кочарян, несмотря на обвинения старших армянских товарищей в авантюризме, начал втайне готовиться к настоящей войне. Столь смелая дальновидность, как он утверждает, сделала его лидером в обход многих более заслуженных и влиятельных людей

и невзирая на относительно молодые годы. Кочаряну тогда едва исполнилось сорок. К его рассказу следует добавить, что у Кочаряна по молодости и положению, вероятно, отсутствовали лоббистские связи и ресурсы в Москве. Этому амбициозному политику оставалось тогда строить свои стратегии на местной и притом радикально альтернативной основе. Надо также добавить, что помимо восставших элементов номенклатуры на лидерство в Карабахе претендовали молодые радикалы из интеллигентской среды. Но в отличие от Еревана с его мощной интеллигентской прослойкой в намного более провинциальном и даже патриархальном Степанакерте национально-демократическая интеллигенция так и не смогла взять власть. Здесь ее в конечном итоге взяли бывшие комсомольские работники. Чреватое конфликтами деление возникшей в перестройку армянской политической элиты на ереванских интеллигентов и карабахских комсомольцев сохранится как минимум еще на два десятилетия.

Подавляющее большинство рядовых активистов армянского движения еще довольно долго искренне верило, что их требования были не только исторически, юридически и морально совершенно обоснованными, но и целиком соответствовали горбачевским реформам — ведь они ни на йоту не уклонялись от господствовавших в 1987–1989 гг. в советской политической сфере тем народного волеизъявления и преодоления последствий сталинских преступлений. Просто Горбачев отчего-то никак не мог осознать весомость армянской аргументации, которая повторялась все громче и настойчивее уже на всех уровнях, от академиков и депутатов до домохозяек. Восстания против Горбачева, перестройки, Москвы не было и в тайных мыслях. Москву же требования армянской общности ставили перед тяжелым выбором: «добро» на выход Карабаха из состава АзССР и воссоединение с Арменией могло вызвать цепную реакцию подобных требований по всему Советскому Союзу и отклонить страну от главной цели реформ. В то же время силовое подавление массовых выступлений дискредитировало бы политический курс Горбачева и сделало его зависимым от охранительских элементов в КГБ и партаппарате, которых он больше всего опасался, хорошо помня участь Хрущева³⁹.

Армянское движение оказало непредумышленный демонстрационный эффект на зеркальную мобилизацию в Азербайджане. На бакинских митингах и в прессе точно так же взывали к Горбачеву, но

³⁹ По крайней мере, именно так советники Горбачева представляли свои дилеммы, когда рассказывали мне о них в Фонде Горбачева в Москве в 1994 и позже, в 1999 г.

вому духу демократизации, но, главное, к необходимости соблюдения конституционных норм законности, которые, помимо всего прочего, запрещали изменение существующих границ без согласия республики. Вскоре митинги на центральных площадях стали регулярными событиями, предоставлявшими горожанам беспрецедентную возможность для эмоционального самовыражения и политической социализации. Притягательность митингов и раскрепощенной прессы достигали эмоционального накала, который трудно вообразить тем, кто не наблюдал и не переживал подобных событий. Здесь надо подчеркнуть, что первые митинги были чистейшими всплесками энтузиазма и восторга от самого факта свободного публичного высказывания, вызывающего немедленный позитивный резонанс сильнейших окрыляющих эмоций. Митинги пока не носили явно конфронтационного характера, который они приобрели уже вскоре. Забытая затем самими участниками деталь — в Степанакерте с февраля по май 1988 г. местные азербайджанцы также приходили на армянские митинги и некоторые из них даже открыто высказывались *в поддержку* требований армян. Азербайджанец-проректор Степанакертского пединститута вызвал бурное одобрение, признав глупостью существование отдельной армянской автономной области, когда совсем рядом находится «цветущая и высококультурная советская Республика Армения». Ради дружбы между представителями различных народов Кавказа, во имя демократизации и социалистического интернационализма азербайджанский проректор готов был поддержать справедливые пожелания братьев-армян — конечно, добавляли местные циники, если его оставят на посту проректора после переподчинения Степанакертского пединститута ереванскому Министерству высшего образования.

В словах азербайджанского проректора, очевидно, присутствовал и личный расчет, что не отменяет их более широкой значимости, равно как и личные стратегии Кочаряна или ереванских интеллигентов не сводят энергию армянского движения к одной лишь карьерной интриге прежних заднескамеечников. Социологической теории вот уже почти столетие не удается вполне удовлетворительно решить впервые поставленную Эмилем Дюркгеймом и Марселем Моссом проблему соотношения расчета и безотчетного альтруизма в социальных актах «дарения»: от периодического обмена собственно подарками и услугами до дружбы, супружеской любви, преданности делу или родине. Эта же проблема вставала и перед Пьером Бурдые. Критики указывали на слишком разоблачительную направленность его анализа отношений социальной кооперации и символического обмена, все низводящего до лицемерно скрываемой выгоды и эксплуатации. Бурдые и другие пред-

ставители его направления в науке предложили изобретательный выход из данного теоретического затруднения. Преследование выгоды в альтруистически выглядящем поведении обнаруживается при анализе со стороны, однако самим участникам подобных взаимодействий ни в коем случае нельзя сознательно думать о выгодах дружбы, товарищества или любви, потому что это немедленно уничтожает всю «игру»⁴⁰. Социально компетентные (хорошо воспитанные, порядочные) взрослые люди должны не только помнить добро, но и уметь забывать о собственных интересах. Только тогда добро и эмоциональное подтверждение их собственной значимости в семье, кругу друзей и в более широких сообществах будут к ним возвращаться раз за разом с каждым новыми циклами социальной игры обменов. По той же лишь смутно осознаваемой, вытесненной из активного сознания и «позабывтой» причине измена дружбе, супружескому долгу, братству и добрососедству порождает бури самых негативных эмоций. Это много хуже уклонения от контрактных обязательств участниками рыночной сделки и переживается как коварное предательство самых сокровенных ожиданий безусловной и бескорыстной взаимности⁴¹. Ни о каком арбитражном суде уже речи не идет. Здесь возникает месть со всеми ее исстари известными трагическими чертами. Возможно, это нам помогает понять, почему конфликты между соседними и нередко очень похожими народами чреваты слепой братоубийственной яростью — но также, настаиваю добавить, и не столь редкими случаями взаимного спасения, возникающими, как правило, на микросоциальном, личном уровне⁴².

⁴⁰ Еще раз напомню, что для Бурдье понятие игры было начисто лишено игривости. В его понимании метафора игры восходит к командным видам спорта, вроде его любимого регби, и подразумевает свод формальных правил и предрационального интуитивного чувства игры, которые реализуются в поле соревновательного взаимодействия игроков, добивающихся целей — забивать голы и стать чемпионами или превратить себя в крепко спаянную и влиятельную социальную группу. См. Craig Calhoun, Pierre Bourdieu. In: George Ritzer (ed.) *Blackwell Companion to the Major Social Theorists*. Cambridge, MA: Blackwell, 2000.

⁴¹ Хархордин О. В. (науч. ред.) *Дружба: Очерки по теории практик*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009.

⁴² Преподающий в Йельском университете в США греческий политолог Стасис Каливас, сравнительно-аналитически исследовав полтора десятка гражданских войн, пришел к несколько парадоксальному и глубоко мудрому выводу. Лучше других среди жестокости гражданских войн (как, впрочем, в кафедральных и офисных конфликтах) выживают те, кому довелось пощадить

Поэтому примирительные выступления азербайджанцев на ранних армянских митингах в Карабахе следует расценить так же как отчаянную попытку сохранения эмоционального баланса и механизмов межэтнического сотрудничества. Уверен, много подобных примеров тогда бы обнаружилось и среди жителей Баку. Подобные механизмы избегания и сглаживания конфликтов обнаруживаются во всех сферах, где различные этнические группы находятся в контакте. В прошлом армянские крестьяне-земледельцы регулярно производили ритуализованный обмен части собранного урожая на шерстяные изделия, молочные и мясные продукты тюркских и курдских кочевых скотоводов. В соответствии с местной традицией, соседи-христиане приглашались принять участие в мусульманском ритуале обрезания. Армянин, державший на своих коленях иницируемого младенца, таким образом становился *кирва* — кумом и побратимом, т.е. квазиродственником⁴³. По иронии судьбы, советские бюрократические учреждения, предназначенные для развития национальных республик, в значительной мере препятствовали подобным контактам. В Ереване многие армяне признавались, что за исключением мимолетных контактов в общественном транспорте или на рынке, никогда в жизни не общались с азербайджанцами. Неудивительно — ереванские армяне были в первую очередь горожанами, тогда как подавляющее большинство азербайджанцев АрмССР до их массового изгнания в 1988 г. проживало в селах и в город приезжало в основном сбывать на базаре свою зелень и сыр. Стремившиеся получить высшее образование азербайджанцы ехали в АзССР, чтобы по окончании вуза остаться работать там. Азербайджанская и армянская номенклатура и интеллигенция в основном общались в московских институтах и партшколе. Подобные контакты создавали личные связи, однако оказывались слишком непрочными перед лицом национальных мобилизаций. Как рассказывал мне в 1989 г. один высокопоставленный азербайджанский чиновник: *«Я пробовал дозвониться своим однокашникам и коллегам из Еревана, хотел от них самих услышать, что за чертовщина там у них происходит. Некоторые сразу бросали трубку,*

попавшего в беду противника. Неожиданное великодушие создает сильные обязательства и одновременно прерывает цикл насилия и мести. Однако люди — существа эмоциональные и, увы, оттого регулярно упускают подобные драгоценные возможности. Stathis Kalyvas, *The Logic of Violence in Civil Wars*. New Haven: Yale University Press, 2006.

⁴³ Ритуалы межэтнической торговли и квазиродства были многократно засвидетельствованы антропологами, работавшими в регионе в начале XX в., например, в основанной на полевых наблюдениях 1920-х гг. работе Степана Лисициана *Армяне Нагорного Карабаха*. Ереван: Изд-во Ереванского университета, 1992.

хотя в Москве на учебе мы когда-то делили хлеб-соль. Потом мне сказали, что один уже и нацепил на себя пистолет. Армяне с ума посходили!» Азербайджанцам из верхних слоев своего столичного общества потребовалось больше времени на радикализацию, поскольку по соседству с ними все еще жили многочисленные и в целом равные им по социально-образовательному статусу бакинские армяне. Имеется множество свидетельств о том, как во время январских погромов 1990 г. в Баку азербайджанцы, включая националистических интеллектуалов из Народного фронта, укрывали армянских соседей и друзей от толпы погромщиков.

Даже в ходе карабахской войны 1991–1994 гг. наблюдаются случаи поддержания дружеских, соседских и взаимоуважительных отношений через линию фронта. Широко бытовал рассказ об ополченце, который просит снайпера: *«Братишка, дорогой, вон тому ты целись лучше в ноги. Сосед все-таки, может, и отдаст еще триста рублей, которые я ему одолжил...»* Пожилой полковник, командующий армянским батальоном, рассказывал мне, что после боя всегда старался связаться по рации с командиром батальона противника и, вежливо поприветствовав того на азербайджанском, попросить о взаимном прекращении действий снайперов на ночь. Командир азербайджанского батальона, со своей стороны отвечая приветствием на армянском, мог согласиться, что если уж теперь приходится воевать друг против друга, то хотя бы надо дать солдатам возможность не быть постыдно подстреленными со спущенными штанами в ближайших кустах. Когда-то в молодости оба эти офицера вместе учились в БВО-КУ — Бакинском высшем командном училище. В разговоре со мной летом 1994 г. Роберт Кочарян подтвердил, что не только знал множество подобных случаев, но и находил их нормальными. Как он тогда выразился, если в начале конфликта было умным заранее готовить народ к войне, то теперь стало умным заранее готовить народ к миру — что, однако, все еще остается неясной перспективой.

Эмоциональная энергия ереванских митингов 1988–1989 гг. продолжала множиться перед лицом неожиданной неуступчивости Москвы и нарастающего чувства общенациональной опасности, что вызывало невероятно острое ощущение национального единства и сплоченности. Именно это чувство сегодня вспоминается с ностальгией всеми участниками событий и нередко, по их признанию, даже искупает невзгоды блокады, которую ереванцам пришлось испытать в последующие годы. Необходимость участвовать и разделять бурлящие эмоции стала почти неодолимой⁴⁴. Приведу лишь

⁴⁴ Эмоциональный фактор остается до сих пор где-то на задворках преимущественно структурного анализа мобилизации масс, и именно поэтому реко-

два маленьких эпизода из удивительного дневника, который в те дни вел ереванский антрополог Левон Абрамян.⁴⁵ Вначале традиционная шутка, переиначенная в соответствии с новыми политическими реалиями: родители спрашивают у сына, почему он все время проводит на митингах и не желает, наконец, жениться? *«Я же должен жениться на армянке, правда? Но теперь все армяне – одна семья, так как же мне жениться на своей сестре?»* Второй эпизод относится к категории городской легенды. На одном из первых митингов на Оперной площади в Ереване на платформу поднялся невысокий лысеющий мужчина властной наружности в дорогом костюме того покроя, который выдавал в нем одного из «крестных отцов» уголовного мира. Скромно дождавшись своей очереди к микрофону, он сказал: *«Уважаемый армянский народ! (Это вступительное обращение заменило тогда советское «товарищи».) В отличие от остальных выступающих, я не буду произносить речей и даже не представляюсь. Кому надо, и так меня знают, а остальным в этом нет нужды. Я только хочу сказать, что если в столь священный для нашей нации момент на этой площади пропадет хотя бы один бумажник или в городе будет обкрадена хоть одна квартира, тем, кто пойдет на такое святотатство, надо помнить, какие у нас длинные фуки, и мы их достанем где бы то ни было».* Говорят, в последующие недели ереванская милиция имела дело с одними дорожно-транспортными происшествиями.

Последний эпизод показывает также вхождение субпролетариев в новую публичную политику. Разумеется, не все насилие следует приписывать субпролетарскому габитусу: неприязнь интеллектуалов к этому отсталому неклассу обычно выражается в преувеличении его криминальных наклонностей. Тем не менее, вне всякого сомнения, субпролетарии, особенно молодые мужчины, в основном замечались в первых рядах склонных к применению силы толп, причем как в ходе националистической мобилизации в Армении, так, вероятно, даже в большей степени в Азербайджане. Иногда они преднамеренно насильственно изменяли характер мероприятий, возглавляемых городскими интеллектуалами, тем самым перехватывая лидерство.

Вулканическая мобилизация привела к моментальной перемене социальных статусных позиций в обеих республиках. В Баку, на площади у Дома правительства, возбужденная толпа освистала крупного партийного руководителя, попытавшегося зачитать отпечатанную

мендую ознакомиться с недавно вышедшим сборником *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*. Chicago: University of Chicago Press, 2001, edited by Jeff Goodwin, James Jasper and Francesca Poletta.

⁴⁵ Личное общение.

на машинке речь на русском — престижном и все еще доминировавшем в элитных областях управления и высшего образования языке многонационального Баку. «*Давай по-азербайджански, ублюдок!*» — скандировали недавние сельские жители, подчеркивая символическую ценность своего родства со страной⁴⁶. В полном соответствии с логикой переворачивания статусной иерархии, неизменно сопровождаемой элементами бахтинского карнавального действия, на митингах в Баку стали появляться плакаты с изображением аятоллы Хомейни. До присоединения к России в начале XIX в. восточное Закавказье веками было иранской провинцией, вследствие чего большинство азербайджанцев принадлежит к шиитской конфессии ислама. Азербайджанская интеллигенция, получившая современное и преимущественно русское образование, отличалась довольно радикальным антиклерикализмом еще в царские времена. Достаточно полистать сатирический журнал «Молла Насреддин», выходивший в начале XX в. в Тифлисе, затем в Персии и наконец в советском уже Баку. После более чем столетия секуляризации члены бакинских элит оптимистично полагали, что шиитский религиозный «обскурантизм» остался в далеком прошлом⁴⁷. Один из таких интеллектуалов (кстати, видный специалист по средневековому иранскому искусству) подверг прямо на площади допросу мужчину с портретом Хомейни. Новоявленный хомейнист обнаружил свое полное неведение исламской теологии и иранской политики. Он даже не знал, в чем разница между суннитством и шиизмом. Интеллигент торжествующе удалился, видимо, так и не осознав, что его ученые вопросы к делу отношения не имели. Молодой хомейнист мог иметь самые смутные представления об исламской республике. Сурово-харизматичный облик аятоллы служил мощным символом неизбирательного социального протеста и отвержения всего, чем носитель плаката не являлся: ни бюрократом во власти, ни армянином при доходном месте, ни светским городским интеллектуалом-азербайджанцем. Возникшая после 11 сентября 2001 г. на исламском пространстве от Индонезии до Сенегала мода на портреты Усамы бен Ладена, которая так скандализирует и озадачивает американцев, несет в основе ту же смысловую нагрузку отрицания и возмездия.

⁴⁶ Целый ряд старых азербайджанских друзей оказали мне большую помощь в подборке данных по событиям в Баку, наблюдать которые я не мог по вполне понятной причине. Также см. сборник под редакцией Д. Е. Фурмана *Азербайджан и Россия: общества и государства*. М.: Летний сад, 2001.

⁴⁷ Об этой борьбе культур см. Tadeusz Swietochowski, *Russian Azerbaijan, 1905–1920: The Shaping of National Identity in a Muslim Community*. New York: Cambridge University Press, 1985.

А вот зарисовка с армянской стороны, относящаяся уже к 1991 г. На снятой для вечерних теленовостей видеопленке показан процесс отбытия типичного армянского добровольческого отряда в горы Карабаха. Выстроившись на школьном, дворе парни до принятия присяги хором поют боевые песни повстанцев XIX в., боровшихся против Османской империи. Несмотря на длинные волосы и джинсы, эти парни определенно умеют ходить строем и обращаться с автоматом, что неудивительно, если вспомнить обязательные для всех школьников Советского Союза занятия по начальной военной подготовке. Большинство из этих парней до недавнего времени слыли не самыми успевающими учениками этой непрестижной школы на пыльной окраине Еревана, а многие и подавно считались дворовой шпаной. Однако теперь они встали в одном символическом ряду с древними воинами Вардана Мамиконяна, в 451 г. вышедшими на Аварайрскую равнину против персидских боевых слонов в защиту армянской веры, и с *фиданнами*-гайдуками Андраника-паши, дравшегося в начале XX в. против турецкой армии и курдских разбойников. Священник прочел молитву и благословил отряд, напомнив о долге перед памятью принявших мученическую смерть предков. Едва сдерживавшая слезы директриса школы также обратилась к добровольцам с напутствием, трогательно попросив прощения за выставленные в прошлом «неуды». Командовали отрядом двое молодых интеллектуалов — физик и историк. Возглавивший атаку на азербайджанские позиции физик погибнет первым. Историк же вернется морально подавленный гибелью своих лучших товарищей, но более тем, что оставшиеся в живых так быстро перешли от христианских заповедей Нового Завета к жестокому ветхозаветному мщению «око за око».

Прежде жестко соблюдаемая советским государством монополия на применение насилия была впервые преодолена уже в феврале 1988 г., во время погрома армян в Сумгаите, глубоко непрестижном и нездоровом промышленном городе-спутнике Баку. Это зловещее событие сразу же оказалось окутано слухами, возлагавшими вину за погром на дьявольский заговор КГБ, пытавшегося таким образом запугать армян или остановить процесс демократизации, на происки пантюркистских и панисламистских тайных ячеек либо некоей мафии⁴⁸. Слухи в той или иной форме тиражиро-

⁴⁸ Одна из популярных теорий заговора настаивает на существовании секретной директивы Збигнева Бжезинского, предписывающей ЦРУ запустить армяно-азербайджанский конфликт при помощи провокационного погрома, ставя конечной целью развал СССР. Неотъемлемой частью кавказской (и более широко всей ближневосточной и средиземноморской) культуры является страстная убежденность, с которой местные «пикейные жилеты» зани-

вались в прессе Армении, Азербайджана и отчасти в демократической прессе Москвы и Ленинграда.

Однако сопоставление реконструируемых обстоятельств, скорее, подтверждает классический анализ американского историка Эдварда Джаджа, подробно изучившего еврейские погромы конца XIX в. Этот исследователь пришел к выводу, что, вопреки распространенному среди современников убеждению о провокациях царской охраны и заговоре черносотенцев, еврейские погромы (и, как считают историки, линчевания негров в Америке) вовсе не требовали заранее разработанного плана и тайного умысла⁴⁹. Достаточными условиями выступают неэффективность полиции, не имеющей четких инструкций и спецподготовки к борьбе с массовыми беспорядками, безответственно поджигательские, но лишённые конкретных призывов речи влиятельных лиц (представителей местных властей, священнослужителей, публицистов), которые тем не менее могут породить в толпе чувства паранойи и дозволенности, наконец, провоцирующие ситуативные обстоятельства, возникающие в ходе массовых сборищ и ритуалов. Таким мог стать печально знаменитый кишиневский крестный ход 1903 г., маршрут которого проходил рядом с синагогой (непосредственный предмет исследования Э. Джаджа), либо стихийный митинг в социально неблагополучном Сумгаите, где кто-то распространил слухи о притеснениях и убийствах азербайджанцев в Армении. По известному принципу «наших бьют» возникла идея отомстить, выгнав местных армян из их квартир, чтобы расселить своих беженцев. Следом, по всей видимости, толпа втягивается в «туннель помрачения» — длящийся от нескольких часов до максимум трех суток социально-психологический комплекс исключительно опасной интенсивности, который Рэндалл Коллинз назвал «наступательной паникой» (*forward panic*)⁵⁰. Дальнейший ход по-

маются толкованием тайных директив Белого дома. В Баку, впрочем, ходила теория совсем иного уровня. Молодому главе сумгаитского горкома, позволившего себе перестроечную риторику в подражание Горбачеву, бакинские аппаратные интриганы решили «кинуть подлянку», чтобы осадить возможного претендента на первую должность в республике и показать, к чему приводят популистские заигрывания с толпой. Однако интриганы, предполагавшие не более чем несколько разбитых окон, не рассчитали эффект взрыва. Этой более правдоподобной теории также нет доказательств.

⁴⁹ См. Edward H. Judge, *Easter in Kishinev: Anatomy of Pogrom*. New York: New York University Press, 1992.

⁵⁰ Randall Collins, *Violence: A Sociological Theory*. Princeton: Princeton University Press, 2008.

грома мог определяться уже чисто криминальными обстоятельствами — мародерство, наличие уличных группировок, которыми всегда печально славился Сумгаит.⁵¹ Наконец, растерянность местных властей и милиции, которые тщетно надеялись сами справиться с чрезвычайной ситуацией и лишь затем докладывать о ней наверх (кстати, именно так обычно объясняется и преступное поведение украинских властей в апреле 1986 г., несколько суток скрывавших информацию о пожаре на Чернобыльской АЭС). Еще раз подчеркну, что это не констатация фактов — которые собирались по следам чудовищного события в обстановке крайней политизации и нервозности, — а лишь согласованная серия предположений, основанных на изучении аналогичных всплесков массового насилия.

Жертвы сумгаитского погрома исчислялись десятками, множество женщин были садистски изнасилованы, сотни людей, включая стариков, — жестоко избиты. Сообщалось, что не все жертвы погрома были армянами, что возможно в стихийной ситуации, когда могли сводиться личные счеты либо кто-то с «неправильной внешностью» мог просто попасть под руку. Однако антиармянская направленность насилия тогда не вызывала сомнения ни у кого. Известия о погроме в Сумгаите произвели шоковый эффект как в Ереване, так и в Баку⁵².

⁵¹ Уже упоминавшийся бакинский социолог Илья Земцов посвятил Сумгаиту целый раздел своей разоблачительной книги, опубликованной на Западе, заметим, еще в 1976 г. Средоточение вредных химических производств, Сумгаит строился в конце 1940-х гг. как объект ГУЛАГа. В хрущевские и брежневские времена Сумгаит продолжал служить местом административной ссылки, куда из Баку в порядке облагораживания столицы республики выселяли отбывших тюремный срок уголовников и наркоманов. В закрытой советской статистике правонарушений Сумгаит всегда находился в первых строках по кражам, изнасилованиям и дракам. В городе пустовали квартиры в новостройках — неслыханное для СССР дело. Бакинские специалисты, среди которых было немало армян, уклонялись от получения ордеров на жилье в столь неблагополучном месте, где вдобавок воздух и вода были отравлены отходами нефтехимической промышленности. Земцов И. *Партия или мафия? Азербайджан: разорванная республика*. Paris: Les Editeurs Reunis, 1976.

⁵² Вот что рассказал некогда крупный партийно-хозяйственный руководитель НКАО Мушег Оганджян, в 1988 г. занимавший министерский пост в Баку и входивший в бюро ЦК компартии Азербайджана: «В Сумгаите виноваты безответственные подстрекательские журналисты, уличная шпана и слабые руководители. Но никакого тайного плана там не могло быть. Кто в бакинском ЦК мог даже помыслить такое? Резня впервые после Гражданской войны — да за такой провал светило не исключение из партии, а показательный суд и рас-

Люди замерли, не зная, что будет дальше. Это также хорошо известная социологам эмоциональная и дискурсивная пауза, которая возникает после ошеломляющих потрясений, как в США в первые дни после 11 сентября 2001 г. Это момент, когда власти имеют шанс направить грозящие выплеснуться эмоции в русло официально санкционированных мер, дискурсивных практик и ритуалов. Увы, Москва упустила тогда свой шанс. Сумгаитский погром вызвал первую массовую волну беженцев из Азербайджана в Армению (а также в Россию). Вскоре (или, как утверждают азербайджанские источники, одновременно) из Армении началось массовое изгнание этнических азербайджанцев. Эти обездоленные и травмированные люди, в большинстве своем из субпролетарских пригородов и сельской глубинки, внесут элемент насильственной нестабильности в азербайджанскую политику последующих лет.

Замешательство и нерешительность московского центра в ответ на насилие в Сумгаите тем самым привели к опасному расширению репертуара политических возможностей: уличное насилие и радикальная националистическая риторика перестали быть табу. Если первый погром, по моему убеждению, не мог быть спланированным, то последовавшие за ним случаи насилия были как минимум заданы возникшим ожиданием безнаказанности, а в ряде случаев уже, несомненно, организовывались и направлялись политическими группировками внутри рушащейся номенклатуры либо стремящимися к власти оппозиционерами, возможно, и разыгрывающими свои многоходовки спецорганами.

ГРУЗИЯ: РАСПАД ЗАВИСИМОЙ РЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Теперь более кратко остановимся на примере Грузии, где взрывная массовая мобилизация возникает год спустя после начала карабахского конфликта и почти мгновенно приводит к оглушительному обвалу государственных структур. Здесь нас интересуют структурные причины столь быстрого и практически полного обрушения государства. И грузинская коммунистическая номенклатура, и впечатляюще выглядевший оппозиционный блок либеральной интел-

стрел. Багиров, тогда Первый секретарь Азербайджана, сам ко мне зашел в кабинет, лицо у него было совсем зеленое, губы трясутся, слюна капает... Надо было видеть, до чего он был тогда перепуган. Умолял меня, как армянина, поехать к беженцам и уговорить их вернуться, объяснить, что азербайджанский народ тут ни при чем, обещал любые компенсации ущерба». Записано в Степанакерте 28 июля 1994 г.

лигенции оказались одновременно сметены с политической арены в результате, по сути, провокации в апреле 1989 г.

В первые годы перестройки публичные собрания в Тбилиси стали привычным явлением, однако до той роковой весны митинги носили оптимистический, неконфронтационный и скорее даже веселый характер, напоминавший празднования футбольных триумфов (в Тбилиси еще более традиционный городской ритуал, нежели в Ереване) или же дружеские встречи на улицах старых знакомых из интеллигентных «хороших семей». На ранних тбилисских митингах ораторами выступали известные деятели культуры и искусства, в основном призывавшие к свободе творчества от цензуры, демократизации и делегированию Москвой большей власти национальным республикам. Это были достаточно умеренные и типично статусно-интеллигентские чаяния, предполагавшие повышение общественной роли данного слоя за счет институционального ограничения возможностей московской и местной бюрократии все решать лишь по своему аппаратному усмотрению. В Тбилиси рано пробуждается к политической активности национальное гражданское общество, в котором доминировала внушительная и исключительно престижная для республик СССР городская интеллигенция, вдобавок обладавшая впечатляющими культурными контактами европейского и мирового уровня. В советские времена Тбилиси регулярно посещали иностранцы, среди них много знаменитых режиссеров, скульпторов, композиторов и ученых, на равных общавшихся со своими тбилисскими коллегами. Как отмечалось в предыдущей главе, исключительная концентрация в Тбилиси артистических и интеллектуальных талантов исторически восходит к не менее исключительной концентрации дворянских элит в досоветские времена.

Некогда почти 7% грузин носили дворянские титулы, а среди жителей Тифлиса доля аристократии зашкаливала за 17%. Сюда, конечно, относились и русские дворяне, служившие в армейских гарнизонах и при Кавказском наместничестве, немало различных европейских экспатриантов, а также добившиеся дворянства представители армянских, горских и тюркских элит, что лишь усиливало космополитично-имперский характер кавказской столицы⁵³. Для сравнения: среди русских к концу XIX в. дворянством обладало около 3%. В Российской империи более высокие показатели отмечены лишь среди поляков, 10% которых претендовали на принадлежность к шляхте. Это на порядок больше по сравнению с Западной Европой. Даже во Франции накануне революции

⁵³ Анчабадзе Ю. Д., Волкова Н. Г. *Старый Тбилиси*. М.: Наука, 1990.

традиционное военное «дворянство меча» вместе с бюрократическим «дворянством мантии» составляли 1,5% населения королевства; в Великобритании XVIII в. и того меньше — всего 0,5%⁵⁴. Большинство дворянства не могло рассчитывать на поддержание своего статуса и потребления за счет помещичьего хозяйства — сколько генералов мог прокормить мужик, тем более с традиционной сохой? Младшему дворянству приходилось искать различные пути конвертации своего статуса в современные формы символического капитала: поступая на офицерскую и бюрократическую службу, приобретая профессиональные дипломы адвокатов, архитекторов, врачей, превращаясь, наконец, в национальную творческую интеллигенцию.

Стратегия конвертации «врожденного благородства» в профессиональные навыки и высокий интеллектуализм остается последней надеждой на сохранение внутреннего достоинства и выживание семей, если не старших мужчин, в годы сталинской террористической модернизации. После прекращения террора и с наступлением длительной стабилизации восточноевропейских социалистических государств сохранившиеся элитные семьи составили притягательный образец и важнейшую социально—организационную основу (хотя и далеко не численное большинство) для воссоздания новых национальных интеллигенций. Исключительно высокая доля дворянства в период формирования национальных гражданских обществ ставит Грузию в один ряд с Польшей и Венгрией. Заметьте, именно они стали одними из наиболее творчески активных и в то же время непокорных стран советского блока. Так почему же Грузия не последовала за Польшей и Венгрией по пути либеральной европеизации после падения коммунистических режимов?

Разница, если разобраться, не столь велика. В Польше и Венгрии, как и в Грузии, в течение всего социалистического перио-

⁵⁴ Целый ряд ведущих исторических социологов, притом различной теоретической направленности, указывает на важность относительной численности и способов структурирования дворянских элит для объяснения политических и идейных конфликтов эпохи раннего Нового времени. Вот лишь признанная современная классика: Barrington Moore, Jr., *The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Boston: Beacon Press, 1966; Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State*. London: Verso, 1974; Jack Goldstone, *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press, 1991; Richard Lachmann, *Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe*. New York: Oxford University Press, 2000.

да наряду с аристократичными интеллигенциями сохранялось и с 1960-х гг. процветало довольно зажиточное фермерство и мелкое предпринимательство. Этим категориям населения были свойственны и обостренное чувство самостоятельности, и национализм, особенно в отношении коммунизма, с их позиций одновременно русского и имперско-бюрократического. В Центральной Европе, повторю, запросто можно найти собственные абхазии — будь то в Трансильвании или Галиции. Различие траекторий, которыми эти страны выходили из коммунистического периода, носит не столько историческо-структурный, сколько политико-ситуативный характер и относится в первую очередь к тому, что в критической точке случилось с государственной властью. Впрочем, здесь все-таки проявляется определенное структурное отличие, но не на уровне национальных культур, а в бюрократической устойчивости и автономности государственного аппарата. В Центральной Европе оппозиционные интеллигенции заключили примирительный пакт с технократическим крылом номенклатуры — и, главное, смогли обеспечить соблюдение пактов сохранившимися преемственностью госучреждениями. Вот почему избрание новых парламентов с преобладанием антикоммунистической интеллигенции не нарушило нормального функционирования государственности. После нескольких лет правления морализирующих интеллигентов прежняя номенклатура Польши и Венгрии мирно и без излишнего реваншизма вернулась к власти на следующих выборах уже в качестве умеренных социал-демократов и более компетентных управленцев⁵⁵. Ушедшим в оппозицию интеллигентам оставалось ждать следующих выборов, чтобы в установленный срок сменить наделавших своих ошибок социалистов. Соблюдение договоренностей о взаимном неуничтожении и чередовании элит у власти позволило маргинализовать националистических радикалов, вполне способных спровоцировать этнические конфликты ради своей типичной игры на крайней эмоциональной поляризации. Тем самым Польша и Венгрия смогли предстать перед благосклонно заинтересованным Евросоюзом вменяемыми и предсказуемыми кандидатами на вступление, переориентировав свою прежнюю экономическую зависимость от Москвы в основном на Берлин. В Грузии же, напротив, в 1989 г. крайние радикалы

⁵⁵ Rogers Brubaker, *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; László Bruszt and David Stark, *Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998; Valerie Bunce, *The Political Economy of Postsocialism*. *Slavic Review* 58: 4 (Winter 1999).

добились катастрофического прорыва, а госучреждения надолго развалились.

Посмотрим, как это произошло. Начавшееся ранней весной 1989 г. круглосуточное квазирелигиозное бдение на главной площади Тбилиси привнесло значительные изменения в целях, тактике, риторике, культурном уровне и социальном статусе участников акции. Начать с того, что, судя по впечатлениям очевидцев из коренных тбилисцев, многие в новом контингенте протестующих говорили по-грузински с ярко выраженными провинциальными акцентами, в основном свойственными западным районам страны и Абхазии мегрельским. Один из лидеров новой протестной волны Звиад Гамсахурдия был не только ветераном диссидентского движения, но также происхождением восходил к мегрельской составляющей грузинской нации. Возникшая между массой последователей и вождем гомологическая ассоциация основывалась, очевидно, на субэтнической и никак не классовой солидарности. Звиад Гамсахурдия (как и его солидер и, по слухам, соперник Мераб Костава) даже близко не напоминал провинциального мужлана. Напротив, Звиад являл отточенные манеры наследника своего аристократичного отца, известнейшего национального писателя и сталинского лауреата. О Звиаде и Константине Гамсахурдия в Тбилиси рассказывали не самые лестные истории, порицающие их самомнение и одновременно оппортунизм. Массовую базу звиадистский культ обрел вне Тбилиси, преимущественно в западных областях Грузии включая грузинское (и в основном мегрельское) население хронически конфликтной Абхазии. Очевидцы описывают типичных участников звиадистских акций как экзальтированных женщин среднего возраста, одетых преимущественно в черное — по виду (увы, более систематических данных нет) учительниц, библиотекарей и других субинтеллектуалов из маленьких городов, возможно, вовсе домохозяек, на которых магнетически действовали литературное имя и шарм Звиада, а также нестойкой наружности, как правило, небритых и вызывающе громко разговаривающих мужчин, которые могли быть рыночными торговцами, зажиточными крестьянами или водителями грузовиков. Иначе говоря, центральную площадь Тбилиси затопила субпролетарская стихия. Городская интеллигенция стала чувствовать себя не вполне в своей среде, речи казались все более нелепо экстремистскими. Статусная интеллигенция стала постепенно покидать ставшие для нее чуждыми митинги. В отличие от Армении, где довольно долго, несколько лет кряду, сохранялся дух национального единства, в Грузии региональные различия и статусные градации возникают рано и, за исключением эмоционального всплеска не-

посредственно после трагедии апреля 1989 г., оборачиваются постоянно воспроизводящейся фрагментацией грузинского национального движения.

По всей видимости, не желая довести дело до ситуации вроде карабахского противостояния, Москва решает предпринять в Тбилиси превентивные меры. Если в случае армянских и азербайджанских уличных мобилизаций и особенно сумгаитского погрома Москва зачастую обвинялась в пассивности, то в Тбилиси в апреле 1989 г. выяснилось, чем может обернуться активно силовой вариант. Обстоятельства разгона митинга при помощи солдат-десантников остаются неясными и ожесточенно оспариваемыми даже годы спустя. Его последствия оказались ужасными. Несмотря на глубокую ночь, солдат на площади встретило множество весьма отчаянно настроенных демонстрантов. В завязавшемся столкновении солдаты, которых не готовили для противостояния разгневанному гражданскому толпам, применяли саперные лопатки вместо полицейских резиновых дубинок, приемы боевого рукопашного боя и по всей видимости какой-то удушающий газ. В ту ночь в давке, от избиений и, возможно, отравления газом погибли по крайней мере девятнадцать и получили ранения сотни демонстрантов, причем абсолютное большинство жертв составили женщины.

Майкл Манн отмечает в общетеоретическом плане, что гендер играет роль эмоционального катализатора протестных движений, пока слабо осознаваемую даже в феминистских исследованиях⁵⁶. Самые захватывающие и непримиримые мобилизации возникают там, где встает вопрос о защите семей и целых сообществ, где в движении также активно участвуют женщины. Гендерным ресурсом не часто удавалось воспользоваться либералам и социалистам, основной упор делавшим на мужчин среднего класса или кадрового промышленного пролетариата. Правило подчеркивают исключения, периодически возникающие во время революций (например, баррикадных боев за свою улицу) и забастовок, когда бастует целый шахтерский или заводской поселок, следовательно, женская часть сообщества включается в организацию протеста. У национализма здесь громадное преимущество — его символика пронизана гендерным (но отнюдь не феминистским) воображением большого родства, семьи, матери-родины, очага.

Если первой страной Восточной Европы, где в 1989 г. коммунистический режим был ликвидирован *де-юре*, была Польша, то Гру-

⁵⁶ Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

зия после 9 апреля 1989 г. стала первой республикой, где советская власть распалась *де-факто*. Но стоп, не так быстро. Требуется еще одно, хотя бы краткое, замечание. Очевидцы тбилисских событий отмечают, что взрыв публичного негодования случился лишь несколько дней спустя после ночного столкновения на площади. Между актом насилия и публичной реакцией возникла напряженная пауза, когда никто, судя по всему, не понимал последствий произошедшего и дальнейшего хода событий и потому не мог вполне определить собственное поведение. Было ли это началом реакционного переворота, о котором ходило столько слухов? Но вскоре стало ясно, что вернувшийся из заграничного визита Горбачев не поддерживает военных, командовавших разгоном. Теперь уже достаточно предсказуемым образом похороны и поминовения жертв вылились в грандиозные политические манифестации. Все грузинские газеты, в том числе основные, формально все еще являвшиеся печатными органами компартии и правительства, были полны гневных обвинений против Москвы и местных коммунистических правителей и требований немедленно найти и наказать виновных. Вскоре хор голосов слился в едином требовании создания подлинно грузинского правительства и восстановления суверенной государственности, подавленной большевиками в 1921 г.⁵⁷ Горбачев занял типично уклончивую позицию, очевидно, надеясь, что политический шторм в сравнительно периферийной Грузии будет вскоре заслонен позитивными прорывами в его международной политике и внутривнутриполитической демократизации — на июнь был назначен первый съезд избранного по новой процедуре и допускавшего наличие оппозиции численно гигантского парламента СССР. Все это убеждало грузинскую номенклатуру в безразличии Горбачева к ее судьбе. Положение их в самом деле выглядело отчаянно.

Главной слабостью грузинской номенклатуры (как и в варьирующей степени номенклатур большинства советских республик) являлось то, что они на самом деле не были настоящими бюрократами. Бюрократизм как раз мог бы спасти и их самих, и управляемую ими страну. Укорененное и дисциплинирующее бюрокра-

⁵⁷ В 1918–1921 гг. Грузия стала первой в мире страной, где к власти с громадной поддержкой грузинского населения пришли социал-демократы (меньшевики). Казалось бы, такое историческое наследие могло стать козырем при восстановлении в Грузии конкурентной многопартийности и в получении признания Западной Европы в 1990-е гг., где социал-демократия занимает столь respectable позиции. Однако возрождения грузинского меньшевизма не произошло.

тическое начало могло бы наделить номенклатуру способностью превратиться перед лицом революционной ситуации в корпоративное профессиональное сообщество беспристрастных и компетентных технократов. Это и спасло большую часть номенклатуры в соцстранах Восточной Европы и Прибалтики, а заодно обеспечило преимущество государственных структур. Не то в Грузии. Вместе с коммунистическим режимом распалось само государство. Распад стал быстрым, неминуемым и вдобавок зрелищным, как только моральная легитимность властей Грузинской ССР оказалась утерянной, а Москва не только не смогла предложить ему никакой эффективной поддержки, но и навредила крупнейшим образом. Впоследствии это интерпретировалось на тбилисских улицах как сложно закрученный заговор, хотя подобные теории, как всегда, не особенно озабочены логически правдоподобным объяснением мотивов и предполагаемых выгод центра. Полезнее будет вспомнить, что в Венгрии в 1956 г. и в Польше в 1981 г. возникали куда более серьезные восстания, в ответ на которые Москва могла счесть себя вынужденной пойти на самые крайние репрессивные меры. Если бы тогда произошло худшее — прямая советская оккупация с партизанским сопротивлением и ответными массовыми репрессиями, — едва ли бы возникла историческая возможность для мирных пактов 1989 г. между реформистской номенклатурой и национальной интеллигенцией. В данной ретроспективе сложнее обычной карикатуры выглядят фигуры Яноша Кадара и Войцеха Ярузельского, соответственно венгерского и польского коммунистического диктатора, упредительно взявших на себя подавление восстаний в собственных странах силами национальной армии и полиции, а затем и «декомпрессионные» реформы, постепенно приведшие к либерализации режимов. Следует упомянуть, что и в самой Грузии в 1970-е гг. аналогичную стратегию самостоятельного проведения репрессий против радикальных националистов и в то же время либеральных послаблений в отношении с творческой интеллигенцией проводил и Эдуард Шеварднадзе. Однако в 1989 г. грузинские власти не допустили использования собственной милиции для разгона провокационных демонстраций, привычно переложив ответственность на Москву. Эта слабость обошлась всем крайне дорого.

Причины нестойкости грузинской государственности были обусловлены и исторически, и структурно. Современная государственность была привнесена извне и притом воспринималась в грузинском обществе как источник рентных доходов, поскольку Грузии, точнее — Тифлису, выпало стать столицей русской администрации на Кавказе. Поскольку русское завоевание носило поч-

ти сугубо военно-престижный характер, приоритетом кавказской политики империи стало обеспечение в Грузии плацдарма, а не капиталистическая эксплуатация территории. Добавьте к этому православное христианство, что культурно и статусно сближало грузинскую знать с элитой Российской империи. Сочетание геополитических и цивилизационных факторов обернулось исторической удачей, пускай не исключительной и все же довольно редкой для колониальных ситуаций. При наместнике графе Воронцове в 1840-х привлечение кавказской, т.е. в первую голову грузинской знати на офицерскую службу сделалось сознательной политикой. Воронцов, задавший роскошный пример демонстративного дворянского потребления, научил грузинскую знать одеваться по парижской моде, посещать балы и оперу, отдавать детей в гимназию, жить, конечно, в долг, т.е. стать опорой имперской власти и проводниками вестернизации⁵⁸. В XIX в. Тифлис приобрел славу места, изобилующего синеккурами с совершенно неумолимным рабочим графиком, с праздничной атмосферой, которую многие русские находили очаровательной (либо возмутительно бездельной). В советские времена Грузия сохраняла (а многие грузины культивировали) образ страны превосходных вин, отменной кухни, постоянно солнечной погоды, изысканных манер и легкого отношения к проблемам. Грузины гордились тем, что умели жить и знали, как этим наслаждаться.

За этим привлекательным образом стояла политэкономия, зависящая от постоянного притока как различных официальных субсидий из общесоюзного бюджета, так и теневых рентных сверхдоходов, которые приносили массово посещавшие Грузию (в том числе Абхазию) советские курортники, а также продажа фруктов и домашних вин по монополистским ценам. Грузия с ее субтропиками пользовалась на редкость выгодным положением в Советском Союзе, где население расположенных значительно севернее крупных городов жаждало и солнечного света, и свежих фруктов. Распределение неофициальных доходов в Грузии (как в различной степени и во всех южных республиках СССР) направлялось по каналам коррупционного патронажа, теневых рынков и повсеместно плодившихся микромонопольных позиций, связанных с дефицитом товаров, услуг, реальной отчетности и самой законности. Доктора и влиятельные преподаватели ожидали подношения предусмотренных ритуалом «подарков», руководители предприятий поставляли

⁵⁸ Liubov Kurtynova, *Tsar's Abolitionists: The Russian Suppression of the Slave Trade in the Caucasus, 1801–1864*, PhD dissertation, Binghamton University, Department of History, 1995.

сырье и помещения для частной коммерции «цеховиков», автоинспекторы останавливали водителей для получения откупа наличными, пляжные торговцы и фотографы ломили невероятные в иной ситуации цены, продавцы магазинов придерживали товар под прилавком, подпиливали гири и прикарманивали мелкую сдачу, и даже водители государственных автобусов в часы пик сдирали двойную плату. Жизнь тех, кто не имел доступа к подобным мелким монополиям либо к патронажу, могла быть поистине жалкой⁵⁹.

У нас нет систематизированных данных по коррупции на Кавказе в советскую эпоху, однако воспоминания знающих людей и материалы перестроечных разоблачений указывают, что по крайней мере в брежневскую эру на Кавказе и в Средней Азии должность секретаря райкома нередко, если даже не как правило, продавалась потенциальным кандидатам на пост. Цена колебалась в зависимости от доходности района, по оценкам, в пределах от 50 тысяч до миллиона и более советских рублей. Претенденты собирали деньги среди родственников и состоятельных друзей, хотя одних только денег было недостаточно — требовались соответствующие дипломы и прочие формальные критерии, репутация личной преданности и искушенности в аппаратных делах, хорошо усвоенный соответствующий габитус, доступ в патронажные сети, земляческие или этнические связи, наконец, вакансии. Все это выливалось в нередко длительные карьерные интриги. Деньги в порядке своеобразной предвыборной кампании тратились на щедрое угощение, дорогие подарки и прямые подношения в конвертах посредникам и вышестоящим чиновникам.

По приобретении желанной должности в партаппарате новый хозяин района должен начать возврат долга путем назначения родственников и поддержавших его знакомых на прибыльные и статусные посты под своим крылом — руководителя финансовой и санитарной инспекций, начальника милиции, управляющего кооперативными магазинами и рынками, председателя колхоза, директора завода стройматериалов или мясокомбината, даже школы и дома культуры. В свою очередь, эти новоиспеченные чиновники должны были держать под контролем проведение незаконных операций для личного обогащения и для выплаты регулярных подношений начальству с тем, чтобы продолжать пользо-

⁵⁹ Еще один кавказский анекдот тех лет, в основе которого узнаваемо гротескная ситуация. Молодая женщина жалуется подруге на судьбу: *«Все мужчины — обманщики. Вначале дарят цветы, водят в рестораны, катают на такси, и клянутся, что работают барменом. А после свадьбы — комната в общежитии, макароны на обед и зарплата 90 рублей в месяц. Мой подлец оказался инженером!»*

ваться его протекцией. Схема достаточно элементарная, весьма гибкая и оттого надежная в обычных условиях. Но в то же время она чревата конфликтами и латентной напряженностью, поскольку строится на сугубо личных связях зависимости и по определению перекрывает доступ к ресурсам и карьерные возможности конкурирующих семей и приятельско-патронажных группировок. Схема притом неустойчива сверху донизу, поскольку все мгновенно летит кувырком в случае снятия ключевого патрона-хозяина по указанию из Москвы либо (новшество времен продвинутой перестройки) его свержения политическим восстанием улиц.

Неопатримониальный принцип частно-патронажного распоряжения государственными должностями структурировал отношения как в правящей номенклатурной элите, так в немалой степени и в возникшей в поздние годы перестройки и еще более в 1990-е гг. политической оппозиции самовыдвиженцев, претендовавших на государственные посты. За ярко публичными оппозиционерами из интеллигенции нередко возникают группы поддержки, состоящие из земляков, родственников и знакомых, способных вложить в групповое дело свои связи, деньги, клиентов и подчиненных, а вскоре и оружие. На Кавказе неопатримониальная структуризация элит и контрэлит в немалой степени повинна в квазифеодальной политической раздробленности в период разрушения советской власти.

В 1990 г. за власть в Грузии боролось более семидесяти политических партий. В Армении возникло, по меньшей мере, девять вооруженных формирований и около дюжины политических эмбрионов, самым разным образом сочетавших в своих названиях слова «демократическое», «конституционное», «национальное», «движение» или «партия» (однако им пришлось быстро консолидироваться в ходе общенациональной чрезвычайной ситуации, вызванной войной в Карабахе и жестокой блокадой). Бакинские руководители Народного Фронта Азербайджана признавались, что порой не имели практически никакого понятия, кто именно входил в состав групп, провозглашавших себя отделениями и ополчениями НФ в прочих городах и районах республики. Чаще всего подобные группы под лозунгами демократизации и борьбы против предавших национальные интересы коррумпантов преследовали какие-то сугубо местные интересы и состояли из членов семей местных элит и их окружения, выступавших против конкретной семьи, с брежневских и алиевских времен правившей их районом.

Безусловно, это серьезное искажением норм рациональной бюрократии и внутренний институциональный провал советского государства на его периферии в Закавказье и Средней Азии. Про-

блема была давней и хронической. Москва время от времени обрушивалась на эти окраины с антикоррупционными кампаниями, означавшими лишь чистку верхних эшелонов руководства национальных республик. Именно так в 1969 г. при поддержке председателя КГБ СССР Юрия Андропова в Азербайджанской ССР пришел к власти пользовавшийся славой умного и честного чекиста молодой генерал госбезопасности Гейдар Алиев. Подобным же образом волей Москвы в 1973 г. другой молодой генерал (правда, внутренних дел и не карьерный милиционер, а бывший комсомольский аппаратчик) Эдуард Шеварднадзе стал во главе Грузии. Новые энергичные и яркие первые секретари, кстати, также склонные оказывать патронаж деятелям культуры, решительно сместили с должностей несметное число коррумпированных чиновников, в кабинеты которых посадили не менее способных взяточников уже из собственного окружения. Дело не в личной испорченности и даже не в кавказской культуре. Причина была институциональной. Алиев и Шеварднадзе, конечно, понимали, что их первоочередной задачей было успокоить гнев Москвы и явить ожидаемое рвение. Но затем им предстояло еще долго руководить своими республиками, что вовсе не предполагало утопическую революцию сверху, направленную на коренное изменение всего аппарата властвования, его традиций, каналов и способов пополнения. Этого бы наверняка не одобрило осторожно-консервативное брежневское верховное руководство. Оставалось упрочивать свою власть назначениями лично подобранных и связанных поручкой людей и далее играть с Москвой и внутри своей республики по известным аппаратным правилам. Существовала, в конце концов, определенная разница в ожиданиях и ответственности за управление центральной областью, в которой сосредоточена стратегическая промышленность, и небольшой национальной республикой, более известной винами, коньяками и фруктами. От республик Закавказья, имевших за некоторыми отраслевыми исключениями вспомогательное значение для общесоюзной экономики, требовалось скорее не доставлять неприятности центру, особенно в сфере межнациональных отношений. Во внутренних делах кавказским первым секретарям предоставлялось играть по отношению к своим республикам отеческую роль в регулировании перераспределительных потоков, лоббировать республиканские интересы в московском Госплане и Госснабе и следить за расстановкой кадров. Глубоко укоренившиеся практики взяточничества оставалось воспринимать прагматично, как бытующий среди взрослых людей жизненный секрет, неизбежно используемый, дабы быть в состоянии править и воздавать.

Отказ от игры по негласным правилам сулил не столько честь, сколько опаснейшие неприятности. Чиновники, которые отказывались брать родственников и друзей на хлебные должности, теряли поддержку своих семейных сетей. Бескомпромиссные, стихийно профессиональные (о которых говорили «ведет себя, будто он в Европе») или просто слишком опасливые управленцы и милиционеры тоже случались, но в ситуации несостоятельности формальных бюрократических правил им нечем было защищаться. Рано или поздно неудобных людей заживо съедали в интригах соперники, если прежде не собственные подчиненные. Наконец, свою роль играли этнические культуры региона, которые, подобно всем средиземноморским культурам, очень большое внимание уделяют показному потреблению в доказательство социального статуса. Хозяин кабинета, который не являл себя должествующим по статусу образом и не оказывал своим родственникам и гостям надлежащее хлебосольство, расценивался как скряга и жалкий неудачник. Это грозило ему выпадением из сетей социальных контактов⁶⁰.

Такой государственный аппарат воспринимался большинством населения как довольно бесполезный, если не вовсе паразитический. Инфраструктурные капиталовложения и основные общественные блага в любом случае обеспечивались центром, т.е. выглядели безличными и естественно данными, как дары природы. Манеры и поведение местных неопатримониальных бюрократов и в самом деле походило скорее на царственные модели властвования прежних князей и владетелей, но при этом были лишены традиционной легитимности феодального общества. Внешне современные государственные структуры не обладали внутренней слаженностью и прочностью подлинно бюрократического механизма. Они оказались подвержены обвальному разрушению в момент кризиса, стоило прекратиться притоку властных ресурсов из центрального правительства. Весной и летом 1989 г. внезапная утеря советской Грузией даже видимости легитимности и прекращение эффективной поддержки из Москвы вызвали массовое бегство с постов, фактическое отречение грузинской номенклатуры среднего и низового звена. Это не означало, однако, будто они совершенно отказались от властных притязаний, хотя, вероятно, численное большинство тогда просто легло на дно, бежало в Россию или ушло в бизнес, сосредоточилось на сохранении нажитого добра. В ситуации идеологической поляризации все же немало подобных беглецов из прежней номенклатуры переметнулось прямоком

⁶⁰ Gerald Mars and Yochanan Altman, *The Cultural bases of Soviet Georgia's Second Economy*, *Soviet Studies* XXXV, no. 4 (October, 1983), pp. 546–560.

на противоположный край политического спектра, к звиядистам либо прочим национальным радикалам. Изучение грузинских избирательных списков 1990 г. и официальной хроники назначений при первой антикоммунистической администрации Звиада Гамсахурдия выявляет неожиданно существенное присутствие влиятельных лиц прежнего коммунистического режима либо же их сыновей где-то во вторых-третьих рядах находившихся на подъеме ультранационалистов. В грузинской политике исчез политический центр. По всей видимости (надо признать, здесь мои заключения основываются лишь на нескольких, хотя и представительных, интервью), бывшие члены грузинской номенклатуры советской эпохи чувствовали, что среди высокостатусных интеллектуалов, большинство которых были либералами и умеренными националистами, они столкнулись с весьма неудобной статусной конкуренцией — не говоря о том, что эмоционально крайне интенсивная, бурлящая атмосфера в грузинском обществе оставляла ничтожно мало места для умеренной политики и рациональной риторики. Поэтому перебежчики предпочли запрыгнуть на платформу радикальнейшего национализма, лидеры которого не имели властных и управленческих навыков, но чьи многочисленные экзальтированные и преимущественно субпролетарские последователи давали шанс вернуться во власть уже в будущей антисоветской Грузии.

Высокостатусная интеллектуальная элита Грузии в результате событий весны 1989 г. была обойдена с фланга и идеологически дезориентирована. Прежнее советское правительство, которое они пытались преобразить в более цивилизованное, прозрачное и рациональное, рассыпалось в прах. С периферии и из низов грузинского общества вулканическими потоками извергалось новое социальное движение с почти религиозными эсхатологическими ожиданиями, культовым вождем которого стал бывший диссидент Звиад Гамсахурдия. Интеллектуалы вдруг увидели себя с одной стороны окружаемыми и сметаемыми иррациональной толпой, с другой погребенными под обломками распадавшегося государства. Знаменитый грузинский философ Мераб Мамардашвили с гневом и горечью бросил знаменитое: *«Если это выбор моего народа, тогда я против народа!»* Вскоре Мамардашвили умер, в чем трудно не усмотреть мрачного символизма смены эпох.

ПРОВАЛ ОБЩЕСОЮЗНОЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ

И наконец, вернемся к общесоюзной панораме, где нам предстоит поискать ответы на три вопроса. Почему Горбачев и его фракция реформистов из рядов номенклатурной элиты не смогла противо-

действовать распространению этнического насилия в южных республиках? Почему оппозиционная демократическая интеллигенция России не смогла создать с партнерами в национальных республиках таких союзов, которые направили бы действия в русло общегражданской повестки? Наконец, почему националистическая мобилизация смогла распространиться из Прибалтики и Закавказья (республик, обладавших значительным потенциалом для возникновения национальных гражданских обществ) в автономные республики (такие как Кабардино-Балкария), где этот потенциал выглядел несоизмеримо меньшим?

Ответ на первый вопрос кажется довольно очевидным: Горбачев не доверял своим службам безопасности, считая (вероятно, не без оснований), что силовое подавление зарождающихся националистических движений положит конец демократизации и его собственной политической карьере. В ответ службы безопасности не доверяли Горбачеву, в особенности после того, как он оставил генералов, командовавших тбилисской операцией в апреле 1989 г., без поддержки перед лицом общественного расследования. У Горбачева оставались лишь возможности дипломатии и лавирования — и тут он действовал мастерски. Последний советский реформатор, очевидно, надеялся, что его усилия уже вскоре приведут к становлению более динамичного и привлекательного союзного государства. В 1989–1991 гг. Горбачев сосредоточил усилия на ускоренном умиротворении Запада в надежде, что это в ближайшем будущем принесет ощутимые политические и экономические прибыли. Конверсия становится лозунгом дня. Последний генеральный секретарь решил двигаться к тому, что считал стратегическими целями советского обновления, и оставить в стороне те проблемы, которые в тот период казались ему неразрешимыми⁶¹.

⁶¹ Утверждения, будто Горбачев совершенно не понимал реалий нерусских республик, не согласуются с биографическим опытом последнего генсека. Он был уроженцем Северного Кавказа и строил свою раннюю карьеру в партийных органах Ставропольского края, включавшего в себя Карачаево-Черкесскую автономную область и соседствовавшего с Дагестаном, Чечено-Ингушетией и Кабардино-Балкарией. Рядом с Горбачевым в годы перестройки стоял Эдуард Шеварднадзе, в бытность свою правителем Грузинской ССР в 1970-е гг. виртуозно сочетавший репутацию жесткого наводителя порядка с насаждением лично преданных коррумпированных клиентов, опеку либеральной национальной интеллигенции с репрессиями против диссидентов. Если такие политики в годы перестройки в отношении к подъему национализма предпочли двусмысленность и уклончивость, то, вероятно, они счита-

В 1989 г. Горбачев пошел на создание гибридного, лишь отчасти соревновательно избранного парламента — Съезда народных депутатов СССР, теоретически верховного государственного органа, в то же время преднамеренно лишённого действительных полномочий и институционально прописанных механизмов реализации решений. Подобная предосторожность обернулась неожиданными проблемами. Собранный в июне 1989 г. съезд в действительности стал не законодательным собранием, а по сути средством массовой информации для выражения недовольства и всевозможных жалоб, которые в прямом эфире транслировались на весь Советский Союз. Вся громадная страна целый месяц не отходила от телевизоров и радиоприемников. Выступления на следующий день дословно печатались во всех основных газетах, став своеобразным эквивалентом *cahiers de doleances* — сборников жалоб и наказов избирателей, составлявшихся в 1788 г. при сословных выборах Генеральных штатов накануне Французской революции. Два столетиями позже по удивительной аналогии первая сессия нового советского парламента также стала невероятным марафоном претензий и заявок, стремительно ведших страну к революционной ситуации⁶².

Требования самого разного рода и свойства адресовались человеку на вершине политической власти — Михаилу Сергеевичу Горбачеву, — лично возглавившему съезд и неожиданно попавшему в ловушку собственноручно сплетенной политической игры. Вынужденный выслушивать жалобщиков и критиков днями напролет, он оказался вынужден раздавать обещания «разобраться» и предоставить больше ресурсов самым различным группам и областям, представленным в жалобах выступавших: интеллигенции и рабочих, инвалидов, ветеранов войны в Афганистане, малых народностей Севера и жителей местностей, пострадавших от экологических катастроф. Это было, в сущности, прямым продолжением практики бюрократического торга и корпоративного патронажа брежневских времен, однако теперь уже многократно более напряженного и происходившего в реальном времени на виду у всех. Горбачев был вынужден играть в прежней манере, как будто политическая и хозяйственная система все еще оставалась жестко централизованной и он являлся ее всемогущим руководителем, про-

ли подобный курс неизбежным меньшим злом. Подробная реконструкция их политических ограничений, расчетов и внутренних мотивов остается делом историков будущего.

⁶² Michael Urban, *The Rebirth of Politics in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

возгласившим себя реформистским целителем всех погрешностей и зол в своих владениях⁶³. В то же самое время, несмотря на рискованно быстрый рост внешней задолженности СССР, советский бюджет еле покрывал насущные нужды, не говоря уже об исполнении горбачевских обещаний. Публично отказавшись от использования кнута, Москва теперь теряла и пряники.

Второй вопрос — о роковой неспособности советской либеральной оппозиции создать общесоюзный блок для совместного достижения целей демократизации — не находит удовлетворительного ответа на уровне политического маневрирования и личных качеств лидеров того времени. Дело, очевидно, в более глубоких и безличностных структурных условиях, которые обычно плохо регистрируются остро политизированным сознанием и тем более в пылу дебатов. Публицисты, мемуаристы и политические историки недавних лет, как правило, перескакивают с парламентских противостояний в Москве, уличных протестов в национальных республиках и забастовок шахтеров Воркуты и Кузбасса летом 1989 г. сразу к восхождению Ельцина и распаду Советского Союза двумя годами позже. Иногда походя высказываются сетования на наследие тоталитаризма, отсутствие опыта гражданской организации, огромные размеры и этническую пестроту СССР. Эти довольно привычные импрессионистические объяснения не являются целиком неверными, и тем не менее остается непонятно, как именно гигантская территория, национально-культурное разнообразие и относительная длительность существования СССР приобрели политические последствия.

Непосредственным фактором видится слабость тех сетей социальных взаимоотношающихся контактов, которые могли бы обладать потенциалом для формирования основ всесоюзного гражданского общества. Исключительная вездесущность и символическая власть московского телевидения в годы гласности полностью обогнала то, что Сидней Тарроу называет «капиллярной работой» организации социального движения⁶⁴. Иными сло-

⁶³ Вот типичный для того времени анекдот, когда Москва стала центром общественного внимания и одновременно воспринималась в качестве источника всех бед (т.е. политический «развод» считался панацеей от всех проблем). Вечерний выпуск программы новостей «Время» (просмотр которой был общесоюзным социальным ритуалом) завершается прогнозом погоды, предрекающим ненастью в Грузии. «Чертова Москва! — негодует грузинский телезритель. — Что хотят, то с нами и творят!»

⁶⁴ Sidney Tarrow, *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. New York, Cambridge University Press, 1994, p. 143.

вами, эфемерная коммуникационная телесеть работала в одном направлении, от центра к провинциям, и не преобразовывалась в социальную сеть непосредственных контактов, создававших личные вовлеченность и солидарность, столь важные в деле политической самоорганизации. Когда в июне 1989 г. дело дошло до открытого столкновения в ходе работы вновь избранного Съезда народных депутатов СССР, собравшаяся вокруг знаковой фигуры академика А. Сахарова и покинувших ряды номенклатуры Ю. Афанасьева или Б. Ельцина демократическая фракция так и не сумела организовать мощную и достаточно скоординированную демонстрацию поддержки за пределами Москвы. В психологизаторском ключе причины этого рокового провала обычно списываются на провинциальную инерцию и карикатурный образ *Homo soveticus*, приспособившегося к тоталитарному режиму. Попытаемся обозначить не столь метафизическое объяснение. Высокоstatusная московская интеллигенция за годы гласности благодаря СМИ добилась колоссального авторитета в публичной сфере, однако ей не хватало подобной польской «Солидарности» низовой сети личных контактов, охватывающей всю страну. Дело не в провинциальной пассивности — и на местах, как можно убедиться, возникали сгустки протогражданских обществ. Однако им не доставало каналов обратной связи, которые бы позволяли консолидировать ядро местных организаторов, вписать их в общее дело, дать им общую политическую идентичность и статус, координировать реакцию на быстро менявшиеся возможности, бесперебойно доводить до низовых ячеек планы политических действий и организационные ресурсы, необходимые для их осуществления⁶⁵.

В одной из наших бесед Шанибов признал, что и он, конечно, в какой-то момент почувствовал восхищение моральной твердостью академика Сахарова, ораторским искусством Собчака, мужским напором Юрия Афанасьева. Находящийся в Нальчике стихийный демократ не мог без зависти наблюдать за постоянно находившимися на виду героическими лидерами демократии в Москве. Однако из Кабардино-Балкарии «до них было, как до Луны». Иными словами, обращение Шанибова к национализму состоялось не ранее, чем он отчаялся установить полезное взаимодействие с находившимися на подъеме московскими оппозиционерами, которые на пике перестройки предпочитали адресовать свои жалобы

⁶⁵ Прекрасной работой по подобным политически связующим сетям в Польше является Maryiane Osa, *Solidarity and Contention: The Networks of Polish Opposition*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.

и критику на самый верх, Горбачеву, вместо того, чтобы отправиться в народ и выстраивать сети политической поддержки по всей стране.

Здесь сразу надо оговориться. Еще в ходе выборов на Съезд народных депутатов зимой-весной 1989 г. альтернативные клубы избирателей начали формироваться в Москве и Ленинграде, в первый черед среди научной молодежи и в институтах Академии наук. Организационная консолидация демократической интеллигенции и студенчества на местах продолжала нарастать в столицах и, по крайней мере, в областных центрах вплоть до обвала 1991 г. Не следует игнорировать и достигавшие впечатляющего размаха попытки массовой консолидации консерваторов, например на организационной платформе Объединенного фронта трудящихся (ОФТ) и проектируемой Российской коммунистической партии. Перестройка вынудила и ее противников создавать структуры гражданского общества с правого фланга. В случае сохранения целостного государства и в том или ином виде продолжения политической поляризации перестройки можно было бы с уверенностью предсказать возникновение мощных альтернативных движений как слева, так и справа⁶⁶. Повторим важный тезис. Если бы в СССР мобилизации 1968 г. не были подавлены в зародыше и вместо деморализующей фрагментации брежневского безвременья закрепились эшелонированные социальные сети оппозиционной интеллигенции, то исход перестройки мог бы скорее напоминать «бархатные» вариации Центральной Европы. Но под-

⁶⁶ Это не менее вероятно могло привести и к реакции фашистского толка, на что следует указать не как на пугалку и не в оправдание ельцинского режима 1990-х гг., а по крайней мере, как на теоретически слабо осознаваемую потенциальную возможность. Теоретики либеральной демократизации, превратившие гражданское общество в идеологический фетиш, склонны затушевывать, насколько европейские фашисты межвоенного периода по своему социальному составу и мобилизационной стратегии также выражали исторический рост гражданского общества. Их прорывы к власти были обусловлены провалами идейно-политической гегемонии господствующих элит, последствиями геополитических поражений и реальной угрозой революций слева. В качестве доказательства от противного – фашизм не добился успеха в странах, где господствующие элиты сохраняли гегемонию и где не было революционной угрозы (Франция, Великобритания, Скандинавия). В США периода Депрессии фашизм вообще не возник, несмотря на глубокие потрясения, традиции правого популизма и присутствие таких движений, как Ку-Клукс-Клан. См. Dylan Riley, *Enigmas of Fascism*, *New Left Review*, № 30, 2004.

черкнем, что если всерьез говорить о минувших возможностях, то также нельзя упускать из виду и потенциал крайне правого националистического поворота в неустойчивой поляризационной динамике возникающего гражданского общества. Вовсе не обязательно это бы вылилось в фашистские формы образца межвоенной Центральной и Южной Европы — история не повторяется дословно. И все же наш анализ неминуемо подводит к мысли, что этнические конфликты также были проявлением мобилизации гражданского общества.

Интервью, взятые в Нальчике, в том числе в окружении Шанибова, и разговоры с аналогичными перестроечными активистами из соседних регионов (Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Адыгеи, Калмыкии, Ставрополя) обнаруживают практически повсеместно не слишком удачные и оттого непродолжительные попытки создания по образцу польской «Солидарности» союзов оппозиционной интеллигенции и рабочих на местном уровне. Так или иначе, все подобные попытки оказались безуспешными. Рабочие нередко выказывали недовольство конкретным давно засидевшимся директором или положением дел на своем заводе. В то же время они с понятным недоверием относились к активистам, появившимся извне, поскольку эти активисты пока ничем не доказали своей серьезности и полезности. Большинство рабочих в ситуации коллективной недовлетворенности предпочитало знакомую тактику подспудного выбивания уступок и неформальных договоренностей с заводскими управленцами (*shopfloor bargaining*). Они также подозревали политических активистов из интеллигенции в небескорыстном заигрывании с целью одержать победу на выборах.

Подобное настороженное отношение могло бы измениться, если интеллектуалы смогли бы доказать свою политическую полезность для рабочих. Но это потребовало не только согласованных усилий, но и времени, которого оставалось слишком мало. Ну и очевидное в случае соратников Шанибова — они неизбежно воспринимались не только интеллигентами, но также кабардинцами, в то время как многие рабочие и управленцы на промышленных предприятиях были русскими. Классовая мобилизация, как нередко случается в реальной истории, споткнулась о статусные и национальные преграды. Оставались, конечно, сельские предприятия и колхозы, где преобладали свои соплеменники и нередко родственники. Но колхозное начальство в нормальных пока условиях значительно плотнее контролировало условия социально-экономического воспроизводства сельских домохозяйств, что обеспечивало традиционную политическую пассивность селян.

Один из кабардинских активистов со своих позиций ясно обрисовал возникшую к лету 1989 г. дилемму: *«Как ни бейся, партократы нас все равно каждый раз обыгрывали. Народ наш оказался слишком отсталым для идей европейской социал-демократии. Оставалось либо разойтись по домам и грустить под музыку Вивальди⁶⁷, либо найти политический язык, доступный нашему народу».*

Чувство тупика раннеперестроечных ожиданий, смешанное со смутно-тревожным предощущением надвигающейся развязки, похоже, охватывает во второй половине 1989 г. все части возникающего в СССР политического спектра. Возникшие в годы перестройки политические противники сковывали друг друга и в то же время никак не могли двинуться ни в одном из направлений. Консервативная номенклатура все еще обладала значительной властью, однако ее политическая позиция оставалась статичной, обращенной в прошлое и по тональности всецело ностальгической, что и было с вопиющей очевидностью продемонстрировано в предпринятой в последнюю минуту попытке государственного переворота в августе 1991 г. Горбачевские реформаторы слыли знатоками бюрократических интриг, однако оказались на удивление неподготовленными к открытой политической борьбе в возникающем публичном пространстве внутри страны. Начавшие перестройку реформаторы растрачивали свои ресурсы с угрожающей скоростью и на глазах теряли преимущества грамшианской беспспорной гегемонии — лозунг «перестройке нет альтернативы» выглядел все сомнительнее как справа, так и слева. Номенклатурным реформаторам более не удавалось удержать в подчиненном и ведомом положении своих союзников в среде интеллигенции, прогрессивных технократов и рабочей аристократии. Со своей стороны, демократические властители умов (здесь это не просто метафора) не сумели предоставить действенного политического руководства и структурирующих форм для зарождающегося массового движения в обход ставшей слишком непоследовательной перестройки. Тем временем национальные гражданские общества прибалтийских республик уже отвернулись от Советского Союза и напрямую обратили свои взоры на Запад, в Европу. Но куда сохранялся СССР и Запад благоразумно признавал этот геополитический факт, прибалтийские надежды выглядели максималистским отказом от признания реальности. Оппозиционеры советских республик Закавказья, продвинувшиеся вроде бы дальше всех в преодолении власти номенклатуры и высвобож-

⁶⁷ Отсылка к меланхоличной балладе Булата Окуджавы, отражающей интеллигентские настроения брежневского периода.

дении из-под контроля Москвы, теперь отчаянно пытались оседлать выпущенных на волю тигров радикальной националистической мобилизации. Как будто всех и вся с лета 1989 г. охватило лихорадочное действие, и тем не менее противоречивые векторы гасили друг друга, результатом чего становилось дурное топтание на месте.

Хаотическая неопределенность затянулась на целых два года — с зарождения революционной ситуации в середине 1989 г. и до отчаянной попытки реакционного переворота в августе 1991 г., открывшей дорогу к распаду СССР. Но и это во многих случаях еще не означало конца раздвая без легитимного центра власти, что, собственно говоря, и есть главный признак революционной ситуации. Образовавшиеся на территории бывшего СССР государства лихорадило еще несколько лет. В отношении России вполне правомерно будет сказать, что революционная ситуация продолжалась до разгрома переходного парламента в октябре 1993 г. Большинство этнических конфликтов и национальных восстаний начала девяностых (Абхазия, Чечня) было проявлениями борьбы за легитимность той или иной формы государственности на этнической периферии бывшего СССР. Даже после распада на уровне множества фрагментов бывшего Союза, как правило, долго еще не находилось сил, способных институционально связать и переформатировать обломки в новое хотя бы более или менее функциональное целое.

Здесь мы подходим к основному тезису этой главы и всей книги. В 1989 г. в СССР, как и во всем советском блоке, возникла революционная ситуация или серия взаимообусловленных революционных ситуаций — которые, однако, не привели к революционным изменениям. Определить революционную ситуацию можно и по известному афоризму Ленина «верхи не могут, низы не хотят жить по-старому», но мы прибегнем к более аналитическому определению Чарльза Тилли. Революционная ситуация означает распад монополии легитимной власти и возникновение остро соперничающих центров, двое- и даже многовластие⁶⁸. Тилли, заметим, настаивал на том, что далеко не из всех революционных ситуаций возникают революционные результаты (*revolutionary outcomes*). Тилли, черпавший свои данные почти исключительно в западноевропейской истории Нового времени, не имел в виду распад СССР, однако здесь его различение революционных ситуаций и революционных результатов выглядит как нигде уместно. Вместо быстрой ломки и революционного преобразования струк-

⁶⁸ Charles Tilly, *European Revolutions, 1492–1992*. Oxford: Blackwell, 1993.

тур государственной власти⁶⁹ Советский Союз испытал затяжную «патовую» революцию, которая раздробилась на множество революционных ситуаций на уровне союзных республик и автономий. В отличие от Венгрии и Польши (но не Югославии), революционная ситуация в СССР обернулась не сменой политического режима, а длительным распадом самого государства.

Стоило разрушиться всеобъемлющей формальной структуре коммунистической партии, как государственная власть оказалась разделенной вдоль ведомственных линий и административных границ. Пролетариат внезапно потерял центр, которому ранее можно было адресовать свои жалобы и который в конечном счете определял само его существование как класса. Без всякого знакомства с мудростью Типа О'Нила⁷⁰ вся политика стала местной — включая Москву, где союзное правительство Горбачева с июня 1990 г. оказалось под растущим давлением возглавляемого Ельциным парламента и правительства Российской Федерации. Возникновение двоевластия в самой Москве имело крайне тревожный результат — стремительный распад всесоюзной командной экономики⁷¹. Используя возможности непосредственного контроля над экономическими средствами, правительства окраин и главы областей прибегли к оборонительной тактике скрывания ресурсов и нередко к местной карточной системе и бартеру⁷². Падение коммунистических режимов в Восточной Европе заставило многих номенклатурных начальников всерьез задуматься над возможностью потери власти и начать готовить собственные

⁶⁹ Как в трех классических примерах Теды Скочпол: Франция 1789 г., Россия 1917 г., Китай 1949 г. Theda Skocpol, *States and Social Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

⁷⁰ Легендарный спикер Конгресса США в 1970–1980-е гг., прославившийся афоризмом «не бывает никакой политики, кроме местной». В американских условиях эта максима обеспечивала О'Нилу многократное переизбрание в своем округе.

⁷¹ Хорошее внутреннее описание того, как происходил распад планового хозяйства, дает молодой советский экономист Петр Авен, впоследствии ставший министром внешней торговли в российском правительстве неоллиберальных реформаторов, а затем одним из олигархов. См. Petr Aven, «Economic Policy and the Reform of Mikhail Gorbachev: A Short History», in Merton J. Peck and Thomas J. Richardson (eds.), *What Is to be Done? Proposals for the Soviet Transition to the Market*. New Haven: Yale University Press, 1991.

⁷² См. замечательную статью, основанную на полевых исследованиях в Бурятии и Туве Caroline Humphrey, «Icebergs, Barter, and the Mafia in Provincial Russia,» *Anthropology Today*, vol. 7, no. 2 (April, 1991).

пути для обороны или отхода на заранее подготовленные позиции. С другой стороны, распад советской вертикали власти создал условия для массовых оппозиционных мобилизаций на подсоюзных уровнях, в особенности потому, что неформальные социальные сети необходимой плотности имелись в основном в областях и республиках. Политическое соперничество в 1989–1991 гг. сместилось на центральные площади областных городов и в стены новых парламентов республик. Поскольку многие советские территориальные единицы выстраивались на основе принципа титульной национальности, их политика стала приобретать все более ярко выраженный этносепаратистский вектор, движимый соперничеством претендентов на ведущие роли в стремительно меняющейся политической игре.

НЕЯВНЫЕ ПУТИ ЭТНОПОЛИТИЗАЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Пришло время показать, как в момент нестабильности при разрушении советского государства экстраординарные этнические конфликты возникали из прежде вполне заурядных практик власти, сетевых структур, индивидуальных амбиций и столкновений. Что, казалось бы, могло вызвать вспышку этнополитической активности в такой республике, как Кабардино-Балкария, которая десятилетиями контролировалась прочной патронажной группировкой местной номенклатуры, обладала лишь зародышем гражданского общества и, на фоне прочих местностей Кавказа, вроде бы даже не имела истории этнической вражды? Одно лишь подражание и «заражение идеями» не могло вызвать подобного эффекта. Пример более крупных союзных республик должен был резонировать с какими-то внутренними процессами. Так какие же внутренние процессы разворачивались к концу перестройки в Кабардино-Балкарии?

Для начала оглянемся на более ранние, к 1989 г. уже «увядшие» движения начальных периодов перестройки, которые с виду не имели ничего общего с этническими проблемами. Куда подевалось, например, некогда достаточно реальное Общество борьбы за трезвость, чем завершилось неожиданно по тем временам живое обсуждение, казалось, такой чистейшей формальности, как принятие нового устава комсомола, что стало с гражданскими мобилизациями вокруг проблем экологии или «трудных» подростков? Микроисследование на основе интервью и внимательного изучения газет тех дней показывает поступательное смещение фокуса общественного внимания и риторики в двухмерном

пространстве в зависимости от задаваемой Москвой структуры возможностей и местных ресурсов, задействующихся для доступа к старым и новым статусным ролям. С самого начала экологическое движение в Кабардино-Балкарии охватывало два различных типа активистов. Первым были преданные идеалам «зеленого движения» романтики — обычно русские по национальности ученые, врачи, инженеры (многие из которых выступали также художниками-любителями). Центром их притяжения был, кстати, не курортно-чиновничий Нальчик, а высокогорное Приэльбрусье, эта всесоюзная мекка альпинистов и горнолыжников, которые в СССР еще не стали (не могли стать) дорогостоящими профессионалами, а оставались героическими дилетантами высочайшего класса. Глобальное изменение климата, а еще более расположенные по дороге в Приэльбрусье горно-металлургические предприятия не могли не беспокоить этих людей. Второй типаж составляли местные кабардинские и балкарские интеллигенты, также с высшим образованием, но преимущественно в области художественных искусств, истории и гуманитарных наук, которые в силу своей более патриархальной культуры стеснялись целиком окунуться в романтический образ жизни активистов с гитарами в турботах и брезентовых штормовках, но вместе с тем уважительно признавали их самоотверженность и общую важность экологического дела. Для кабардинцев и балкарцев, впрочем, экология с самого начала была связана с защитой именно своих родных гор.

На какое-то время, особенно после чернобыльской аварии апреля 1986 г. и в связи с массовыми фобиями тех лет из-за загрязнения питьевой воды хлорходами и избыточных нитратов в сельхозпродукции, участие в экологическом движении становится очень притягательным и престижным⁷³. По мере роста движение диверсифицируется, в нем возникают самостоятельные течения с различной направленностью, риторикой, ритуалами солидарности. С одной стороны, на флангах движения возникают мистические секты, вполне аналогичные «духовности новой эры» в Америке и Западной Европе, где практикуются медитация, альтернативное врачевание, неошаманизм и различ-

⁷³ Еще ярче пример подобного рода дает Чечено-Ингушетия, где в 1988–1990 гг. экологи и демократы из интеллигенции, объединившиеся в местный Народный фронт за перестройку, целиком господствовали в секторе гражданской оппозиции, тем самым автоматически оттесняя националистов на окраину процессов образования политического пространства. См. Музаев Т., Тодуа З. *Новая Чечено-Ингушетия*. М.: Панорама, 1992.

ные эзотерические ритуалы единения с мирозданием. Эта ветвь эволюции движения не ведет к политическим последствиям, но тем не менее должна быть упомянута, поскольку эзотерика составит очень существенный сектор в формировании постсоветских гражданских обществ. С другой стороны, по мере неизбежной профессионализации актива движения на первые позиции выдвигаются преимущественно русские ученые-природоведы, которые обладали соответствующими знаниями, профессиональными связями с экологами в Москве и других частях СССР. Позднее, уже в 1990-х гг., профессионализовавшиеся экологи-активисты приобретали ставшие насущно необходимыми новые навыки – написания выигрышных заявок на гранты от различных западных фондов и создания неправительственных организаций. Движение обрело организационную устойчивость, но при этом оказалось заключено в собственном узком сегменте публичной сферы. Увы, к тому времени тема экологии давно перестала быть главной для общества. «Зеленые» политические партии если и возникают, то остаются эфемерными подражательными образованиями. Мы наблюдаем в основном ту же траекторию в развитии общественных движений за помощь инвалидам, «трудным» подросткам, умельцам из малого бизнеса, даже в намного более широком в своей основе движении за реформу школьного образования. Все они, после первоначального всплеска энтузиазма среди образованных горожан, со временем профессионализируются и остаются лишь в качестве сегмента в общем спектре гражданского общества. За некоторыми личными исключениями, это также неэтнические, вернее, преимущественно русские по составу движения, причем по мере институционализации они становятся все более русскими.

Причина в том, что по мере расширения тем перестройки активно настроенные младшие по возрасту и статусу интеллигенты из числа этнических кабардинцев и балкарцев находили новые центры притяжения, где их преимущественно более гуманитарные специальности и принадлежность к национальным культурам выглядели уместнее и давали больше возможностей для самореализации. Первоначальными поводами для общественных дискуссий вовсе не обязательно служили национальные вопросы, но затем происходит этнизация проблематики и предлагаемых решений. Постепенно приобретают местный колорит разнообразные и общие для СССР тех лет темы пьянства, уличного хулиганства, организации культурного досуга молодых горожан, противостояния потребительской «бездуховности» и «вещизму», гуманизации школьного образования, защиты экологии, возрождения народ-

ных промыслов и обрядов, использования в музыкальном и художественном творчестве «подлинных» элементов фольклора (т.е. не подвергшихся советской псевдонародной обработке), охраны исторических памятников. В национальных культурах начинают искать и находить ответы на все подобные проблемы. Это пока не политический национализм, а один из возможных способов консолидации основанного на интеллигентских социальных сетях гражданского общества, представители которого пытаются «пробудить» основную массу и одновременно обращаются с разнообразными предложениями к властям, но пока не ставят задачи политического вмешательства в подбор государственных кадров и обязательного контроля над их деятельностью. Именно вместе с ростом гражданского общества возникают и типичные проявления национального культурного движения в дополитическом смысле по стадийной классификации Мирослава Гроша⁷⁴. Кабардинские и балкарские интеллигалы, чьи карьеры и творчество протекали в жестко заданных рамках государственных учреждений этнической культуры, участвуя по мере личных диспозиций, навыков и талантов в разнообразных общественных дискуссиях, тем самым оказывают коллективное давление в сторону расширения пределов и престижа своего социального поля. Поскольку эти группы интеллигенции и их учреждения заведомо и совершенно официально маркированы национальностью, то в данном случае типично интеллигентский проект гражданского общества в противопоставлении власти неизбежно приобретает не только демократическую, но и национальную окраску. Это не совершенно другая перестройка, это все та же перестройка с дополнительным задействованием этнических ресурсов легитимности и социальной солидарности. Мобилизации пока не носят конфронтационного характера. Полностью в соответствии с советской перераспределительной практикой, взявшие на себя звание «представителей общественности» вполне верноподданно предлагали и просили направлять больше средств местным музеям, театрам, детским кружкам. Привнесенным демократизацией новшеством было то, что национальные интеллигалы теперь могли использовать публичные дискуссионные площадки, местные газеты и телевидение. Выступая от имени расплывчато—общего советского народа и переходя к высказываниям от лица гораздо более конкретных этнических народов—национальностей, первопроходцы нарождающегося гражданского общества не только создавали себя в каче-

⁷⁴ Miroslav Hroch, *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

стве лидеров, но и, в случае достижения успешного эмоционального резонанса высказываний, создавали собственные аудитории⁷⁵. Из учетно-паспортной категории национальность превращалась в принадлежность к группе интересов. В не столь отдаленном будущем это могло послужить блоком соотечественников-избирателей, хотя в 1986–1987 и еще даже в 1988 гг. такая возможность все еще находилась за пределами мыслимого.

Тем не менее процессам формирования гражданских обществ с самого начала была присуща подчас острая статусная конкурентность и межличностная конфликтность. Основной осью внутреннего деления и конкурентности служило соперничество восходящей молодежи и состоявшихся старших. Отметим, что в бюрократизированных советских учреждениях науки и культуры это были понятия скорее статусные, нежели возрастные. К «вечной молодежи» вполне могли принадлежать сорока- и даже пятидесятилетние, застрявшие в силу личного характера и обстоятельств на начальных ступенях профессиональной лестницы рангов. Перестроечные кадровые перестановки и предоставленная гласностью возможность повышения личного статуса привлекшими внимание высказываниями уже на ранних стадиях порождали надежды, которые вывели на поверхность и, после долгих лет «застойной» статичности, сделали динамической дифференциацию позиций в полях интеллектуального производства. Эти изменения быстро приняли характер противостояния крайностей, разведя начальников и новых трибунов из подчиненных по идеологическим полюсам. Представители старшего интеллектуального крыла, даже предпринимая публичные высказывания в авторитетной тональности, продолжали полагаться в основном на свои административные связи и обязанный официальному положению формальный символический капитал. Им было что оборонять в существующем положении, но одновременно навыки карьерного выживания подсказывали необходимость учета меняющихся сверху условий, что в сумме векторов производило умеренно-консервативный дискурс вплоть до дозируемой либеральности. В соответствии с логикой оппозиции, окрыленная надеждой и разгневанная своими фрустрациями молодежь, рискнув пойти в обход истеблишмента, должна была быть радикальной и популистской. Достигалось это нарастающим расширением и драматизацией требований. В итоге конкурентной радикализации дискурса перестройки на уровне национальных республик и автономий дело стало представляться

⁷⁵ Бурдые П. *Социология политики* / Перевод с французского Н. Шматко. М.: SocioLogos, 1992.

таким образом, будто национальные культуры находились на грани исчезновения в силу самого широкого спектра угроз — от отравленных индустрией воздуха и вод (и одновременно нехватки плановых капвложений) до дефицита качественного медицинского обслуживания и незнания традиционного этикета в среде все более отвязных подростков. Все проблемы приписывались безразличию Москвы и рабской покорности местной своекорыстной номенклатуры. Еще шаг — и Москву обвинят в культурном геноциде, иными методами продолжавшем кровавые преступления сталинских времен и карательные разорения царскими войсками в ходе завоевания Кавказа в XIX в. Позже, уже во второй половине 1990-х гг., дискурс коллективных угроз в одной из дальнейших метаморфоз отольется в исламистскую анафему безбожной механистической цивилизации Запада. Радикальный исламизм вовсе не был неизбежным результатом демократизации. Скорее его следует рассматривать в качестве одной из реакций на провал проекта демократизации и надежд на реформирование государственности, которое бы сделало правящую элиту ответственной и способной реагировать на общественные запросы. В то же время лишь идеологические предрассудки не позволяют разглядеть в неоисламизации дальнейшее проявление одной из сторон процессов формирования гражданских обществ.

В общественном мнении сталинская депортация балкарского народа в 1944 г. придавала достоверность утверждениям о подспудном продолжении «культурного геноцида». (Обратите внимание, как этот комплекс перекликается с происходившим в Нагорном Карабахе, хотя едва ли кто-то из балкарских активистов был знаком с дискурсом карабахского конфликта.) Подобно пережившим сталинские депортации чеченцам, ингушам и, отчасти, прибалтам, травмы прошлого с почти автоматической легкостью активизировались в формах нового коллективного переживания, поскольку практически каждая балкарская семья потеряла кого-нибудь в ходе ссылки 1944–1957 гг. Призывы к расследованию былых преступлений сталинизма вскоре переросли в требования возмещения ущерба. (Тем более что организаторы депортаций сами были давно мертвы и могли быть подвергнуты лишь символическому наказанию.) До поры даже столь сильный эмоциональный фон приводит не более чем к публикациям на основе архивных документов и воспоминаний. Балкарцы, занимающие посты в номенклатуре, по мере своего влияния тормозили процесс и заодно предотвращали возникновение потенциальных соперников среди своих соплеменников. Их острожная игра рухнула мгновенно с введением конкурентного выдвижения на выборах. Вместо

ожидаемого расширения политических возможностей и легитимации требований компенсации уже на начальном этапе многоступенчатых выборов на Съезд народных депутатов в 1989 г. выясняется, что не прошли не только балкарские активисты, но даже номенклатурные кандидаты. Таков оказался совершенно неожиданный результат новых политических условий.

Ранее все многонациональные области СССР следовали неписаному «ливанскому принципу», в соответствии с которым представителям каждой титульной национальности предоставлялись должностные позиции по определенной квоте⁷⁶. В Дагестане с его двумя десятками официально признаваемых коренных национальностей эта практика достигала наивысшей сложности. В Кабардино-Балкарии преобладало тройственное деление. Обычно высшая должность в основных бюрократических иерархиях автономной республики принадлежала кабардинцу, место первого заместителя — балкарцу, на места второго зама, главного инженера или ведущего специалиста считалось приличествующим подобрать кого-то из нейтральных «общесоюзных» национальностей: русского, украинца, возможно армянина или татарина. На соревновательных выборах неписаный принцип национальных квот перестал соблюдаться, о нем, похоже, просто забыли в спешке и неопределенности столь нового мероприятия. Возникла реальная вероятность, что автономную республику будут представлять в Москве только кабардинцы и русские — будто балкарцев и во все не было. На самом деле этого следовало ожидать, поскольку доля балкарцев в населении автономной республики составляла всего лишь 9,6%⁷⁷. При отмене квотирования они были обречены на проигрыш. Внезапная угроза потери группового влияния и статуса относительно других национальностей стала потрясением и толчком к этническому единству. Едва ли не поголовно все девяносто тысяч балкарцев, включая стариков и даже молодых женщин с детьми, вышли на улицы Нальчика, совместно ведомые своей номенклатурой и интеллигенцией. Один из участников, учитель по профессии, вспоминает: *«Тогда все ощутили, что если сейчас же не высказать наши требования, то наш народ навсегда останется*

⁷⁶ В Ливане этот принцип был записан в конституции, в советских же автономиях он мог соблюдаться неформально, поскольку сложившиеся практики управления имели лишь опосредованное отношение к формальному законодательству.

⁷⁷ Битова Е., Боров А., Дзамихов К. *Современная Кабардино-Балкария: проблемы общественной динамики, науки и образования*. Нальчик: Эл-Фа, 1996. С. 12–16.

проигравшим в условиях демократии». При всем драматизме высказывания, ему нельзя отказать в реалистичности.

Выход из возникшего тупика выглядел очевидным — в качестве главного средства компенсации за понесенный в сталинские годы ущерб и ради обеспечения будущего нации балкарцы стали требовать создания собственной республики, то есть политической единицы, в которой на всех выборах гарантированно побеждали бы представители их народа. В конце концов, именно это и является целью создания государственных учреждений: повышать возможности политического и экономического успеха тех или иных групп общества. Малочисленные тюркоязычные балкарцы (их язык не слишком ясным науке образом восходит к половецкому, хотя физическим обликом и бытом они совершенно кавказцы) никогда прежде коллективно не обладали ни значительной военной силой, ни единой этнической идентичностью. До XX в. они собирательно именовались «таулал», то есть просто горцами. В Средние века их предки оказались вынуждены приспособиться к выживанию на высокогорье, вблизи уреза ледников, в относительно бедной экологической нише применительно к сельскому хозяйству. Только в конце XX в. выяснилось, что заснеженные склоны идеально подходили для горнолыжного спорта, а в сочетании с живописными альпийскими долинами потенциально представляли собой источник значительных доходов от туризма. Балкарский сепаратизм стал угрожать отчуждением земель, ставших первоклассной недвижимостью; более того, балкарские активисты стали предлагать раздел и самого Нальчика, поскольку других мало-мальски больших городов для собственной столицы в наличии не было.

До депортации балкарцы обитали в пяти селах, разделенных высокими хребтами и ущельями, но по возвращении из ссылки большинство не вернулось в разоренные дома, а поселилось близ Нальчика.⁷⁸ Власти, со своей стороны, вероятно, надеялись, что это переселение явится достаточным возмещением понесенных в результате сталинской депортации убытков и заодно позволит держать возвращавшихся из ссылки горцев под присмотром государства. Однако к середине восьмидесятых высокий уровень рождаемости сделал балкарцев куда более значительной составной в Нальчике и его окрестностях, чем кто-либо мог ожидать в 1957 г. Кроме того, застой в советском сельском хозяйстве и растущая нехватка хорошооплачиваемых рабочих мест в промышленности привели к тому, что непропорционально большое чис-

⁷⁸ Битова Е. *Социальная история Балкарии XIX века*. Нальчик: Эльбрус, 1997.

ло балкарцев, лишь недавно пришедших в город, стали прибегать к субпролетарским стратегиям жизнеобеспечения. Отсюда бытующий в Нальчике гротескный образ балкарцев как напористых грубиянов, чьи мужчины склонны праздно слоняться по улицам, а женщины торгуют на рынке кустарными вязаными изделиями или подавно жареными семечками. В действительности происходило то, что среди балкарцев очень значительная доля мужчин (до 90% в 1990-е годы) не находила мало-мальски соответствующей их патриархальным гендерным притязаниям прилично оплачиваемой работы, отчего женщинам приходилось содержать многодетные семьи за счет надомного труда и торговли нехитрой снедью и шерстяными изделиями (благо, разведение коз являлось традиционным занятием в горных районах).

Вполне предсказуемым образом возможность создания отдельной от Кабарды Балкарии, но при этом также со столицей в какой-то части Нальчика, вызвала сильнейшее неприятие большинства кабардинцев. Традиционно считалось, что кабардинцы коллективно обладали «княжеским» статусом в отношении своих соседей, в том числе тюркоязычных горцев, чьих потомков в XX в. стали называть балкарцами. Кабардинские аристократические семейства контролировали лучшие земли в предгорьях, которые арендовали горцы. Горцы же от нужды своей занимались чабанами, косарями и просто батраками. Воспоминания о статусных рангах традиционного общества, конечно, продолжали осложнять межгрупповые отношения, но вместе с тем здесь отсутствовали крайние формы травмы, связанные с кровопролитием. Кабардинцы давно сосуществовали с балкарцами если не на равных, то все же достаточно мирно. Перестроечные выборы вдруг сдетонировали подспудно накапливавшуюся напряженность, хотя этот конфликт, по сути, межевой спор в современных условиях, к счастью, никогда не доходил до грани взаимного уничтожения.

Эмоциональная энергия, произведенная балкарским выступлением, разом накалила атмосферу в Нальчике и даже в селах. Механизм вполне сопоставим с тем, как сравнимая угроза отделения армян Карабаха годом ранее вызвала резкий рост национализма и радикализма в Азербайджане. Вот когда бывший социальный реформист Шанибов стал кабардинским националистическим лидером Мусой Шанибом. Угроза балкарского сепаратизма наконец убрала препятствия на пути подлинно массовой политизации, но при переходе на массовый уровень центр политики сместился от социального класса к национальности. Вначале политика перестройки касалась лишь межфракционных раскладов номенклатурной элиты. Затем в политику вступает класс образо-

ванных специалистов, интеллигенции и лишь в небольшой мере рабочей аристократии больших городов. Политика остается делом верхних слоев общества, хотя интеллигенция, охваченная энтузиазмом гласности, склонна оптимистически преувеличивать масштаб и вовлеченность своей аудитории. В ходе одной из показанных по телевидению встреч Горбачева с трудящимися одного из уральских заводов цеховой мастер сравнил перестройку с бурей в глубокой тайге — верхушки деревьев трещат и гнутся, а внизу ветки даже не шелохнутся и только звук ветра еле слышен. Это метафорическое простонародное сравнение долго оставалось применимо к Кабардино-Балкарии, как и к российской глубинке. Перестройка до 1989 г. на самом деле прямо задевала лишь интересы элит и контрэлит. Однако теперь неясная и оттого не менее тревожная перспектива отделения балкарцев стала задевать интересы буквально каждого жителя маленькой республики, но более всего кабардинцев. На следующее утро грозило проснуться уже не в своей республике! Кабардинским интеллектуалам более не было нужды взрачивать этническое самосознание, уговаривать соотечественников приходить на занятия по традиционному этикету или церемонии поминовения далеких предков. Народ устремился на улицы и площади Нальчика по первому же призыву, поскольку теперь возникла реальная угроза их нормальной жизни.

Опасаясь худшего, кабардинские должностные лица республики поспешили тогда предложить помощь балкарским представителям местной номенклатуры. В итоге несколько балкарских представителей оказались-таки избраны народными депутатами, хотя в откровенных разговорах намекалось со значением, что это потребовало личного самопожертвования со стороны некоторых кабардинских руководителей и, по всей видимости, некоторого «подправления» процесса выборов. В риторически завуалированной форме именно эти договоренности и уступки подразумевали официальные лица в Нальчике, превознося в речах «мудрость, самоотверженность и непоколебимую преданность руководства республики непреходящим ценностям дружбы народов и справедливости» — и все это несмотря на отдельных «provokatorov», а также «сложные условия современного момента».

Балкарский локальный пример ценен тем, что он рельефно высвечивает процессы, которые переломили хребет Советскому Союзу. Политическая реформа нарушила сложившийся порядок бюрократического патронажа и привела к непредвиденным последствиям гораздо раньше, чем могла бы консолидироваться новая политическая игра по правилам многопартийной демократии. Неспособность Москвы управлять событиями впервые пока для

всех неожиданно проявилась в Армении и Азербайджане, затем в Грузии и, наконец, стала очевидна осенью 1989 г. в череде революций в восточноевропейских соцстранах. Возможность выхода из СССР стала казаться вполне осуществимой. Национальная независимость оказалась крайне эффективной платформой для массовой протестной мобилизации и для временной консолидации оппозиционных элит. Общественное воодушевление и ожидания элит подпитывались уверенностью, что отход от России автоматически приведет к присоединению к Западу. Говоря шире, национальная независимость выступила политическим средством ассоциированной интеграции с развитым ядром капиталистической мирозкономики – интеграции, которую перестройка провозгласила своей целью, но не сумела обеспечить. Примечательно, что первыми ушли республики, обладавшие самыми высокими уровнями социально-экономического развития, а также наиболее близкие к Западу в культурном и географическом отношении – прибалтийские республики в СССР, Словения и Хорватия в Югославии, наконец, Чехия из состава Чехословакии.

Пример Прибалтики запустил цепную реакцию движений за выход из состава Советского Союза, дошедшую и до балкарского самостоятельного мини-референдума в 1991 г., единогласно одобдившего выделение Балкарской республики из состава Кабардино-Балкарии⁷⁹. В 1996 г. следующий балкарский референдум почти столь же единогласно отменил несостоятельную декларацию независимости. (Впрочем, однажды пущенная в оборот, идея будет периодически возникать.) Балкарская номенклатура к тому времени распалась, была напугана, приспособилась и в целом уладила отношения с кабардинскими партнерами. Простой народ устал от мобилизаций и был куда более озабочен выживанием в ситуации жестокой хозяйственной депрессии. Наиболее удачливые и благоразумные активисты получили различные должности, а оставшиеся в одиночестве радикальные элементы были затем успешно подавлены милицейскими методами⁸⁰. Однако этот эпилог не от-

⁷⁹ Как и во многих других этнических республиках, местные русские оказались застигнуты врасплох без ясной легитимной основы для выдвижения собственных политических требований. Ощущая себя брошенными на произвол судьбы, русским оставалось ни во что не вмешиваться либо репатриироваться в центральные области России.

⁸⁰ Согласно широко распространенным слухам, возможному президенту сепаратистской Балкарии отставному генералу Суфияну Беппаеву был предложен выбор между тюремной камерой и комфортабельным кабинетом в здании правительства двуединой Кабардино-Балкарии. В последние годы Совет-

меняет факта, что в 1991–1992 гг противостояние между мобилизованными балкарцами и кабардинцами привело автономную республику на грань распада государственности и, возможно, даже гражданской войны.

РАСПАД СССР: ВЫВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Подытожим наши наблюдения. Прежде всего следует признать, что национальные вопросы начисто отсутствовали в политических расчетах перестройки. Проект строился в сугубо классовом измерении как союз реформистской фракции советской номенклатурной элиты со средним классом образованных специалистов. Одновременно западным капиталистическим элитам предлагалось сотрудничество в конвертации советской геополитической мощи в экономические прибыли и политическую стабильность. В случае успеха – во что в какой-то момент склонны были поверить практически все – Советский Союз становился равноправным и весьма значительным членом ядра капиталистической мир-системы. Мирная кончина коммунизма не предполагала распада СССР на национальные государства. Перекройка границ в Европе, очевидно, страшила и сами западные элиты.

К началу 1980-х гг. в высшей номенклатуре достигает критического уровня осознание необходимости наконец заняться поиском активных мер в ответ на дилеммы, возникшие в период хрущевской оттепели и затем после 1968 г. отложенные более чем на десятилетие. Предстоял гигантский демонтаж давно выработавшей свой ресурс диктатуры военно-индустриального развития начиная с ее превратившихся в ритуальную пустышку идеологических структур и окостеневшего командно-бюрократического аппарата. Демонтаж предполагал достижение двух предварительных условий. Во-первых, ослабления идеологизированного геополитического давления извне ценой даже одностороннего выхода из «холодной войны» одновременно с активным навязыванием Западу новой разрядки международной напряженности. Заметим, что сравнения советской перестройки с рыночными реформами в Ки-

ского Союза генерал Беппаев служил в штабе Закавказского военного округа в Тбилиси, где, опять же по слухам, обеспечил себе безбедное будущее, продавая со складов оружие различным национальным вооруженным формированиям. Слухи, как всегда, могут оказаться клеветой и объяснением а *posteri-ori*. Ясно лишь то, что наиболее влиятельные в балкарском движении фигуры были так или иначе кооптированы властями республики.

тае, как правило, совершенно упускают из виду кардинальную разницу в геополитическом контексте.

Вторым условием было преодоления внутри СССР общественной апатии, возникшей в предшествующие годы из-за сжатия каналов вертикальной мобильности и консервативного подавления автономных возможностей для творческо-символической и экономической самореализации прежде всего в средних слоях образованных специалистов. Здесь обнаруживается второе кардинальное отличие СССР от Китая. Стартовой социальной базой рыночных реформ в Китае все еще могло выступать крестьянство, подконтрольное местному начальству. Эти две наиболее массовые категории китайского общества сразу же могли включиться в динамику предпринимательства, затем мощно подпитанную иностранными инвестициями при посредничестве своих же китайских капиталистов из диаспоры, искавших дешевой и послушной рабочей силы. Рыночные реформы в КНР опирались таким образом на широкий социальный блок крестьянства, бюрократии и капиталистов-соотечественников и-за рубежа. В индустриально переразвитом СССР, напротив, переход к рыночному динамизму мог быть достигнут лишь с радикальным, т.е. неминуемо конфликтным, изменением внутренних механизмов контроля крупных предприятий. Это означало бы институционализацию в какой-то оставшейся неясной форме конфликта классовых интересов между основными эшелонами номенклатуры и низведенными до пролетарского положения специалистами, претендующими на более высокую оплату своего труда и статус профессиональных технократов, современных независимых ремесленников и изобретательных предпринимателей. Со второй после хрущевской попытки высшее советское руководство все-таки решилось на эксперимент с «высвобождением творческой энергии масс» в основном против собственного властного аппарата. Решительность советского руководства, очевидно, объясняется их безусловной верой в фундаментальную прочность советского государства (что не вызывало реального сомнения даже у его противников и серьезных западных исследователей), а также существенным просчетом в определении расстояния до конечной цели, которая виделась в оптимистическом тумане как некое подобие социал-демократии североевропейского образца.

Пришедший весной 1985 г. к власти Михаил Горбачев представлял фракцию прогрессивных реформаторов, в основном сосредоточенных в ответственных за осуществление сверхдержавных функций структурах — министерстве иностранных дел, разведывательном управлении КГБ, передовой науке, производстве во-

оружий, а также в руководстве капиталоемких отраслей гражданской промышленности. Реформисты стремились рационализировать управление государством и экономикой, особенно в областях, где централизованное планирование работало с понижающей отдачей: таких как технологические инновации или же гибкое диверсифицированное производство потребительских товаров и качественных продуктов питания. Сопутствующими проблемами были (варьировавшаяся по отраслям и регионам) коррумпированность бюрократии и другие способы поиска рентных доходов от служебного положения, а также закрытые от внешних взоров практики госаппарата среднего звена, управлявшего территориально-административными образованиями и отраслями экономики СССР. Оба этих явления в эпоху брежневского застоя стали негласно терпимыми нормами бюрократического поведения. На уровне геополитики горбачевская фракция пыталась сократить расходы на гонку вооружений с Соединенными Штатами и найти пути к примирению с Китаем на уязвимом азиатском фланге, а также рационализировать структуру отношений с восточноевропейскими соцстранами и растущим числом получателей помощи в Третьем мире.

Реформисты разработали двусоставную политическую стратегию. В области международных отношений они успешно проводили политику умиротворения Запада, соглашаясь на то, что по меркам предыдущего десятилетия было серьезными уступками. Умиротворение должно было открыть дорогу к увеличению иностранных инвестиций в советскую экономику и расширение торговли, а также получение современных технологий. Во внутренних делах реформисты пытались модернизировать официальную идеологию практически целиком в русле движений 1968 г. за «социализм с человеческим лицом». Это включало в себя признание и покаяние за преступные деяния сталинизма, публичное обсуждение идеологически приемлемых альтернатив (чьи критерии расширялись), ослабление цензуры и пограничного контроля и, наконец, постепенное внедрение рыночных механизмов в экономике и соревновательных выборов в политике. Внутренние реформы также следует признать успешными в первые годы. Горбачеву и его сподвижникам удалось без эксцессов, чреватых согласованным противодействием, оказать значительное давление на закоряченную номенклатуру среднего звена, меняя кадры и предоставляя возможности для выдвижения молодых талантов из подчиненных эшелонов управленцев и интеллигенции. Тем самым создавалась база поддержки реформистского режима. Подвижки сверху совпадали с устремлениями образованных

специалистов и высококвалифицированных рабочих, чей энтузиазм обеспечил в 1986–1988 гг. положительную динамику, фиксируемую многими статистическими показателями, не только хозяйственным, но даже социальным — вплоть до временного повышения рождаемости и средней продолжительности жизни. Наконец, внутренняя либерализация создавала положительную обратную связь с внешнеполитической повесткой. СССР в первые годы перестройки наверстывал престиж, сильно растроченный в предыдущем десятилетии. В сумме создавалось оптимистическое ощущение, что Советский Союз успешно начал вхождение в ядро мирорисистемы, превращаясь, как тогда выражались, в «нормальную европейскую страну». Восходящая фаза горбачевской перестройки длилась целых четыре года, между веснами 1985–1989 гг., когда казалось, что СССР сможет, наконец, стать более демократическим, мирным и материально благополучным государством.

Вершиной и критической точкой перестройки стало лето 1989 г., когда Горбачев провел первый съезд избранного путем полусоревновательных выборов всесоюзного парламента. Однако Горбачев не предоставил новому парламенту реальной власти, очевидно, из опасения его захвата оппозиционерами из интеллигенции, которые, по примеру Польши, могли бы правовым образом радикально изменить политический режим. В новом парламенте действительно возникло активное и влиятельное меньшинство из демократических интеллектуалов и технократов-реформистов, разочарованных опасливостью и уклончивостью Горбачева. В принципе они могли бы пойти против достаточно растерянного большинства и добиться формирования нового союзного правительства. Однако подобный скачок требовал массовой народной мобилизации за стенами парламента.

Горбачевская фракция оставалась внутренне скованной символикой, рационально непродуманными и оттого наивными надеждами и, в не меньшей мере, страхами своего шестидесятилетнего поколения. Сказывался хорошо известный социально-психологический механизм запечатления опыта в период вступления во взрослую жизнь, что, собственно, и формирует поколения. Для поколения Горбачева таким формирующим опытом стала хрущевская оттепель и ее провал. Кроме того, при всем их западничестве советские реформисты оставались все теми же номенклатурными руководителями, глубоко усвоившими габитус бюрократической корпоративности и служения. С этих позиций вожди общественности, выдвинувшиеся в обход официальной иерархии на волне гласности, выглядели скорее выскочками и демагогами. Идея равноправного альянса с такими партнерами

представлялась номенклатурным реформаторам нелепой и унижительной. Психологическое объяснение, впрочем, само по себе недостаточно. Оппозиционеры в советском парламенте 1989 г. действительно еще не стали политической организацией, способной заставить считаться с собой. За ними стояло в лучшем случае широкое общественное мнение, но не целенаправленная общественная мобилизация. Подобно немалому числу реформаторов, попытавшихся спасти существующие порядки ремонтом на ходу и в результате непредумышленно спровоцировавших революцию, Горбачев так и не решился оказать поддержку общественной самоорганизации, которую сам же и вызвал к активности. В результате после нескольких лет окрыляющих успехов он вдруг оказался в растущей изоляции.

Со своей стороны, демократическая оппозиция не имела времени, чтобы идейно созреть и организационно состояться. Ей до крайности не хватало предыдущего опыта, сетей проверенных в деле активистов на местах, а также институционализированных ресурсов, которые в Восточной Европе создавались последовательными мобилизациями 1956, 1968 и 1980-х гг. Необъятные размеры Советского Союза и его разделенность на многочисленные административные области и национальные республики представляли собой препятствия масштаба, несопоставимого с относительно компактными и унитарными государствами Восточной Европы (за исключением, заметим, также распавшихся федеративных Чехословакии и Югославии).

Оставалась и реакционная альтернатива, которую могли попытаться осуществить военные, органы внутреннего сыска, идеологический аппарат, а также руководители устаревших отраслей промышленности, которые все еще могли рассчитывать на преданность находившихся в патерналистической зависимости рабочих. Эти силы вполне могли стать советской Вандеей. В ходе перестройки бюрократическое сопротивление, за редкими исключениями (публикация письма Нины Андреевой в 1988 г.), носило политически несогласованный характер, хотя и являлось мощным тормозом для реформаторов. Консервативному блоку отчаянно недоставало собственной политической программы. Даже самые консервативные аппаратчики к 1989 г. осознавали невозможность возвращения к брежневскому режиму. Кроме того, это крыло оказалось дискредитированным за годы разоблачений преступлений коммунистического режима и публичного признания неудач советской экономики. Когда советские консерваторы, наконец, в августе 1991 г. перешли к контрнаступательным действиям, их беспомощность выдавала глубокую неуверенность в себе.

Во второй половине 1989 г. возник трехсторонний пат. Номенклатурные реформисты, демократическая оппозиция и консерваторы взаимно сдерживали и блокировали друг друга. В момент, когда возникла отчаянная потребность в быстрых наступательных действиях, трансформирующих и тем самым спасающих государство при переходе от одного режима к другому, все три лагеря на вершине власти в Москве застряли в позиционном тупике. Это вызвало неразрешенную революционную ситуацию, длившуюся целых два года, вплоть до распада СССР в декабре 1991 г. Крушение Советского Союза не прекратило революционного хаоса. Его продолжением на уже постсоветском пространстве стали этнические сепаратистские восстания и гражданские войны в республиках. В самой России этот период хаотической неопределенности власти продлился до разгона переходного парламента в октябре 1993 г., но даже окончание революционной ситуации не означало восстановления государства. Оно просто пало и осталось лежать в обломках.

Перестройка начиналась с идеологической символики, взлетала с политикой, а вот рухнула все же из-за экономики. Наступивший во второй половине 1989 г. паралич центральной власти, перегруженной множеством требований со всех сторон, вызвал распад централизованной экономики. В первый раз за весь период перестройки развертывание политической борьбы приобрело ощутимые и притом устрашающие материальные последствия для основной массы населения. С распадом командной экономики под непосредственной угрозой оказались структуры повседневной жизни. С лета-осени 1989 г. ситуация приобрела быстроменяющийся и хаотический характер на всех фронтах. СССР невероятно зрелищным и скандальным образом преодолевал собственные табу. В стране провозглашенного социального равенства состоялось открытое появление первых миллионеров, в основном сколотивших состояние на экспортно-импортных операциях баснословной доходности. Вслед за торговцами (sorgy, трейдерами) в самой зрелищной манере возникли рэкетеры — новое поколение силовых предпринимателей различного происхождения, от элементарных бандитов до продажных милиционеров и этнических криминальных групп на основе диаспор. Трудно переоценить и транслируемое по телевидению свержение коммунистических режимов в странах Восточной Европы осенью 1989 г. За пределами Москвы, особенно в национальных республиках, различные силы в условиях развала начали на ходу выработать собственные стратегии выживания, которые выводили на передний план национализм.

Преимущественно консервативная региональная номенклатура спешно приступила к возведению защитных барьеров вокруг своих подведомственных юрисдикций. Одновременно региональные префекты областей и республик начали трансформировать старые сети бюрократического патронажа в местные политико-предпринимательские группировки — именно то, что в Чикаго назвали бы «политической машиной». Как ни странно, для якобы приверженных всему советскому консерваторов национализм, прежде совершенное табу, теперь оказался спасением. Отечественная защита территории с ее ресурсами и населением от чужаков (включая и Москву) в ситуации хаоса приобрела легитимирующую оболочку служения местным и этнонациональным интересам. Непосредственный успех этой стратегии (если судить с узкой перспективы власть имущих) наглядно подтверждается преобладанием бывших коммунистических первых секретарей среди президентов новых независимых государств и губернаторов регионов.

Интеллигенция и специалисты, составившие основу демократической политики перестройки, видя крушение своих московских идолов, также начали сдвигаться с классовых на национальные позиции. После потери надежд на центр осуществление любых чаяний и преобразований стало неотделимо от обретения государственной независимости. Это относится не только к национальным республикам, но и к самой России, чья радикальная интеллигенция вдруг осознала раскрывающиеся перспективы выхода из состава СССР его основной республики.

Наиболее успешным примером подобного рода стала Прибалтика, где массовая мобилизация питалась глубоко укорененным ощущением принадлежности к миру Европы, а не к миру России. В этом регионе национальные революции проходили быстро и вполне мирно, вопреки упоминавшимся в начале этой главы мрачным предсказаниям. Перспектива скорой европейской интеграции сыграла главнейшую роль в подавлении потенциальных конфликтов и придании более цивилизованного характера национализмам прибалтийских республик. Здесь демократизация предоставляла бывшей номенклатуре реалистичную надежду на возвращение к власти в новой роли народно избранных политиков и назначаемых по критерию соответствия должности управленцев после того, как политики из интеллектуальной среды покажут свою некомпетентность в ведении государственных дел. Вместо индивидуальной стратегии бегства и растаскивания ресурсов из рушащегося здания воспреблагодала коллективная стратегия сохранения бюрократических позиций под прикрытием новой национально-западнической легитимности. Эффективность го-

сударств была в целом сохранена и быстро подкреплена процессом «гармонизации» с ведущими бюрократиями Евросоюза. Дела не меняют периодические коррупционные скандалы в ходе приватизации и в связи с транзитной торговлей между Западной Европой и Россией. Фактом остается, что в этой зоне войн не случилось.

В Средней Азии в основном мирный выход из СССР (кроме Таджикистана, трагически подтвердившего правило) стал возможным по совершенно иным причинам. Здесь после 1989 г. эффективность государства также была в целом сохранена или восстановлена, однако вовсе не потому, что власть была поделена между участниками национальных пактов, а напротив, потому, что власть была сконцентрирована в руках «хозяина» из рядов бывшей национальной номенклатуры. Основой концентрации власти послужили сети элитного патронажа. С советских времен эти внутриэлитные отношения выступали налаженными подспудными механизмами уплаты даней и перераспределения доходов и должностей, что обычно именуется коррупцией. Возникшие в годы перестройки политические радикалы и амбициозные политические перебежчики из рядов номенклатуры, пытавшиеся создавать оппозиционные националистические партии в целях захвата власти, оказались в итоге загнанными в эмиграцию либо кооптированными в учреждения новых независимых государств. Разрушительный бунтарский потенциал субпролетарских масс жестко сдерживался авторитарными режимами. Подавление субпролетарских восстаний могло быть при этом легитимно преподнесено как защита светского и суверенного национального государства от международного террористического заговора фундаменталистов, поскольку субпролетарии Средней Азии мобилизовывались в основном на платформе исламского пуританства.

Наконец, третий и типологически промежуточный вариант националистической мобилизации в период кризиса и распада СССР возник в Молдавии и на Кавказе. Здесь типичным исходом стал этнический конфликт и катастрофический распад государственности. Политизированная интеллигенция рано и мощно возглавила (а по большому счету создала) национальные гражданские общества. Особо отметим, что вектор национализма во всех случаях был явно западничеством и по типу легитимации демократическим везде от Молдовы до Азербайджана. Мобилизации масс, вопреки распространенным подозрениям, не были предумышленным заговором. Мобилизации проявлялись столь бурно именно оттого, что возникали стихийно и анархически, поскольку внутри их авангарда шло острое статусное и личное соперничество. Радикализм

вождей прямо соотносился с младшим, маргинальным либо богемным личным статусом. Грубо говоря, тем, у кого не было больших должностей, нечего было и терять, приобрести же они могли все — пускай лишь на мгновение. С этим социальным механизмом связан и повсеместный упор радикальной риторики на общенациональные травмы. Крайние политики получали наибольшие дивиденды от инвестирования в крайние эмоции. Такого рода эмоции возникали из общих негативных переживаний, обычно связанных с не полностью закрывшейся исторической раной и/или соперничеством с соседней нацией.

На Кавказе мы также находим причудливое сочетание крайностей в социально-классовом составе общества и в строении государственности. С одной стороны в столицах республик советского Закавказья наличествовала многочисленная национальная интеллигенция с почтенными традициями, статусом и очень неплохой включенностью в мировой культурный и научный контекст. То, что эти республики в 1918–1921 гг., пускай непродолжительное время обладали национальной независимостью, имело не только психологические, но и вполне ощутимые материально-институциональные последствия. Это, во-первых, семейная и общекультурная преемственность образованных элит, восходящих к первой эпохе модернизации в конце XIX в. Отсюда и впечатляющая плотность национальных культурных учреждений, в которых гнездились эмбриональные гражданские общества. По этим параметрам Армению, Грузию и Азербайджан вполне справедливо сравнивать с такими странами Центральной Европы, как Венгрия и Польша. С другой стороны, и в том видится существенное отличие, на Кавказе существовали значительные и весьма разнообразные слои субпролетариата. Регион оставался лишь частично индустриализованным, хронически не хватало привлекательных рабочих мест в промышленности. Вместе с тем обширная теневая экономика, сезонные трудовые миграции (шабашничество) и с 1960-х гг. ориентированное на потребительские рынки центральных областей СССР получастное приусадебное хозяйство обычно предлагали куда более высокие доходы. Немаловажно, что эти стратегии жизнеобеспечения позволяли сохранить традиционные модели семейной жизни, а с ними и представления об исконности национальных начал, воображаемых в патриархальных категориях. Политическая активность субпролетариев придала бешеную энергию гражданским обществам и движениям, у истоков которых стояла национальная интеллигенция. Субпролетарии внесли в политическую мобилизацию свой конфликтный задиристый габитус — пресловутую пассионарность, скопом приписываемую всем

кавказцам. В результате национальные движения на Кавказе быстро приобретали радикальные и насильственные черты.

Вторым крупнейшим источником противоречий служит характер государственных учреждений — внешне современных и бюрократических настолько же, насколько и в целом аппарат советской диктатуры развития, но в то же самое время относительно периферийных и оттого в меньшей степени дисциплилируемых производственными требованиями военно-индустриальных задач. За вычетом находившихся преимущественно в центральном подчинении стратегически важных секторов (нефть, отдельные военные предприятия, общесоюзный транспорт, передовые научные институты, главные курортные зоны) властям республик оставались местные хозяйственные и социальные функции, связанные в основном с перераспределением бюджетных средств. Центру по культурным причинам было нелегко, а по большому счету, и ни к чему налаживать эффективную отчетность в повседневной деятельности республиканских правительств Закавказья. Сочетание остаточных перераспределительных функций и зависимости от централизованного поступления ресурсов с национальным федерализмом и этническими критериями рекрутирования местных распорядителей благоприятствовало подспудной институционализации взяточничества и хищений. Снизу и даже изнутри такие госучреждения воспринимались непроходимым нагромождением статусных синекур и рентных кормушек, а не аппаратом эффективного управления и обеспечения общественных благ. Пускай это впечатление несло в себе изрядную долю эмоционального максимализма, указывающего, между прочим, на вполне современные и европейские ожидания населения по отношению к государству. Все-таки школы, больницы, общественный транспорт, строительство, госторговля, суды и милиция как-то работали, хотя и с повсеместной коррупционной смазкой. Но главное здесь то, что личностная коррупционная обусловленность доступа к общественным благам и сам их низкий уровень совершенно перестали соответствовать идее легитимной публичной власти.

В последние годы советского периода Кавказ представлял собой странное сочетание вопиющей неопатримониальной коррупции «азиатского» размаха и европейских устремлений, основным носителем которых выступала мощная интеллигенция. Эти устремления, впрочем, не всегда были благом. Они могли выражаться в утрированном подражании западной моде, что питало теневые рынки и коррупцию среди самой интеллигенции, которой приходилось изыскивать средства на приобретение втридорога статусно предписанной и столь желанной потребительской

контрабанды. Либо, менее безобидно, этот комплекс проявлялся в хвастливо завышенной самооценке национальных культур (армяне гордились своей древностью и изначальным христианством, грузины славились как «французы Кавказа»). Результатом стольких противоречий стало особо ломкое государство – слишком явно корыстное и коррумпированное, чтобы найти в себе легитимность и силы для сохранения функциональной бюрократической устойчивости, и в то же время окруженное многочисленной, активной и амбициозной контрэлитой, в моменты уличных противостояний и этнических войн поддерживаемой задиристым субпролетарским простонародьем. Если оппозиционерам и не удавалось удержать захваченную власть, то по крайней мере, их сил объективно хватало, чтобы не позволить своим противникам из бывшей номенклатуры целиком обратиться в деспотию. В итоге Кавказ попал в крайне беспокойную зону где-то на полпути между Польшей и Узбекистаном.

ГЛАВА 6

БОРЬБА ЗА СОВЕТСКИЕ ОБЛОМКИ

«Государство на самом деле никогда никому особенно не нравилось, хотя основное большинство населения и не противилось историческому росту его власти, поскольку в государстве видели проводника прогресса. Однако к чему терпеть государство, если оно оказалось не в состоянии выполнить взятую на себя роль? Но в отсутствие государства, кто мог теперь обеспечить безопасность на повседневном уровне?»

Immanuel Wallerstein,

«Social Science and the Communist Interlude»

(New York, 2000).

К 1989 г. структурные ограничители ослабли настолько, что действующие лица драмы не могли более с уверенностью предсказывать последствия собственных слов и решений. Чем дальше заходил процесс развала СССР, тем более бурной и хаотичной становилась схватка за то, кому теперь достанутся его политические и экономические активы. Неопределенность, в те дни воцарившаяся в общественных структурах и умах людей, отнюдь не означала наступления полной свободы от ограничителей. Рушащаяся система создавала хаотический лабиринт, который оставлял ограниченный набор ходов. Дальнейшая череда событий могла определяться калейдоскопически случайным сочетанием основных элементов, таких как место и время действия (вполне по ленинскому «вчера было рано, завтра будет поздно», но как узнать, когда пора?), личные связи, габитус («нрав»), текущее общественное настроение, просто даже одним-единственным случайно удачным или не слишком удачным поступком.

В этой главе мы будем отслеживать извилистые пути политической борьбы начала девяностых в ситуации кризиса и наступавшего распада государства. Спектр вариантов мы находим в примерах национальной революции в Чечне, этнической гражданской войны в Абхазии, а также дважды потерпевшей неудачу революции в Кабардино-Балкарии, что затем обернулось «нормальной» квази-

реставрацией номенклатурного режима. Герой нашего повествования Муса Шанибов играл видную роль во всех трех случаях. Кроме того, мало кому даже среди экспертов известное «чудесное избавление» Аджарии в 1990–1991 гг. предоставляет ценный аналитический контраст войне в Абхазии и даже куда более известной трагедии Боснии и Герцеговины. Здесь мы столкнемся с весьма драматическими эпизодами — включая убийства, побег из тюрьмы, батальоны добровольцев и революционные толпы, приступом берущие бастионы государственной власти.

Рассмотрение примеров Чечни, Абхазии и Кабардино-Балкарии предоставит нам достаточно панорамный вид на посткоммунистическую периферию. Ранее Чечня (как теперь ни трудно поверить) была высоко индустриализованной республикой, хотя в основном и анклавно с центром в ее столице городе Грозном. В Абхазии не было ни сколько-нибудь значительной промышленности, ни по-настоящему больших городов. Здесь основой уникального благосостояния служила повсеместная и крайне прибыльная неформальная экономика субтропических курортов и ориентированного на частный рынок цитрусового плодоводства. Кабардино-Балкария находилась где-то посередине по степени индустриализации в советский период и в экономико-демографическом плане, хотя организационно и культурно стояла несколько ближе к Чечено-Ингушетии. В 1990-х гг. государственные структуры Чечни оказались полностью разрушенными вследствие революции и войны; в Абхазии госаппарат после войны за отделение от Грузии оказался полуразрушенным; в Кабардино-Балкарии старый режим устоял против митингующих толп и экономического кризиса, вернув себе власть под покровительством Москвы, хотя и в значительно усеченном виде. Таким образом, мы замкнули аналитический круг и вернулись к темам, поднятым в первой главе, включая две сравнительно-аналитические задачи: почему Кабардино-Балкария непохожа на Чечню, и почему Кавказ в целом вышел из коммунистического периода совершенно иначе, чем Центральная Европа? И, наконец, что все это означает для ближайшего будущего?

ОТСТУПАТЕЛЬНАЯ КОНТРАСТРАТЕГИЯ ПЕРЕСТРОЙКИ

На угрозу утраты контроля над Восточной Европой и республиками СССР во второй половине 1989 г. Москва ответила двумя совершенно разными способами. На внешнем фронте были предложены неожиданно щедрые компромиссы; в то же самое время на внутреннем фронте центр ответил демонстрациями военной силы и подрывными спецоперациями против национальных движений, прибли-

жившихся к захвату власти в союзных республиках и угрожавших отделением от Советского Союза. В первом случае стратегия компромиссов, упреждающих худшее, вылилась в серию «бархатных» демократических революций в соцстранах Восточной Европы. Во втором же случае стратегия подрывных спецопераций способствовала эскалации межэлитного соперничества по линиям этнической и региональной напряженности в серию войн на южной периферии СССР, от Приднестровья до Закавказья и Таджикистана.

В те лихорадочные дни Горбачева подозревали в лицемерии либо в слабости и утрате контроля над собственными силовиками. По более трезвому размышлению, в действиях Москвы просматривается определенная стратегическая цельность и расчет, хотя и далеко не всегда удачный. Союзников по Варшавскому договору (и тем более Афганистан, Йемен, Никарагуа и Эфиопию) приходилось сбрасывать как балласт. Возврат к силовому контролю над внешним геополитическим периметром сулил колоссальные военные и экономические издержки и означал возобновление глобальной «холодной войны» без какой-либо ясной перспективы¹. Хуже того, воспроизводилась ситуация после 1968 г., что наверняка положило бы конец реформам внутри самого СССР и его продвижению к европейской интеграции. Вот в чем причина демонстративной дозволенности «бархатных» революций 1989 г. в соцстранах Восточной Европы. Маневр выглядел смело и, учитывая резко сокращавшиеся возможности, даже многообещающе. Москва превращалась из исторического угнетателя и покровителя морально устаревших и экономически неэффективных бюрократических диктатур в прогрессивного освободителя и будущего союзника восходящего поколения демократий. К изумлению и замешательству Запада (чего стоило внезапное объединение Германии, так встревожившее прочих членов НАТО), рушился «железный занавес» и с ним привычное деление континента на две противостоящие неравные части. Возникло не «окно», а громадный пролом в Европу. Вот только хватило бы времени и внутренних сил им воспользоваться...

Вхождение в Европу на равных, безусловно, предполагало сохранение СССР в качестве мощной геостратегической и ресурсно-сырьевой платформы с массой занятого в передовых видах деятельности населения и интегрированным хозяйственным комплексом. Нет особой непоследовательности в том, что Горбачев, красиво разменивая соцстраны, в то же самое время интриговал и некрасиво боролся за сохранение союзного государства доступными ему сред-

¹ Valerie Bunce, *The Empire Strikes Back: The Evolution of the Eastern Bloc from a Soviet Asset to a Soviet Liability. International Organization*, 39 (Winter 1985).

ствами. Советский реформатор, над которым постоянно довлел печальный пример Хрущева, не мог рассчитывать на безусловную поддержку и даже элементарную лояльность внутренних консерваторов. Но без них было невозможно использовать вооруженные силы, спецслужбы, как и многие хозяйственные ресурсы Союза, поэтому Горбачев с 1989 г. предпринимает сложную игру на правом фланге. Тем самым он отдаляет от себя и приводит в отчаяние возглавлявших на него столько надежд, но пока слишком бессильных демократов. Показательно, что и Ельцин, выступавший тогда в силу собственных политических обстоятельств непримиримым демократическим критиком горбачевского союзного правительства, вскоре придя к власти, совершит еще более резкий поворот вправо, и теперь уже сам будет пытаться совладать с региональными и этническими сепаратистами по мере своего понимания задач и значительно уменьшившихся сил. В этом же смысле преемником, а не отступником от стратегического курса Горбачева и Ельцина будет выступать и Путин. Дело не в пресловутой имперской ментальности русских, не в «фантомных болях» по утраченному величию, не только в застарелом и едва скрываемом комплексе неполноценности перед лицом развитого Запада, и тем более очевиднейшим образом не в личных психологических диспозициях столь разных по характеру кремлевских правителей, как Горбачев, Ельцин и Путин. Дело в структурной противоречивости положения России, исторически балансирующей на полупериферии Европы.

Все же не стоит вовсе отрицать присутствия доли социального психологизма в дилеммах Горбачева. Для государственного деятеля иметь дело с Вацлавом Гавелом и Тадеушем Мазовецким, вероятно, не то же самое, что с личностями типа Звиада Гамсахурдия или, подавно, с полевыми командирами из недавних крутых мужиков. Венгерские, чешские и польские оппозиционеры доказали не только свою организационную силу, но и политическую вменяемость. Вернее сказать, именно благодаря организационной силе и дисциплине они оказались способны выдвигать вменяемых лидеров и идти на состоятельные компромиссы с реформистским крылом собственной номенклатуры, а также с Горбачевым, который, таким образом, становился внешним партнером межэлитных пактов стран, как теперь выражались, Центральной Европы и ключевым гарантом обновленной классовой гегемонии на основе общих задач и ценностей европейской интеграции. Политически и психологически труднее было признать, что к той же категории придется отнести и Прибалтийские республики. Но и это было сделано, когда прибалтийские движения доказали свою способность оказывать организованное сопротивление акциям запугивания и в то же вре-

мя заключать компромиссные альянсы с собственной номенклатурой и контролировать раздражители в лице националистических радикалов с собственной стороны. Не должно быть никакого сомнения, что ответственные, уравновешенные, политически и организационно талантливые и даже весьма харизматичные лидеры потенциально существовали также и в оппозиционных гражданских обществах на Кавказе. Многие из них достаточно известны в своих республиках и за рубежом, поскольку даже в 1990-е гг. сумели так или иначе реализоваться — только не в качестве ведущих публичных политиков, а скорее прогрессивных организаторов в бизнесе и науке, правозащитников, независимых журналистов, политических и деловых аналитиков, неизбежно в условиях разрухи проводящих большую часть времени в поездках на стипендии и гранты западных фондов. Однако на Кавказе социально-психологический типаж умеренного оппозиционного интеллигента пришел в несоответствие со стихийной гиперэнергичностью национальных мобилизаций и в то же время не находил себе партнеров среди местной национальной номенклатуры, организуемой коррупционными связями и личным патронажем, а не корпоративной бюрократической культурой и политическим расчетом. Еще и еще раз подчеркну главный тезис — разница между Прибалтикой и Центральной Европой с одной стороны и Кавказом и Балканами с другой стороны была не абсолютной, а относительной. Расхождение их траекторий обусловлено не столько роковыми особенностями национальной культуры, сколько классовым составом обществ и практиками властвования, сложившимися в госструктурах. Различия социальные и институциональные приобрели в бифуркационной точке 1989 г. выражено дивергентные векторы, которые вели к самоусилению возникшей политической динамики и все дальше разводили бывшие соцстраны и республики по секторам исторических возможностей. Если в Прибалтике умеренные оппозиционеры и реформистские бюрократы совместно оттеснили националистических радикалов, на Кавказе дело оборачивалось ровно наоборот. Последнее и пытался любой ценой предотвратить Горбачев и люди из его окружения, устраивая радикалам препятствия, отвлекающие конфликты и диверсионные провокации. Делалось это, надо прямо сказать, очевидно, не из гуманизма, а по сугубо политической логике тактического отступления и перегруппировки наличных сил на хаотически обрушающемся фланге.

В ближней сфере своих интересов и подальше от соприкосновения с Западом — в союзных республиках и, прежде всего на Кавказе — теряющая прямой контроль Москва теперь регулярно применяла рычаг тайных операций, став закулисным участником перево-

ротов и сепаратистских конфликтов. В целом эта политика была схожей со стратегией Белграда в период войн за выход из состава Югославии: на сепаратизм союзных республик центральное правительство ответило негласной финансовой и военной поддержкой меньшинств и различных оппозиционеров внутри самих республик². Остается неясным, в какой мере лично Горбачев вырабатывал и санкционировал подобную стратегию. Наверняка было приложено немало усилий, чтобы его имя никак не связывалось с подрывными операциями. И все же трудно вообразить, что строго субординированная советская система даже в дни финального кризиса могла приводиться в действие без команд сверху. На этот вопрос ответ предстоит искать историкам будущего.

Первой национальной республикой СССР, где номенклатура капитулировала и разбежалась либо переметнулась на сторону радикальной националистической оппозиции, стала Грузия. В силу этнической пестроты и особенностей истории на территории Грузии могло разразиться с полдюжины внутренних сепаратистских восстаний, однако не всем им выпало состояться. Целый массив сельскохозяйственных районов на юго-востоке Грузии населяют азербайджанцы. (А по другую сторону границы, в Азербайджане, живут грузины-ингилойцы, обращенные в ислам столетия назад — богат Кавказ антропологическими особенностями.) В нескольких других горных районах на юге Грузии основное население составляли армяне и выселенные в Закавказье еще при царях общины русских религиозных неконформистов: молокан и духоборов. Было тут и свое трудное «наследие прошлого». В декабре 1918 г. Грузия и Армения воевали из-за спорных пограничных местностей. Но, во-первых, эти территории в советский период не получили статуса автономии, следовательно, этим глубоко сельским районам недоставало критической массы собственных элит, чьи субординационные конфликты с тбилисским начальством могли бы послужить детонатором, как и организационных структур автономии, которые могли быть использованы в дальнейшей сепаратистской мобилизации. Эти населенные армянами и азербайджанцами районы с распадом грузинской советской государственности в 1990 г. все же стали самоуправляющимися де-факто, на основе сельсоветов,

² Детальное сравнение посткоммунистических траекторий Сербии и России дают Valerie Bunce, *Subversive Institutions*. New York: Cambridge University Press, 1998; Veljko Vujacic, *Historical Legacies, Nationalist Mobilization, and Political Outcomes in Russia and Serbia*, *Theory and Society* 25 (1996); Anatol Lieven, *Chechnya: The Tombstone of Russian Power*. New Haven: Yale University Press, 1998, chapters 6 and 7.

школ, местных газет-многотиражек, бывших колхозов/совхозов и отделений милиции оформились какие-то локальные этнически-окрашенные структуры и их лидеры. Но здесь мы четко наблюдаем (не)действие второго фактора сепаратизма – на фоне разгорающейся войны в Карабахе и Азербайджан, и Армения вполне разумно избегали ввязаться в новые конфликты. Кстати, этот малоизвестный факт невозникновения новых пограничных конфликтов показывает, что пришедшие к власти в этих республиках национальные движения не были вовсе ослеплены идеологией. Кроме того, даже в период наибольшей интенсивности карабахского конфликта, армяне и азербайджанцы на территории Грузии сохраняли нейтральные отношения на бытовом уровне и даже торговали ко взаимной выгоде. Знакомые между собой таксисты и водители грузовиков за определенную плату совершали через Грузию эстафетные рейсы из Баку в Ереван и обратно, передавая пассажиров и товары из рук в руки.

Движения за выход из состава Грузии вспыхнули лишь в тех областях, где наличествовали автономные правительства с более или менее прямым выходом на Москву, отчего сохранялась напряженность, порождаемая соблазном решать свои проблемы в обход тбилисской бюрократии³. Таких автономий в Советской Грузии было три: Абхазия, Южная Осетия и Аджария. Грузинская антикоммунистическая оппозиция в 1989 г. шла к власти под лозунгами возвращения в лоно «европейской христианской цивилизации» и преобразования Грузии в независимое национальное государство. Крупнейшие течения нововозникшего грузинского гражданского общества требовали упразднения национальных автономий, которые в их глазах выглядели навязанным безбожными большевиками имперским институтом, воплощавшим принцип «разделяй и властвуй». Эта мысль была наглядно донесена (а буквально – доведена) до самих этнических меньшинств в 1989 г. пропагандистскими автопробегами радикальных грузинских политиков и их сторонников, регулярно выезжавших проводить митинги в автономных образованиях по периметру Грузинской ССР. Подобные демонстративные акции преследовали три цели. Для тбилисских улиц они служили подтверждением героического статуса крестового похода, т.е. создавали символическую разновидность политического капитала. Во-вторых, они непосредственно создавали политический капитал

³ Приднестровье и Гагаузия в Молдавии составляют теоретически исключение, поскольку автономиями в советский период не обладали. Очевидно, функцию организации мог исполнить и партхозактив, обладающий достаточно четкой идентичностью и поддержкой извне.

в виде организационных структур и сетей личных контактов, собирая людей под знаменами единого дела, в том числе «пробуждая» живших в автономиях грузин к факту их эксплуатации с последующим созданием местных отделений тбилисских националистических партий. Следует отдать им должное, грузинские оппозиционеры в отличие от московских, рано и довольно успешно предприняли свое хождение в народ, благо их страна по размерам не превосходила Московскую область. Основными обещаниями стали устранение контроля со стороны негрузинских бюрократов на местах, прежде всего в Абхазии — лозунг крайне заманчивый для людей, вовлеченных в неформальное или «теневое» сельское хозяйство — и поднятие статуса местных грузин, ранее ущемляемых меньшинствами. Наконец, без слов было понятно, что это были демонстрацией силы, призванной убедить либо принудить этнические меньшинства согласиться с предстоящей унитарностью грузинского национального государства.

В полном соответствии с логикой политической поляризации, демонстративная радикализация грузинского национализма политизировала и этнические меньшинства, которые начали сплачиваться и искать поддержки извне перед лицом грядущей независимости Грузии. До поры риторические действия относились к категории, которую Бурдые называл «символическим насилием». Символическое быстро становится реальным вооруженным насилием, когда оружия оказывается в избытке, а люди в условиях распада государства видят в нем крайнее и неизбежное средство для защиты собственной безопасности.

ЛОРД-ПРОТЕКТОР АДЖАРИИ

Начнем с малоизвестной Аджарии. Мы уже встречали это название ранее при описании событий 1921 г., когда опасавшиеся потерять нефтяной терминал в Батуми большевики решили присоединить Карабах к Азербайджану. Особенностью Аджарии стало то, что это автономия не имела титульной нации. Официально аджарцев в Аджарии не существовало с 1920-х гг. В языковом и историческом отношении коренные жители Аджарии являются грузинами, однако они приняли ислам после длительного проживания под властью Османской империи (Батумский округ был отвоеван лишь в Русско-турецкой войне 1878 г.) С точки зрения грузинского национализма, чьим символическим основанием служит эпос героического сопротивления древнего христианского народа завоеваниям мусульманских варваров, особый статус Аджарии выглядел едва не святотатством. Точно так же греческие и сербские националисты не могли

примириться с мыслью, что часть их собственного народа могла перейти на сторону турок⁴. Полная человеческих трагедий история создания современной Греции и недавняя бойня в Боснии показывают, как политизированное несоответствие между этнолингвистической и конфессиональной принадлежностью может привести к чудовищным последствиям.

В 1921 г. большевики предоставили Аджарии автономию с целью успокоить Турцию и мусульманское население области. После семидесяти лет советской модернизации грузины-аджарцы сделались бытовыми атеистами, сохранив от силы ритуальные пережитки религиозности в обрядности жизненного цикла. Они и сами теперь считали себя настоящими грузинами. Женщины давно сняли паранджу, мужчины, отставив религиозные запреты, стали щедро потчевать гостей и сами угощаться вином. Их выдавали в основном унаследованные от дедов и прадедов мусульманские имена, которые советские грузинские власти при выдаче паспортов искренне рекомендовали поменять, особенно если получатель собирался на учебу или служебное повышение в Тбилиси, а то и по собственному усмотрению меняли в документах имена Мехмедов и Рашидов на Михайлов и Ревазов. Покушение на дедовские имена вызывало возмущение вплоть до жалоб в Москву. Старые батумцы полагают, что одной из причин снятия в 1973 г. первого секретаря компартии Грузии Мжаванадзе (которого сменил Шеварднадзе) стали именно протесты аджарских коммунистов на нарушение ленинской национальной политики, проводившееся через паспортные столы. Аджарцев оставили при их именах, хотя уже давно, где-то после жестоко подавленного сельского восстания 1928 г. против советского наступления на мусульманские традиции (вроде ношения женщинами чадры), их, как и прочие «грузинские народности» (сваны, мегрелы), по специальной инструкции перестали упоминать в переписях населения отдельной группой. На бытовом уровне грузины из внутренних районов не только за глаза обзывали аджарцев татарами, но и сами жители субтропического курортного Батуми относили это на счет зависти к их комфортабельной и зажиточной жизни.

Бурное возрождение грузинского национализма поставило коренное население Аджарии в весьма двусмысленное положение.

⁴ В так называемой «мусульманской Грузии», большая часть которой после 1921 г. отошла к Турции, существовали и исламизированные армяне-хемшилы, вместе с христианством целиком утратившие армянскую идентичность. Оставшиеся по советскую сторону границы хемшилы в сталинские времена были высланы в Среднюю Азию вместе с турками-месхетинцами и вскоре практически растворились среди месхетинцев.

В 1989 г. Звиад Гамсахурдия, выступая на батумском стадионе перед громадной толпой местных и приезжих грузин, настойчиво призывал: *«Аджарцы! Вспомните, что вы – тоже грузины!»* Непродуманное (хотя вероятно искренне лишь риторическое) напоминание рассердило тогда и встревожило многих «аджарцев», пришедших к выводу, что их все-таки не считают настоящими грузинами. Чем это могло обернуться при новой демократии? Опасения вскоре нашли подтверждение. В отличие от советской практики хотя бы чисто формального избрания территориальных руководителей, Звиад Гамсахурдия, сам, придя к власти на выборах, приступил к прямому назначению префектов по образцу французского централизаторского бонапартизма. Главой новой власти в Батуми он назначил молодого художника. Хотя тот и принадлежал к местной богемной интеллигенции, тем не менее в Батуми не могли не отметить его происхождение из основных христианских областей Грузии. Оппозиционный стаж молодого префекта сводился к двум годам советской тюрьмы, по официальной биографии за диссидентство, хотя в памяти местного населения приговор связывался с дракой в ресторане. Не самое продуманное назначение (чем особенно отмечено непродолжительное пребывание Звиада Гамсахурдия у власти) послужило прелюдией к скандалу, который разгорелся, как только новые власти приступили к смещению прежнего руководства и раздаче в собственном кругу таких же чужаков и «выскочек» выгодных постов в батумском порту, на таможне, в местных министерствах и далее, вплоть до номинально все еще принадлежащих государству гостиниц и ресторанов. Подливая масла в огонь, большую часть времени новое руководство проводило не в залах совещаний официальных учреждений, а за столом ресторана на набережной в курортном местечке Кобулет. На привычное начальство эти молодые бесшабашно-заносчивые национальные демократы не походили вовсе. Сопrotивление старых властей было подавлено грубой силой. Последнего коммунистического главу Аджарии вытащили из его служебной автомашины и показательно избивали «неизвестные», которые были замечены в рядах новой «Национальной гвардии».

С точки зрения теорий построения идентичности Аджария 1989–1990 гг. являла любопытный пример. Ее коренные жители в отчаянных попытках обеспечения своей групповой и региональной целостности использовали любые доступные им идеологические символы, мало-мальски способные составить противовес грузинскому национализму. На какой платформе могла объединяться уже изрядно подвергшаяся размыванию субэтническая группа, чей общий интерес заключался в защите своей маленькой провинции от нахрапистых пришельцев, которым власть и сила вскрыжили голо-

ву? Аджарцы на какое-то время обратились к советской идеологии марксистско-ленинского интернационализма. Развал компартии Грузии стал свершившимся фактом, в тбилисском ЦК напоследок рекомендовали не оказывать сопротивления «патриотическим силам», и, тем не менее, в Аджарии кандидаты-коммунисты все еще опережали националистов по итогам первых демократических выборов. (Отчасти поэтому Гамсахурдия и пришлось полагаться на назначение префектов.) Коммунистическая альтернатива национализму с осени 1989 г. виделась проигранным делом, что в Аджарии вызвало неожиданное подкрепление со стороны ислама. На митингах тех дней в Батуми можно было наблюдать непривычное действо — молящихся под алыми полотнищами убеленных сединами стариков, спустившихся по такому случаю из горных сел. Духовой оркестр местного завода, исполнявший, будто на Первомай, советские марши, гимны СССР и Грузинской советской социалистической республики, добавлял ирреальности происходящему. В подобных обстоятельствах у коммунизма и ислама действительно нашлось нечто общее — оба были преданы анафеме грузинскими националистами. Ходили тревожные слухи, будто в Тбилиси снаряжается вооруженная экспедиция для подавления аджарского сепаратизма.

Аджария вероятно и в самом деле неуклонно катилась к тому, чтобы стать Боснией на Кавказе. Однако не стала. Не будет риторической натяжкой сказать, что возгорание конфликта было предотвращено одной-единственной удачно посланной пулей, которую местная легенда называла не иначе как направляемой самим Аллахом — а мы назовем исторической случайностью на развилке структурных возможностей. Здесь следует упомянуть, что новая власть «звиадистов» не была целенаправленным оккупационным режимом, каким ее представляли противники, уже хотя бы потому, что отличалась крайней разнородностью и формировалась из сочетания случайностей и импровизаций. В нее входили пламенные интеллектуалы и священники, «силовые предприниматели» из авантюристов и крепких субпролетарских мужиков, а также немало оппортунистических перебежчиков из бывшей номенклатуры. Следует также признать, что подбор кадров был слабым местом Гамсахурдия, тем не менее он и его ближайшее окружение (включая слывшую властной матроной супругу президента) делали какие-то уступки местным условиям и пытались ради обеспечения собственной власти выстраивать сдержки и противовесы. Очевидно поэтому, наряду с богемным префектом в Батуми был направлен и карьерный советский управленец Аслан Абашидзе, к моменту распада советского режима достигший неплохого положения в Тбилиси и затем совершивший удачный побег в стан оппозиции.

Абашидзе начинал в Батуми комсомольским работником, затем стал директором профессионально-технического училища и дошел до замминистра коммунального хозяйства Грузинской ССР. Должность не самая престижная, однако, одна из хлебных по рентно-коррупционному потенциалу. Абашидзе никогда не кокетничал, признаваясь, что «вовсе не беден»⁵. Имя Аслан (по-турецки означающее лев) выдает в нем коренного аджарца. Еще более значима фамилия Абашидзе, что, по всей видимости, произвело впечатление на подверженного феодальной романтике Гамсахурдия. Абашидзе многие столетия — и в качестве христиан, и став мусульманами — правили и владели обширными землями в Аджарии. Дедом Аслана был *бек* (владелец) Мемед Абашидзе, уважаемый также в качестве ведущего местного патриота, народного просветителя и одного из вождей партии социалистов-федералистов⁶.

Детали разногласий в звиядистской администрации Батуми не известны, хотя свидетелей должно было быть немало. В новейшей истории Грузии много подобных странностей и загадок, а еще больше запутанных теорий заговора. Но социологу по большому счету незачем искать ответы на загадки интриг и покушений. Нам важнее понять структурную логику событий, отмечая при этом, каким образом люди объясняли происходящее самим себе. Описываемые здесь события, надеюсь, согласуются с таким минималистским подходом.

На фоне проходившего под советскими и исламскими символами митинга протеста, в служебном кабинете наверху между богемным художником и княжеским внуком случился разговор на повышенных тонах, который окончился перестрелкой. (Присутствие оружия на совещании, конечно, деталь показательная.) Новоназначенный префект был убит наповал своим заместителем (или его телохранителем, но это звучит не столь романтично) — конечно, в по-

⁵ *Московский Комсомолец*. 17 апреля 1993 г.

⁶ Во многом именно благодаря Мемед-беку Аджария в свое время добилась статуса автономии. Советские власти в 1920-х гг. попытались кооптировать столь влиятельную фигуру, но в 1936 г. он был расстрелян, как считается, по личному приказу Сталина. Неутомимый исследователь архивов Григорий Лежава нашел в московских фондах НКВД школьную тетрадку с трогательными строчками, которые Мемед Абашидзе написал в ожидании казни. Обращаясь к Сталину, которого знал еще с дореволюционных лет, Абашидзе доказывал, что давно принял власть большевиков (хотя и не некоторые из ее методов), поскольку сам мечтал о светской, современной, образованной и индустриальной Аджарии, входящей в состав всемирной федерации социалистических наций.

рядке самообороны. Согласно легенде, пуля прошла столь близко от шеи Абашидзе, что обожгла кожу на сонной артерии хранимого Аллахом местного героя. Ответный выстрел был более меток. Погибшему префекту устроили пышные похороны, однако Абашидзе не только не понес наказания, но и был оставлен править своими владениями. Гамсахурдия, очевидно, не имел иных надежд сохранить хотя бы подобие контроля над Аджарией. В самом деле, вскоре после перестрелки и захвата власти в Батуми Асланом Абашидзе, митинг прекратился, а старики с почестями были отправлены обратно в свои села (откуда, по распространенному убеждению, их прежде свозили на митинг по негласному указанию того же Абашидзе). Угроза аджарского мусульманского сепаратизма растворилась столь же внезапно, как и возникла. Итогом же запутанных событий стало воцарение на долгие годы Аслана Абашидзе, которого не особенно заботили формальные титулы. Батумцы в 1990-е гг. добродушно шутили о своем еще долго сохранявшем популярность спасителе: *«Должность Аслана?! Аслан! Лев Аджарии. А проще говоря – Хозяин»*.

Просвещенность, местный патриотизм и талант к политическому маневрированию, бесспорно, были сильной стороной рода Абашидзе. Оставалась загадкой даже конфессиональная принадлежность Хозяина, которого мусульмане считали своим, местным, а прочие утверждали, что он давно окрестился. Придя к власти, *батано* (по-грузински господин, но никогда не *бек*) Аслан сумел быстро замять расследование обстоятельств своего воцарения и первым же делом нейтрализовал батумских националистов. Прежние коммунистические руководители, многие из которых были старыми друзьями и сослуживцами, получили комфортные должности. На восстановление местных мечетей и церквей самых разных конфессий (грузинских, армянских, русских, греческих и даже польского костела) были щедро выделены средства. Проводя внутреннюю политику патерналистского согласия, Абашидзе при этом без усталости повторял, что Аджария никогда согласится на отделение и всегда будет неотъемлемой частью Грузии. Впрочем, знающие лица утверждают, что случаи, когда Аджария при Абашидзе перечисляла собранные налоги и пошлины в центральный бюджет, можно пересчитать по пальцам. Его внушительные вооруженные отряды мудро именовались не армией, ополчением или гвардией, а полицией, таможенниками и пограничной стражей. Когда в 1992 г. вооруженные формирования Госсовета, незадолго до этого свергшие президента Гамсахурдия и преследовавшие его сторонников через всю западную Грузию, попытались было прорваться в Аджарию, на пограничной реке их ожидала убедительная демонстрация сил

местной полиции, поддержанных взятой «напрокат» у российской военной базы в Батуми бронетехникой и артиллерией. (Каждого 8 марта Абашидзе отсылал женам всех российских офицеров в Аджарии цветы и корзины с фруктами.) Вот, собственно, и разгадка. Аслан Абашидзе сумел успешно предотвратить сползание Аджарии в боснийскую пропасть, превратив автономию в российский военный протекторат и одновременно фактически свой частный султанат⁷.

В начале 1990-х гг. мне как-то выпала возможность лично увидеть в гараже Абашидзе подтверждение его сказочного по меркам сильно тогда обедневшей Аджарии богатства — «Порше» сына (конечно, «подарок друзей») и несколько бронированных «Мерседесов». Впрочем, мне тут же сказали, что отец запретил сыну гонять на «Порше» по улицам, чтобы не вызывать кривотолков и не распугивать лишний раз коров. Благодаря значительным поступлениям от приграничной торговли с Турцией, восстановленная патронажная сеть Аджарии, казалось, действовала достаточно хорошо. Уголовная преступность упала до самых ничтожных показателей, потому что в эпоху Абашидзе каждый десятый мужчина шел на службу в его полицию и таможню (основной источник патронажа и трудоустройства), а воры, согласно еще одной местной легенде, после доверительной мужской беседы с Асланом предпочли сами покинуть Аджарию. Возникшая среди войн и грабежей частновладельческая автономия, где машины можно было не запиравать на ночь, представляла собой компактный вариант среднеазиатской модели патерналистского порядка. Однако ее экономика страдала от свойственных всему Закавказью проблем: рабочих мест вне полиции и госаппарата было катастрофически мало, нефть через Батуми не шла уже давно, фабрики, завязанные на всесоюзные планы и сети смежников, простаивали годами, обшарпанные гостиницы были заполнены беженцами из Абхазии, на набережной и пляжах паслись коровы, а вывезти урожай мандаринов или чая из Аджарии было делом крайне проблемным. Однако Асалану Абашидзе, казалось, прощается все, за то, что он уберег свой маленький *бейлик* от участи Абхазии.

Такое положение сохранится до мая 2004 г., когда под многократным давлением угроз молодого и энергичного президента Грузии Михаила Саакашвили, внутренних волнений в Аджарии, где вероят-

⁷ См. более подробно у Georgi Derluguian, *Why Adjara Is Not Like Bosnia: Historical Determinants, Human Agency, and Contingency in the Chaotic Transition*, in George Katsiaficas (ed.), *After the Fall: 1989 and the Future of Freedom*. New York: Routledge, 2001.

но многим к тому времени надоела тотальная монополия семейства Абашидзе на власть и бизнес, и дипломатических маневров внешних покровителей Абашидзе будет вынужден бежать в Россию.

КОНФЕДЕРАЦИЯ ГОРСКИХ НАРОДОВ

В советские времена приезжие курортники и даже московская профессура, как известно из юмористической автобиографии Фазиля Искандера, часто путали Аджарию и Абхазию. В самом деле, и тут и там субтропики, горы, пляжи и мандарины, чача и хачапури, местные нерусские мачо, там Сухуми, здесь Батуми, а если более формально, то обе – автономные республики в составе Грузинской ССР. Однако в одной из них войны не произошло, хотя вполне могла, а в другой война случилась, хотя до последнего сохранялась надежда, что как-то и на сей раз образуется. Так чем же Абхазия отличалась от Аджарии?

До развала СССР эта маленькая автономная республика на берегу Черного моря успешно соперничала с Аджарией в процветании благодаря чрезвычайно прибыльному теневому рынку, строившемуся на монополии субтропических курортов и мандариновых плантаций, которых в Советском Союзе было, прямо сказать, наперечет. Десятилетиями контроль над этими источниками доходов был предметом грузино-абхазского соперничества на всех уровнях – от отдельных крестьянских хозяйств, криминальных организаций и до правительства автономии. Ситуация весьма напоминала «Социалистических предпринимателей: обуржуазивание в сельской Венгрии» – некогда нашумевшую социологическую работу Ивана Селеньи и его сотрудииков⁸. Но здесь требуется поправка на кавказскую практику и институциональные условия, где возможности предпринимательства очень сильно зависели от этнических социальных сетей.

Абхазский крестьянин чувствовал себя гораздо комфортнее и увереннее в общении с чиновником или милиционером-абхазом не только потому, что они принадлежали к одной культуре и говорили на одном языке. Это, по большому счету, этническая романтика. Главным было то, что их, в самом деле, связывали невероятно далеко идущие (с точки зрения москвича или киевлянина) узы семейного родства или, по крайней мере, соседства. Два абхаза, встретившихся в официальной обстановке, либо уже не раз встречались, либо непременно где-то встретились бы и за другим столом, на по-

⁸ Ivan Szelenyi, with Robert Manchin et al., *Socialist Entrepreneurs: Embourgeoisement in Rural Hungary*. Madison: University of Wisconsin Press, 1988.

минках или свадьбе. Это и позволяло абхазскому крестьянину оказывать в самой радушной форме социальное давление на отдельно взятых госслужащих и милицейских, в основном для того, чтобы воспрепятствовать выполнению ими своих обязанностей, вроде взимания штрафа за превышение скорости или принудительной закупки по государственной цене урожая мандаринов. Как говорил Эрнст Геллнер, человек, погруженный в родственные связи, дает слабый материал для изготовления слуги государства.

Местные старожилы свидетельствуют, что на Кавказе, особенно в сельской глубинке, действительность могла разительно отличаться как от лакированной картины официальных отчетов, так и от тоталитарной карикатуры западных советологов. Командная система либо буксовала и вязла в кавказской семейственности, либо в нее встраивались неформальные практики уступок и поощрительного недосмотра, которые на деле и позволяли машине работать. Примерно с середины 1950-х гг. колхозы закрывали глаза на подспудное приобретение крестьянами больших фактически частных участков при условии, что взамен те отдавали часть урожая для покрытия спущенных сверху норм. Крестьяне, в свою очередь, продавали оставшуюся часть своей продукции на рынках больших городов, вывозя все больше овощей и фруктов в Москву и промышленные центры России, где цены были очень высокими, а спрос гигантским и ненасыщаемым. Накопленные в 1960–1980-х гг. монопольные прибыли материализовались, в частности в форме очаровательных двухэтажных особняков в абхазских деревнях.

За исключением редких случаев непосредственного вмешательства, правление московского центра было обычно опосредствовано патронажными сетями в административном аппарате республик, городов и районов. Повсюду на Кавказе назначения на государственные должности подлежали утверждению свыше, что оказывало непосредственное влияние на изощренные многоуровневые переговоры относительно соотношения официальной и теневой составных экономики. Слияние местных государственных структур и экономики, как в официальной, так и неофициальной сферах, предоставляло множество поводов для конфликтов, которые, по сути, были экономическими, однако неминуемо приобретали отношение к национальности (*nationally-relevant conflicts*)⁹.

Абхазо-грузинское соперничество в открытую проявлялось в периоды политических потрясений и преобразований в России и СССР: в годы Гражданской войны 1918–1921 гг., коллективизации

⁹ Miroslav Hroch, *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

и чисток 1936–1939 гг., десталинизации 1956 г., социалистического демократического движения 1968 г., диссидентства 1977–1978 гг. при Брежнев и, наконец, перестройки в 1989 г.¹⁰ Иными словами, поколение за поколением структурное напряжение наследовалось в моделях землевладения, теневого рынка и советской национальной политики распределения государственных должностей, воспроизводя абхазо-грузинский конфликт на каждом историческом перепутье. Таким образом, столкновения были заранее отрететированными и их перерастание в войну за отделение в 1992 г. выглядело автоматическим и чуть ли не совершенно естественным.

Но опять же все ли так просто? По грубому демографическому счету силы выглядели совершенно неравными. Менее ста тысяч абхазов противостояли четырем миллионам грузин, включая четверть миллиона грузин в самой Абхазии. Впрочем, это были довольно разные грузины: сваны, вероятно со времен бронзового века засевшие в неприступном высокогорье и со временем выработавшие свой язык, отличающийся от тбилисского литературного до полного непонимания; либо говорящие на собственном диалекте мегрелы, многие из которых очень давно жили в Абхазии (хотя насколько давно — вопрос, как всегда на Кавказе, неясный и взрывоопасный). В некоторых селах население сделалось смешанным настолько, что говорило на абхазском и грузинском в качестве родных языков (плюс русский в качестве *lingua franca*). Жители таких деревень зачастую затруднялись ответить на вопрос о своей национальной принадлежности. Межнациональные браки считались совершенно нормальным явлением.

В Абхазии было много и грузин, переехавших туда исторически совсем недавно в соответствии с планом развития колхозного сельского хозяйства Советской Грузии в 1938–1952 гг. Характер и география заселения указывают, что помимо официально провозглашенной, вероятно, ставилась цель грузинизации автономной республики. Конечно, тут обычно вспоминается, что Сталин и Берия были грузинами. Однако в таком случае трудно объяснить передачу Закатальского округа в состав Азербайджана, большей части Лори — Армении, и тем более создание и дальнейшее сохранение Юго-Осетинской автономной области. Все это было бы невозможно против воли Сталина, который очевидно все-таки думал как государственный строитель, а не местный патриот. Хотя грузинская национальная легенда считает Абхазию колыбелью средневекового

¹⁰ Лежава Г. П. *Между Грузией и Россией: исторические корни и современные факторы абхазо-грузинского конфликта*. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1997.

грузинского царства и культуры — подобно образу Косова для Сербии — дело видимо не в национальной мотивации. В сталинской практике национального строительства этнические аспекты неизменно уступали первенство экономическим соображениям. В начале 1930-х гг. на высшем советском уровне было решено превратить «красные субтропики» в советскую Флориду — первоклассный курорт и цитрусовую плантацию, служащую поощрению и отдыху ударников со всего Советского Союза и, конечно, командного состава и номенклатурного руководства начиная с самого Сталина. Абхазия оказалась стратегически слишком важна, чтобы предоставить право распоряжаться ею провинциальным властям и горским жителям малой коренной национальности, тем более что по советской теории в качестве АССР в составе Грузии Абхазия также служила зоной национального строительства грузинской нации.

Со своей стороны, абхазы помнили, что переселение грузинских колхозников началось после таинственной смерти уважаемого народом коммунистического руководителя Абхазии Нестора Лакобы, последовавшей после обеда с Лаврентием Берия, который тогда был секретарем компартии Грузии. Подобно многим старым большевикам на Кавказе, Лакоба начинал карьеру в качестве преследуемого царскими жандармами разбойника-абрека, а его дружба со Сталиным уходила корнями в дореволюционные годы совместной борьбы в подполье. Также подобно многим большевистским национальным вождям первого поколения, Лакоба умело пользовался репутацией смелого мужчины (в частности, меткого стрелка) и патерналистского заступника своего народа. При нем Абхазии удавалось избегать насильственной коллективизации, откладываемой на годы. Считается, что Лакоба мог уговорить Сталина быть помягче с отсталой национальной окраиной. Однако после 1936 г. маховик коллективизации набрал полные обороты. Одновременно в Абхазию пришли безземельные крестьяне из центральных и западных районов Грузии, которых тбилисский центр селил обособленно, в новоотстроенных селах. После 1989 г. в основном эти села и стали центрами националистической мобилизации и дальнейшего насилия. В народной памяти аграрные проблемы и государственная политика слились в отражение этнической враждебности: *Грузины пришли захватить нашу землю*. В результате хозяйственно-демографического роста и целенаправленной перепланировки Абхазия превратилась не только в процветающий советский аналог Флориды, но и в преимущественно грузинскую территорию, где абхазы составляли теперь всего 17% населения по сравнению с более чем сорока процентами грузин (прочее население составляли значительные меньшинства русских и украинцев, а также пересе-

ленных еще в конце XIX в. из Османской империи армян и понтийских греков).

После 1989 г. перспектива конкурентных выборов по принципу «один человек, один голос» и рыночных реформ (легализация «кооперативной» собственности, приватизация госимущества) стала мобилизующей угрозой для абхазов вовсе не потому, что абхазы по природе своей невосприимчивы к демократии и склонны к тоталитаризму (такой тезис более или менее явно присутствует в грузинских нарративах конфликта). В действие немедленно вступал элементарный — и роковой — этнодемографический расчет. Доля грузин приближалась к половине населения Абхазской АССР, абхазов — всего 17%. Соревновательная демократия и отмена национального квотирования становилась совершенно легитимным способом ликвидации прав абхазской титульной национальности и приведения политических структур в соответствие со сложившимся с 1940-х гг. грузинским преобладанием. Таким образом, реакция абхазов на демократизацию была структурно схожей с балкарским сепаратизмом. В отличие от балкарцев, абхазские национальные политики обороняли уже существующую автономию и при этом пользовались скрытой поддержкой Москвы. Ну, и конечно экономические ставки в постсоветском развитии в Абхазии были не в пример выше. Логика структуры общественной власти, основанной на бюрократическом патронаже по этническим и земляческим линиям, теперь дополняемая демократической соревновательностью и приватизационным переделом собственности, создавала устрашающее конфликтное противостояние. Ситуация на самом деле не столь и отличная от Аджарии, где местные и пришлые грузины вступили в конфликт по поводу распределения власти и собственности на фоне автономии, доставшейся от полузабытого прошлого. В Абхазии все еще острее, но не из-за отличия грузинской и абхазской культур (в самом деле, очень похожих, что бы ни утверждали идеологи противоборства), а потому, что конфликт многократно повторялся в течение XX в. и был как бы «отрепетирован», потому, что существовали структуры автономии, организующие абхазское меньшинство, и плюс ставки выглядели устрашающе высокими. Оказавшиеся в безвыходном численном меньшинстве абхазы не имели шансов на победу в грядущих выборах, а следовательно, теряли и контроль над назначениями на государственные посты от президента и профессора до постового милиционера. Автоматически это означало, что с осуществлением приватизации и переходом к капиталистической экономике абхазы теряли также контроль над своими плантациями цитрусовых и курортами.

Прелюдией стали столкновения абхазов и грузин, начавшиеся летом 1989 г. в столице автономии Сухуми (где статусные конфликты элит проявлялись в самой концентрированной форме, притом абхазы составляли всего около 7% от населения города). Непосредственным поводом стал спор вокруг национальных квот на приемных экзаменах в местный университет, избыточное и пустое, с точки зрения грузинских противников, финансирование учреждений национальной абхазской культуры (научно-исследовательского института, театра), и такие символические конвенциональности, как применение различных письменностей и транслитераций на дорожных знаках, оттого регулярно замазываемых краской или приводимых в негодность националистами обеих сторон. Например, окончание «и» делало топоним *Сухуми* грузинским, тогда как абхазские националисты настаивали на написании *Сухум*. Дело быстро дошло до массовых драк и стрельбы, появились жертвы. Москва отреагировала посылкой внутренних войск, которым, во избежание дальнейшей эскалации насилия, было официально предписано ограничиваться ролью разделительного барьера между сторонами, подобно миротворцам ООН. Очевидно, существовали и менее явные инструкции.

Жарким августом 1989 г. Муса Шаниб и другие активисты национального движения со всего Северного Кавказа (включая молодого поэта из Чечено-Ингушетии Зелимхана Яндарбиева) были приглашены в Сухуми/Сухум/Акуа¹¹ на учредительный съезд нового межнационального движения, пока не имевшего названия. Съезд был организован абхазскими властями, которые и взяли на себя основные расходы. Упомянем, что по современной лингвистической классификации (как всегда, не вполне бесспорной) абхазский язык представляет отдельную ветвь в черкесской (точнее, адыго-абхазской) подгруппе значительно более широкого Северокавказского семейства. Этническое родство абхазов и коренных народов с северных отрогов Кавказского хребта (кабардинцев, адыгов и, намного отдаленнее, чеченцев, ингушей и дагестанцев) стало общепризнанным лишь недавно. Эти языки похожи между собой не более чем индо-европейские английский, русский, армянский, хинди, персидский и, кстати, осетинский. Кроме того, лингвисты пришли к выводу, что грузинский (и родственные ему языки сванов, мегрелов и лазов) составляет совершенно отдельное семейство, а некоторые черты сходства с абхазским и другими северокавказскими языками, по всей видимости, следует считать заимствованиями и суб-

¹¹ Акуа — более радикальная попытка ввести чисто абхазское название вместо слова Сухум, которое имеет турецкое происхождение.

стратами, накопившимися за тысячелетия соседствования. Лишь где-то с 1960-х гг. эти теории стали упоминаться в местных школьных учебниках. Однако с тех пор общность языка, культуры и истории стала центральным элементом всевозможных научных собраний и культурных фестивалей, объединявших абхазов и народы Северного Кавказа. В основе своей подобные собрания должны были продемонстрировать, что в совокупности горские народы вовсе не являются такими уж малочисленными. И вот теперь посвященные этнической и культурной общности мероприятия переросли в открыто политическую демонстрацию пан-кавказской солидарности. Целью ее было поддержать абхазов против охваченной националистической мобилизацией Грузии и продемонстрировать, что абхазы не одинокое крохотное меньшинство, а часть родственного в этническом отношении материка, чей центр лежит на Северном Кавказе — т.е. вне Грузии, по ту сторону хребта¹². Активистам же национальных движений с Северного Кавказа приглашение абхазских властей предоставило возможность создать собственную сеть контактов, зарядиться эмоциональной энергией, повысить статус.

Шанибов предложил назвать новый политический союз *Ассамблеей горских народов Кавказа* (в 1991 г. ставшей Конфедерацией). Слово «горских» исключало возможность участия живших в долинах грузин и ставило абхазов вровень с горцами — чеченцами и кабардинцами. (Строго говоря, несколько грузинских субэтнических народностей до недавних пор жили самым настоящим традиционным горским укладом, тогда как большинство кабардинцев или чеченцев издавна предпочитало селиться на предгорных равнинах, но от подобного усложнения попросту отмахнулись.) Давший имя горской организации Шанибов и был избран ее первым президентом. Политический проект выглядел поистине грандиозным — союз коренных народов от Дагестана на Каспийском море, и далее Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии — и до Абхазии на Черном море. Призраки мятежного государства имама Шамиля в 1834–1859 гг. и Горской Республики 1918–1919 гг. обрели новую возможность воплощения в историческую реальность.

Когда грузинский прокурор в сопровождении наряда грузинской милиции вошел в здание и попытался закрыть заседание Ассамблеи, навстречу ему выступил Шанибов, сам в прошлом прокурор. Возник шумный и неравный спор, грозивший сорвать учредительное собрание. Но тут из прежде плотно закрытых дверей комнаты пре-

¹² Относительно важности для эффективного сепаратизма «национального материка» см. Rogers Brubaker, *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

зидиума появилась группа атлетически сложенных молодых людей однозначно славянской наружности, одетых в одинаковые костюмы. Неожиданная силовая поддержка Шанибова не слишком смутила: *«Неважно, были эти ребята из КГБ, спецназа ГРУ или еще откуда-то. Они нам тогда здорово помогли, и пока наши цели совпадали, было бы глупо не использовать их поддержку»*.

Здесь мы подходим к крайне щекотливому, если не взрывоопасному вопросу, который и далее будет возникать в нашем повествовании. Так была ли Ассамблея горских народов настоящей? Или считать ее диверсионной креатурой советских спецслужб? А насколько были настоящими партии эсеров и большевиков, снизу и до самого верху пронизанные провокаторами охраны и не чуравшиеся принимать деньги и помощь от разведок враждебных держав? Существует ли на самом деле «Аль-Каида», или это все злонамеренная выдумка ЦРУ? На кого работал Шамиль Басаев?

Гоняться за скрываемыми фактами и собирать свидетельства предполагаемых очевидцев здесь совершенно бесперспективно. Куда вернее будет принять на вооружение аналитический метод, который предложил мой коллега замечательный ленинградский нейрофизиолог Женя Петров по поводу совершенно другой давней загадки — лох-несского монстра. Допустим в порядке гипотезы, что в шотландском озере обитает крупное и очень скрытное животное, которое никак не попадается и вообще не поддается наблюдениям. Есть масса недоказуемых свидетельств и никакой проверяемой эмпирики. Давайте тогда рассуждать *экологически*. Во-первых, животное не может существовать в единственной особи. Для элементарного продолжения рода должна существовать популяция монстров, включающая в себя самок и детенышей. Во-вторых, если мы имеем дело с биологическим объектом, монстры должны с какой-то регулярностью питаться — но чем? Лох-Несс представляет собой изолированное в горах, чистое и холодное озеро, почти начисто лишенное рыбы, планктона и водорослей. Увы, нет оснований считать, что в озерной экосистеме с такой незначительной биомассой на вершине пищевой цепочки могла бы существовать популяция крупных животных. Почему тогда монстров год за годом видит такое количество людей, вопрос уже не биологии, а социальной психологии.

Дисциплинируя наши рассуждения тем же методом, следует перенацелить вопрос с простой и жесткой дихотомии да/нет на более контекстуальное и исторически изменчивое измерение. Где, к примеру, в 1920 г. оказалась дьявольски вездесущая царская охранка или разведка кайзеровского генштаба с ее деньгами, планами и запломбированным вагоном, а где руководство большеви-

ков? Действительно, современные государства регулярно пытаются влиять в нужном им направлении на гражданские общества, от вполне признанных церковей и союзов пенсионеров вплоть до молодежных неформальных групп и, если таковые имеются, подпольных ячеек. Что-то удается, что-то проваливается, что-то оборачивается непредвиденными результатами. Последнее на сленге американских пожарных и разведчиков называется *blowback* – обратный выброс – как в случае с «Аль-Каидой», первоначально использованной для подкрепления спецопераций (*force multiplier*) против советского контингента в Афганистане. В противоположность многим сторонникам теории заговора, которые во всем видят претворение – причем без единой пометки – сложнейших планов, скорее следует признать, что интриги времен распада СССР были в основном импровизациями, которые в ту или иную сторону усиливали существующие тенденции и движения. По мере нарастания революционной ситуации и с приближением распада государства становились неясны как цели, так и то, кто же стоит у руля власти – в самой Москве число претендентов множилось, начальство менялось хаотически, агентов бросали и предавали либо они сами пускались в автономное плавание. Политика тех лет, несомненно, включая и ее скрытую часть, представляла собой весьма бессвязную и подурному запутанную игру, в которой каждая из преследовавших свои цели сторон считала, что хитро или по необходимости временно использует другую¹³. По ходовому выражению тех лет, наступили «бардак и беспредел».

В истории с созданием Ассамблеи горских народов Шанибов выступал, согласимся, если не агентом спецслужб, то в изрядной мере самозванцем. Он приехал в Абхазию представлять кабардинский народ – тогда как у себя на родине в тот момент слыл лишь известным оратором и участником интеллигентских клубов с покуда эфемерной базой. В Кабардино-Балкарию он вернулся, что называется, при папаше, долженствующей символизировать положение президента внушительно звучащей многонациональной организации (которая в свой черед была пока не более чем клубом самовыдвиженцев и златоустов от оппозиции). Но в те времена политика и нарождавшийся бизнес, по большей части, также были граничащим с блефом импровизаторством новичков, из которых лишь позднее с большой долей непредсказуемости могли возникнуть олигархи и политики.

¹³ Это логичное и простое объяснение динамики игр заговорщиков было предложено Дмитрием Ефимовичем Фурманом. *Чечня и Россия: общества и государства*. М.: Политинформ-Талбури, 1999.

Пресса эпохи гласности оказала огромную услугу в распространении сенсационных вестей об основании Ассамблеи и щедро раздававшихся заявлений Шанибова о создании «общекавказского дома». Насколько фанфаронской ни покажется сегодня эта попытка создания символического капитала, в свое время она вовсе не была исключительной — многим писателям и младшим научным сотрудникам именно так удалось попасть в центр внимания и даже на какое-то время встать у руля государственной власти. Шанибова тогда называли «Собчаком Северного Кавказа», что на самом деле звучит без особой натяжки — ленинградский профессор юриспруденции, как известно, начал свой головокружительный политический взлет с того, что встал в вечерний час пик возле станции метро с мегафоном в руке и призвал прохожих избрать его своим народным депутатом. Репутация и ресурсы, которые Шанибов привез с собой из Абхазии, позволили ему укрепить организационное ядро Кабардинского национального конгресса, который должен был стать местным отделением горской конфедерации. На первом этапе конгресс все еще оставался группой друзей, коллег и студентов-активистов. Но уже тогда эмбриональная форма конгресса и ассамблеи позволяла собрать вместе и сфокусировать энергию и ресурсы положения, которыми обладали их основатели, и создать центр притяжения для дальнейшей национальной мобилизации: университетские профессора и студенты становились активистами; местные журналисты с энтузиазмом (либо возмущением, что все равно подогревало общественный интерес и генерировало эмоциональную энергию) описывали мероприятия Конгресса и выступления Шанибова, на передний план выходило обсуждение программы национальной демократизации и того, что же кабардинцы могут сделать сами, без подсказки либо понукания Москвы; наконец, патристически настроенные директора автопарков предоставляли автобусы для перевозки участников митингов. Как выразился один из учредителей Конгресса: *«Мы, наконец, нашли язык, понятный менее образованным людям. Нас подхватила волна».*

В 1990 г. в силу двух новых обстоятельств Шанибов оказался вознесенным на самый гребень волны кабардинской национальной политики. Первым было осознание угрозы отделения балкарцев, вызвавшее кабардинскую контрмобилизацию; вторым — следующие за общесоюзными выборы в верховные советы национальных республик. На сей раз развернулась настоящая борьба за места в парламенте, поскольку общесоюзный Съезд народных депутатов с потрясающей наглядностью продемонстрировал резко возросшую ценность депутатского статуса. Отличие выборов 1990 г. состояло в том, что национализм, преимущественно в виде лозунгов суверенизации

республик, теперь использовался вовсю и едва не всеми кандидатами. Как и ранее в республиках Закавказья, националистическая идеология на Северном Кавказе подмяла под себя все остальные вопросы повестки дня — демократизацию, экономические реформы, образование, даже экологию. Возникавшие в 1990 г. по всему региону национальные партии и движения казались поначалу эфемерными даже самим основателям. Приведу ёрнические воспоминания одного сведущего чеченского эмигранта, ныне живущего в Америке: *«Как возникла идея Вайнахской демократической партии? Да вот у меня дома, на старом продавленном диване, который я никак не мог заменить из-за нехватки денег, сидели мы с Зелимханом Яндарбиевым и Мовлади Удуговым и думали, что же нам дальше делать? Народный фронт в поддержку перестройки помитинговал-помитинговал у нас в Грозном и в Гудермесе против хмпредприятия, а потом как-то сошел на нет. А в Москве и в других республиках, смотри, что творится! Надо же и нам поучаствовать в этих выборах хотя бы в Верховный совет своей республики, раз в Москву опоздали. Вдруг, получится? Но не выдвигаться же от лица пары приятелей, вот мы и придумали партию с мощным названием...»* Но что значит — пошла волна! Подобные партии быстро обретали массовую поддержку, ресурсы, влиятельных покровителей из числа колеблющихся номенклатурщиков, спонсоров из выходящих из тени (на поверхность) бизнесменов, а также бойцов из вступающих в политическую борьбу молодых субпролетариев.

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛИЗАЦИИ: ИНТЕРЕСЫ И СОЮЗЫ

После 1989 г. даже самые осторожные и консервативные представители территориальной номенклатуры советских республик принялись различными обходными и не столь обходными путями поддерживать создание и становление национальных движений. Их целью было отвести от себя оппозиционное давление и направить его для обеспечения выгодных условий в вертикальном торге с патронами в Москве. Вторая часть данной стратегии продолжала в новых условиях давнюю практику корпоративистского торга за выделяемые центром ресурсы. В отличие от брежневской эпохи, теперь руководство советских республик заявляло, что остро нуждается в дополнительных полномочиях и средствах из центра, чтобы суметь обуздать радикальных националистов. Тем временем Москва продолжала политически слабеть и терять возможности долгосрочного планирования, а местные бюрократические и экономические практики межведомственного соперничества приобретали острый и откровенно публичный характер, фокус противостояния смещался в сторону конфликтов с соседними регионами и национально-

стями. В противоположность вертикально поляризованной и общесоюзной политике демократизации, которая противопоставляла советский народ бюрократической правящей верхушке, политика национализации разворачивалась скорее в горизонтальной плоскости. Выстраивание политических союзов переходило границы классов, поскольку номенклатура на местах стремилась позиционировать себя в качестве защитницы интересов своих регионов и национальностей в противопоставлении, как центру, так и конкурирующим за ресурсы соседям.

В то же самое время из маргинальных зон социальной иерархии возникает мощный приток субпролетарской воинственной активности. Мотивацией политического участия суб-прилетариев (преимущественно молодых мужчин, но также, в зависимости от местных традиций и обстоятельств, на какое-то время и женщин) явилась открывшаяся перспектива обретения новых видов социального, символического и экономического капитала. Прежде считавшаяся бескультурьем задиристость и традиционалистская «отсталость» представителей этого класса, которые предпочитали изъясняться на родном языке и являлись выходцами из патриархальных религиозных семей, внезапно стала преимуществом на арене националистической мобилизации. Как мы увидели на примере Армении, вчерашние двоечники из непрестижной школы на городской окраине становились завтрашними защитниками нации. (Добавим, что спустя несколько лет молодые ветераны, обретшие в Карабахе воинскую солидарность, характер и навыки, составят сильнейшую группировку в деловой и политической элите Армении.) Если простые субпролетарские парни могли полагаться в основном только на свой габитус, что в долгосрочном плане помогло далеко не всем из них, то представители фракций субпролетариата, успевшие профессионализироваться в криминального рода деятельности, привносили уже не только габитус, но также свои сетевые ресурсы. Повзрослевший дворовой заводила, удачливый контрабандист, подпольный «цеховик», коррумпированный чиновник из нижнего районного звена, кооператор первого поколения¹⁴ в исторической паре с новоявленным рэкетиром из бывших спортсменов — все они, раздобыв посредством денег и связей какое-то оружие, могли быстро преобразовать своих приятелей, уличную банду или клиентуру в отряд национального ополчения и выступить в поддержку

¹⁴ Иначе говоря, поколения, возникшего с принятием в 1988 г. законов о легализации частного предпринимательства под видом кооперативной деятельности и совместных предприятий (предположительно с зарубежным капиталом, что практически всегда служило удобной фикцией).

подобного Шанибову харизматичного оратора, который на следующий день мог стать президентом новой страны. Склонные действовать силовыми методами предприниматели старались по полной использовать возможности, предоставляемые ослаблением государства и хаотическим переходом к рыночной экономике. Вместо прежней стратегии избегания государства или скрытного присасывания к его ресурсам, теперь забрезжила надежда вломиться внутрь самого государства через образовавшиеся бреши. Поэтому субпролетарский криминалитет — старые нелегальные торговцы и тем более новые силовые предприниматели, только что осознавшие свой шанс на превращение силы в деньги и славу — активно искали и с готовностью заключали лишь несколькими месяцами ранее, казалось, совершенно немислимые политические союзы поверх классовых и статусных границ¹⁵.

Здесь возникает необходимость упомянуть об очередной теории заговора — тайном мафиозном спонсорстве этнических конфликтов. Это объяснение всего и вся было широчайше представлено в сенсационной репортерской журналистике тех лет, в насыщенной слухами общественной среде, обиняками и оговорками постоянно возникало в сумбурном дискурсе официальных лиц и, наконец, сделалось *idée fixe* самиздатовской аналитики, в изобилии производившейся неформальными активистами национальных и демократических движений. Функционально и структурно, теория мафиозного заговора работает по аналогии со старинной легендой об эротико-магнетических злых чарах Распутина и «черном кабинете», обуревавшей воображение российского общества в период первой бесцензурной гласности весны-лета 1917 г. Потрясение от военных неудач и ошеломительно внезапного крушения царской

¹⁵ В разных формах и степени организованная преступность давно была важной составной частью общественной реальности на Кавказе. Особой славой в криминальном мире советских времен пользовались азербайджанские и армянские цеховики (нелегальные капиталисты под покровительством прикормленных чиновников) и грузинские воры в законе, достигшие совершенно непропорционального, от трети до половины, представительства в этой своеобразной подпольной элите. Увы, нет сколь-нибудь достоверного и систематического знания по данной теме. Однако относительно России после развала СССР см. прекрасные работы Federico Varese, *The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy*. Oxford: Oxford University Press, 2001; Vadim Volkov, *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002. Русский вариант: Волков В. *Силовое предпринимательство: экономико-социологический анализ*. М.: Высшая школа экономики, 2005.

империи порождало в массовом сознании запрос на равно потрясающее и доходчивое объяснение. Распутинская легенда строилась на отзвуках некоторых реальных скандалов, но еще более на совершенно выдуманных эпизодах, призванных по законам повествования подтвердить главную линию, и волшебных преувеличениях (вроде неуязвимости «чорта Гришки» к яду и пулям), художественно преодолевающих ограничительную логику реальности. От регулярного повторения в бульварной прессе и слухах, возникал фольклорный эффект самоусиливающегося эхо. Составные элементы легенды, многократно слышанные с разных сторон, начинали восприниматься как самоочевидные, совершенно общеизвестные, «естественные» и в силу этого не нуждающиеся в доказательствах. Со временем из первоначально обрывочных элементов, которые в ходе передачи утрировались, перекомбинировались и обрастали подробностями, составила своего рода каноническая версия, еще долго поставлявшая сюжеты и образы для популярных романов и кино¹⁶.

К культурологическому комментарию следует добавить то, что наука сегодня может рационально и с вескими основаниями сказать об организованной преступности. Организованная означает лишь наличие устойчивой группы с внутренней иерархией и обычно с функциональным разделением специальностей, чьей профессиональной активностью (заработком, проще говоря) является регулярное совершение неких противоправных с точки зрения государства операций: игорный бизнес, контрабанда, но наиболее типичны (ибо выгодны) охранные услуги по «решению проблем», предоставляемые/навязываемые в частном платном порядке, т.е. «крышевание» других бизнесов¹⁷. Организованная вовсе не означает централизованная. Классическая сицилийская мафия традиционно делится более чем на сотню локальных семейств¹⁸. Это локальные монопольные образования, строящиеся вполне в соответствии с практиками семейных фирм или, если применить совершенно здесь уместную архаическую метафору, «вождеств» и «вотчин». Нередко они враждуют между собой по обычным клановым и феодальным поводам (завоевание земель и торговых путей, наследование престола, межевые тяжбы, кровная месть), но периодически могут собираться в союз или рыночный картель для урегулирования вну-

¹⁶ Mark Kulikowski, *The Sources of Rasputin's Legend: Conspiracy Theories in the Culture of Russian Revolution*. State University of New York in Oswego, 1992.

¹⁷ Волков В. *Силовое предпринимательство*. М., 2005.

¹⁸ Diego Gambetta, *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Harvard University Press, 1993.

тренних проблем (обычно прекращения междоусобных войн), совместной обороны (в периоды антимafiaозных кампаний властей), дележа либо совместной эксплуатации новых рынков (контрабандных сигарет, хлынувших в 1990-е гг. в Италию через распавшуюся Югославию). Даже в Нью-Йорке, где все вырастает до размера небоскребов, итальянская мафия в течение большей части XX столетия оставалась поделена на пять крупных семейств. В Чикаго с его селящимися в собственных кварталах иммигрантскими общинами, которые хронически соперничают в коррумпированной политике вокруг патронажа городской мэрии, мафиозному картелю так и не суждено было возникнуть. Поэтому гангстерская биография Аль Капоне была настолько полна громкими покушениями, погонями и перестрелками с ирландскими конкурентами — и длилась всего несколько лет.

Теперь совместим перспективу культурологического анализа теорий заговора с криминологической перспективой анализа мафии и направим эти стереоскопические фильтрующие окуляры на исследуемую нами панораму распадающейся государственности. Мы увидим площадки, кишашие разнообразными претендентами на обломки власти и собственности бывшего СССР. Становится, надеюсь, четко видно, что это не единый всеохватный заговор, а довольно бессистемная и беспорядочная толкотня. В этом хаосе нет организации и, следовательно, не может быть Великого Заговора (а мелких краткосрочных заговоров полным-полно). Если бы присутствовала цельная институциональная сила — будь то легальное Государство или нелегальная, но имеющая строгие понятия Мафия — то куски собственности и власти, которые удалось урвать, оставались бы надежно в руках урвавших. На них можно было бы навесить табличку «мое!» и заверить эту заявку печатями и судебными распоряжениями либо поцелуем руки Верховного Дона, что было бы крепче печатей. Однако теперь, с распадом государства и его монополии на насилие, печати, судебные распоряжения и даже «малявы» воров в законе немного значат. Для их исполнения всякий раз требуются свои крутые исполнители. На них же могут найтись исполнители и покруче, откуда возникают переделы и дальнейшая борьба, которая во многих случаях продлится еще годы, до тех пор, пока кому-то не удастся стать убедительной властью и, со временем, признанным государством.

Но как все-таки быть с достоверными фактами обнаружения коррупционеров и криминалитета в национальных мобилизациях на Кавказе? Их не следует стыдливо преуменьшать, однако не следует и раздувать в бездоказательные легенды о «закулисных кукловодах». Здесь мы наблюдаем, в сущности, формирование разнород-

ных альянсов для захвата политической арены и собственности, заключение пактов по поводу временного или более длительного сотрудничества в процессе перехода от диктатуры к демократии — только участники этих пактов, их расчеты и способы достижения целей несколько отличаются от центральноевропейского расклада. Главное отличие в резком ослаблении государственной монополии на легитимное принуждение, что делает самодетельных поставщиков средств насилия необходимыми участниками коалиций¹⁹. Политики из националистически настроенных интеллектуалов, чьи дела в 1990–1991 гг. шли в гору, и сами более или менее откровенно искали союза с местной номенклатурой и вожаками субпролетариата, поскольку нуждались в доступе к их ресурсам и патронажно-клиентным сетям. Стратегия подобных пактов при переходе от диктатуры к национальной демократии предлагала в сложившейся ситуации гораздо более эффективный способ обрести новый политический капитал, нежели абстрактная и дискредитировавшая себя либеральная риторика московской интеллигенции.

Новые провинциальные законодатели вознаграждали своих спонсоров и союзников принятием законов, поправок, подзаконных актов и служебных инструкций, выдачей лицензий, наделявших тех различными льготами и привилегиями при приватизации собственности и осуществлении экспортно-импортных операций (которые приносили фантастическую прибыль, извлекаемую из разницы между смехотворно низкими внутренними плановыми ценами в рублях и мировыми рыночными ценами в иностранной валюте). Перетекание власти из центральных и областных комитетов КПСС в избранные в 1990 г. верховные советы республик сопровождалось распространением новой практики законотворчества в частных целях. Это вызвало целую серию острых конфликтов и столкновений в процессе реализации: кто мог приобретать по остаточной цене магазины и бензоколонки? Выдавать и получать разрешения на вывоз нефтепродуктов и цветных металлов? Судите сами, к чьей юрисдикции отнести, например, расположенный на территории Абхазии санаторий, который в советские годы состоял на финансовом балансе какого-нибудь металлургического комбината, расположенного в идущей к собственной независимости Украине? Где и через какие кабинеты будет проходить его приватизация: в Москве, Киеве, Тбилиси или Сухуми? И ведь везде наверняка будут использо-

¹⁹ См. примечательно озаглавленную статью с добротными эмпирикой и анализом Robert Hislope, *Organized Crime in a Disorganized State in Problems of Post-Communism*. (May/June 2002) vol. 49, issue 3.

ваться аргументы национального суверенитета и рыночной экономики. Дополнительной альтернативой в подобных условиях становился новоявленный местный «национальный конгресс» (комитет, сход, рада, хасэ, хурал, терё), также провозгласивший себя полномочным раздавать права и привилегии.

Вскоре репертуар политических действий существенно пополнился фальсификацией результатов выборов, шантажом, «черным пиаром», заказными убийствами и мобилизацией протестующих толп. Сети местной солидарности и патронажа задействовались путем распространения слухов, посылки ходивших из дома в дом вестников и агитаторов, призыва собирающихся в аульской мечети стариков, предоставления транспортных средств для доставки протестных масс на митинги, раздачи еды и карманных денег митингующим, и пр. Доходило до почти курьезов, когда директор нефтебазы или дома отдыха на побережье Краснодарского края постановлением собрания трудового коллектива мог попытаться объявить вверенный ему объект «казачьей станицей» и, апеллируя к тому или иному из возникших тогда казачьих «войск» и ассоциаций (в свою очередь ориентирующихся на того или иного влиятельного покровителя в краевой администрации или законодательном собрании), на основании этнокультурных интересов возрождения казачества провести закрытую безналоговую приватизацию в качестве фольклорного заповедника или благотворительного фонда. В случае появления судебных исполнителей и милиции с предписанием в пользу другого претендента на собственность, их могли встретить наряженные в традиционную казачью форму мужчины с ногайками и толпа голосящих баб.

В 1990 г. Шанибова, как и большинство нальчикских оппозиционеров, не допустили к участию в выборах в верховный совет автономной республики. Взамен он провозгласил возглавляемую им самим горскую Ассамблею и ее национальные отделения подлинными представителями северокавказских народов. Эта политическая заявка со стороны обойденных оппозиционеров звучала не слишком убедительно, поскольку реальная власть вполне очевидно оставалась сосредоточенной в руках местной номенклатуры. Однако положение дел внезапно изменилось во второй половине 1991 г. Провал августовского путча в Москве, ставившего целью реставрацию СССР, лишь ускорил его развал. Неожиданный триумф оппозиционного блока Ельцина и скандально явное поражение не только верхушки коммунистических консерваторов в Москве, но и всего советского истеблишмента включая президента СССР Горбачева, разом обрушили позиции консервативного руководства краев и республик Северного Кавказа. Один из местных демократических ли-

дерев (в недавнем прошлом археолог), лишь немного преувеличивал, пошутив в нашем разговоре: *«Если бы в те дни мы поставили гильотину на главной городской площади, наша номенклатура послушно бы выстроилась в очередь на собственную казнь. Они были в ужасной растерянности и готовились к самому худшему».*

Однако вместо эпической трагедии революционного террора случился политический театр абсурда. Возмущенные активисты кабардинского движения разбили лагерь на площади напротив здания местного правительства и объявили голодовку в знак протеста против реакционного путча в Москве и его сторонников в Нальчике. Протестантам оставалось неведомо, что начальство Кабардино-Балкарии уже и так бежало в панике. Лишь пару дней спустя проникшие, наконец, в здание молодые борцы за демократию обнаружили там всего нескольких вконец растерянных милиционеров и излишне прилежных служащих, зачем-то продолжавших являться на работу. Ошеломительная новость о бегстве старого режима внесла смятение в планы уже самих голодовщиков. Организаторы акции протеста настаивали на следовании демократической процедуре, хотя и не могли внятно объяснить, что бы это означало в сложившихся обстоятельствах. Самым простым объяснением, предложенным участниками и обозревателями тех событий, было то, что никто и не мог предположить столь внезапного крушения коммунистического режима. Как ни удивительно, но революции осени 1989 г. в соцстранах Восточной Европы даже два года спустя, очевидно, так и не дошли до сознания провинциальных оппозиционеров как нечто из их собственного ближайшего будущего. Застигнутая врасплох демократическая оппозиция в регионах России в большинстве своем оказалась морально и организационно еще менее готова взять власть, нежели консервативные путчисты августа 1991 г. Впрочем, возникает дополнительное соображение, которое усложняет картину и во многом оправдывает нальчикских оппозиционеров. Это соображение возвращает нас к спорам о том, почему демократическая оппозиция на Съезде народных депутатов в 1989 г. не смогла или не решилась заручиться внепарламентской активной поддержкой за пределами Москвы. Двумя годами позднее, в 1991 г., ячейки демократов на местах, подобные шанибовским сетям друзей, коллег и бывших студентов, выросли в спектр политических движений. Однако эти революционные силы все еще оставались нескоординированными, разделенными границами различных областей России, и не имели ясного видения политических целей и стратегии помимо противостояния «партократам». Активисты глубинки связали свои надежды с ельцинским правительством Российской Федерации

и стремительно набравшими влияние политическими патронами из бывшей оппозиции, отныне почти безраздельно господствующей в переходном парламенте России образца 1990–1993 гг. Надеждам было не суждено оправдаться. Ельцин и сам вскоре после провала августовского путча престранно образом исчез из вида почти на два месяца (злые языки утверждали, что президент России ушел в запой после нервного перенапряжения в августе). Как бы то ни было, вполне ясно, что Ельцин и его на скорую руку собранная пестрая группа соратников сами были ошеломлены свалившейся на них властью и ответственностью за управление громадной страной с пока неясным статусом и границами, буквально на глазах разваливающейся среди экономических проблем и политико-административного хаоса. Только где-то к концу осени 1991 г. Ельцин решился пойти на роспуск СССР с тем, чтобы консолидировать платформу власти в избавившейся от союзных республик России и взять курс на осуществление неолиберальной шоковой терапии в отчаянной надежде догнать Польшу и другие центральноевропейские страны бывшего соцлагеря на пути к капиталистическому Западу.

Осень 1991 г. действительно грозила катастрофой. Жестокий экономический и продовольственный кризис мог обернуться настоящим голодом уже предстоящей зимой. Вооруженные силы были парализованы возникновением нескольких центров принятия политических решений в Москве и в столицах одна за другой провозглашавших независимость республик. Еще, казалось, немного — и армия ядерной сверхдержавы встанет перед угрозой полного распада. Ее растаскиваемое вооружение и бывшие военнослужащие в качестве патриотических добровольцев либо наемников сильно подбавили горючего в топку подобных Карабаху конфликтов, которые стали перерастать в полномасштабные войны с артобстрелами, танковыми прорывами и линиями траншей. Рыхлый альянс нечаянных победителей, скоротечно собравшихся вокруг харизматичного, но малопредсказуемого Ельцина, не имел не только четкой программы действий, но и ясных позиций в госаппарате, который еще только предстояло завоевать, привлечь на свою сторону. То было время политических импровизаций, которые в большинстве своем оставались пустопорожними декларациями в отсутствие средств и механизмов реализации, либо сиюминутными экспериментами в попытках создать новые учреждения и производить собственные политические назначения. В хаосе тех дней оказавшиеся у руля в Москве пребывали в замешательстве либо противоречили друг другу в отношении к потоку проектов и просьб о поддержке, поступавших с мест от различных именующих себя демократами де-

ятелей и движений. Зачастую в Москве просто не знали, кем в действительности являлись эти люди или какова реальная политическая ситуация в их регионах. Те или иные фигуры на хаотичной московской арене по каким-то личным земляческим причинам и патронажным амбициям могли предпринимать собственные политические и аппаратные интриги, оформляя их декретами, мандатами либо даже конституционными поправками. Но в целом осенью 1991 г. противоестественно сосуществующий в неловком двоевластии горбачевско-ельцинский центр отделялся расплывчатыми призывами соблюдать конституционный порядок и защищать демократические принципы.

В итоге, начатая в последние дни августа 1991 г. протестная демонстрация в Нальчике вылилась в удивительное примирительное обращение к бывшим коммунистическим властям с просьбой продолжать исполнение своих обязанностей до проведения свободных и демократических выборов; у Москвы же попросили обеспечить справедливость на грядущих выборах в Кабардино-Балкарии. Посланцам оппозиции потребовался целый день, чтобы отыскать-таки верхушку свергнутого было коммунистического режима, укрывшуюся в селении с занятым названием Кызбурун-з. Руководство вернулось в Нальчик, а Верховный Совет собрался, чтобы назначить выборы президента республики на январь 1992 г. Так разрешилась первая революционная ситуация в Кабардино-Балкарии. На ново-созданный пост президента Кабардино-Балкарской республики осенью 1991 г. претендовали четыре кандидата. Все четверо были кабардинцами – видя полное отсутствие шансов на успех, балкарцы бойкотировали выборы. Интеллектуалы из кабардинской демократической оппозиции, упустившие момент в августе 1991 г., потерпели неожиданное поражение. Их кандидат – почтенный филолог и литератор-фольклорист – не прошел во второй тур выборов. Даже многим из своих сторонников престарелый профессор виделся слишком неубедительной политической фигурой, неспособной возглавить республику в столь бурные и тяжелые времена. Попытки найти ему замену в лице более энергичного кандидата натолкнулись на фракционную раздробленность и личное соперничество в стане оппозиции. Одни казались слишком молодыми, что играло роль в обществе сильных патриархальных традиций. Не столь молодого Шанибова подозревали в радикализме и бонапартистских тенденциях.

В конце концов президентство досталось Валерию Кокову – последнему первому секретарю Кабардино-Балкарского обкома КПСС, вовремя ставшему спикером местного парламента. Этот закаленный представитель правившей республикой с пятидесятых

годов патронажной группировки старой номенклатуры за предшествовавшие президентским выборам четыре месяца сумел мобилизовать местное начальство всех уровней — а может вернее будет сказать, что это местное начальство сплотилось вокруг статусного человека из «своих», в царившем хаосе обещавшего восстановить порядок и обеспечить сохранение их положения. На фоне слабости оппозиционеров реализовалась модель консервативной контрмобилизации, ставшая в тот момент типичной для многих областей России и большинства республик бывшего СССР (будь то Украина или Узбекистан), где государственные структуры не успели подвергнуться разрушению. После периода паралича от неопределенности и страха, местная номенклатура поняла, что ее выживание более не зависело от одной лишь Москвы, и начала действовать самостоятельно. Обычно ее действия приводили к успеху. Однако в Кабардино-Балкарии постсоветскому реставрационному режиму Кокова еще предстояло пережить второй и гораздо более сильный революционный шквал всего лишь несколькими месяцами позже первого.

Среди автономных республик Российской Федерации только в Чечне (которая в середине 1991 г. все еще была Чечено-Ингушетией) августовский взрыв в Москве привел к победе местной революции. Структуры власти коммунистического периода в Грозном были полностью повержены. Вероятность революционного исхода в Чечне была обусловлена особенностями ее более чем противоречивого социально-демографического состава и отклонений во внутренней политике советского периода, к чему мы обратимся в следующем разделе. Анализ причин чеченской революции важен не только в силу ее особо трагических последствий, но и по контрасту с событиями, потрясшими Кабардино-Балкарию.

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ

Когда в 1957 г. чеченцы и ингуши начали свое массовое возвращение из ссылки на родину, им предстояло вернуться на далеко не пустое место и буквально отвоевывать позиции. У себя дома они долго оставались отмечены коллективной печатью «неблагонадежного народа», что в массе переживалось крайне болезненно. В частных беседах даже облеченное ответственностью местное советское руководство не особо стеснялось называть их изменниками и пособниками фашистов. В сущности, это служило предлогом для обычного городского и поселенческого шовинизма. За время ссылки коренных национальностей на территории упраздненной в 1944–1956 гг. автономии произошло мощное послевоенное восстановле-

ние стратегически важной для советской экономики нефтяной промышленности. Это стало причиной переезда прежде всего в город Грозный многих тысяч славянских рабочих и специалистов, эвакуированных сюда в последние годы войны и затем направляемых по централизованной разнарядке и распределению из вузов. Они устроились и обжились, и как-то сама собой установилась фактическая монополия мигрантов на основные сферы городской жизни, тем более что и до депортации вайнахов в Грозном их было лишь незначительное меньшинство. Прежняя гарнизонная крепость, затем превратившаяся в нефтехимический индустриальный анклав, развивалась в отрыве, если не полном протиповопоставлении сельской местности — не только вайнаховской, но даже и гребенской казачьей. Сложившееся положение регулярно подкреплялось советской практикой административно-милицейского ограничения прописки в городской черте.

До 1989 г. ни один чеченец (и тем более ингуш) так и не стал главой автономной республики, формально носившей название двух титульных национальностей. Большинство руководителей ведомств городской и республиканской исполнительной власти, промышленных предприятий, проектных институтов, учебных заведений, больниц, редакций газет и телевидения Грозного, не говоря об органах милиции и КГБ, вплоть до конца перестройки составляли пришлые кадры²⁰. Кроме того, после депортации 1944 г. большинство мечетей в селах было разрушено или по распространенной советской атеистической практике использовалось под клубы и складские помещения. В 1960–1970-х гг. их восстановление оставалось фактически под запретом — хотя в соседнем Дагестане одних только легально действующих мечетей насчитывалось более сотни. Депортационный опыт коллективного выживания с сохранением достоинства вкупе с особо ревностным проведением русскими властями Чечено-Ингушской АССР общесоюзной атеистической политики загнали чеченский и ингушский ислам почти что в подполье, где действовали плотно спаянные мистические суфийские братства-тарикаты. Официальные атеистические ограничения в итоге способствовали не секуляризации общества, а наоборот, усилению сокрытой религиозной традиции, мощно подпи-

²⁰ По основанным на открытых советских данных подсчетам американского советолога Майкла Рывкина, в 1970-е гг. доля русских в партийном руководстве Чечено-Ингушетии составляла порядка двух третей — совершенно исключительные показатели даже для автономных республик и областей Северного Кавказа, тем более для союзных республик. Michael Rywkin, *Moscow's Lost Empire*. Armonk: M. E. Sharpe, 1994.

тывающей сельскую этническую идентичность в противостоянии пришлым горожанам.

Не меньшим оскорблением и, следовательно, генератором негативной эмоциональной энергии служила установленная на одной из площадей Грозного статуя основателя города — царского наместника на Кавказе генерала Ермолова. В 1818 г. по его указанию на военной линии вдоль реки Сунжи была заложена крепость Грозная, перекрывавшая чеченцам выход из гор на равнину. Харизматичный, амбициозный и неумолимый Ермолов, бравировавший своей солдафонской суровостью (и одновременно читавший в подлиннике «Записки о Галльской войне» Гая Юлия Цезаря), провозгласил свое намерение «запереть чеченское зверье в их глухих голодных трущобах», пока голод не принудит «туземцев» просить о мире, законопорядке и цивилизации. Современник Ермолова поэт и дипломат Александр Грибоедов не без восхищения назвал подобный стратегический подход к установлению государственной власти на колониальной периферии «барабанным просвещением»²¹. В 1982 г. состоявшее преимущественно из русских переселенцев правительство Чечено-Ингушской АССР отпраздновало двухсотлетие «добровольного вхождения» в состав России. Даже по меркам брежневских времен юбилей многим (включая работников партаппарата) тогда казался никчемно помпезным и насквозь фальшивым. К чему, спрашивали они, сыпать соль на едва затянувшиеся раны? Причины, конечно, были. Юбилей способствовал созданию показной отчетности и выбиванию званий и ресурсов в московских кабинетах. Это обычная для тех времен мотивация. Однако просматривается и дополнительный специфичный мотив. Участие в праздновании послужило (более в сталинских, чем брежневских методах) принудительным тестом на лояльность чеченской и ингушской номенклатурной и культурной элиты автономии. Сомневающимся запугивали, несогласных прорабатывали вплоть до оргвыводов, снимая с должностей и исключая из партии, что означало если не арест и смерть, то очень крупные неприятности и конец карьеры.

Торможение выдвижения лиц коренной национальности на руководящие посты, ограничение городской прописки по фактиче-

²¹ Гордин Я. *Кавказ: земля и кровь*. СПб.: Звезда, 2000. С. 121. Классическим реалистическим описанием русского восприятия Кавказской войны являются такие рассказы молодого Льва Толстого, добровольцем пошедшего в артиллерийские офицеры на Кавказе, как «Рубка леса» и «Набег». Совсем иная по тональности повесть «Хаджи Мурат» была написана полвека спустя и отражает переход Толстого к антиавторитарному пацифизму последнего периода его жизни.

ски этническому признаку, чреватые шовинизмом атеистические перегибы и «нечуткое отношение» к истории местных народов, проработки в парткомах по малейшему подозрению в нелояльности (вспомним случай с поэтическим кружком «Прометей») даже по меркам советской действительности вполне могли рассматриваться как «нарушения ленинской национальной политики». Именно на это постоянно указывалось в письмах, адресованных Центральному комитету КПСС от «истинных коммунистов» и ветеранов из чеченцев и ингушей (среди которых, как ни удивительно, сохранялось немало твердокаменных сталинистов, считавших, что жесткость Великого вождя была совершенно необходима и оправдана во всем — кроме, конечно, ошибок, допущенных по отношению к ним самим, чеченцам и ингушам, в которых, впрочем, целиком винули Лаврентия Берия). Письма и жалобы, однако, не получали ожидаемого ответа, а то и подавно передавались по инстанциям обратно в Грозный, к тем же самым «чинушам и перегибщикам». После воцарения брежневизма с его консервативной внутренней политикой «стабильности кадров» Москва крайне редко и неохотно утруждала себя вмешательством в дела местных сетей патронажа²².

Задолго до исключительного исхода национальной революции ситуация в советской Чечено-Ингушетии отличалась от положения дел на остальном Кавказе. Она скорее напоминала Алжир под властью Франции. Большой современный город, населенный в основном переселенцами из Европы, довлел над аграрной местностью с населением, придерживавшимся, в целом, традиционного патриархального уклада и мусульманских диспозиций, притом сохранившим память о воинских доблестях и длительном жестоко подавленном сопротивлении. На 1989 г. чеченцы составляли всего 17% жителей Грозного и притом 54% населения автономной республики. В большинстве своем это были либо полупролетарии, селившиеся в разрастающихся селах на окраинах столицы, либо крестьяне в этнически гомогенных селах. В населенных пунктах, где чеченцы и ингуши оказывались в соседстве с сельским русским населением (преимущественно из бывшего терского казачества) возникала демографическая конкуренция, чреватая бытовой конфликтностью. Это вело к постепенному миграционному выдавливанию и без того естественно стареющего русского населения (что отчасти напоминает процессы этнической гомогенизации окружавшей Грозный сельской местности). В противоположность промышленным центрам, на селе предоставление государством набора социальных услуг и жилья оставалось минимальным — что в среде че-

²² Гаккаев Д. *Очерки политической истории Чечни*. М., 1997.

ченского народа углубляло засевшее после депортации отчуждение от власти и приучало (вынуждало, заставляло) их полагаться только на себя и на своих в решении проблем жизнеобеспечения помимо и в обход государства. Отсюда большие сельские семьи, объединявшие под одной крышей несколько поколений, и их необычно высокий уровень рождаемости. На это накладывается и мощная субъективная мотивация. Свойственная крестьянским и особенно субпролетарским домохозяйствам демографическая стратегия роста, объединения родственных ресурсов и взаимопомощи в случае с большими чеченскими семьями отражала также культурно-субъективное стремление к восполнению людских потерь, понесенных во время высылки. Многодетность воспринималась с похвалой не только как патриархальная добродетель и божья благодать, но и как патриотическая обязанность. Цифры весьма красноречивы. В 1944 г. депортации подверглось, по ныне уточненным данным, 407,9 тыс. чеченцев и 95,3 тыс. ингушей, из которых, как считается, до 20% погибло от болезней и тягот²³. Несмотря на это к концу 1980-х гг., всего пару поколений спустя, численность чеченцев выросла в четыре раза и приблизилась к миллиону. Они стали крупнейшей коренной национальностью на Северном Кавказе, более чем вдвое превосходящей вторых по численности кабардинцев. При этом большинство чеченского этноса составила активная молодежь.

Демографическая экспансия произвела минимум три значительных последствия, отразившихся в национальной революции. Первое, чеченцы составляли больше половины населения Чечено-Ингушской АССР и, таким образом, стали единственным титульным народом на Северном Кавказе, обладавшим численным большинством в своей автономной республике – и это, конечно, вселяло уверенность в том, кому должна принадлежать Чечня. Во-вторых, общая молодость чеченского населения (так контрастирующая с быстро стареющими русскими и, в определенной степени, даже кабардинцами)²⁴. К началу чеченской войны готовых стать под ружье молодых людей оказалось более чем достаточно – и вдобавок, многие из мужчин призывного возраста были малообразованными и нетрудоустроенными субпролетариями, ищущими самореализации. Здесь мы подходим к третьему этническому отличию, на самом деле относящемуся не столько к национальному менталитету и культуре, сколько к категории

²³ <http://www.polit.ru/research/2004/02/27/demoscope147.html>.

²⁴ Anatol Lieven, *Chechnya: The Tombstone of Russian Power*. New Haven: Yale University Press, 1998, pp. 322–323.

социально—демографического давления. Экспансивная демографическая динамика предшествующих десятилетий напрямую связана с высокой структурной безработицей в государственном сельхозсекторе Чечено-Ингушетии и одновременно с возможностями полуофициальной трудовой миграции, в основном строительной «шабашки», в более нормальные советские годы приносившей неплохой семейный доход. Уже к моменту возвращения из ссылки чеченцев и ингушей оказалось вдвое больше, чем имеющих на их родине свободных рабочих мест, включая даже непрестижные места в колхозах и совхозах. К концу советского периода структурная безработица не только не была преодолена, но даже возросла в силу снижения промышленного роста. По подсчетам грозненских социологов и экономистов, проведенным в середине 1980-х гг., около 40% сельских тружеников колхозов и совхозов Чечено-Ингушетии получали лишь минимальную зарплату (порядка 80 рублей в месяц), поэтому едва ли следует удивляться, что почти 60% взрослых женщин на селе официально считались нетрудоустроенными (т.е. работали, наверняка, от зари до зари, в домашнем хозяйстве)²⁵. По большинству официальных показателей общественно-экономического развития, Чечено-Ингушетия регулярно занимала последние места в списке национальных республик и автономий СССР, соревнуясь в негативном смысле с Таджикистаном. Однако на месте положение дел предстало взору непосредственного наблюдателя несколько иным. Чеченские села сохраняли патриархальную культурную среду (что, подчеркнем, было не пережитком архаики, а социальной адаптацией к субпролетарскому положению), однако материальная среда отнюдь не выглядела архаичной и нищей. Да, детей много и женщины связаны традиционными обязанностями по домохозяйству, но это во все не страна Третьего мира. В селах строилось немало зажиточных кирпичных особняков, обставленных цветными телевизорами, холодильниками, коврами и современной мебелью; замыкал обязательный список хорошего домохозяйства автомобиль в гараже. Основная часть этого благосостояния была заработана тяжелым трудом на отходных работах (все на той же шабашке) или рискованной деятельностью в теневой сфере советских времен (например, в контрабандном вывозе неучтенного золота с сибирских государственных приисков). Сравнительно суровый и нередко засушливый климат не позволял чеченцам полагаться на прибыльное приусадебное огородничество и садоводство, в 1960-х ставшее

²⁵ Гужин Г. С., Чугунова Н. В. *Сельская местность Чечено-Ингушетии и ее проблемы*. Грозный: Чечено-ингушское книжное изд-во, 1988.

основой народного благосостояния Абхазии и западных районов Северного Кавказа.

По экспертным оценкам, каждой весной примерно 40 тыс. мужчин из Чечено-Ингушетии выезжали на сезонные заработки в Казахстан и Сибирь, где у многих сохранились личные связи еще со времен ссылки. Обычно это была временная работа на строительстве и в сельском хозяйстве, привлекавшая участников возвратной миграции, которые создавали устойчивые артели с четкой внутренней иерархией и земляческие общины, группирующиеся по отраслям экономики и географическим областям. Миграция рабочей силы чеченцев и прочих коренных обитателей горных зон Северного Кавказа основывалась на вековой традиции. В принципе, во все времена и во всех странах горцы, жившие в условиях ограниченных ресурсов своих ландшафтных зон, были вынуждены искать дополнительных приработков в качестве сезонных работников (пастухов, копателей колодцев, сборщиков урожая), военных наемников и охранников («мамелюков» в широком смысле), или традиционных разбойников (коно- и скотокрадов, захватчиков пленников на продажу и за выкуп, грабителей с большой дороги). Заметим, однако, что среди трех ипостасей горца-мигранта о пастухах и батраках гораздо реже говорится в песнях, легендах, и тем более в военных сводках.

Сезонная миграция создавала особую подкультуру, нормы и ритуалы которой в основном относились ко внутренней организации мигрирующих групп. Группы (артели) обычно сплачивались вокруг опытных мужчин, наделенных почти родительской властью и обязанностями. Члены группы формировали своеобразное братство с внутренней градацией в зависимости от старшинства и признания личных достоинств. Традиционные узы кланового родства, сельской общности и религиозной принадлежности сообщали дополнительную прочность внутригрупповым дисциплине и сплоченности. Для понимания чеченской революции и войны важно, что подобные трудовые группы создают многоцелевую и высокоадаптивную модель микроорганизации, которая в изменившихся обстоятельствах могла быть приспособлена к решению совершенно иных задач – например, создания ячейки националистического движения или отряда боевиков. По моим полевым наблюдениям, наиболее организованные боевые подразделения «артельного» типа в недавних войнах на Кавказе можно было наблюдать не только в Чечне, но и в Нагорном Карабахе, чьи армяне-христиане также горцы и регулярные мигранты. Несмотря на конфессиональные и культурные различия, у воевавших армян прослеживается нечто общее с чеченскими добровольцами

первой, еще патриотической войны (1994–1996 гг.). Это не только личный героизм и глубокая убежденность в том, что они воюют за спасение своего народа от повторного геноцида, но также и неожиданно высокая дисциплина, подчинение старшему, четкое и вполне рациональное разделение труда и почти семейная сплоченность в группе. Воевали эти партизаны лучше регулярных армий, во всяком случае, на тактическом уровне и за исключением особо профессиональных спецподразделений. Однако в случае добровольцев профессионализм не мог быть военного происхождения. Это был скорее профессионализм многоцелевых, взаимно дисциплинированных и изобретательных шабашников. Воевали так, как работали, с оружием и техникой обращались, как со своим собственным трудовым инструментом. Было бы интересно изучить в сравнительном плане, в какой мере трудовая миграция и военная служба оказали влияние на характер организации войн и в бывшей Югославии, откуда в прежние времена миллионы мужчин ходили на заработки строителями и автосборочными рабочими в Германию и Скандинавию.

Руководствуясь этими ориентирами, мы можем также найти рациональное объяснение скандально известного взлета чеченской мафии в ходе российской приватизации конца 1980-х – первой половины 1990-х гг. По параметрам социально-демографического состава и культурного капитала, чеченская и другие «южные» этнические мафии мало отличаются от групп, занимающихся обычной трудовой миграцией. Они в основном состоят из молодых, малообразованных и при этом статусно-ориентированных чеченцев, которые в одиночку либо маленькими спаянными группами уезжали из родных деревень в надежде получить хорошую работу или высшее образование. Некоторые, подобно Беслану Гантамирову или Шамилю Басаеву, оказались малоприспособленными для университета и были исключены; другим так и не удалось найти работу, поскольку традиционные для предыдущих поколений чеченцев рабочие места в строительстве и сельском хозяйстве теперь, с разрушением советской экономики, либо исчезли, либо оказались занятыми работниками из Украины, Молдовы, Таджикистана. Эти молодые чеченцы предпочли постепенному сползанию в прозябание на чужбине или возвращению домой жалкими неудачниками пробить себе путь в опасный, но крайне прибыльный и романтизированный мир «силового предпринимательства». Традиции родственно-клановой солидарности, чеченской маскулинности, подросткового и воинского и ритуализированного насилия («джигитства»), несомненно, сыграли значительную роль в подобном выборе, снабдив их готовым набором необходимых навыков и групповой солидарности, кото-

рые предоставили значительное преимущество в криминальном мире²⁶. Это лишь самое предварительное эскизное обозначение подхода к проблеме. Потребуется особое исследование для изучения механизмов переноса традиционных социальных институтов и практик с гор Кавказа на незаконные рынки посткоммунистической России. А пока загадочный чеченский национальный характер продолжает занимать воображение российских и западных журналистов, писателей популярных триллеров, сценаристов и режиссеров телесериалов, а также немало числа экспертов по этнополитологии и культурологии. Но стереотипы как-то совсем не замечают того факта, что Чечня более не является клановым обществом горцев.

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Только в 1989 г. предпринятая Горбачевым замена брежневского поколения аппаратчиков и общая атмосфера демократизации, наконец, позволили небольшой ущемленной в своем росте элите чеченских административных кадров и образованных горожан пробиться через «стеклянный потолок». Оговорюсь сходу, такого рода заявления неизбежно относительны. Существовала и чеченская номенклатура, и интеллигенция, порою с еще досоветскими корнями. Однако наиболее успешные из них жили за пределами автономной республики. Помимо низкостатусных трудовых мигрантов, немало выпускников чеченских школ подавали документы в вузы за пределами ЧИАССР, пытаясь избежать считавшихся неминуе-

²⁶ Ходит множество героических, хотя, в основе своей, быть может, достоверных рассказов о том, как горстка чеченцев брала на испуг или первой атаковала многократно превосходящих числом русских гангстеров. Распространение подобных историй (особенно самими чеченцами), очевидно, служит целям поддержания образа совершенно лишенных чувства страха, свирепых и приверженных своим кланам экзотических варваров. Эти типично кавказские бравада и блеф могут действительно сработать — особенно при случайных и неподготовленных противостояниях. В то же время бытует иллюстрируемое другого типа рассказами мнение, будто чеченские гангстеры любой ценой, по «закону гор», держат слово перед врагами, друзьями и деловыми клиентами. Разумеется, репутация особо опасных конкурентов и одновременно надежных партнеров служит преимуществом в мафиозном мире, равно как и в банковском деле. Подобные рассказы следует воспринимать не как достоверные этнографические данные, а как своего рода репутационный «бизнес-пиар». См. Diego Gambetta, *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection* (Harvard University Press, 1993).

мыми при поступлении в Грозном местного шовинизма и интриг, и сделать карьеру на просторах Советского Союза. Многие из них преуспели и достигли высоких постов за пределами «малой» родины. Среди них доктор наук Саламбек Хаджиев, последний министр нефтяной промышленности СССР, и преподававший экономику в Москве спикер переходного парламента России в 1991–1993 гг. Руслан Хасбулатов, и генерал-майор ВВС Джохар Дудаев. Подобные успешные личности служили ролевыми моделями для соотечественников и достигшими вершин покровителями, отчего они обладали значительным потенциальным влиянием на дела у себя на родине.

Теперь же, в начале 1989 г., чеченец Доку Завгаев, дотоле постепенно выдвигавшийся по линии руководства сельским хозяйством, сменил на посту первого секретаря обкома своего русского и весьма консервативного предшественника, который благо разумно предпочел избраться на союзную депутатскую должность в Москве. В Чечено-Ингушетию, наконец, пришла перестройка. (Прежде местному филиалу Союзпечати было негласно предписано не ввозить в автономную республику популярные перестроечные издания вроде «Огонька» и «Московских новостей».) Вскоре под предлогом небольшой по новым перестроечным меркам волны местных жалоб и протестов Завгаев устроил чистку районного звена, которую в те дни весело называли «весенним листопадом» райкомов²⁷. Большинство новых назначенцев принадлежало к коренным национальностям, и при этом было личными клиентами Завгаева. После таких перестановок все на какое-то время, казалось, стихло. Еще весной 1991 г. Завгаев мог с гордостью сказать заезжему московскому репортеру: *«Зато поглядите, как мирно и спокойно в нашей Чечено-Ингушетии!»*

Вслед за восходящей чеченской номенклатурой, в новообразованное поле местной политики двинулись сразу несколько соперничающих фракций молодых интеллигентов, среди которых тогда было немало местных русских специалистов. Они следовали стандартной схеме времен перестройки: вначале, и довольно долго, была экология (тем паче в районе Грозного и Гудермеса хватало вредных химических производств), реформа образования, затем экономическое ускорение и кооперативы, демократизация, следом сохранение памятников старины (знаменитых средневековых башен в горах), возрождение фольклора и возвращение к преступлениям сталинизма, но пока никакого радикального национализма и, тем более, исламизма. К 1990 г. «неформальная» фаза обществен-

²⁷ Музаев Т., Тодуа З. *Новая Чечено-Ингушетия*. М.: Группа «Панорама», 1992.

ной активности, проявлявшаяся в основном в прессе и на периодических митингах местного Народного фронта в поддержку перестройки, как-то сходит на нет. На выборах 1990 г. в верховные советы России и Чечено-Ингушетии с огромными трудностями прошли лишь единичные представители оппозиционной интеллигенции (либо, как подозревали местные наблюдатели, по негласному соглашению с хитроумным Завгаевым, предпочитавшим играть в несколько игр сразу). Возникшая в оппозиционной среде неловкая пауза длилась вплоть до лета 1991 г.

Отдельным «застрельщиком» из перестроечной интеллигенции никак не удавалось добиться союзов ни в среде местной номенклатуры, ни среди массы населения. Завгаев успел быстро подчинить себе патронажные сети внутри автономии и перехватить у оппозиции потенциально наиболее мобилизующие лозунги суверенизации республики и реабилитации народов, пострадавших от сталинских репрессий. Осенью 1990 г. завгаевская администрация провела в грозненском цирке Конгресс чеченского народа под своим более или менее очевидным аппаратным контролем. Бурное, подчас хаотичное собрание приняло, в конце концов, декларации о суверенитете и реабилитации, которые Завгаев затем мог использовать в качестве аргумента уже в своем торге с Москвой за ресурсы и статус. Таким ярким личностям и ораторам, как поэт Яндарбиев, журналист Удугов и талантливый самоучка с тюремным прошлым Юсуп Сосланбеков оставалось вместе с Шанибовым заниматься риторической политикой на символической площадке Ассамблеи горских народов. Впрочем, одно, тогда мало кем распознанное, но. Президентом Конгресса чеченского народа был избран исключительно харизматичный генерал авиации Джохар Дудаев. Тогда это выглядело очередным закулисным маневром завгаевских аппаратчиков. Считается (во всяком случае, так неизменно любили повторять завгаевские кадры), что своим недавним производством в генералы Дудаев был во многом обязан лично Завгаеву, ратовавшему за него в Москве во имя повышения общего престижа чеченцев²⁸. Избрание генерала, который никогда не жил в Чечено-Ингушетии и не имел там связей, делало его номинальной фигурой и одновременно отсекало местных радикалов от символической должности. Казалось, Завгаев действительно «контролировал обстановку» скорее по аналогии с республиками Средней Азии, нежели Кавказа. Он не раз признавал, что пример берет с главы Казахстана Нурсултана Назарбаева.

²⁸ Carlotta Gall and Thomas de Waal. *Chechnya: Calamity in the Caucasus*. New York: NYU Press, 1998.

Взрыв в Грозном случился еще более неожиданно, чем в Нальчике. Чеченская номенклатура оказалась в одночасье скомпрометированной своим предполагаемым сотрудничеством с путчистами в августе 1991 г. На самом деле в Грозном в дни попытки переворота, как и повсюду, царила напряженно-выжидательная атмосфера, однако Завгаева якобы видели в Москве, входящим в Кремль, о чем немедленно разнеслись слухи. Роль субъективного детонатора сыграли две совсем разные личности, оба чеченцы с экстраординарным символическим капиталом из-за пределов республики. В Москве это был стремительно набиравший влияние спикер Российского парламента профессор Руслан Хасбулатов, который, очевидно, строил собственные планы насчет политического руководства на своей малой родине. С другой стороны ход истории активно изменял генерал Дудаев, который вышел в отставку и переехал жить в Грозный всего за несколько месяцев до внезапных бурных потрясений. Дудаев, ставший харизматическим центром притяжения для масс и игравший совершенно аналогичную Ельцину роль «убедительного» начальника и вождя среди оппозиционных интеллигентов, буквально на ходу формировал собственный политический альянс. Несколько недель в сентябре и октябре более статусная чеченская интеллигенция и прагматичные промышленные руководители, вероятно поддерживаемые из Москвы Хасбулатовым, боролись доступными им преимущественно аппаратными средствами за овладение обезглавленным и парализованным механизмом власти. Однако обладавшим несравненно более низким формальным статусом радикалам во главе с политическим одиночкой генералом Дудаевым удалось обойти складывающийся союз либералов и консерваторов, поддерживая в течение этих критических недель перманентную, стихийную и оттого с неизбежно карнавальным оттенком, то празднующую, то негодующую мобилизацию толп на улицах Грозного.

Откуда пришли в центр города эти чеченцы? Из высокогорных сел, но все же куда более из разросшихся вокруг Грозного полусельских окраин. Чем больше участников собирали митинги, тем больше остальные чувствовали себя обязанными присоединиться к ним. Один из ведущих участников тех событий Зелимхан Яндарбиев описывает в своих мемуарах, как 19 августа, в первый день провозглашенного путчистами в Москве чрезвычайного положения, на главную площадь Грозного вышло от силы два-три десятка самых отчаянных активистов. Цели их были неясны даже им самим. Ожидание у себя дома неминуемого (как они считали) ареста казалось им просто невыносимым. Психологически все выглядит, надо отдать должное Яндарбиеву, вполне достоверно. Милиция, к изумлению протее-

стюющих, лишь вежливо попросила их разойтись и «не нагнетать». На второй день, когда стала более заметна нерешительность реакционных сил, на площадь пришло несколько сотен. На третий день приказ о выводе танков с московских улиц и весть о скором возвращении Горбачева в Кремль позволили вздохнуть спокойно — и пришло более двух тысяч демонстрантов. На следующий день на площади шел многотысячный митинг, число участников которого дальше росло подобно лавине²⁹. Даже если приведенные Яндарбиевым цифры не отличаются точностью, описание вполне передает общую динамику событий.

Митинги в Грозном на фоне наблюдаемых по телевизору невероятных событий в Москве стали главным центром эмоционального внимания. В эти дни практически все испытывали небывалое облегчение после схлынувшего напряжения. Здесь следует упомянуть затем почти забытый факт. Всего лишь двумя месяцами ранее, на выборах российского президента в июне 1991 г., Ельцин получил весомое большинство голосов в республике (почти столько же, сколько у себя в родной Свердловской области), а в ингушских селах этот показатель достигал 98%. (Неудивительно, что и хитроумный Завгаев, не теряя рассудка, исподволь заигрывал тогда с Ельциным.) Чеченцы и ингуши поверили в знаменитые предвыборные обещания лидера российских демократов передать республикам столько суверенитета, сколько они «смогут унести», добиться полной «реабилитации» репрессированных народов и предоставления им долгожданной компенсации за жертвы и страдания сталинской депортации. В ретроспективе видится почти невероятным, что летом 1991 г. большинство чеченцев связывали свою судьбу с Ельциным. В дни путча они замерли, ожидая, что теперь придет страшная расплата за поддержку главного московского демократа, ставшего главным врагом ГКЧП. На фоне драмы в Москве по республике поползли слухи о загадочной концентрации грузовиков неподалеку от границ Чечено-Ингушетии. По всей видимости, это была обычная практика сосредоточения транспорта перед, выражаясь «советским русским» языком, очередной «битвой за урожай». Однако в травмированной коллективной памяти чеченцев и ингушей колонны грузовиков ассоциировались с вереницами «Студебекеров», на которых людей свозили под конвоем в день роковой депортации 1944 г. Поражение путчистов повсеместно праздновалось не только как конец старого коммунистического режима, но и как внезапное избавление от угро-

²⁹ Яндарбиев З. *В преддверии независимости*. Грозный: Изд-во «Ичкерия», 1994. С. 41–51.

зы новой депортации и от страха вообще. По словам участников тех событий, их главной мотивацией стала возможность — нет, даже необходимость публичного отречения от старых стигматизирующих стереотипов и унижений, отчаянно неодолимое желание выйти на улицы и скандировать «*Мы чеченцы! Это наша страна!*». Это было именно тем, что Эрнест Геллнер назвал ключевой эмоциональной мотивацией национализма — подтверждение достоинства группы³⁰.

Многие приходили сами. Других привозили автобусами, которые предоставлялись чеченцами — промышленными руководителями и новоиспеченными частными предпринимателями (включая ряд личностей весьма сомнительных), которые пытались приобрести политический капитал в новых обстоятельствах. Конечно, здорово скандировать хором, но ведь, кроме того, кто-то же должен был вынести на площадь платформы и громкоговорители, ранее берегаемые на Первомай. В такой момент громкоговоритель становится ценнейшим орудием борьбы за власть. Вскоре еще более важным орудием станет хотя бы зачаточная организация, способная сконцентрировать и повести толпу, а затем уже и всамделишное оружие. Милиция исчезла с улиц или явно не желала принимать участия в политическом противостоянии после того, что все увидели в Москве. Ударной силой чеченской революции стали отряды наскоро сформированной Национальной гвардии. (Ведь и в самой Москве тогда было, по крайней мере, провозглашено формирование Национальной гвардии, на которую собирался опереться Ельцин и демократы, пока не осознали, что им и так досталась российская милиция и, вскоре, армия.) Чеченские гвардейцы, впервые возникшие из частной охраны нескольких бизнесменов, в том числе гангстероподобных, проявили себя полезными в перекрытии улиц и расчистке пространства для митингов.

Не забудем, однако, о демографии и социальных проблемах. Летом 1991 г. вышеупомянутые сорок тысяч или около того сезонных рабочих не смогли выехать из Чечено-Ингушетии. Советская экономика разваливалась, и рабочие места для мигрантов внезапно исчезли. Этим мужчинам и их близким теперь предоставилось внимать на митингах Дудаеву и другим радикалам, объяснявшим, что трудовая миграция за пределы республики была на самом деле частью дьявольского плана Советов, имевшего целью унижение и ассимиляцию чеченского народа. Дудаев очень красочно обещал, что стоит Чечне стать подлинно независимой, как она сумеет задействовать свою нефтяную промышленность для создания новых ра-

³⁰ Ernest Gellner, *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell, 1983.

бочих мест, обеспечения благосостояния и возрождения нации. Обещание было простым, эмоционально заряженным — и удивительно похожим на программы национально-освободительных движений и догоняющего развития 1950–1960-х гг. Дудаев действовал и говорил вполне подобно Ататюрку, Насеру, Сукарно, Перону, Пак Чжон Хи и многим другим военным национальным модернизаторам из стран Третьего мира задолго до него³¹. Его излюбленным аргументом было, однако, сравнение Чечни с Эстонией, где до 1991 г. он служил командиром советской стратегической авиабазы. Если маленькая Эстония после веков царской и коммунистической оккупации смогла обрести независимость и войти в семью европейских стран, спрашивал он, то почему этого же не могла достичь и Чечня? Сочетание уверенного генеральского облика и пророческого видения вызывали у простых чеченцев такой всплеск гордости и надежды, что ни либеральные реформисты, ни коммунистические консерваторы не могли даже мечтать о соперничестве с ним в открытой борьбе.

Дудаев одержал победу на поле популистской риторики, но его революционный захват власти был достигнут, конечно, не словом единым. Каждая победа уличных вожаков приносила им все новые ресурсы, которые, в свой черед, придавали воодушевления для очередных шагов. Захват местного телецентра предоставил радикальным лидерам основной пропагандистский инструмент, а штурм горсовета, парламента и других правительственных зданий лишил элиту советских времен ее символически легитимизирующих пространств. Как и в Восточной Европе, сигналом успеха революционных толп стал захват управления Комитета государственной безопасности. Повстанцы вдобавок открыли двери тюрьмы, чьи обитатели немедленно сформировали вооруженное движение под названием «Нийсо» («Справедливость»)³².

Еще один удар по старым государственным структурам был нанесен отделением Ингушетии, провозглашенным в сентябре 1991 г. собранием ингушских народных депутатов всех уровней (хотя присутствовали не все депутаты). Фактически это был политический пакт сельских должностных лиц, интеллигенции (в основном учителей)

31 Бывший советник Дудаева вспоминает, как он кинулся убеждать генерала отказаться от идеи национализации нефтяной промышленности Чечни и разъяснять, что новые времена требовали, скорее, ее приватизации и привлечения западных инвесторов. См. Абубакаров Т. *Режим Джохара Дудаева: правда и вымысел. Записки дудаевского министра экономики и финансов*. М.: ИНСАН, 1998.

32 Музаев Т., Тодуа З. *Новая Чечено-Ингушетия*. М.: Панорама, 1992.

и специалистов (инженеров, ветеринаров, агрономов). Ингушетия была создана на основе трех сельских районов, где не было городов. Кроме того простого факта, что ингушские села были слишком далеко от любых властей, чтобы воспрепятствовать отделенческому собранию, спешка сельских политиков объяснялась двумя соображениями. Во-первых, они прямо заявляли, что ингуши не собираются стать меньшинством в независимой Чечне. Во-вторых, был еще один фактор, который в открытую ими не признавался: радикализм сельского руководства в Ингушетии далеко превосходил настроения живших в Грозном и других городах более влиятельных и высокостатусных ингушских должностных лиц и интеллектуалов, которые предпочитали следить за событиями издалека. Уступавшие им статусом сельские радикалы намеревались решить проблему отсутствия городов в новопровозглашенной Ингушетии, потребовав фактического раздела Владикавказа, ближайшего большого города и столицы соседней Северной Осетии. Многие ингушские семьи по возвращении из ссылки в 1957 г. старались селиться в самом городе либо близ Владикавказа, где проживали до депортации. Они были убеждены в историческом праве владения этой землей и требовали восстановления прежних административных границ в качестве реабилитации репрессированного народа³³. Здесь налицо параллели с Балкарией; однако, точно так же как чеченцы пошли дальше, чем их кабардинский «эквивалент», ингушский сепаратизм опередил балкарский. Эмоциональным поводом послужил приток в оспариваемые села на территории Северной Осетии югоосетинских беженцев, спасавшихся от вооруженного конфликта с грузинскими вооруженными силами по другую сторону Кавказского хребта. Помимо быстрого изменения этнодемографического баланса не в их пользу, ингушам это неприятно напомнило о том, что в период сталинской депортации их дома и села заполняли по разнарядке переселенцами из Южной Осетии. Вспыхнула скоротечная, но крайне ожесточенная война, длившаяся около недели в конце октября 1992 г. в оспариваемых ингушами селах и пригородах Владикавказа. Несмотря на отчаянные действия ингушских ополченцев, верх одержали превосходившие их числом и организованностью осетины. Значительными преимуществами владикавказской элиты также служили традиционная репутация лояльности России, вкуче с налаженными отношениями с Москвой и расквартированными на территории республики военными гарнизонами. (Ингуш-

³³ Добросовестный и подробный анализ дан Артуром Цуциевым в работе *Осетино-ингушский конфликт (1992-...), его предыстория и факторы развития*. М.: РОССПЕН, 1998.

ская катастрофа, заметим, сыграла роль в снижении радикальности созвучного проекта балкарского сепаратизма.)

В революционные дни ранней осени 1991 г. видные демократические политики из Москвы не раз приезжали в Чечено-Ингушетию, чтобы найти в этом растревоженном улье компромисс, способный вернуть Москве хоть какой-то контроль над событиями. Внезапно лозунг суверенизации, использовавшийся российской оппозицией против горбачевского центрального руководства, теперь оборачивался против них самих. Страшила угроза «эффекта домино», когда вслед за чеченским восстанием могли успешно выступить радикальные национальные движения в остальных автономиях Российской Федерации, особенно в центрально расположенном, экономически важном и политически активном Татарстане. В соответствии с принципом гомологической подобности, новоиспеченные государственные мужи из Москвы ощущали большую близость к «серьезным» представителям чеченского политико-технократическо-культурного истеблишмента, нежели к простонародной толпе на улицах и ее популистским вожакам. Влиятельный и властный спикер российского парламента Руслан Хасбулатов в ходе осенней революционной бури 1991 г. оставался в Москве, где у него хватало опасных противников. Тем не менее его участие в грозненских политических маневрах едва ли подлежит сомнению. Хасбулатов преследовал несколько целей одновременно: обеспечить лояльность будущего правителя своей малой родины не только российской демократии, но и лично себе, тем самым, создав электоральную базу для своего гарантированного переизбрания и в будущие парламенты России. Главным орудием Хасбулатова было парламентское право законодательной инициативы, которое он искусно применял для поддержки своих протеев. Однако чеченские умеренные реформисты, не защищенные государственным аппаратом принуждения, не могли эффективно воспользоваться декларативными заявлениями и стремительно теряли опору. Радикалы же видели, что их сила — во внепарламентском прямом действии и массовой мобилизации.

Довольно суетливые и противоречивые попытки политического манипулирования со стороны московских демократов окончательно отвратили Дудаева и его радикальных соратников, которые с достаточным на то основанием ощущали, что их не считали способными управлять посткоммунистической Чечней. Подобно ингушским сельским начальникам и интеллигентам, чьи поспешные действия и заявления радикализировало внутриэтническое межэлитное соперничество с видными (но организационно разобщенными) ингушами из больших городов, лидеров чеченской революции подтолкну-

ла к скорым действиям угроза оказаться совершенно не у дел, когда высокостатусные политики в Москве и Грозном с успокоением обстановки перестали бы с ними считаться. Харизматичный одиночка Дудаев решил пренебречь хасбулатовскими заклинаниями о необходимости поддержания конституционного порядка и закрепить свои политические достижения путем полной ликвидации верховного совета республики и скорейшего проведения новых парламентских и президентских выборов в Чечне (теперь без груза этнически родственной, но во всем «младшей» и именно потому ревниво настроенной Ингушетии). Плану Дудаева нельзя отказать в смелости и институциональном видении. Форсированное проведение выборов в условиях пока несхлынувшего революционного азарта обещало закрепление достигнутого в ходе массовой мобилизации политического статуса ее радикальных вожаков. Вспомните персонажи из первой главы: поэта—патриота—политика Зелимхана Яндарбиева; молодого журналиста и впоследствии исламского пропагандиста Мовлади Удугова; бывшего инженера, историка-самоучку, неформала и впоследствии калифорнийского политэмигранта Лёму Усманова; наделенного талантом и внешностью кинозвезды актера грозненского драмтеатра Ахмеда Закаева, еще одного будущего политэмигранта и переговорщика повстанцев; бывшего милиционера, превратившегося в кооперативного «силового предпринимателя» и затем главу отряда боевиков под громким названием «Партии исламского пути» Беслана Гантамирова; неудавшегося студента, антипутчистского защитника Московского белого дома в августе 1991 г. и, увы, вскоре гораздо более успешного угонщика самолета Шамиля Басаева; комсомольского работника и многообещающего экономиста-международника Салмана Радуева; а также бывшего заключенного и зажигательного оратора Юсупа Сосламбекова — соратника и заместителя Мусы Шанибова в руководстве Конфедерации горских народов. (Честно говоря, впоследствии наблюдая этих людей и реконструируя их причудливые, зачастую трагичные биографии, я не мог отделаться от предположения, что вот этот в российском политическом спектре наверняка бы стал типичным «яблочником», вон тот бы со временем сделал карьеру в партии власти, а другой бы вписался в партию Жириновского, если бы, конечно, не сделался исламистом.)

История в бифуркационной точке осени 1991 г. распорядилась иначе. Выдвинутое в российском парламенте предложение Хасбулатова о признании грядущих чеченских выборов недействительными, Дудаев парировал утверждением, что Чечня не находится в юрисдикции Российской Федерации. (Хотя и остается, коварно добавлял Дудаев, в составе СССР.) Вместо того чтобы представить

свои решения на суд московских правовых экспертов, Чечня заявила о необходимости заключить вначале мирный договор с Россией (Дудаев позаимствовал это требование у Эстонии), который, как утверждалось, должен был положить конец «Трехсотлетней войне» между Российской империей и чеченским народом. 27 октября 1991 г. Дудаев был избран президентом 85-ю процентами голосов, хотя либеральная оппозиция и попыталась оспорить итоги выборов. 2 ноября Чечня провозгласила свою независимость³⁴.

В то время в Москве президент России Ельцин пытался вырвать власть из рук президента угасающего СССР Горбачева, что объясняет позорно нескоординированную демонстрацию силы против сепаратистского восстания в Грозном. 9 ноября несколько подразделений внутренних войск приземлились на военном аэродроме неподалеку от Грозного, чтобы ввести в действие объявленное той же ночью ельцинским правительством чрезвычайное положение. Дудаев незамедлительно появился на телеэкранах чеченских зрителей с крайне эмоциональным воззванием к народу, заявив в очередной раз не менее как об угрозе повторения сталинской депортации — на сей раз со стороны предавшего идеалы демократии и самоопределения народов нового руководства России. Дудаевское воззвание могло показаться, по меньшей мере, излишне драматизированным стороннему наблюдателю, но не большей части чеченцев. Печальное высказывание Милана Кундеры о том, что малые нации знают, как легко могут исчезнуть, для этого народа звучало жестокой правдой. На 1991 г. почти каждый третий чеченец пережил выселение или родился в ссылке; все знали, как 23 февраля 1944 г. в один день части НКВД и армии загнали целый народ в товарные вагоны — такова была убийственная эффективность сталинской бюрократии в ее зените. Отдаленные горные деревни, дороги к которым зимой оказались непроходимыми, уничтожались авиацией и артиллерией. Еще раз призыву серьезно воспринимать психологический отпечаток, накладываемый экзистенциальным ужасом геноцида на нации, чьи страхи и самозащитные реакции без учета данного комплекса могут показаться совершенно чрезмерными. В не меньшей мере, чем к чеченцам-мусульманам, сказанное относится к армянам-христианам и евреям, и очевидно не восходит ни к цивилизации, ни к религиозной традиции. (Этносоциальные культурные диспозиции, организационные практики, политические обстоятельства играют роль на следующих этапах, придавая реакции ту или иную

³⁴ Chritopher Panico, *Conflicts in Caucasus: Russia's War in Chechnya*, Conflict Studies 281. Washington: Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, 1995, p. 7.

направленность и форму.) Это легко политизируемый порыв к преодолению чудовищной и унижительной травмы коллективной виктимизации в прошлом и обеспечения выживания в будущем, что и отразил фундаментальный легитимирующий лозунг государства Израиль «*Больше никогда!*» Именно по причине крайней силы эмоций постгеноцидного синдрома эти коллективные переживания обычно благоприятствуют политическим экстремистам.

Чрезвычайное положение, бездумно объявленное Ельциным в ночь на 9 ноября 1991 г., возымело совершенно противоположный эффект³⁵. В одночасье угроза силового вмешательства, воспринятая, как насилие против нации, сплотила чеченское большинство и, тем самым, лишила политического будущего всех, кто по той или иной причине выступал против провозглашенной Дудаевым независимости. Когда ночью первые военно-транспортные самолеты совершили посадку в Чечне, их окружили вооруженные революционеры и тысячи шумно протестующих гражданских. Деморализованные политической неразберихой подразделения, не имевшие ни четкого приказа, ни подготовленного защищенного плацдарма для высадки, ни даже достаточно огнестрельного оружия, фактически сдались на условиях предоставления им возможности вскоре покинуть бушующую Чечню. Узнав о происшедшем позоре, российский парламент подавляющим большинством проголосовал за отмену режима чрезвычайного положения в Чечне и осудил президента Ельцина за возвращение к «тоталитарным» методам. Чтобы усилить пропагандистский эффект, чеченские революционеры настояли на вывозе подразделений внутренних войск автобусами, вынужденными медленно продвигаться через многотысячные ликующие толпы. Провалившаяся операция стала первым крупным унижением ельцинского президентства. Муса Шанибов, активно участвовавший в этих невероятных событиях в качестве главы Ассамблеи горцев и личного друга многих чеченских радикалов (бла-

³⁵ Авторство неудачного указа, как обычно, оспаривается. Называется также вице-президент России генерал Руцкой, незадолго до этого летавший в Грозный и, кстати, обнимавшийся там с собратом-летчиком Дудаевым. Это вызвало среди чеченцев возмущение столь циничным вероломством. Руцкой, которого можно обвинить во многом, но не в политическом хитроумии, скорее всего, сам поверил в свою особую способность договориться с Дудаевым по-геройски. Тем большим, вероятно, было его унижение и гнев, когда по возвращению в Москву политические недоброжелатели выставили вице-президента дураком. Как бы то ни было, исхода дела это не меняет, хотя и помогает понять истоки глубокого недоверия чеченских повстанцев к московским переговорщикам.

го из Нальчика в Грозный можно было домчаться на машине за пару часов), считал случившееся заслугой как собственной, так и своих чеченских друзей. Однако, представляется, что в те дни главной (хотя и едва упоминаемой) проблемой президента России Ельцина оказался президент СССР Горбачев, у которого Ельцин все еще не мог отнять верховное главнокомандование вооруженными силами, и лишь затем президенты горской ассамблеи и самопровозглашенной Чечни Шанибов и Дудаев. В результате, прибывшие в Чечню внутренние войска оказались вооружены лишь щитами и резиновыми дубинками, а были встречены повстанцами с «Калашниковыми» и даже танками³⁶.

Вооруженные силы чеченской революции создавались на разнородной основе групп телохранителей теневых предпринимателей, освобожденных из тюрьмы уголовников, плюс романтических студентов (к которым, как ни крути, относился и Шамиль Басаев, скандально вернувшийся из Москвы на угнанном рейсовом самолете) и жаждущей действий субпролетарской молодежи из пригородов и сел. Вначале довольно спонтанно они собирались под экзотическими знаменами Партии исламского пути, Национальной гвардии, Общества бывших заключенных (Нийсо) и др. Это изначально были и надолго останутся самостоятельные группировки, собранные на основе того или иного социального типажа и разновидности групповой солидарности, подчиняющиеся собственным вожакам. Совместно они выступали в моменты эмоционального возбуждения нации и общей опасности, в остальном действуя совершенно независимо друг от друга, как, впрочем, и самих Дудаева и Шанибова. Разговоры о старинных дедовских схронах и немецких стволах, отыскиваемых в горах «черными археологами», более имеют отношение к романтике, нежели реальности массового самовооружения. Современное, в хорошем состоянии оружие либо похищалось с военных складов, либо, что много вероятнее, приобреталось у подкупленных военнослужащих Советской армии, причем подкуп, очевидно, происходил на всех уровнях, от министерского и генеральского до прапорщиков, имевших ключи от складов, и даже якобы их охранявших рядовых. Более точно сказать что-либо просто смертельно опасно (предпринимавшие расследования журналисты погибали, парламентское расследование родило мышь) и, для наших задач, ни к чему. Результат и без того налицо. Причины следует искать в суммарных последствиях быстрого распада советских командных структур на территории Чечни, общей аморализа-

³⁶ Carlotta Gall and Thomas de Waal, *Chechnya: Calamity in the Caucasus*. New York: NYU Press, 1998.

ции и расхитительства периода обрушения советской государственности в сочетании с маскулинными статусными представлениями горских народов и стихийной фрагментацией прежнего классово-национального преимущественно городского общества на этносемейные преимущественно негородские ячейки. В самом деле, оружия в Чечне уже вскоре после развала СССР ходило столько, что на толкучке в Грозном можно было купить ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный) или ручной противотанковый гранатомет по цене телевизора. Зрелище подобного рынка и его своеобразный шум (когда потенциальные клиенты на месте опробовали оружие) притягивали в дудаевскую Чечню специфических визитеров едва не со всего бывшего Советского Союза. Перед затуманенным экзотизмом происходящего взором российских журналистов, во множестве приезжавших в мятежную республику, проносились сцены из кавказских рассказов Толстого, тогда как их западные коллеги, в зависимости от личного опыта, регулярно сравнивали чеченцев с корсиканцами и басками либо курдами и пуштунами. Президент Дудаев, риторически превращая зло во благо, пообещал, что независимость и демократия Чечни будет иметь защитой поголовное вооружение своих граждан — как он выразился, «по швейцарской модели демократии».

На практике это означало, что «ичкерийцы» взяли в свои руки защиту своих собственности и жизни. Возникший режим дисперсной власти вовсе не был равен для всех граждан, а благоприятствовал лишь тем, кто в социальном и психологическом отношении был готов уповать на силу, а также на поддержку родственников и друзей. Чеченская молодежь из сельских и субпролетарских районов находилась в гораздо более благоприятном положении, нежели верхние слои городского населения, тем более, русские переселенцы и специалисты. Наглые и жестокие преступления, совершенные в тот период вторгавшимися в город вооруженными чеченцами в отношении не успевших его покинуть русских, имели основой корысть, а не национальную или религиозную нетерпимость и тем более геноцид, о котором в пропагандистском западе писали впоследствии московские националистические публицисты. Русские и даже многие чеченцы-горожане запросто могли пасть добычей тех, кто пожелал завладеть их имуществом или квартирой³⁷. В сравнении с ними субпролетарии и сельские чеченские

³⁷ Таймаз Абубакаров приводит в своих воспоминаниях два показательных эпизода. Уличные менялы-валютчики, отпихнув пассивных охранников, врываются в здание Центробанка Чечни, чтобы проучить его главу-чеченца, попытавшегося регламентировать и обложить налогом обменные операции. Изби-

парни имели куда больше автономных от государственности навыков и средств выживания в условиях обвала. Они могли прожить на урожай с приусадебного участка, бартерный обмен, средства от работающих за рубежом родственников или даже мгновенно разбогатеть на прибылях от хищений, захватов и контрабандной торговли (которая оказалась крайне выгодной с отмиранием пограничного контроля в последние годы советской власти). Если сельчане и субпролетарии и так были мало связаны со старым государством и зачастую считали его досадной помехой, то жившие на государственную зарплату, привыкшие к механизмам социального обеспечения и к защите со стороны правоохранительных органов инженеры, учителя и нефтяники попросту не знали, что им теперь делать.

Неудивительно, что одностороннее объявление независимости Чечни привело к исходу не только русских специалистов, но и почти всей чеченской технической и управленческой элиты³⁸. Уже в 1992–1993 гг., еще до российского военного вторжения и войны, насчитывалось 200 тыс. горожан, бежавших от беззакония. В то же самое время численность официально зарегистрированных в Москве чеченцев подскочила с трех до более чем девяноста тысяч человек. Большинство из них не могло состоять в чеченской московской мафии — всем им и при желании не хватило бы там ролей и добычи. В большинстве своем это были те самые специалисты «бюджетники», которым из-за отмирания бюджетного сектора в Чечне оставалось искать заработков где-то в России. Их исход физически убрал из дудаевской Чечни практически всех претендентов

тому и униженному главному государственному банкиру приходится бежать в родное село и искать защиты у родственников. В другом эпизоде президент Дудаев на заседании своего правительства вменяет членам кабинета выходить парами на ночное патрулирование против расхитителей. Министр финансов Абубакаров оказывается в паре с министром внутренних дел ночью на товарной станции, где они видят, как неизвестные выкачивают бензин из железнодорожной цистерны. Оказывается, это подчиненные самого министра внутренних дел — чеченские милиционеры, которые, в лучшем случае, согласны не повторять подобные действия, но на сей раз настаивают докачать остатки, потому что бензин уже кем-то куплен. См. Абубакаров Т. *Режим Джохара Дудаева: правда и вымысел*. М.: ИНСАН, 1998.

³⁸ Большую ценность имеют материалы, собранные активистами правозащитного общества «Мемориал» Олегом Орловым и Александром Черкасовым, *Россия и Чечня: цепь ошибок и преступлений*. М.: Звенья, 1998; см. также Дмитрий Фурман (ред.). *Чечня и Россия: общества и государства*, М.: Политинформ-Талбури, 1999; Гаккаев Д. *Очерки политической истории Чечни*. М., 1997.

на политическую власть — кроме тех, кто смог и вскоре привык прокладывать себе путь оружием.

Трагическая история постсоветской Чечни подводит нас к мысли, что случился худший из всех возможных исходов — революционные потрясения не привели к возникновению нового режима власти какого угодно характера. Артур Стинчкомб дает революциям определение «периодов, когда частота изменений властных позиций между фракциями, социальными группами или вооруженными структурами становится чрезвычайно высокой и происходящие изменения непредсказуемы. Революции завершаются тогда, когда политическая неопределенность существенно понижается путем заключения достаточно твердых договоренностей, которые соблюдаются постольку, поскольку встроены в политическую структуру, способную своей силой обеспечить исполнение договоренностей»³⁹. Стинчкомб подытоживает свое теоретическое эссе о том, чем обычно завершаются революции, перечислением шести видов политических структур, способных снизить политическую неопределенность: консервативное авторитарное восстановление (или «Термидор»), независимость, оккупационный режим, тоталитаризм, демократия и, наконец, дробление власти на личные уделы и «вотчины», что в западной политологии обозначается латиноамериканским словечком *каудильлизм*. Чечня после 1991 г. двигалась во всех вышеуказанных направлениях, и ни в одном из них не дошла до конца.

Чечня служит наглядным исключением из общей тенденции консервативной авторитарной реставрации на постсоветском пространстве (включая Кабардино-Балкарию). До августа и даже ноября 1991 г. (провалившейся попытки Ельцина ввести режим чрезвычайного положения) консервативный исход казался наиболее вероятным и в случае Чечни — если бы в завершающей фазе революции силы, которые могли осуществить номенклатурно-олигархическую реставрацию, не оказались дискредитированы и вынуждены бежать из Грозного в свои родные села или в Москву. Провозглашение Дудаевым независимости (второй в списке Стинчкомба вариант исхода) не привело к созданию нового государства, обладающего необходимыми политическими, силовыми и экономическими возможностями. Независимое государство не состоялось, потому что Россия объявила Чечне блокаду, пускай в текущих делах совершенно коррумпированную и пористую. Однако тем самым была предотвращена возможность международно-

³⁹ Arthur Stinchcombe, *Ending Revolutions and Building New Governments*, *Annual Review of Political Science* 2 (1999), p. 49.

го признания независимости Чечни подобно бывшим союзным республикам и исключена возможность поступления зарубежной государственной помощи, кредитов или инвестиций, которые, так или иначе, послужили бы для финансирования дудаевского государства. По той же причине не могли возникнуть ни тоталитарный, ни демократический режимы, поскольку оба исхода, каждый по-своему, нуждаются в наличии эффективно действующих бюрократических учреждений и полиции. Без дисциплинированного и привилегированного корпуса полиции и чиновничества не состоится подлинной диктатуры, но то, что возникнет в остатке, не сможет стать и эффективной демократией. Возникнет, скорее всего, то, что и возникло в дудаевской Ичкерии – фрагментарная вооруженная анархия.

Российское военное вторжение в свой черед не смогло насадить эффективное оккупационное правительство. В 1995–1996 гг. Москва послала в Грозный остатки номенклатуры во главе с Саламбеком Хаджиевым и, после его скорой эмоциональной отставки, с тем же Завгаевым, свергнутым четырьмя годами раньше. Но эти люди оказались неспособны заручиться политической поддержкой населения, поскольку общественное мнение ассоциировало их номинальную власть с чудовищными разрушениями и жестокостями федеральных войск, а главное – неспособностью предотвратить злодеяния и защитить кого–либо от произвола. Вдобавок, они мало что могли предложить в экономической и социальной областях, поскольку средства, направленные ельцинским правительством на восстановление разрушенной войной республики, скандальным образом исчезли где-то по дороге между различными кабинетами власти в Москве и в оккупированном федералами Грозном.

В ходе второй чеченской кампании Москва применила иной подход, амнистировав и взяв на службу перебежчиков из лагеря чеченского вооруженного сопротивления. Наиболее значимым из них был Ахмад Кадыров – официальный духовный глава мусульман (муфтий) при Дудаеве, которому многие припоминали объявление в 1995 г. джихада против России. Кадыров, принадлежавший к традиционному суфийскому течению в исламе и начинавший профессиональную религиозную карьеру еще в советские времена, к началу второй чеченской войны оказался в смертельном противостоянии с воинствующими исламистами ваххабитского пуританского толка (впрочем, далеко не по-пуритански обильно финансируемые из источников в аравийских нефтяных монархиях), которые сумели обратить в своих приверженцев значительную часть разочаровавшихся боевиков.

Прежде Кадырова стратегическим союзником Москвы потенциально мог стать и легитимно избранный в 1997 г. начальник главного штаба ичкерийских сепаратистов бывший советский полковник Аслан Масхадов. Для его усилий по восстановлению чеченской государственности не меньшей угрозой оказались воинствующие исламисты, которые подрывали с религиозно фундаменталистских позиций не только идеологическую легитимность и институциональную управляемость Чеченской республики, но и, используя свои вооруженные отряды, силой захватывали или создавали большей частью нелегальные финансовые потоки. В Москве, переживавшей собственный опутанный интригами кризис на закате ельцинской эпохи, Масхадова винили в унижительных поражениях недавней войны и опасались, что в случае успеха Масхадов станет слишком самостоятельным. Однако подлинная трагедия и беда Масхадова состояла в том, что он был отличным строевым офицером, но оказался слишком прямолинейным и наивно честным политиком. Вот именно, Масхадов проявил себя недостаточно циничным и коррумпированным, чтобы выжить в ситуации, когда власть приходилось обеспечивать не как командиру налаженного гарнизона, а скорее, подобно феодальному владетелю, раздачей кормлений, сбором дани, кровной мстостью врагам и отступникам. В конечном итоге его убрали, освободив площадку для далеко превзошедшего ожидания наследника своего отца Рамзана Кадырова и его уже совершенно неполитических противников. По теоретической схеме Стинчкомба, прошел, наконец, последний из вариантов – неинституционализированная, целиком личная власть с опорой на практически частную военную дружину, или каудильизм. Стинчкомб, впрочем, замечает под конец, что каудильизм (или, с более восточным оттенком, султанизм) в структурных основаниях настолько нестабилен, что едва ли его можно считать надежным и окончательным завершением революций.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ: УХОД ОТ РЕВОЛЮЦИИ

Кабардино-Балкария и Чечено-Ингушетия до осени 1991 г. выглядели так, будто были намеренно выстроены для сравнительного политологического анализа: похожая география, культурные традиции, формальный статус автономных республик. Но, как мы увидим ниже, пропорции соотношения классов и этнических сообществ, местная история, время действия или социальная конфигурация политического патронажа могут сыграть значительную роль во времена хаоса. Последовательность событий также до определенного момента выглядела схожей: подобно ингушам в еди-

ной до сентября 1991 г. Чечено-Ингушетии, балкарское меньшинство в Кабардино-Балкарии провозгласило свой выход из единой административной единицы. Последний коммунистический руководитель автономии, кабардинец Валерий Коков, под давлением демонстраций протеста ушел было в отставку, оставшийся с советских времен верховный совет был дезорганизован и стоял на грани роспуска. Возникли альтернативные центры политической власти, оппозиция принялась создавать вооруженные отряды. И внезапно все прекратилось. Как самокритично выразился Шанибов: *«Если бы мы тогда пошли до конца, то сегодня я бы стал каким-нибудь диктатором, а наша республика, скорее всего, лежала бы в развалинах, как Чечня. Конечно, большинство наших бюрократов воры, но свергни их – и могло быть намного хуже»*.

Местные наблюдатели и сам Шанибов единогласно относят эту разницу в исходах на счет этнических характеров – разумеется, почтительные и церемонные кабардинцы, в отличие от чеченских сорвиголов, знали, где остановиться. Многие на Северном Кавказе усматривают особую мистическую иррациональность в чеченском стиле ведения войны или исповедования ислама. Это мнение подкрепляется авторитетными цитатами из произведений русских классиков, таких как Лермонтов и Толстой, в середине XIX в. молодыми офицерами воевавших на Кавказе и оставивших нам романтизированные портреты благородных или неукротимых и коварных горцев. Литературные произведения, в самом деле, могут приобретать актуальное значение – но, скорее, потому, что поэзия Лермонтова и проза Толстого служат источником национальной гордости на Северном Кавказе, где все изучали русскую классическую литературу в школе. Возможно также, история чеченского сопротивления и кабардинских, в целом, примирительных отношений с Российской империей в XIX в. имеет большое значение. Однако позвольте спросить, посредством каких именно социальных механизмов дальнейшие исторические явления могут воздействовать на настоящее? Иначе легко впасть в идеологическую романтизацию.

Оставим поэтому Толстого, который мало чем мог бы помочь в построении социологических гипотез. Со свойственной науке занудной дотошностью поищем лучше доказательств, согласующихся или несогласующихся с выстраиваемой теорией. Предположим, что расходящиеся после 1991 г. траектории северокавказских республик, в первую очередь обусловлены относительным различием значений двух переменных: а) классовой структуры и б) промежутка времени между возникновением и исчезновением исторических возможностей. Ну, и так трудно поддающиеся формализации случайности на уровне личного фактора. Хронологическая рекон-

струкция событий в Грозном, Нальчике и Москве ясно указывает на временной промежуток как на наиболее вероятную причину. Однако время для нас является социальной категорией, определяющей продолжительность возникновения или завершения процесса. Выше я уже пытался объяснить, почему революционная мобилизация в Чечне оказалась столь упорной и эмоциональной и почему она затем принесла столько насилия. Здесь же я попытаюсь развить несколько дальнейших наблюдений и гипотез относительно того, почему схожая мобилизация у кабардинцев разворачивалась более медленно, почему она (за исключением нескольких моментов) не была столь эмоциональной, и почему старый номенклатурный режим удержал власть и сумел отвлечь революционное насилие, «экспортировав» его в соседнюю Абхазию.

В советские времена кабардинцы всегда возглавляли правительственные структуры автономной республики, что можно объяснить двумя историческими факторами. Во-первых, старая кабардинская культура феодальной лояльности неплохо вписалась в этику государственно-бюрократической и военной службы, в силу чего кабардинцы в советском офицерском корпусе оказались представленными значительно выше процентной доли народа в населении СССР (что, конечно, пополнило список кабардинских поводов для национальной гордости и направляло молодые поколения на достижение советской начальственной карьеры). Практически всегда в советский период кабардинские национальные кадры стояли у руля власти в своей автономии. Со времен десталинизации в местных бюрократических структурах установилась значительная стабильность и преемственность (или же, с другой точки зрения — закостенелость и недостаток мобильности, жертвой чего оказался и наш эталонный кабардинец Юрий Шанибов). После своего возвращения из ссылки в 1957 г. представители балкарцев были относительно пропорционально включены в номенклатурный эшелон, где пользовались фактическим правом на вторые места во всех формальных учреждениях и иерархиях. Благодаря устойчивому преобладанию нацкадров, которые блюли свои корпоративные интересы вместе с идеей национального представительства, в Кабардино-Балкарии советская национальная политика применялась последовательно, без свойственных Чечено-Ингушетии «перекосов». Сказывалось и отсутствие сверхважных промпредприятий, подобных грозненскому нефтекомплексу. В итоге лишь немногие этнические русские оказывались на высших властных позициях в этой автономии.

Временной промежуток, разделяющий революцию в Чечне и неудачную мобилизацию в Кабардино-Балкарии, имел, таким образом, исторические и структурные причины. Проще говоря, моби-

лизовать кабардинцев на борьбу со своей властной элитой оказалось сложнее, поскольку довольно многие кабардинцы были либо частью истеблишмента, либо близки к его членам. Кроме того, не было исторически недавней национальной трагедии, которая могла бы вызвать сильные общие эмоции, сравнимые с чеченским переживанием трагедии 1944 г. Еще раз подчеркнем, что это условие является культурно конструируемым и потому подвижным в ту или иную сторону. На протестную мобилизацию работали усилия кабардинских и других черкесских историков и литераторов «приблизить» или «разбудить» трагедию *мухаджирства* – движения мусульманских беженцев, в 1860-х гг. под давлением русских штыков ушедших в изгнание в Османскую империю. Разумеется, балкарцы перенесли гораздо более недавнюю коллективную травму депортации 1944 г., и их национальное движение мобилизовалось с быстротой и эмоциональностью, сравнимой с опытом Чечено-Ингушетии. Однако сепаратистские требования балкарского меньшинства, шедшие вразрез с притязаниями кабардинского большинства, не усилили, а, наоборот, раскололи потенциально революционный блок на враждующие течения.

Временной промежуток также совершенно очевидным образом обусловил разницу в реакции Москвы. Возглавлявшаяся в 1992 г. Шанибовым попытка революционного захвата власти развернулась спустя целый год после свершившейся революции и отделения Чечни. Ельцин, который осенью 1991 г. пытался отобрать власть у Горбачева, теперь уже сам стоял перед необходимостью сохранения российского государства. Повторяя горбачевский поворот вправо, Борис Николаевич быстро преодолел демократические предрассудки и предоставил кабардинской номенклатуре поддержку (с благодарностью принятую), чтобы не допустить новой Чечни и политически обезопасить рыночные реформы, от которых в те дни ждали скорого чуда.

Но поддержка Москвы не могла быть достаточно действенной. Российское государство и его политическая верхушка выглядели крайне дезорганизованными в месяцы, последовавшие непосредственно за развалом СССР и союзной экономики. Национальная мобилизация кабардинцев на фоне нестабильности и экономических потрясений все еще набирала обороты и с новой силой вспыхнула в августе 1992 г., когда грузинские боевики вторглись в братскую для черкесов Абхазию. Вторжение создало огромный эмоциональный повод. В центре Нальчика собрались огромные разгневанные толпы, которые, на сей раз, встретили милиция, войска и бронетехника. Революционные массы, как известно, способны творить чудеса. На самом деле, чудеса случаются, когда обороняющиеся военные не

уверены в твердости и правоте отдающих им приказы политиков, а толпу несет волна эмоциональной энергии, возникающей, когда под угрозой оказывается нечто (или некто), воспринимаемое как важнейшая ценность – например, будущее родственных черкесских народов, которые на протяжении последних столетий уже потеряли столько людей и родных земель. Солидарность с борющейся за выживание Абхазией для кабардинцев, адыгейцев, черкесов стала эмоционально настолько же неотделима от собственного прошлого и будущего, как ранее судьба Карабаха для всех армян. Эффект травмы геноцида, актуализируемый абхазо-черкесскими национальными интеллигенциями вначале в литературных произведениях, а затем на площадках гласности и перестройки, все-таки сработал и в этом случае. Воодушевление и бешеная решимость наступающих кабардинцев заставили оцеплявшие площадь войска отступить и искать убежища в правительственных зданиях. Революционеры завладели в бою щитами, дубинками, касками и даже несколькими стволами оружия, что подвинуло их к дальнейшим шагам. А ведь это были вполне обыкновенные вчера еще советские люди. *«Знаете, я никогда не мог вообразить себя делающим что-либо подобное, например, забраться на танк, стучать в люки и требовать, чтобы солдаты вылезли и отдали нам оружие»*, – вспоминает молодой, застенчивого вида преподаватель в очках с огромными толстыми линзами.

Победа Кокова на президентских выборах в январе 1992-го разрушила множество иллюзий. Кабардинская оппозиция осознала, что им от Ельцина не следует ожидать никакой помощи, а остается продолжать мобилизацию народа и возможно, прибегнуть к революционному устрашению силой. Шанибов скрытно выехал в Чечню, надеясь привезти оттуда хотя бы полсотни автоматов, с помощью которых планировалось завладеть арсеналами оружия в Кабардино-Балкарии. Присмотрели и место для базы кабардинских боевиков в одном из недостроенных горных туннелей. Там же, на горно-строительных работах, разжились взрывчаткой. Метод разграбления арсеналов к тому времени был хорошо известен: офицеров войсковых частей либо подкупали толстыми пачками наличных, либо запугивали демонстрацией решимости гражданских, лучше всего женских толп, подкрепляемых сзади отрядом боевиков. Чаще всего имело место сочетание обоих методов, поскольку взявшим деньги офицерам нужно было иметь видимую оправдательную причину, чтобы избежать трибунала⁴⁰.

⁴⁰ Anna Matveeva and Duncan Hiscock (eds), *The Caucasus: Armed and Divided. (Small arms and light weapons proliferation and humanitarian consequence in the Caucasus)*. London: Safeworld Report, April 2003.

Больших денег у Шанибова не было, так что автоматы были необходимы в качестве «начального капитала» для захвата необходимого для революции оружия. Однако президент Дудаев отказался предоставить даже несколько стволов. Указав на окно, он печально спросил у Шанибова, хочет ли тот, чтобы его родной Нальчик уподобился до зубов вооруженному и погружившемуся в анархию Грозному? В данном эпизоде трудно судить о степени искренности Дудаева. Может, он не желал вызвать дополнительный гнев Москвы, с которой все еще надеялся достичь компромисса, или же, как генерал, просто не доверял кандидату наук Шанибову. Возможно, по каким-то своим соображениям отсоветовал Звиад Гамсахурдия, который после свержения в январе 1992 г. жил в изгнании у Дудаева в Грозном⁴¹. Существовало еще одно объяснение – желание чеченского руководства встать во главе Конфедерации горских народов. Чечня была единственной составной Конфедерации, отделившейся от России, и на этом основании Дудаев мог видеть себя в качестве законного главы движения за большое горское государство, а в Шанибове с его черкесским национализмом видеть соперника. Подобного рода напряженность хорошо засвидетельствована в анналах пан-националистических и международных революционных движений – стоит посмотреть на сложные отношения Бисмарка с пан-германистами, роль Советского Союза в Коминтерне, насеровского Египта в пан-арабском национализме, Ганы времен Кваме Нкрумы в пан-африканизме, или даже кастровской Кубы в Латинской Америке⁴².

Шанибова отказ Дудаева раздосадовал, но не остановил. Революции представляют собой моменты в истории, когда самые странные импровизации способны внезапно изменить ход событий. У себя в Нальчике в штаб-квартире теперь уже не ассамблеи, а Конфедерации народов Кавказа Шанибов получил факс от вице-президента Конфедерации и одного из лидеров парламента Чечни Юсупа Сосламбекова⁴³. Это был проект официального заявления

⁴¹ При этом Дудаев, никогда не упускавший возможности напомнить о своем звании генерала авиации, грозился бомбить Тбилиси с воздуха, а Гамсахурдия уже после поражения осенью 1993 г. грузинских гвардейцев – которые его и свергли тремя годами ранее – вернется в западную Грузию для организации восстания, но вскоре загадочно окажется мертвым. Загадки оставим их любителям, сказав лишь: все это больше напоминает хаотичную импровизацию, в которой трудно разглядеть логику.

⁴² Louis Snyder, *Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements*. Westport: Greenwood Press, 1984.

⁴³ Юсуп Сосланбеков, как уже упоминалось, не имел высшего образования и провел несколько лет в тюрьме по уголовной статье (то ли за драку, то ли

Конфедерации, осуждающего грузинское вторжение в Абхазию и содержащий ряд пунктов, которые Шанибов вначале отверг как проявление типичной чеченской бравады. Предлагалось объявить не только состояние войны с Грузией, но и интернировать всех грузин на Северном Кавказе в качестве заложников до вывода грузинских войск из Абхазии. Изменить первоначальное мнение, по словам Шанибова, его заставила секретарша, указавшая на толпу, собравшуюся под окнами на улице. И тогда он собрался с духом и добавил последний параграф — приказ на выступление «добровольческих миротворческих батальонов Конфедерации горских народов», санкционировавший применение силы против всякого, кто попытался бы воспрепятствовать их выдвиганию в Абхазию. Поскольку Абхазия имела границы лишь с Грузией и Россией, последняя строчка шанибовского приказа фактически предполагала нападение на российских пограничников и милиционеров, если те попытались бы закрыть границу. Вспомним, однако, прокурорскую молодость, Шанибов на всякий случай попросил секретаршу вместо него подписать грозный приказ — чтобы, в случае чего, отказаться от него. Оценим шанибовскую откровенность. Он сильно, наверное, боялся — но и бездействовать не мог. Его бы смели собственные бунтари. Надежда была на то, что война в Абхазии вскоре угаснет. Разумеется, не было ни батальонов, ни оружия, однако решил Шанибов, *«серьезный блеф следует доводить до конца»*. Но кто в разгаре революционной ситуации, включая тех, кто стоит вроде бы во главе, может с уверенностью сказать, что является блефом, а что нет?

Несколькими днями позже в районе Пятигорска российские гаишники остановили на транскавказской автомагистрали колонну из двух грузовиков и нескольких легковушек без номерных знаков. Выскочившие из них молодые люди потребовали права проезда на том основании, что являются... передовым отрядом миротворческого батальона Конфедерации горских народов! Когда милиционеры в сомнении запросили по телефону начальство из города, командир добровольцев вынул листок бумаги и, указывая на него, с мрачной решимостью заявил, что на основании приказа президента Конфедерации Мусы Шанибова милиционеры и спешно прибывший из города руководитель горсовета берутся в заложники

за изнасилование). Однако он оказался способным политическим самоучкой и митинговым оратором. В Чечне Сослаббеков считался серьезным соперником Дудаеву, что позже привело к ссоре между ними. Еще до первой чеченской войны Сослаббеков добровольно покинул Чечню и обосновался в Москве. Там в 2001 г. он был убит при, как обычно, загадочных обстоятельствах.

и при попытке бегства будет применено оружие. Молодым вожаком добровольцев был дотоле неизвестный чеченский тракторист Руслан Гелаев, позже ставший одним наиболее известных лидеров чеченских боевиков. А тогда он вынудил взятых в заложники милиционеров и местных руководителей сопровождать его колонну до горного перевала на границе с Абхазией.

Подобное самоуправство происходило во многих северокавказских республиках, особенно в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, где этническое черкесское родство с абхазами ощущалось особенно сильно. Повсюду возникали группы молодежи, именовавшие себя добровольческими батальонами Конфедерации горских народов. Наиболее решительные демонстрировали чудеса выносливости, спешно переходя горные перевалы пешком, другие ехали к абхазской границе автобусами, чтобы на свой страх и риск пересечь пограничную реку Псоу вброд или добраться до абхазских зон контроля на катерах. Оставшиеся бушевали на площадях столиц своих республик, требуя от местных властей оружия и транспорта для выезда на защиту абхазских братьев от грузинских агрессоров. Северокавказская (вернее общечеркесская) революция внезапно вспыхнула от искры, которой стала Абхазия.

В Нальчике Шанибова пригласили в Министерство внутренних дел республики — как он полагал, для обсуждения путей снижения напряженности и предотвращения дальнейших стычек между митингующими, войсками и милицией. Вместо этого Шанибова без обиняков спросили, является ли Конфедерация горских народов общественным движением или же государственным образованием? Если это общественная организация, то должно подать заявление для регистрации соответствующими государственными органами РФ. Но поскольку Конфедерация объявила войну Грузии и начала ставить под ружье батальоны, то, следовательно, шанибовская организация начала присваивать себе атрибуты и суверенные права независимого государства, что является прямым нарушением российской конституции. Этот увлекательный теоретический диспут завершился арестом Мусы Шанибова, которого усадили в крытый тентом кузов грузовика и под конвоем отделения солдат на бешеной скорости повезли в аэропорт, где его уже дожидался вертолет.

Несколькими днями позже Шанибов бежал из тюрьмы. Московские (и тем более грузинские) журналисты сходились в циничной оценке побега как результата некой негласной сделки. Но может, все было проще, хотя и в этом случае едва ли героично. Шанибова не удержали по причине царившего в то время бардака — именно

так оценивает приводимую ниже историю один из военных разведчиков. Попробуем разобраться.

Арест Шанибова поставил Москву перед типичной для контрреволюционных сил дилеммой: на свободе его деятельность выглядела раздражающе и достаточно опасной, и в то же время держать народного трибуна в заключении означало делать из него героя и мученика режима. Новость об аресте Шанибова действительно вызвала гигантскую вспышку негодования в Кабардино-Балкарии. Правительственное здание в Нальчике оказалось осажденным зло и всерьез. В свою очередь президент Коков на сей раз также отреагировал всерьез, даже в какой-то момент раздав своей номенклатуре каски, бронежилеты и стрелковое оружие — вполне в соответствии с горской традицией мужской доблести (правда, в современных доспехах). Впрочем, один из помощников Кокова привел в пример последний бой президента Сальвадора Альенде во время военного переворота 1973 г. в Чили, а именно — знакомую всем советским гражданам фотографию Альенде в каске. Каким бы не был источник, решение вооружить бюрократов послужило отчаянным сигналом, адресованным сразу нескольким сторонам: митингующим, президенту Ельцину, находившимся в Нальчике русским военным, и в не меньшей мере самим чиновникам, которых в буквальном смысле этого слова поставили под ружье. В не уступающем по символичности ответном послании митингующие пригнали на площадь бензовоз и пригрозили сжечь «логово воров», т.е. бывший республиканский комитет компартии, ныне именуемый домом правительства (то самое элегантное и внушительное здание сталинских времен, на стройке которого некогда едва не погиб отец Шанибова). Находившийся в здании российский генерал милиции Куликов (позднее министр внутренних дел РФ, отвечавший за первую войну в Чечне) вышел к народу и сурово пригрозил, что если к 21:00 митингующие не очистят площадь, то он вышлет бойцов спецподразделения «Альфа» и профессионалы раскидают толпу голыми руками. Недооценка Куликовым местной культуры оказалась вопиющей. На расчищенное для драки место перед зданием стали выстраиваться кабардинские борцы-разрядники, боксеры, каратисты, ветераны-афганцы и просто хулиганы покрепче. Дабы не быть обвиненными в несправедливом численном преимуществе, кабардинские повстанцы благородно прекратили прием желающих померяться силами с «Альфой», когда их число достигло шестисот; десятки тысяч демонстрантов и сочувствующих в соседних дворах и сквериках ждали исполнения генеральского слова с азартом болельщиков. Об этом эпизоде кабардинские активисты вспоминают с самым большим удовольствием. Смех, конечно,

смехом, но с обеих сторон на этот раз чувствовалась готовность применить силу. Если в Грозном чеченская революция обошлась только одной человеческой жертвой — чиновником, который то ли в попытке бегства выпал из окна штурмуемого толпой здания, то ли его подтолкнули — в Нальчике кровопролитие могло быть нешуточным. Но обошлось. Возвращение Шанибова сыграло в этом ключевую роль.

Шанибовская версия побега в кратком пересказе звучит примерно так: сразу после задержания, его вертолетом вывезли за пределы Кабардино-Балкарии и затем несколько дней переводили из одной тюрьмы в другую, не покидая, однако, Северного Кавказа. В одних тюрьмах начальство встречало его едва ли не с почтительным гостеприимством, предлагая принести печенье и кефира из магазина, в других его бездушно помещали в вонючую камеру с уголовниками. Не было ни последовательности в оказываемом приеме, ни допросов вообще. В конце концов, на легкой машине без опознавательных знаков в сопровождении двух офицеров милиции и водителя Шанибова повезли, как он догадался, в Ростов-на-Дону. Переезд оказался нелегким и занял почти весь день, отчасти потому, что на замену спутившего колеса понадобилось время. Пока меняли колесо, рядом притормозила машина с чеченскими номерными знаками. Вмиг побледневшие милиционеры полезли было за пистолетами, однако чеченцы, не знавшие о том, что те конвоируют вождя горских народов, просто остановились предложить свою помощь. В Ростов добрались уже ближе к полуночи, когда тюрьма, как и более нормальные учреждения, была закрыта. Два офицера, сопровождавших Шанибова, прошли с бумагами внутрь и долго не возвращались. Тем временем усталый водитель начал клевать носом; Шанибов тихонько открыл дверь и выскользнул из машины. Вначале он притворился, что ищет укромного места справить малую нужду, а отойдя подальше, рванул к ярко освещенным центральным улицам. Район ростовской тюрьмы ему был хорошо знаком с бытности районным прокурором в 1960-х; тот же опыт подсказывал, что искать его будут в темных переулках, а не в самом центре города. Притворившийся пьяным гулякой Шанибов добрался до квартиры друга, одолжил денег, переоделся, и на следующий день тайком, запутывая следы, все же отправился из Ростова в Кабардино-Балкарию — вначале на частной автомашине, затем автобусом. Тем временем в Нальчике жене Шанибова звонили из милиции и КГБ, добиваясь сведений о местонахождении ее мужа и, сокрушаясь, уверяли, что его и так бы освободили, без всех этих неприятностей с побегом. Бегство нашего революционера не слишком похоже на зна-

менитый хорошо подготовленный побег главы анархистов князя Кропоткина из лазарета Петропавловской крепости и, тем более, на похождения графа Монте-Кристо. Лично я склоняюсь к мысли, что можно верить в достоверность этой версии, а не очередной «теории заговора», которая вполне может оказаться и дезой, подброшенной самим милицейским начальством в покрытие их упущения.

Как бы то ни было, история с шанибовским побегом позволяет нам оценить масштаб разброда в российском государстве летом 1992 г., через полгода после роспуска СССР и гиперинфляционного отпуска цен в порядке шоковой терапии в экономике. В политическом плане, бежал ли он или был выпущен на свободу, не имело особого значения. Шанибов вернулся в Нальчик, где ликующая толпа на руках вознесла его на импровизированную трибуну (кажется, козырек над входом в магазин на первом этаже многоэтажки), с которой он с жаром и поведал историю своего ареста и побега, народным пересказом незамедлительно снабженную различными романтическими подробностями. Он вновь повторил призыв к продолжению борьбы за смену правительства «чинуш, воров и московских пешек», за свободу народов Северного Кавказа в выборе их исторического будущего; однако, прежде всего — все силы на оборону братской Абхазии!

Предлагаемая посылка добровольцев на абхазский фронт неожиданно предоставляла сидевшей в осаде номенклатуре своеобразный предохранительный клапан, позволявший выпустить перегревшийся пар в другом направлении. В очередной раз следует упомянуть, что неизвестны или окутаны слухами детали многосторонних закулисных переговоров между Москвой, Тбилиси, абхазским правительством в Гудауте, российским военным командованием, властями северокавказских республик и вожаками горских добровольцев. Но, также в очередной раз, это не имеет особого аналитического значения. Прецедент уже возник весной 1992 г., когда на выручку Приднестровской молдавской республики с Кубани, Дона и Терека отправлялись отряды казачьих добровольцев, которые, как вполне обосновано считается, негласно курировало Главное политуправление внутренних войск. Руководство северокавказских республик, очевидно, осознало, что в их же интересах было просить у федерального правительства, которое само ежедневно ожидало волны восстаний на кавказской периферии, разрешения на пропуск добровольцев в Абхазию.

Что касается президента Ельцина, то после обретения центральной власти ему в наследство, несомненно, достались и тайные операции конца эры перестройки. Их продолжению он едва ли мог

противиться, следуя своему недюжинному политическому инстинкту — и вызывая многочисленные обвинения в вероломстве⁴⁴. Летом 1992 г. Ельцин, очевидно, все еще надеялся на скорый успех рыночных реформ и последующую стабилизацию. Он видел свою историческую миссию в исполнении роли верховного «гаранта», авторитетно (и авторитарно) разруливающего возникавшие со всех сторон конфликты, предоставляя делать свое дело команде молодых и политически неискушенных неолиберальных реформатов. Ельцин не мог допустить вслед за Чечней нового обвала власти в остальных республиках Северного Кавказа. Это грозило ему катастрофической потерей позиций в трудном торге с номенклатурны-

⁴⁴ Заметим, что главой Грузии, хотя пока и довольно номинальным, весной 1992 г. стал Эдуард Шеварнадзе, вернувшийся из Москвы на разоренную и раздираемую гражданской войной родину в ореоле ее спасителя и миротворца. Действительно, вскоре удалось подавить остаточное сопротивление звиадистов в Мегрелии и затем, при российском посредничестве, надолго притушить войну в Южной Осетии. Считается, что Шеварнадзе вернулся к власти не без помощи, если не по прямой просьбе Ельцина — своего давнего и, говорят, доброго знакомого по горбачевскому Политбюро и объективного союзника в период противостояния горбачевскому правому повороту 1990–1991 гг. В августе 1992 г. новоформируемые грузинские войска, незадолго до этого получившие в качестве своей доли советского наследства тяжелое вооружение с ныне российских баз в Грузии, немедленно предприняли марш-бросок в Абхазию под предлогом прекращения грабежей проходящих из России поездов. Фактически это вторжение грозило ликвидацией абхазской автономии/сепаратизма, на что, по распространенному убеждению грузинской стороны конфликта, имелось негласное согласие Ельцина. Вторжение с первых часов сопровождали внесудебные расправы, грабежи и погромы, которые чрезвычайно возбудили не только абхазов и их братьев на Северном Кавказе, но также проживавших в Абхазии многочисленных армян и русских, немало из которых вскоре встало на сторону абхазского сопротивления. По рассказу одного из советников российского президента, сопровождавшего его в августе 1992 г. во время отпуска в Сочи, он услышал, как в телефонном разговоре с Шеварнадзе Ельцин жестко—иронично бросил: *«Ну, что, подставили нас твои бандиты?»* Тем не менее считается, что именно российские военные осенью 1993 г. спасли Шеварнадзе из горящего Сухуми после морального и военного поражения грузинского вторжения, и следом десант Черноморского флота пресек очередную попытку звиадистского восстания на западе Грузии, после чего Шеварнадзе согласился на формальное присоединение к СНГ (откуда в 2009 г. выйдет свергнувший Шеварнадзе Михаил Саакашвили). Вот такие хитросплетения к отчаянию ответственных историков и на радость сочинителям легенд и шпионских триллеров.

ми сепаратистами Татарстана и Башкирии, дало бы козыри оппонентам во все более националистически настроенном Верховном совете России, и, как многие тогда ожидали, могло подтолкнуть генералитет армии и госбезопасности, чья политическая лояльность оставалась неясной, на новую, более решительную попытку переворота во имя спасения отечества. Как всегда в политике, ожидание угроз является сложным комплексом рационального расчета, предрациональной интуиции, общих идеологем и личных габитусных диспозиций. Все московские реформаторы, начиная с Хрущева, неожиданно для себя столкнувшегося осенью 1956 г. с вооруженным восстанием в Венгрии, оказывались в какой-то момент перед острейшей дилеммой между развинчиванием гаек (продолжением реформ) и их поспешным завинчиванием, когда дальнейшие последствия либерализации приводили к неконтролируемым всплескам конфликтов и, по обратной связи, панически растущим опасениям за сами основы власти. Возобновление Ельциным неофициальной (хотя в сумятице не слишком тщательно скрываемой) поддержки абхазского сопротивления войскам госсовета независимой Грузии исходило не столько из империалистических идеологем и не из геополитических планов обеспечения «незащищенного южного фланга», сколько из стихийно возникавшей по ходу неконтролируемого развития событий политической многоходовки.

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАРОДОВ АБХАЗИИ» И ГОРСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Именно так официально называется в Абхазии вооруженный конфликт с грузинской стороной, длившийся с августа 1992 по сентябрь 1993 г. Публичные упоминания горских волонтеров, однако, сделались проблематичными уже вскоре после войны по достаточно понятным причинам, в том числе потому, что в Абхазии впервые заявили о себе чеченские командиры Шамиль Басаев и Руслан Гелаев⁴⁵. Участие горских добровольцев было весьма существенным в политико—психологическом и военном плане. В некоторых операциях они составляли до половины и более сил, противостояв-

⁴⁵ Отряд Гелаева, превративший во время второй чеченской войны Панкисское ущелье на территории Грузии в свою тыловую базу, в 2003 г. по многочисленным свидетельствам участвовал уже с грузинской стороны в вылазках на территорию Абхазии. Основным мотивом здесь следует полагать плату грузинским властям за постой в Панкиси и прочие негласные взаимные одолжения, хотя не стоит исключать эмоциональный элемент мести абхазским властям за проявленную неблагодарность и союз с Россией.

ших грузинам. Называются различные цифры, обычно порядка трех-четырёх тысяч бойцов, несколько сот из которых погибло, хотя четкой общей статистики, по всей видимости, не существует — добровольцы держались своих этнических отрядов и дружеских групп, составлявших, особенно в неразберихе первых этапов войны, именно конфедерацию, а не единую армию, приезжали без предупреждения и некоторые из них так же внезапно уезжали. У отрядов горцев, по всей видимости, были и резоны политического и военно-стратегического характера, побуждавшие их держаться самостоятельно. Абхазскую армию, особенно в середине войны, негласно консультировали российские военные советники, которые следовали своим, полученным в военных академиях, схемам ведения регулярных и массовых боевых действий, отражавшим советскую стратегию и тактику времен Великой Отечественной войны. Предписываемые ею фронтальные атаки с применением всех родов войск не соответствовали составу и вооружению добровольцев, плохо вписывались в горный ландшафт и приводили к чудовищным для малых народов потерям. (Чего стоили попытки форсирования протекающей в глубоком каньоне речки Гумиста весной 1993 г.) Горцы предпочитали скрытные партизанские вылазки, обходные маневры по крутым склонам хребтов, обманные движения и психологические трюки (например, чеченский волчий вой перед атакой), что для профессиональных военных советников, зачастую, звучало дикостью.

Руководители государственных структур Северного Кавказа отправляли добровольцев в Абхазию, снабдив их своим благословением и не без чувства облегчения. Экспорт революционных смутьянов на другую сторону Кавказского хребта разряжал обстановку и давал надежду на политическую передышку. В свою очередь, Шанибов, добившийся официального согласия на формирование «миротворческих» батальонов Конфедерации при условии их немедленного выдвижения в Абхазию, искренне надеялся, что ценой временного соглашения с политическими противниками его Конфедерация сможет приобрести стратегический рычаг собственной, овейанной славой и закаленной в боях армии. Если первые добровольцы были вынуждены проходить горными тропами через перевалы в обход пропастей и ледников или пробиваться силой, как чеченский отряд Гелаева, Муса Шанибов и набранные им бойцы прибыли в Абхазию уже в длинной колонне автобусов в сопровождении российских военных вертолетов.

Кабардинцы составляли большинство конфедератов. По подсчетам Шанибова и нальчикской организации ветеранов Абхазии, в совокупности на той войне повоевало от полутора до двух тысяч

кабардинцев; на памятнике погибшим в Нальчике выбито 56 имен. Точный социальный состав кабардинских добровольцев неизвестен, однако по итогам бесед с участниками тех событий можно с достаточной уверенностью заключить, что, особенно на первом этапе, встречались и романтические молодые интеллигенты, но основную массу все же составляли более простые и сельские парни, в том числе имевшие боевые навыки и диспозиции: молодые ветераны войны в Афганистане либо борцы и боксеры (эти мужественные виды спорта, не требующие сложного снаряжения и инфраструктуры, давно пользовались исключительной популярностью на Северном Кавказе, особенно в среде субпролетариев). В ходе бесед с бывшими добровольцами выяснилось еще одно показательное обстоятельство: среди них оказалось на удивление много сыновей из больших семей, где было четверо и более детей. Подобные семьи стали крайне редки в городских советских условиях, однако остались типичны в сельской и субпролетарской среде на Кавказе. Кроме того, повторю высказанное в первой главе предположение, что матери, у которых было несколько сыновей, с большей долей вероятности благословили бы того из них, кто решил пойти на войну.

В Абхазии мне как-то предоставили возможность ознакомиться с канцелярской папкой, содержащей документацию чеченского отряда, которым, вероятно, командовал Шамиль Басаев. Из привлечших внимание нескольких особенностей первой была однородность басаевского подразделения: за редкими исключениями все были рождены в 1967–1973 гг., т.е. в годы абхазской войны им было от 19 до 25 лет. Практически все, за исключением самых младших, прошли срочную службу в советской армии. Все они были уроженцами лишь трех районов Чечни: двух горных (Шатой и Ведено, где родился сам Басаев), и города Грозного. В списке также значились две русские фамилии, плюс одна по звучанию немецкая или еврейская, и еще одна, судя по месту рождения и написанию, волжско-татарская. Об этих вероятных нечеченцах никто не мог мне сказать ничего определенного. Сомнительно, чтобы они были наемниками, поскольку в басаевском отряде по всем свидетельствам поддерживалась высокая дисциплина и не практиковались грабежи. Хотя было полно бесхозных автомашин и телевизоров из оставленных грузинами домов, чеченцев интересовало только оружие. Возможно, бойцы с русскими, еврейскими и татарскими фамилиями все-таки были чеченцами из смешанных семей или детдома (такие случаи известны), либо могли быть чьими-то друзьями, а может романтиками, знакомыми с Басаевым еще по совместной учебе в Москве. Несколько бойцов значились как имеющие неоконченное высшее образование, и еще у нескольких имелись дипломы техникума. Об-

разование остальных — только средняя школа. Но самое большое впечатление произвели не списки, а бухгалтерская и прочая хозяйственная документация. Она старательно подражала официальному языку советских учреждений и войсковых частей, однако написанные на русском отчеты и расписки пестрели вопиющими и порой забавными ошибками (например, в соответствии с фонетикой кавказского произношения, самолет мог написаться как «самалот», бензин — «биндзин»). Тем более поражало стремление к скрупулезному ведению и хранению боевой документации, совсем как в настоящей Советской Армии⁴⁶.

Абхазия в какой-то мере стала для националистов Северного Кавказа тем, чем послужила Гражданская война в Испании для социалистических и коммунистических партий, или же Афганистан последних десятилетий для радикальных исламистов Ближнего Востока. Это была возможность получить оружие и боевой опыт, выковать политическое мировоззрение, принять непосредственное участие в борьбе против общего идеологического противника, но также и испытать громадный эмоциональный прилив в романтическом повстанчестве, невозможном у себя на родине, под властью консервативных элит, ощутить в экстремальной обстановке узы взаимной поддержки, преодолевающие границы, приобрести уверенность в себе — словом, все то, что в будущем могло помочь распространить борьбу на свои собственные страны⁴⁷.

Важным поворотом событий стало прибытие в Абхазию подкреплений ресурсами и людьми из Турции и некоторых ближневосточных стран (в основном Сирии и Иордании), где внушительные этнические меньшинства вели свой род от легендарной черкесской стражи-мамелюков и мусульманских изгнанников-мухаджиров времен завоевания Кавказа Россией. Ислам, помимо чувства этнического родства, создавал этому межнациональному союзу символическое обрамление. Рост роли ислама среди добровольцев горской Конфедерации в военное время имел и самое практичное значение. С первого дня Шанибов и его командиры пытались наладить

⁴⁶ Анатолий Ливен, неоднократно наблюдавший Басаева и в Абхазии, и позднее в Чечне, т.е. на протяжении его эволюции из чегевариста в боевика и затем моджахеда, рассказывает, что во время самых тяжелых боев за Грозный в январе-феврале 1995 г. он наблюдал, как в штабе Басаева дневальный продолжал мыть пол во время бомбежки. Anatol Lieven, *Chechnya, The Tombstone of Russian Power*. Yale University Press, 1998.

⁴⁷ На стороне грузин в боевых действиях принял участие немногочисленный отряд украинских националистов, искавших возможности сразиться с «российским империализмом».

строгую дисциплину среди своего воинства — например, запретить употребление спиртного и ввести систему наказаний провинившихся подчиненных. Можно было, конечно, воспользоваться моделью советской армейской дисциплины и пропаганды, что, как видели, также находило применение. Однако нормы шариата казались строже, духовно чище, авторитетнее, более соответствующими духу предков и совершенно уместными на войне. После первых боевых потерь возникли вопросы относительно ритуалов погребения павших товарищей. (И тут выяснилось, что у абхазов вовсе не было мусульманских кладбищ и мечетей, которые конфедераты начали создавать своими силами под довольно настороженными взорами абхазов.) Начиная с харизматичного Басаева, другие молодые командиры также стали сдвигать идеологию движения в сторону ислама, тем более что он символически противостоял всячески демонстрируемой принадлежности грузинских националистических формирований к христианству. Подобный военный прагматизм не следует считать циничным манипулированием. Законы шариата восходят ко временам Пророка, которому (в отличие от ранних христиан или буддистов), в первую очередь, требовалось воодушевить, дисциплинировать, символически упорядочить повседневную жизнь и посмертное существование своего разноплеменного воинства⁴⁸. Именно эти практики раннего ислама впоследствии так помогли дагестанскому имаму Шамилю организационно и идейно структурировать созданное им в 1830–1850-е гг. повстанческое государство. Наконец, еще одним дополнительным объяснением может быть неловкость, испытываемая северокавказскими добровольцами при получении российской поддержки — особенно в присутствии своих ближневосточных братьев — откуда и желание подчеркнуть исламскую общность. Исламизм, однако, не помог, а скорее способствовал расколу. Во-первых, ближневосточная религиозность культурно и лингвистически удаленных союзников стала сильно беспокоить самих абхазов как по культурно-конфессиональным (большинство абхазов мусульманами никогда не были), так и по политическим причинам (совсем ни к чему было отчуждаться от России). Возникало и все более опасное соперничество между кабардинцами и чеченцами, которое от джигитского азарта и взаимной демонстрации доблестей сдвигалось в религиозную и ритуальную сферу, где братские компромиссы были уже куда менее возможны. Кабардинцев могло, к примеру, глубоко оскорбить надменное отношение чеченцев к их старинному обряду во-

⁴⁸ Вероятно, наилучшим описанием раннего ислама является работа Большакова О. Г. *История халифата*. Т. 1. М.: Наука, 2000.

инского погребения, предписывающему завернуть убитого в бурку, что с точки зрения исламских ортодоксов можно счесть язычеством. Кабардинцев же и прочих горцев не прельщали чеченские «песни-пляски» вокруг могилы — на самом деле зикр, экстатический ритуал кадырийских суфиев. Различия в поведении и мировоззрении отражались все более отчетливо в конфликте политических проектов. Как воспринимать оборону Абхазии — шагом к воссозданию Великой Черкесии? Мифической Конфедерации всех горцев? Исламским джихадом? (Это в защиту фактически язычников абхазов?!) Или же борьбой вместе с Россией против грузинского антисоветского сепаратизма? Но тогда что тут делают чеченцы? (Некоторые из воюющих чеченцев в разговорах с братьями-добровольцами других национальностей невозмутимо признавали, что судьба абхазов их не слишком волнует, но эта малая война дает хороший случай попрактиковаться перед будущей большой войной с Россией, что воспринималось собеседниками как «типично чеченское» смертолюбивое сумасшествие.)

Кризис горского конфедеративного проекта и сдвиг от демократизаторского национализма времен перестройки в сторону военизированного ислама ознаменовал начало заката траектории Шанибова-политика. Он оставался совершенно невоенным человеком. На довольно забавном фото, снятом в одном из санаториев Абхазии, у цветника перед входом в курортного вида корпус солидный Шанибов в фетровой шляпе и костюме при галстукке являет разительный контраст молодым бородачам из кабардинского отряда, пестро наряженным в камуфляж, джинсы, головные банданы, разгрузки, лихо перепоясанным пулеметными лентами — типичные рэмбообразные боевики начала девяностых. Шанибов также остается слишком узнаваемо советским интеллигентом, чтобы выглядеть вполне естественно при отправлении исламских обрядов. Его риторика, при всем национальном уклоне, была слишком сродни риторике российских демократов Собчака и даже Ельцина, но никак не риторике исламистов.

Война в Абхазии стала тяжелейшим периодом в жизни Шанибова. Его юный сын был подло убит, и что хуже всего, вне поля боя, уже после изгнания грузин. Говорили о сведении счетов. Сам Юрий Мухамедович о мотивах этого преступления и преступниках предпочитает не говорить. Возьмем и мы скорбную паузу.

Сам он был тяжело ранен дурной (уместнее слова не подобрать) пулей: молодой абхазский часовой у входа в кабинет, где шло совещание, играясь, уронил на пол автомат с патроном, досланным в патронник; на предохранитель автомат, разумеется, поставлен не был, и очередь прошла стену, ранив в ноги Шанибова и абхазского

генерала. Местные хирурги рану залечить не смогли, и тогда за дело взялся кабардинский доброволец из Сирии, практиковавший народные снадобья на травах — рецепт, унесенный его семьей с Кавказа во времена мухаджирства. Подобный романтический способ лечения помог было Шанибову нарастить плоть, однако проблемы с поврежденной костью заставили его, затем, провести почти два года в российских военных госпиталях. Там он и стал читателем работ Бурдые, только что впервые переведенных на русский.

Фактически, ранение поставило крест на политической карьере Шанибова. Но даже до этой нелепой случайности он уже многим казался анахронизмом. В Москве Шанибов терял политические связи по мере консолидации власти Ельцина в конфронтации и, окончательно, после разгона Верховного совета. Для краткости скажем метафорично, что изобиловавшие водоворотами течения московской политики оказались слишком мутными и бурными для Шанибова, не сумевшего избежать промахов. Его политическая среда исчезла вместе с аналогичными ораторами от оппозиции образца 1990–1993 гг. В Абхазии и Чечне молодые и напористые полевые командиры прибирали к рукам как планирование операций, так и поступающие финансы. Роль Шанибова (недаром его называли тамадой Конфедерации) свелась к провозглашению идеологических лозунгов и участию в публичных мероприятиях в поддержку Абхазии. Но одних символических ресурсов для обеспечения политической позиции уже явно не доставало, да и война в Абхазии подошла к концу.

Война, пусть не самая большая по масштабам, была очень жестокой и сопровождалась мстительными преступлениями с обеих сторон: грабежи, поджоги, убийства, пытки и изнасилования взвинтили спираль взаимной мести до, казалось, массового умопомрачения. (Сразу хочу подчеркнуть, сказанное относится далеко не ко всем участникам войны. Война, однако, будто бы преднамеренно беспощадна к благородству чувств. Идеалистически настроенной молодежи и студентам, первыми поспешившим на помощь Абхазии, достались и самые тяжелые потери. Сказалась, очевидно, готовность рисковать ради высоких целей. Такие же романтики погибали первыми со всех сторон постсоветских этногражданских войн.) Но даже в самом чудовищном насилии прослеживается определенная логика. Ощущавшие себя загнанными в угол, перед лицом угрозы полного уничтожения, абхазы дрались сплоченно и отчаянно. По той же причине они выказывали порою параноидальную жестокость в поиске шпионов и предателей, особенно среди оказавшихся не по ту сторону фронта грузинских семей и в селах смешанного этнического состава, каковых было очень мно-

го. Грузинские шпионы и диверсанты, в самом деле, случались, как и направленные на превентивное запугивание зверства грузинских боевиков, что порождало в абхазах жажду немедленной мести. Но большинство попавших под руку грузин, несомненно, не имело к вторжению прямого отношения, а многие были сторонниками Звиада Гамсахурдия, свергнутого теми самыми боевиками «Мхедриони» и Национальной гвардии, которые теперь бесчинствовали в Абхазии. Абхазская реакция не вдавалась в детали политических предпочтений численно значительно их превосходивших потенциальных и реальных противников. Срабатывал механизм «наступательной паники» (*forward panic*), когда острое чувство страха, казалось, загнанных в угол людей, вдруг, сменяется возможностью преодолеть страх и минутную слабость нанесением врагу бешеной, крайне эмоционально интенсивной ответной жестокости⁴⁹. Поиски в своем селе предателей и шпионов также скорее сродни архаичной охоте на ведьм — ритуальной борьбе за насильственное очищение социального организма, хорошо знакомой антропологам и историкам средневековой культуры. Это, увы, обратная сторона крестьянской сельской общины, в силу соседской кооперации и перекрестного родства пронизанной разветвленными отношениями дружбы — что, в периоды кризисов, обрачивается переходом от плюса к минусу, острейшим страхом и насильственным полным отторжением «плохих» соседей⁵⁰.

Если насилие со стороны абхазов носило более крестьянский характер, выражавшийся в том числе в «охоте на ведьм», то грузинские формирования в те дни скорее напоминали феодальный рыцарский поход — не в смысле рыцарского благородства, но поведения реальных крестоносцев при захвате Константинополя и Иерусалима. Свидетели злодеяний с грузинской стороны постоянно упоминают высокомерие и презрительно-отстраненное безразличие, с которым творилось зло. Это, скорее, аристократические комплексы. Люди, вероятно, воют так же, как работают или играют, что в теоретических понятиях актуализирует

⁴⁹ Randall Collins, *Violence: A Sociological Theory*. Princeton University Press, 2008.

⁵⁰ Литература, рационально исследующая источники крайне жестокого поведения людей, достаточно обширна. На мой взгляд, наиболее полезными работами являются, соответственно, с биоэволюционной, антропологической, и культурно-социологической точек зрения: Jared Diamond, *The Third Chimpanzee: The Evolution of Human Animal*, New York, 1996; Timothy Earle and Allen Johnson, *The Evolution of Human Societies*. 2nd. Ed., Stanford University Press, 2000; Хархордин О. В. (науч. ред.) *Дружба: Очерки по теории практик*. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009.

роль социального габитуса как постоянного принципа в генерировании самого различного рода деятельности — от работы до досуга и войны. Грузинские националистические добровольцы зачастую вели себя на поле боя подобно феодальной знати, соревнуясь друг с другом в зрелищных до безрассудства актах личной доблести. Храбрецы могли выйти покурить под пулями на передовой, устроить пикник в зоне боя — вспомните завтрак мушкетеров при осаде Ля Рошели. По той же причине в повседневной фронтовой работе царили аристократические лень и расхлябанность. Никто не желал натирать руки в рытье окопов или обслуживании и ремонте доставшихся от советских времен танков. Бойцы грузинских отрядов, с которыми я разговаривал вскоре после окончания войны в Тбилиси, Батуми (однажды даже в самолете во время долгого перелета из Нью-Йорка в Москву), с поразительной откровенностью, смешанной с горечью и негодованием (очевидно в качестве психологической компенсации после позора поражения) описывали воинство, которое, в самом деле, трудно считать армией. Употребление наркотиков было едва ли не повальным. Бойцы корпуса «Мхедриони» («Всадники») под командованием харизматично-колоритного бывшего грабителя банков, доктора искусствоведения и неплохого романиста Джабы Иоселиани, охарактеризованные одним из знающих собеседников как «плохие мальчишки из хороших тбилисских семейств», по его же словам отличались более изысканными и дорогими пристрастиями к морфинам, в то время как менее элитарные, в массе своей сельские и субпролетарские нац.гвардейцы бывшего скульптора Тенгиза Китовани довольствовались анашой. Значительную часть времени бойцы проводили за вином и яствами, собранными в ближайших домах или отобранными у их обитателей (многие из которых также были грузинами). Приказы оспаривались или не выполнялись из демонстрации собственного достоинства. (Пример: в ответ на приказ отправляться на пост, боец игриво снял с офицера его форменную кепку, нахлобучил ее обратно под общий гогот товарищей, и лишь после того отправился на пост.) В периоды нудного окопного сидения иногда больше половины личного состава подразделений могло попросту уехать отдохнуть домой (по уважительной причине, вроде свадьбы друга), прихватив в подарок «трофейный» ковер, люстру или телевизор.

Но здесь нас в который раз поджидает опасность скатиться к абсолютизации этнической культуры и излишней историзации. Президент Абхазии Владислав Ардзинба, в советской жизни доктор наук и признанный специалист по протохеттской мифологии, вскоре после взятия Сухума фаталистично признал в интервью журнали-

сту, что разграбление захваченных городов является неизбежной традицией войны еще с Бронзового века. Возможно и так — однако это означало также, что иррегулярные отряды боевиков и ополченцев в абхазской и прочих недавних гражданских войнах на территории бывшего СССР не выказали организационной дисциплины, выучки и иерархической сплоченности, отличающих современные вооруженные силы от воинств эпох и стран, не испытавших рационализирующей модернизации. Провал был и моральным, и институциональным; командиры, которые не могли опираться на профессиональную военную идеологию, субординацию и практику карьерного поощрения своих людей, в качестве вознаграждения позволяли им насилия и грабежи.

В последние дни войны абхазские ополченцы и их союзники по Конфедерации изгнали из Абхазии практически всех грузин, т.е. почти половину довоенного населения автономии. Конец войны ознаменовался не меньшими жестокостями, чем начало — со множеством кровавых разборок и вендетт, причем, необязательно национального или политического характера. Убивали друг друга из-за споров по поводу «трофейного» имущества, за старые довоенные обиды, по совершенно необъяснимым «отвязным» поводам. В то же время было бы неверным видеть в насилии последних дней войны лишь месть, опьянение успехом или атавистическую жестокость. Явственно проглядывает наличие целенаправленной стратегии, стремящейся максимизировать воздействие устрашения на противника. Подобно всем стратегиям террора, запугивание есть оружие слабых (в организационном отношении). Маленькая полурегулярная армия не имела возможности осуществления полицейского надзора над грузинским гражданским населением и предпочла изгнать потенциально враждебных жителей (а следовательно, в долгосрочном отношении изменить демографический баланс). Подобные действия вынудили грузинское население бежать из зон, которые абхазские и добровольческие силы оказались достаточно сильными, чтобы захватить — и слишком слабыми, чтобы контролировать.

Итогом войны в Абхазии стал позиционный тупик. Грузинское воинство потерпело поражение, и вслед за ним было изгнано гражданское население. Затем и само грузинское государство едва не кануло в очередной гражданской войне. Однако на международном уровне Грузия смогла ответить на военную победу Абхазии ее политической и экономической блокадой. Международные нормы признания государств действуют на основе консенсуса и легко могут быть блокированы наложением вето со стороны государства, столкнувшегося с угрозой отделения его части. На сле-

дующие два десятилетия некогда процветавшая Абхазия осталась в изоляции среди сожженных прибрежных кафе, заброшенных вокзалов и многоэтажек, сорняков, забивших сады — как будто иллюстрация к ставшему в те годы модным тезису о «демодернизации» как нативистской реакции на глобализацию. Нам, однако, теперь должно быть более понятно, какое зло на самом деле посетило эту землю.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

В конце 1993 г. вернувшиеся из Абхазии кабардинские добровольцы встретили дома совершенно иные политические реалии. Революционная ситуация остыла до такой степени, что о ней стало даже неловко вспоминать. В ходе короткой гражданской войны в октябре 1993 г. президент Ельцин разогнал заседавшую в переходном парламенте России оппозицию и стал единоличным правителем. Кровавые октябрьские события в Москве, за которыми последовало принятие новой конституции, наделявшей президента почти императорскими бонапартистскими полномочиями, положили конец затянувшейся революционной ситуации в России (впрочем, полномочия оказалось не так-то легко употребить в крайне ослабленном государстве). Кабардино-Балкария вновь оказалась под руководством Валерия Кокова и сплотившей свои ряды бюрократической патронажной сети. Балкарцы поутихли, разгневанные кабардинцы ушли с улиц, все погрузилось в трудные заботы экономического выживания в неопределенно длительной депрессии, вдвое превзошедшей по глубине знаменитые американские бедствия 1930-х гг. Казалось бы, такие страдания должны были поднять народ против властей. Но произошло ровно наоборот — общественная активность иссякла. Демократия для «простых людей» стала едва не бранным словом. Национализм как движущая сила исчерпал себя. Политика российских провинций, включая Кабардино-Балкарию, стала определяться режимами бюрократической реставрации, вылившейся в коррумпированный олигархический патронаж. Давайте посмотрим, как сложилась подобная конфигурация.

После роспуска СССР в декабре 1991 г. новое и слабое правительство Ельцина находилось под давлением на трех уровнях: извне Запад требовал дальнейших геополитических уступок и большей открытости глобальным капиталистическим потокам в обмен на предоставление займов Всемирного Валютного Фонда; окружавшие Кремль московские неолиберальные технократы и финансисты (будущие олигархи) стремились стать теми, кого венгерский академик Иван Селеньи назвал идеологизированной по западным образ-

цам «компрадорской интеллигенцией»⁵¹ — фактически посредниками между мировым капитализмом и российской промышленностью и ресурсами; в провинциях же у власти в основном оставались номенклатурные руководители прежнего второго эшелона. В этом треугольнике — Запад, московские чиновники и олигархи, провинциальные губернаторы — теперь будет разворачиваться практически вся политическая интрига.

Важно понять, кто тем временем не смог или перестал быть политической силой. Некогда преобладавшие в советской экономике промышленные пролетарии и специалисты оказались неспособны оформиться в классовую политическую партию. Социал-демократический проект потерял массового носителя. Потрясающе быстро сошла со сцены интеллигенция — ее аудитория стремительно исчезала, а лозунги демократии и национализма были перехвачены и эффективно использованы новыми правителями. Не стали партией и в целом консервативные «красные директора», которых еще недавно так опасались радикальные демократы и неолиберальные рыночники. Так же, как и с интеллигенцией, никто не ожидал, что депрессия так быстро подорвет позиции этого класса. Все еще направляемые своими советскими связями и габитусом, советские управленцы пытались, как и прежде, лоббировать в Москве продолжение ресурсопотока, однако наталкивались даже не столько на идеологическое сопротивление младореформаторов, сколько на грубо осязаемый факт, что объем поступавших в распоряжение российского правительства средств упал до трети предыдущего уровня.⁵² Перспектива массовых банкротств в значительной мере лишила управленцев переговорных и перераспределенческих рычагов, как и ослабила решимость пролетариата к действиям. Собственно, на это и рассчитывали неолиберальные реформисты — банкротства и реструктуризация на всех уровнях должны были привлечь иностранных инвесторов. Однако вместо бурных потоков с Уолл-стрит, где как раз начинали постигать баснословные возможности освоения Китая, интернета и новых финансовых схем, потек лишь ручеек. С прекращением плановых капвложений и с несостоявшимся приходом иностранных концессионеров оставалось отложить перевооружение заводов и довольствоваться советским техническим наследием. Кроме природных ископаемых на внешний рынок предложить оказалось почти ничего.

⁵¹ Gil Eyal, Ivan Széleányi, and Eleanor Townsley, *Making Capitalism without Capitalists*. London: Verso, 1998.

⁵² Vladimir Popov, *Shock Therapy Versus Gradualism: The End of the Debate*. *Comparative Economic Studies* Vol. 42, no 1 (2000), pp. 1–57.

Главы областей и провинций оказались перед лицом непосредственных общественно-политических последствий неолиберальных реформ. Чтобы осознать размеры угрозы и найти способы с нею совладать, им не требовалось быть знакомыми с классической работой Карла Поланьи и его теорией «двойного шага» в ответ на рыночное разрушение общества⁵³. Главы регионов вернулись к старым политическому габитусу и практикам бюрократического патронажа, на сей раз задействованным против нависшей угрозы уничтожения рынком самих основ провинциального общества и, следовательно, их власти. Человека, знакомого с подлинной политэкономией государственного социализма, подобный поворот событий не удивил бы, однако неолиберальные реформаторы оперировали понятиями непреложных рыночных законов, предположительно свободных от наложенных историческим опытом и географическим местоположением особенностей. В отличие от Латинской Америки, в СССР воплощенное в аппарате коммунистической партии институционное слияние политики и экономики сделало первых секретарей обкомов ключевыми фигурами в обеих областях. Ельцинская конституция 1993 г. фактически признала эту власть губернаторов, автоматически предоставляя им места в верхней палате нового парламента России. Совет Федерации, этот *sui generis* сенат, стал клубом губернаторов и платформой для политического лоббирования. Таким образом, сенат ельцинской эпохи воспроизвел основные черты властных функций и состава прежнего Центрального комитета, но за исключением декоративного представительства депутатов из рабочих, колхозников и женщин⁵⁴. По ходу дела губернаторы, которые учились действиям в новых условиях и активно перенимали друг у друга опыт, достигли заключения двух соглашений. Первым была номинальная приватизация предприятий с сохранением прежнего руководства, что позволило установить контроль над ресурсами. Во-вторых, губернаторы стали во главе промышленных руководителей в создании сетей бартерного обмена, обеспечивавшего выживание обанкротившихся предприятий, несмотря на замораживание их банковских счетов⁵⁵. В итоге, это не только прочно привязало промышленных руководителей

⁵³ Karl Polanyi, *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart, 1944.

⁵⁴ В 2001 г. Совет Федерации был реформирован Путиным с целью замены децентрализованного патернализма централизованным.

⁵⁵ David Woodruff, *Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999; Lawrence P. King, «Making Markets: A Comparative Study of Postcommunist Managerial Strategies in Central Europe», *Theory and Society* 30 (2001).

и рабочих к «своим» губернаторам, но и перекрыло поток местных ресурсов к московскому Центру.

К середине 1990-х губернаторы разработали несколько исходивших из местных особенностей, но взаимопересекающихся стратегий для обхода рынка. Здесь нам не стоит задерживаться на рассмотрении частных случаев, поскольку исход в каждом случае был одинаковым: неопатримониальный политический капитализм протекционистского толка⁵⁶. Выходило, что куда бы ни пошло центральное правительство в Москве номинально выказывало приверженность выполнению требований МВФ по обузданию инфляции и монетарным ограничениям, губернаторы на местах создали множество заменителей денег (чеки, векселя, налоговые расписки местного обращения, платежные обязательства), которые позволяли проводить постоянную девальвацию де-факто и спасли от передела и реформ стоявшие на грани банкротства предприятия. Таким неожиданным образом распад плановой экономики и коммунистической партии не похоронили, а, напротив, подтвердили центральное значение бывших секретарей обкомов и новых губернаторов в ключевых региональных сетях. Эти социальные сети удерживались лишь тем, что можно назвать доверием отчаяния, поскольку заключаемые неэффективные договоренности выглядели приемлемыми лишь в сравнении с тотальным разрушением хозяйства, позиций местных элит и зависимых от них коллективов работников. Скоропалительно набросанные схемы бартерных обменов нарушались бесчисленными конфликтами, повальной коррупцией и бегством множества прихвативших украденное «политических капиталистов» и «силовых предпринимателей» в офшоры Кипра, Испании и Эмиратов. Вот откуда постоянно звучавшие в дискурсе Кокова и многих других провинциальных руководителей 1990-х гг. призывы объединиться и помнить о местном патриотизме.

В отсутствие действенных судов и правоохранительных органов повсеместно стало процветать предоставление частного права и защиты. Силовые предприниматели возникали из множества социальных групп, обладавших необходимыми сплоченностью и опытом насильственных действий: бывших заключенных, сообщества профессиональных воров, банд «оборотней в погонах», субпролетарских молодежных шаек, нашедших новое применение своим физическим данным и командной спайке спортсменов, этнических мафий. Все они попытались урвать свой кусок от сверхприбыльного пирога частной защиты. Позднее, в конце девяностых, восстано-

⁵⁶ Valerie Bunce, *The Political Economy of Postsocialism*, *Slavic Review* 58: 4 (Winter 1999).

вившиеся власти на местах значительно потеснили криминалитет, позволив лишь некоторым выжившим в годы повсеместной стрельбы везунчикам сохранить свою специфическую нишу на нижних уровнях рынка частного права и защиты. Но это пока вовсе не означает торжества закона — профессиональные корпорации сотрудников госбезопасности, правопорядка и связанные с ними официально зарегистрированные частные охранные агентства просто взяли под свой контроль наиболее прибыльные сектора и заняли надрыночные охранные ниши, ранее захваченные рэкетирами⁵⁷. Какое отношение это имело к политике? Объем откупных и сама доступность защиты от произвола (либо негласная лицензия на произвол) также находились в прямой зависимости от губернаторского либо президентского аппарата.

Теперь мы можем понять, почему после стольких потрясений Валерий Коков остался центральным действующим лицом, в целом, той же самой хозяйственно-политической элиты Кабардино-Балкарии. Подобно многим российским губернаторам, он сумел выстроить мощную сеть патерналистических зависимостей, концы которой сходились у него в кабинете. Еще в 1992 г., когда шанибовские добровольцы уезжали воевать в Абхазию, Коков сумел достичь прочного компромисса с ельцинской администрацией в Москве. Козырной картой в торге с Москвой стала Чечня и угроза дальнейшего сепаратизма на нестабильном Кавказе (с 1998 г. добавится угроза ваххабизма). По мере восстановления множества внутриэлитных договоренностей, Коков преодолевал свой прежний имидж едва не свергнутого коммунистического чиновника, преобразуясь в патриархальную фигуру заслуженного государственного деятеля, воплощение местного патриотизма и консерватизма. Более того, теперь в Москве к нему относились как к надежному партнеру (пусть и склонному к культу своей личности). Новая власть Кокова зиждилась на его исключительном положении сразу в нескольких сетях: он был вхож в московские центральные органы власти, откуда добывал политическую и экономическую поддержку (т.е. благосклонность Москвы предоставила Кабардино-Балкарии возможность частично пользоваться доходами России от экспорта сырья и иметь опосредованный доступ к распределению зарубежных кредитов); он имел возможность направлять бартерные и лоббистские выгоды от заключенных с коллегами по Сенату ельцинской эры межрегиональных союзов; он же контролировал чиновников местного аппарата власти, а их посредством и местные потоки ре-

⁵⁷ Vadim Volkov, *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in Making of Russian Capitalism*. Ithaca: Cornell University Press, 2002.

сурсов; наконец, это избирательно-целевой патронаж над группами местного населения в зависимости от их статуса и относительной важности на данный момент. Но и это еще не все. Как и все губернаторы девяностых, Коков тщательно взращивал и опекал нарождавшееся «деловое сообщество» постсоветских предпринимателей. Большинство были все те же хозяйственные номенклатурные кадры либо (и даже скорее) кто-то из числа их близких родственников и подчиненных. Но некоторые в прошлом были студентами и национальными активистами под началом Шанибова. Во время перестройки они стояли у входа в номенклатуру, затем надеялись воспользоваться для следующего взлета энергией волны революционного противостояния 1991–1992 гг., но в итоге соглашались принять сделку с официальным истеблишментом. В девяностые годы стало казаться, что Кокову удалось все, и он закрепился на долгие годы — как правители республик Средней Азии.

КОНЕЦ ПРОЛЕТАРИАТА

К концу советской эры экономика Кабардино-Балкарии основывалась на довольно индустриализированном сельском хозяйстве, здравницах и домах отдыха у источников минеральных вод, цветной металлургии на сырье из местных вольфрамомолибденовых залежей и нескольких предприятиях всесоюзного военно-промышленного комплекса. Все четыре экономические отрасли непосредственно зависели от контроля и капиталовложений союзного центра (во многом даже дома отдыха, поскольку группы отдыхающих направлялись сюда советскими профсоюзами), и именно поэтому оказались в числе наиболее пострадавших в результате отказа от центрального планирования и перехода к рыночной экономике. Однако кончина центрального планирования вовсе не означала автоматического возникновения рыночных механизмов, поскольку масштаб, характер и специализация советских промышленных объектов вовсе не способствовали легкому проведению приватизации. Что, к примеру, делать с используемым обычно в производстве броневой стали и бронебойных снарядов молибденом, когда российское правительство не могло позволить себе купить ни то, ни другое, а Запад бдительно следил, чтобы ни то, ни другое не стало объектом экспорта в страны Третьего мира?

Обеспечение жизненных потребностей работников теперь почти не работающих производств, даже в сельских областях, оставалось зависимым от рабочих мест. Зависимость эта имела множество материальных воплощений: заработную плату (пусть даже нерегулярно выплачиваемую), предоставляемые колхозами взамен

зарплаты корма и удобрения, детские сады при предприятиях, водоснабжение и отопление от теплоцентралей соседних промышленных предприятий и т.д. Зависимость выходила за рамки чисто материальной и охватывала практически все стороны общественной жизни, включая идентичность, социальный статус и ожидания, семейную жизнь и каждодневное общение⁵⁸. Профессиональный капитал пролетариев является коллективно зависимым и привязанным к рабочему месту: ценимый оператор доменной печи должен стоять близко к печи и находиться среди своих коллег. Со времен сталинской индустриализации советские предприятия задумывались в качестве плавильни для трансформации бывших крестьян в современных советских граждан — ядро новых обществ — и, таким образом, в явственное выражение советской цивилизации в действии⁵⁹. Однако по излюбленному выражению Майкла Манна, каждая цивилизация становится клеткой своих субъектов⁶⁰.

Миллионы бывших советских трудящихся не могли и не желали порвать со своим индустриализированным образом жизни. В 1990-х гг. ВВП России упал более чем наполовину (в Кабардино-Балкарии даже больше), по официальным данным в 1991–2000 гг. уровень реальных зарплат снизился на 60%. Тем не менее рабочие продолжали ходить на предприятия и в учреждения, где им платили унизительно смехотворные зарплаты или не платили месяцами. Забастовки при этом были редки, носили символический характер и, как правило, длились не более трех дней. Старые заводы продолжали работать на четверть или половину своей мощности, причем как без качественного перевооружения технических мощностей, так и без перемен в стиле управления⁶¹.

Чтобы хоть как-то смягчить последствия повсеместно распространенной вопиющей бедности, задействовались три механизма

- 58 Подробное рассмотрение постсоветской зависимости работников от их предприятий можно найти у Stephen Crowley, *Hot Coal, Cold Steel: Russian and Ukrainian Workers from the End of the Soviet Union to Postcommunist Transformation*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997; Также см. Никулин А. М. Кубанский колхоз — в холдинг или асьенду? // *Социологические исследования*. № 1 (213). Январь 2002. С. 41–52.
- 59 Завод как ключевой объект в советском цивилизационном процессе прекрасно рассматривается у Stephen Kotkin, *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995.
- 60 Michael Mann, *The Sources of Social Power*. Vol. 1. Cambridge University Press, 1986.
- 61 Капелюшников Р. Ненужный спасательный круг // *Эксперт*. № 22 (16 июня) 2003. С. 64–66.

компенсаций (хотя все они толкали пролетариев к субпролетарским условиям существования). Первым было подсобное приусадебное хозяйство на маленьких клочках земли вокруг городов и во дворах частных домов — пасущихся коров можно было видеть даже на центральных улицах Нальчика. Вторым была расцветшая буйным цветом «челночная» торговля с заграницей. Как только стало возможным чартерными рейсами отправляться в Стамбул, города Китая или беспопшлинную зону Эмиратов, от тридцати до сорока миллионов (!) российских граждан, преимущественно женщин, стали огромными сумками ввозить дешевые товары для последующей перепродажи на вещевых рынках. Этот вид предпринимательства был ненадежным и зачастую опасным, однако оставался одной из редких возможностей как-то заработать на жизнь. Третьим компенсационным механизмом были разнообразные формы взаимопомощи у родственников, соседей и друзей. Однако необходимые для нее сети могли разрушаться, что отражается в звучащих повсюду жалобах на то, что отношения с друзьями и родственниками (в Нальчике эти категории охватывают крайне широкие круги) ныне не являются столь тесными и прочными, как прежде.

Данные социологических опросов 1990-х гг. регулярно показывали, что в национальных республиках, как и в русских областях и краях Российской Федерации, основной причиной обеспокоенности населения (40–50%) являлся экономический спад⁶². Вслед за ним идут в различной последовательности обусловленные социальной нестабильностью уличная преступность (хулиганство), ухудшение уровня образования, нестабильность работы и карьерного роста, кражи, распад семьи, плохое здоровье и старость. Примечательно, что озабоченность сохранением национальных культур, а также возрождение религиозных ценностей следуют далеко позади — на уровне около 10% или немногим менее.

Здесь-то мы и сталкиваемся с парадоксом — подавляющее большинство населения озабочено экономическими и социальными проблемами, однако крупные протестные акции случаются редко и, как правило, оказываются не социальными, а националистическими. Неверно сказать (хотя нам часто приходится это слышать), что эти люди апатичны, что им недостает гражданского самосознания, что они провинциальны, вороваты, неспособны к совместным действиям. Это неубедительные стереотипы. Всего лишь несколькими годами ранее те же люди весьма активно участвовали в дебатах

⁶² Фурман Д., Каарияйнен К. *Старые церкви, новые верующие: религия в массовом сознании постсоветской России*. М.: Летний сад, 2000. См. также данные, регулярно публикуемые в *Мониторинге общественного мнения*. М.: ВЦИОМ.

и протестных событиях перестройки. Почему же они вдруг утратили веру в политику и интерес к дебатам? Частично, ответ состоит в том, что СССР развалился, а в то же время вроде бы и нет. Много стало хуже, кое-что улучшилось (доступность импортного ширпотреба и продовольствия), но в целом окружающий мир остался привычно узнаваемым — только как-то подкосился, вынудив людей искать индивидуальные, семейные и частно—коррупционные стратегии выживания и решения возникших проблем. Население в какой-то момент перестало воспринимать себя народом и классами, оно атомизировалось, стало фаталистично покорным либо безразлично разочарованным во всякой политике. Эмоциональных поводов и организационных авангардов для возникновения мобилизующего чувства общности стало меньше. Насколько меньше и почему — задача, которую мы здесь не решим, но ее надо обозначить для будущих исследований. Скажем, вместо идеологических сетований публицистов, стоило бы обратить аналитический взор на то, как социально-психологические комплексы согласуются с изменением или преобладанием структур повседневности. Благодаря бартеру и прочим патерналистско-защитительным действиям губернаторов, массовой открытой безработицы так и не возникло, забастовки или народные протесты оставались минимальными, рутина повседневной жизни истончилась, но сохранилась непрерывной. После обрушения советской власти и шквала рыночных реформ, страна вернулась к повседневности, странным образом напоминая дни брежневизма — что Майкл Буравой окрестил «индустриальной инволюцией» России⁶³.

Основная же часть объяснения, вероятно, состоит в том, что внутриэлитная политика новой эпохи, ставшая непрозрачной и безыдейной, и притом явно корыстной, оставила у большинства постсоветского населения ощущение обманутых надежд, беспомощности, и, как ответной реакции — цинизма (увы, далеко не бесосновательного). В девяностых круг политических соперников резко сузился до неономенклатурных чиновников и олигархических предпринимателей. Интеллектуалы и пролетарии более не значили ничего — ни в качестве протестной массы, ни как производители материальных или символических товаров. Прибыль и власть отныне создавались не в областях промышленного производства, а путем связанных с глобальными потоками торговых обменов и финансовых спекуляций. Устраивать революции стало некому, незачем, не из кого. Дискредитированными оказались все масштабные про-

⁶³ Michael Burawoy, *The Great Involution: Russia's Response to the Market*. University of California. Berkeley. Unpublished paper, 1999.

граммы мобилизации: социалистическое догоняющее развитие, пролетарская социальная демократизация, борьба за обретение национальной независимости и неолиберальное обещание рынка — все они прошли чередой за прошедшее десятилетие, чтобы каждое из них обернулось жесточайшим разочарованием. Ведущие общественные классы, когда-то бывшие в авангарде социальной мобилизации — капитаны промышленности и реформистская номенклатура, интеллигенция, специалисты, индустриальные рабочие — казалось, исчезли вообще или навсегда погрузились в бессильное, не находящее слов молчание.

ОТКАТ НА ПЕРИФЕРИЮ

Оглянемся на то, что мы наблюдали в этой и предыдущей главах. Парадоксальным образом, резкое ослабление деспотического государства ускоренного развития сделало практически невозможным его реформирование — потеря управляемости исключала проведение сложных маневров с заржавевшей, а затем и развалившейся машиной, чьи «винтики» обрели собственные стратегии. Без государства, не менее парадоксально, оказалось невозможным и закрепление гражданских обществ. Составлявшей их интеллигенции и специалистам помимо чтения запоем публицистики и хождения на митинги прежде требовалось где-то получать источники к существованию и статусные позиции для формирования достойных идентичностей. После 1991 г. все это вдруг сделалось унижительной неопределенностью. В условиях дезорганизации оказалось крайне трудным, если не совершенно невозможным, демократизировать системы государственного управления и перенацелить экономические активы на достижение общественно рациональных целей. Созидательные программы подобного рода потребовали бы сильных институциональных основ и ясного, долгосрочного политического видения⁶⁴. Происходил же ровно обратный процесс катастрофически быстрого сжатия горизонтов. В надвигающемся хаосе задачи стали ограничиваться самыми ближними пределами как в смысле резко сжавшегося горизонта времени, так и крайней узости и причудливой нестойкости человеческих групп, вовлеченных в социальное взаимодействие. Иными словами, и старая номенклатура,

⁶⁴ О взаимосвязи исторической демократизации на Западе с институциональным расширением горизонтов социального пространства и времени лучше всего говорит обзорная статья Arthur Stinchcombe, *Tilly on the Past as a Sequence of Futures* у Charles Tilly (ed.), *Roads from Past to Future*, Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1977.

и питавшие большие надежды интеллигентские оппозиционеры, и зарождающийся слой частных предпринимателей могли преследовать лишь самые непосредственные, сиюминутные задачи, и при этом надеяться лишь на круг знакомых, сослуживцев, родственников, или подчиненных личных клиентов. Доверие стало сильно зависящей от обстоятельств переменной величиной. Вот почему составные части политической мозаики зачастую стали складываться на традиционной основе географической и этнической общности.

В данной главе мы до сих пор фокусировали наш анализ преимущественно на рассмотрении переменчивого и поверхностного уровня политической истории и деяний личностей, который Фернан Бродель снисходительно называл «заурядной историей событий». Бродель, конечно, бравировал историографическим максимализмом, бросая свое знаменитое «События – это пыль!»⁶⁵ На уровне индивидуального человеческого бытия успех или провал в войне или попытке овладения властью может означать разницу между жизнью и смертью. Однако в долгосрочном плане Бродель оказался прав, настаивая на устойчивой безличной силе исторических структур. Саморазрушительность рассматриваемых в данной главе различных политических стратегий не была, вопреки распространенному стереотипу, результатом иррациональности неких этнических традиций, древней вражды или криминальных наклонностей. Главный вопрос, сформулированный в структурно–исторических терминах, мог бы звучать примерно так: какие общесистемные и местные процессы, какие силы и ограничители отбросили на периферийные орбиты государственные образования, появившиеся после развала СССР? Вопрос не праздный, учитывая, что всего за несколько лет миллионы людей, прежде живших на уровне, приближавшемся к социально-экономическим показателям Европы, оказались вдруг посреди опасностей и невзгод, более свойственных Латинской Америке или даже Африке.

Возникшая в период революционной ситуации 1989 г. историческая развилка, увы, наглядно подтвердила теоретический постулат насчет структурной устойчивости разделения современной миросистемы на ядро, периферийные и полупериферийные зоны⁶⁶. Регионы, бывшие полупериферийными и до коммунистического периода, – пояс стран, протянувшийся от Эстонии и да-

⁶⁵ Fernand Braudel, *Afterthoughts on Material Civilization and Capitalism*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1986.

⁶⁶ Giovanni Arrighi, Terence K. Hopkins, and Immanuel Wallerstein, 1989: The Continuation of 1968, in George Katsiaficas (ed.), *After the Fall*. New York: Routledge, 2001.

лее через Польшу и Венгрию до Словении — после 1989 г. быстро вернулся к своему полупериферийному состоянию, выразившемуся на новом витке в экономически подчиненной интеграции в Евросоюз⁶⁷. Ни одно из этих государств не достигло мощи и благосостояния развитых капиталистических держав, но, по крайней мере, они оказались напрямую ассоциированы с капиталистическим ядром посредством вхождения в изначально западноевропейские политические учреждения, сети экономических и информационных обменов. Это выглядит достаточно удачным исходом крушения советского геополитического блока особенно на фоне катастрофических траекторий большинства бывших республик СССР и Югославии. В данной главе мы сравнительно-эмпирически проследили варианты траекторий различных областей Кавказа после распада СССР. Однако при всей ценности этого материала для сравнительно-политологических теорий конфликта встает другая, куда более масштабный вопрос: почему даже избежавшие военно-революционных разрушений Аджария и Кабардино-Балкария все равно в итоге оказались столь бедными и глубоко периферийными для глобальных рынков?

Теоретическая проблема причин социально-экономической отсталости «незападных» стран и путей ее преодоления уже полвека находится в центре очень активных теоретических и политических дискуссий. В 1960-х быстро нараставшее тогда движение молодых леворадикальных политэкономистов (лидерами которого выступали такие незаурядные личности, как Андре Гундер Франк, Самир Амин или будущий президент Бразилии Энрике Кардозу) подвергло мощной критике дотоле господствовавшие теории культурной модернизации. Взамен леворадикалы попытались аналитически увязать состояние социально-экономической «недоразвитости» со структурной зависимостью Третьего мира (впервые названного ими «периферией») от «развитых» стран Запада, или центра/ядра. Подобный поворот открыл многообещающую теоретическую перспективу, поскольку позволял встроить траектории бывших колоний и полуколоний в целостную и динамическую общемировую модель постоянно развивающихся взаимоотношений, регулярно воспроизводящих отставание большинства и преуспевание немногих.

Ранние формулировки теории зависимости, однако, страдали прямолинейным экономическим и политическим детерминизмом. Вместо тонкого анализа они скорее предлагали сильные полити-

⁶⁷ Варианты возобновленной полупериферийности в Центральной Европе суммирует Lawrence King, *Making Markets: A Comparative Study of Postcommunist Managerial Strategies in Central Europe*, *Theory and Society* 30 (2001).

ческие лозунги, которые были тогда востребованы националистическими элитами постколониальных стран. Изначальным объяснением периферийного состояния выступал европейский колониализм — прямое политическое господство и грабеж ресурсов, подобные имевшим место в испанском Перу и британской Индии. Однако обретение независимости бывшими латиноамериканскими колониями в 1820-х и афро-азиатскими после 1945 г. доказало, что само по себе колониальное господство не является удовлетворительным объяснением. В 1950–1960-х гг. усилия аналитиков были сосредоточены на таких разнообразных факторах, как недостаток современного образования, тяжелой промышленности, транспортной инфраструктуры, или же неоимпериалистической политике Запада и неэквивалентном товарообмене с бывшими метрополиями. Однако новейший эмпирический пример бывших социалистических стран Восточной Европы, которые в 1990-х откатились на позиции периферийных, явно противоречит большинству из предпринимавшихся ранее попыток научно объяснить неудачи развития. Выяснилось, что можно быть независимым национальным государством, даже какое-то время геополитической и идеологической сверхдержавой, отстроить города с самым образованным населением и едва ли не переразвитой тяжелой промышленностью, создавать технику передового уровня, обладать мощнейшей современной армией, плюс меркантилистским автаркическим режимом, на протяжении многих лет не жалеющим усилий для достижения силового паритета в отношениях с Западом — и в конце концов вновь оказаться страной с типично периферийными социальными комплексами и практиками, откатившись на позиции Индонезии и Мексики. На сегодня основной неразрешенной проблемой теорий отсталости, требующей трезвого и комплексного аналитического подхода, являются причины многообразия исходов коммунистических стратегий догоняющего развития в бывшем советском блоке — и ничуть не менее в недавно еще отстававшем Китае и Вьетнаме.

Еще в начале 1980-х левый французский экономист Алэн Липец подверг внутренней критике упрощенческие подходы теорий зависимости Третьего мира. Он задался вопросом, отчего на самом деле эмпирически так сложно доказать, будто бы империалистические правительства и транснациональные корпорации Запада всегда и неизменно злонамеренно тормозили развитие остальных стран мира⁶⁸. Вместо постулата об империалистическом диктате Липец предложил сосредоточить внимание на структурном дифференце между капита-

⁶⁸ Alain Lipietz, *Mirages and Miracles: The Crises of Global Fordism*. London: Verso, 1987.

листическими метрополиями и периферийными странами в мировой топографии экономических, геополитических и культурных позиций. Подобная ситуация «объективно», без чьей-либо конкретно определяемой злой воли, предрасполагает к ведению властных игр, в рамках которых разрозненные периферийные элиты могут в узко рациональной манере преследовать краткосрочную выгоду за счет общественно иррационального подрыва потенциала развития собственных стран и, следовательно, долгосрочного ослабления своих коллективных позиций в миросистеме. Страны постсоветского пространства дают множество подобных примеров.

Намного глубже событийного уровня политических интриг, идеологической моды и международных финансовых махинаций, где вне поля зрения обычных людей (как, впрочем, и комментаторов текущих политических новостей) находится источник причин, невидимый в силу того, что является внеличным, до предела абстрагированным и исторически унаследованным, оттого кажущийся от веку данным, если даже не исторически роковым. Читателя, знакомого с русской литературой, должно, по крайней мере, озадачить, насколько перекликается с давними горькими размышлениями Чаадаева философский роман современного западноафриканского писателя Айе Квеи Армы с горько ироническим названием «Отчего мы так благословенны?» Переводя эту дилемму на социально-аналитический язык, речь здесь идет о структурных ограничителях, заложенных в глубинной морфологии капиталистической мировой экономики. Они действительно возникли и структурировались в ходе военно-коммерческой экспансии Запада на протяжении прошлых столетий. Времена менялись, но *mutatis mutandi* дифферент мирового неравенства, так или иначе, оставался устойчивым условием. Без чьего-либо осознанного воздействия, динамическая «игра за власть» продолжала раз за разом приводить к периферийному «недоразвитию» на каждом новом историческом витке. Даже если феноменальный экономический рост восточной Азии в скором будущем обернется перемещением центров мировой экономики и политики, остается вопросом, даст ли такая эпохальная подвижка шанс прочим районам мира изменить и свое положение в глобальной иерархии. Предположим, как обнадеживают вполне серьезные аналитики, уже в относительно близком будущем такая возможность просматривается⁶⁹. Чтобы не угодить в ловушку, тем более важно понять, как возникали, воспроизводились и функ-

⁶⁹ Арриги Д. *Адам Смит в Пекине. Что получает в наследие двадцать первый век*. М.: ИнОП, 2008. Ha-Joon Chang, *The East Asian Developmental Experience: The Miracle, the Crisis, and the Future*. London: Zed Press, 2006.

ционировали структуры периферийной зависимости, препятствовавшие развитию.

Теоретический прорыв в понимании причин зависимости начинается с середины 1970-х, и был связан в первую очередь (хотя и не единственно) со школой миросистемного анализа, основанной Иммануилом Валлерстайном и впоследствии развиваемой Кристофером Чейз-Данном и Джованни Арриги. Сила прорыва определялась широким и неортодоксальным синтезом неомарксистской политэкономии господства (в том числе теорий зависимости), культурологической интуиции Грамши, неовебериянского анализа государственной власти с экономическими идеями Шумпетера, Поланьи и Калецкого — объединяемыми историческим макровидением Броделя. Разумеется, еще предстоит немало сделать для заполнения лакун, оставленных первопроходческими усилиями Валлерстайна и Арриги. Требуется увязать достижения миросистемной перспективы с теориями, действующими на других, менее глобальных уровнях причинно-следственных связей, прежде всего микроэтнографии и культурологии повседневности, и на среднем уровне сравнительного изучения государств и нишевых структур рынков. Это будет основной задачей следующего поколения исследователей. Здесь же давайте попробуем набросать эскиз того, как могут выглядеть подобные мостики от миросистемного уровня до ежедневно наблюдаемой реальности.

На обширном пространстве от Балтики до Тихого океана Советский Союз в ходе своего догоняющего развития насильственно и энергично насаждал совершенно однообразные, как сталинские заводы и хрущевские многоэтажки, изоморфные институты политического и экономического управления, равно как и социальные структуры, порожденные бюрократическо-индустриальной моделью⁷⁰. В Белоруссии, Армении или Узбекистане возник стандартный набор номенклатуры и национальной интеллигенции, райкомов партии и государственных университетов. Однако бывалый современник, мало-мальски знакомый с положением дел в союзных республиках, мог вполне обоснованно утверждать, что колхоз или райком в Эстонии весьма своеобразно отличались от своих аналогов где-нибудь в Грузии в смысле внутренних норм, ритуалов общения и социальных функций. Подобные «бытовые» этнографические отличия между советскими учреждениями, очевидно, могут

⁷⁰ Истоки и противоречия советского бюрократического изоморфизма проницательно исследуются в первопроходческой монографии бывшего советского социолога: Victor Zaslavsky, *The Neo-Stalinist State*, Armonk. NY: M. E. Sharpe, 1982.

быть объяснены характером и композицией неформальных внутренних бюрократических сетей, видов местных ресурсов и стратегиями перераспределения средств, и, соответственно, в немалой степени спецификой повседневного образа и стиля властвования, питаемого местной культурой и социальной структурой.

Следует сознательно сопротивляться соблазну легко выразить и объяснить подобные вариации в абсолютизирующих категориях, восходящих к давним предубеждениям насчет цивилизационной пропасти между (якобы унитарными) Востоком и Западом. Например, распад советской власти в номинально исламском Азербайджане скорее отразил политическую лихорадку в соседних христианских Армении и Грузии, однако к худу ли, к добру ли, отличался от сценариев центральноазиатских республик. Вразрез с предположениями экспертов по региональным цивилизациям и в противоположность политической риторике самих национальных движений времен перестройки, исламское наследие, турецкая этнокультурная общность либо, в противовес ей, персидская имперская традиция сыграли, по трезвому размышлению, не самую главную роль в постсоветской траектории Азербайджана. Что действительно имело значение, так это нефть, регионально-земляческая патронажная клановость и исключительное доминирующее положение столицы страны Баку с ее высокой плотностью претендующих на власть элит, но также и со значительными массами этнически различных рабочих промышленности и маргинальных субпролетариев. За контроль над столицей и нефтью вели и ведут ожесточенную борьбу различные бюрократические группировки, интеллигентские круги, полукриминальные предприниматели, которые все возникли в последние десятилетия советского периода. После всех кровавых и подчас непонятных перипетий 1990-х, и несмотря — а, скорее, даже благодаря — монополизации власти и привилегий в руках номенклатурно-султанистского семейства Алиевых, Баку остается центром политического активизма, что может еще привести к новым революциям и, возможно, возникновению конкурентной демократической политики. Остальные более традиционные по жизненному укладу районы Азербайджана остаются глубоко в тени Баку и активной роли играть до сих пор не могли. Оттуда лишь появлялись новые волны амбициозных провинциалов, ищущие завоевания почетных мест в столице. Достаточно ясно, что типологически Баку и новое азербайджанское государство остается ближе остальному Кавказу и, шире, Восточной Европе, нежели гипотетическому «исламскому миру». Но положение это не жестко фиксированное: страна может двигаться в направлении большего либо, напротив, меньшего приобретения периферийных черт. Будущее

Азербайджан просматривается в достаточно широком секторе возможностей от закрепления на какой-то период (скажем, еще на поколение) неопатримониального нефтяного «султанизма» до каких-то форм вероятного националистического популизма (наиболее чревато возобновлением войны за Карабах, в которой Азербайджан, между прочим, отнюдь не поддерживается исламским Ираном) и более устойчивой капиталистической демократии, скорее всего, в той или иной стабилизирующей ассоциации с объединной Европой. В любом случае, сектор возможностей Азербайджана не определяется кардинальной дихотомией Восток/Запад.

Понятие периферийности в рамках мирового разделения труда, власти и ресурсов дает более надежный и аккуратный аналитический инструмент, нежели любая модель, исходящая из примата экзистенциального «столкновения цивилизаций». Периферия есть системный, взаимоотноносительный и подвижный определитель, который противостоит широко распространенному предрассудку насчет предопределенности культурных традиций. «Национальная» культура является сложным, исторически приобретенным и, в силу этого, изменчивым и изменяемым (пускай нелегко) набором социальных практик. Более того, культура является областью, которая не может существовать в отрыве от измерений власти, экономического производства и социальной иерархии. То, что теоретики модернизации обычно подразумевают как связанные с отсталостью культурные свойства, в более материалистической перспективе предстает в основном как функция трех факторов.

Первым является поверхностное проникновение государства в общество. Иначе говоря, периферийным государствам недостает того, что Майкл Манн назвал «инфраструктурной властью», способности изменять поведение своих граждан, отчего в основном и кажутся незыблемыми традиционные практики самоорганизации. Подобное положение дел американский политолог Джоэл Мигдал охарактеризовал в заголовке влиятельной среди политологов разработки монографии как сосуществование в Третьем мире «Сильных обществ и слабых государств»⁷¹. Подобные государства нередко применяют к своим гражданам грубую силу именно потому, что у них в распоряжении нет других, более тонких и нормализованных методов воздействия. Соответственно, слабые государства вынуждены опираться на сложную полуформальную сеть служащих се-

⁷¹ Michael Mann, *The Sources of Social Power, Vol. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Joel Migdal, *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1988.

бе на благо функционеров, корыстных чиновников, региональных предводителей и прочих «значительных лиц» на местах. В отсутствие эффективного надзора со стороны центральной власти и, как правило, по негласной договоренности властителей и привилегированных подчиненных, подобные госслужащие имеют тенденцию частично, если не целиком присваивать собранные ими формальные ассигнования, налоги и пошлины и тем более разнообразную мзду. В итоге выбор финансовых возможностей периферийного государства сводится к выпрашиванию зарубежной помощи или банковских кредитов, монополизации легко контролируемых главных отраслей неэластичного спроса (продовольствия, топлива или в наши дни мобильной связи) и, если такая удача дана геологией, экспорта ископаемых богатств, особенно нефти.

Периферия представляет собой зону, где государственные учреждения в большей степени работают на основе личных связей, нежели формального бюрократического продвижения, и являются в основном своекорыстными синекурами. Находящиеся под влиянием Макса Вебера ученые называют подобные модели правления неопатримониализмом, т.е. частно-семейным владением государственными должностями⁷². Как мы увидели в предыдущих главах, неопатримониализм подтачивает структуры внешне вполне современного формального государства и, в момент кризиса, может сделать их крайне хрупкими. Сочетание во многом лишь фасадных современных учреждений (формального правительства, парламента, даже избирательных процедур, что требуется для международного

⁷² Основопологающей работой по неопатримониалистической модели правления в странах современной постколониальной периферии является статья Гюнтера Рота, известного американского переводчика и комментатора наследия Макса Вебера. См. Guenter Roth, *Personal Rulership, Patrimonialism, and Empirebuilding in the New States*, *World Politics*, vol. 20, № 2 (1968), pp. 194–206. Дальнейшие теоретические и эмпирические последствия были вскрыты израильским социологом Шмуэлем Айзенштадтом S. N. Eisenstadt, *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. London: Sage, 1973; Jean-Francois Medard, *The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or Neopatrimonialism*, in Christopher Clapham (ed.), *Private Patronage and Public Power*. New York: St. Martin's Press, 1982, pp. 162–192. Относительно неопатримониальных моделей в советской партийно-государственной системе см. Ken Jowitt, *New World Disorder: The Leninist Extinction*. Berkeley: University of California Press, 1992. Ясное и теоретически эрудированное описание концепции неопатримониализма в применении к посткоммунистической Украине находим у Александра Фисуна, *Политико-режимная трансформация Украины: дилеммы неопатримониального развития*, *Стилос*, Киев, 2002. С. 4–14.

признания) и по сути личной, неопатримониальной модели власти делает периферийные государства дисфункциональными, а их демократии — имитационными. В самом деле, они нередко вопиюще неэффективны в предоставлении общественных благ, которые мы связываем с современным государством — основополагающей безопасности граждан и их собственности, образования, строительства и поддержания дорог, медицины, общественного транспорта и т.д. Но в то же время, если допустить в наш анализ неизбежную долю сарказма, приходится признать, что подобные государства являются весьма эффективными механизмами, производящими богатых правителей в бедных странах. Околовластная олигархия — типичнейший показатель и родовой признак неопатримониальной модели правления.

Во-вторых, государства, которые не могут обеспечить эффективное управление, координацию и защиту, создают неблагоприятную среду для конкурентного рыночного предпринимательства. В странах, где чиновники склонны к присвоению предназначенных на исполнение госпроектов бюджетных средств, всякое предпринимательство автоматически рассматривается в качестве потенциального объекта вымогательства. В результате местная экономика оказывается поляризованной на два практически несвязанных сегмента. На верхних уровнях мы находим гипертрофированно крупный бизнес, контролируемый зарубежными институциональными инвесторами либо местными олигархами, поскольку только они обладают влиянием и силой, чтобы обеспечить собственную безопасность и действовать в неблагоприятной среде, заискивая перед правителями в закулисных сделках, подкупая или запугивая алчных чиновников, полицейских и просто бандитов. На другом полюсе находится большинство простых граждан, которые пытаются как-то выжить за счет мизерных зарплат, семейной взаимопомощи, подсобного хозяйства, временного трудоустройства, мелкой торговли и случайных приработков вплоть до люмпенской преступности — словом, того, что перуанский социолог Анибал Кихано совокупно называет «простонародная экономика» (*la economía popular*)⁷³.

Третий набор условий относится к социальной структуре периферийной «отсталости» и замыкает причинно-следственный круг. Распределение власти в таких странах крайне неблагоприятно для многочисленных и плохо структурированных маргинальных групп, находящихся в самых низах общественной пирамиды. Они могут постоянно нарушать законы и даже периодически бунтовать, но у

⁷³ Aníbal Quijano, *La economía popular y sus caminos en América Latina*. Lima: Mosca Azul Editores, 1998.

них мало навыков и возможностей для последовательной политической мобилизации с целью долгосрочного институционального закрепления своих требований перед правителями, олигархами и чиновниками на местах. В то же время периферийная экономическая структура оставляет недостаточно места для формирования среднего класса и кадрового пролетариата, которые теоретически могут обладать достаточными ресурсами для реального воздействия на существующий режим и преобразования государства в нечто более приемлемое для общества, управляемое законами и менее хищническое. Образованные средние классы специалистов и индустриальный пролетариат, конечно, эпизодически возникают, поскольку современная экономика не может существовать вовсе без них. Однако они остаются меньшинством, как правило, изолированным в городских центрах либо связанных с мировой экономикой анклавах (шахты и нефтепромыслы, прибрежные экспортные зоны, научные городки, куда транснациональные корпорации все более выносят черновую часть своих производственных процессов). В результате эти классы не могут, а нередко и не желают, реализовать свой гипотетический потенциал проводников рационализации общества и основных требователей законных политических преобразований, поскольку они невелики численно, несвязно разбросаны по социальной иерархии, территориально ограничены анклавами, уязвимы перед лицом репрессий, или же подкуплены зарплатами, которые на фоне местного обнищания выглядят заманчивыми.

Наиболее многочисленным классом периферий современности являются субпролетарии, быстрыми темпами сменяющие крестьян по мере того, как традиционные структуры сельского уклада буквально на наших глазах отмирают по всему миру⁷⁴. Массовое присутствие в трущобных пригородах уже ушедших из села, но так и не влившихся в городскую среду субпролетариев сегодня приводит к колоссальному потоку дюркгеймовской социальной аномии со всеми сопутствующими комплексами и патологиями, либо к отчаянному возрождению казалось бы архаичных семейно-соседских практик и религиозных верований. Демографически стесненные в своих хозяйственных нишах и социально уязвимые крестьяне и субпролетарии, не контролируемые и чаще всего просто непонимающие

⁷⁴ О связи «раскрестьянивания» (de-ruralization) с миграционными, религиозными, и классовыми конфликтами времен нынешней глобализации имеется показательный и в основном крайне мрачный обмен мнениями между звездами мировой макросоциологии и истории: Charles Tilly, Immanuel Wallerstein, Eric Hobsbawm, Aristide Zolberg and Lourdes Beneria in *International Labor and Working-Class History* 47 (Spring 1995).

внешние для них истоки нестабильности существования, особенно подвержены популистской мифологии светского или религиозного характера и могут время от времени учинить шумные беспорядки. Однако это едва ли приводит к конструктивному преобразованию государства и общества, если восстания не сопряжены с политическими проектами более образованных и дисциплинированных групп, наделенных навыком политического предвидения и закрепления своих политических достижений. Но что вообще остается преобразовывать на более гуманистический лад, если государства безнадежно неэффективны и хронически коррумпированы? Чего остается ждать от социалистических, национальных, или либеральных интеллигентских призывов после того, как все предыдущие попытки авангардного преобразования общества и достижения уровня современного Запада окончились деморализующим провалом и возвращением на круги своя? Жителям (гражданами их назвать можно с натяжкой) периферийных стран остается выбор между повседневым принятием подчиненного положения по отношению к правителям, которые сами являются подчиненными в системе мировой экономики и международной политики, либо эмиграции в государства «ядра», что для многих видится теперь наилучшим выходом даже без всякой визы. Для некоторых, впрочем, остается еще вариант обращения к, казалось, полузабытым религиозным практикам, освященным традицией и дающим, по крайней мере, ощущение коллективной принадлежности, взаимовыручки и моральности земного существования.

Итак, можно подытожить, что периферия является зоной, где вместо идеального типа бюрократа, по Максу Веберу преданного исключительно учреждению и рациональному правовому кодексу, мы обнаруживаем слишком много «коррумпированных» чиновников, которые, следует признать, совершенно рационально преследуют собственную выгоду в отсутствие публичной морали и надежды на достойную комфортабельную отставку по выслуге лет. Не в силу неких местных традиций (ибо мало в современном мире практик, более распространенных на всех континентах, чем бюрократическая коррупция), и также вполне рационально эти чиновники неизменно состоят в сетях семейного, этнического, служебного и какого угодно личного патронажа – поскольку в нестабильных государственных структурах только личные связи обеспечивают их относительную (и всегда лишь относительную!) безопасность и комфортное существование. Соответственно, чиновники просто обязаны изыскивать способы собирания мзды, поскольку им необходим капитал для достижения и сохранения привилегированных позиций, для дальнейших обменов в своих социальных сетях

и «кланах», ну, и конечно для собственного показного потребления, приятно подтверждающего их элитный статус.

Экономика, вернее, хозяйственная деятельность, поскольку об интегрированной экономике говорить здесь неправомерно, в случае полной периферизации оказывается разорвана на неравные сегменты. Господствуют гипертрофированные «белые слоны» показного государственного развития и толстокожие «носороги», крупные бизнес-конгломераты, способные интернализировать за счет своего веса охранные и политические издержки. Их нередко трудно отличить от госсобственности, хотя частное присвоение прибыли более или менее легальными путями указывает на скрытое присутствие реальных бенефициариев. Выходя на мировые рынки, эти гиганты местного масштаба регулярно оказываются в положении заведомо младших партнеров мирового бизнеса. Они недостаточно сильны на этом уровне, чтобы определять условия сделок, и в результате фактически платят ренту старшим партнерам, контролирующим глобальные финансовые потоки, передовые технологии, и, самое важное, доступ на емкие рынки стран «ядра». Из неэквивалентного обмена, в самом деле, возникает значительная часть типично периферийных черт. В таком положении остается снижать издержки за счет собственной рабочей силы, поэтому периферийный капитализм склонен более к явной диктатуре либо к фальшивой, имитационной демократии. Действенная демократия на периферии грозит трудовыми конфликтами и общей непредсказуемостью, особенно в случае прихода к власти перераспределительных популистов социалистического или иного толка. Как правило, периферийный олигархический бизнес вполне способен и желает закулисно договариваться с авторитарной властью. О законности вспоминают, в основном, когда внутриэлитная конкуренция или обрыв связей при смене правителя более не позволяет решать «свои вопросы» полюбовно. В этом случае возможны даже демократические революции при поддержке проигравших олигархических фракций.

Борьба за государственную власть может оказаться также источником важнейших конкурентных преимуществ на мировом уровне, поэтому неверно говорить, что олигархия всегда противится и саботирует укрепление власти. С одной стороны, достаточно сильное государство может оградить внутренние рынки протекционистскими барьерами и создать монопольные заповедники для своего крупного бизнеса. В недавнем прошлом это обычно именовалось стратегией замещения импорта и поощрения национального производства. Вполне предсказуемо, как верно указывают неолиберальные экономисты, признанный своим бизнес терять стимулы к иннова-

циям и пускает прибыли на роскошное потребление и подкуп чиновников, поскольку государственные преференции и монополии дают куда больший, предсказуемый и «ленивый» доход⁷⁵. Страну со временем постигает хозяйственный застой и непроизводительная коррупция.

В намного более редком варианте, бизнес выстраивается за государством (или его выстраивают) с тем, чтобы единой силой пробиться на мировые рынки. Эта стратегия, более всего известная на примере Восточной Азии, именуется экспортной ориентацией. Она, кстати, не менее предрасполагает к коррупции, поскольку место в строю дорого стоит. Отличие в том, что в перспективе оказывается выгоднее вкладывать коррупционные доходы в общее дело, поскольку оно сулит новые и в основном легальные доходы. Так Япония некогда выходила с полупериферии в ядро капиталистической мирозкономики, так Южная Корея, Тайвань и Сингапур выбивались из периферийного положения, тем же путем теперь, похоже, двинулся и все еще коммунистический Китай. Возможно, данный анализ применим и к полупериферийной Финляндии, изобретательно и успешно преодолевшей кризис, вызванный распадом своего гигантского соседа. Но у этой успешной стратегии при внимательном и трезвом исследовании обнаруживается такая масса своеобразных структурных и чисто случайных «деталей», что восточноазиатский феномен, в самом деле, начинает выглядеть чудом — а чудо по определению уникально⁷⁶. Теоретики пока не сходятся во мнении, как и насколько возможен перенос экспортно-ориентированной стратегии в другие страны. В любом случае, для целей нашего исследования может иметь значение только сама теоретическая возможность альтернативных стратегий повышения статуса страны в миросистеме и тот факт, что государственная организация всегда играет в этом ключевую роль⁷⁷.

Самостоятельные предприятия крепкого среднего уровня в условиях периферии, как правило, не выживают. Прочая же хозяйственная деятельность протекает на уровне кустарей, отходников-мигрантов, извозчиков-таксистов, микро-мастерских и лавочек, крестьянских и семейных приусадебных участков. Слишком многочисленный и неустойчивый слой оторванных от села людей обращается в неуправляемые массы субпролетариев. При этом условия типично периферийной концентрации вла-

⁷⁵ Vivek Chibber, *Locked in Place. State and Markets in India*. Princeton University Press, 2002.

⁷⁶ Bruce Cumings, *Korea's Place in the Sun*. New York: Norton, 2005.

⁷⁷ Alice Amsden, *The Rise of the Rest*. Cambridge: MIT Press, 1998.

сти и использования ее для монополизации автономных от общества экспортно-импортных потоков (тех же минеральных ресурсов) либо экстенсивного понижения издержек за счет применения дешевого труда оставляют слишком мало пространства для возникновения внутренне организованных классов индустриального пролетариата и специалистов с высшим образованием. Эти классы, которым на самом деле уже есть что терять и которые могут эффективно отстаивать свои интересы перед лицом государства и привластного бизнеса только выработав классовую культуру и организации, кумулятивно, в течение девятнадцатого и двадцатого веков, оказались главными двигателями возникновения современных демократий Западной Европы⁷⁸. Вопреки Марксу, западный пролетариат не стал могильщиком капитализма, поскольку по мере институционализации своих достижений именно наемным работникам, массовой интеллигенции, специалистам и малым предпринимателям, оказалось, более целесообразно настаивать на последовательном применении правовых и долгосрочных методов разрешения конфликтов. Шаг за шагом, они институционализировали свои совокупные достижения в структуру политического гражданства и современного государства благосостояния. В этом направлении в 1960–1980-х годах двигался и СССР вплоть до катастрофического развала, как минимум на поколение отбросившего его осколки в периферийное состояние деиндустриализации, распада наиболее организованных социальных групп, и «султанистского» правления.

Данное описание неминуемо отмечено импрессионистским упрощением, которое в целях обобщения жертвует реальной исторической многогранностью. Однако берусь утверждать, что оно выводит нас на правильное направление при анализе тяжелых, но не настолько уникальных последствий развала СССР. Усложняющим является то обстоятельство, что в XX в. существовало множество самых разнообразных государств ускоренного развития. Советский Союз был среди них одним из ранних, крупнейших и хронологически длительных примеров диктатуры развития, достаточно долго выглядевшей успешной. Однако сегодня диктатуры развития видятся уделом прошлого. (Но опять-таки невероятные темпы и масштабы развития коммунистического Китая ставят исследователей перед исключительно серьезным затруднением.) Сегодня, когда вновь встает задача анализа отсталости и меркнет идеологический оптимизм глобализации, насущным становится критический пересмотр

⁷⁸ Charles Tilly, *Roads from Past to Future*. Rowman and Littlefield, 1997.

и новая операционализация концепций периферии и стратегий догоняющего развития.

Несмотря на риск впасть в еще одно упрощенческое обобщение и вызвать критику ортодоксальных левых либо державных оборонцев, берусь заявить, что миросистемная периферия уже давно не является зоной империалистического господства. В своей основе периферия представляет собой зону различных структурных слабостей, а слабость привлекает несчастья самого различного рода. Даже если нельзя полностью сбрасывать со счетов уязвимость перед лицом иностранной экономической и геополитической экспансии — не это главное. XX в. дал нам массу различных впечатляющих примеров успешно организованного сопротивления, чей опыт в той или иной мере применим и сегодня. Наиболее распространенной угрозой для периферийных обществ является их беззащитность перед хищническим поведением собственных элит, которые могут посчитать выгодным осуществление стратегий, в итоге приводящих к коррупционному размыванию государственной власти и деиндустриализации. И в то же время эти элиты не являются ни самоубийцами, ни безумцами — по крайней мере, на индивидуальном уровне. Эти люди определенно знают, что на самом деле означает политическая власть в их уголке мира. Однако на коллективном уровне сами властвующие субъекты все время останавливаются перед неразрешимой задачей собственной организации в качестве сплоченного, представляющего свои интересы господствующего класса — что и является их главной слабостью. Плохи элиты? Допустим, плохи, но куда важнее понять, почему настолько плохи?

Если мы захотим охарактеризовать периферийную государственность эпохи глобализации одним словом, то им может быть *безответственность*. Причем это вовсе не обязательно личная безответственность, а структурная — правители и элиты не отвечают на главные вызовы государственной власти. На уровне внешней политики периферийные государства наших дней на самом деле не особенно озабочены проблемами своего военного выживания, поскольку вполне защищены от угрозы полной аннексии более сильными иностранными хищниками. В противоположность прошлому, с 1945 г. право на территориальное завоевание было достаточно эффективно исключено из кодекса поведения на международной арене. Даже тот грубо властный факт, что Соединенные Штаты и Европа оставили за собой право военного вмешательства для противостояния тому, что считают угрозой коллективной безопасности и правам человека, в целом, служит обеспечению существования большинства слабых государств, выражающих готовность хотя бы в порядке имитации следовать нормам, предписываемым «между-

народным сообществом» — т.е. государствами капиталистического центра/ядра⁷⁹.

Во внутреннем отношении современные периферийные государства могут позволить себе различную степень безответственности по отношению к собственным гражданам. Пресловутая «институциональная неэффективность» (*lack of institutional capacity*) является скорее предлогом, нежели причиной крайне неудовлетворительного уровня предоставляемых образования, здравоохранения, правоохранения или дорог. Проблема заключается в отстраненности и автономности периферийного государства от собственных граждан, которые в глазах властей не имеют значимости ни как призывники (поскольку такие государства массовых войн не ведут), ни как налогоплательщики (поскольку источником поступлений является помощь, кредиты из-за рубежа или монополия на опять же зарубежную торговлю)⁸⁰.

Преобладающие версии анализа глобализации лишь походя, скорее как обнадеживающее новшество на пути к космополитической гармонии, замечают, в самом деле, удивительную по историческим меркам действительность, в которой большинство мира теперь получает из-за рубежа самые традиционные основы государственности — оборонный потенциал и финансовую систему. Однако это наблюдение влечет за собой масштабные аналитические и политические последствия.

Начиная с теоретических прорывов Баррингтона Мура, Перри Андерсона, Стайна Роккана, Чарльза Тилли и Майкла Манна, специалисты в области исторической социологии и сравнительной политологии достигли сегодня убедительной и детализированной теории, объясняющей реальный ход развития современных государств в Европе⁸¹. Новая теория выделила два взаимосвязанных фактора, сыгравших основную роль в формировании современного государства. Во-первых, это продолжительные войны, попросту убравшие с геополитической арены Европы большинство некогда многочисленных феодальных владений, которые не успели или не сумели создать постоянные армии и развитую бюрократию, требуемые для выживания в условиях постоянной эскалации масштабов, технической вооруженности и элементарной стоимости военной

⁷⁹ Hendrik Spruyt, «The Origins, Development, and Possible Decline of the Modern State», *Annual Review of Political Science* 5 (2002).

⁸⁰ William Reno, *Warlord Politics and African States*. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998.

⁸¹ Randall Collins, *Maturation of the State-Centered Theory of Revolution and Ideology*, in his *Macrohistory*, Stanford: Stanford University Press, 1999.

активности. Во-вторых, это было неуклонное на протяжении последних четырех веков увеличение налогообложения, поставлявшего ресурсы для последовательного наращивания государственных армий и флотов, связанных с ними отраслей промышленности, и самих гражданских бюрократий. Процесс европейского государствообразования был далеко не мирным не только на уровне геополитического соперничества, но также и внутри нарождающихся государств современности.

Восстания и революции, вызванные ростом королевской власти в ущерб всевозможным местным привилегиям и традициям, в долгосрочном плане и без чьего-либо сознательного плана послужили делу рационализации современных государств. Сам Тилли и его многочисленные последователи (прежде всего Джон Маркофф, автор виртуозно аргументированной, колоссальной по массе статистически обработанных материалов и, судя по всему, во многом уже окончательной интерпретации Французской революции), равно как и разнообразные их конкуренты (Джек Голдстоун, Хендрик Спрайт, Ричард Лахманн, Фил Горски, Брюс Карратерс и Джулия Адамс) на впечатляющем архивном материале показывают, каким причудливым образом в европейской истории циклы антиналоговых восстаний, их показательного подавления королевскими войсками, за которым обычно следовала неявная торговля между комиссарами из центра с местными нотаблями по поводу менее конфликтного изъятия будущих налогов, в итоге раз за разом, хотя и без особого плана, выстраивали все более устойчивую и глубоко укорененную структуру государственной власти. Демократизация возникла не столько из абстрактных идеалов свободы и деяний легендарных трибунов (относящихся к самому драматичному, но и поверхностному уровню истории), сколько из того же цикла роста государственной власти – бурного сопротивления – нового уровня договоренностей о предотвращении гражданских конфликтов. Демократия на Западе, пройдя за последние столетия через несколько исторических взлетов и падений, в конечном счете, закрепились, поскольку оказалась сопряжена с вековой тенденцией рационализации государственной власти. Парламенты, свободная от цензуры конкурентная пресса, партии и профсоюзы превратились в институциональные механизмы сложных переговоров по поводу отчуждения определенной части жизненных ресурсов населения в виде налогов и военного призыва молодых мужчин.

Теория Тилли не применима к миру наших дней. Запад в 1945 г. наконец прервал длительную череду своих внутренних войн и создал на сегодня весьма прочные механизмы их предотвращения, что также подразумевало де-факто коллективный протекторат над пе-

риферией. В подобном миропорядке периферийные государства могут черпать военную безопасность и финансовые средства извне — тем самым, избавляясь от хлопот и рисков эффективного управлением внутри. Их траектория ни в коей мере не повторяет путь, создавший Запад таким, какой он есть сегодня⁸². Если взять метафору из зоологии, периферийные государства вовсе не являются растущими хищниками с активным метаболизмом и усложняющейся анатомией, подобно былым европейским государствам. Мы, скорее, наблюдаем здесь элементарное строение паразитарных организмов или поведенческую стратегию падальщиков.

Прежние государства ускоренного развития, особенно в фазе подъема, зачастую преследовали свои экономические и политические цели посредством тотальной пропаганды и насилия вплоть до массового террора. Однако и крушение модели государственного девелопментализма приводит к иным, пусть более мелким, но оттого не менее отталкивающим явлениям и жестокостям. Наличие эффективного современного государства, как показывает пример Восточной Азии, особенно важно там, где рынки и капиталистические институты могут оказаться слишком слабыми и неустойчивыми к спекулятивным колебаниям, недопустимо хищническими, или настроенными на компрадорское обслуживание иностранных интересов и собственных традиционалистских олигархий. Однако, исчерпав потенциал диктаторской модели ускоренного развития еще в 1960-х гг. и затем, исчерпав также и стабилизационные ресурсы 1970-х гг., советский геополитический блок к 1989 г. утратил не только официальное единство, но и управляемость. Неуправляемый откат тянул его бывшие составляющие назад, на периферию, хотя и в разной степени, определявшейся относительной степенью сохранения/восстановления управляемости на уровне бывших стран-сателлитов и союзных республик. В свою очередь, степень разрушения государства зависела в основном от двух взаимопересекающихся процессов. Во-первых, «пожарное» бегство номенклатуры, вместе с СССР терявшей свои позиции, вело к неопатримониальному и к уже практически явному подкреплению командных цепочек личными назначенцами и захвату административных активов, которые превращались в новые базы власти и привилегий. Девизом тут служила знаменитая строка из сицилианского романа—эпопеи графа Томазо ди Лампедузы: «Все теперь должно измениться, что-

⁸² Чарльз Тилли прямо, хотя без деталей указывает на разницу в развитии между странами Запада и современными периферийными государствами в заключении к своей работе *Coercion, Capital, and European States, AD 1990–1992*. Oxford: Blackwell, 1992.

бы остаться по-прежнему».⁸³ Вторым определяющим фактором была интенсивность и классовая составляющая протестных мобилизаций. Одни результаты были возможны там, где западнически настроенные национальные средние классы быстро (и, можно сказать, отрететировано) идеологически подавили или привлекли на свою сторону оппортунистическую часть номенклатуры. Это открывало путь ко вхождению в европейские структуры. Иные результаты возникли там, где уже номенклатура вовлекла в свои неопатримониальные сети отношений оппортунистически настроенных вождей протестующей или потенциально протестной массы. Самые разрушительные примеры дают и прежде менее индустриализованные республики, где основу протестных блоков в какой-то момент составил субпролетариат, способный сломать государство и выживать без государства — но не построить его заново.

⁸³ Giuseppe di Lampedusa, *The Leopard*. New York: The Limited Editions Club, 1988.

ГЛАВА 7

ПРОСТРАНСТВА ВОЗМОЖНОСТИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИТОГИ

Постарайтесь не судить нашего Юру слишком строго. Всю свою жизнь он отстаивал в действительности один и тот же принцип самоуправления. Менялись лишь референтные группы его проектов самоуправления: студенчество, гражданское общество, нация.

*Коллега из Кабардино-Балкарского университета
о Юрии Шанибове*

И все же, [даже после всех высказанных здесь сомнений и предупреждений], мне видится невероятным, что приложение систематического умственного усилия к улучшению нашей жизни может быть остановлено.

*Артур Стинчком, «О слабоумии в футурологии»
(Arthur Stinchcombe, «On Softheadedness on the Future»
Ethics 93, October 1982, p. 118)*

«История жизни этого человека местами просто до боли похожа на то, что происходило с интеллигенцией Латинской Америки в XX в.» – показал головой мой аргентинский друг, прочитав рукопись этой книги. Другой социолог, который с мрачным упорством продолжает называть себя югославом и только югославом, заметил: «В наших войнах таких шанибовых можно было встретить на каждом фронте, со всех сторон». Антрополог из Норвегии, который большую часть своей жизни посвятил изучению Судана и Йемена, высказался так: «Очень похоже на то, что я изучаю, только у вас в СССР все оказалось перемешано и спрессовано во времени. Три поколения тому назад молодые образованные арабы выступали против существовавшей властной иерархии с позиций технической вестернизации и либерального конституционализма; в следующем поколении борцы за перемены принимают идеи революционного национализма и марксизма; сегодня те же самые акти-

висты уже будут скорее сторонниками исламского возрождения, выступающими против морального разложения, коррупционности арабских правителей и их прислуживания Соединенным Штатам». Итак, траектория жизни Мусы-Юрия Шаниб(ов)а, очевидно, перекликается со множеством подобных историй современных интеллектуалов из стран так называемого Третьего мира или сегодняшнего мирового Юга. Однако насколько достоверны эти сравнения? Иначе говоря, помогает ли извилистая биография Шанибова лучше понять масштабные исторические сдвиги? И что это за сдвиги, каковы могли быть объясняющие их теоретические модели?

Ответы на подобные вопросы нуждаются в дисциплинированных обобщениях. Теперь нам предстоит предпринять последнее усилие, чтобы выйти на уровень более абстрактных и потому применимых на миросистемном уровне обобщений. Попытаемся в заключительной главе сплести воедино отдельные нити повествования и посмотрим, удастся ли извлечь из поучительной истории Шанибова и всего советского исторического опыта какие-то нетривиальные подходы к изучению истории современности (поскольку тривиальных мнений об СССР или национализме и исламе и без нас хватает). Выстроенные с толком обобщения помогают избежать искусственных и ложных сравнений. Еще важнее, именно обобщения указывают, в чем искать сравнения, возможно являющиеся истинными, и в то же время неизменно остающимися частными в море эмпирического своеобразия, ибо совершенно прямых параллелей в сложном социальном мире найти невозможно. В конце концов, Китай определенно не похож на Россию, а Россия — на Бразилию, Турцию или Южную Африку. Однако при взгляде под определенным углом мы можем обнаружить неожиданные и вероятно многое разъясняющие частичные тождества¹. Источник света, который позволяет разглядеть элементы сходства и понять их смысл, и есть социальная теория.

В данной книге был использован эвристический, т.е. сознательно лишь временный вариант теоретического синтеза. Более широкая и устойчивая объяснительная теория может быть разработана в будущем и только путем совместного междисциплинарного труда. К тому, собственно, и призыв. Целью было обозначить и в деле показать, при помощи каких теоретических средств можно раскопать сложную эмпирическую реальность, скрывающуюся за штампами «тоталитаризма», «посткоммунистического переходного периода», «несостоявшихся государств», «реформ», «этнопо-

¹ Charles C. Ragin, *Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

литики» или «глобализации». Эта книга представляет собой нечто вроде предварительного археологического раскопа. По мере своих сил, я вырыл длинную узкую траншею поперек наиболее многообещающего участка, чтобы вскрыть стратиграфию исторических слоев, выявить скрытые под землей структурные «постройки» и предложить направления для более подробных раскопок. Однако недавнее советское прошлое не просто скрыто под толщей наносов, и одними раскопками тут не обойтись. Необходимо убрать толстый слой идеологической пыли, обволакивающей место обрушения.

Встает два препятствия. Первым является элементарная нехватка эмпирических знаний. Коммунистическая номенклатура прятала данные в закрытых архивах, ложно интерпретировала их, либо вообще избегала предавать бумаге все то, что выдавало вопиющее несоответствие между заявленными идеологическими установками и реалиями ее правления. Но с наступлением гласности архивы стали открываться, исследователям удалось еще застать немало очевидцев, на свет появилось уже немало добросовестных и достоверных работ о ходе и характере прошлых событий. Это проблема формальной цензуры, что сегодня так или иначе вполне решаемо. Куда более трудная проблема имеет скорее эпистемологический характер. Она относится к самим структурам научного знания, которые организуют профессиональные исследования, генерируют их тематику, язык и концепции, а также предписывают конвенциональные канонические подходы к изложению и интерпретации результатов работ. Эти структуры знаний уходят корнями в конец XIX в. (не так уж и давно), когда социальная наука, особенно четко в англо-американской университетской среде, оказалась институционализована в ряде совершенно отдельных предметов и дисциплин со своими факультетами и рабочими местами, признанными профессиональными журналами и конференциями. Экономисты внушительно предъявили права на интеллектуальную монополию в моделировании процессов материального производства и денежного обмена, политологи пытались формализовать действия политических властей в «среднесрочных» теориях, историки сосредоточили внимание на пригодных для их целей документированных отрезках прошлого, а мы, социологи, как интеллектуально наиболее многообразное скопище, попытались подобрать оставшееся.

Более того, установленные столетие назад структуры социально-научного знания оказались закреплены и подперты мощными двучными идеологиями, доставшимся нам от периода великой «холодной войны». Речь о противопоставлении тандема либерализма

и консерватизма их политическим оппонентам, до недавнего времени представленным марксистскими течениями различного толка. Идеологическое противостояние «капитализма и социализма» уходит корнями не в символические даты 1945 и 1917, но значительно глубже, еще ко временам общеевропейской революции 1848 г. Эта бинарная оппозиция заложена в самой сердцевине того, что получило название эпохи модернизма и модернизации. Советский Союз, конечно, воплощал один из геополитических и идеологических полюсов великого противостояния. В отношении к такому материалу особо сильны пристрастия времен великой «холодной войны» (ныне приобретшие форму торжествующей консервативности и едва не экзистенциального отчаяния «левых»).

В завершающей главе я попытаюсь представить поочередно три разъяснения. Во-первых, попытаемся поместить советский опыт в наиболее широкую миросистемную перспективу. Вопрос здесь следующий: как соотносился с мировыми трендами советский вариант социализма, как он зародился, развивался и чем завершился? Во-вторых, надо выявить синтезированный в ходе работы теоретический подход, складывающийся на основе исследования отдельной жизни Шанибова и выпавших на его долю исторических событий. Вопрос можно сформулировать следующим образом: какие именно теории помогают нам рационально изучить микросоциологический объект, например (и не менее как) судьбу отдельного человека, в увязке с глобальной трансформацией? Наконец, я дерзну обозначить возможные параметры будущего. Если ретроспективные обобщения первых двух разделов являют собой различные виды воображаемой карты (одна — исторически изменчивая карта-схема СССР в координатах всей миросистемы, другая — карта течений в поле современного научного производства), то моя гипотеза о будущих возможностях относится скорее к тому, что Перри Андерсон называем интеллектуальным компасом². В начале нового столетия мы оказались перед лицом громадных и неочевидных по возможным последствиям дилемм теоретического, политического и, наконец, морального свойства. Относительно маленький Кавказский регион миросистемы являет всего лишь один, но удручающе выраженный пример дилеммы, которая представляется нам под такими знакомыми названиями, как этнический конфликт, коррумпированное правление, затяжной экономический спад, новые (и старые) эпидемические заболевания, невосполнимый ущерб окружающей среде, международный терроризм, организованная преступность, массовый исход бежен-

² Perry Anderson, *A Zone of Contention*. London: Verso, 1992.

цев, или же новая волна расизма, направленного против народов и культур (особенно мусульманских) глобального Юга. Все это, однако, производные *устойчивого социального распада*, который охватил огромные области миросистемы, угрожает дальнейшим распространением и проникновением даже в зоны собственно ядра. В такие времена расширение рамок видения реальных возможностей – реальных настолько, насколько мы можем логически обоснованно, на основе достигнутых теоретических знаний показать последовательность социальных механизмов для осуществления этих возможностей – становится столь же необходимой частью научного процесса, как и сугубо профессиональная работа по совершенствованию наших теорий.

ТРАЕКТОРИЯ СОВЕТСКОГО ДОГОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

История жизни Юрия Мухаммедовича Шанибова послужила нам пронизывающей десятилетия нитью, позволяющей сделать серию микроскопических наблюдений. Однако без прояснения соответствующих макроскопических связей подобные наблюдения не станут полностью понятными и обобщенными. В ходе полевых исследований приходилось слышать один и тот же горько-недоуменный вопрос: «*Что за напасть стряслась с нашей страной?*» Найти рациональный ответ невозможно без панорамного взгляда на масштабные структурные преобразования на протяжении всего длинного и напряженного двадцатого века.

Вплоть до 1914 г. мир находился под, казалось, незыблемым господством империй Запада. Таков был итог предыдущего столетия великих трансформаций. По мере того как страны и регионы один за другим оказывались под владычеством западных держав, весь мир оказался впервые вовлечен в единую миросистему. Кавказ оказался присоединен к современной миросистеме, подобно остальной периферии – он был завоеван военным путем в 1800–1860-х гг. Затем посредством основания административно-индустриальных городов и приезда поселенцев, строительства железных дорог, портов, учреждения таможен и полицейский участков, распространения грамотности и усвоения в данном случае русского языка Кавказ прошел колониальную капиталистическую модернизацию в 1870–1910-х гг.

Беспрецедентная экспансионистская мощь Запада XIX в. была в основном обусловлена первенством в организации современного национального государства. Это значило куда больше, чем лишь новшество националистической идеологии, получившей на Западе официальный статус после 1848 г. Национальное государство

сверх всяких прежних достижений во властной организации упрочило правовую бюрократическую власть, создало индустриальные базы, национальную валюту и структурировало рынки, ввело регулярное налогообложение и всеобщую воинскую повинность, вложило бюджетные средства в образование и науку, оказалось способным перестроить целые города, наконец, учредило формальные критерии и идеологию национального гражданства. Эти меры эффективно успокоили и поглотили многочисленные классовые противоречия раннеиндустриальной эры. Предсказанной Марксом революции пролетариата не произошло. Напротив, произошел колоссальный, глубоко трансформативный качественный рост западных обществ, сопровождавшийся распространением их морального превосходства и имперского владычества над всеми прочими цивилизациями и районами мира. Вот почему в XX в. отставшие от Запада страны догоняющего развития связывали свои надежды именно с воспроизведением у себя национального государства и осуществлением индустриализации.

С точки зрения капитализма, национальное государство представляло собой удачное компромиссное сочетание защищенности от социального и геополитического давления (понижения охранных издержек, связанных с обладанием частной собственностью) с государственной поддержкой исконно космополитической торговли и финансов, с открытием мировых рынков и при этом с созданием надежных национальных баз у себя на родине. Клуб миросистемного ядра «цивилизованных государств» оставался крайне замкнутым в обладании всеми типами властных монополий (экономических, военных, идеологических, административных), но одновременно, подобно самим капиталистическим рынкам, членство в клубе предполагало внутреннюю конкуренцию. Таким образом, развитие национальных государств в Европе происходило теми же темпами, что и соревновательное расширение сразу нескольких колониальных империй вне пределов Европы³. Этот конкурентный процесс в 1914 г. вылился в индустриальную массовую войну между государствами ядра, конкретные причины которой не столь здесь важны. Война непредсказуемым для современников образом привела к геополитическому провалу в самом центре, вызвавшему три десятилетия хаоса в экономических, идеологических и поли-

³ См. Giovanni Arrighi, *The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times*, London: Verso, 1994; Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Mann доводит свои теории до наших дней в статье «Globalization after September 11» *New Left Review* II:12, (November-December 2001).

тических структурах капитализма⁴. В том хаосе у самых различных периферийных субъектов вдруг появилась возможность изменить свой статус и положение в мировом разделении труда.

Российская революция 1917 г. была одной из первых реакций на саморазрушение капиталистического порядка XIX в. Экспериментальная диктатура большевиков оказалась наделена наиболее далеко идущими последствиями, поскольку Российская империя содержала в себе элементы, свойственные как ядру западного общества, так и целое море отсталой сельской глубинки и множество колониальных ситуаций на национальных окраинах. Поскольку Россия была громадным централизованным государством континентальных размеров, то она смогла действенным образом противостоять геополитическим давлениям и десятилетиями продолжать эксперимент с экономической автаркией. Большевистский захват власти в России не вызвал цепную реакцию социалистических революций в капиталистических странах ядра, как на то многие тогда надеялись — и как еще больше опасались другие. Там, где после 1918 г. рухнули политические структуры либерального капитализма образца XIX в. (т.е. в странах континентальной Европы), массовыми противниками мировой революции выступили фашистские движения, многое в своем арсенале пропаганды и мобилизации столь успешно и беззастенчиво заимствовавшие у социалистов (и даже в недавно возникшем массовом спортивном зрелище)⁵. Когда же капиталистические элиты с ужасом осознали, насколько становятся неуправляемы фашисты, прорвавшиеся

⁴ Знаменитые авторы, представляющие самый широкий политический спектр — Samuel Huntington, *Clash of Civilization* (New York: Norton, 1995); Joseph Stiglitz, «Foreword» in: Karl Polanyi *The Great Transformation* (Boston: Beacon Press, 2001); David Harvey, *New Imperialism* (Oxford: Oxford University Press, 2003) — уже в наши дни проводят пугающие параллели между падением *Pax Britannica* и современными дилеммами *Pax Americana*. Аналогии, конечно, настолько явные, что скорее следует трезво воздержаться от соблазна разодрать столетней давности труды Макиндера, Гильфердинга, Ленина или Поланьи на цитаты, полные мрачных предупреждений потомкам. Серьезный сравнительный анализ этих двух периодов имперской глобализации должен в теоретически структурированной форме описать как циклические повторения, так и не менее значимые вариации и кумулятивные тренды, к чему нас призывают Giovanni Arrighi and Beverley Silver, Polanyi's Double Movement: The *Belle Epoque*s of British and US Hegemony Compared, *Politics and Society*, vol. 31, no. 2, June 2003.

⁵ Dylan Riley, Enigmas of Fascism, *New Left Review* II: 30, November-December 2004. О связи фашизма, мировых войн и исторической траектории региона континентальной Европы см. Michael Mann and Dylan Riley, *Explaining Macro-*

к власти над государством, под эгидой более не считавших возможным отсиживаться Соединенных Штатов возникла новая идеологическая и геополитическая конфигурация, в которой центральное место отводилось новым коммунистическим союзникам, т.е. доказавшему свою жизнеспособность СССР. Множественность национальных государств в ядре капиталистической миросистемы, едва ее не погубившая, таким образом оказалась и спасением капитализма. Более того, после панического заноса континентальной Европы в фашистскую реакцию, именно социалистические движения в странах Запада и созданная на базе России социалистическая диктатура догоняющего развития послужили стабилизатором современной миросистемы. В геополитическом измерении правомерно утверждать, что капитализм спасли последствия российской революции – военная мощь вновь индустриализованного Советского Союза нейтрализовала антисистемную попытку нацистского режима насадить «Новый Порядок» милитаристкой мироимперии. В итоге в капиталистическом ядре, после внутренней борьбы, отказались от свойственной XIX в. веры в саморегулирующиеся рынки и элитарный минималистический либерализм. Взамен них пошли на создание стабилизационного триумvirата Большого Правительства, Большого Бизнеса и Больших Профсоюзов (в США после реформ рузвельтовского Нового Курса это назвали Big Government, Big Business, Big Labor)⁶. Варианты изначально американской триады вылились в различных странах Запада, в зависимости от национальных традиций и условий, в те или иные учреждения массовой партийности (христианской либо социал-демократии), государства благосостояния (точнее, всеобщего соцобеспечения), государственного дирижизма или корпоративного фордизма (массовое конвейерное производство и массовое стандартное потребление), и т.п.⁷ После 1945 г. СССР мог бы даже стать долгосрочным союзником и партнером, на что Ста-

regional Trends in Global Income Inequalities, 1950–2000, *Socio-Economic Review* (2007) 5, 81–115.

- ⁶ Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes: A History of the World, 1914–1991*, New York: Vintage, 1994. Политика восстановления капитализма в период гегемонии США проанализированы Арриги Д. Долгий двадцатый век: деньги, власть и создание нашей эпохи. М.: Территория будущего, 2006. Особо надо подчеркнуть значение фундаментальной монографии Beverly Silver, *Forces of Labor: Worker's Movements and Globalization since 1870*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- ⁷ Главная работа в направлении изучения послевоенных «вариантов капитализма» – Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 1990.

лин вполне очевидно надеялся вплоть до конца 1947 г.⁸ В конечном счете СССР вписался в послевоенный порядок в качестве особого, притом достаточно знакомого Западу и вполне рационального противника, наличие которого играло важную ритуальную роль в современной капиталистической идеологии и политике. Казалось, на том история советского эксперимента могла бы и завершиться — мировой революции не произошло, зато Россия в новой форме СССР обрела стабильное и почетное место в мире, совсем рядом с его ядром.

Вот только сам этот мир начал изменяться стремительно и малопредсказуемо. Самые далеко идущее последствие русская революция оказала на страны, которые после 1945 г. стали называть Третьим Миром. По давнему уже мудрому замечанию британского историка Джоффри Барраклау, «никогда прежде во всей истории человечества переворот в мировом балансе сил не происходил с такой быстротой, как в послевоенные годы... Когда история первой половины двадцатого века, которая для большинства историков все еще остается историей европейских войн и европейских проблем, будет написана в более долгосрочной перспективе, ни одна отдельная тема не будет иметь большего значения, чем восстание [колониальной периферии] против Запада»⁹. Некогда Французская революция означала одно во Франции (на самом деле череду хаотических и кровавых столкновений, вылившихся в конце концов в наполеоновскую узурпацию, серию потрясающих воображение завоеваний и бюрократическую рационализацию государственных структур Франции, но едва ли достижение Свободы, Равенства и Братства), и при этом нечто совершенно иное для остального мира того времени — вдохновляющий освободительный пример, поставивший под вопрос дальнейшее существование всех прочих абсолютистских режимов. Точно так же и русская революция привела к одним результатам в СССР — на самом деле подготовленному предшествующей модернизацией царских времен, но все же колоссальному скачку в наращивании геополитических, научно-индустриальных и изымающих возможностей государства, реализованному во Второй мировой войне, но никак не наступление пролетарского «конца истории» — и тем не менее оказала со-

⁸ Достижением, на поколение опередившим прочие работы по советской внешней политике, является непереуведенная на русский язык книга Vladislav Zubok and Constantine Pleshakov, *Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushchev*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.

⁹ Geoffrey Barraclough, *An Introduction to Contemporary History*, London: Pelican Books, 1967, pp. 153–154.

вершено иное, глубоко трансформативное воздействие на структуры миросистемы, как в ядре, так и тем более на периферии¹⁰.

Уже само наличие советского примера успешно закрепившейся революции и быстрой индустриализации резко повысило в XX в. шансы на успех местных повстанческих движений. Теперь повстанцы ставили своей задачей не просто прогнать белолицых «дьяволов» и тем более не восстановить старые добрые времена, а отнять у колонизаторов источники их власти, захватить контроль над политическими и экономическими структурами европейского господства в своих странах и обратить эти рычаги на строительство собственных современных национальных государств. Следующей целью повстанцев становилось национальное догоняющее развитие. Это означало направляемое государством задействование местных ресурсов, прежде вывозимых к выгоде иностранных капиталистов и их компрадорских местных приспешников, с целью ускоренного построения современной промышленности, распространения всеобщего образования и, наконец (но далеко не в последнюю очередь), создания новой армии, способной защитить национальный суверенитет.

Проекты национального развития не просто вдохновляли. Они неожиданно открывали перспективу немислимого ранее продвижения вверх отдельных активистом и целых общественных групп, резкий рост статуса, как собственного, так и всей страны. Вчера — туземец в колонии, а ныне — инженер национального проекта, офицер национальной армии. Новая идеологическая программа едва не сразу позволяла вовлечь многочисленных активистов и сочувствующих, специалистов и национальных предпринимателей в быстро разрастающиеся структуры государств догоняющего развития. Предполагалось, что сами эти государства уже вскоре смогут совершить рывок в продвижении по всемирной иерархической лестнице мощи и престижа. (Впрочем, кое-кому и удалось, как отчасти Турции и тем более Южной Кореи, но прежде них ведь была Советская Россия с ее национальными республиками.) Программа революционного догоняющего развития, выраженная будто в категориях социализма, национализма и (скорее даже обычно) в самых разнообразных и причудливых их гибридных сочетаниях, во множестве случаев приобретала массовую патриотическую поддержку, энтузиазм и преданность идее (возьмите хотя бы «крестьянский национализм» в Китае и Вьетнаме), сопоставимую в прошлом лишь с некоторыми мировыми религиями на стадии

¹⁰ Immanuel Wallerstein, *The French Revolution as a World-Historical Event, Unthinking Social Science*. Cambridge: Polity Press, 1991.

подъема. Но более всего догоняющее развитие на основе национальной государственности соответствовало, вне всякого сомнения, карьерным интересам и статусным притязаниям современных преподавателей, профессионалов, технических специалистов, младших офицеров и бюрократов периферийных стран.

Признание этого факта отнюдь не должно делать нас циниками, хотя это и позволяет лучше понять пределы и противоречия девелопментализма. На самом деле все успешные проекты государственного строительства возникали там, где карьерные интересы и статусные надежды младших ранее подчиненных элит и более широких масс населения встраивались в проект — будь то абсолютистской монархии раннего Нового времени, создававших верные короне сословия служивого дворянства, будь то западной демократии XX в., дававшей массу обоснованную надежду на защиту от невзгод капиталистических депрессий и выравнивание уровней потребления. В колониях и периферийных странах личные карьеры, групповые социальные ожидания и тем более чувство собственного достоинства наталкивались на привилегии и пренебрежение иностранных хозяев, на обще «недоразвитые» условия собственных стран. Именно промежуточные социальные группы находились также и в потенциально наилучшем положении для осуществления политического руководства и формулирования программ народных движений протеста — в особенности, когда страны «ядра» в 1914–1945 гг. попали в полосу геополитических и экономических бурь, что заметно ослабляло откровенно расовые идеологии господства и военно-политический контроль над колониями¹¹.

Постоянно растущее число успешных прецедентов (будь то пришедшая в мирное неповиновение британцам гигантская Индия или куда более кровавые восстания во французском Алжире и Индокитае), распространение идей национального освобождения после 1945 г. стало вызывать очень серьезное беспокойство политического руководства Запада. В качестве ответных сдерживающих мер пришлось начать разработку и осуществление менее разрушительных, т.н. «умеренных» альтернатив, включавших добровольное договорное предоставление независимости колониям, оказание экономической помощи, создание программ развития, различных международных организаций вроде ООН, которые (по крайней мере, в теории) могли бы служить целям совместного консультативного управления миром и новому экономическому

¹¹ L. S. Stravianos, *The Global Rift: The Third World Comes of Age*. New York: William Morrow, 1981 остается лучшим на сегодня популярным историческим обзором.

порядку наций. В течение 1950-х гг. баланс сил и сам мир стали разительно отличаться от картины, предшествовавшей Первой мировой войне. При Хрущеве Советский Союз, едва успевая осознать происходящее в рамках своей неподатливой официальной идеологии, фактически возглавил догоняющее развитие стран мировой периферии. Уже то, что СССР вдруг оказался на какое-то время альтернативой гегемонии США, позволяло не самым социалистическим и вовсе даже не просоветским режимам в странах Третьего мира добиваться ранее — и позднее — немыслимо щедрых уступок. При этом Москва объявила двуединой задачей обогнать капиталистический Запад в области промышленного производства при сохранении геополитического принципа мирного сосуществования, т.е. достижения нового миропорядка при избежании ужасов еще одной мировой войны. Собственно, отсюда невероятный оптимизм, охвативший столько народов мира в те годы¹².

И это еще не все. По оценкам демографов, где-то в 1950-х гг. впервые за всю историю человечества доля людей, живущих в городах, превысила долю сельских жителей. Развернулся не только совершенно беспрецедентный в истории человечества демографический бум, но и пошло массовое движение из сел в городские центры. Ранее в XIX в. нечто подобное пережил сам Запад, затем и СССР. Но теперь начался сдвиг на уровне населения планеты. Пока все это выглядело оптимистично, поскольку тем временем материальные сети современных науки и технологий достигали самых отдаленных уголков. Фактически, прежде преимущественно военные технологии, ресурсы и плановая организация пошли в мирное материальное накопление ускоренными темпами, подерживаемое растущей массой все еще дешевого, но уже, как правило, достаточно обученного труда. Большинство населения Земли и почти все граждане Советского Союза стали жить в условиях асфальтированных дорог, поликлиник, школ, электроснабжения и телевидения. По выражению Эрика Хобсбаума, «для 80 процентов человечества Средневековье внезапно окончилось в 1950-х»¹³.

Теперь, по крайней мере обозначив всемирноисторический фон, давайте вернемся к рассмотрению траектории Советского Союза в хронологическом порядке (эта последовательность схема-

¹² Социологически глубокий анализ того, как в Москве осмысливали и пытались включить в сферу своего влияния догоняющее развитие Третьего Мира дает в своей монографии Ted Hopf, *Social Construction of International Politics: Identities and Foreign Policies, Moscow in 1955 and 1999*. Ithaca: Cornell University Press, 2002.

¹³ Eric Hobsbawm, *The Age of Extremes*. New York: Vintage, 1994, p. 288.

тично представлена в табл. 5). Это не означает, что мы отворачиваемся от миросистемного контекста. Траектория советского догоняющего развития на некапиталистических рельсах, являясь первоначальной и самой длительной в XX в., может рассматриваться в качестве координированного набора гипотез, приложимых ко всему спектру государств догоняющего развития XX в., особенно тех, которые возникли в результате революций и иных антисистемных восстаний. Это вовсе не означает, будто все и каждое деяние либо учреждение советского периода обязательно должно иметь своего точного двойника в столь разных государствах как Турция, Мексика, Вьетнам, Мозамбик или Югославия. К данным гипотезам следует относиться, скорее, как к векторам координат, по которым мы в будущем сможем выстраивать рациональные объяснения и описание многообразия национальных вариантов догоняющего развития в XX в. Главное для нас сейчас – уяснить в самом общем виде, что и как делали государства догоняющего развития, каковы оказались системные и благоприобретенные противоречия данной исторической модели, приведшие к ее исчезновению. Таким образом мы сможем выработать понимание современной мировой ситуации и вариантов нашего будущего.

До 1917 г. большевики были маленькой, тесно спаянной организацией профессиональных революционеров, происходивших в основном из оппозиционно настроенной интеллигенции. Оппозиционность и высокая эмоциональная энергия этих представителей среднего класса была результатом их «зажатого» состояния между абсолютистской патримониальной бюрократией, в которой все еще господствовали выходцы из высшей аристократии, и недостатком современных рынков, на которых современные навыки, таланты и свидетельства о высшем образовании могли быть обращены в источник профессионального дохода. Разумеется, не вся русская интеллигенция равно страдала от недостатка рабочих мест и доходов – те, кто занимал сравнительно комфортные места, обычно выступали за проведение либеральных реформ, а не уходили в подполье. Однако в преимущественно аграрной стране с репрессивным политическим режимом и хронически голодавшим населением революционеры могли рассчитывать на куда более обширные массы готовых к мобилизации несогласных, нежели либеральные реформисты. Это в первую очередь и показали революции 1905 и 1917 гг. Большевики относили себя к политической культуре западной социал-демократии, однако принятая Вторым Интернационалом стратегия постепенного вхождения в легальные политические структуры либеральных государств вызывала у них, мягко говоря, сомнения. Российская империя к подобным

передовым государствам не относилась. В еще большей степени то же самое можно было сказать о Турции или Китае, где несогласие большевиков со Вторым Интернационалом воспринималось, увы, вполне оправданным.

Большевики готовились к революционному захвату власти (хотя приход долгожданной революции предсказать не смогли дважды, впрочем, и по сей день уровень предсказаний наших теорий, признаем самокритично, остается не намного лучше). Для большевиков главным историческим уроком служила не реформистская практика германской социал-демократии, о солидном положении которой приходилось лишь мечтать, но трагическая участь Парижской Коммуны. Поражение коммунаров довлекло над эсхатологическим воображением большевиков. Как избежать гибели на баррикадах? Захватить контроль, как минимум, над всей страной, а не только ее столицей, лучше над несколькими странами и целым миром. Для этого наверняка потребуются не революционные клубы, а высокодисциплинированная идеологическая организация и настоящая армия. Большевики, заметим, не только эсхатологичны, они еще и технологичны. Куда более германской социал-демократии они полны зависти (и ненависти) к германской технически совершенной военщине. Лозунг Ленина предельно жесток и реалистичен: «Революция, которая не умеет защищаться, ничего не стоит». В противном случае революционеры не только гибнут, они теряют шанс изменить мир, что равносильно предательству дела исторического прогресса. Именно это осознание стратегической неизбежности стало определяющим в структурировании диктатуры большевиков. Отсюда их невероятное сочетание мессианского фанатизма и хладнокровной прагматичности.

В конце 1917 г., после периода краткосрочной послереволюционной эйфории, хаос и борьба за власть на пространстве бывшей Российской империи привели к ужасной гражданской войне на нескольких фронтах, сопровождавшейся вопиющими по жестокости крестьянскими бунтами, солдатскими мятежами, контрреволюционными экзекуциями и этническими бойнями. В ходе гражданской войны революционеры, которые теперь стали называться коммунистами, решительно и удивительно быстро нарастили вокруг своей партийной структуры Красную армию, ВЧК, а также множество экономических, пропагандистских и административных аппаратов, которые в сумме и составили советское государство¹⁴. Новая

¹⁴ Andrea Graziosi, *A New, Peculiar State: Exploration in Soviet history, 1917–1937*. Westport, CT: Praeger, 2000; Peter Holquist, *Making War, Forging Revolution: Russia's Continuum of Crisis, 1914–1921*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2002 содер-

модель управления имела в основе бюрократически централизованную чрезвычайную форму власти по образцу военной экономики кайзеровской Германии – большевистский переворот успешно смог применить оружие врага. Оправданием слияния мечты Карла Маркса с *Realpolitik* Бисмарка и Людендорфа была убежденность большевиков в том, что они находились в авангарде борьбы за всемирное освобождение, и потому их поражение недопустимо, ибо остановит ход исторического прогресса. Именно из сочетания эсхатологических ожиданий «последнего решительного боя» и мощной коллективной харизмы с централизованной бюрократической экспроприацией огромных ресурсов России проистекают как триумфальные достижения большевиков, так и их массовые злодеяния¹⁵. Отделить одно от другого означает впасть в идеологическое одноглазие, видящее либо одни достижения, либо одни злодеяния.

Период рыночно ориентированной Новой экономической политики (НЭПа) может рассматриваться и как коварный трюк и естественное «успокоение» большевизма, и как отклонение от истинных революционных идеалов, хотя в действительности НЭП не был ни тем, ни другим. Принятие большевиками ортодоксального золотого стандарта в 1920-х гг. проистекало из того же революционного сочетания бюрократического прагматизма и мессианских ожиданий. Многие большевистские интеллектуалы того времени вполне могли бы стать ведущими экономистами и социологами, не будь они профессиональными революционерами. Они знали, как устроен и действует мир в той же мере, сколь и передовая социальная наука того времени. В 1920-х гг., вспомним, происходит послевоенная стабилизация по всей Европе и возобновляется экономический рост, особенно в США. В течение нескольких лет наблюдается повсеместное возвращение твердой веры XIX в. в модернизационные способности свободного рынка, прежде чем дело кончается Великой депрессией. Большевики, очевидно, пытаются встроить свое оказавшееся в изоляции мессианство в мировое рыночное восстановление. В этом они, как минимум, остаются не менее марксистами, чем Дэн Сяо-пин в начале 1980-х. НЭП – не уловка и не предательство, а маневр, который, очевидно, регулярно возникает в арсенале диктатур развития, причем ориентация на экспорт далеко не безнадежна. Однако СССР не может

жат весьма новаторское раскрытие истоков советского государства в структурном кризисе царизма и последовавшей за ним гражданской войне.

¹⁵ Immanuel Wallerstein, *Social Science and the Communism Interlude*, *Essential Wallerstein*. New York: New Press, 2000.

никак получить военную технологию, а это руководство большевиков, чей основной формирующий опыт управления относится к Гражданской войне, считали бы главным и без идеологической эсхатологии. К 1929 г. надежды на иностранные капиталовложения и местный рынок на основе сельского хозяйства окончательно рассеялись, и в 1930-х Советский Союз приступил к решению задачи построения современной индустриальной базы без капиталистов. Определяющим в этом решении явилось ожидание новой мировой войны, чем объясняется военно-индустриальный характер советского догоняющего развития.

Архитектура советского государства определялась тремя институтами, которые, по большому счету, обеспечили власть большевиков после революции: централизованной и всеохватывающей номенклатурной системой политических назначений на бюрократические должности, насильственной мобилизацией экономических и людских ресурсов для военных нужд, а также созданием национальных республик. Сталинизм имел истоками именно эти учреждения и их кадры, выкованные в Гражданской войне¹⁶. Мало толку в культурологических и психологизирующих объяснениях, отсылающих нас к русской традиции деспотизма, сталинской параноидальности либо большевистскому мессианству. Точно так же не имеют научного основания аргументы, считающие сталинизм отклонением от ленинского учения или вовсе контрреволюцией. Гипотетически можно допустить, что некий другой наследник Ленина оказался бы менее террористичным, нежели Сталин. Это, наверное, могло бы спасти множество жизней. Однако и в этом случае советская индустриализация носила бы деспотический и милитаризованный характер, поскольку он целиком определялся конфигурацией советского государства, его враждебностью по отношению к крестьянству, а также, не стоит забывать, геополитическим контекстом. Тем не менее допустимо предположить, что без Сталина советский режим мог впоследствии, после завершения индустриализации, стабилизироваться в менее давящем политическом климате. Привело бы это к более раннему, более демократическому и упорядоченному преодолению советской диктатуры догоняющего развития? Была бы тогда реализована историческая возможность 1960-х годов? «Возможно» — вот ответ, который видится единственно возможным.

¹⁶ Примером кадров поколения Гражданской войны служит Никита Сергеевич Хрущев. См. биографию этого удивительно противоречивого человека William Taubman, *Khrushchev: The Man and His Era*. New York: W. W. Norton, 2003.

Преобразуем вышесказанное в теоретическое утверждение. Коллективизация, репрессии, культ личности Сталина вытекают не из личности диктатора, а были обусловлены тотальной централизацией политических, военных, экономических и идеологических структур. С исторической точки зрения, подобный уровень централизации (который обычно мог быть достигнут лишь непосредственно после революций, войн или других масштабных потрясений), в свою очередь, находил свое харизматическое воплощение в великом герое/злодее – таком, как Наполеон, или Ата-турк, Муссолини, Перон, Мао, Тито, Фидель, Пак Чжон-хи, Насер и Хомейни в иных, однако, в широких рамках, схожих исторических обстоятельствах. Предстоит еще систематически изучить, существует ли также особая восприимчивость преимущественно аграрных обществ к национально-государственным культам в периоды стремительной социоэкономической реструктуризации. Террористические и тоталитарные тенденции догоняющего развития XX в. очевидно вызываются аналогичными условиями: необычайно высокой степенью самостоятельности государственного аппарата, возникшего в ходе войны или революционной борьбы за власть; жгучее желание оправдать проект догоняющего развития и и принесенные ранее жертвы достижением беспрецедентного темпа все новых и новых побед модернизации на всех фронтах – пусть даже ценой новых жертв.

Советское государство выступало всеобщим пролетаризатором. Отчасти это объяснялось марксистским постулатом, предполагавшим достижение социализма пролетариями, из чего выводилась необходимость перековки крестьянских масс в городских и образованных индустриальных рабочих¹⁷. Однако одна лишь идеология и здесь видится недостаточно убедительным объяснением. Чрезвычайные задачи советского государства в областях промышленного развития и военного дела требовали быстрого, массированного производства образованных промышленных рабочих и их сосредоточения в городах. Государство продолжило экспроприацию и подавление всех самостоятельных основ общественного и экономического воспроизводства – что в условиях Советского Союза времен сталинизма означало в первую очередь жестокое вторжение в сами основы воспроизводства крестьянских домохозяйств. И здесь начинается великая ирония истории. Столкнувшись уже в годы первых пятилеток с неожиданно быстрым истощением до-

¹⁷ Bruce Cumings, *Webs with no Spiders, Spiders with no Webs: The Genealogy of the Developmental State*, in Meredith Woo-Cumings (ed.), *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press.

толе безбрежного крестьянского ресурса и социальными проблемами урбанизации, государство оказалось волей-неволей (опять же, одна лишь социалистическая идеология этого не объясняет) принуждено создавать новые структуры быта, способные организовывать общественное воспроизводство на рабочих местах и жилых кварталах в соответствии со вполне современными моделями. Советским плановикам, кадровикам, пропагандистам пришлось заняться созданием новых общественных и даже лично-семейных ритуалов (празднования Нового года, светского бракосочетания, «культурных» форм досуга), а также направить изрядные средства в учреждения образования, здравоохранения, спорта и развлечений, а также (хотя в полной мере лишь после смерти Сталина) в массовое строительство квартир, курортов, в распространение пенсионного обеспечения на сельских жителей¹⁸. Все это в сочетании с невиданной социальной мобильностью советского населения в период послевоенного экономического роста в сумме создавало впечатление, что социализм в действительности достигнут. В этой исторической ситуации рос Юрий Шанибов – как и миллионы крестьянских детей, включая моих собственных родителей. Именно это время сформировало политических лидеров перестройки, таких как Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Джохар Дудаев. Все они начинали, но *не* остались крестьянами. Это, очевидно, важнейший промежуточный рубеж диктатуры развития. Начавшись в преимущественно аграрной стране, поколение или два спустя данной политической системе пришлось столкнуться с совершенно другой социальной средой, которую она же и создала.

Подвижки в сторону демократизации впервые возникли после смерти Сталина. Это стало парадоксальным продолжением двух одновременных процессов классообразования, причем оба были производными индустриализации. Первым была внутренняя нормализация номенклатурной бюрократии, желавшей жить вольготнее. Это потребовало слома самой элитой сталинской управленческой системы, основанной на страхе. Особенностью государственного социализма являлось то, что угроза гражданскому контролю исходила не от традиционного военного истеблишмента (как в обычных диктатурах), а от тайной полиции, лично, а потому с большой долей произвола, направляемой диктатором. Со смертью Сталина и затем с устранением непредсказуемого Хрущева (последнего большевика времен Гражданской войны на вершине власти) советская номенклатура обрела свой рай. Внутри-

¹⁸ Oleg Kharkhordin, *The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices*. Berkeley: University of California Press, 1999.

бюрократическая коллегиальность и стабильное занятие кабинетов пришли на смену харизматическому управлению сталинских лет. Нечеловеческий трудовой темп сталинского режима, репрессии и чистки остались уделом прошлого, враг не стоял у ворот, а «холодная война» стала вполне привычным, даже рутинизированным образом видения и ведения международных отношений. Значительные уступки в субсидировании народного потребления теперь стали возможны благодаря построенной в предыдущие десятилетия индустриальной базе, а после 1973 г. — потоку нефтедолларов. Но это, подчеркнем, пока была лишь внутриэлитная релаксация. Подобные процессы наблюдаются во втором поколении элит многих диктатур развития, например в Южной Корее после убийства Пак Чжон-хи или в Бразилии в последние годы военной диктатуры, когда корпоративные менеджеры и их политические кураторы начинают вить себе комфортные гнезда уже без особой оглядки на диктатора и тем самым создают то, что Питер Эванс назвал «внутренним давлением в сторону демонтажа» диктатуры развития¹⁹.

Вторым источником демократизации стало исторически очень быстрое становление промышленного пролетариата, в советской модели развития включавшего в себя миллионы специалистов с высшим образованием. Во вполне реальном смысле это были дети советской эпохи, плоть от плоти социалистической диктатуры. Их устремленные в будущее социальные ожидания, предпочтения и городской образ жизни были порождены динамикой догоняющего развития советского государства и связаны с модернизационными задачами гораздо теснее, нежели с сельским укладом поколения их собственных родителей. Вдобавок, советская индустриализация и опыт страшной, напрягшей все силы войны оказали мощнейшее выравнивающее и унифицирующее воздействие на отношения между полами и этническими группами. Если в верхних эшелонах женщины и не стали вполне равны мужчинам, а нерусские — русским, если идеалы полного равенства и не были достигнуты, то в остальной массе общества несомненно наблюдается значительное выравнивание возможностей, а если мерить по пройденной дистанции вместо приближения к идеальному горизонту, то по сравнению с дореволюционным состоянием дел прогресс выглядел эпохальным. Коммунистический девелопментализм достиг своих целей, в том числе включив множество женщин и представителей нерусских национальностей (в том числе, конечно, и Ша-

¹⁹ Классика — Peter Evans, *Embedded Autonomy: States & Industrial Transformation*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.

нибова) в быстро растущие структуры индустриального общества. В итоге на начало 1960-х гг. возникает очень широкое и довольно эгалитарное гражданское сообщество. Если это еще и не гражданское общество, то потенциально уже его канун.

Эти осиротевшие (нередко в самом прямом смысле) и вырванные из патриархального уклада потомки крестьян, эти подданные якобы тоталитарной власти на самом деле вовсе не являлись бессловесным «человеческим материалом» сталинской индустриализации. Это было крайне активное и оптимистически настроенное поколение, весьма успешно продвигавшее свои личные и коллективные интересы до поры в рамках постсталинистской советской идеологии. Переезд в городские новостройки, профессиональное образование и всеобщее окультуривание на современный лад виделись молодежи тех лет лучшим путем достижения достоинства и высокостатусных ролей в новом городском окружении. И действительно, растущая послевоенная промышленность, армия и государственная бюрократия нуждались в профессиональных кадрах, в их энтузиазме, подвижности и изобретательности. Искренне приняв за основу коммунистическую идеологию, советские пролетарии шестидесятых получили дискурсивные орудия и культурные рамки для собственной институционализации как класса, а следовательно, и для того, чтобы предъявить свои требования правящей бюрократии. Таким образом, несмотря на сохраняющийся запрет на самостоятельную политическую организацию, они состоялись в качестве обладающего коллективным самосознанием активного класса не только в себе, но уже и для себя. Процесс в основном проходил под прикрытием гражданских и молодежных микро-инициатив, как грибы после дождя возникавших в конце 1950-х — начале 1960-х. Шанибовские патрули по предотвращению молодежной преступности и студенческое самоуправление выступают типичными примерами из этого ряда. Молодые советские рабочие и специалисты искали способы оцивилизовывания и гуманизации своей новообретенной среды в городских сообществах и трудовых коллективах, стремились реализовать социальную мобильность, обусловленную признанием современных навыков и профессионального образования, а также сделать распределение и потребление материальных и символических (как тогда выражались, «духовных») благ куда более щедрым и доступным для большинства общества. Однако эти, казалось, абсолютно лояльные к социализму порывы энтузиазма ставили под вопрос монопольный контроль государства и его правящей бюрократии над ресурсами и идеологией. Энтузиазм молодых пролетариев, специалистов и творческой интеллигенции фактически оборачивается

борьбой против формирования в послесталинский период нового правящего класса номенклатуры.

Главной врожденной слабостью советского номенклатурного строя оставалось вопиющее противоречие между официальной идеологией и реальностью. Правящая коммунистическая партия не могла допустить открытого противостояния с собственными трудящимися. Теперь, после частичного демонтажа аппарата террора по инициативе самой номенклатуры, ей оставалось пресекать зарождение публичной сферы посредством административного и символического насилия, включавшего прямую цензуру в политике и культуре, лицемерное симулирование «активности масс», жесткое ограничение потоков информации, передвижения людей и престижных предметов через границу. Тем не менее это не могло целиком предотвратить возникновение устойчивой, широкой и гомогенной социальной базы для выдвижения и распространения потенциально критических идей, особенно сформулированных в формально санкционированных властью категориях марксизма и национальной культуры. По сути, ключевым требованием класса советских пролетариев стало выполнение лицемерной и косной бюрократией ее же идеологических обещаний социальной справедливости, растущего благосостояния и рационального управления. Организационные рамки самоорганизации задавались самими структурами советских промышленности, науки и образования (трудовыми коллективами) плюс национально-территориальными автономиями с их официально санкционированными учреждениями местной науки и культуры. Это, повторяю, не антисоветское движение. Массы и даже большинство первых откровенных диссидентов хотят всего, что им обещано официальной пропагандой, и может затем немного большего. Но ожидают они этого по убежденности в собственном праве, а не по милости начальства, отчего их лояльнейшие ожидания и искренне-наивные предложения по «дальнейшему улучшению» порождают длительный латентный конфликт интересов.

Следующим этапом стало возникновение того, что Чарльз Тилли считает двумя ключевыми условиями демократизации: а) обязательной и обязывающей консультации с гражданами по вопросам принятия политических решений и занятия политических должностей и б) защитой граждан от произвола государственных исполнительных лиц²⁰. Уже в 1960-х гг. оба эти условия стали в целом соблюдаться — хотя и негласно либо под прикрытием лозун-

²⁰ Charles Tilly, *Democracy Is a Lake*, in: *Roads from Past to Future*. Lanham, MD; Rowman & Littlefield, 1997, p. 1997.

гов о «социалистической законности». Номенклатура не решилась прибегнуть к открытым репрессиям, поскольку опасалась таким образом вернуть органам госбезопасности прежнюю, почти неограниченную власть. Поэтому номенклатурщики, как правило, очень осторожно избегали провоцировать конфликты с социалистическими пролетариями. За такое инстанции сверху могли запросто устроить нагоняй или вообще снять с должности за «допущенный провал в воспитательной работе». Тем временем, как мы сегодня узнаем из архивов и воспоминаний, вполне распространенным явлением становятся самочинные (хотя обычно на поверхности идеологически лояльнейшие) собрания недовольных, индивидуальные и коллективные жалобы наверх, даже стихийные забастовки, направленные против особо невзлюбившихся начальников и административно-политических решений. Озорной народный стишок, гулявший в начале 1980-х по поводу очередного повышения цен на дефицит, прямо грозил властям примером заведомо нелояльного социалистического соседа: «Ну, а если станет больше, будет то, что было в Польше».

Национальное возрождение тех лет, связанное в основном с появлением молодых, романтических деятелей творчества и науки в республиках Советского Союза (в том числе и в самой России), на самом деле следовало тому же вектору антибюрократического сопротивления. Обыгрывая официальную идеологию, это сопротивление обеспечило себя мощным символическим инструментом в борьбе с авторитарным режимом. Национальные символические капиталы стали практически открыто противопоставляться лишенному эмоциональной насыщенности административному капиталу насаждаемой официозом культуры. В контексте десталинизации национальные чувства искали чего-то подлинного, родного и народного – в противовес всему официальному, лицемерному и выхолощенному. Подобные переживания, теперь синтезированные в жанрах современной культуры (архитектуры, профессиональной литературы и академической музыки или самодеятельного фолк-рока), позволяли новым горожанам эмоционально воссоединиться с прошлым своих предков и признать с гордостью и любовью то, что совсем недавно расценивалось в качестве отсталых сельских обычаев. Здесь мы можем особенно ясно увидеть, что связанные с национальными культурами эмоции необязательно являются проводниками политического национализма. Символическое возрождение отмирающих социологических практик и диалектов является всего лишь иным путем оцивилизовывания городской индустриальной среды, закрепления гуманизирующих ритуалов и узаконивания социального капитала новых образован-

ных классов. Таким образом, национальные чувства становятся источником демократизации.

Однако, как нам напоминает Перри Андерсон, «классовая борьба в конце концов разрешается на *политическом* — а не экономическом или культурном — уровне обществ»²¹. С этой точки зрения дисперсная сила советских рабочих и специалистов регулярно являла свою слабость в сравнении с бюрократически концентрированной властью номенклатуры. Движения советского пролетариата получали возможность выйти на поверхность лишь в периоды фракционной борьбы внутри правящей бюрократии, как то имело место в ходе десталинизации 1956–1968 гг. и еще раз при горбачевской перестройке конца 1980-х. Недостаточная укорененность недавней советской пролетаризации в собственных традициях, дискурсивные и социальные разрывы между отдельными группами нового класса, официальное подавление социальной коммуникации плюс необъятные размеры СССР и его внутреннее деление на многочисленные республики (перечисление, заметим, сугубо гипотетическое, нуждающееся в будущей исследовательской проверке и уточнении) в совокупности привели к тому, что, несмотря на крайне широкую общность институциональных условий и преследуемых целей, коллективные действия потенциально демократической направленности остались географически и социально ограниченными рамками таких больших городов как Москва и Ленинград (имевших мощные интеллигентские группы), прочих промышленных центров, где имелся опыт выступлений заводских работников, а также столиц национальных республик, в которых протестное движение возглавляла национальная интеллигенция. В результате (по крайней мере, до порогового момента лета-осени 1989 г.) демократическое движение снизу могло политически возникнуть лишь в ответ на возникавшие сверху возможности. Когда наверху происходила консолидация номенклатурной элиты, как после свержения Хрущева и в ответ на события 1968 г., активность снизу резко шла на спад. Этим механизмом задавались циклы протеста, однако циклы приобретали кумулятивный, нарастающий характер, что особенно четко видно на примере соцстран Восточной Европы, но также и в некоторых республиках СССР.

Последовавшая за хрущевской «оттепелью» продолжительная «подморозка» в период правления Брежнева заставила подобных Шанибову многочисленных активистов и низовых реформаторов адаптироваться к новым обстоятельствам, идти на неизбеж-

²¹ Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State*. London: New Left Books, 1974, p. 11, italics in original.

ные компромиссы и просто пытаться выжить и обустроить жизнь на микроуровне. Им оставались музыка Вивальди, джаз, йога, исполняемые под гитару песни Высоцкого и Окуджавы, фильмы Тарковского, Вайды, Бергмана, Феллини, проза Хемингуэя, Ремарка, Сент-Экзюпери, походы на байдарках либо коллекционирование картин местных художников, старинных литографий, медных кувшинов, газырей и кинжалов и других подобных артефактов исчезающего традиционного уклада предков. Возникавшие по ходу эстетико-эмоциональные, сетеобразующие и, отчасти, полуофициальные рыночные практики формировали социальные области высокостатусного стиля жизни даже без материальных средств и автономии среднего класса. Так получившие высшее образование фракции советского пролетариата составили новую интеллигенцию. Общность интересов, маленькие групповые ритуалы (хотя бы и сидение у костра или стояние в очереди у театральной кассы), симпатия к людям своего круга, понимающее выражение лиц людей, слышавших накануне ночью чтение рассказов Довлатова на зарубежной радиостанции, общие, до боли узнаваемые микростратегии неявного сопротивления и сохранения собственного достоинства, социальные сети символического и материального обмена (такие как приобретение высокоценных книг или грампластинок) сделали возможным складывание практически во всех городах Советского Союза весьма многочисленных слоев, состоявших из частично пересекающихся и взаимонакладывающихся кругов друзей и знакомых. Так зарождалось «предопозиционное» гражданское общество.

Однако, поскольку интеллигентская протооппозиция связывалась с практиками высокой культуры, она выглядела чуждой (если не вызывающе претенциозной) пролетарскому большинству, в основе своей остававшемуся патриотичным и лояльным к существующему режиму, несмотря на порою негативное отношение к определенным бюрократам наверху. Режим же благосклонно поощрял материальное поощрение обычных пролетариев (или снижал требования к производительности их труда) — главным образом за счет высокообразованных групп, причем в такой степени, что официальная зарплата юристов, врачей, а также ставших притчей во языцех инженеров могла оказаться меньше, чем реальные доходы официанток, продавщиц, шоферов или экскаваторщиков на сибирском угольном разрезе. Следствием брежневской консервативно-патерналистической стабилизации стали все больше отчуждавшаяся интеллигенция и относительно удовлетворенное своим положением большинство рабочего класса. Подчеркнем, что удовлетворенность эта была лишь относительной. У про-

стых рабочих оставались свои претензии к начальству и мнение по поводу явного дряхления брежневского руководства. И тем не менее у основной массы в те годы появились вполне рациональные причины для лояльности существующему положению вещей, как, впрочем, к апатии и цинизму. До тех пор, пока интеллигентские и «простые рабочие» слои не находили общего языка, властям не угрожала никакая революция. Превентивная политическая демобилизация основной массы советских рабочих покупалась за весьма высокую цену в том, что касается бюджетных расходов, но еще более ущерба трудовым процессам и этике, косного сопротивления новаторству и неуклонно снижавшейся производительности. В результате вместо назревшей демократизации исторически происходит стагнация. Выполнившая свою функцию диктатура догоняющего развития не демонтируется и не заменяется более автономными механизмами, а просто устаревает и вырождается в своих прежних формах.

Однако это было лишь одной из больших структурных проблем, которые привели к развалу Советского Союза. Помимо растущих субсидий на потребительские товары и терпимое отношение к неэффективному производству, которые имели целью задобрить пролетарские массы, были еще два источника огромных издержек, присущих СССР как сверхдержаве. Издержки эти неуклонно растут в период консервативной стабилизации, когда Москва окончательно теряет идеологические преимущества и взамен пускается в статусную симуляцию на мировой арене. Одним из источников было геополитическое самоутверждение, выражавшееся в гонке вооружений и космических технологий с США, а также в приобретении все новых клиентов среди стран Третьего мира. Надо признать, многие другие государства догоняющего развития также со временем приобретали непомерно раздутые армии, чиновничий корпус и несоразмерные дипломатические представительства за рубежом — в основном из соображений престижа и удовлетворения карьерных притязаний собственных выдвиженцев. Все диктатуры репрессивны, но эффективны лишь те, которые способны также репрессировать аппетиты собственных исполнителей и элит. Это, можно сказать, типичная ловушка, в которую попадались и многие некогда успешные и притом совершенно несоциалистические диктатуры развития. Чего стоит лишь пример шахского Ирана, поплатившегося за свое самовозвеличивание, казалось, ниоткуда возникшей исламской революцией. Именно в этом смысле Японии, Южной Кореи, Тайваню, а также ФРГ повезло с потерей части суверенитета после 1945 г. Этим государствам оставалось сосредоточиться на координации и модернизации своих экономических ре-

сурсов и выведении их на экспортные рынки. Исключительный же статус сверхдержавы сыграл с СССР исключительно злую шутку.

Вторым источником инфляции советских издержек в брежневский период видится также внутренне присущая всем государствам догоняющего развития уязвимость к подспудной тенденции бюрократического аппарата незаметно изменять в своих интересах централизованное управление. В отсутствие ценоопределяющих рынков, неофициальной прессы, соревновательных выборов или законных возможностей выражения народного недовольства правители государств догоняющего развития имели в своем распоряжении лишь ограниченные возможности (в основном через спецслужбы) получать достоверные данные об истинной пригодности и делах своих исполнителей. Вдобавок, механизмы принуждения, занимающие центральное место в командной экономике, требуют, как правило, довольно харизматичного диктатора. Без периодических чисток и перетряски аппарата (а именно отказ от этих средств стал условием выдвижения номенклатурой Брежнева на первую должность) правители мало, что могли поделать для коррекции индустриальной или какой угодно политики, если бюрократическому аппарату подобная затея пришлась бы не по вкусу. Это исключало любые резкие повороты, в том числе техническое перевооружение и остановку на капремонт предприятий и целых отраслей. Они в таком случае просто были обречены на постепенное устаревание, а новые отрасли (как показывает печальный пример советской компьютеризации) в отсутствие рынка и целеполагающего диктатора элементарно не могли пробиться среди уже существующих отраслевых и ведомственных интересов, ибо всякой бюрократии свойственно предпочитать рутину. Оставив позади сталинские чистки и хрущевские мегаломаниакальные кампании, однако не допустив при переходе к следующей стадии возникновения механизмов демократической соревновательности, советские руководители оказались без средств приведения собственной бюрократии к повиновению. Им оставалось дрейфовать по течению. Тем самым большинству номенклатуры были предоставлены возможности для самозамыкания в сетях кабинетного патронажа и обустройства ведомственных бюрократических ниш, что привело к административному и экономическому застою.

Но и тут кроется своя историческая ирония. Реформистские фракции внутри советской правящей элиты несомненно не были даже тайными приверженцами либеральных ценностей. Союз деятельных технократов и идеологических обновленцев эпохи горбачевского «нового мышления» вывел страну ко второй демократизации, поскольку только так оказалось возможным оказать

устойчивое и широкое давление на укоренившиеся интересы номенклатуры. Реформаторы не строили демократическое общество, они собирались отремонтировать и, может, частично снести кое-что из старого. Но всякий, кто хотел активно править в условиях позднего СССР, должен был бы мобилизовать поддержку в каких-то достаточно широких слоях общества и направить ее против своего же заржавевшего государства. Это было очень опасно (чего Горбачев очевидно не понимал или, скорее, полусознательно недооценивал). Но, следует признать, альтернатив демократизации как средству оказания давления на номенклатуру не видно даже с позиции наших дней. Террор сталинского размаха возможен лишь в первом поколении после потрясений глубины и ожесточения гражданской войны. Подобная опция стала, к счастью, просто недостижима и немыслима в позднесоветском обществе. Это, судя по всему, также общая закономерность. Если диктатуры развития хотя бы достойно выйти на следующий рубеж, им приходится демократизироваться.

Линейная экстраполяция исторических трендов указывает на высокую вероятность институционализации политической демократии еще при жизни поколения Шанибова. Но в реальной истории мало что случается линейно и параллельно. Да, подобная потенциальная эволюция напоминала бы послефашистскую демократизацию Италии, либо уже в 1970-е гг. Греции, Португалии и особенно Испании. Реформистски настроенные представители советской правящей элиты наконец-то восприняли идею демократизации, поскольку увидели в ней способ устранения устаревшей диктатуры догоняющего развития, предоставлявший одновременно возможность присоединения к миросистемному ядру, точнее, к его региону континентальной Европы, на вполне равных и почетных условиях. Таким, в основном, был путь Испании после смерти Франко²². Вместо этого результатом демонтажа режима диктатуры стал неожиданный развал самого советского государства. Однако отметим, что внимательный анализа перехода Испании к демократии достаточно ясно показывают определяющую роль, которую сыграл внешний процесс европейской интеграции. Едва ли лишь очень расплывчатое христианское покаяние и национальное примирение бывших франкистов и республиканцев (не вполне состоявшееся и по сей день) позволило Испании избежать возобновления гражданской войны после смерти Франко. В то же время нетрудно гипотетически представить, как Испа-

²² Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

ния — подобно СССР, Чехословакии и Югославии — могла в конце 1970-х гг. распасться по линиям этнотерриториальных границ, если бы в переломный момент европейская перспектива показалась участникам испанской демократизации слишком отдаленной и неактуальной.

В ходе перестройки основной стратегией (быть может, вернее было бы сказать проявлением предрационального габитуса) Горбачева стало упреждающее согласие с практически всеми требованиями его потенциальных групп поддержки и союзников по предоставлению свободы действий. Одновременно с либерализацией последний генсек попытался совладать с нарастанием требований при помощи стандартной для его государства тактики верховных обещаний, прежде всего увеличения потока материальных и символических субсидий. Расчет тут мог быть на главное — произвести скачок и успеть интегрироваться в европейское капиталистическое сообщество, что должно было обеспечить Москве новую идеологическую и политическую легитимность, а вскоре и приток партнерских технологических инвестиций. Это оказалось ловушкой, которую сам себе выстроил Горбачев. Уступки нового советского руководства привели к обвальному росту требований, превосходивших возможности центрального правительства СССР, легитимность которого по-прежнему зиждилась на его способности к перераспределению ресурсов и благ. Правительству Горбачева особенно не везло именно в этой области — чернобыльская катастрофа, землетрясение в Армении и особенно конъюнктурное падение цен на нефть подорвали союзный бюджет и заставили Москву увеличивать зарубежный долг. Более того, структурная милитаризованность советской промышленности не позволяла достаточно быстро и сколь-нибудь безболезненно осуществить конверсию и перейти к выпуску товаров широкого потребления, что могло бы, как ожидалось, обеспечить приток средств в госбюджет. Напротив, Горбачев и его соратники совершенно рассорились с военным истеблишментом. В результате центральное правительство стало быстро терять способность исполнять как свои обещания, так и угрозы. И даже это еще не означало роковой предопределенности конца СССР, поскольку Горбачев еще довольно долго оставался харизматическим центром надежд как собственного народа, так и за рубежом.

Вначале горбачевская риторика перестройки и гласности послала из Москвы расплывчатый, но мощный сигнал к обновлению, нашедший особенно сильный отклик в среде образованных горожан. Резонанс вскоре усилился, когда знаменитые интеллектуалы в Москве стали привлекательным примером для подража-

ния в регионах. Более того, горбачевская кампания по удалению консервативных брежневских назначенцев в среднем звене руководства открывала возможности сделать стремительную административную карьеру за счет молодого напора, профессионализма, а вскоре и победы на выборах. Рядовые советские трудящиеся также не без облегчения и доли злорадства приветствовали снятие коррумпированных и просто давно засидевшихся руководителей. В обществе вдруг появилась надежда, мгновенно опровергнувшая (довольно обычный во многих странах мира) интеллигентский самооправдательный миф о пассивности и апатии простого народа. Лучшим свидетельством является невиданный рост подписок на демократическую прессу тех лет. Однако основная масса готова была сочувственно интересоваться перестройкой лишь до тех пор, пока жизнеопределяющие структуры трудоустройства и потребления оставались более или менее эффективно функционирующими. Разочарование в реформах оказалось столь же стремительным, как и возникновение массового оптимизма несколькими годами ранее, и это также приходится признать вполне рациональной реакцией.

Национальные чаяния в первые годы реформ (1985–1988 гг.) оставались на заднем плане более общей, популярной и на то время реалистичной повестки исправления всех ошибок предыдущих правительств СССР. Первая угрожающая целостности государства неконтролируемая вспышка национализма произошла внезапно и неожиданно для самих зачинщиков в Армении и Азербайджане, дотоле совершенно лояльных Москве. Запалом послужило петиционное движение, просившее центр совсем, казалось, незначительно подправить внутреннюю административную границу. Националистическое движение обернулось массовым насилием и затем приобрело антисоветский характер в силу трех взаимосвязанных причин. Во-первых, эмоциональная насыщенность карабахского вопроса в силу исторических причин (непреодоленная травма турецкого геноцида) оказалась невероятно сильна в Армении, а в силу зеркального отражения стала таковой и в Азербайджане. Во-вторых, возникновение столь сильных эмоций привело с обеих сторон к ожесточенному символическому соревнованию за лидерство, в котором низкостатусные интеллектуалы (провинциальные писатели и журналисты, музейные работники, младшие научные сотрудники, учителя и пр.) вдруг обрели возможность реализоваться и одержать верх над давно состоявшимися в социальном и профессиональном плане коллегами и официальными национальными интеллигентами путем выдвигания все более радикальных форм националистической риторики. На этом хао-

тическом и эмоционально-заряженном фоне совсем другой, обычно игнорируемый социальный субъект — молодые субпролетарии — обрели редкую для них возможность конвертировать свои просторечные диалекты, «отсталую» религиозность, «чисто мужские» маскулинные навыки и полукриминальные сетевые структуры, наконец, свой грубый, хулиганистый габитус в политический капитал националистического толка. Наконец, Горбачев и Шеварднадзе (которого вроде никак не заподозрить в недопонимании силы национальных эмоций), очевидно, считали собственные силы безопасности большей угрозой, нежели окраинный национализм. Горбачевское окружение — как, впрочем, и все, включая западных советологов — переоценивали инерционную стабильность советских госструктур. Письма в Москву, как и массовые драки с национальным делением сторон, в конце концов, неоднократно случались и в прошлом. Казалось, пронесет и на сей раз. Центр в результате не смог предпринять быстрых действий, необходимых для предотвращения обрушения государственного порядка и стихийного возникновения фактического состояния войны между двумя, по сути, провинциями.

Когда же в апреле 1989 г. военная сила была применена для разгона митинга протеста в Грузии, обнаружилось, что после нескольких лет гласности открытое государственное насилие плюс появление на политической арене многотысячных субпролетарских толп способно радикализировать националистические чувства едва не в геометрической прогрессии. Куда хуже того, с полной и более ничем не прикрытой наглядностью выяснилось, что государственные структуры на Кавказе оказались подвержены почти мгновенному разрушению из-за своей полной зависимости от центрального правительства в предоставлении благ и осуществлении карательных функций. Никакие из советских национальных республик не имели реальной автономии в этих жизненно важных для власти сферах. Но на Кавказе госструктуры оказались особенно подвержены разрушению, потому что вокруг них существовали довольно мощные и в какой-то момент крайне агрессивные национальные гражданские общества, возглавляемые интеллигенциями и периодически активно подпитываемые субпролетарскими массами. Госструктуры же были подточены изнутри неопатримониальными практиками коррумпированного семейно-сетевого патронажа, которые не позволяли местным национальным бюрократиям в момент кризиса сколь-нибудь убедительно сыграть роль беспристрастных технократов либо, напротив, популярных в народе политиков. Неопатримониальному чиновничеству, паразитировавшему на теневых рынках и коррупционных рентах, недоставало ни

бюрократической дисциплины, ни внутренней сплоченности, ни легитимности в глазах народа.

Разочаровавшиеся бывшие последователи обычно винят Горбачева в том, что на пике перестройки он вовремя не упразднил КПСС и не выделил из бывшей правящей партии социал-демократическую фракцию, предположительно способную объединить все еще внушительные антиавторитарные силы общества и тем самым заставить номенклатурных консерваторов соперничать в открытом политическом поле. Но ведь последний Генеральный секретарь сам оставался порождением процесса длительного номенклатурного продвижения, а следовательно, заложником собственных габитуса и поста. Трагедия Горбачева очень напоминает участь многих благонадежных реформаторов, возникающих в последней фазе существования старого режима, которые своими «слепыми» и непоследовательными действиями в итоге вызвали обвал власти и революцию. Горбачевская попытка демонтажа устаревшей диктатуры сверху вызвала исключительно эмоционально заряженный политический и идеологический кризис, который разом обесценил знакомые стратегии бюрократического манипулирования и разрушил множество связей на уровне элит. Тем самым находившиеся на подъеме новые лидеры, которые либо не были связаны, либо утратили связь с номенклатурой, как правило, неожиданно для самих себя оказались в выгодном положении вождей, взявших на себя политическую инициативу. В подобном неустойчивом положении одна-единственная успешная речь могла стоить целой политической карьеры — достаточно привести пример номенклатурного изгоя Ельцина, или давнего активиста Шанибова, или еще многих лидеров демократических и национальных движений в советских республиках.

Характер и дальнейшие результаты революций в государствах советского блока зависели от местных особенностей классовой структуры, стремительного возникновения и исчезновения политических возможностей, мобилизующих эмоциональных тем и организационных ресурсов. Выстраивание и пропагандирование эмоциональных тем было в основном делом творческой интеллигенции и ученых, сосредоточенных в Москве и столицах национальных республик. Ресурсы предоставлялись к тому моменту оппортунистически настроенной номенклатурой, осознавшей, что дальнейшее бюрократическое подчинение центру становится излишним и просто опасным. Силу мобилизациям давали народные массы, отчего историческая конфигурация и классовый состав общества приобретают решающее значение. Устоявшееся городское население кадровых рабочих, интеллигенции и технических специ-

алистов, особенно среднего и старшего возраста, не так уж легко выходит на улицы и тем более баррикады. Это и достаточно самоочевидно, и вдобавок надежно установлено исследователями протестных выступлений. Однако если мобилизация таких слоев требует времени, то она затем и происходит более упорядоченно и последовательно, выдвигая и не так уж редко достигая долгосрочные и довольно абстрактные цели (например, различные демократические права), которые вполне институционализируются в устойчивых политических механизмах. Вот почему политические пакты между национальной интеллигенцией, успешными перебежчиками из рядов номенклатуры и дисциплинированными народными движениями позволили наиболее близким к Западу бывшим социалистическим государствам от Эстонии до Польши и далее до Словении, сравнительно мирно уйти от Советского Союза.

И наоборот, кавказские субпролетарии принесли с собой в местную политику свой жесткий, взрывоопасный габитус и типично краткосрочные ожидания, которые слишком легко преобразовывались во вспышки коллективного насилия, направленного против ближайших, конкретных и персонализируемых целей протеста (например, коррумпированных местных чиновников, «ментов», либо представителей соседней конкурирующей национальности). Со стороны крайние проявления субпролетарского протеста наподобие массовых беспорядков и погромов могут выглядеть иррациональными, но при более пристальном рассмотрении становится очевидной доля неслучайности — конечно, с поправкой на своеобразные габитус и политизированное воображение. Национальность в советские времена играла важную роль в дозволении или воспрещении вхождения во власть — будь то посредством формального административного назначения или же личных связей и подкупа. Потому нас не должно удивлять, что в слабо индустриализированных южных областях СССР, особенно на Кавказе, насильственные действия малообеспеченных и не чувствовавших уверенности в завтрашнем дне слоев стали определяться в основном линиями этнического раздела. Дело не в культурных (или, многие скажут, малокультурных) особенностях и не в непроясняемой «пассионарности». Субпролетарские выступления также являются классовой борьбой, хотя зачастую могут выглядеть как этнические или религиозные восстания. Однако, вопреки марксистской или анархической ортодоксии, далеко не все выступления неимущих слоев обладают освободительным потенциалом. Этнический конфликт воистину является оружием массового поражения, которое на многие последующие годы сохраняет отравляющее воздействие.

По горькой иронии, в последние месяцы существования СССР резкое ослабление деспотической власти сопровождалось не менее стремительным ослаблением массовой базы и организующей структуры нарождавшегося демократического движения. Демократическая и социальная надежда советских кадровых пролетариев на достижение «нормальной жизни» была обусловлена структурами государственного трудоустройства и поддерживаема профессиональным социальным капиталом специалистов, интеллигенции и рабочей аристократии. По мере того, как разрушались структуры государственного жизнеобеспечения и обесценивался профессиональный капитал (К чему бастовать на банкротящемся предприятии? Кому до поэзии и публицистики, когда в магазинах исчезает молоко?) теряли свою реалистичность и коллективные требования. Становилось неясно, кому обращать свои требования, которая структура смогла бы их теперь осуществить? Социал-демократизирующая политика перестройки утратила смысл. Протесты, напротив, пока нарастали, но их очаги стали разобщенными и приобрели явственно местный характер. Советский Союз распался после затянувшейся и оказавшейся тупиковой революционной ситуации 1989–1991 гг. (которая в некоторых случаях продлилась до 1993 г. и даже дольше). Противоборствующие политические силы не смогли одолеть друг друга. Когда не выигрывает никто, то проигравшими могут оказаться все.

В конечном счете виновниками развала СССР оказались не видные интеллектуалы. Они послужили лишь идеологическим авангардом. Едва ли можно винить даже самые мобилизованные нации, которые были лишь полями внутренней социальной борьбы, а не едиными действующими лицами. И даже склонные к насилию субпролетарии и бандиты должны были дожидаться разрушения государства, чтобы урвать, наконец, свой кусок символической и материальной добычи. Подлинными разрушителями стали номенклатурные агенты преимущественно среднего звена, которые при угрозе развала централизованного государства стали хватать все, что могло быть присвоено — от экономических объектов до местных правительств национальных республик и отдельных областей. Процесс этот в значительной степени определялся и направляла конфигурациями сетей местного патронажа, которые приходилось переделывать и приспособливать к новым условиям на ходу: открывать доступ для нужных в тот момент национальных идеологов из рядов местной интеллигенции; интегрировать при необходимости восходящих мафиози и полевых командиров, поставлявших силовые и экономические ресурсы, которые союзный центр был более не в силах поставлять; наконец, изолироваться от возможного

вмешательства Москвы и влияний соперников по соседству. Немедленно бросается в глаза, что Советский Союз развалился, точнее, был разобран почти точно в соответствии с разграничительными линиями бюрократических компетенций – как территориальных, так и отраслевых. Этот факт говорит сам за себя.

Государственные структуры распались именно в тот момент, когда рациональное управление в сочетании с правовым регулированием и социальным обеспечением были особенно необходимы для реинтеграции бывших социалистических стран в мировые капиталистические рынки на приемлемых условиях. Утеря геополитического рычага ослабила позиции и осложнила процессы капиталистической реинтеграции даже наиболее рационально организованных государств на западных рубежах советского блока. На всем остальном постсоветском пространстве теперь господствовали качественно более слабые организации трех взаимосвязанных видов, которые могли лишь крайне нерациональным и неустойчивым образом предоставлять экономические возможности и охранное покровительство. Ими стали: а) бюрократические клики, перехватившие в конце перестройки контроль над республиками и областями и стремившиеся конвертировать свои возможности административного принуждения в патронируемые источники доходов; б) созданные на основе бывшей государственной собственности частные олигархические предприятия, которые в незаконной среде зачастую действовали как мафия, создавая за счет доставшихся им прибылей собственные силовые преимущества; в) организованные преступные группировки, которые действовали как субъекты бизнеса, конвертируя свои локальные силовые преимущества в деньги. Остальное общество оказалось раздробленным, если не вовсе распавшимся на отдельных индивидов, поскольку рушились прежде централизованные структуры, объединявшие людей и создававшие связи за пределами круга личного общения или местно-этнического происхождения. С распадом государства наступила утеря экономической и физической защищенности обычных жителей. Позднее в 1990-х гг. Власть, как правило, сосредоточилась в руках областных губернаторов и президентов республик, которые могли опереться на старые номенклатурные диспозиции, привычки и связи, тем более что государственные структуры на местном уровне оказались более или менее уцелевшими. Однако эти провинциальные реставрации оказались крайне ограниченного свойства. Губернаторы не обладали ресурсами, а потому и серьезными намерениями для предотвращения обнищания и деиндустриализации, происходивших одновременно и взаимосвязано с хищническим (но если взять зоологическую метафору поточ-

нее, то падальщическим) обогащением политиков, связанных с ними олигархов или пришедших через силовое предпринимательство бандитов и полевых командиров. В сумме это означало сокрушительный откат целых стран и регионов на периферийные позиции в мировой иерархии власти и благосостояния. Достижения периода ускоренного развития, оплаченные трудом и жертвами предыдущих поколений, были утрачены вместе с осуществившим их государством.

Урон от распада государства и последовавшей длительной депрессии оказался таким, что стало трудно даже представить, как гражданское движение за демократизацию и неолигархическое рыночное развитие могло бы вообще возродиться. Динамика десталинизации 1950-х гг. совершенно выпала из массового сознания, эмоциональная энергетика времен перестройки исчезла вместе с публицистической интеллигенцией, сделалась неловким воспоминанием. В большинстве бывших советских республик закрепилась внутренняя поляризация богатства и власти, напоминающая страны Третьего мира. Собственно, они и стали новой периферией, но не столько эксплуатируемой, сколько по большей части брошенной. Политика свелась теперь к чередованию централизованного личного «султанизма» и более «демократического», порой захватывающе драматичного, большей частью же исключительно грязного соперничества клик коррумпированных политиков и ренто-ориентированных бизнесменов. Неопатримониальная власть может быть в определенной степени дисциплинирована и рационализована, что доказывается примером недавних достижений президентства Путина. Это вполне и даже нередко может сопровождаться экономическим ростом. Однако это рост зависимого характера, возникающий при централизации изъятий, которые поддерживают в основном лишь высокий уровень потребления элит и отчасти подчиненных слоев, прежде всего необходимых элитам исполнителей и работников. Как правило, в таких ситуациях ресурсы периферийного государства оказываются на какое-то время достаточно велики, чтобы обогатить правящую верхушку и, неизбежно, их иностранных партнеров, через которых реализуются экспортно-импортные и финансовые потоки. При этом все же остается и доля на строительство современных дорог и небоскребов — по крайней мере, в столицах, где сосредоточено показное потребление элит. Это, повторим вслед за Шумпетером, чисто количественный «рост без развития». Как пояснял тот же Шумпетер, «составьте вместе хоть сто карет — все равно это не будет железнодорожным составом». В лучшем случае количественный рост без качественного изменения социально-экономической

структуры создает анклавную экспортную промышленность, обслуживающий оффшорные трансферты (но едва ли инвестиции) банковский сектор и сферу элитного потребления предметов роскоши, почти целиком импортированных. Такой рост никак не ведет к выходу с периферии и рушится всякий раз с сокращением рентных потоков. Это знакомый вариант Индонезии при Сухарто или многих латиноамериканских стран. Но это никак не путь, которым прошли Япония, Южная Корея, возможно, сейчас идет Китай — и, до определенной черты, прошел сам Советский Союз²³. Так останется ли хоть какая-то надежда на реальное развитие и демократизацию? Мы вернемся к этому вопросу в завершающей части этой главы. Но прежде нам следует прояснить, какого рода социальная наука необходима, чтобы ответить на подобные вопросы.

КАРТЫ И КОМПАС

Эта промежуточная часть в последней главе предназначена в основном коллегам исследователям. Предстоит перебрать теоретические инструменты, использованные при выстраивании разъяснений этой книги, но также упомянуть и те, от которых пришлось отказаться. Дело тут не в профессиональном педантизме и самоотчете, хотя это, конечно, по-прежнему важное требование научности. Это, скорее, воззвание к следующему поколению исследователей осмыслить и совместно использовать прорывные формулировки, сделанные нашими непосредственными предшественниками в 1970-х гг. — в «Золотом веке» макроисторической социологии, как называет тот период Рэндалл Коллинз²⁴. На примере моих собственных поисков теоретических объяснений, посмотрим, как можно было бы продвинуться к новому, целостному и гораздо более вдохновляющему пониманию социального мира. Задача, надеюсь, неактуальной не покажется.

Ключом нам послужит метод анализа взаимосопряженных социальных полей и сетей, а вдохновение дает страстный социологический рационализм Пьера Бурдьё. Одним из основных вкладов Бурдьё в современную социологию стало выявление практических

²³ Meredith Woo-Cumings (ed.), *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press, 1999; Giovanni Arrighi, Takeshi Hamashita, and Mark Selden (eds.), *The Resurgence of East Asia: 500, 150 and 50 Years Perspectives*. New York: Routledge, 2003.

²⁴ Randall Collins, Introduction: The Golden Age of Macrohistorical Sociology, in: *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. Stanford: Stanford University Press 1999.

путей преодоления разрыва в социальном анализе, традиционно отделявшем область культуры от материальной основы существования человечества. Введением в изучение культуры аналитической метафоры поля, структуриемого взаимоотносящимися позициями и социальным капиталом игроков²⁵, Бурдьё не только смог вернуть символическую сферу в изучение социальной иерархии и политической экономии, но и (что гораздо значимее) сумел вернуть понятие политической экономии и иерархическое измерение классовой власти в изучение самой культуры. Бурдьё, как чувствуется из его книг, был вынужден беспощадно бороться — не столько в силу своего бойцовского интеллектуального габитуса, а в основном потому, что решил практически в одиночку биться на нескольких главных теоретических и политических фронтах: против механистического детерминизма сталинского марксизма-ленинизма (в его случае, альтюссеррианства), против господствовавших в 1950-х различных течений позитивизма и структурного функционализма (который, впрочем, теперь к нам вернулся с жадной мести в перевоплощенном виде ультраметодологических движений наподобие теории рационального выбора), а затем и против дезориентирующего дискурсивного солипсизма постмодернистских комментариев.

Бурдьё не был лишь социологом культуры или классового неравенства. Его интеллектуальные амбиции были куда более масштабными и в сущности холистическими. Острая философская направленность в работах Бурдьё объясняется не только фактом его происхождения из философов и последующей социологически сформулированной полемики с престижной во Франции философской средой. Битвы с Сартром — дело прошлое и, по большому счету, сугубо французское. Замах на эпистемологические основы связан со стремлением Бурдьё критически «раздумать» (unthink по знаменитому выражению Валлерстайна) всю парадигму социального анализа, сформировавшуюся в XIX в., начиная с пустивших глубокие корни противопоставлений структуры и человеческого волевого выбора («агенции»), микро- и макроуровней, научной объективности и политической предвзятости. Поиски других путей в социальной науке и иного концептуального языка для описа-

²⁵ Надо в который раз предупредить, что Бурдьё, потомок французских крестьян из горного Беарна, был азартным регбистом. Вовсе не из салонной игры в фанты и не из игры ставок на бирже происходят его метафоры поля, игроков и вошедшего в плоть и кровь, инкорпорированного, ставшего частью тела «практического чувства» игры. Имейте в виду, для Бурдьё — все это жесткая силовая борьба команд тренированных регбистов.

нии общества, стремление преодолеть одновременно партийную критику марксизма и благопристойную апологетику либерализма, с 1960-х гг. стали главным стратегическим принципом интеллектуального противостояния в социальной науке, и Бурдые стоит в первом ряду тех, кто осознанно рискнули выдвинуть претензии к обеим сторонам линейного идеологического эволюционизма и начали революционное преобразование прежней парадигмы (в смысле скорее Куна и Латура, нежели марксизма), не только отдельных ее теорий и основополагающих концепций, но и, как выразился Чарльз Тилли, самого «способа постановки вопросов и оценки полученных ответов относительно социального мира»²⁶.

В моем случае при написании этой книги влияние Бурдые стало определяющим, по крайней мере, в трех отношениях. Во-первых, теоретическая концепция символического и, в более широких рамках, социального капитала не только высвечивает, но и, главное, помогает проанализировать неоднозначность ролевых и идейных позиций интеллигенции и других образованных специалистов в советской социальной иерархии. Без «способа постановки вопросов и оценки полученных ответов» трудно было бы двинуться далее публицистики в понимании происхождения советской интеллигенции, ее надежд, связанных с культурной и далее политической деятельностью, что приводило при открытии реформистских возможностей к зарождению демократизации, а затем к поддержке рыночных реформ или национализма. Без Бурдые оказалось невозможно теоретически интерпретировать его почитателя Шанибова. Рабочий набор инструментов, вроде социального капитала, габитуса, траектории и поля, если вникнуть в не самый доступный стиль Бурдые, может вдруг показаться обманчиво простым и универсальным орудием. Так, признаться, мне и показалось в какой-то момент. Если идеи Бурдые в будущем станут материалом учебников, то вульгаризация практически гарантирована — называй все габитусом или капиталом, и уже ты почти Бурдые. Предусмотрев эту возможность, Бурдые встроил в свою теорию и принцип рефлексивности, который предписывает всякий раз задаваться вопросом, а почему мы изучаем то, что изучаем и почему мы выбираем ту или иную концептуализацию? Проще говоря, а не попусту ли мы красуемся в научном ореоле? Это должна быть сильно отрезвляющая мысль. Тем не менее надо признать, что простота концепций Бурдые необманчива и сама по себе есть изрядное достижение социологии, в том числе популярной, без всяко-

²⁶ Чарльз Тилли произнес эту оценку главного в наследии Бурдые на ежегодной сессии Американской социологической ассоциации в Атланте в августе 2003 г.

го уничтожения доступной образованному человеку, желающему понять, как действует его общество. Достигнутый Бурдые уровень операционализации в деле, которое начали Дюркгейм и Марсель Мосс, продолжили Карл Маннгейм и Антонио Грамши, должен быть признан его главным достижением — но и, как предупреждал в последний год свой жизни сам Бурдые, это не конечная точка в социологии. Надо думать, как двигаться дальше. Как, к примеру, перенести его идеи с французского материала на иную культурно-географическую почву, скажем, в горы Кавказа, и как сочетать конструкции Бурдые с другими теориями?

Во-вторых, Бурдые спас понятие класса как ключевой социологической концепции, которое грозило кануть в невостробованность вместе с марксизмом-ленинизмом. Он предложил проходимые пути к преодолению аналитического тупика в выборе между понятиями класса и статусной группы, приведшего к затяжному и бесплодному спору между приверженцами Маркса и Вебера. Взаимопересечение материального производства и обмена с различными формами социального капитала предоставило основу для моей модели советской социальной структуры, притом в динамике ее статусно-классовых изменений на исторической протяженности от сталинской индустриализации до горбачевской перестройки и последующей капиталистической периферализации. Многомерная природа капитала, соответствующие формам капитала габитусы, операции, посредством которых те или иные формы капитала накапливаются, теряются, преобразовываются их обладателями, перемещаются из одного поля в другое — в сумме создали аналитическую возможность нанесения на карту социальных трансформаций позднесоветского общества, где можно было уже ориентироваться и на личном, и на общем уровнях. Речь идет о преобразованиях, которые включают в себя: 1) конверсию коммунистической номенклатуры в бюрократическое руководящее сословие, а затем в господствующий политико-экономический класс посткоммунистической реставрации; 2) проект подчиненных образованных специалистов по представлению себя в роли новой интеллигенции, за которым последовали проекты создания «гражданского общества» и «суверенных наций»; 3) путей, которыми националистические мобилизации вызвали появление на авансцене субпролетариев как общей политической силы, как правило (по принципу гомологии), союзной с маргинальными элементами провинциальной субинтеллигенции или же перебежчиками-одиночками, изгнанными из правящей элиты за «популистские амбиции».

Займствованная у Бурдые категория субпролетариата стала третьим важнейшим источником моих аналитических выкла-

док. С ней возникло чувство (удовлетворения, всегда смешанного с грызущим сомнением), что картинка начинает складываться во что-то осмысленное и притом соответствующее эмпирическому чувству реальности, которую я наблюдал и переживал во время полевых наблюдений. Этот «неудобный некласс» лишь весьма противоречиво, расплывчато оформлен и в реалиях своего крайне неровного существования, а потому видится исследователю неуловимым как в эмпирическом, так и теоретическом отношениях. В то же время кавказские субпролетарии, совершенно вопреки моим предварительным ожиданиям, заняли центральное место в объяснении эскалации насилия в этнических конфликтах. Признаться, я долго оставался в растерянности. Как вообще возможно в ходе исследований оперировать остаточной категорией «бывших крестьян», которая появляется в работах по различным регионам мира под такими названиями, как «улица», «маргиналы», «субалтерные группы», «толпа», «подкласс», «подростковые банды», «люмпены», либо в избыточно широком и аналитически лишь негативном смысле «раскрестьяненное (дерурализованное) население»? В своем раннем описании алжирского субпролетариата Бурдые показывает, как осуществить целенаправленное включение в проводимый нами анализ этого самого «отстающего» из всех классов — класса, стремительно приобретающего, тем не менее, все большее значение повсюду в современном мире как в численном, так и, возможно, политическом отношении. Как быть с миллиардными на сегодня массами, «исключенными» из публичной сферы, государственности, капиталистических процессов накопления (по крайней мере, устойчиво легальных)? Бурдые предлагает лишь указания для осуществления анализа субпролетариев в эмпирической и теоретической работе, так что ответственным за детальные прорисовки и выкладки в данной книге являюсь, разумеется, лишь я один. Они все еще остаются спорными, а потому должны быть преодолены в будущем. Тем не менее мне показалось необходимым привлечь аналитическое внимание к этой категории людей, чей нередко вызывающий вид и манера, чьи насильственные политические действия (обычно свысока оцениваемые как просто уголовные, жестокие и атавистические) были важнейшей составной во всех этнических конфликтах на постсоветском пространстве, как впрочем, и в «русской» или какой-то мафии.²⁷

²⁷ Это осознание подтверждается наредкость взвешенным анализом Carl-Ulrich Schierup, *Quasi-proletarians and a Patriarchal Bureaucracy: Aspects of Yugoslavia's Re-peripheralization*, *Soviet Studies*, vol. 44, no. 1 (1992).

Однако категория субпролетариата (или, скажем, национальной интеллигенции) хоть трижды со всеми габитусами остается слишком отвлеченным понятием, чтобы разъяснить динамику процессов мобилизации и насилия. В истории человечества, насилие (вплоть до геноцида) в отношении расовых, религиозных или этнических групп было более типичным результатом действий государств — таких как колониальные завоевания, мировые войны XX в. Этническое насилие может возникать в самых разных ситуациях. Возьмите катастрофические и унижительные социоэкономические потрясения, наподобие того, что пережили некогда состоятельные классы германского общества, приведшие Гитлера к власти²⁸. Субпролетарии явно не играли особой роли ни в колониальных войнах, ни в нацистском уничтожении «недолюдей». Также и в горбачевскую перестройку, субпролетарские действия не стали бы политическим фактором, если бы не возникшие в структуре политических возможностей бреши, в свою очередь, созданные жестоким кризисом государственной власти. В порядке гипотезы, предположу, что субпролетарии обретают силу там, где и когда ослабеваает государство.

Вот почему проведенный в данной работе анализ классов должен был идти параллельно с анализом государственных структур, общественных движений и революций. Разумеется, все те явления в последние годы стали центральной проблематикой одного из самых активных и теоретически изощренных направлений историко-сравнительной социологии, восходящего к прорывным работам как Баррингтона Мура-младшего, Стайна Роккана, Теды Скочпол, Чарльза Тилли, следом за которыми шло поколение Крэга Калхуна, Джека Голдстоуна, Ричарда Лахмана²⁹. Потребовались

²⁸ Если мы когда-либо всерьез возьмемся выстраивать общую теорию этнического и религиозного насилия, то начать придется не с идентичностей, а с анализа кризисов власти. В первую очередь, это Michael Mann, *The Sources of Social Power. Vol. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*, chapters 20 and 21 (Cambridge University Press, 1993) и его же более недавняя работа *The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing* (Cambridge University Press, 2005); Randall Collins, *German-Bashing and the Theory of Democratic Modernization* (in *Macrohistory*, Stanford: Stanford University Press 1999); George Steinmetz, *The Devil's Handwriting: Precolonial Discourse, Ethnographic Acuity, and Cross-Identification in German Colonialism* (*Comparative Studies in Society and History*, 45:1, 2003); Immanuel Wallerstein, *Racism: Our Albatross* (in his *The Decline of American Power*, New York: New Press, 2003).

²⁹ Хорошими обзорами теоретических формулировок, достигнутых в этой области, являются Jeff Goodwin, *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements*,

значительные усилия, чтобы адаптировать их теоретический инструментарий (в основном разработанный применительно к государствам капиталистического «ядра» Западной Европы) для анализа советской и постсоветской среды, и в особенности периферийного Кавказа. Но, к счастью, здесь можно было с уверенностью опираться на работы социальных историков советской трансформации. В этой богатой традиция области первопроходцами были тот же Баррингтон Мур, пророческий Айзек Дойчер, Моше Левин, Ричард Пайпс (имеется в виду его первая монография «Формирование Советского Союза»; позднейшие работы Пайпса важны уже скорее как фактор формирования официальной американской идеологии в отношении к СССР). Среди тех, кто помог состояться западной историографии СССР и вывел ее на современный высокий уровень, имена Шилы Фицпатрик, Стивена Коэна (с оговорками, что и в случае Пайпса, хотя они и принадлежат к разным правящим партиям США). Особенно созвучны с проблематикой данной книги работы Валери Банс, Рональда Григора Сюни, Майкла Буравого и Ивана Селеньи.

Сегодняшнее поколение исследователей бывшего СССР весьма обширно и представлено самыми разными учеными, включая многих выходцев из бывших соцстран. Однако в 1990-е гг. центры постсоветских исследований столкнулись с теми же дилеммами, что и прочие некогда славные и продуктивные направления регионоведения (*area studies*), занимавшиеся комплексным изучением Африки, Латинской Америки, арабского мира или Южной Азии. После окончания Холодной войны в Америке (основной научной базе наших дней) резко упали политический интерес и, соответственно, финансирование регионоведения. Проблема возникла с противопоставлением комплексного экспертного подхода регионоведческих центров сугубо дисциплинарной направленности отделений экономики, политологии, антропологии, литературоведения. Экономисты и за ними следом многие политологи (в первую очередь, политически и идеологически крайне востребованной в начале девяностых транзитологической школы демократизации, которые консультировали в Боливии, равно как в Польше) открыто усомнились в научной состоятельности регионоведов. Те, конечно, настаивали на знании языков и культур изучаемых стран, но при этом не особенно заботились о методологической ортодоксии и формальном моделировании. Спор бы остался очередным внутринаучным противостоянием, но выделяющие средства фон-

1945–1991. Cambridge University Press, 2001; Stephen K. Sanderson, *Revolutions. A Worldwide Introduction to Political and Social Change*. Boulder: Paradigm, 2005.

ды сделали свои выводы и заняли сторону неолиберальных экономистов и транзитологических политологов³⁰.

Ситуация на сегодня противоречива, о чем следует открыто сказать, ибо это на самом деле фронт интеллектуальной политической борьбы. С одной стороны, регионоведение (в том числе русистика и изучение Восточной Европы) как сообщество исследователей и поле деятельности институционно состоялось как на Западе, так и в странах, которые на сегодня обрели собственный исследовательский потенциал. Научные работники достаточно многочисленны по всему миру, многие хорошо обучены и неплохо связаны посредством личных и профессиональных сетей, а также Интернета. Регионоведение благодаря своим видным предшественникам, заложившим в 1950–1970-х гг. основы изучения «развивающихся» регионов мира (а среди них были, к примеру, экономист Альберт Хиршман, политологи Бенедикт Андерсон и Джеймс Скотт, социолог Иммануил Валлерстайн, антрополог Клиффорд Гиртц) наделено богатым и престижным интеллектуальным наследием. Крайне немаловажно, после «холодной войны» пали или, по крайней мере, ослабили многие политические преграды на пути регионоведческих исследований. Но с другой стороны, с приходом гегемонии неолиберализма произошла не только повальная математизация в подражание моделям неоклассической экономики, но и потеряли былую легитимность исследования проблематики ускоренного развития, конкретно-эмпирической специфики, включая варианты местной исторически возникшей политэкономии. Широко распространенная шутка — если бы Хиршман, Бенедикт Андерсон, Джеймс Скотт, Валлерстайн (добавьте Бурдые, начинавшего экспертом по Алжиру) сегодня искали работу младшего пре-

30 При переводе для отечественного читателя надо пояснить институциональную ситуацию в американских университетах. Программы и центры регионоведения, как всякие некогда возникшие учреждения, было не так-то легко упразднить — но можно было маргинализировать внутри университетов. Исследовательские центры контролируют лишь закупки книг библиотекой, выделение грантов на поездки и конференции, и, как правило, только временные должности приглашенных преподавателей. На постоянные же профессорские должности с причитающимися ставками и престижем найм идет только через дисциплинарные отделения (политологии, социологии, экономики), которые теперь получили интеллектуальные доводы, чтоб лишь крайне неохотно делиться подобными ресурсами с регионаледами. Те, кто хотел сделать научную карьеру или просто выжить на крайне конкурентном рынке научного труда, должны были добиваться признания внутри, а не между дисциплин — чтоб там ни провозглашалось о благородных целях междисциплинарности.

подавателя, то их бы никто не взял — на самом деле никакое не преувеличение. Социальная наука крайне пострадала от коллапса идеологических программ ускоренного развития не только потому, что исчезла легитимность проблематики, но и потому, что государство стало уходить от прежних уровней финансирования высшего образования и социальной науки. (Надо ли об этом напоминать в России?) Второй удар был нанесен глобальным распространением ортодоксального рыночного учения, которое ставит школы бизнеса и администрирования явно выше традиционного университетского образования. Во главу угла было поставлено то, что Бурдые определял как «бюрократическое знание», воплощенное в требовании грантодателей в качестве основного пред условия финансирования указать ожидаемые «практические рекомендации» (policy relevance)³¹. Говоря в целом, общественные науки, конечно, должны отвечать и критериям методологической строгости, быть кому-то интересны и полезны. Но речь тут идет о целом, а об очень узком и откровенно политическом критерии полезности и научности, прямо связанном с неоклассической экономикой, ее идеологической чистотой и консалтинговыми возможностями. Интеллектуально и политически эти ограничители куда жестче и эффективней былой советской цензуры. Предпочтение отдается технологиям транзакций (политических и экономических) и формальному моделированию равновесных состояний в ущерб любому виду содержательного и исторически обоснованного знания³². Трудно представить, как вообще можно было бы интерпретировать в таком узком идеологическом разрезе историческую трансформацию советской диктатуры развития и личную траекторию Юрия Шанибова.

Подчеркну еще раз, изложенная здесь нарративная история во все не противопоставляется аналитическому моделированию. Повествование скорее даже перегружено концептуальными отсылками,

³¹ После 2001 г. произошло увеличение финансирования исследований ислама и непосредственно в исповедующих мусульманство регионах мира, что, конечно, прямо связано с проводимой Соединенными Штатами «войной против террора». Это может даже усугубить положение дел, поскольку финансирование предоставляется с политическими обязательствами консультировать военных и спецслужбы США. Американская научная среда выработала к такого рода соблазнам достаточно сильный иммунитет в годы Вьетнамской войны, хотя сегодня этот иммунитет в значительной степени понизился.

³² Randall Collins, *The European Sociological Tradition and Twenty-First Century Sociology*, in Janet. L. Lughod (ed.), *Sociology for the Twenty-First Century*. Chicago, University of Chicago Press, 199, p. 27.

как могут пожаловаться обычные читатели или некоторые историки старой школы. Это и делает отдельную историю Шанибова частью некоей исторической целостности, которая была определена здесь как опыт диктатур ускоренного развития XX в. — преднамеренно много шире социализма и национализма. Проходящая через все главы внутренняя полемика данной книги (которую, вероятно, мог и не заметить отечественный читатель) имела сверхзадачей связано и убедительно сформулировать полную батарею аргументации, способной достойно противостоять не только давно вымершей советской идеологии, но и идеологической заданности современного экономизма. В интеллектуальном отношении эффективное сопротивление означает выдвижение содержательных альтернатив господствующим ныне схемам, согласно которым этнические конфликты, терроризм и распад государств на мировой периферии есть игры (вовсе не в смысле Бурдые, а смысле биржевого игрока) манипулятивных «этнических предпринимателей», либо как простая неготовность периферийных неевропейских наций к восприятию основ рыночной демократизации в силу их искаженных коллективных комплексов, эндемической коррупции, кумовства и корпоратизма, религиозного традиционализма, и тому подобных форм врожденных отклонений. Нет, все на самом деле и сложнее, и противоречивее, потому интереснее — и исход вовсе не предопределен. Если бы, допустим на минуту, Горбачеву удалось реализовать программу перестройки, то расширенный таким образом Евросоюз формировался бы вокруг треугольника Москва—Париж—Берлин, и Муса Шанибов был бы сегодня либеральным европейцем как Романо Проди или Вацлав Гавел. Лучшее сопротивление, как всегда настаивал Иммануил Валлерстайн — не критиковать противников, а писать интересные книги, заявляющие иную позицию.

Но как же было писать книгу, где определяющий процесс — эволюция советской догоняющей индустриализации — не имея ничего внятного сказать об экономике? Но почему я, социолог, на несколько лет с головой ушедший в политическую этнографию Кавказа, должен из той же своей головы выдвинуть и экономическую интерпретацию? Оставалось искать, кто и что сказал нетривиального о советском военно-плановом хозяйстве и его крахе, что бы могло быть логически последовательно соотнесено с наблюдаемой мною реальностью? Первым был тест на позитивность искомой экономической интерпретации — не одобрения, а позитивности в смысле восприятия советского типа индустриализации как некоей машины с ее пределами мощности, проблемами и поломками, вероятно и ограниченным (тогда почему и чем?) историческим циклом жизни. Сходу отпадали теории неоклассического «мейнстри-

ма» (за частичным исключением все-таки венгерского академика Корнай), в своих идеологических рамках рассматривающие экономику советского образца в качестве сплошного отклонения от нормы свободного рынка. Неоклассическим экономистам есть мало что существенного рассказать нам об СССР, как, впрочем, и о Японии. Японии? Это уже выводило на нечто интересное. Концепция государства догоняющего развития (*developmental state*) впервые была выдвинута в 1982 г. Чалмерсом Джонсоном именно на основе японского варианта, который замечательным образом никак не укладывался ни в рыночную, ни в марксистскую ортодоксию³³. На уровне макроисторического обобщения эта концепция открывала дорогу к осмысленному альтернативному определению того, чем мог быть госсocialизм советского образца. Итак, найдено!

Рамки таксономического семейства задает концепция «государства догоняющего развития». Точнее все же было бы сказать режима, поскольку советский случай распада государства вместе с режимом довольно исключительный (аналог дает лишь Югославия, в плане этнофедерализма некогда скопированная с СССР). Япония или Южная Корея плавно и благополучно вышли из этого режима, Германия же несколько особый случай из-за ее разделения после 1945 г. и воссоединения в 1992 г. Распад СССР был обусловлен не собственно логикой преодоления диктатуры развития, а весьма особыми институциональными и геополитическими обстоятельствами — военная сверхдержава, связанная массой идеологических условностей и геополитических нагрузок, с массой якобы подконтрольных, но уже давно слабоуправляемых «союзников» и, не в последнюю очередь, с внутренними национальными республиками. Без этих факторов перестройка почти наверняка бы удалась. Но слово государство у Чалмерса Джонсона идеологически ключевое по оппозиции идеологиям как капитализма, так и социализма (при котором государство вроде должно отмирать или, если оно явно не отмирает, становится общенародным). Следом за Джонсоном концепцию государства развития принимают индустриальный социолог Питер Эванс и экономисты-гетеродоксы Роберт Уэйд и Алиса Амсен³⁴. Они географически расширяют ее применение, включая теперь страны Юго-Восточной Азии, Индо-

³³ Chalmers Johnson, *MITI and the Making of Japan's Industrial Policy*. Stanford University Press, 1982; также см. Bruce Cumings, *Webs with No Spiders, Spiders with No Webs: The Genealogy of the Developmental State*, in: Meredith Woo-Cumings (ed.) *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press, 1999.

³⁴ Peter Evans, *Embedded Autonomy: States & Industrial Transformation*. Princeton University Press. 1995; Robert Wade, *Governing the Market: Economic Theory and the*

станского полуострова и Латинской Америки. Оставалось еще более расширить рамки концепции и включить в нее социалистические государства как представителей политической стратегии достижения уровня ядра западной экономики. В свою очередь, это означало размещение этих государств в миросистемной перспективе Иммануила Валлерстайна и Джованни Арриги — к чему я был готов изначально, поскольку провел много лет в общении со своими учителями. Собственно, книги Валлерстайна и Арриги оказались в советском спецхране именно из-за того, что в них писалось о полупериферийной природе советского социализма и его вполне системной логике, хотя и со своеобразной внутренней организации. Для Валлерстайна и, отчасти, даже Арриги СССР никогда не был ни особым секретом, ни предметом особого внимания. Кроме того, интересовавшие их глобальные конфигурации мало что могли сказать о конкретном примере советского развития и тем более не давали никаких, кроме интуиции и воображения, средств к анализу индивидуальной судьбы людей вроде Юрия Шанибова. Приходилось самому искать методы увязки нескольких уровней социологического анализа, где, помимо так мне пригодившихся концепций Бурдьё и Тилли, добрую службу сослужили примеры конкретного миросистемного анализа Чаглара Кейдера и Брюса Камингса³⁵.

На среднем уровне — советской экономики и ее обломков — особенно полезными оказались теории многократно цитировавшихся в этой книге Владимира Викторовича Попова и Дэвида Вудраффа. Хотя и нуждающаяся в дальнейшем совершенствовании (будучи типичным экономистом, ее автор избегает вопросов власти и идеологии), теория Попова о материальном цикле жизни командной экономики предлагает нам возможность обоснованного разъяснения того, почему такого рода экономики на начальном этапе добиваются столь внушительных уровней материального производства, прежде чем впасть в затяжной застой. Политэкономическое исследование Вудраффа ставит в центр вопрос функциональной роли и упорной воспроизводимости неформальных сетей бартерного обмена в эпоху государственного социализма и особенно после распада планового хозяйства³⁶. Именно Вудраффу я обязан по-

Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton University Press, 1990;
Alice Amsden, *The Rise of the Rest*. Oxford University Press, 2001.

³⁵ Çağlar Keyder, *State and Class in Turkey: a Study in Capitalist Development*. London: Verso, 1987; Bruce Cumings, *Korea's Place in the Sun*. New York: Norton, new edition, 2005.

³⁶ David Woodruff, *Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press. 1999. Этот суховатый на первый взгляд труд не толь-

ниманием механизма губернаторской реставрации после распада СССР.

Провинциальные «префекты» сыграли неожиданно для всех ключевую роль в распаде Советского Союза на составные территории, поскольку они после 1989 г. как никто другой оказались в состоянии устроить «парад суверенитетов» и потому, что сохранение центрального правительства стало угрожать их положению. Затем же именно бывшие первые секретари и их наследники на постах президентов республик и губернаторов возглавили создание коррумпированных «бейликов» и политических «машин» на подвластных им территориях. В рамках господствующей утилитаристской парадигмы подобные стратегии либо попросту игнорируются, либо называются (но едва при этом объясняются) «уклонением от рыночной дисциплины», «ренторинетированным корыстным поведением», коррупцией, nepotизмом, блатом, традициями подпольной экономики и организованной преступности. Разумеется, всякий, кто мог наблюдать поток власти по патронажным сетям в странах вроде Грузии или Азербайджана, должен бы задаться вопросом, почему столь многие западные политологи, экономисты и консультанты так долго предпочитали не видеть, насколько жизненно важны такие механизмы в работе местной власти, либо винить во всем (опять же, без всякого логического объяснения) падение личных моральных устоев, косную враждебность к современным веяниям, и «дурные старые привычки» советских, если не досоветских времен. Именно так, кстати, на наследие колониализма и трайбализма долго валили все коррупционные и деспотические практики правителей африканских еще и десятилетия спустя после независимости. Здесь веберовская концепция неопатримониализма (т.е. фактической приватизации государственных постов) предлагает интересную и содержательную альтернативу. Кен Джовитт и его студенты явились первопроходцами в применении концепции неопатримониалистической собственности и политического бартера применительно к Советскому Союзу и его наследникам. Поскольку аналогичные модели правления давно уже были предметом исследований применительно к странам Третьего мира (теорети-

ко глубоко просвещает, но и способен удивить знанием исследуемой страны и неожиданным литературным блеском. Глава о гайдаровском шоковом монетаризме в России озаглавлена «Мечь Остапа Бендера» — в напоминание о том, как Великому комбинатору с его честно отобранным у гражданина Корейко миллионом так и не довелось выпить пива, которое отпускалось по типичному регламенту планового хозяйства только членам профсоюза.

ческое происхождение восходит к формулировкам Гюнтера Рота и Ш. Н. Эйзенштадта, сделанным еще в конце 1960-х гг.), то дополнительный материал может быть позаимствован у таких африканистов, как Жан-Франсуа Медар, Рене Лемаршан и Уилл Рино³⁷. Не в последнюю очередь первопроходческие работы по проблематике организованной преступности в новой России Вадима Волкова (развившего на отечественном материале идеи Чарльза Тилли) и Федерико Варезе (ученика Диего Гамбетты, работавшего в 1990-е гг. в Перми) весьма существенно помогли восполнить пробелы в общей картине³⁸.

Но «сетевые сообщества» по-постсоветски на этом отнюдь не заканчиваются. Помимо бюрократического патронажа остаются еще и более или менее густые, в зависимости от историко-географических условий среды обитания, сети элитных «старых хороших семей», оппозиционно-настроенных отчужденных интеллигентов, религиозных сообществ, дельцов «черного рынка» и субпролетарских «неформальных экономик». Эмпирические наблюдения настойчиво подсказывали, что абстрактные категории общественного класса и статусной группы обретают политическую динамику именно посредством активизации самых разнообразных социальных сетей, которые могут состоять из расширенных кругов семей и друзей, соседей, коллег, земляков, людей одного этнического происхождения или религиозного вероисповедования, знакомых по совместной службе, коммерции, и даже, не столь редко, бывших сокамерников. На Кавказе, как, впрочем, и повсюду, люди регулярно полагаются на бытовые неформальные сети для того, чтобы получить возможность продвижения по службе, поступления в вуз, ведения частного предпринимательства, доступа к дефицитным товарам, услугам врачей, обеспечению личной безопасности, выезда на заработки, или решения такого серьезного житейского вопроса, как вступление в брак. Но помимо поисков решения обыденных проблем повседневной жизни, эти сети ровно также и даже особенно активно начинают использоваться в менее мирных и обыденных ситуациях — этнического насилия, организации преступлений, переворотов, восстаний, фундаменталистского прозелитизма или же набора в незаконные

³⁷ Guenther Roth, *Personal Rulership, Patrimonialism, and Empire-building in the New States*, *World Politics*, Vol. 20, no. 2. (1968); S. N. Eisenstadt, *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*. London: Sage, 1973.

³⁸ Волков В. *Силовые предпринимательство: экономико-социологический анализ*. М.: Высшая школа экономики, 2005. Federico Varese, *The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy*. Oxford: Oxford University Press, 2001.

вооруженные формирования. Игнорирование этого основополагающего факта означало бы также исключение основных практик повседневной человеческой жизни из наших разъяснительных схем. В результате динамику общественных действий можно бездумно приписать реинфицированным абстракциям классов, наций, политических движений и религий. Но ведь не бывает так, чтобы «армяне потребовали» и пошли на войну. Подобные действия как-то структурируются в социальном пространстве, откуда-то берутся призывы и сигналы, через какие-то связи распространяются (или не проходят, действие тогда затухает), что-то связывает людей, доверяющих друг другу, кто-то на кого-то рассчитывает опереться — даже в толпе.

Как выяснилось, стандартные социологические теории сетей, сегодня сосредоточенные в основном в школах бизнеса, мало чем могут помочь, поскольку склонны жертвовать историческим контекстом ради математической абстракции в подражание неоклассической экономике (которая в своей черед подражала термодинамике как образцу научности конца XIX в., когда сформировалась дисциплина экономики). К счастью, дела в социологии обстоят не столь просто. Есть и глубоко исторический анализ сетей, проделанный преждевременно ушедшим от нас Роджером Гулдом. Его основанный на архивных материалах анализ формирования рядов парижских коммунаров и кроваво их подавивших «версальцев» ознаменовал собой подлинный переворот в истории. Ведь ни у кого, включая самих современников и Карла Маркса, дотоле не вызывало сомнения, что коммунары и «версальцы» представляли противоборствующие классы. Однако из материалов военных полевых судов, каравших коммунаров, и личных дел французских солдат-карателей возникает куда более сложная картина — рабочих на стороне реакции было едва не больше, чем среди революционеров, среди которых, в свою очередь, оказалось на удивление много выходцев из буржуазных семейств³⁹. Кто с кем и в каких тавернах общался до кровавых событий, тот и оказался на стороне в той или иной «команды». Социальные сети причудливо пересеклись с классовым делением и идеологиями. Джон Пэдджетт и Кристофер Анселл предложили другой очень полезный подход к исследованию потоков политической власти по частично взаимонакладывающимся сетям в классическом патримонильном

³⁹ Roger V. Gould, *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune*. Chicago: University of Chicago Press, 1995; John Padgett and Christopher Ansell, Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434, *American Journal of Sociology*, Vol. 38, n. 6 (May 1993).

укладе. Тщательная реконструкция «устойчивых действий» (robust action) семейства Медичи посредством сочетания патронажа, брачных союзов и семейного банковского бизнеса, которые привели их к власти в средневековой Флоренции, вполне применима и во многих столицах государств нашего времени. И наконец (но не в последнюю очередь) мастерская работа Ричарда Лахмана, описывавшего, какими неявными путями сети феодальной элиты Запада эпохи раннего Нового времени преобразовались в самозарождение «капиталистов вопреки самим себе», более чем очевидно созвучна теме современного самопреобразования коммунистической номенклатуры.

Концепции социальной сети и «укорененности» (embeddness) относительно недавно вошли в оборот и даже стали научной модой, что влечет за собой известные опасности. Хорошим противоядием может служить предостережение Артура Стинчкома, старого ворчливого борца за содержательную наполненность социальных исследований. Взяв признанную высокую классику жанра, Стинчком отмечает, что хотя эмпирически богатые и разнообразные исторические исследования Чарльза Тилли «почти всегда опираются на того или иного вида анализ сетей, это вовсе не обычный сетевой анализ». Тилли интересуется главным образом не формализуемая в моделях сеть как таковая, а «то, что течет по связующим звеньям между людьми, и в каком именно историческом контексте это происходит»⁴⁰. То же самое можно сказать о сетевых моделях Роджера Гулда, Джона Паджетта или Ричарда Лахмана. Слова Стинчкома возвращают нас к наследию Пьера Бурдьё. На вопросы, «что именно перетекает» между людьми в социальных сетях или «какова разница в уровнях, которая в первую очередь вызывает это перетекание», можно ответить при помощи таких понятий, как социальный капитал, гомологичность, личные и групповые траектории, ведущие к занятию позиций в социальном поле. Напротив, обычный сетевой анализ стал настолько оторванным от реальности, поскольку игнорирует понятие власти и разницу, воплощенную в социальном положении и капитале. Власть в формах материальных и символических благ, связей, особых видов знаний и является в основном тем, что перетекает по звеньям сетей. В реальном мире подобные потоки делают господство возможным. И в то же время сети могут помочь что-то

⁴⁰ Arthur Stinchcombe, Tilly on the Past as a Sequence of Futures, in Charles Tilly, *Roads from Past to Future*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997, p. 392. Критическую аргументацию Стинчкома параллельно усиливает Giovanni Arrighi, Braudel, *Capitalism and the New Economic Sociology, Review*, XXIV, 1 (2001).

скрыть, обойти или обмануть власть, а иногда и открыто воспротивиться господству.

Социальная сеть очевидным образом есть пространственная метафора — но что такое пространство, в котором находятся сети? Видение социального поля у Бурдьё предлагает один из способов привнесения в наш анализ пространственного измерения — хотя и путем достаточно абстрактной, аналитической концептуализации. Фернан Бродель предложил исторически более конкретный, позаимствованный у географии, подход. Бродель оставил нам свое величественное видение современной мироэкономики как постоянно развивающейся экологии человеческих пространств. Миры расположены на трех «этажах»: элементарных структур повседневной жизни; динамично распространяющихся горизонтальных рынков обменов; и верхнего, заоблачного этажа небожителей, на котором Бродель поместил капитализм и государственную власть. У Броделя все три уровня явственно состоят из множества сетей, которые он поистине героически дерзнул исчерпывающе нанести на «карту» своего великого трехтомника. Исторически еще более «макроскопическое» видение находим в совместной работе отца и сына МакНилов — Уильяма и Джона. Их «человеческая паутина» состоит из множества взаимонакладывающихся сетей обменов — экологических, рыночных, геополитических, культурных — которые эволюционировали на всем протяжении истории человечества и на всем населенном пространстве планеты⁴¹.

Можем ли мы создать карту цивилизаций как социокультурных полей и представить, к примеру, распространение мировых религий или современных идеологий, вроде социализма, как процессы передачи символического капитала? Возможно. Вопрос не в том, возможно ли написание истории целого мира — это уже не раз было сделано и остается регулярно возникающей амбицией науки. Вопрос в том, каким образом подобные дерзновения могут быть реализованы следующим интеллектуальным поколением. Встает двойная задача, с которой я сам постоянно сталкивался в написании этой книги. Во-первых, теперь требуется соотнести макроскопическое видение истории с теоретическими обобщениями (которых в свое время еще чурались МакНил и Бродель, но что уже начали делать Валлерстайн и Джон МакНил). Во-вторых, надо по-

⁴¹ William McNeill and John Robert McNeill, *The Human Web: A Bird's Eye View of World History*. New York: W. W. Norton & Company, 2003. Чтобы оценить исключительное место Фернана Броделя и Уильяма МакНила в мировой историографии см. Randall Collins, *The Mega-Historians, Sociological Theory*, vol. 3, no. 1 (Spring 1985).

нять, каким образом макровидение мировых процессов преобразовывается с пользой в мезо- и микроскопические исследования более частных ситуаций (что наверняка останется хлебом насущным громадного большинства историков и социальных исследователей). К примеру, могут ли миросистемная и всемирноисторическая концептуализации социального пространства переплетаться с теориями Бурдые или Тилли? Написав эту книгу, я теперь уверен, что такое и возможно, и насущно необходимо. Несмотря на все различия фокусировки, терминологии и предпочитаемых способов изложения, на уровне основной эпистемологии мы обнаруживаем у Валлерстайна, Тилли и Бурдые общую озабоченность проблематикой времени/пространства как основного способа преодоления идеологических абстракций. Каждый по-своему, все трое стремились в своих работах реконструировать исторически возникшие топографии социальной среды. Однако я в равной степени убежден, что на подобные вопросы невозможно дать окончательный ответ в абстрактно-теоретической манере, на основе одного лишь сопоставления текстов трех великих социологов конца XX в. Наши теоретические предположения должны пройти проверку эмпирическим исследованием. Данная книга представляет лишь первый и совершенно неокончательный опыт.

Дальше начинаются крупные неожиданности, по крайней мере, для автора этих строк. По мере того как центральными темами избранного здесь парадоксального жанра миросистемной биографии становились общественные классы и сети, структуры государства и политической экономики, геополитические аспекты «холодной войны» и динамика протестных мобилизаций, конкурентные столкновения и прорывы в полях символического производства и политики, на второй план отодвигались теории национализма и этнической идентичности, пока они не начали совсем было исчезать под давлением логики повествования. Хороша, однако, неожиданность — взявшись написать монографию об этнических конфликтах, автор оказался не в состоянии встроить куда-либо современные теории национализма и идентичности! И это притом, что сей автор некогда посвятил столько времени чтению признанных интеллектуальных бестселлеров, на которые оказалась так богата в предшествующие пару десятилетий такая живая и активная область изучения национализма. Достаточно назвать такие имена, как Том Наирн, Эрнст Геллнер, Эрик Хобсбаум и Бенедикт Андерсон⁴². В центре интереса целого куста запущенных

⁴² Хуже, стыже того — сам Бенедикт Андерсон, вполне оправдывая свое католическое ирландское имя, благословил меня на ту поездку на Кавказ в начале

ими интеллектуальных течений находятся исторические условия возникновения и распространения национализма в современную эпоху. Национализм предстает в работах последних лет (особенно среди многочисленных последователей и последовательниц Андерсона) практически исключительно дискурсивным феноменом. Разумеется, среди исследований национализма можно найти также социальную историю Мирослава Гроша или институциональную социологию Роджерса Брубейкера. Тем не менее крепло ощущение, что сделать национализм отправной точкой и/или объяснительным механизмом распада СССР было чревато реинфицированием сходу бросающейся в глаза символической практики, в то время как «практическая интуиция» настойчиво указывала на такие менее приметные детали, как положение субъектов моего анализа до того, как их увлекли истоки националистической риторики, как они встречались друг с другом и против кого, или откуда вдруг бралось у них оружие. Основной темой, требующей раскрытия и разъяснения, виделась неоконченная революция против устаревшей диктатуры развития. Крепло убеждение, что все же коллапс власти в центре и наверху, а не национальные требования снизу и с окраин, стал причиной распада Советского Союза. Следовательно, главным объяснением становилась не дискурсивная интерпретация национализма и идентичности, а теория государства и революции Тилли и Скочпол, усиленная анализом классовой конфигурации, переосмысленной при помощи Бурдье, встроенная в миросистемную перспективу Валлерстайна и Арриги. Национализм оказался слишком неизбирательной теорией, которая едва объясняла разнообразие траекторий, по которым разлетались в разные стороны осколки бывшего СССР. В прибалтийских республиках национализм приобрел характер реформистской вестернизации, в Армении и Чечне – повстанчества, а в большинстве остальных постсоветских государств – консервативной официально-патриотической реставрации. Допускаю, что мое решение столь резко поменять теоретически приоритеты может оказаться самонадеянным и элементарно неверным. Бенедикт Андерсон, признаться, не раз за годы нашего общения ловил меня на логических ошибках, что, однако, позволяло и совершен-

1997 г., в которой я впервые повстречал Шанибова. Именно Бенедикт Андерсон писал рекомендательные письма, по которым я получал гранты на поездки. С ним мы потом азартно обсуждали привезенные из поля истории. Чудовищно было ощущать себя неблагодарным учеником. Отлегло от сердца лишь после публикации книги, которую, как оказалось, Бенедикт же и рекомендовал престижному издательству.

ствовать контраргументы. На сей раз, надеюсь, я лучше подготовил свои линии обороны.

Позвольте еще раз подчеркнуть, что сформулированная в данной книге теория так называемых «этнических конфликтов» ставит в центр объяснения государство и миросистему, класс и социальные сети, а не национализм или идентичность. Подобный сдвиг аналитической фокусировки и категоризации исследуемых процессов позволил охватить весь спектр итогов распада Советского блока, от мирных либерально-вестернизирующих итогов революций в Центральной Европе до также мирных частичных реставрацией и устойчивого неопатримониализма в восточнославянских государствах и Центральной Азии, с двух сторон по-разному контрастирующих с кровопролитием на Балканах и Кавказе. Объяснительная схема строилась на основе того, что в последние годы исторические социологи выяснили о процессах формирования современных государств, революций и демократизации в странах Запада. Регионоведческие исследования специалистов по Восточной Европе дали внушительный материал для сравнений и прояснений того, что наблюдалось в период полевой работы на Кавказе. Взятые из контекста Восточной Азии концепция государства догоняющего развития, а у африканистов — концепция неопатримониального правления, позволили преодолеть идеологическое по сути представление о якобы полной исключительности, если не aberrантности советского и постсоветского феномена. Япония и Корея с одной стороны, Египет и Нигерия с другой обозначили гораздо более широкую сравнительно-аналитическую перспективу. Социологические идеи Бурдьё были введены в анализ динамики общественных классов, статусных групп, элит и отдельных личностей, тогда как макроперспектива миросистемной теории предоставила панорамное видение для совмещения этих столь разных теоретических источников. Вот где, по выражению замечательного (и замечательно мне помогшего своими бесконечно элегантными эссе по естественной истории) биолога Стивена Джея Гулда, «полный дом вариаций обретает целостную систему взаимосвязей»⁴³.

Таков мой список картографических инструментов, поскольку если мы занялись сетями, полями и пространствами, то нам ведь требуются карты. Однако список этот ни в коей мере не является полным или окончательным. Скорее это приглашение к совместному обдумыванию доступных сегодня социальному анализу

⁴³ Stephen Jay Gould, *Full House: the Spread of Excellence from Plato to Darwin. Essays in Natural History*. New York: Fours Rivers Press, 1997.

интеллектуальных ресурсов, а также того, что мы можем сделать при помощи этих разнообразных инструментов, доставшихся нам от славных предшественников. Речь идет не только о продолжении перспективных теоретических направлений, созданных Бурдье, Тилли, Валлерстайном, или не менее для нас важными Майклом Манном и Рэндаллом Коллинзом. Синтез новой парадигмы на основе их индивидуальных прорывов создает серьезную альтернативу все более скучно схоластическому мейнстриму социальных наук, но даже это по большому счету не главное. Если миросистема уже целиком вступает в период кризиса, то исключительно важно получить более реалистичное и поверяемой теорией представление о возможностях будущего. Без этого дело может обернуться просто системным коллапсом или инволюцией, как в случае с бывшим СССР.

Предсказание будущего может оказаться тщетным. Однако, осознанно или неосознанно, ныне живущие поколения формируют будущее, принимая или не принимая назревшие решения, выстраивая свои индивидуальные и коллективные ожидания, расширяя полезные сети доверия и разнообразной надличностной солидарности (все это регулярно оказывается в центре политических противостояний), создавая организационные и когнитивные ресурсы, позволяющие заглянуть в будущее (таких, например, как рациональная социальная наука), а также пытаюсь преодолеть понесенный по жизни урон либо закрепить свои различные жизненные достижения в различных институциональных формах, от социального капитала до политических и организационных структур, которые призваны повысить вероятность реализации более желанной формы будущего⁴⁴. Разумеется, всегда существует куда больше возможностей споткнуться, заплутать, потерять ориентацию и в результате пройти в будущее по одному из наихудших путей. Все люди и созданные ими организации склонны к регулярному совершению ошибок, и чтобы убедиться в этом вовсе не обязательно (и тем не менее очень полезно) изучать труды Валлерстайна или Тилли⁴⁵. Но ошибки гораздо вероятнее будут вовремя выявлены и исправлены в случае, если нам известен курс на карте, а в особенности, если нам удастся развить полезную привычку вре-

⁴⁴ Если сказанное звучит парафразой Артура Стинчкома, то так оно и есть. Я бы не рискнул написать столь амбициозный абзац, не перечитав предварительно его короткую едкую статью *On Softheadedness on the Future*, *Ethics* 93 (October 1982).

⁴⁵ О громадной роли человеческих ошибок в истории см. Charles Tilly, *Invisible Elbow*, in: *Roads from Past to Future*. Lanham: Rowman & Littlefield, 1997.

мя от времени оглядывать самих себя рефлексивно-критическим взглядом. Тогда намеченные дороги, проложенные из прошлого, могут привести нас если не в идеологический рай (который на самом деле всегда есть лишь превращенное отражение чьего-то нынешнего состояния), то во всегда скрывающее неожиданности, но все же в более приемлемое будущее. Иммануил Валлерстайн назвал ориентированную в будущее науку *утопистикой*. В противоположность произвольному придумыванию, порождающему «утопические иллюзии, следовательно, и неизбежные разочарования», Валлерстайн предлагает заняться «трезвым, рациональным и реалистичным» изучением исторически созданных людьми «социальных систем, их ограничений и пределов, но также и тех пространств возможности, которые могут открыться для человеческого созидания» в будущем⁴⁶. Результатом такого коллективного аналитического труда может стать создание большой карты нашего мира, уходящей в прошлое, и потому полезной для понимания путей возникновения настоящего. Отсюда уже можно заняться проектировкой дорог, ведущих к различным вариантам будущего. (Разве не все мы этим занимаемся на микроуровне, намечая, по мере обстоятельств и собственного разумения, цели и стратегии своей жизни и, хотелось бы, также жизни своих детей?) Для начала же надо создать достаточно четкий, подробный и в то же время связно-целостный атлас социального мира, с топографическими схемами отдельных ситуаций, выстраивающихся в страновые и региональные карты и в общую мироисторическую перспективу⁴⁷.

Немного проку в карте без компаса. В отличие от земного магнитного поля в физической географии, в полях человеческой практики направление стрелки нашего компаса определяется тем, что и как мы выбираем в качестве социальных ориентиров. Все социально компетентные люди имеют тот или иной «компас», хотя обычно он заключен в габитусе и потому в обыденных ситуациях не осознается, а работает скорее как гироскоп, удерживая людей на заданном/избранном курсе. Некоторые интеллектуалы носят свой компас напоказ из убежденности в монополии на знание правды, из чего возникают амбиции на обращение «темных и заблудших» в свою веру (будь то ортодоксальный марксизм предше-

⁴⁶ Immanuel Wallerstein, *Utopistics: Historical Choices for the Twenty-First Century*. New York: The New Press, 1998, pp. 1–2.

⁴⁷ Четкое методологическое обсуждение применения миросистемной перспективы в локальных эмпирических топографиях дает Philip McMichael, *Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective*, *American Sociological Review*. Vol. 55, p. 3 (1990).

ствующей эпохи или сегодня неоконсерватизм, светский и религиозный фундаментализм). Другие стремятся скрыть свой компас от всех и от себя самих за объективистскими претензиями или, напротив, в культурном релятивизме. Из наследия Пьера Бурдьё наиболее значимым для практики социального анализа, вполне возможно, окажется принцип рефлексивности, требующий от нас, производителей и распространителей социальных знаний, самоотчета в собственном позиционировании в социальном мире. Собственно, тому и предназначена заключительная глава данной книги: достаточно раскрыть свои позиции для понимания, откуда они берутся.

Принцип рефлексивности восходит к диалектике Гегеля (а философские эрудиты, наверное, смогут обнаружить и более раннюю родословную), к воображению молодого Маркса, к дерзкому заряду Фрейда, к «сущностной рациональности» Макса Вебера. Если в исследовании общества заложен гуманизирующий потенциал – а за этот центральный посыл в наследии Просвещения очевидно стоит побороться – то реализуется он через понимание того, как организуется социальное действие людей начиная с самих исследователей. Есть надежда, что теоретизированное и рефлексивное знание того, как мы совершаем свой социальный и научный выбор, наделит нас способностью стать не только более рационально сознательными, но, возможно, и более свободными.

ПОРОЖДАЕТ ЛИ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ?

Нет. Таков вкратце ответ на вопрос, которым многие задались в Америке после терактов 11 сентября 2001 г. Глобализация не является непосредственной причиной этнического или фундаменталистского насилия на постсоветской или какой-угодно периферии. Прежде всего вызывает сомнение аналитическая пригодность самого слова глобализация. Им обозначается слишком много разнохарактерных процессов, одни из которых более реальны, другие же – менее. Куда надежнее, хотя, наверное, и не так эффектно, было бы сказать, что прокатившаяся в самом конце XX в. волна этнорелигиозных конфликтов, войн и терроризма возникла из крушения национального девелопментализма. Если же конкретизировать и переводить анализ на более приближенные уровни каузальности и локализовать фокусировку на бывшем СССР (и Югославии), то в первую очередь надо указать на крушение центрального правящего аппарата крупного государства, которое институционализировало национальность в своих политических структурах и в повседневных неформальных практиках бю-

рократического патронажа, многие из которых имели этническое измерение.

Однако если недавняя рыночная глобализация (примем это слово как «фирменный бренд» процесса диффузии неолиберализма) и не являлась первопричиной, то впоследствии она действительно начинает структурировать этнические конфликты. Под воздействием глобализации недовольство самых различных групп, чей статус и жизненные условия по каким-то причинам приходят в упадок, теперь перенацеливается с национальных правительств и элит либо локальных соперников на господствующую мировую «суперэлиту» – США. В 1990-е гг. практически повсеместно регистрируется рост антиамериканизма, включая такие страны, где ранее этот комплекс был далеко не основным, если (как в России) вообще присутствовал за пределами официальной пропаганды. Колоссальное социально-культурное расстояние между обездоленными группами (особенно использующими доступное им низкотехнологичное насилие) и «американской плутократией» (с ее дистанционно управляемыми орудиями) с обеих сторон делает образ противника совсем фантастическим. В ход идут метафоры Мирового Зла, сатанинского заговора. Такая удаленность делает малообразимыми привычные формы протеста и непосредственного противостояния. Впрочем, в сентябре 2001 г. группа заговорщиков продемонстрировала, как реализовать трансконтинентальные идеологические фантазии.

Еще важнее представляется другое следствие глобальных капиталистических рынков на характер периферийных протестов. Однако оно менее явно в силу глубоко структурного характера. Вдобавок, это следствие погребено под тяжестью культурно-идеологических штампов. Это следствие деиндустриализации бывших государств догоняющего развития, чьи производственные отрасли оказываются ненужными или неконкурентоспособными на мировом рынке. После 1989 г. предполагалось, что переход от коммунистической диктатуры к нормативному капитализму и демократии быстро приведет к высвобождению прежде латентных гражданских обществ и оформлению новых частных собственников средних классов. Таков был один из центральных постулатов неолиберализма⁴⁸. Действительно, в прошлые эпохи

⁴⁸ Неолиберализм как парадоксально цельный проект «сочетания большей свободы с большим самоконтролем и глобальной управляемостью» хорошо описывает глава 3 в монографии Gil Eyal, Ivan Szelenyi and Eleanor Townsley, *Making Capitalism without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Postcommunist Central Europe*. London: Verso, 1998.

средние классы — ремесленники, мелкая буржуазия, либеральные профессионалы — чаще других оказывались на переднем крае демократизации в странах Запада. В государствах капиталистического ядра миросистемы исторические условия благоприятствовали регулярному возникновению разнообразных, обширных и активных средних классов. Тем не менее даже на Западе (будь то в Северной Америке, Скандинавии или континентальной Европе), как хорошо установлено сегодня эмпирическими исследованиями, успех демократизирующих союзов практически всегда зависел от вовлечения в них организованных рабочих, крестьян, фермеров⁴⁹.

В странах посткоммунистической периферии новые средние классы оказались, против ожиданий, ни столь многочисленными, ни самостоятельными. Достаточно высокий доход в конвертируемой валюте сегодня позволяет многим образованным и хорошо устроившимся москвичам и жителям других столиц и ключевых городов считать их принадлежащими к среднему классу. В действительности они скорее являются привилегированными наемными клерками и обслуживающим персоналом, получающими зарплату — пролетаризующий вид дохода. В то же время они заняты в секторах и организациях, связанных с глобальными финансовыми потоками. Поскольку их заработная плата связана с операциями по сути компраторского типа и значительно превышает низкий уровень реальных доходов в собственной стране, особенно вне столиц и экспортных анклавов, то социальные и политические предпочтения подобных групп становятся весьма «непролетарскими». Отношение подобных средних слоев к демократизации становится как минимум неоднозначным. Они живут в странах, где богатство обусловлено политическим патронажем и зарубежными связями, где неравенство в доходах сегодня очень значительно, где массы полубезработных, мигрантов и субпролетариев постоянно грозят всплесками насильственных конфликтов, бытовых социальных проблем, популизма и политической непредсказуемости. В идеологическом воображении корпоративных и рыночных средних классов посткоммунистических стран актуальны Маргарет Тэтчер и даже генерал Аугусто Пиночет, но не Томас Джефферсон, Авраам Линкольн, Леон Гамбетта или Гуннар Мюрдаль. Гегемония норм и практик неолиберализма налагает на периферийные государства обязательство соответствовать принятым сегодня на мировом уровне политическим

⁴⁹ Dietrich Rueschemeyer, Evelyn Stephens and John Stephens, *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press. 1992.

формам. Результатом, однако, становится поверхностное и подражательное воспроизведение на периферии процедур демократических выборов и технологий капиталистических транзакций. Характер имитирования транзакционных техник в сферах политики и рынков прекрасно анализируется в работах Дэвида Вудраффа⁵⁰. Он выявляет полную цепочку социальных механизмов, через которые идеологемы «Вашингтонского консенсуса» транслируются из центра на периферию, где неизбежно возникает деморализующий разрыв между имитационным институциональным фасадом и реальными практиками властвования и накопления.

Законно возникает вопрос: что в действительности было достигнуто в ходе последней «Третьей» мировой волны демократизации? Вопрос отнюдь не риторический. Сегодня, по сравнению еще с 1970-ми гг., в мире и тем более в Восточной Европе демократий во много раз больше, чем откровенных диктатур. По формальному счету, чаяния поколения шестидесятников реализованы, реализуются или близки к реализации. Но в порядке «теста на реальность» (к чему нас призывают и пронизательный «правый» Сэм Хантингтон, и его достойный оппонент «слева» Эрик Хобсбаум) следовало бы также напомнить, что накануне 1914 г. под влиянием мощного тогда британского примера парламентские учреждения и либерально-конституционалистские движения возникали в немалом числе стран Южной и Центральной Европы, Азии и Латинской Америки. Все эти фасады слетели вмиг после 1914 г., когда мир вступил в полосу ураганов. Поэтому сегодня требуется трезво, с необходимыми в науке взаимо- и самоконтролем, попытаться ответить на вопросы, в каком направлении шел вектор демократизации в последние годы, насколько прочно укоренены политические изменения, и, главное, в чем их корни? Что способствует их росту, что препятствует? Кто и почему выступают социальными носителями демократизации? В каких направлениях и пределах изменяются властные структуры? Как соотносятся (позитивно, негативно, либо никак?) существующие сегодня на периферии политические практики с геокulturой прав человека, либеральных неправительственных организаций, международных наблюдателей на выборах, международных рейтингов и индексов (коррупции, свободы, уровней гуманитарного развития, кредитоспособности и доверия к правительствам)? Именно здесь следует искать ответа на вопрос об устойчивости преодоления прежней диктатуры догоняющего развития. Самый главный, как видится, вопрос

⁵⁰ David Woodruff, Rules for Followers: Institutional Theory and the New Politics of Economic Backwardness in Russia, *Politics and Society* 28:4 (December 2001).

состоит в том, в какой мере демократизация после распада СССР стала продолжением внутренних тенденций, возникших в период десталинизации, шестидесятничества и далее перестройки? Или же их подменили внешние влияния, вызвавшие в таком случае лишь фасадные изменения? В таком случае вполне реальна возможность, что и эта демократизация может развалиться в ситуации кризиса влияния США, подобно быстрому исчезновению подражаний британскому парламентаризму в начале XX в. Особые опасения должна у нас вызывать деиндустриализация, выталкивающая в субпролетариат массы населения. Делает ли это более или менее вероятной глобальную конфронтацию между неопатримониальными господствующими элитами периферии, которые в ситуации достаточно острого кризиса могут обнаружить для себя выход в ретроградной защите от мировых рынков, в провоцировании конфронтации с космополитическим капиталом и его местными посредниками? Как в таком случае может отреагировать население и политики привилегированной части мира на растущую к ним ненависть с периферии? Едва ли это будет мировая революция, о которой пророчествовал марксизм. Скорее нам тут потребуется теория того, посредством каких процессов «столкновение цивилизаций» угрожает превратиться в самоисполняющееся пророчество.

Это, боюсь, не очередной алармизм. У нас сегодня нет многовариантной и убедительной теории реакций на капиталистическую глобализацию — марксизм предполагал лишь один вариант политического ответа, в господствующей сегодня неолиберальной «глобалистике» вопрос о возможности системного кризиса вообще не ставится. (Мрачная популярная футурология Хантингтона или, с другой стороны, Антонио Негри, пренебрегает критериями теории и не даже не предполагает операционализации.) Возьмите последние работы Тилли, который глубоко встревожен падающей способностью государств — причем он недвусмысленно имеет в виду сильнейшие страны «ядра» — обеспечивать права своих трудящихся перед лицом глобализующегося капитализма⁵¹. В своем отклике на пессимистичные мысли Тилли, Валлерстайн скорее добавляет оснований для беспокойства. Он куда меньше обеспокоен будущим привилегированных рабочих в странах ядра мир-системы. Их дети и внуки, согласно предсказанию Валлерстайна,

⁵¹ См. тезисы Чарльза Тилли и реплики Иммануила Валлерстайна, Эрика Хобсбаума, Аристиды Зольберга и Лурдес Бенария в специальном номере «Globalization Threatens Labor's Rights», *International Labor and Working-Class History* 47 (Spring 1995).

и в XXI в. в целом останутся глобальными «средними классами, среди которых некоторые будут достаточно успешны, остальные — не слишком». Поскольку положение их будет хотя и неплохим, но в целом недостаточно устойчивым, то, скорее всего, с продолжением трендов глобализации западные пролетарии продолжат сдвигаться вправо, к политике цивилизационного расизма и протекционистского воспрепятствования притоку мигрантов извне. На еще более тревожной ноте Валлерстайн предсказывает возвращение к предшествовавшему 1848 г. положению, когда основная масса рабочих вновь станет «опасными классами», притом на сей раз цвет их кожи, религия и культурные маркеры будут совершенно иными, чем у верхних слоев. Расизм в таком случае будет главным направлением классового противоречия. К прогнозу Валлерстайна следует, очевидно, добавить, что средние классы ядра демографически продолжают стареть, а тем временем глобальные трудовые мигранты в массе своей будут молодыми субпролетариями — со всеми типичными для них проявлениями классового габитуса. Это чревато насилием во множестве форм, включая криминальное и террористическое, что побудит привилегированные группы в странах «ядра» и глобально связанных с ними анклавах на периферии возвести еще более жесткие протекционистские барьеры — как символические, идеологические и легальные, так и сугубо материальные, военно-полицейские. Сценарий такого будущего сулит глобализованную экономику наряду с многочисленными барьерами и оградами. Это глобальный апартеид.

Однако если мы принимаем многовариантность будущего, во все необязательно завершать на столь пессимистичной ноте. В качестве мысленного эксперимента давайте обратимся к излюбленному занятию многих интеллектуалов — придумыванию более совершенного мира. Но только давайте попытаемся при этом не покидать теоретически прочной почвы. Исторической социологией вполне достоверно на сегодня установлено, что возникновение на Западе в современную эпоху многочисленного и устойчивого пролетариата и близких к нему организованных классов в конечном счете сыграло основную роль в волнообразно нараставшей демократизации. Демократические права и процессы встраивались институционально в структуры современных национальных государств. Так возникало широкое социальное гражданство, послужившее эффективному умиротворению классовых конфликтов на Западе. Собственно, в реальной истории это и опровергло марксистское эсхатологическое видение «последнего и решительного боя». Если социальная, «глубокая» (а не поверхностная процедурная) демократизация смогла предотвратить реализацию

мрачных или романтико-революционных прогнозов классических первопроходцев социального анализа (как известно, далеко не одного лишь Маркса), то на основе этого опыта можно сформулировать обращенную уже в будущее реформистскую теорию. Для преодоления угроз аномии, группового отчуждения, этнического и иного социального насилия на мировом уровне требуется широкая и устойчивая пролетаризация на достаточно щедрых условиях. Это предполагает длительное формальное образование и профессиональное обучение, которое ведет к трудоустройству с достойной заработной платой и статусом, а также пенсии, медицинское обслуживание и иные формы социального обеспечения. По сути, это социал-демократическая программа, вынесенная на глобальный уровень. Кстати, это же снимает большинство культурных трений, связанных с миграциями, поскольку с выравниванием уровней жизни теряется тяга к нелегальной перемене мест, становится предпочтительным возвращение к родной культурной среде. Уязвимым местом социально-обустроивающей политики всегда будет ее перераспределительный характер. Без экономической теории ускоренного роста такая гуманистическая политика обречена на утопизм. Однако и опыт неолиберализма последних трех десятилетий вполне уже продемонстрировал, насколько идеологически наивно полагаться на рыночную динамику саму по себе. Всемирная политика всеобщего трудоустройства так или иначе (это уже вопрос к экономистам развития) должна сочетаться с рациональным управлением рынками.

Сказанное представляет собой двойную ересь. Для неолиберальных экономистов бюрократия есть такое же зло, как рынки — для социальных реформаторов. Рынки (либо, если угодно, бюрократия) не должны рассматриваться в понятиях абсолютного зла или добра. И рынки, и бюрократия представляют собой исторически возникшие сложные социальные механизмы. Это на самом деле важнейшие достижения современности. Оба могут быть использованы к выгоде меньших — либо больших групп общества. Тут требуется взглянуть на подлинную историческую траекторию предшествующей эпохи. Именно сочетание бюрократической организации, изначально созданной для войны и в войнах, и современных рынков, развивавшихся капиталистическими классами в своекорыстных целях, всего пару поколений назад восстановило Европу и Японию из руин Второй мировой войны, позволив затем состояться трем десятилетиям исторически невиданно послевоенного роста. Более того, есть немало оснований считать, что все успешные примеры быстрого экономического развития последних двух столетий имели в основе сочетание рыночной динамики

и бюрократического рационального управления – возьмите американские корпорации в их реальной истории, а не в их идеологии. Это еще нагляднее видно на примерах Скандинавии, континентальной Европы, Восточной Азии – как, до определенной меры, и СССР первых послевоенных десятилетий. Предстоит более внимательно и без идеологических иллюзий изучить подлинный характер этих вариантов развития с точки зрения уроков на будущее. Наши наблюдения надо еще перевести на язык политических лозунгов – это неизбежно. Мы также знаем из опыта государств развития, что никакие крупные трансформационные проекты не состоятся без мощной эмоциональной мобилизации общества и управленческих элит (что в свою очередь выступает важнейшим противодействием корыстному уклонению от общих задач, т.е. коррупции). Таким лозунгом могло бы стать обеспечение «демократических рынков», политически доступных для новых участников и рационально настроенных на мировое развитие – вместо неолиберального разделения глобальных рынков и лишь процедурной демократизации и лишь на национальном уровне.

Источником теоретической ясности и этического вдохновения тут могло бы послужить интеллектуальное наследие Карла Поляни (что, конечно, не означает, будто все в его наследии пережило свой век.) Он предлагает намного более богатую оттенками палитру рынков. Акцент в интерпретации идей Поляни сегодня ставится его последователями, начиная с Нобелевского лауреата Джозефа Стиглица, на критике утилитаристской веры в саморегулирующиеся рынки. Но у Поляни есть и другие идеи, которые могут оказаться более значимы, чем критика. Я призываю вернуться к теоретически и, главное, политически перспективной концепции «ложных товаров» (*fictitious commodities*). Таковых три: деньги, земля и человеческая жизнь. Эти «товары», согласно Поляни, «ложны», поскольку либо они не произведены трудом, либо не подлежат рыночному обмену, ибо не могут иметь продажной цены. Это жизненные условия общества, если взглянуть с позиций гуманистической этики (либо, добавлю, веберовской сущностной рациональности – в отличие от формальной рациональности утилитарной рыночной доктрины или предоставленной себе бюрократии). Не будем здесь вдаваться в категории этики или политэкономии. Нам сейчас важнее их институциональное воплощение. Деньги, которыми нельзя торговать – это банковская сфера. Она слишком важна для рыночного хозяйства и инноваций (тут уместно вспомнить другого великого австрийца, Шумпетера), чтобы позволить неизбежно чреватую крахами и депрессиями спекулятивную игру в финансовые пирамиды. Банки следует отнести

к области жизненно необходимой общественной инфраструктуры (public utility). Земля сегодня приобрела намного более расширительное значение — вероятно, следует говорить о природной среде, экологии нашей планеты. Наконец, человеческая жизнь подразумевает не только категорический запрет рабства, но, актуальнее для всех нас, современные общественные учреждения, относящиеся к биологическому (здравоохранение и уход за стариками) и социальному воспроизводству человека: образование и культура, включая телевидение, Интернет, спорт, плюс базовое жилищное строительство. Наверное, это и общественная защита труда — взамен ретроградского патернализма, неизменно сопряженного с практиками господства/подчинения. Что бы означало на деле выделение подобных отраслей в сферу общественной инфраструктуры, защищенной от рыночных приоритетов прибыли и конкурентного давления? Потребуется иной тип экономической науки для постановки и поиска ответов на подобные вопросы. Более того, предстоит найти ответы на вопрос, как некоммерциализуемые отрасли, на которые возложено обеспечение базовых общественных благ, будут сочетаться с активной рыночной средой, производящей все остальное, в которой рационально поддерживается необходимая и достаточная доля риска и свободы для предпринимательского новаторства. Утопия? Вот именно. Сущностная рациональность применительно к экономической деятельности должна стать серьезным предметом исследования и экспериментальной проверки возможных вариантов.

Позвольте привести пример другого «ложного товара», ставшего предметом многочисленных торгов, в особенности в последние годы. Речь идет о политическом патронаже, возникшем из монополии на государственные должности. Многие политические режимы в странах бывшего догоняющего развития сегодня являются по сути неопатримониальными вплоть до полного личного «султанства» за демонстрационным фасадом манипулируемых демократий. Исследователями бунтов и революций волне установлено, что именно предельный султанистский подвид неопатримониализма наиболее подвержен опасности насильственного недобровольства, ведущего к свержению либо элементарному коллапсу⁵². Таким образом, нашей второй политической рекомендацией будет сочетание пролетаризации с последовательно проводимой содержательной демократизацией, а не симулированием выборов в угоду международным наблюдателям.

⁵² Jeff Goodwin, *No Other Way Out: States and Revolutionary Movements, 1945–1991*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Но стоп! Похоже, мы давно нуждаемся в дозе отрезвляющей рефлексии. Кому следует адресовать все эти предложения и требования? Каковы будут политические механизмы обсуждения и осуществления? Где взять необходимые средства? Да и вообще, имеется в мире ли достаточно материальных и организационных средств, необходимых для осуществления в глобальном масштабе перераспределения, подобного тому, что ранее позволило умиротворить классовый конфликт в странах «ядра»? Наличествующих сегодня ресурсов почти наверняка окажется недостаточно. Потребуется прежде запустить цикл экономического развития, и тут мы попадаем в заколдованный круг. Откуда возьмутся организация и стартовый капитал, которые бы на миросистемном уровне воспроизвели нечто подобное динамике, достигнутой Западом и СССР после 1945 г.? Какие программы в существующих государственных бюджетах ради высвобождения средств должны быть резко урезаны — вероятно, в первую очередь военные? Но как? Какие именно привилегированные группы окажутся под налоговой нагрузкой? Каким образом будут закрыты оффшорные зоны? Чьи субсидии и торговые льготы должны быть отменены для понижения барьеров на мировых рынках, а какие, напротив, временно подняты ради экономических интересов беднейших стран? Решений пока не просматривается.

Давайте, однако, вернемся к структурной гипотезе, основанной на контролируемой экстраполяции. Индустриализация зоны миросистемного ядра в XIX в. привела со временем к расширению набора прав и закреплению гражданства не из-за этических императивов, а потому, что институты демократии и социального обеспечения выступали компенсаторами опасных последствий массовой пролетаризации. Помимо угрозы революционного взрыва это были такие проблемы, как миграции бедноты и демографическое давление, преступность, санитарные условия и различные социального «пороки», связанные с социальной аномией и деградацией, прежде всего в крупных городах. Сегодня глобализация означает, по сути, новую фазу в гигантском распространении и углублении капитализма по всему миру. Процесс экспансии капитализма из его изначального ядра начался в XIX в. Тогда он протекал в основном в форме империалистического завоевания и колониальной модернизации. Геополитический коллапс держав Запада после 1914 г. и революции XX в. сильно затормозили глобальную экспансию капитализма⁵³. Сегодня, когда распад

⁵³ Arthur Stinchcombe, *The Preconditions of World Capitalism: Weber Updated*, *Journal of Political Philosophy*, vol. 3 no. 4 (December 2003).

бывших революционных режимов догоняющего развития расчистил дорогу для новой капиталистической глобализации, мир действительно может вернуться к социальной поляризации, вроде той, что наблюдалась до 1848 г. в странах Запада — только теперь на глобальном уровне⁵⁴. То, что возникает сегодня, вовсе не походит на футуро-романтическую «глобальную деревню» — деревенский уклад с его укорененными идентичностями и традиционными формами социальной солидарности сегодня разрушается повсеместно и с беспрецедентной стремительностью. Возникает скорее глобальное скопище раскрестьянных трущоб, окружающих укрывшиеся за оградой состоятельное меньшинство мирового населения. Крайне усугубляющим фактором выступает моральное и институциональное ослабление (а в ряде случаев и полный распад) государственных структур в странах мировой периферии. Исчезли социально-ориентирующие надежды, ранее связываемые с догоняющим развитием. Демографические тренды, этнокультурная сегрегация на мировом уровне, неравномерное распределение баз индустриального производства, во многих случаях деиндустриализация, не оставляют особых иллюзий относительно субпролетарских качеств возникающей сегодня всемирной бедноты. Она редко участвует в организованной классовой политике, подобно трудящимся стран Запада в XIX в. Свойственные новым «опасным классам» социальные стратегии и формы протеста в современном политическом лексиконе называются этническим насилием, трафикингом, неформальной экономикой, религиозным фундаментализмом, преступностью, насилием толп или терроризмом. В грядущие десятилетия мы, несомненно, увидим много различных попыток укротить этот растущий периферийный беспорядок. Они будут предприниматься национальными правительствами, капиталистическими транснациональными корпорациями, международными организациями, транснациональными общественными движениями, а возможно, и другими действующими лицами, которых сегодня мы едва в состоянии себе представить. Так или иначе, эти попытки урегулировать глобальное пространство будут двигаться в направлении институционализации всемирной политической и идеологической арены. Мы можем сравнить этот процесс с институционализацией национальных арен на Западе XIX в., осуществлявшейся в ответ на классовые и националистические протестные выступления. Заведомо

⁵⁴ Randall Collins, *The European Sociological Tradition and Twenty-First-Century World Sociology*, in: Janet L. Lughod (ed.), *Sociology for the Twenty-First Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.

эта аналогия неполна и несовершенна — потребуются новые исследования, чтобы установить, насколько именно неполна. Но, по крайней мере, в первом приближении мы получаем направление для дальнейшего анализа.

Глобальная публичная арена, зарождающаяся на основе того, что Мануэль Кастельс называет общемирового пространства сетей и потоков, неизбежно станет площадкой столкновений, включая различные формы расизма и ответную борьбу в попытках сдерживать этническое насилие. Предсказуемо, первые попытки сил, стремящихся управлять глобальной капиталистической трансформацией, будут иметь реакционный и силовой характер. Пробразом служат правые партии, чьи программы обыгрывают проблему инородческой иммиграции; либо объявленная после 2001 г. Соединенными Штатами «война с террором». Принуждение военной силой зачастую является наиболее экономичным и идеологически выигрышным средством в калькуляциях власти — как то было известно империалистам позапрошлого века, архитекторам миропорядка времен «холодной войны» либо неоконсерваторам сегодня. Однако здесь вступает в силу давнее предупреждение Наполеона о пределах того, что может быть штыком. Вероятно, даже более, чем завоеватели прошлого, сегодня политические силы, выступающие за использование военного принуждения, неизбежно столкнутся с тем или иным видом преград и ограничений.

Американская «война с террором» воспроизвела стратегические дилеммы империй прошлого: постепенное окружение непокорных кольцами блокады либо рискованные стремительные рейды, возведение пограничных стен или выдвижение передовых баз вглубь «дикого поля», возложить цивилизаторскую миссию на военных наместников и резидентов либо купцов и миссионеров (в наши дни рыночных консультантов и неправительственных организаций), действовать своими надежными и эффективными, но крайне дорогими силами, либо возвращать непостоянных наемных союзников в среде «варваров»? Подобные стратегии, доведенные до совершенства еще византийскими и китайскими императорами. Их опыт также показывает, что даже в лучшие времена никакие меры не дают полной безопасности, а периодически случающиеся сбои бывают чреваты катастрофическими последствиями. Возможности современных технологий дают весьма шаткую надежду, поскольку новые технологии, тем более в военном деле, практически всегда влекут за собой длинную цепь непреднамеренных последствий и не поддающихся учету побочных затрат. Простой расчет показывает крайне малую вероятность достижения успеха при попытке современного капитализма вновь

внедрить оборонительные механизмы империй прошлого. Накопленный Израилем опыт круговой обороны (очевидно, самый богатый и передовой на сегодня), свидетельствует о снижающейся отдаче капиталоемких способов ведения военных действий и оборонных технологий.

Альтернативой бесконечной войне (как и в странах Запада XIX в. перед лицом перманентной угрозы внутренней революции) выступает компромисс, предлагающий расширение экономического и политического участия. Пока трудно четко ответить, сможет ли глобальная демократизация основываться на представительных моделях, зародившихся тогда в странах «ядра» — вполне вероятно, что политические формы окажутся либо совершенно новыми, либо будут представлять собой какое-то сочетание старых и новых форм. Что действительно видится сомнительным, так это осуществление демократизации будущего в рамках суверенных национальных государств, как это было в исторической модели Запада. Как предупреждает Джеймс Скотт, следует оставаться крайне осмотрительными, помня о порою чудовищных последствиях сосредоточения структур гражданского общества и бюрократической координации под контролем политических движений и государств, которые пытались изменить мир в XX веке⁵⁵. Но в то же время, без политической мобилизации не формируются политические общности. Достижение дюркгеймовского ощущения органического единства большого надличностного сообщества людей предполагает достаточно утопическую идеологию. В истории последних двух столетий именно способность генерировать подобное невиданное ранее единство выступала сильнейшим преимуществом националистических и социалистических движений. Может ли идеология XXI в. быть одновременно и харизматически утопичной, и рационально открытой для самокритики как механизма предотвращения появления культов вождей? Может ли мораль обрести рациональные основы и перешагнуть через исторические культурные границы? Вот действительно масштабные вопросы к исследователям идеологий, ритуалов коллективной солидарности и дискурсивных практик.

Обрисованная здесь коллективная теоретическая работа над теорией недавнего прошлого и возможного будущего выглядит очень практичным делом. Предстоит найти дорогу между свойственной XIX—XX вв. уверенности в стадиальной заданности эволюции человеческих обществ и радикальным сомнением, возник-

⁵⁵ James C. Scott, *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press, 1998.

шим уже в наши дни в качестве реакции на линейный прогрессизм. Капиталистическая мутация, возникшая на одной из ветвей исторической эволюции, произвела современную миросистему, которая поглотила все прочие ветви эволюции и тем самым свела все человечество в единой иерархии. Это вовсе не означает, что миросистема навсегда сохранит (или должна сохранить) такую степень неравенства. Возможна и желательна другая конфигурация, некое «мировое общество», основанное на таких организационных началах как немонополистические рынки, рациональное демократическое управление, сохранение этнических культур, которые связуют нас с нашими предками — и помогают не утратить себя в зарождающейся глобальной человеческой сети. Надеюсь, что эта гипотетическая перспектива выглядит достаточно широкой и дерзкой, чтобы вдохновит, но и достаточно обоснованной, чтобы выдержать тест на научную рациональность, по крайней мере, в качестве отправной точки для дальнейших исследований⁵⁶. В претворении подобного коллективного проекта нам очень пригодится рефлексивное чувство интеллектуальной ответственности. В конце концов, Пьер Бурдьё держал в своем кабинете фотографию Мусы Шанибова в его черкесской папахе не ради экзотики, а в качестве напоминания о том, что мы порою не можем даже представить, кто и в какой точке земного шара может стать читателем наших работ.

⁵⁶ Pierre Bourdieu, *A Reasoned Utopia and Economic Fatalism*, *New Left Review* I/227 (January-February 1998); Immanuel Wallerstein, *Utopistic Historical Choices for the Twenty-first Century*. New York: The New Press, 1998.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Примерный эскиз социальной структуры на Кавказе, 1950 – 2000 гг.

Класс и доля населения	Типичные занятия	Основной тип капитала	Траектории биографий	Источники и размеры доходов, в долларах в год До 1991*	После 1991
Бюрократия (энкадратура) семьи, 10% населения	Руководящие кадры партийного госаппарата; директорат учреждений и предприятий, генералитет КГБ, МВД, армии; главные редакторы СМИ, ректоры и деканы вузов	Административный капитал: ранги в номенклатуре, связи и патронаж, инсайдерское знание ситуаций и возможностей	Карьерное восхождение и горизонтальное перемещение между ведомствами. Привилегированная приватизация администр. активов с 1989 г. Частично выбытие в отставку	Номинальные зарплаты 3–6 тыс. Официальные привилегии: элитные квартиры, курорты, спецраспределители товаров, медобслуживание, служебные машины. Коррупция неравномерна: ниже в науке и индустрии, выше в торговле и вузах	Зарплаты 5–12 тыс. Официальные привилегии почти те же. Коррупционные ренты выше и шире. Капиталистские прибыли доступны много, особенно через детей и внуков. Размах варьируется по типам ресурсов, секторов
Инженеры, интеллигенция, 10–15% населения	Средние управленцы, инженеры; офицеры; интеллигенция (от творческой до учителей); специалисты (вкл. врачей, юристов, журналистов); масса кадровых рабочих; низший персонал (медсестры, клерки); работники совхозов	Профессиональный капитал: навыки, образования, опыта, цеховой солидарности, почета и благ по месту работы, используемый для самореализации, создания 'своей' среды, а также в противостояниях начальству	Пожизненный наем обычно обоих супругов. После 1991 г. стремление к его сохранению вопреки трудностям; частичный уход в мелкий бизнес, услуги, торговлю ("челноки"); трудовые миграции; субпролетаризация	Стабильные зарплаты от 1,5 до 4 тыс. Социальные блага, в т.ч. по месту работы: здравоохранение, спорт, образование; квартиры в стандартных новостройках; продовольственные заказы и премии на работе (глав. способ патерналистского контроля). Побочные доходы от полуполюгальных работ, услуг, "шабашки", фарцовки и мелких взяток	Нестабильность и резкое падение реальных зарплат, соц. блага. Новые виды дохода в малом бизнесе, связанном с новыми навыками или знакомствами. Переход некоторых категорий специалистов (юристов, архитекторов, дантистов) в независимый бизнес. Пенсионеры в основном в натуральном хозяйстве. Наиболее квалифицированные и трудоспособных, в т.ч. эмигранты за рубежом
Пролетариат (армированные), до 40% населения	Мелкотоварное и натуральное семейное хозяйство; надомный жен. труд (шитье); мужск. нерегулярный наем (ремонт, шабашка, таксисты); разного рода контрабанда	Неформальный сетевой капитал: родня, земляки, приятели с четкими понятиями взаимовыручки. Горизонтальные связи и 'уличные' навыки, в т.ч. нелегальные, используемые для обхода государства	Неровный жизненный курс, различные занятия и места работы. У многих мужчин опыт тюрьмы. Женщины перегружены семей, домашними делами, огородам, эпизод. неформальным наймом, мелкой торговлей.	Формально заработки малы, 1–2 тыс., но мигранты могли получить до 10 тыс. в год и более. Значительно самообеспечение продуктами, взаимопомощь. Нелегальные доходы труднопредсказуемы и могли резко колебаться.	Зарплаты, чаевые, торговые прибыли, взаимопомощь и переводы мигрантов к низкому уровню, порядка пары тысяч. Компенсируется продовольственным самообеспечением. Нелегальные доходы, контрабанда, уч. в бандформированиях варьируются от нищенских до баснословных.

Источник: полевые наблюдения и интервью 1988 – 2002 гг.

* Для простоты советские рубли пересчитаны по официальному курсу.

Иллюстрация 2. Типы административных компетенций и активов номенклатуры СССР и вектор их конвертации после распада

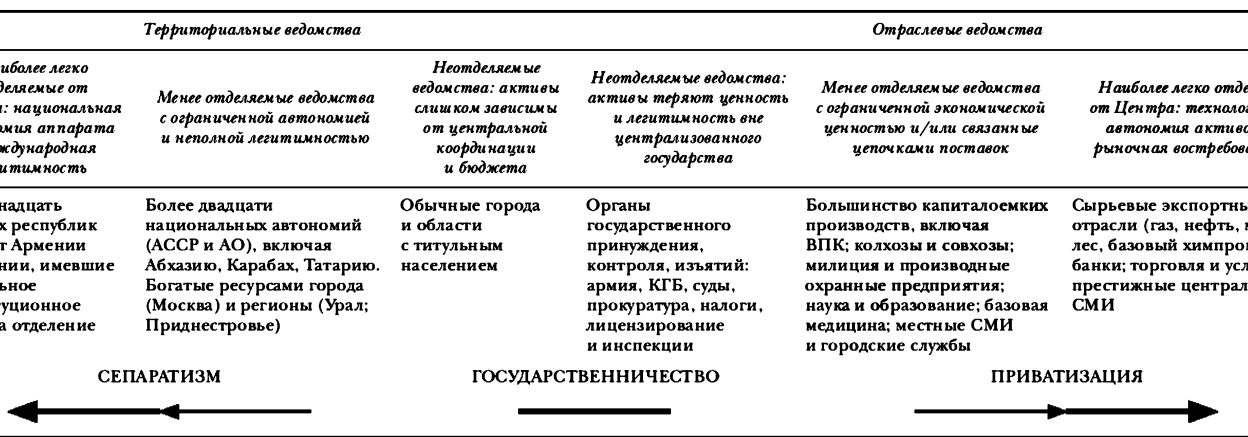


Таблица 3. Кто с кем? Гомологические соответствия между классовыми фракциями зрелого советского общества

ГРУППА	ПРАВЯЩАЯ ЭЛИТА			ПРОЛЕТАРИЗОВАННЫЕ СЛОИ			МАРГИНАЛЫ
	Элитные реформисты	Консервативная номенклатура	Элитные перебежчики	Официальная интеллигенция и руководящие специалисты	Подчиненная интеллигенция, специалисты и техники	Рабочие	Субпролетариат
Элитный и его окружение	Административный капитал с тенденцией к быстрому росту в престижных ведомствах	Стабильный административный капитал, хорошо встроенный в бюрократические практики	Скачкообразный карьерный рост с нарушением субординации и правил своего класса; нередко это провинциалы в столице	Стабильно растущий высокий профессиональный капитал, встроенный в систему карьерных поощрений и патронажа	Блокированный рост потенциально высокого профессионального капитала, обычно застревание в «молодых специалистах»	Средний и низкий профессиональный капитал, стабильно и благоприятно встроенный в систему	Нестабильная внесистемная траектория и позиции; низкий и не престижный капитал; оскудение богатства в семье и личных св.
Средние и низкие элитные группы	Активность и рационализм; институциональные изменения с сохранением иерархии экспертов	Сдержанность и дисциплина; верность патронажной группе, корпоративная замкнутость	Напор, жесткая требовательность, склонность к персонификации отношений	Догматизм, поддержание норм рутин и иерархии, также обычно провинциализм	Романтизм и рационализм, классовая фрустрация компенсируется практиками высокой культуры (самореализация в качестве интеллигенции)	Адаптация к системным иррациональностям путем скрытой забастовки	Недоверие к прочим группам и государствам; мечта о процветании семьи; склонность к простонародной культуре
Средний класс	Постепенное введение рыночной и политической конкурентности; открытость к Западу	Минимальные консервативные изменения во внутренней и внешней политике	Вызов статус-кво, оппортунизм и движение в любом политически восходящем направлении	Охранительство и активная низовая цензура, советский патриотизм, ностальгический сталинизм	Раскрепощение инициативы, «гражданское общество», нормализация по типу западных стран	Большинство политически неопределенно или колеблется, но в то же время надеется на улучшения	Вне политического бунтарских настроений; направленность против близких и опознаваемых противников
Средние и низкие социальные группы	РЕФОРМЫ сверху	ПАТЕРНАЛИЗМ сверху	Вождистский ПОПУЛИЗМ	ПАТЕРНАЛИЗМ принципа	РЕФОРМЫ с нетерпением и надеждой	РЕФОРМЫ с сомнением	Мстительный ПОПУЛИЗМ

Таблица 4. Этнические конфликты: три типичных примера

территориальная единица	Начальные условия	Несущие структуры	Модель распада	Политические силы и цели	Внешние факторы	Итоги
	1956–1988		1989–1994		1995–2000	
но- я (АССР и Российской ии)	Прочная и всеохватывающая патронажная сеть, основанная на межэтническом и поколенческом разделе постов (неформальный «Ливанский протокол»)	Субсидии и инвестиции Москвы. Кадры обеих национальностей укоренены в патронаже. Потенциальные соперники вытеснены	Балкарцы под угрозой проигрыша на выборах мобилизуют травматичную память о 1944 г.; контрмобилизация кабардинцев вокруг махаджирства 1860–х гг.	Вертикальный раскол по этнической линии; классовая солидарность внутри этносов, но интеллигенция и субпролетарии оспаривают лидерство номенклатуры	С консолидацией власти Ельцина бывшая номенклатура КБР получает силовые ресурсы и финансы в обмен на поддержку нового режима в России	Номенклатура реставрирована с султанистскими тенденциями индустриальной инволюции
анее Ангушская составе кой ии)	Де-факто титульные национальности отлучены от власти советскими поселенцами, занявшими позиции номенклатуры и пролетариата в г. Грозном; чеченцы активно используют ниши субпролетарской экономики	Москва инвестирует в нефтепром, но не вмешивается в сложности местного расклада власти. Миграции экстернализируют социальные амбиции чеченцев	Ликование августа 1991 г. неожиданно взрывается национальной революцией, свержением местной номенклатуры и популистским режимом отставного генерала Дудаева	Выравнившиеся из маргинальности фракции национальной интеллигенции и субпролетарских силовых предпринимателей защищаются от вмешательства Москвы декларацией независимости	Чеченская революция победила быстрее, чем Ельцин консолидировал свою власть. Но государство распалось в Чечне, власть перехватили силовые предприниматели	Уничтожено государственное производство и городская жизнь; хроническое приобретение собственности идеологии и экономической динамики
(прежде составе кой ССР)	Длительное и всеохватывающее соперничество абхазов (17%) и грузин (43%) по поводу должностей и уникально доходных рынков в советских субтропиках	Монопольные ренты курорта и внутренний экспорт цитрусовых создают невиданное благосостояние; Москва щедро инвестирует в курорты, что усиливает поводы для местных конфликтов	Перспектива независимости Грузии, свободных выборов и, главное, приватизации вызывает взрыв. После входа в 1992 г. грузинских войск абхазами по совершенно разным причинам помогают Москва и горские добровольцы	Крайняя фракционность грузинских националистов и силовых предпринимателей против блока абхазских элит и фермеров их союзников, объединенных обстоятельствами	Коалиционная война против внутренне расколотой Грузии приводит к победе абхазского меньшинства, изгнанию грузинского большинства; но Грузия блокирует признание Абхазии в ООН и ищет союза с Западом	Патовый конфликт катастрофически реализовался; распад государства с обеих сторон номенклатуры реставрирован угрозами революции

Москва парализована двоевластием 1990–1993 гг.

Таблица 5. Историческая последовательность советского догоняющего развития

	Военная индустриализация (Сталин) 1929–1953	Нормализация (хрущевская «оттепель») 1953–1968	Консервативный патернализм (брежневский «застой») 1969–1982	Рационализации (Андропов и Горбачев) 1982–1989	Распад государства (ранний Ельцин) 1990–1992	Реставрация (поздний Ельцин и Путин) 1993–2000
И	Террористическая концентрация ресурсов для трансформации огромной страны в ситуации геополитической угрозы	Отказ от террора, гражданская фаза индустриализации, капвложения в современные общественные блага	Потеря управляемости командной экономики, бюрократическое окоснение, удушение социального динамизма потребительскими субсидиями, цинизмом	Попытки сверху вернуть контроль над номенклатурой и темпы роста; снизить геополитические, социальные издержки	Двоевластие в Центре, паралич планового хозяйства, захват ресурсов на местах	Обмен (финансы, э импорт) вытесняет производство; канн ресурсов
е	Уничтожение всех прежних классов; создание новой номенклатурной элиты и массовая пролетаризация под контролем государства	Вертикальная мобильность образованной молодежи, зрелая благоприятная пролетаризация, стабилизация элит, самоформирование новой массовой интеллигенции	Закрытие выдвижения в элиту, укоренение бюрократических патологий; черные рынки престижного «дефицита» и контрабанды; упадок трудовой этики	Ротация элит; пресса, интеллигенция приобретают громадный престиж; энтузиазм в политике; рыночное предпринимательство сулит выход энергии средних классов; воссоединение с Европой реально	Хаотичный захват госактивов (территорий и отраслей); потеря социальной связности индустриальных классов, распад интеллигенции; прорыв субпролетариев в рынки, политику, масскультуру	Нестабильная элита олигархов и чиновников; ситу изменчивый патрон расформирование классов –носителей демократизации; от на периферию
и	Военные победы, строительство городов–гигантов, культ Вождя	Технический прогресс, энтузиазм молодежи, мировое лидерство	Потребительские субсидии; статус сверхдержавы; терпимость к неэффективности в обмен на спокойствие	Перспектива быстрого роста экономики, политического раскрепощения, конца холодной войны	Неолиберальное обещание рыночного чуда; национальный суверенитет; отказ от коммунистической идеологии	Отсутствие правдо альтернатив; ритуал религия, национализм и доля патернализм
рмы	Интриги во внутреннем круге; изолированные восстания крестьян, заключенных, нацменьшинств	Переформирование номенклатуры, выдвижение нового образованного поколения; культура в центре классовой и национальной политики	Симулирующие ритуалы вместо публичной политики; бюрократический лоббизм; расцвет различных субкультур, вплоть до диссидентской	Стремительное формирование сферы публичной политики; классовая мобилизация интеллигенции, специалистов и «рабочей аристократии»	Распри элит и новых претендентов по поводу захватываемых ресурсов; патронаж и коррупция вытесняют публичную классовую политику; этнические конфликты; криминальный террор	Политика жалась интриги; силовики и террористы в цен противостояний; возмущением масс находится никакого структурного фокус этнического

ЛИТЕРАТУРА

- Абдушлишвили М. А., Арутюнов С. А., Калоев Б. А. *Народы Кавказа: антропология, лингвистика, хозяйство*. М.: Институт антропологии и этнологии РАН, 1994.
- Абрамкин В., Чеснокова В. *Тюремный мир глазами политзаключенных, 1940–1980-е годы*. М.: Муравей, 1998.
- Абрамян Л., Бородатова А. А. Август 1991: праздник, не успевший развернуться // *Этнографическое обозрение*. 1992. № 3.
- Агларов М. А. *Сельская община в Нагорном Дагестане, XVII – начало XIX в.* М.: Наука, 1988.
- Абубакаров Т. *Режим Джохара Дудаева: правда и вымыслы. Записки дудаевского министра экономики и финансов*. М.: ИНСАН, 1998.
- Анчабадзе Ю. Д., Волкова Н. Г. *Старый Тбилиси*. М.: Наука, 1990.
- Арриги, Дж. *Долгий двадцатый век: деньги, власть и создание нашей эпохи*. М.: Территория будущего, 2006.
- Афанасьев Ю. (глав. ред.). *Советское общество*. Т. 2. М.: РГГУ 1997.
- Бгажноков Б. *Адыгская этика*. Нальчик: Эль-Фа, 1999.
- Блиев М., Дегоев В. *Кавказская война*. М.: Росет, 1994.
- Битова Е. *Социальная история Балкарии XIX века*. Нальчик: Эльбрус, 1997.
- Битова Е., Боров А., Дзамихов К. *Современная Кабардино-Балкария: Проблемы общественной динамики, науки и образования*. Нальчик: Эль-Фа, 1996.
- Большаков О. Г. *История арабского халифата*. В 3-х тт. М.: Наука, 1989, 1998, 2000.
- Бурдые П. Социология политики. 1994.
- Бурдые П. *Начала*. М.: SocioLogos.
- Вайль П., Генис А. *60-е: мир советского человека*. Ann Arbor: Ardis, 1988.
- Волков В. *Силовые предпринимательство: экономико-социологический анализ*. М.: Высшая школа экономики, 2005.
- Дружба: Очерки по теории практик. Сб. статей / Научный редактор О. В. Хархордин. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009.
- Земцов И. *Партия или мафия? Азербайджан: разворованная республика*. Paris: Les Editeurs Reunis, 1976.
- Искандер Ф. *Сандро из Чегема*. М.: Эксмо, 2009.
- Лельчук В. С. 1959: Расстрел в Темиртау, *Советское общество*, т. 2, под редакцией Ю. Афанасьева. М.: РГГУ, 1997.
- Лисициан С. *Армяне Нагорного Карабаха*, Ереван: Изд-во Ереванского университета, 1992.
- Лунеев В. Тюремное население в СССР // *Демоскоп-Weekly*. № 239–140. 20 марта – 2 апреля 2006 г. (Электронная версия бюллетеня *Население и общество*, см. Demoscope.ru).
- Коллинз Р. Золотой век исторической макросоциологии // *Время мира*. Вып. 1. 2000. С. 72–89.
- Коллинз Р. Предсказание в макросоциологии: случай Советского коллапса // *Время мира*. 2000. Вып. 1. С. 234–278.
- Коллинз Р. *Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения*. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.
- Коллинз Р. *Социология: наука или антинаука?* // *THESIS*. 1994. 4. С. 71–96.

- Крылов А. Б. *Религия и традиции абхазов*. М.: Институт востоковедения РАН, 2001.
- Крыштановская О., Хуторянский Ю. Элита и возраст: путь наверх // *Социологические исследования*. 2002. № 4.
- Лежава Г. П. *Между Грузией и Россией: исторические корни и современные факторы абхазо-грузинского конфликта*. М.: Институт этнологии и антропологии РАН, 1997.
- Лигачев Е. К. *Загадка Горбачева*. Новосибирск: Интербук, 1992.
- МакНил У. *В погоне за мощью: техника, вооруженные силы и общество с 1000 г. н.э.* М.: Территория будущего; Прогресс-Традиция, 2008.
- Партийная организация Кабардино-Балкарской АССР за полвека*. Нальчик: Госкнигоиздат, 1967.
- Попов В. В. Почему снижались темпы роста советской экономики в брежневский период // *Неприкосновенный запас*. 2007. № 2 (52); Попов В. В. Закат плановой экономики // *Эксперт*. № 1 (640). 29 декабря 2008 г.
- Федор Раззаков, *Бандиты времен социализма, 1917–1991 гг.* М.: ЭКСМО, 1997.
- Раенко-Туранский Я. Н. *Адыгея до и после Октября*. Краснодар, 1927.
- Ратушняк В. Н. *Сельскохозяйственное производство Северного Кавказа в конце XIX – начале XX века*. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1989.
- Скотт Д. *Благими намерениями государства: Как провалились некоторые проекты улучшения человечества*. М., 2005.
- Федотов Г. *Россия, Европа и мы*. Париж: YMCA-Press, 1973.
- Фурман Д. Е. (сост. и ред.) *Азербайджан и Россия: общества и государства*. М.: Летний сад, 2001.
- Цуциев А. *Атлас этнополитической истории Кавказа (1774–2004)*. М.: Европа, 2006.
- Шмелев Н. П., Попов В. В. *На переломе: экономическая перестройка в СССР*. М.: Изд-во АПН, 1989.
- Adams J. Materialists in Spite of Ourselves? (Comments on Richard Lachmann's Capitalists in Spite of Themselves.) *The newsletter of the Comparative and Historical Sociology Section of the American Sociological Association*, Vol. 15. No. 1 (Spring 2003); <http://www.cla.sc.edu/socy/faculty/deflem/comphist/chso3Spr.html>.
- Adams J., Clemens E., Orloff A.Sh. (eds.) *Remaking Modernity: Politics, History and Sociology*, Durham: Duke University Press, 2004.
- Allworth E. A. *The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present*. Stanford: Hoover Institution Press, 1990.
- Amalrik A. *Will the Soviet Union Survive Until 1984?* New York: Harper & Row, 1970.
- Anderson B. R. O'G. *Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso, 1983.
- Anderson P. *Passages from Antiquity to Feudalism*. London: New Left Books, 1974.
- Anderson P. *Lineages of the Absolutist State*. London: New Left Books, 1974.
- Anderson P. *A Zone of Contention*, London: Verso, 1992.
- Arrighi G. (ed.) *Semiperipheral Development: The Politics of Southern Europe in the Twentieth Century*. Beverly Hills: Sage Publications, 1985.
- Arrighi G. *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Making of Our Times*. London: Verso, 1994.
- Arrighi G. The Rise of East Asia: World Systemic and Regional Aspects, *International Journal of Sociology and Social Policy*, 1996, XVI, 7.
- Arrighi G. Globalization and Historical Macrosociology. Pp. 117–133 in: Janet L. Lughod (ed.) *Sociology for the Twenty-First Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- Arrighi G. Braudel, Capitalism and the New Economic Sociology, *Review*, 2001, XXIV, 1.
- Arrighi G. The African Crisis: World-Systemic and Regional Aspects, *New Left Review*, 2002, II/15 (May-June), pp. 5–36.

- Arrighi G. The Social and Political Economy of Global Turbulence, *New Left Review*, 2003, 20 (March-April 2003), pp. 5–71.
- Arrighi G., Hopkins T.K., Wallerstein I. Rethinking the Concepts of Class and Status-Group in a World-Systems Perspective, in *Antisystemic Movements*, London: Verso, 1989, pp. 3–28.
- Arrighi G., Hopkins T.K., Wallerstein I. 1989: The Continuation of 1968. Pp. 35–51 in George Katsiaficas (ed.) *After the Fall: 1989 and the Future of Freedom*. New York: Routledge, 2001.
- Arrighi G., Silver B. et al. *Chaos and Governance in the Modern World-System*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
- Arrighi G., Silver B. Polanyi's Double Movement: The *Belle Epoque*s of British and US Hegemony Compared. *Politics and Society*, 2003, vol. 31, no. 2.
- Ascherson N. *Black Sea*, London: Jonathan Cape, 1995.
- Astvatsaturyan L. I. *Oruzhie narodov Kavkaza* [Weapons of the Caucasus peoples]. Nalchik: El-Fa, 1994.
- Atkin M. The Islamic Revolution that Overthrew the Soviet State? in: Nikki Keddie (ed.) *Debating Revolutions*, New York: NYU Press, 1995, pp. 296–313.
- Aven P.O. Economic Policy and the Reform of Mikhail Gorbachev: A Short History, in M.J. Peck, Th.J. Richardson (eds.) *What Is to be Done? Proposals for the Soviet Transition to the Market*. New Haven: Yale University Press, 1991, pp. 179–206.
- Azamatov K. et al. *Cherekskaia tragediia*. [The Cherek tragedy.] Nalchik: Elbrus, 1994.
- Baehr P. Identifying the Unprecedented: Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Critique of Sociology, *American Sociological Review*, 2002, 67, no. 6 (December), pp. 804–831.
- Bahry D. *Outside Moscow: Power, Politics, and Budgetary Policy in the Soviet Republics*, New York: Columbia University Press, 1987.
- Barber B. *Jihad vs. McWorld*. New York: Ballantine Books, 1996.
- Baron S.H. *Bloody Saturday in the Soviet Union: Novocherkassk, 1962*. Stanford: Stanford University Press, 2001.
- Barsukova S.Yu. Solidarnost uchastnikov neformalnoi ekonomiki: na primere strategii migrantov i predprinimatelei. [Solidarity among the participants in informal economy: the examples of migrants and entrepreneurs.] *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 2002, № 4 (216), pp. 3–11.
- Beck B., Greer S.L., Ragin Ch. **Radicalism, Resistance, and Cultural Lags: A Commentary on Benjamin Barber's *Jihad vs. McWorld*.** Pp. 101–110 in Georgi Derluguian and Scott L. Greer (eds.) *Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System*. Westport, CT: Praeger, 2000.
- Beissinger M. *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State*. New York: Cambridge University Press, 2002.
- Bendix R. *Force, Fate, and Freedom: On Historical Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1984.
- Bennigsen Br., Marie (ed.) *The North Caucasus Barrier: The Russian Advance towards the Muslim World*. New York: St. Martin's Press, 1992.
- Berdahl D., Bunzl M., Lampland M. (eds.) *Altering States: Ethnographies of Transition in Eastern Europe and the Former Soviet Union*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Berdiaev N. *The Origin of Russian Communism*. London: G. Bles, 1937.
- Bergesen A. Regime Change in the Semi-Periphery: Democratization in Latin America and the Socialist Bloc. *Sociological Perspectives*, 1992, 35, pp. 405–413.
- Böröcz J. Dual Dependency and Property Vacuum: Social Change on the State Socialist Semiperiphery. *Theory and Society*, 1992, 21, pp. 77–104.
- Böröcz, J. Change Rules. *American Journal of Sociology*, 2001, Vol. 106, no. 4 (January), pp. 1152–1168.

- Bourdieu P. The Algerian Subproletariate. Pp. 83–89 in I. W. Zartman (ed.) *Man, State, and Society in the Contemporary Maghreb*. London: Pall Mall, 1973.
- Bourdieu P. *Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
- Bourdieu P. *Homo Academicus*. Oxford: Polity Press, 1988.
- Bourdieu P. *The Logic of Practice*. Oxford: Polity Press, 1990.
- Bourdieu P. *The State Nobility: Elite Schools and the Field of Power*. Oxford: Polity Press, 1996.
- Bourdieu P. *The Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field*. Oxford: Polity Press, 1996.
- Bourdieu P. A Reasoned Utopia and Economic Fatalism. *New Left Review* I/227 (January–February), 1998, pp. 125–130.
- Bourdieu P. *Esquisse pour une auto-analyse*. Paris: Éditions Raisons d'Agir, 2004.
- Bourdieu P., Loïc J. D. Wacquant. *An Invitation to Reflexive Sociology*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Braithwaite J., Drahos P. *Global Business Regulation*, New York: Cambridge University Press, 2000.
- Braudel F. *Afterthoughts on the Material Civilization and Capitalism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.
- Brubaker R. *Citizenship and Nationhood in France and Germany*. Cambridge: Harvard University Press, 1992.
- Brubaker R. *Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Bruszt L., Stark D. *Postsocialist Pathways: Transforming Politics and Property in East Central Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Bugai N. F. *Revolutsionnye komitety Dona i Severnogo Kavkaza, 1919–1921* [The Revolutionary Committees of the Don and North Caucasus] Moscow: Nauka, 1979.
- Bunce V. The Empire Strikes Back: The Evolution of the Eastern Bloc from a Soviet Asset to a Soviet Liability. *International Organization*, 1985, 39 (Winter 1985), pp. 1–46.
- Bunce V. The Political Economy of Brezhnev Era: The Rise and Fall of Corporatism. *British Journal of Political Science*, 1993, 13 (January), pp. 129–158.
- Bunce V. *Subversive Institutions: The Design and the Destruction of Socialism and the State*. New York: Cambridge University Press, 1998.
- Bunce V. The Political Economy of Postsocialism. *Slavic Review*, 1999, 58: 4 (Winter), pp. 756–793.
- Bunce V. Quand le lieu compte spécificités des passés autoritaires et réformes économiques dans les transitions à la démocratie. *Revue Française de Science Politique*, 2000, Vol. 50, No. 4–5 (Août-Octobre), pp. 633–656.
- Burawoy M. *Politics of Production: Factory Regimes under Capitalism and Socialism*, London: Verso, 1985.
- Burawoy M. *The Great Involution: Russia's Response to the Market*. Unpublished paper. 1999.
- Burawoy M., Lukács J. *The Radiant Past: Ideology and Reality in Hungary's Road to Capitalism*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Burawoy M., Verdery K. (eds.) *Uncertain Transitions: Ethnographies of Change in the Postsocialist World*. Lanham MD: Rowman & Littlefield, 1999.
- Burawoy M. et al. *Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World*. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Buruma I., Margalit A. Occidentalism, *The New York Review of Books*, 2002. January 17, pp. 4–7.
- Bushnell J. *Mutiny amid Repression: Russian Soldiers in the Revolution of 1905–1906*. Bloomington: Indiana University Press, 1985.

- Calhoun C., Bourdieu P. In: George Ritzer (ed.) *Blackwell Companion to the Major Social Theorists*. Cambridge, MA: Blackwell, 2000.
- Carrère d'Encausse H. *Decline of an Empire: The Soviet Socialist Republics in Revolt*, New York: Newsweek Books, 1979.
- Castells M., Kiselyova E. *The Collapse of Soviet Communism: A View from the Information Society*. Berkeley: University of California, International and Area Studies, 1995.
- Ching K. L. *From the Specter of Mao to the Spirit of the Law: Labor Insurgency in China*. *Theory and Society*, 2002, 31, pp. 189–228.
- Collins R. *Upheavals in Biological Theory Undermine Sociobiology*, *Sociological Theory*, 1983, Vol. 1.
- Collins R. *The Mega-Historians*, *Sociological Theory*, 1985, Vol. 3, n 1 (Spring).
- Collins R. *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 1998 (русский перевод Коллинз Р., *Социология философий. Глобальная теория интеллектуальных изменений*, под ред. Н. Розова. Новосибирск, 2002).
- Collins R. *Macrohistory: Essays in Sociology of the Long Run*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.
- Collins R. *The European Sociological Tradition and Twenty-First-Century World Sociology*. Pp. 26–42 in: Janet L. Lughod (ed.) *Sociology for the Twenty-First Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- Collins R. *Situational Stratification: A Micro-macro Theory of Inequality*, *Sociological Theory*, 2000, 18.
- Collins R. *Violence: A Sociological Theory*. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Collins R., Waller D. *Predictions of Geopolitical Theory and the Modern World-System*. Pp. 51–66 in: G. Derluigan, S. L. Greer (eds.) *Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System*. Westport, CT: Praeger, 2000.
- Cornia G. A., Popov V. *Transitions and Institutions: the Experience of Gradual and Late Reformers*. Helsinki: World Institute for Development Economic Research (UNU/WIDER), 2002.
- Crowley St. *Hot Coal, Cold Steel: Russian and Ukrainian Workers from the End of the Soviet Union to Postcommunist Transformation*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997.
- Cumings B. *Webs with No Spiders, Spiders with No Webs: The Genealogy of the Developmental State*, in: Meredith Woo-Cumings (ed.) *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press, 1999.
- Cumings B. *Mr. X or Doctrine X? A Modest Proposal for Thinking About the New geopolitics*. Pp. 85–100 in: G. Derluigan, S. L. Greer (eds.) *Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System*. Westport, CT: Praeger, 2000.
- Davies R. W. (ed.) *From Tsarism to the New Economic Policy: Continuity and Change in the Economy of the USSR*, Basingstoke: Macmillan, 1990.
- Denikin A. I. *The Career of a Tsarist Officer: Memoirs, 1872–1916*, an annotated translation from the Russian by Margaret Patoski. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1975.
- Derluigan G. *Social Decomposition and Armed Violence in Post-Colonial Mozambique*, *REVIEW*, 1990, Vol. XIII no. 4 (Fall) pp. 439–464.
- Derluigan G. *The Tale of Two Resorts: Abkhazia and Ajaria Before & Since the Soviet Collapse*, pp. 261–292, in: B. Crawford, R. D. Lipschutz (eds.) *The Myth of "Ethnic Conflict": Politics, Economics, and "Cultural" Violence*. Berkeley: University of California Press, 1998.
- Derluigan G. *Che Guevaras in Turbans*, *New Left Review*, 1999, I/237 (September-October), pp. 3–27.

- Derluguian G. The Neo-Cossacks: Militant provincials in the Geoculture of Clashing Civilizations, in: J. Guidry, M. D. Kennedy, M. N. Zald (eds.) *Globalizations and Social Movements*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000.
- Derluguian G. The Capitalist World-System and Socialism. Pp. 55–80 in: Al.J. Motyl (ed.) *Encyclopedia of Nationalism*. Vol 1. *Fundamental Issues*. New York: Academic Press, 2001.
- Derluguian G. Why Adjaria Is Not Like Bosnia: Historical Determinants, Human Agency, and Contingency in the Chaotic Transition. Pp. 103–124 in: G. Katsiaficas (ed.) *After the Fall: 1989 and the Future of Freedom*. New York: Routledge, 2001.
- Deutscher I. *Russia: What Next?* Oxford: Oxford University Press, 1953.
- Diakonoff I. M. *The Paths of History*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Dutton M. R. *Policing and Punishment in China: From Patriarchy to 'the People'*. New York: Cambridge University Press, 1992.
- Dzuyev G. K. *Krovavoe leto 1928-go* [The Bloody Summer of 1928], Nalchik: Elbrus, 1997.
- Earle T. *How Chiefs Come to Power. The Political Economy in Prehistory*. Stanford: Stanford University Press, 1997.
- Eisenstadt S. N. *Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism*, London: Sage, 1973.
- Eisenstadt S. N. *Fundamentalism, Sectarianism, and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Elias N. *The Civilizing Process*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Elias N., Scotson J. L. *The Established and the Outsiders*, edited by Cas Wouters. Dublin: UCD Press, 2008 [Collected Works, vol. 4].
- Ekiert G. *The State Against Society: Political Crises and Their Aftermath in East-Central Europe*. Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Eklof B., Bushnell J., Zakharova L. (eds.) *Russia's Great Reforms, 1855–1881*. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
- Emirbayer M., Goodwin J. **Symbols, Positions, Objects: Towards a New Theory of Revolutions and Collective Action**. *History and Theory*, 1996, 38, pp. 358–374.
- Esping-Andersen G. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press, 1990.
- Evangelista M. The Paradox of State Strength: Transnational relations, Domestic Structures, and Security Policy in Russia and the Soviet Union. *International Organization*, 1995. Vol. 49, no. 1 (Winter).
- Evangelista M. *The Chechen Wars: Will Russia Go the Way of the Soviet Union?* Washington DC: The Brookings Institution, 2002.
- Evans P. *Embedded Autonomy: States & Industrial Transformation*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.
- Eyal G., Szélenyi I., Townsley E. *Making Capitalism without Capitalists: Class Formation and Elite Struggles in Postcommunist Central Europe*. London: Verso, 1998.
- Fainsod M. *Smolensk under Soviet Rule*. Cambridge: Harvard University Press, 1958.
- Filtzer D. *Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the Modern System of Soviet Production Relations, 1953–1964*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Fisun O. Politiko-rezhimnaia transformatsia Ukrainy: dilemmy neopatrimonialnogo razvitiia [The Political-Regime Transformation in Ukraine: Dilemmas of Neo-patrimonial Development], *Stylos* (Kyiv), 2002, pp. 4–14.
- Fitzpatrick Sh. *The Russian Revolution, 1917–1932*. Oxford: Oxford University Press, 1982.
- Fligstein N. *The Architecture of Markets: An Economic Sociology of Twenty-first-century Capitalist Societies*. Princeton: Princeton University Press, 2001.

- Foran J. Revolutionizing Theory/Theorizing Revolutions: State, Culture, and Society in Recent Works on Revolution, pp. 112–135 in: Nikki R. Keddie (ed.) *Debating Revolutions*. New York: New York University Press, 1995.
- Furman D. E. (ed.) *Chechnia i Rossiia: obschestva i gosudarstva*. [Chechnya and Russia: Societies and States], Moscow: Polinform-Talburi, 1999.
- Furman D. E. (ed.) *Azerbaidzhan i Rossiia: obschestva i gosudarstva*. [Azerbaijan and Russia: Societies and States], Moscow: Letnii sad, 2001.
- Gadlo A. V. *Etnicheskaia istoriya Severnogo Kavkaza X–XIII vv.* [The Ethnic History of North Caucasus, 10th–13th centuries], St. Petersburg: St. Petersburg University Press, 1994.
- Gakayev D. *Ocherki politicheskoi istorii Chechni* [Sketches of the political history of Chechnya]. Moscow: N/P, 1997.
- Gall C., Waal Th. de. *Chechnya: Calamity in the Caucasus*. New York: NYU Press, 1998.
- Gambetta D. (ed.) *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*. Oxford: Blackwell, 1988.
- Gambetta D. *The Sicilian Mafia: The Business of Private Protection*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.
- Gammer M. *Muslim Resistance to the Tsar: Shamil and the Conquest of Chechnia and Dagh-estan*. London: F. Cass, 1994.
- Garcelon M. The Estate Change: The Specialist Rebellion and the Democratic Movement in Moscow, 1989–1991. *Theory and Society*, 1997, 26, pp. 39–85.
- Gellner E. *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell, 1983.
- Gerber Th.P., Hout M. More Shock Than Therapy: market Transition, Employment, and Income in Russia, 1991–1995. *American Journal of Sociology*, 1998, Vol. 104, no 1 (July), pp. 1–50.
- Glenny M. *The Balkans, 1804–1999: Nationalism, War, and the Great Powers*. London: Granta, 1999.
- Goldfrank W., Derluguian G. Repetition, Variation, and Transmutation as Scenarios for the Twenty-First Century.» Pp. 1–12 in: G. Derluguian, S. L. Greer (eds.) *Questioning Geopolitics: Political Projects in a Changing World-System*. Westport, CT: Praeger, 2000.
- Goldstone J. Revolutions and Superpowers. Pp. 38–48 in: J. Adelman (ed.) *Superpowers and Revolutions*. New York: Praeger, 1986.
- Goldstone J. *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press, 1991.
- Goltz Th. *Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter's Adventures in an Oil-rich, War-torn, Post-Soviet Republic*. Armonk: M. E. Sharpe, 1998.
- Goltz Th. *Chechnya Diary: A War Correspondent's Story*. New York: St. martin's Press, 2003.
- Goodwin J. *No Other Way Out: States And Revolutionary Movements, 1945–1991*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Goodwin J., Jasper J. M., Polletta F. (eds.) *Passionate Politics: Emotions and Social Movements*. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
- Gordin Ya. *Kavkaz: zemlya i krov'* [The Caucasus: Land and Blood]. St. Petersburg: Zvezda, 2000.
- Gould R. V. *Insurgent Identities: Class, Community, and Protest in Paris from 1848 to the Commune*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- Gould R. V. Patron-Client Ties, State Centralization, and the Whiskey Rebellion, *American Journal of Sociology*, 1996, Vol. 102, No. 2, pp. 400–429.
- Gould St.J. *The Mismeasure of Man*. New York: Norton, 1981.
- Gould St.J. *Full House: The Spread of Excellence from Plato to Darwin*. New York: Three Rivers Press, 1996.
- Guidry J., Kennedy M. D., Zald M. N. (eds.) *Globalizations and Social Movements*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000.

- Guzhin G. S., Chugunova N. V. *Selskaia mestnost Checheno-Ingushetii i yeyo problemy*. [The countryside of Checheno-Ingushetia and its problems.] Grozny: Checheno-Ingushetian knizhnoe izdatelstvo, 1988.
- Hall J. A. (ed.) *The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Hall Th. (ed.) *A World-System Reader: New Perspectives in Gender, Urbanism, Culture, Indigenous Peoples, and Ecology*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2000.
- Hanson St. *Time and Revolution: Marxism and the Design of Soviet Institutions*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.
- Herlihy P. *Odessa: A History, 1794–1914*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- Hirschman A. *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Cambridge: Harvard University Press, 1970.
- Hirschman A. *The Rhetoric of Reaction: Perversity, Futility, Jeopardy*. Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1991.
- Hislope R. Organized Crime in a Disorganized State in: *Problems of Post-Communism*. (May/June 2002) vol. 49, issue 3.
- Hobsbawm E. *Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Hobsbawm E. *The Age of Extremes, 1914–1991*. New York: Vintage, 1994.
- Hobsbawm E. *Uncommon People. Resistance, Rebellion and Jazz*. New York: The New Press, 1998.
- Hobsbawm E., Ranger T. (eds.) *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Hoffmann D. L. *Peasant Metropolis: Social Identities in Moscow, 1929–1941*. Ithaca: Cornell University Press, 1994.
- Holmes L. *The End of Communist Power: Anti-Corruption Campaigns and Legitimation Crisis*. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Hopf T. *Social Construction of International Politics: Identities & Foreign Policies, Moscow, 1955 and 1999*. Ithaca: Cornell University Press, 2002.
- Hopkins, Terence, Wallerstein I. et al. *The Age of Transition: Trajectories of the World-System, 1945–2025*. London: Zed, 1996.
- Hroch M. *Social Preconditions of National Revival in Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- Humphrey C. “Icebergs”, Barter, and the Mafia in Provincial Russia”, *Anthropology Today*, 1991, Vol. 7, No 2 (April 1991).
- Huntington S. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press, 1968.
- Huntington S. *The Clash of Civilizations*. New York: Norton, 1995.
- Iandarbiev Z. *Chechenia: bitva za svobodu* [Chechenia: The Battle for Freedom]. Lvov: «Svoboda narodiv», 1996.
- Ishkhanian L. *Sotsialno-istoricheskie korni gruzino-armyanskoj draki* [The Sociohistorical Roots of Georgian-Armenian Quarrel]. Tiflis: n/p, 1918.
- Iskander F. *Sandro of Chegem*. New York: Vintage Books, 1983.
- Jasper J. M. *The Art of Moral Protest: Culture, Biography, and Creativity in Social Movements*. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
- Jessop B. *The Future of the Capitalist State*. Cambridge: Polity, 2002.
- Chalmers J. MITI and the Making of Japan's Industrial Policy. Stanford: Stanford University Press, 1982.
- Johnson Chalmers. The Developmental State: Odyssey of a Concept, in: Meredith Woo-Cumings (ed.) *The Developmental State*. Ithaca: Cornell University Press, 1999.

- Jowitt Ken. *New World Disorder: The Leninist Extinction*, Berkeley: University of California Press, 1992.
- Judge E. H. *Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom*. New York: New York University Press, 1992.
- Juraitė K. *Environmental Consciousness and Mass Communication*. Doctoral thesis. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2002.
- Kalyvas St. *The Logic of Violence in Civil Wars*. New Haven: Yale University Press, 2006.
- Kazemzadeh F. *The Struggle for Transcaucasia, 1917–1921*. New York: Philosophical Library, 1951.
- Kennedy M. D. *Professionals, Power, and Solidarity in Poland: A Critical Sociology of Soviet-type Society*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Khazanov A. M. *Nomads and the Outside World*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Khodarkovsky M. *Russia's Steppe Frontier: The Making of a Colonial Empire, 1500–1800*. Bloomington: Indiana University Press, 2002.
- King L. P. Making Markets: A Comparative Study of Postcommunist Managerial Strategies in Central Europe. *Theory and Society*, 2001, 30, pp. 493–538.
- Knight A. *Beria, Stalin's First Lieutenant*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Konrád G., Széleányi I. *The Intellectuals on the Road to Class Power*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979.
- Kornai J. *The Economy of Shortage*. 2 vols. Amsterdam: De Gruyter, 1982.
- Kosikov I. G., Kosikova L. S. *Severnoi Kavkaz: sotsialno-ekonomicheskii spravocchnik*. [The Northern Caucasus: A Socioeconomic Handbook.] Moscow: Exclusive-Press, 1999.
- Kotkin St. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley: University of California Press, 1995.
- Kryshchanovskaya O. V. Transformatsia biznes-elity Rossii: 1998–2002. [The transformation of Russia's business elite, 1998–2002.] *Sotsiologicheskie issledovania*, 2002. № 8 (218), pp. 17–29.
- Kryshchanovskaya O. V., Khutoryansky Yu. V. Elita i vozrast: put naverh. [Elite and age: the road upward.] *Sotsiologicheskie issledovania*, 2002. № 4 (214), pp. 49–60.
- Kurtynova-Derluguian L. *Tsar's Abolitionists. The Russian Suppression of Slave Trade in the Caucasus, 1801–1864*. Ph.D. dissertation, Binghamton University, Department of History, 1995.
- Lachmann R. *Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and Economic Transitions in Early Modern Europe*, New York: Oxford University Press, 2000.
- Ladokha G. *Ocherki grazhdanskoi bor'by na Kubani* [The Sketches of Civil Strife in the Kuban Region], Krasnodar: Burevestnik, 1924.
- Lane D. *The End of Social Inequality? Class, Status and Power under State Socialism*. London: George Allen & Unwin, 1982.
- Lamont M. How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida. *American Journal of Sociology*, 1987, 93 (3), pp. 584–622.
- Lamont M., Lareau A. Social Capital: Allusions, Gaps and Glissandos in Recent Theoretical Developments, *Sociological Theory*, 1988. Vol. 6 (Fall), pp. 153–168.
- Lampedusa G. di. *The Leopard*, New York: The Limited Editions Club, 1988.
- Lampert N., Rittersporn G. T. (eds.) *Stalinism, Its Nature and Aftermath: Essays in Honour of Moshe Lewin*. Basingstoke: Macmillan, 1992.
- Lampland M. *Developing a Rational Economy: The Transition to Stalinism in Hungary*. Paper presented at the annual meeting of ASA in Chicago. 2002
- Lapidus Gail Warshofsky. *Women in Soviet Society: Equality, Development, and Social Change*. Berkeley: University of California Press, 1978.

- Latham R. *The Liberal Moment: Modernity, Security, and the Making of Postwar International Order*. New York: Columbia University Press, 1997.
- Layton S. *Russian Literature and Empire: Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy*. New York: Cambridge University Press, 1994.
- Ledeneva A. *Russia's Economy of Favors: Blat, Networking, and Informal Exchange*. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
- Lipietz A. 1987. *Mirages and Miracles: The Crises of Global Fordism*. London: Verso, 1987.
- Lisitsian St. *Armyane Nagornogo Karabaha* [The Armenians of Mountainous Karabagh], Yerevan: Izdatelstvo erevanskogo universiteta, 1992.
- Lel'chuk V.S. 1959: Rasstrel v Temirtau [The Shooting in Temirtau], in: Y. Afanasiev (ed.) *Sovetskoe obschestvo*. T. 2. Moscow: RGGU, 1997.
- Lewin M. *The Gorbachev Phenomenon: A Historical Interpretation*. Berkeley: University of California Press, 1988.
- Lewin M. *Stalinism and the Seeds of Soviet Reform: The Debates of the 1960s*. London: Pluto Press, 1991.
- Lezhava G. P. *Mezhdru Gruziei i Rossiei: istoricheskie korni i sovremennye faktory abkhazo-gruzinskogo konflikta*. [Between Georgia and Russia: the historical roots and contemporary factors of Abkhaz-Georgian conflict.] M.: Institut etnologii i antropologii RAN, 1997.
- Lieberson St., Lynn F. B. Barking Up the Wrong Branch: Scientific Alternatives to the Current Model of Sociological Science. *Annual Review of Sociology*, 2002, 28, pp. 1–19.
- Lieven A. *The Baltic Revolution: Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence*. New Haven: Yale University Press, 1994.
- Lieven A. *Chechnya, The Tombstone of Russian Power*. New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
- Ligachev Ye.K. *Zagadka Gorbacheva*. [The Mystery of Gorbachev.] Novosibirsk: Interbook, 1992.
- Linz J. J., Stepan A. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.
- Lisitsian S. *Armyane Nagornogo Karabaha* [The Armenians of Mountainous Karabagh], Yerevan, 1990.
- Lubin N. *Labor and Nationality in Soviet Central Asia: An Uneasy Compromise*. Princeton: Princeton University Press, 1984.
- Lukin A. *The Political Culture of Russian «Democrats»*, Oxford University Press, 2000.
- Лунев В. Тюремное население в СССР, *Демоскоп-weekly*, № 239–140 (20 марта – 2 апреля 2006) (Электронная версия бюллетеня *Население и общество*, см. Demoscope.ru).
- Luong P.J. Forthcoming. Decentralization in Kazakhstan: Causes and Consequences. In: Luong P.J. (ed.) *The Transformation of Central Asian States and Societies*. Ithaca NY: Cornell University Press.
- Malbakhov B., Elmesov A. *Srednevekovaiia Kabarda* [The Medieval Kabarda], Nalchik: El-brus, 1994.
- Mann M. *The Sources of Social Power*. Vol 1: *A History of Power from the Beginning to A. D. 1760*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
- Mann M. *The Sources of Social Power*. Vol 2: *The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Mann M. Globalization and September 11. *New Left Review* II/12 (November-December), 2001, pp. 51–72.
- Mann M., Riley D., Explaining Macro-regional Trends in Global Income Inequalities, 1950–2000, *Socio-Economic Review* (2007), 5, 81–115.

- Markoff J. *The Great Wave of Democracy in Historical Perspective*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1995.
- Mars G., Altman Y. 1983. The Cultural Bases of Soviet Georgia's Second Economy, *Soviet Studies* XXXV, 1983, no. 4 (October), pp. 546–560.
- Terry M. *The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001.
- Matthews M. *Privilege in the Soviet Union: A Study of Elite Life-styles under Communism*, London: Allen & Unwin, 1978.
- Matveeva Aa. *The North Caucasus: Russia's Fragile Borderland*. London: Royal Institute of International Affairs, Russia and Eurasia Programme, 1999.
- Matveeva A., Hiscock D. (eds.) *The Caucasus: Armed and Divided. (Small arms and light weapons proliferation and humanitarian consequences in the Caucasus.)* London: Safeworld Report, 2003.
- McAdam D., McCarthy J., Zald M. (Eds.) *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- McAdam D., Tarrow S., Tilly Ch. *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- McMichael Ph. Incorporating Comparison within a World-Historical Perspective. *American Sociological Review*, 1990, 55 (3), pp. 385–397.
- McNeill W. *The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society Since A. D. 1000*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- McNeill W. New World, Vineyard to the Old», in: Herman J. Viola and Carolyn Margolis (eds.) *Seeds of Change*, Washington: Smithsonian Institution Press, 1991.
- Medard J.-F. *The Underdeveloped State in Tropical Africa: Political Clientelism or Neo-patrimonialism*, in: C. Clapham (ed.) *Private Patronage and Public Power*, New York: St. Martin's Press, 1982, pp. 162–192.
- Migdal J. S. *Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton: Princeton University Press, 1988.
- Moore B., Jr. *Soviet Politics – The Dilemma of Power*. New York: Harper & Row. 2nd ed. 1965 (c 1950).
- Moore B., Jr. *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Boston: Beacon Press, 1966.
- Motyl A. *The Turn to the Right: The Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism, 1919–1929*. New York: Columbia University Press, 1980.
- Muzaev T. *Chechenskii krizis-99* [The Chechen Crisis-99], Moscow: Panorama, 1999.
- Muzaev T., Todua Z. *Novaia Checheno-Ingushetiia* [The New Checheno-Ingushetia], Moscow: Panorama, 1992.
- Nikulin A. M. Kubanskiy kolkhoz – v holding ili as'enduu? [The kolkhoz of Kuban region: into a holding or a hacienda?] *Sotsiologicheskie issledovania*, 2002, № 1 (213), pp. 41–52.
- Nivat A. *Chienne de Guerre: A Woman Reporter Behind the Lines of the War in Chechnya*, New York: Public Affairs, 2001.
- Nodia G. *Conflict and Regional Security in the Caucasus*. Paper presented at the Yale Center for the Study of Globalization, 22 September. 2002.
- Nove Al. *The Soviet Economic System*. London: Allen & Unwin, 1977.
- Orlov O., Cherkasov A. *Rossia – Chechnya: tsep' oshibok I prestuplenii* [Russia – Chechnya: The Chain of Blunders and Crimes]. Moscow: Zvenia, 1998.
- Osa M. *Solidarity and Contention: The Networks of Polish Opposition*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
- Padgett J. F., Ansell C. K. Robust Action and the Rise of the Medici, 1400–1434, *American Journal of Sociology*, 1993, Vol. 38, n. 6 (May).

- Panesh E. Bifurkatsiya v protsesse sotsializatsii: na materialakh traditsionnogo vospitania adygov XVIII – nachala XX vv. [Bifurcation in the Processes of Socialization: The Traditional Upbringing of the Adyghees in the 18th – early 20th centuries.] *Problemy arheologii i etnografii Severnogo Kavkaza*. Krasnodar: Kubanskii gosudarstvennyi universitet, 1988.
- Panico Cr. *Conflicts in the Caucasus: Russia's War in Chechnya*, Conflict Studies 281, Washington: Research Institute for the Study of Conflict and Terrorism, 1995.
- Parish W. L., Michelson E. Politics and Markets: Dual Transformations." *American Journal of Sociology*, 1996, Vol. 101, no. 4 (January), pp. 1042–1059.
- Park E., Brandenberger D., Imagined Community? Rethinking the Nationalist Origins of the Contemporary Chechen Crisis, *Kritika* (forthcoming).
- Partiynaya organizatsiya Kabardino-Balkarii za pyatdesyat let*. Nalchik: Gosknigoizdat, 1967.
- Mathijs Pelkmans, *Defending the Border: Identity, Religion and Modernity in the Republic of Georgia*. Ithaca: Cornell University Press, 2006.
- Pipes R. *The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923*. Cambridge, Harvard University Press, 1954.
- Pokrovsky N. I. *Kavkazskaia voina i Imam Shamilya*. [The Caucasus War and Shamil's Imamate.] Moscow: POSSPEN, 2000.
- Polanyi K. *The Great Transformation*. New York: Farrar & Rinehart, 1944.
- Politkovskaya A. *A Small Corner of Hell: Reports from Chechnya*, Chicago: University of Chicago Press, 2003.
- Portes A. "Social Capital" Its Origins and Applications in Modern Sociology." *Annual Review of Sociology* 1998, 24, pp. 1–24.
- Portes A., Böröcz J. The Informal Sector Under Capitalism and State Socialism: a Preliminary Comparison. *Social Justice* 1988, Vol. 15, nn 3–4.
- Popov V. Shock Therapy Versus Gradualism: The End of the Debate. *Comparative Economic Studies*, 2000, Vol. 42, no 1, pp. 1–57.
- Popov V., Shmelev N. *The Turning Point: Revitalizing the Soviet Economy*, London: I. B. Tauris, 1990.
- Popov V., *Life Cycle of the Centrally Planned Economy: Why Soviet Growth Rates Peaked in the 1950s*. In: *Transition and Beyond*. Edited by Saul Estrin, Grzegorz W. Kolodko and Milica Uvalic. Palgrave Macmillan, 2007.
- Prigogine I., in collaboration with Isabelle Stengers. *The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature*. New York: Free Press, 1997.
- Przeworski A. *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
- Quijano A. *La economía popular y sus caminos en America Latina*. Lima: Mosca Azul Editores, 1998.
- Radaev V., Shkaratan O. Etacratism: Power and property – Evidence from the Soviet Experience, *International Sociology*, 1992, Vol. 7, no. 3 (September), pp. 301–316.
- Raenko-Turanskiy Ya.N. *Adygeia do i posle Oktyabrya*, [Adygheia before and after the October], Krasnodar: Krainatsizdat, 1927.
- Ragin Ch.C. *Redesigning Social Inquiry: Fuzzy Sets and Beyond*. Chicago: University of Chicago Press, 2008.
- Ratushnyak V. N. *Selskohozyaistvennoe proizvodstvo Severnogo Kavkaza v kontse XIX – nachale XX veka*, [The Agricultural Production in the North Caucasus in the late 19th-early 20th century], Rostov-na-Donu: Izd-vo rostovskogo universiteta, 1989.
- Razzakov F. *Bandity vremen sotsializma, 1917–1991*. [The Criminals of the Socialist Times] Moscow: EKSMO, 1997.
- Reno W. *Warlord Politics and African States*. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers, 1998.

- Riazantsev S. V. Demograficheskaya situatsia na Severnom Kavkaze. [The demographic situation in the North Caucasus.] *Sotsiologicheskie issledovania*, 2002, n 1 (213), pp. 77–87.
- Rigby T. H. *Political Elites in the USSR: Central Leaders and Local Cadres from Lenin to Gorbachev*, Aldershot: Edward Elgar, 1990.
- Riley D. Enigmas of Fascism, *New Left Review*, 2004, № 30, pp. 134–147.
- Roeder Ph. *Red Sunset: The Failure of Soviet Politics*, Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Rokkan S. *State Formation, Nation-Building, and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan Based on His Collected Works*, (edited by Peter Flora with Stein Kuhnle and Derek Urwin). Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Rosenberg W., Siegelbaum L. H. (eds.) *Social Dimensions of Soviet Industrialization*. Bloomington: Indiana University Press, 1993.
- Roth Gr. Personal Rulership, Patrimonialism, and Empirebuilding in the New States, *World Politics*, 1968, Vol. 20, no. 2, pp. 194–206.
- Rueschemeyer D., Stephens E. H., Stephens J. D. *Capitalist Development and Democracy*. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
- Rutland P. *The Politics of Economic Stagnation in the Soviet Union: The Role of Local Party Organs in Economic Management*, Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Sahlins M. Cosmologies of Capitalism: The Trans-Pacific Sector of “The World System, in: Nicholas B. Dirks, Geoff Eley, and Sherry B. Ortner (eds.) *Culture/Power/History*. Princeton: Princeton University Press, 1994.
- Scott J. C. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1976.
- Seidman, G. W. Adjusting the Lens: What Do Globalizations, Transnationalism, and the Anti-apartheid Movement Mean for Social Movement Theory?, pp. 339–357 in: J. Guidry, M. D. Kennedt, Mayer N. Zald (eds.) *Globalizations and Social Movements*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000.
- Serafimovich A. *The Iron Flood: A Novel*. 5th ed. Moscow: Progress Publishers, 1981.
- Shovgenovy Mos i Goshevnai. Materialy dlia biografii* [The Shovgenovs Mos and Goshevnai] Krasnodar: Krainatsizdat, 1927.
- Skočpol Th. *States and Social Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
- Skočpol Th. *Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States*. Cambridge MA: Belknap Press, 1992.
- Smith D. E. From Women’s Standpoint to a Sociology for People, pp. 65–82 in: J. L. Lughod (ed.) *Sociology for the Twenty-First Century*. Chicago: University of Chicago Press, 1999.
- Smith St.S., Kulynych J. It May be Social, but Why Is It Capital? *Politics and Society*, 2002, Vol. 30, no. 1, pp. 149–186.
- Snyder L. *Macro-Nationalisms: A History of the Pan-Movements*, Westport: Greenwood Press, 1984.
- Sohrabi N. Global Waves, Local Actors: What the Young Turks Knew about Other Revolutions and Why It Mattered, *Comparative Studies in Society and History*, 2002, 44 (1), pp. 45–79.
- Solnick St.L. *Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998.
- Sørensen A., Wright E. O., Goldthorpe J., Rueschemeyer D., Mahoney J. Symposium on Class Analysis. *American Journal of Sociology*, 2000, Vol. 105, No. 6, pp. 1523–1591.
- Spruyt H. The Origins, Development, and Possible Decline of Modern State, *Annual Review of Political Science*, 2002, Vol. 5, pp. 127–149.
- Stark D., Bruszt L. **One Way or Multiple Paths: For a Comparative Sociology of East European Capitalism**. *American Journal of Sociology*, 2001, Vol. 106, no. 4 (January), pp. 1129–1137.

- Steinmetz G. *Regulating the Social: The Welfare State and Local Politics in Imperial Germany*. Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Steinmetz G. (ed.) *State/Culture: State-Formation After the Cultural Turn*. Ithaca NY: Cornell University Press, 1999.
- Stinchcombe A. Tilly on the Past as a Sequence of Futures. Review essay in *Roads from Past to Future* by Charles Tilly. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1997.
- Stinchcombe A. Ending Revolutions and Building New Governments, *Annual Review of Political Science*, 1999, 2, pp. 49–73.
- Stinchcombe A. Forthcoming. The Preconditions of World Capitalism: Weber Updated. *Journal of Political Philosophy*.
- Stokes G. The Social Origins of East European Politics, in: D. Chirot (ed.) *The Origins of Backwardness in Eastern Europe: Economics & Politics from the Middle Ages until the Early Twentieth Century*. Berkeley: University of California Press, 1989, pp. 210–251.
- Stokes G. *The Walls Came Tumbling Down. The Collapse of Communism in Eastern Europe*. New York: Oxford University Press, 1993.
- Suny R. G. *The Baku Commune, 1917–1918. Class and Nationality in the Russian Revolution*. Princeton: Princeton University Press, 1972.
- Suny R. G.. *Looking toward Ararat: Armenia in Modern History*. Bloomington: Indiana University Press, 1993.
- Suny R. G., *The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union*, Stanford: Stanford University Press, 1993.
- Suny R. G.. *The Making of the Georgian Nation*. Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994.
- Suny R. G., Kennedy M. D. (eds.) *Intellectuals and the Articulation of the Nation*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
- Swedberg R. *Schumpeter: A Biography*. Princeton: Princeton University Press, 1991.
- Swietochowski T. *Russian Azerbaijan, 1905–1920: The Shaping of National Identity in a Muslim Community*. New York: Cambridge University Press, 1985.
- Szelényi I. The Intelligentsia in the Class Structure of State-Socialist Societies, in: Michael Burawoy and Theda Skocpol (eds.) *Marxist Inquiries*, Supplement to *American Journal of Sociology*, 1982, Vol. 88, pp. S287–326.
- Szelényi I., Manchin R. et al. *Socialist Entrepreneurs: Embourgeoisement in Rural Hungary*. Madison: University of Wisconsin Press, 1988.
- Szelényi I., Szelényi B. Why Socialism Failed: Toward a Theory of System Breakdown – Causes of Disintegration of East European State Socialism. *Theory and Society* 1994, 23, pp. 211–231.
- Szelényi I., Szelényi S. Circulation or Reproduction of Elites During the Postcommunist Transition of Eastern Europe: Introduction. *Theory and Society*, 1995, 24, pp. 615–638.
- Tarrow S. *Power in Movement: Social Movements, Collective Action, and Politics*. New York: Cambridge University Press, 1994.
- Tarrow S. Confessions of a Recovering Structuralist, Mobilization (forthcoming symposium issue on the *Dynamics of Contention*), 2003.
- Taubman W. *Khrushchev: The Man and his Era*, New York: W. W. Norton, 2003.
- Tilly Ch. Does Modernization Breed Revolution? *Comparative Politics*, 1973, 5, pp. 425–447. This article was reprinted in several different collections including recently in: Ch. Tilly. *Roads from Past to Future*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1997.
- Tilly Ch. *Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons*. New York: Russell Sage Foundation, 1984.
- Tilly Ch. *Coercion, Capital, and European States, AD 1990–1992*. Oxford: Blackwell (revised ed.), 1992.

- Tilly Ch. *European Revolutions, 1492–1992*. Oxford: Blackwell, 1993.
- Tilly Ch. Globalization Threatens Labor's Rights. *International Labor and Working-Class History*, 1995, 47 (Spring), pp. 1–23.
- Tilly Ch. *Roads from Past to Future*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1997.
- Timasheff N. S. *The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia*, E. P. Dutton & Company, Inc, 1946.
- Tishkov V. A. *Ethnicity, Nationalism and Conflict in and after the Soviet Union: The Mind Aflame*. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1997.
- Tocqueville A. de. *The Old Régime and the French Revolution*. Translated by Stuart Gilbert. Garden City, N. Y., Doubleday, 1955.
- Tsutsiyev A. *Osetino-ingushskii konflikt (1992 –) ego predystoria i factory razvitiya* [The Osetino-Ingush conflict, 1992 – ..., antecedents and developmental factors], Moscow: ROSSPEN, 1998.
- Urban M. *An Algebra of Soviet Power: Elite Circulation in the Belorussian Republic, 1966–1986*, New York : Cambridge University Press, 1989.
- Urban M., Reed R. Regionalism in a Systems Perspective: Explaining Elite Circulation in a Soviet Republic, *Slavic Review* 1991, 48, no. 3 (Fall), pp. 413–431.
- Urban M., Igrunov V., Mitrokhin S. *The Rebirth of Politics in Russia*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Vail P., Genis A. *60-e: mir sovetskogo cheloveka* [The 60s: The World of Soviet Person], Ann Arbor: Ardis, 1988.
- Vaksberg A. *The Soviet Mafia*. New York: St. Martin's Press, 1991.
- Varese F. *The Russian Mafia. Private Protection in a New Market Economy*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Viola Lynne. *Peasant Rebels under Stalin: Collectivization and the Culture of Peasant Resistance*. New York: Oxford University Press, 1996.
- Volkov V. 2002. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press. Волков В. *Силовые предпринимательство: экономико-социологический анализ*. М.: Высшая школа экономики, 2005.
- Voslenskii M. S. *Nomenklatura: the Soviet Ruling Class*. Garden City, NJ: Doubleday, 1984.
- Vujacic V. Historical Legacies, Nationalist Mobilization, and Political Outcomes in Russia and Serbia A Weberian View. *Theory and Society*, 1996, 25, pp. 763–801.
- Wallerstein I. *The Modern World-System, Vol. 1: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*. New York: Academic Press, 1974.
- Wallerstein I. *The Modern World-System, Vol. 3: Second Era of Great Expansion of the Capitalist World-Economy*. San Diego: Academic Press, 1989.
- Wallerstein I. *Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth-century Paradigms*. Cambridge: Polity Press, 1991.
- Wallerstein I. Declining States, Declining Rights? Response to Charles Tilly (1995) *International Labor and Working-Class History*, 1995, 47 (Spring), pp. 24–27.
- Wallerstein I. Marxism, Marxism-Leninism, and the Socialist Experiences in World-System.”in: *After Liberalism*. New York: New Press, 1995.
- Wallerstein I. *Utopistics. Or, Historical Choices for the Twenty-first Century*. New York: The New Press, 1998.
- Wallerstein I. Bourgeois(ie) As Concept and Reality, in: *The Essential Wallerstein*. New York: New Press, 2000.
- Wallerstein I. Social Science and the Communist Interlude, in: *The Essential Wallerstein*. New York: New Press, 2000.
- Wallerstein I., Calestous Juma, Evelyn Fox Keller, Kocka J., Lecourt D., Mudimbe M., Kinhide Mushakoji, Prigogine I., Taylor P.J., Trouillot M.-R. *Open the Social Sciences: Report of the Gulbenkian Commission on the Restructuring of the Social Sciences*. Stanford:

- Stanford University Press (1st ed.; also twenty-three translations in different languages to date). 1996
- Weber M. *Economy and Society*. 2 Vols. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Wegren St. Private Agriculture in the Soviet Union Under Gorbachev, *Soviet Union/Union Soviétique* 1989, 16, Nos. 2–3, pp. 105–144.
- White H. C. *Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production*. Princeton: Princeton University Press, 2002.
- Winiecki J. *Resistance to Change in the Soviet Economic System: A Property Rights Approach*, London: Routledge, 1991.
- Wittfogel K. A. *Oriental Despotism: A Comparative Study of Total Power*. New Haven: Yale University Press, 1957.
- Woodruff D. *Money Unmade: Barter and the Fate of Russian Capitalism*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999.
- Woodruff D. Rules for Followers: Institutional Theory and the New Politics of Economic Backwardness in Russia. *Politics & Society*, 2000, vol. 28, no. 4 (December), pp. 437–482.
- Yandarbiyev Z. *V preddverii nezavisimosti* [On the eve of independence], Grozny: Ichkeria, 1994.
- Zaslavsky V. *The Neo-Stalinist State: Class, Ethnicity, and Consensus in Soviet Society*. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1982.
- Zaslavsky V. Success and Collapse: Traditional Soviet Nationality Policy. Pp. 29–42 in: I. Bremmer, R. Taras (eds.). *Nation and Politics in the Soviet Successor States*. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Zelkina A. In: *Quest for God and Freedom: The Sufi Response to the Russian Advance in the North Caucasus*. London: Hurst & Co, 2000.
- Zemtsov I. *Partiia ili mafia? Azerbaijan: razvorovannaia respublika*. [The Party of the Mafia? Azerbaijan: The Stolen Republic.] Paris: Les Éditions Réunis, 1976.
- Zemtsov I. *The Private Life of the Soviet Elite*, New York: Crane Russak, 1985.
- Zubkova E. *Russia After the War: Hopes, Illusions, and Disappointments, 1945–1957*. Translated and edited by Hugh Ragsdale. Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1998.
- Zubok V., Pleshakov C. *Inside the Kremlin's Cold War: From Stalin to Khrushchev*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН
АДЕПТ БУРДЬЕ НА КАВКАЗЕ
Эскизы к биографии в миросистемной
перспективе

Выпускающий редактор серии *Е. Попова*
Корректор *Е. Макеева*
Оформление серии *В. Коршунов*
Верстка *Д. Кашкин*

Формат 70×100 1/6. Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 46,02. Тираж 1000 экз.
Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»
105066, Москва, ул. Ольховская, 45, стр. 1, офис 4

Отпечатано в гуп ппп «Типография «Наука»»
121099 Москва, Шубинский пер., 6